

мастера современной прозы

ТАДЕУШ БРЕЗА





МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДУГА»
МОСКВА 1985

Редакционная коллегия:

Анджапаридзе Г. А., Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В., Чельшев Е. П.

ТАДЕУШ БРЕЗА

СТЕНЫ ИЕРИХОНА

РОМАН

ЛАБИРИНТ

РОМАН

ПЕРЕВОД С ПОЛЬСКОГО

ББК 84.4П
Б 87

*Предисловие С. Бэлзы
Редактор М. Конева*

Бреза Т.
Б 87 **Стены Иерихона. Лабиринт: Романы. Пер. с польск./**
Предисл. С. Бэлзы.—М.: Радуга, 1985.—480 с.—(Мастера
современной прозы)

В романе Тадеуша Брезы «Стены Иерихона» действие происходит в канун второй мировой войны, автор показывает правящую клику буржуазной Польши 1926—1939 годов, дает точные социальные портреты представителей «санации», обнажает их антикоммунизм и шовинизм, прикрывавшийся демагогическими лозунгами политического и экономического оздоровления страны, их эгоизм, нравственную нечистоплотность, интриги и личное соперничество, что привело Польшу к катастрофе 1939 года. В романе «Лабиринт» писатель, заставляя своего героя пройти через многие мытарства в ватиканской канцелярии, создает критический образ этой «обители» наместника божия на земле.

Б $\frac{4703000000-475}{030(05)-85}$ 11—85

ББК 84. 4П
И (Пол)

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ НЕБУ

В сентябре 1945 года польский литературно-общественный еженедельник «Одрозене» объявил о проведении конкурса на лучшее прозаическое произведение, опубликованное в стране после второй мировой войны. Итоги конкурса авторитетное жюри, возглавлявшееся Марией Домбровской, подвело в следующем году в канун национального праздника—22 июля, дня возрождения Польши. Выдержав внушительную конкуренцию, эту самую почетную тогда премию получил Тадеуш Бреза (1905—1970) за роман «Стены Иерихона».

Имя писателя было к тому времени хорошо известно читающей публике, внимание которой привлек еще его первый роман — «Адам Грывалд», — изданный в 1936 году. Он стал своего рода сенсацией в силу бросавшейся в глаза «современности». Со свойственной молодости восприимчивостью к веяниям моды Бреза продемонстрировал здесь знакомство с новейшими тенденциями в западноевропейской культуре и философии. На книгу появились десятки рецензий. Критиков поражало проявленное автором столь основательное знание психоаналитических концепций Зигмунда Фрейда и Альфреда Адлера, теории бихевиоризма (отождествляющей сознание и поведение, сводящей психологию к совокупности реакций организма на воздействия внешней среды) и одновременно свободное владение изощренной писательской техникой, опирающейся на изучение опыта не только Болеслава Пруса, Зофьи Налковской и других польских прозаиков, но также Марселя Пруста и Жана Жироу, Джозефа Конрада и Луиджи Пиранделло. Воссозданная Брезой не совсем обычная история «воспитания чувств» Адама Грывалда содержит немало любопытных «ума холодных наблюдений» над парадоксами жизни и парадоксами сознания, дает изрядное — порою в гротескном освещении — представление о быте и нравах того времени и той среды, к которой принадлежит герой произведения. Уже в этом романе отчетливо наметились некоторые определяющие черты, характерные для всего творчества писателя: интеллектуальная насыщенность прозы, острота художнического зрения и тонкое обыгрывание выразительных деталей, отточенность стиля.

Книжному дебюту Тадеуша Брезы предшествовали годы ученичества и поисков мировоззренческих ориентиров. Окончив гимназию, он поступает на юридический факультет Познаньского университета, но вскоре, решив стать монахом, отправляется в Бельгию для прохождения новициата в бенедиктинском монастыре. Такое решение было связано у него с желанием нравственного самоусовершенствования и постижения Высшей Истины. Вероятно, в известной степени автобиографичны слова, вложенные им в уста одного из персонажей «Стен Иерихона»: «Мой католицизм родился из слабости, каждому это знакомо, кто в молодости испытал страх перед жизнью, так вот у меня он выражался тоской по формам общественных реальностей, которые по большей части принадлежали минувшим эпохам». Однако в монастыре молодой послушник из Польши с большим рвением предавался чтению Аристотеля и Тацита, Монтеня и Монтескье, чем молитвам и углубленным размышлениям на религиозные темы; через полтора года отцы бенедиктинцы сочли за благо избавиться от него. Вернувшись на родину, Бреза принимается за систематическое изучение философии в Варшавском университете, которое продолжает в Лондоне, куда его направили в 1929 году по линии министерства иностранных дел. Дипломатической службе он посвятил — с перерывами — много лет своей жизни, объездив всю Европу (в 50-е годы занимал пост советника по культуре посольства ПНР в Риме, в 60-е — в Париже).

Перед войной Бреза отдал щедрую дань журналистике; навыки, приобретенные в этой «школе», весьмагодились ему впоследствии и как романисту, и при работе над эссе, очерками, воспоминаниями, репортажами, из которых сложились книги «Литературный блокнот» (1956), «Письма из Гаваны» (1961), «Нелли. О коллегах и о себе» (1970). Серьезно увлекался также театром (в 1946 году вместе со Станиславом Дыгатом создал пьесу «Покушение», поставленную в Кракове). Перепробовав различные профессии, он окончательно убеждается в том, что его главное призвание — литература.

Писать Бреза начал рано, еще в студенческие годы, — сперва стихи, потом рассказы. «Никакая сила не могла меня заставить стать кем-то иным... Никакой другой путь, никакое другое занятие не могло так прочно приковать меня к себе», — признался он, отвечая на вопрос, как стал «человеком пера». И полностью присоединился к мнению Леонида Леонова, назвавшего как-то писательство «почти физиологической потребностью».

Окрыленный успехом «Адама Грывалда», Тадеуш Бреза сразу принимается за следующий роман, где, по его собственным словам, анализируется исключительно одно чувство: зависть. Слово хирург-онколог, все внимание которого в ходе операции сосредоточено на пораженном коварным недугом участке тела, писатель тщательно анатомирует скальпелем искусства душу человека, чьим смыслом жизни стала зависть. Вспомним, что Пушкин думал первоначально озаглавить свою великую маленькую трагедию «Моцарт и Сальери» иначе — «Зависть», и именно такое название получил в итоге роман Брезы. Рукопись его была закончена в 1939 году и уже почти отшлифована, когда грянула вторая мировая война, в пламени которой погиб отредактированный вариант «Зависти». Восстановлением текста по черновику автор занимался вплоть до последних дней жизни, а увидела свет книга уже после его смерти.

Годы гитлеровской оккупации писатель провел в Варшаве, принимал участие в

конспиративной антифашистской общественно-культурной деятельности. И не прекращал творческого труда. Потрясенный, как и миллионы его соотечественников, сентябрьской катастрофой, Бреза ощутил настоятельную потребность разобратся в ее причинах. Так родился замысел «Стен Иерихона» (книга писалась в 1940—1942 годах, издана в 1946 году). В качестве продолжения за нею последовал роман «Небо и земля» (первая часть — 1949, вторая — 1950). Они образуют диологию, но при этом «Стены Иерихона» имеют вполне самостоятельное значение.

Вторжение гитлеровцев в страну на рассвете 1 сентября 1939 года послужило не только прологом второй мировой войны, но и стало закономерным эпилогом буржуазно-помещичьей Польши. Крах «санационного» режима был обусловлен его гибельной внутренней и внешней политикой. Пилсудский и наследники диктатора привели государство к бесславному концу, в немалой степени подготовленному их слепящей ненавистью к Советскому Союзу, к коммунизму. В лихорадочных поисках выхода из все более обострившихся экономических проблем и социальных противоречий, раздиравших страну, «санационная» клика не только изъявляла перед Западом готовность укреплять антисоветский «санитарный кордон» в Европе, но и не прочь была даже принять участие в «крестовом походе» на Восток, соблазнительную мысль о котором подавал Геринг во время своих «охотничьих» наездов в Польшу. Однако прежде, чем начать агрессию против СССР, фюрер принял решение подготовить себе плацдарм и «навсегда покончить с Польшей и поляками».

В трагичнейший для его родины период Тадеуш Бреза первым предпринимает попытку художественно осмыслить поучительный «урок польского», преподанный минувшим двадцатилетием. Для этого он решает соединить в одном произведении достоинства политического и психологического романа: «Политический, ибо поколение мое было насквозь политично. Психологический, поскольку обычных жизненных аргументов недостаточно, чтобы нас объяснить». Насколько это удалось писателю, можно судить по оценке видного критика профессора Казимежа Выки, определившего «Стены Иерихона» как «роман о политике с акцентами, поставленными на психологических мотивах».

Такая акцентировка, равно как и напряженный интерес к этическим моментам,— сильная сторона всей прозы Тадеуша Брезы. Еще в «Адаме Грывалде» он проявил сознательное пренебрежение к напряженности и динамичности действия, полагая, что сюжет не должен узурпировать все внимание читателя и отвлекать от того главного, что должен сказать художник. Во всех романах Брезы фабула играет роль вспомогательную, второстепенную. Исключение составляет лишь «Валтасаров пир» (1952, русский перевод 1976), где автору понадобился острый, почти детективный сюжет, разворачивающийся вокруг попыток переправить вскоре после войны из Варшавы за границу фамильную собственность одного из эмигрантов — полотна Веронезе (которое оказывается подделкой).

В отличие от этого в «Стенах Иерихона» отсутствует интрига, так же как нет там и главного героя. Давно известно, что не существует единой «формулы» романа. «Если *«Дон Кихот»*—роман, то роман ли *«Западня»*?»—задавался вопросом Мопассан, пришедший к заключению, что цель писателя «вовсе не в том, чтобы рассказать нам какую-нибудь историю, позабавить или растрогать нас, но в том, чтобы заставить нас мыслить, постигнуть глубокий и скрытый смысл событий».

Глубокий и скрытый смысл событий вырисовывается в «Стенах Иерихона» из калейдоскопа мелькающих лиц, из коллажа свободно смонтированных сцен. Открывается книга эпизодом, в основу которого положено реальное событие: перезахоронение останков последнего польского короля Станислава Августа Понятовского, переданных в 1938 году советским правительством Польше. Незадолго перед этим скончался Пилсудский, которого похоронили в Кракове на Вавеле — традиционном месте королевских погребений. И польские власти, благоговевшие перед памятью маршала, сочли неуместным, чтобы прах «русофила» Понятовского покоился рядом с «начальником государства». Поэтому прибывший из Ленинграда гроб был ночью тайно замурован в усыпальнице Чарторыйских в Волчине, где родился король. Общественное мнение по этому поводу разделилось, что выявляется у Брезы в столкновении различных точек зрения: официальной, которой придерживается высокопоставленный чиновник президиума Совета Министров Ельский; цинично-настороженной, представленной офицером контрразведки Козицом, «дегустатором коммунистов», видящим и тут какие-то «московские козни», иронически-трезвой — князя Медекши; крестьянски-почтительной — солтыса Сача и недоуменно-равнодушной — воеводы Черского...

Столь резкое расхождение мнений по конкретному поводу отражает расставовку сил в тогдашней Польше и отсутствие согласия между ними по многим важным вопросам. Одновременно уже первые страницы романа дают представление о писательской манере Брезы, который обычно воздерживается от навязывания авторских оценок тех или иных событий, ситуаций, а старается высветить их изнутри. Галерея выведенных им персонажей состоит не из портретов, а как бы из автопортретов, разглядываемых художником вместе с нами и лишь слегка подправляемых тонкой кистью иронии, а также получающих время от времени дополнительное освещение со стороны.

Подобно многим другим мастерам, Тадеуш Бреза шел к высокой простоте своей поздней прозы через упоение властью над словом, следы чего нетрудно обнаружить в «Стенах Иерихона». Здесь немало афористических вкраплений, метафорической пышности и броской экспрессивности выражений (у капитана Козица «скомканное сном лицо»; он «нацелил», а князь Медекша «ввинтил» взгляд в Ельского и т. п.). Писателя даже упрекали за излишнюю густоту того словесного раствора, который пошел на сооружение «Стен Иерихона». Вместе с тем показательно суждение столь строгого ценителя, как поэт Юлиан Пшибось, отметивший новаторство автора романа: «В стиле Брезы передано то, что кажется невозможным передать письменным словом, — это жест, гримаса, улыбка, сопровождающие произносимые слова, и тогда слово, дополненное живым присутствием говорящего, вмещает не только то, что оно значит, оно вмещает в себя гораздо больше...»

Неоднократно переиздававшийся роман Брезы привлекает как своими художественными достоинствами, так и безжалостным обнажением политических кулис в довоенной Польше. Центральное место в этом смысле, да и в композиции книги, занимает сцена большого приема у Штемлера. Как и в «Дзядях» у Мицкевича, бал становится как бы своеобразным барометром социальной атмосферы.

Богатый еврей-предприниматель Штемлер, откровенно заявляющий, что не он боится революции, а его деньги, испытывает к ним особую «нежность», то есть, попросту говоря, паталогически скуп. Но он понимает: для поддержания реноме

необходимо раскошелиться—и закатывает светский раут. К нему в дом приходят представители правящей верхушки—министр юстиции Яшча; важный сановник Дитрих; бывший министр финансов, едва не ставший премьером, Костопольский и молодые, но преуспевающие правительственные чиновники, помышляющие уже о том, чтобы потеснить «стариков» у штурвала государственного корабля,—Ельский и его друзья: советник министерства иностранных дел Генрик Дикерт, прокурор Скирлинский. Здесь же официальный бард-поэтер Болдажевский и его дочь Товитка, знаменитая балерина Завиша, рыцарь мальтийского ордена граф Тужицкий, а также участники фашистского «движения»—Чатковский, Мотыч, Говорек, Кристина Медекша...

На этом «балу манекенов» перед нами предстает паноптикум «элиты» тогдашней Польши, людей, погрязших в коррупции, погруженных в политические и любовные интриги, финансовые и судебные махинации. Все они ставят интересы личные неизмеримо выше государственных. Прикрывают собственное моральное разложение демагогическими лозунгами о необходимости сплочения и укрепления «духа» нации. Проводившаяся Пилсудским и пилсудчиками «санация» обернулась не оздоровлением Польши, а тяжелым гангренозным поражением всех сфер ее жизни.

К такому диагнозу подводит читателя Тадеуш Брежа в своей дилогии, где он не только раскрывает секреты механизма власти в польском буржуазном государстве, но и показывает идейно-нравственный кризис, охвативший определенные круги польской интеллигенции и молодежи. «Большая политика» в стране находилась тогда в руках азартных «игроков» с сильно развитыми «железами власти», вроде Яшчи; именно такие, как он, позорно бросили потом Польшу на произвол судьбы (вспомним отнюдь не вымышленных президента Мосьцицкого, маршала Рыдз-Смиглого, полковника Бека) и бежали за границу буквально через несколько дней после нападения Гитлера. Еще раньше, лишь только почувствовав, что «давление в мире возрастает», пытается удрать в Аргентину с награбленной валютой Костопольский. Для этого необходим дипломатический паспорт, и, чтобы получить его, он шантажирует Ельского. Тот в юности «ощупывал левый берег»—интересовался марксизмом, думая приспособиться к нему или приспособить его к своим целям, но вырос в прожженного конъюнктурщика. Он тщеславно мечтает о том, что их поколение должно принести с собой новый стиль жизни и стиль правления страной. Ельский и иже с ним, быть может, умнее, образованнее и обладают лучшими манерами, чем старые соратники Пилсудского, но и они столь же обособлены от действительного положения дел в Польше и в Европе и имеют столь же смутное представление о порядочности и морали.

Раздоры в стане «санации» непринципиальны, это лишь паучья возня вокруг лакомого куска. Желая сохранить его за собой, правительство идет на заигрывание с фашиствующими молодчиками, которые все больше наглеют. Они затевают погромы и провокации, инспирируют нападение на своего лидера Папару, чтобы поднять его популярность и усилить антикоммунистический террор.

Брежа не ставил себе задачу дать исчерпывающую картину политической жизни Польши конца 30-х годов. Поэтому он не рассказывает ни о грандиозных забастовках рабочих, ни об организованном в 1934 году концентрационном лагере в Березе Картузской, куда были брошены тысячи противников режима. Линия борьбы польских коммунистов лишь намечена в «Стенах Иерихона», и связана она

с именем Яна Дикерта, которого его родной брат—советник, опасющийся за собственную столь блестяще начатую карьеру,—считает отщепенцем, позорящим свой класс и свою семью. Более полное развитие эта линия получила в романе «Небо и земля».

А в романе «Стены Иерихона» Бреза сосредоточил свое внимание на показе духовной опустошенности «столпов общества», шаткости того политического и нравственного фундамента, на который опиралось здание государственности буржуазной Польши. Вот почему оно так молниеносно рухнуло, словно стены ветхозаветного Иерихона при звуке труб.

Использование Брезой в названии этого романа библейской символики можно сопоставить с финалом булгаковской «Белой гвардии»—тоже произведения о закате одной эпохи и рождении другой. Там возникают слова из Апокалипсиса: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...» Еще в процессе борения могучих сил и Булгаков и Бреза постигли, что прежнее небо и прежняя земля миновали, поэтому они шли навстречу новому небу.

К выбору названий для своих книг Тадеуш Бреза относился всегда чрезвычайно серьезно, стремясь придать им символическое значение, какое имеют—как он подчеркивал—«Кукла» у Пруса и «Как закалялась сталь» у Островского. Показательны в этом отношении его поиски названия для «ватиканского» романа. При публикации в периодике он был озаглавлен «Миссия», в книжном польском издании—«Ведомство»; для французского перевода автор одобрил вариант «Демарш», а для русского остановился, пожалуй, на наиболее удачном—«Лабиринт», имеющем желаемый второй план и обобщающий смысл.

Срок дипломатической службы в Италии Бреза, как некогда Стендаль, использовал, чтобы собрать материал для литературной работы. В итоге родились две книги—«Бронзовые врата» и «Лабиринт» (обе вышли в 1960 году). Римский период жизни писателя совпал с последними годами пребывания на «святом престоле» папы Пия XII и началом понтификата Иоанна XXIII. Книга-эссе «Бронзовые врата»—свод сведений о Ватикане в этот переломный момент его многовековой истории. Она написана в живой форме дневника, но строго документальна: «Единственный и главный предмет моей заботы составляли различные наблюдения и мысли, не искаженные, в меру моей беспристрастности, никакой предвзятой точкой зрения или принципом,—предупреждал автор.—Я избегаю догадок, как собственных, так и чужих». Достоверное произведение Брезы снискало международное признание. Ссылки на него можно найти даже в специальной литературе.

По существу, документален и роман «Лабиринт», отпочковавшийся от книги «Бронзовые врата». Рассказанная здесь подлинная история должна была войти в качестве одной из записей в тот же «римский дневник». Но автор справедливо считал ее достойной лечь в основу самостоятельной вещи. В процессе писания несколько изменился сюжет. Дело в том, что на самом деле разрешить волновавшую его проблему приезжал из Польши в Ватикан пожилой адвокат. Столкнувшись в этой «духовной» инстанции с холодным бездушием, старик по возвращении домой сошел с ума. «Действительность может себе позволить такую развязку, но писатели должны быть деликатнее. Поэтому я не воспользовался целиком услышанной аутентичной историей. Фигура старого адвоката

превратилась в молодого ученого и т. д.),—пояснил в одном из интервью Бреза.

Он считал недостатком своего «Валтасарова пира» то, что туда проникло слишком много от детектива. «Лабиринт»—не менее захватывающее чтение, чем криминальный роман, но добиться этого писатель сумел иными средствами, за счет создания интеллектуальной, а не чисто сюжетной напряженности повествования. Сюжет здесь весьма прост: начинающий историк прибывает в Рим, чтобы найти в папском трибунале Священной Роты управу на торуньского епископа Гожелинского, который притесняет его отца, консисториального адвоката, за лояльность по отношению к народной власти. Молодой поляк разыскивает давнего друга отца—Кампилли, с которым они вместе учились, затем их общего наставника по «Сан Аполлинаре» священника де Воса, влиятельного монсиньора Риго, и начинается его месячное «хождение по мукам» в лабиринте ватиканской курии, суть деятельности коей скрыта от непосвященных за семью печатями. Переступая не раз «слишком высокие пороги», искатель правды попадает в замкнутый круг (недаром ставший символом Роты) и убеждается на личном примере в правоте пословицы: «Рим увидеть—веру потерять». Он доходит до отчаяния из-за кажущегося непостижимым принципа действия хорошо отлаженной бюрократической машины. Но тут ни при чем сакраментальная «квадратура круга», ибо «небесная канцелярия» трудится по вполне земным законам (как выясняется, даже на причисление к лику «святых» оказывают влияние чисто практические соображения).

В «Лабиринте», как и в «Бронзовых вратах», Бреза приподнимает завесу над некоторыми тайнами ватиканского двора, который хочет подчинить своим интересам, тянется заключить в свои широкие объятия весь мир, как изумительная колоннада Бернини обнимает площадь святого Петра.

Обращаясь к французским читателям романа, Бреза указывал: «Рота есть часть курии, курия—часть Ватикана, этого странного института, который является прообразом всех таких же гигантских и отчужденных ведомств. Показать специфический образ мышления этого прототипа, его ритмы, обычаи, рефлекс и порядки—вот что я задумал в своей книге». Станный институт выносит в конце концов странное решение по делу польского адвоката. И причина тому кроется не в кафкианской безнадежности ситуации, когда конкретный человек обречен на поражение перед лицом абстрактного безликого ведомства. При известной притчеобразности романа и характерной для любого произведения большого искусства обобщенно-универсальной значимости конфликта Бреза не упускает из виду его социально-историческую сущность.

Сущность же эта не в последнюю очередь связана с тем, что простодушный паломник прибыл в Рим из социалистической страны и никак не может привыкнуть к «ватиканскому времени», которое имеет свой особый счет, так же как имеет свои методы «фиолетовая дипломатия». С настороженностью его встречают не только в среде польской эмиграции. «Все приезжающие из Польши немножко заражены. Они не такие, как мы, и не те, что были»,—прямо заявляет даже весьма расположенный к своему гостю синьор Кампилли. Мотив «зараженности» усиливается в романе вырастающей до значения символа вставной новеллой о бывшем лепрозории, который дает приют новоявленным «прокаженным» и куда приводит героя исполненный доброты опальный священник Пиоланти. «Прокажен-

ные» — это не только те, кого затронул вирус «основного заблуждения эпохи», но и те, кто хотя бы слегка отклоняется от католических догм.

Характерно, что — по выражению Брезы — супруга синьора Кампилли «рассуждает о ситуации, сложившейся в Польше, как слепой о красках». Такое сравнение несет особый смысл для автора, потому что живопись оказалась заметное влияние на его прозу. Он стремится передать словами краски и даже их оттенки. Подобно Клоду Моне, рисовавшему Руанский собор в разное время суток и виртуозно передававшего на полотнах прихотливость игры света и цвета, Бреза воспроизводит на страницах книги не только аромат и буйство красок итальянского пейзажа, но и прослеживает, как меняются эти краски от утра к вечеру. Он дважды живописует один и тот же пейзаж, открывающийся с вершины Монте-Агуццо. Вот вид утром: «Море простиралось справа. Я узнавал его не по яркой синеве, сгущавшейся в том направлении, а по серебристым бликам, игравшим вдоль всей линии горизонта. Под прямым к ней углом — Рим; он ближе от нас, чем море, сказал священник Пиоланти, примерно километрах в двадцати. С этого расстояния Рим похож на гигантскую серо-розово-лиловую цветочную грядку. Иногда яркие блики появлялись и в этой стороне — то в одном месте, то в другом; вероятно, это сверкали купола соборов». А вот вечер: «Здесь красиво в любое время. Красивее всего к концу дня. Море, видимое с запада, блестит тогда сильнее и переливается красноватыми тонами. Далекие контуры Рима приобретают фиолетовый оттенок. Испарения над ним сгущаются. А выше — безмерно длинная гряда фантастических медно-розовых облаков с мягкими, расплывчатыми очертаниями». Столь же тонко запечатлена писателем и атмосфера Рима, причем роман несколько не походит на беллетризованный путеводитель по «вечному городу». Несмотря на все невзгоды, герой Брезы не устает любоваться столь любимым им куполом собора святого Петра — «колоколом-гигантом, вызывающим тишину», и сокровищами культуры, накопленными Ватиканом.

По сути, главная тема «Стен Иерихона» и «Лабиринта» одна и та же: тщательное исследование механизма власти. Ватикан — тот же Иерихон, но стены его не обрушились от трубного гласа времени, потому что они прочнее и потому что фасад «странного института» постоянно обновляется. А о том, что происходит в XX веке за этими стенами и за бронзовыми воротами в них, дают ясное представление книги выдающегося польского художника, который, перефразировав Декарта, сделал своим девизом “Scribo, ergo sum” — «Пишу, следовательно, существую».

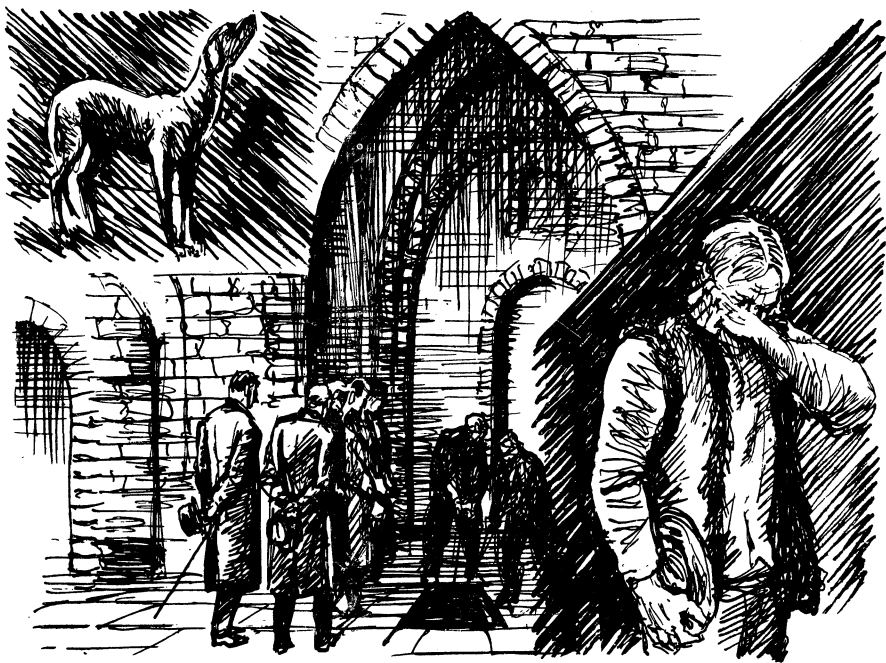
Святослав Бэлза

СТЕНЫ ИЕРИХОНА



MURY JERYCHA

Перевод А. Ермонского



Марии и Кордиану Тарасевичам

1

Всю ночь со среды на четверг Ельский провел в поезде. Под утро он проснулся, перевернулся на бок, взглянул в окно. Опять одно и то же—узенькие, словно доски, поля, островки деревьев, рощицы, напоминающие мазурские плюшки, речки, радующиеся тому, что в них еще есть вода, замершие дети, каждый непременно с гибким прутиком в руке, и люди, бездумно глазающие на железную дорогу. Подперев щеку рукой, Ельский всматривался в их рыбы, неподвижные глаза за стеклом. Все стремительно уносилось назад, ускользало—зеленое, искромсанное, придавленное к земле. «Как в колоколе,—прошептал он,—опускаешься в эту провинцию, как в водолазном колоколе под воду. Ужас что за жизнь. Войти в нее все равно что выйти в ночь. Хочется побыстрее вернуться домой. Хорошо только выскочить на минутку—и сломя голову к своим».

«Одеться, что ли?—подумал он.—А, успеется еще. Разве плохо—лежать так, трястись и пугать себя, как страшна жизнь в маленьких городишках. Вот, к примеру, в этом!»—Ельский окинул взглядом крохотную станцию. Поезд и не подумал сбавлять ход: что она ему? Поддразнивать себя, мысленно обрекать на Млаву или Тлушч¹, а самому сидеть в скором, будто на троне или вроде как в футляре из красного плюша, переваривая ворох поручений и сплетен по министерству, которое не позволит пропасть своему любимчику.

«Может, умыться? Пожалуй!»—решил Ельский. Он порылся в чемодане. Есть все, что нужно. Мыло, машинка для правки бритвы, лезвие, резиновый несессер, раздувшийся от туалетных мелочей. Каждая опробована, каждая пахнет заграницей. Помнят о нем приятели, привозят, присылают, чтобы можно было sprysnut'sya лавандой, собороваться мылами, пастами, кремами, дабы приобщиться английского духу!

— Это вот щетка,—бормотал Ельский, откладывая одежную щетку,—это вот для ботинок,—и присоединил к ней квадратик желтой фланели,—это вот платочек,—его он поместил сверху.—И довольно!

Однако в обоих туалетах кто-то уже засел, хотя вагон, как казалось, не был переполнен. Пришлось вернуться. Времени еще много. Ничего страшного. В худшем случае приедет в город грязным, разве впервой такое? Где-то ведь все равно надо остановиться. Гостиница какая-нибудь! В провинции всегда бывает одна лучшая, а в ней несколько приличных комнат для приезжих из большого мира. Ельский зевнул и вытянул ноги. «Тридцать лет!—размышлял он,—а я уже маюсь по ночам в вагоне. Молодость, молодость, да совсем не та, что была недавно! А я бы все же не променял ее на прежнюю. Зрелость—это зрелость. И взгляд уже иной. Спокойная уверенность в себе. Умение схватить целое. Только бы и дальше так понимать людей, проблемы, мир. Придут и вес, и власть. Ибо ведь только такие, как мы...»—и лицо его приняло серьезное выражение.

А военный напротив все еще спал. Газету, которую он подложил под сапоги, всю скомкал, шинелью толком не сумел распорядиться, стянул почти всю на плечи да на грудь, фуражка, все больше напolzавшая на глаза, взлохматила волосы, черные, цвета вóронова крыла, они пучками облепили его голову, скользкие, как пиявки. Вот недотепа! Надо же таким быть: ведь и холодно, и неудобно. Наверняка из какого-нибудь захолустного гарнизона. Ельского передернуло, он встал взять с полки плед, потащил его, плед увлек за собой книгу, которая свалилась на голову военного. Ельский оцепенел. Поспать-то в таком балагане он поспит, но вот заехать себе по лбу не позволит. Затеет

¹ Небольшие городки, символ захолустья в довоенной Польше.— *Здесь и далее прим. перев.*

скандал. Военный, однако, смотрит в вытаращенные глаза Ельского и говорит обиженным тоном:

— Могли бы и поосторожней!— Потом устраивается поудобнее, словно ослабляет немного петлю сдавившего его отупения, и ворчит:— Третью ночь вот так, в вагоне.— Затем отворачивается и опять надвигает на глаза фуражку.

Ельский еще и еще раз извиняется. «Такая уж у них жизнь!»—приходит ему в голову. Сидят месяцами в какой-нибудь дыре, потом вдруг что-то сваливается на них, вот они и начинают мотаться по стране до потери сознания. Глупо все это устроено. Но что еще придумаешь для такого рода людей? И Ельский осторожно собирает оказавшиеся между шинелью и плюшевой спинкой рассыпавшиеся листочки; он ни с того ни с сего впадает в уныние, судьба и ему преподносит порой всякие сложности. Одного только письма премьера к воеводе мало, чтобы разобраться в деле. Если бы еще война или государственный переворот. Так нет ведь! Да что поделаешь с теми, которые выросли на том или другом. Головой они думать не способны, одна муштра на уме. Переменим все это лишь мы!

Те, кто, однако же, спит и видит только мир да лад! Ельский раскрыл книгу. Заглянул в конец. Без малого пятьсот страниц! Да в сундучке еще парочка таких же. Может, чуть потоньше, может, потолще. Деваться некуда. А ведь надо было бы явиться, проследить за выполнением указаний премьера и в случае чего спокойно начать разговор. Раз вы власть, я к вашим услугам, но есть еще и истина! Выслушайте, пожалуйста. И затем выложить им все доводы. Со всей серьезностью и со всей готовностью. В том, что касается администрации, так, мол, и так, интересы государства такие-де и такие, а коли с точки зрения интересов истории, вот эдак. Как вы находите? Ельский внимательно изучал названия глав книги. Надо выловить что-то самое существенное, какой-нибудь основополагающий принцип. Юридический, конституционный, логический аргумент. Который не пресек бы разговора, но положил конец сомнениям. Надо именно в этих книгах и отыскать подобную неотвратимость. И выразить ее собственными своими словами, не газетной или митинговой фразеологией, и уж, боже упаси, не прокурорским языком. Таким, какой подсказал ему национальный инстинкт,—энергичным, метким, исконным. Что бы он на это? Ельский взялся за чтение.

Но оно лишь еще больше возбудило его. Ну к чему это выхватывание фактов, дат, имен, словно перед экзаменом! Тут короллю ставят в книге плюс, там—минус. Какая-то дьявольская бухгалтерия. А в последующих изданиях автор этой монографии добавит еще одну главу: повторное погребение или место вечного упокоения. Ведь это тоже относится к истории его жизни, и эти споры, и эксгумация, и захоронение. Как перенос останков Наполеона! Словно застланные мглой, проплыли в памяти Ельско-

го обрывки стихов, затем какие-то французские имена, имена всех тех, кто поехал за этими останками, имена, тем самым навеки вошедшие в историю. Глупость какая, обругал он себя, глупо так подставляться, чтобы потом попасть в лапы учебника. Может, то, что я делаю, просто идиотизм, да и только. И, уж наверное, так обо мне и будут потом думать, когда много лет спустя меня откопает какой-нибудь ученый, который будет писать исследование о вторых похоронах последнего польского короля Станислава Августа.

— Э-э,—буркнул Ельский,—чего тут волноваться!—Но читать бросил.—Лучше бритву поточить. Этот опять проснется.—Он посмотрел на офицера, который, казалось, вот-вот вырвется из оков сна. Ельский открутил тюбик с кремом для бритья, поднес к носу.—Вроде бы ничего особенного, а как пахнет!—удивился он. Перед глазами замаячил Дикерт, его товарищ по школе, по университету, по первым годам службы на благо общества. Это он, приезжая в отпуск или с поручением, непременно привозил ему из-за границы какую-нибудь мелочь. Вот, к примеру, плед, без таможенной пошлины. Ельский попытался вспомнить, сколько же он стоил? Гроши. Он тоже от Дикерта. Сидит теперь в аппарате. Бедняга, Ельский вздохнул, что там у него с братом? Ельский почувствовал, что его бросает в жар. Гнев душил его.

Брат этот был моложе их на год, неряха и флегма, зато самый способный в школе математик. Откуда такое отсутствие изящества, непонятно—все в семье так следили за собой; а математикато, видно, от прадеда, преподавателя Главной школы, круглолицего господина на портрете в гостиной. Ельского приворожила эта гостиная. Какое счастье принадлежать к такой семье! Поймав себя на этой мысли, он пожалел себя. Достаток, традиции, родственники, половина в деревне, половина в городе. Да и на каких должностях! В трибуналах, в магистрате, в курии, в кредитных компаниях. Таких людей смена правительства не задевает. Шинкарство процветает многие годы. Консервативные буржуа. Каждый из них кого-то содержал, кому-то давал, кому-то протезировал. Всегда и во всем они, все хорошенько взвесив, занимали гражданские позиции, были неперменными членами комитетов, распределявших займы или создававшихся по поводу каких-нибудь торжеств; в конце концов их хоронили за счет города, университета или государства. У брата такого—деревня! А если не у брата, то у кузена. Большое поместье где-нибудь в Литве или Галиции, иногда поближе—какой-нибудь садовый фольварк под Варшавой. Всюду побывал Ельский на правах друга. Участвовал также и в памятных торжествах их тесного кружка по случаю окончания юридического факультета. Как строить жизнь? С какого бока к ней подойти? Как разыграть свою карту? Будущее этой страны принадлежит самым способ-

ным. Так не им ли? Ельский уже корпел над диссертацией, совмещая это с работой. Профессор устроил его в министерство социальной опеки, научная тема была связана со служебными занятиями, наука—с министерскими обязанностями. Теперь только расширять дело, поднимайся повыше, оперяйся и бери кормило власти в свои руки. А чего они ждут сами себя? Нет, не они ждут, это от них ждут! От них—самых лучших на семинарах, самых сильных в студенческих дискуссиях, способных убедить человека не на митинге, но прежде всего в своих группах; от них—знающих, светских, блестящих, владеющих словом и пером, образованных на западный манер.

И снова Ельский насупился и помрачнел. Так-то я начинал, а сейчас—эдакая вот пристань! Ибо ушли годы энтузиазма, годы любопытства и страхов. Годы первых ставок. «Экзамен на мастеров мы уже сдали»,—сказал ему как-то Дикерт. Теперь только ждать и караулить, не подвернется ли где какое дело. Корновский уже вице-министр, а ведь не политик и не военный, нет! Той же школы, что и они, варшавского поколения интеллектуалов. А Латкевич—сказочная карьера! Получил департамент, едва перевалив за тридцать. Их друг, их однокашник, с которым так много переговорено в подваршавском имении. Их поколение—народ стоящий. Если бы еще не ожидание, проклятое ожидание, к которому так привыкаешь, что оно попросту превратилось в часть твоей жизни. Без забот, без страха, будучи совершенно в себе уверен, зная себе настоящую цену. Ибо если не мы, то кто?

Ельский решительно отодвинул книгу. Только без преувеличений. Не удалось подготовить выступления, ну так как-нибудь в следующий раз! Ты и так перерос этих людей. Ты и так для них человек сверху. Выкрутиться не проблема. Разве нет больше общих фраз. Ельский посмотрел в окно. Лес, сплошной, настоящий лес, без дорог и шлагбаумов. Брамуре, вспомнил Ельский, эта Брамуре как раз где-то здесь. Иметь бы такую пущу на Брамуре. Каково тут? Можно ли знать ее как свои пять пальцев? Сколько же тут тысяч гектаров? Двадцать, двадцать пять. Страшное богатство! Да к тому же еще и замок. Какая-то башенка промелькнула за окном. Ельский слишком поздно вскочил на ноги. По-ошла! По обеим сторонам продолжал бежать лес. Выцарапывать его у государства—вот поразительное дело. Судиться с ним во имя истории!

Ельский нахмурился. История, размышлял он, история! Что, собственно, с ней вообще происходит. Из-за нее семья Кристины сцепилась с судом за этот лес. Из-за нее сам он теперь едет, чтобы грудой костей забить нишу под сельским костелом и, может, сказать какую-нибудь чушь. Вот именно! Ничегошеньки с историей неясно. И уж коли смешаешь ее с жизнью—вот странный-то стыд! Искусственность, зыбкость нынешних ее интересов. Какое ко всему этому могут иметь отношение власти?

Особенно за то и был на себя зол Ельский, что предает собственный свой клан, что не соглашается с самим собой, что упрощает проблему, как эта необузданная старая орава неучей, простаков, варваров, людей случайных, ведущих всю подготовку, которых постепенно призвана сменить подлинная, тщательно отобранная элита, сливки одного поколения.

«Это надо знать!» Но не успел он отыскать в книге место, где бросил чтение, что-то побудило его поднять глаза. Офицер разглядывал его.

Сидел он как-то неуклюже, ужасно усталый, пальцами приглаживал назад волосы, словно пытался таким манером вытащить себя из сна; он причесывался, но жесткие спутавшиеся волосы отказывались подчиняться такому примитивному гребню, не желали ложиться. Другую руку военный засунул за ворот расстегнутой рубахи и движениями, от которых веяло неудовольствием и скукой, скреб грудь, не ожидая, что процедура эта избавит его кожу от чесотки. Лицо его, казалось, еще не успело отойти ото сна, еще не приведено было в соответствие с какой-нибудь идеей, оно ничего не выражало, было каким-то расползшимся, покрытым жиром и пылью. И только глаза отнеслись к пробуждению всерьез. Они уже были готовы подмечать, но еще ленились сводить все в единую картину. Взгляд свой офицер нацелил на Ельского. Не такой уж пронзительный, не очень любопытствующий, просто у него это было уже в крови: подобным вот образом цеплять людей глазами и не торопясь вытягивать из них правду. Ельский заговорил первым, что-то по поводу книги, дескать, невесть как она запуталась в плеле. Не успеешь войти в вагон, а с вещами вечно какой-то ералаш!

— Вот оно что, вам бы лакея!—пожалел Ельского военный, поглядывая на него вежливо и кротко. И слова его вроде бы нельзя было понять как издевку.

Ельский улыбнулся. Ну и идея! Он едет с лакеем! Словно граф. Может, спутник его за такого и принял.

— Вы, сдается, принимаете меня за барина!—сказал Ельский и не без изящества склонил голову. Подумал: по меньшей мере еще час пути. Если не читать, то самое милое дело поболтать. Тем временем офицер провел рукой по смятому сном лицу. Уж коли не барин, подумал он, то наверняка чиновник. Из тех, кто служит государству, оказывая ему любезность. Из породы благовоющих.

— Тогда уж не буду вас ни за кого принимать!—с неподдельным добродушием заметил он. Затем сел, выпрямился, поставил ноги на пол и, поднимая их одну за другой, стал ощупывать пальцами кончики сапог—не ноют ли мозоли. Застонал.—Скоро и вовсе не смогу ходить.—И, словно призывая Ельского войти в его положение, добавил:—Пожалуй, еще начнут меня носить, будто китаянку.

Ельский посматривал на сапоги, но не решался высказать своего мнения. Офицер пришел ему на помощь.

— А снимать их, знаете ли, тоже сплошная мука.

— Но как же время от времени не причинять себе такой муки,—ответил Ельский, гордясь своей мыслью, и улыбнулся, хотя и опасался, не расценит ли это офицер как вызов. Но тот продолжал тяжелым взглядом изучать Ельского, теперь, пожалуй, более деловито. Кажется, еще один из тех молокососов, думал он, увиливающих от работы болтовней, министерских барчуков, охотников до заграницы и умничанья, у которых в голове одни только новшества. Да еще чтобы отыскать для государства свеженькую модель. Нет вещи поважнее! Они бы его и раздели—он выругался про себя,—как самих себя, с полнейшим почтением к последнему номеру модного журнала!

На это он уже не годился. Офицер отвел глаза.

Взглянул на книжку, лежавшую на столике. Какая-то догадка промелькнула в его голове. Ну конечно же! Дело должно было свершиться сегодня или завтра. Проблема, конечно, да не его. Но ему положено обо всем знать. Что это за история с тем гробом? Чьи это козни? Предупреждение или шуточка. Камешек в наш огород. Времена, когда ни минуту, ни злого не злетья тратить попусту, а тут выплясывай с этим королем по всей стране, или как? Будет организована слежка за печатными материалами, за подпольными коммунистическими листками, что они там напашут: что ничего или что плохо. Травля. Если так, стало быть, чья-то злая воля. А коли злая воля, то тут уж наверняка замешаны Советы. Одна только мысль о русских лишала офицера покоя. И он злобно подумал о Станиславе Августе: вечно он заодно с русскими. Офицер поднял глаза на Ельского и опять стал сверлить его своим неподвижным взглядом. Вспомнил: на эту церемонию, кажется, должен был приехать какой-то тип из Варшавы. Может, он и есть.

— Ну так что, речь готовите к похоронам,—кинув на монографию о Понятовском, с притворным простодушием проговорил офицер. Если поймет, значит, он самый.

Ельский смутился. Премьер потребовал соблюдения полнейшей тайны. А тут вдруг этот офицер лезет со своими откровенными намеками. Он взглянул на его знаки различия и воротник. Пехотный капитан. Наверное, из здешнего гарнизона, но откуда у него такая информация! Ельский еще попытался парировать удар, упомянул, что очень увлекается историей. Но дрогнувший голос выдал его. Капитан уже знал все, что было нужно.

— История,—снова заговорил он своим вялым, бесцветным голосом,—это хорошо для магистрата. Названия для новых улиц. А так!—и махнул рукой.

Нет, в его офицерской голове такого рода образованности не водилось. В молодые годы чему-то там он учился, но в памяти

ничего не удержалось! «Дайте Козицу человека»,— говорили о нем на службе. Бумага делала его несчастным. Живой человек— вот это да, из него можно и правду выжать. Но просиживание за столом, бумажки и, не дай господи, печатные материалы— тут капитан терялся. А этот лезет к нему с историей, с книгой. Ельскому невдомек было, о чем размышлял капитан. Несколькими красивыми фразами он наставил офицера, разъяснив ему, что государство много выигрывает, поощряя культ собственной истории. Козиц был зол. Не хватало еще этим с утра забивать себе голову. Каждому овощу свое время. А тем более такому, никому не нужному. И капитан рассердился. Мало у него серьезной работы, так ему еще на стол брякнут паштет из покойника тысячелетней давности. Нет, это Храбрый¹ был тысячу лет назад, наугад поправил он сам себя. Но эта серая, мутная пропасть, каким ему представлялось прошлое, взбесила Козица еще больше. В миг в голове его пронеслась череда кирас, золотых поясов, бритых голов. На сцену их или на картину, но подкрашивать ими действительность— зачем, для чего, кто на это клонет! Мало на свете вранья?! Приманивать людей историей! Еще чего! Он прервал Ельского, когда тот, уже освоившись с темой, говорил: «Мы ведь являемся продолжением».

— И-и-и,— запищал капитан,— никакое мы не продолжение, мы— новые хозяева. Государства, разделившие Польшу, прогорели, а мы у них все это купили на аукционе. Нет у нас никаких обязательств. Некого нам тут стыдиться.

Ельский невольно улыбнулся, парадоксы действовали на него возбуждающе, и он уже мягче сказал:

— Да, но мы— все та же семья, это ведь не перешло в новые руки!

— Та самая, не та самая,— с выражением брезгливой скуки на лице тянул свое офицер,— все равно. Что у нас с ними общего. Мне что те старые поляки, что новые; если взять пороки, то нам не в чем себя винить, только вот где это записано, что мы им чего-то задолжали? Мы влезли в новое дело, был тут лет сто назад хозяин с той же фамилией, кузен не кузен, можно ему, чтоб не позабыть о нем, и памятник поставить, но копать во всем этом старье! Да еще надрываться! Такой прорехи не залатаешь. Махнуть надо рукой на давние заботы, в которых ничегошеньки-то сегодня не разберешь. Зачем себя обманывать.

Все это Ельскому было уже не по вкусу. Творить чудеса смелой мыслью— это его роль, а не какого-то захудалого офицера, который пыжится тут перед ним сделать что-то подобное. Посмотрите-ка! И он туда же, еще Ельского собирается загнать в угол!

¹ Болеслав I Храбрый (967—1025)—польский князь, с 1025 г.—король Польши.

— Правительства не было,—подчеркнуто возразил он,—но был народ. Если был народ, то была история. Все время был народ, и продолжалась история. Так что перерывов не было.

Козиц добродушно расхохотался. Сколько же он такой болтовней людям кровушки попортил.

— Были,—изрек он тоном глубокого и наивного убеждения.—История возрождалась, как только народ восставал. Он создавал власть, армию, правительство. И тогда, согласен с вами, начиналась история. А вот без этого, теперь согласитесь-ка и вы со мною, истории нет. Ведь история—это министры, это сейм, это политика, вообще всякое руководство. То, что записано в документах. Лишь из них и получается история. Народ, видите ли,—это море. А история—это то, что сверху.

Он потрогал пальцами книжку на столике, потом поднес их к носу, понюхал.

— Я, кажется, унюхал, зачем вы едете!

Ельский не знал, что и отвечать.

— И даже завидую вам. Клиента вы не обидите. Чудесная работенка. Не то что, знаете ли, моя—живых выдавать и закапывать.

Он отвернулся к окну. Покосившиеся домики, лоскутные поля, снова толпа избенок, несколько мужиков на минуту замерли, глаза на поезд, потом разбредись. Козиц смотрел на людей, ибо что ни человек—то человек. Только в нем и реальность. Остальное на земле—это косметика. Немного ее больше или меньше, так или чуть по-иному она наложена, мне все равно, любил говорить Козиц. И говорил правду. Ничего иного он в жизни не искал, ни на чем ином не задерживал взгляда—люди, только люди. Одежда, пусть она будет удобной; автомобиль, так пусть он тебя возит; мебель, картины поставить или повесить—дело хорошее, но стоит ли на все это пялить глаза? Не упадет же! Так и книги. Нельзя сказать, чтобы Козиц никогда и ничего не читал. Читал, и с охотой! Но кому это нужно, чтобы об этом без конца долдонить. Уж лучше тогда поговорить об отражении в воде! Взглянешь—подрагивает темно-зеленое лицо. Вот оно. Отходишь, уносишь свое с собой, вода забирает свое, и говорить не о чем. Можно ли сказать больше о книгах? Только когда встретятся два человека, тогда и рождается мир. Все остальное—овоши, смеялся Козиц, а человек—это мясо.

И вот ему как раз и выпало стать гончим псом, выслеживающим людей, бросать их в тюрьмы или отправлять на виселицу. За что? За каракули в записных книжках, за листовки, за все эти комбинации, которые не брали в расчет человека. Если бы он вспомнил когда-нибудь слово «инквизитор», он увидел бы в нем себя и словом этим себя заклеил бы. Тот тоже хватал людей за пустики. Живых, из плоти и крови, настоящих он развращал,

уничтожал, калечил ради чего-то абстрактного. Козиц выходил из себя и мучился, считая, что он спятил. Но делал, что ему было положено, стискивал зубы и хватал. Хватал и хватал. И людей Папары тоже, таких же точно глупых и упрямых, как и те, с другого фланга, только ко всему прочему они сами лезли ему в руки. Едва на них поднажмешь, тут же начинают клепать на себя и на других. Вот так глупость из человека и прет, с сожалением говорил он, не испытывая радости от побед в этой грошовой партии, которая игралась чересчур уж всерьез.

Он вновь взглянул на Ельского, уставившегося на него. Этот тоже из тех, для кого мир—бумажка, зло подумал Козиц. Но такой, видно, уж и суждено быть нашей жизни!—немного успокоившись от этой мысли, он смягчился, хотя и не повеселел.

— Хоронить человека, хо-хо-хо...—он и сам этому удивлялся,—...сегодня умеют. Я как раз этим занимаюсь. Дело, знаете ли, в том, что убеждение нынче относится к разряду инфекционных заболеваний. Стало быть, тут главное—профилактика. Нельзя дожидаться, пока вспыхнет эпидемия. Тут, понимаете, определил инфекцию, сразу же звони в скорую помощь! Когда доктор звонит, когда я. Все зависит от типа болезни. Ну а какая болезнь, такая и карета скорой помощи.

«Пацифист!»—подумал сначала Ельский, но чем больше он его слушал, тем яснее становилось, о чем тот ведет речь, и Ельский, подлаживаясь под тон капитана, спросил:

— А сейчас вы какую заразу вынюхиваете?

Однако Козиц был из тех людей, которым трудно удержать язык за зубами, только если их не расспрашивают. И тут он бы умолк, если бы не разгадал, кто такой Ельский. Ему хотелось похвастаться своей проницательностью.

— Я,—сказал он,—дегустатор коммунистов, но если пахнёт на меня от кого чиновником, то и в министерстве разберусь.—И засмеялся, очень собою довольный.

Ельскому он нравился все меньше. Но чем больше капитан отталкивал его, тем сильнее разгоралась в нем охота поболтать с ним. Впрочем, к желанию этому примешивался и страх. Что же капитан знает о нем?

— Bravo,—проговорил он,—вот теперь вы угодили в точку. Что же нас выдает?

А сам тем временем думал: «Наверное, он просто узнал меня, видел где-нибудь в Варшаве, но надо ему подольстить—дескать, угадал». А Козиц рисовал портрет:

— Во всем вы почти такие, как все. Языки знаете почти как иностранцы, одеты почти как графья, обхождение почти как у людей светских, умом как доценты, в политических концепциях сильны, как государственные деятели. Но—почти! Когда я встречаю таких, кто во всем почти кто-то, но ни в чем не

совершенство, бьюсь об заклад, что это ваш коллега, и выигрываю.

— Или что это я!— Ельскому нужно было еще и это подтверждение. Шутки для него кончились.

Однако Козиц, как обычно, отступал перед вопросами. Он поковырял пальцем в носу. Оглядел палец. Вытер его носовым платком.

— Послушайте, надо бы, пожалуй, умыться,— решил он в конце концов. Не известно, то ли это был ход, чтобы переменить тему, то ли к такому заключению привело его созерцание своих грязных рук. Помолчав немного, он добавил: — И глаза-то еще как следует не продрал, а уже языком мелю.— Капитан произнес это таким печальным тоном, словно хотел, чтобы Ельский еще и пожалел его.

А между тем Козиц вовсе в этом не нуждался. Настроение у него неизменно поднималось всякий раз, как только ему удавалось поприжать хвост этим министерским куклам. Принцам, пажам, государственным херувимам, запертым в своем мирке, словно в правительственной ложе, в Ноевом ковчеге, в храме. Анархистом Козиц не был. Правительство—это правительство. Иначе нельзя. Некоторые министры ему даже нравились. Но вот кого он терпеть не мог, так это их молодняк. Все один к одному, все объявлены наследниками, все легко поспевают за временем. Злость его душила при мысли, во что они превратят государство. Царствование безликих. Сопли и хрящики. Вот их кровь и кости!

Ельского же выражение лица капитана обмануло, ему показалось, будто тот отступает, он перестал его бояться и, поглядывая на него словно на несмышленища, решил про себя: хрен собачий. Из тех, кто за силу, из держиморд. Из тех, за кем вот-вот захлопнется дверь в прошлое, как только наконец минет время царствования ремесленников. А крестьянский ум уступит место мысли прозрачной, строгой и светлой.

— Вы советника Дикерта знаете?— Капитан задал этот вопрос неожиданно, зная ответ наверняка. Неужели такие не снюхаются. Анализ уже был готов. Одна бражка!

Ельский поспешно подтвердил это. Разве Дикерт не превосходный чиновник! В той словесной перепалке, которую они тут вели, он был великолепным аргументом. Способный, ловкий, влюбленный в свою работу, человек широких горизонтов, отлично подготовленный. А перед глазами Козица возникло крупное бугристое лицо, спокойно-холодное, с мясистыми, плотно сжатыми губами. То не был советник Дикерт, то был его брат. Еще не сидел. Но это лишь дело времени. Защищала его только одна фамилия. Еще бы! Признать, что в самой изысканной среде растет эдакий сорняк! Это значило бы лить воду на мельницу красной пропаганды. Тут отделу безопасности незачем было

торопиться. Может, со временем мальчишка оттаает, может, семейство отошлет его куда-нибудь. При их-то деньгах они еще многое способны спустить на тормозах. Позволительно и подождать. Козиц знал этот случай, хотя никто из дефензивы¹ за Дикертом по пятам не ходил, правда, сам он на нее напоролся, причем по поводу совсем не пустячному. В ходе очень серьезного процесса, большого, белорусского², и довольно-таки уже старого, пятилетней давности, пала на Дикерта тень подозрения встречи с одним из подсудимых, совместные поездки куда-то, обмен печатными материалами, книжками, такие вот контакты. Другому, может, это и не сошло бы с рук, наказали бы для острастки всех остальных, но с Дикертом дело иное. Можно было удовлетвориться его объяснениями, мол, верит в эту правду, а эту неправду, дескать, хотел узнать прямо из первоисточника. Следователь намеревался еще вытянуть у него обещание, чтобы на суде он помог прокурору неправду растоптать. И тогда оказалось, что хотя Дикерт, может, и не клялся той неправде ни в каких иных чувствах, но в одном он слово ей дал и держался его крепко — хранить тайну. В те годы курс против коммунизма не был таким уж жестким. В конце концов подобное поведение считалось тогда допустимым: набрать в рот воды, давая понять следователю, что это-де рыцарство. И, допросив, Дикерта отпустили. Тем более что следователь выказываемое Дикертом известного рода отупение принял за придурковатость и усомнился в том, что подобный тип пригодится на суде. Когда расследование закончилось, бумаги в порядке информации отослали господам из «двойки»³. Кто-то там их пролистал, наткнулся на фигуру Дикерта, в черновике обвинительного акта был намек, что он человек малосообразительный. К делу пришилили бумажку — капитан Козиц. Он просил всех отыскивать для себя тупиц. Был равнодушен к твердым, чурбанам, к людям ограниченным. Сколько же можно было из них вытянуть. Такой ведь не врал самому себе. Держался неприступно, непроницаемо, замкнуто. А внутри у него — все четко разложено по полочкам. Только подобрать к нему ключ. Козиц чаще всего подбирал. Так случилось и с Дикертом. Он раскусил его вмиг. Понял: это было страдание, спазм, одна одурманивающая мысль. Из-за нее он молчал или отвечал невпопад. Не из упрямства и не по глупости. Причина — в самозабвении. Стало быть, надо заново переосмыслить, что означает само понятие: своя страна! Если хочешь свободы и справедливости, если хочешь быть честным и логичным! Козиц догадывался, что Дикерт переваривает в голове какие-то важные

¹ Политическая полиция в довоенной Польше.

² Имеется в виду брестский процесс (1931 — 1933), судебная расправа санационных властей над руководителями оппозиции в сейме, которые по приказу Пилсудского в конце 1930 г. были арестованы и заключены в крепость в Бресте.

³ Второй (разведывательный) отдел Генштаба в буржуазной Польше.

и для него новые заповеди. Нет без этого подлинной борьбы за новый порядок мира. Одна только половинчатость! И когда так повернулась перед ним эта правда, Дикерт замер, стал в нее всматриваться, от удивления лишился дара речи. Но Козицу и не нужно было много слов. Этот окаменевший от изумления человек растрогал его до глубины души. Вот так, подумал Козиц, надо в жизни чувствовать. И в свое время, он вспомнил молодые годы, так сам он и чувствовал. Козиц бросил расспросы. Ему стало жаль Дикерта. «Советник Дикерт ваш брат?»—скорее удивился, чем спросил Козиц. «Да!» Все его труды были теперь направлены к выгоде этих напояженных советников. Все дело его жизни! Он тогда возмутился. То же чувство испытал он и сейчас, заговорив с Ельским. Но тот ни о чем не догадывался.

— Он мой очень близкий друг!—сказал Ельский и встал, будто один звук этой фамилии тотчас же превратил вагонное купе в салон. Он представился капитану. Тот о нем слышал.

— Не соображу, где только,—вслух размышлял Козиц.— Скорее всего, на службе. Вы прежде, кажется, занимались опекой.—Ельский подтвердил.—А я, видите ли, много лет уже сижу в этом своем отделе,—отплатил ему Козиц.—Кто слишком красивый, хватаю, слишком малиновый—тоже.

Что он все бахвалится этим своим хватанием, удивлялся Ельский. Но Козиц наговаривал на себя: работу свою он любил, хотя цель ее доводила его до бешенства. Все, что живое, следует поковытывать, зло размышлял он. Потом перекрыть шлюзы, пусть будет пруд, теплый, противный, по вкусу лягушкам! Ельский совал ему что-то под нос.

— Это как раз от Дикерта!—Ему хотелось поразить капитана и этим мылом, и вообще всем стечением обстоятельств.—Феноменально, да?

И Козиц в самом деле разинул рот и как-то недоверчиво спросил:

— От Дикерта, от коммуниста?

Он уставился на Ельского. Что, не догадаешься, что издеваюсь?

— Нет, это его брат,—воскликнул Ельский, и голос его дрогнул. Он с состраданием посмотрел на Козица. Какая неприятная история! Сколько же раз в прошлом при одной мысли о Янеке Дикерте Ельский содрогался. Он ведь мог накапать и на него, и на собственного брата. Для студентов такие контакты ни к чему. Но разве от них убережешься.

— Это его брат,—повторил Ельский и вдруг почувствовал, что краснеет под взглядом Козица. Контакты, контакты!—завертелось у него в голове это слово. Что капитан о нем думает? А, не имеет значения, успокоился он. Но подозрение—это подозрение. Всегда вещь неприятная.

— Но того, коммуниста,—он нарочно сделал ударение

на этом слове, выделил его, как не очень точное, но ставшее расхожим определение,—я тоже знаю.

Козиц извинил его:

— Понимаю вас. Раз уж советник—ваш друг, а он его брат.

А Ельский думал как раз о том, что дело обстояло по-другому. Чем он виноват! Время такое было. Правительство тогда чуть-чуть качнулось влево. Вот Ельский и его приятели и начали ощупывать левый берег. Можно ли ополачить, смягчить, приручить коммунизм? Ибо если уж не социалисты и не крестьянская партия, то кто же? Значит, какой-нибудь свой крайний путь? В наши годы вокруг этой догмы вертелись все разговоры: современное политическое движение должно быть крайним. И опять получалось, что коммунизм, разумеется если останавливаешь выбор на левом фланге. А стало быть, надо познаться, пощупать эту доктрину. Самых лучших привлечь к движению. Из них сделать чиновников. Чуть подкрасить государству хохолок. Перехватить лозунги. Приспособить их. Затем протащить их в правительственные издания, кое-что в циркуляры. Провести революцию в гомеопатических масштабах. В их разговорах это называлось: отнестись к коммунизму как кит к Ионе. Единственное политическое средство приручить пророка.

Кого из коммунистов залучить? Кого-нибудь из молодых? Естественно, самых выдающихся. Но как их приманить? Ельский зарылся в их личные дела. Важно было подобрать к мальчикам со слабой их стороны, разузнать об их нуждах. Одного ловить на границу, другого на должность, третьего на славу. А Дикерта? На профессию? На научную карьеру? Он тогда стал ассистентом. Собственно, каждому можно помочь в жизни. Государство тебя хвалит, ценит, признает! Дикерта обольстить не удалось. Разумеется, коли давали, он брал. Но держался в сторонке. Перестал общаться с теми, кто наживку заглотил. Все было так, как он обычно и делал: после долгих размышлений, неохотно, не торопясь. В конце концов решил испытать и его. Это было сложное время. Польские ученые выступали с протестами, впрочем ничего толком не понимая. Дикерт подписи своей не поставил. Раздумывал. Часами держал текст под носом. Слова не обронил. Не предлагал поправок. Ему позвонили домой. «Вы меня ни за что не вставляйте!»—ответил он. Председатель кружка попытался объяснить. «Вы сами себя исключите из общества». Чего он только ему не втолковывал! Наконец решил взять быка за рога. Прикрикнул на Дикерта: «Ну, итак!» А тот уперся, что ни за что, хотя он и не мог не чувствовать: государственный корабль теперь снова берет вправо. Кто из левых не успеет ухватиться, тому уже никто никогда не протянет руки. Остался. Спустя год пришлось поставить крест на университете.

— И вы его знаете?—Спросил Козиц Ельского с наигранным возмущением.

В душе же он злился и смеялся. Он уже больше ничего конкретного не мог вспомнить о Ельском. Может, это еще один из чудом спасенных для государства радикалов, который, прежде чем отпереться от своих давних убеждений, замечает следы, опасаясь, а вдруг Козиц знает об этом. Но Козиц не знал ничего, а вот нюх его не подвел. Ельский пошатался среди левых, покричал вместе с ними, затем, высунувшись из своего министерского окна, приманил нескольких избранных. Но быть среди них—был. С тех времен сохранилась у него парочка статеек, а может, и какой-нибудь протокол собрания. Вещь не из лучших. Отправляясь на сей раз направо, он стал построже к себе. Консультации, выводы, разговоры—сколько душе угодно, но только не повседневная организаторская работа. Толку тебе от нее чуть, зато ославит больше всего. Он чувствовал, что слева за ним что-то тянется.

— Теперь-то уж почти и нет,—ответил он.—Порой словечко о нем от его брата услышу. Бедный брат.

Козиц рывкнул:

— Который?!

Ельский приподнял правую бровь. Какой бездарный ход, подумал он. Неужто он рассчитывает, что я начну тут перед ним жалеть заговорщика? Но Козиц и не собирался ни о чем дознаваться. Он разозлился. Он как бы увидел одновременно несчастье каждого из братьев. Ему показалось, что он вот-вот крикнет: «Дорожный мой приятель, хотите пролить слезу над участием советника, так не пожалейте же другой для Яна!» Он сделал еще один шаг.

— Знаете,—пришла ему вдруг мысль в голову,—давайте-ка лучше вместе, прямо здесь, пожалеем папеньку. Это мое поколение. Старый Дикерт для меня символ. Отец нашего времени. Один его сын—хлыщ, другой—полоумный. Вот и выбирайте, за кого выпить во имя будущего!

Тоже мне пророк, надулся Ельский.

— Вы, похоже, любите попугать,—произнес он холодно.—Это как раз возрастное. А теперь откровенность за откровенность,—прибавил он, бледнея.—Вот вам моя характеристика старых. Тут тоже два типа. Одни—люди с апломбом, другим—страшно. Вот и выбирай, кого брат в пример.

Сердце у него колотилось, и не столько от гнева, сколько, особенно в последний момент, от страха, который нагнал на него капитан. А между тем Козиц впервые доброжелательно взглянул на Ельского. Приятно ударить—и убедиться, что кровь есть. Главное, чтобы была. Он просто сказал:

— Жалко мне этого Янека Дикерта. Да и упорных людей жаль тоже. Вот так-то.

— Вы в силах помочь ему.

— А-а!—буркнул капитан, но не запротестовал.

Ельский про себя отметил: это надо запомнить. Щенок в конце концов может попасться. Какая это неприятность для Дикертов. Какое невеселое положение у самого близкого друга. Советник, правая рука вице-министра, а тут в семье судебный процесс, приговор, тюрьма. Такой брат! Ельский несколько раз повторил про себя фамилию. Незачем записывать, подумал он потом, этот Козиц, кажется, мужик известный.

— Как знать, не обращаюсь ли я к вам в Варшаве,— пообещал он.

А Козиц опять добродушным тоном, будто и не понял, о чем речь:

— Наверняка найдете меня,— улыбнулся он,— была бы нужда.— С минуту Козиц молча рассматривал Ельского. И вдруг: — Бог ты мой,— закричал он, изображая волнение,— вы не одеты, а Брест-то — вот-вот!

Ельский послушно стянул пижамные брюки. Еще бы какую-нибудь любезность!.. Он попытался что-то придумать. Чего же ему сказать? Любопытная, мол, встреча. Не просто случай. Случай, случай! Как же это Кристина говорит, замер он, пытаясь вспомнить. Такая у нее есть поговорка среди богатого запаса фраз, которые она выталкивает из себя, словно крик, едва отдавая себе отчет в том, каков же их смысл, поистершийся от частого употребления, будто лица тех, чьи портреты помещают на банкнотах. Кристина, подумал Ельский, самая живая из всех. Беспокойная, взбалмошная. Черненькая малышка. Настроение то и дело меняется, а одним и тем же жестам и словам она остается верна всегда. Когда один день похож на другой, но каждый рисуется иначе — это я! — подумал Ельский о себе. А если один день вовсе не похож на другой, а говорится о них всегда на одной и той же ноте — это она! Как же смириться с ее непоседливостью? Какой смысл так на все набрасываться? Теперь это ее движение. Государство национальной общности! Мощное, серьезное движение, говорил Ельский, который уже проник в его тайны. Хорошо! Мотор, чтобы включить его в систему, есть! Размах есть — надо бы только от некоторых сил очистить его. И, пропустив через президиум министров, предложить это движение народу. Ельский вздохнул. Но чтобы работать у них! Уж лучше бы тогда Кристине в президиуме. Об этом и говорить — пустое дело. Ельский хорошо ее знал. Все, но только, боже избави, не канцелярия. А уж если, то ни в коем случае не государственная. У нее к этому отвращение. Да ведь я и не о вас говорю, клялась она, но вы только подумайте — всю жизнь просидеть с чиновниками! Насобирать мух на липкую бумагу, а в конце концов и самой на нее попасться! Что она хотела сказать, понять было трудно. С ее фамилией, знанием языков, смекалкой какая же это была бы эффектная сотрудница. Само собой понятно, в учреждении, где царит товарищеская атмосфера. Не лучше ли в каком-нибудь

посольстве? Да, в Европе, а не на конспиративных сходках, не в типографиях, в которые врывается полиция, не на окольных дорогах, за которыми следит староста. Что думает ее старик? Ельский не знал князя Медекшу, но пожалел его. Обедневшего, практически без места, занятого бесконечной тяжбой из-за имений, отобранных у его предков после восстания 1863 года. А тут еще такая вот Кристина!

Ельский снова вздохнул. На сей раз, жалея себя самого. Он хорошо понимал, что оттого только, верно, она и с ним. Могла бы и носа из своей компании не высовывать. Эти их леса на Брамуре — пуца. Жила бы себе в богатстве. Встретился ли бы он тогда с ней, а если и встретился бы, сблизился ли бы? Да и если бы не это ее сумасбродство, даже и в нищете она могла бы прозябать где-нибудь у тетушки. Все восстания выдохлись, так и не изведя всех старых богатых баб в семействе Медекш. Кристина с ними не зналась. Не результат ли это ее странного одиночества. Ее бунта против собственного мира, который она едва знала, и ее союза с миром новым, в котором она ни бельмеса не понимала. Он улыбнулся ее милому облику. Огромные карие глаза, рассеянные и гневные, черная, нечесаная грива волос — тоже враг порядка, — жесткая, словно конская шерсть, в которую она то и дело запускает пальцы. Ее жесты, сутуловатость и запах, пробивающийся через надушенную кожу. Ельский как-то не обращал на него особого внимания, но вот вспомнил о нем, и его бросило в дрожь. Ему вдруг показалось, что запах этот превращается в эссенцию Кристины. Во что-то, что возбуждает против нее, но вместе с тем служит и самым сильным выражением ее существа, как жестокость олицетворяет силу.

— Что это вы так застыли, — тронул его Козиц. — Посмотрите, вот и город.

В окнах вагона замелькали маленькие черные крыши. Уносились назад белые дома. У шлагбаумов теснились повозки. Потом площадь, долина, забитая людьми. Ярмарка пестрела бедными, вылинявшими красками. Масса горшков толпится у ног закутанных баб, груды ткани прямо на земле, сбившиеся в кучу телеги. Лошади с мордами, опущенными в торбы с овсом. Козиц равнодушно оглядывал все это. Ельский никак не мог отделаться от запаха Кристины. Чего же я еще хотел? — донимал он себя. Что сказать этому капитану на прощанье? Стечение обстоятельств! Да-да, знаю, какая у нее поговорка. Итак, сперва он похвалил случай за то, что тот не слепой, сказал, что так, видно, угодно было судьбе, а напоследок продекламировал то, что вертелось у него на кончике языка:

— Всякий случай непременно пахнет провидением.

Ельский обошел костел в одиночку. Похороны. «Te Deum», всякая служба, думал он, всегда в душе человека отзываются

одной нотой. Он посмотрел на стену, пригляделся к листьям. Потрогал ногой землю на тропке. С серого неба медленно спускалась тьма. У колокольной стояли Звада-Черский и еще кто-то, кажется профессор. Ельский подошел к ним. И услышал одну только эту фразу:

— У случая всегда есть *faux air*¹ провидения!

Ельский остановился. Этот старый зануда все со своей Флоренцией; профессор, точнее, реставратор прилип к полковнику словно репей. Никому подступиться не давал. Ельский, хотя и знал Черского по Варшаве, едва сумел переброситься с ним несколькими словами. Старосте даже и такой оказии не представилось. Ельский был зол, как князь с сомнительной родословной, которого не хотят признавать. Ведь он и приехал сюда затем, чтобы быть первым. А тем временем—смотрите-ка!—встретили, раскланялись, и развлекайся, брат, сам. Он огляделся. Даже староста с приходским священником куда-то пропали. Профессор продолжал:

— А теперь мне надо проследить, чтобы его могила ненароком не испортила костел. Вот и я—хранитель костела и картин, как брат моего прадеда, Ян Хризостом, архиепископ, который презирал Понятовского прежде всего за то, что тот покровительствовал плохому искусству. После саксонцев² у нас любое считалось хорошим. Это правда. Но посмотрите на дело шире. Классицизм—это финал. В искусстве это последнее причастие умирающей эпохи. Может, он и был лучшим для своего времени, но шел к закату. И он заимствовал это за границей. Эта изысканность, этот вкус для нас, с чего мы тогда должны были только начать. Пробудившийся после мрачной эпохи народ. Ему нужна была в искусстве сила. Величие мастеров Возрождения, а не те, кто рисовал румянами и пудрой, как говорил мой архиепископ,—угодники кисти.

Черскому на эти темы нечего было сказать, а реставратору показалось, будто он его не убедил.

— В искусстве все кончается вкусом. Но для начала вкус—вещь плохая. Вы ведь знаете, что потом стало с этим вкусом,—старик говорил с Черским как со знатоком,—сплошные руины. Посмотрите!—воскликнул он, ибо и сам увидел это теперь очень отчетливо.—Почти весь девятнадцатый век в живописи, скульптуре, архитектуре—дно, эпоха упадка. Все—порождение этого бессодержательного мастерства. У нас насадил его король Стась.

— А этот ваш двоюродный брат?—спросил полковник Черский.

Реставратор удивился.

— Кто?

¹ Здесь: запашок, личина (франц.).

² Польские короли Саксонской династии (XVII—XVIII вв.).

— Ну, архиепископ.

Старик прищурился.

— А!—воскликнул он таким тоном, будто сожалел о своей забывчивости. И может, нотка какой-то боли была тут искренней.

Бедные люди, грустно подумал он. Куриная слепота—никакого будущего не видят! Я должен перекрестить в двоюродного брата своего предка, дабы перед их взором возник какой-то конкретный образ. Весь мир только то, что происходит при их жизни. Сердце у него сжалось. Он еще раз воскликнул:—Ах! Этот архиепископ,—продолжал он,—как раз за искусство и воевал со Станиславом Августом. Не как другие, дескать, этого всегда слишком много, но что это не то, ибо это плохо. Еще до мировой войны были опубликованы его письма. Великолепно! Какая сила духа в том, что касается творчества! Он первый разрешил в Польше играть Бетховена. Не в независимой!

И вздохнул, словно сожалея, что такая музыка запоздала.

— Как епископ и как меценат вот что он пишет о Станиславе Августе после первого раздела Польши: «Он позволил оторвать от здания два флигеля; говорят, что взамен он укрепил дух, но какая же от него образованность, коли религии он отчим, а искусству пасынок».

Черский закивал головой. Он слушал только слова. Из них он понял лишь, что реставратор высказывается против короля. Значит, как полагается, объяснил он себе и еще заставил себя поднапрячься, чтобы решить, такая ли продувная бестия этот старик или же и вправду против. Притом сама историческая проблема—вздор, любопытен лишь этот старый человек. То, что он так наскакивает на Станислава Августа,—его личная изворотливость или же всего его класса? Слова влетали Черскому в одно ухо и вылетали в другое. Но тон и голос его хороши!—признал он. То, что старик говорил, Черский не имел ни охоты, ни нужды осуждать. Как и староста, который подошел к Ельскому. Постоял с минуту. Раздраженно покрутился на одном месте. Не очень-то представляя себе, о чем говорить. Стрелял глазами в типа из президиума. Наверное, привез какие-нибудь политические сплетни. Черский его знает, велел бы ему все выложить. Но куда там, когда этот старик мешает. Прикончит он полковника своей нудой об искусстве.

— Меценат, который верит в фальшивое искусство,—разглагольствовал тем временем старик,—напоминает антипапу. Что-то подобное говорил Буонарроти.

Черский лениво вставил:

— Да, да, искусство—вещь серьезная. Наш маршал Пилсудский сказал даже, что художник равен королю.

Реставратора это не относящееся к делу замечание сбило с толку. Он замолк. Староста радовался, полагая, что Черский

осадила его. Что еще можно сказать на сей счет, если знаешь, что думал Пилсудский? Но старый господин, словно это его вдохновило, выждал с минуту и сказал:

— Польша не знала другого мецената! Всегда у нее было только антипапа. Мы постоянно черпаем из европейского искусства, когда оно переживает упадок. Когда искусство находится там в расцвете, вечно у нас случается что-нибудь такое, что нам оно делается ненужным,—или в стране траур, или варварство.

Староста скрипнул зубами.

— И так до вечера будет плести,—глухо простонал он.

Ельский тоже был сердит. Не могут наговориться, пока одни. Ведь этот реставратор должен часто бывать в Бресте. Спросил у старосты шепотом:

— Что за старый хрен?

Староста с иронической снисходительностью, словно хотел сказать «астролог», выделил титул:

— Князь Медекша.

Ельский застонал, будто от зубной боли. Ведь он был на волосок от бестактности. Может, даже уже и показал свою холодность. Какая оплошность! В какой же опасности он очутился! И чего сразу не спросил. С другой стороны, странно, что он так высокомерно отнесся к реставратору. Что, дескать, за фигура: провинциальный профессор? А ведь это отец Кристины. Конечно же, тот самый. Говорят, известный ученый-самоучка. Профессор Виленского университета, читает лекции на факультете истории искусств, воеводский реставратор там и, видно, здесь. Ельский вспомнил все, что слышал о нем. Аристократ, торговец стариной! А сам нищ, ибо владения Медекш конфискованы после восстания 1863 года. Имения жены судьба забросила—эвон куда!—за Днепр. Так что и от них никакой пользы. Князь уже много лет жил отдельно от жены. Через год или два после свадьбы он уехал за границу, обосновался во Флоренции, где открыл антикварную лавку. Кажется, дело не было особенно прибыльным. Без приданого жены, ее имений, оба они сникли бы, и он, и его магазин. Поэтому после войны надо было возвращаться на родину. И о диво! В Варшаве он оказался одним из самых выдающихся представителей своей профессии. Эмигранты из России привезли с собой горы мебели, картин, ковров, серебра, фарфора. Среди этого множества вещей что-то вдруг поражало князя. Он вникал, оценивал, вывозил. И тут только впервые близко столкнулся с польским искусством. Перед отъездом во Флоренцию он мало что о нем знал, а то, что и знал, позабыл. Искусство могло быть для него итальянским. Подходила также и часть Западной Европы. Если же взять славян, то, как он полагал, они были в состоянии породить лишь народное искусство. Да и существовало ли здесь когда-нибудь какое-то иное? Ах,

еще любительское? Орловский, Михаловский, ранний Коссак¹. Превосходные вещи. Но творчество как голос природы или бога, кто же это у нас? Когда он впервые увидел Матейку, подумал, что это проекты костюмов к массовой сцене. В движении. Теперь он исподволь начал узнавать других художников, прежде всего старые польские кустарные изделия. Он осмотрелся и забеспокоился. Торговать, пришел он к мысли,—да, но вывозить—нет. Впрочем, постепенно он и все начал воспринимать здесь по-иному. Не сразу, но по мере того, как истощались накопленные им итальянские духовные запасы, он стал ощущать голод. Разумеется, голод искусства, но прежде всего голод истории. Он так привык, что там столько знают о каждом камне. Во Флоренции человек был из истории, словно из деревни, любой уголок, любую деталь ее мира он понимал, воспринимал, знал. Теперь князь почувствовал, что перенесся в иную историю. Но отчего она нема? И год за годом он все яснее постигал, что люди, к которым он приехал, сталкиваясь с собственным прошлым, не чувствуют себя в своей тарелке. Оно вроде бы их, а вроде бы и нет! Строго говоря, оно над ними, словно портреты предков в квартире мелкого почтового служащего, гордость, но вместе с тем и немного смешно. Князь по торговым своим интересам много разъезжал. Его потрясли Сандомир, Плоцк, Замостье. Перенести бы их в Италию, как женщину в Париж. Дабы их там продали во всем великолепии. Он всегда был скептиком. Сначала полагал, что ни во что не надо верить, потом думал, что можно верить во все. Даже в то, что Польша прекрасна. Со временем, однако, вера эта, которую он считал примитивной, стала его собственной верой. Прекрасна, размышлял он, только сама не понимает, что в ней красиво. Гордится Ловичем, а это ведь уродство в стиле сецессион. Стыдится Полесья, которое по красоте не уступает Швейцарии, только что выткано из трав, кустов и вод. Но вскоре он заметил, что в Польше осознание красоты того или иного места приносит вред. Тотчас же такие уголки, словно польщенные комплиментом подростки, принимались кокетничать. А между тем красота рождается либо из настоящей дикости, либо из настоящей культуры. А между двумя этими берегами—халтура. Так что князь отошел от современности, но, когда вновь вернулся к истории, ощутил себя одиноким. Поговорить о ней оказалось не с кем. «Акты, которые уже подписаны,—это и есть история»,—сказал ему, не совсем в шутку, один министр. Другой изрек: «Для человека сегодняшнего дня существует только будущее». «Чего же может стоять человек, который запаматовал, что был молод»,—печально возразил князь. Наконец он встретил людей,

¹ Александр Орловский (1777—1832)—художник, график, иллюстратор; Петр Михаловский (1800—1855)—один из ведущих представителей романтизма в польской живописи; Юлиуш Коссак (1824—1899)—акварелист, известность приобрел историческими батальными полотнами.

которые кое-что из прошлого помнили. К примеру, молодой граф Шпитальник-Тужицкий, дома у него особый стол для работы над геральдикой. Вот для чего нужна история, вздохнул Медекша, когда этот его родственник демонстрировал ему свою родословную — Пяст в семнадцатом колене. И грустно ему стало, что этим сейчас в Польше питается единственный живой интерес к истории. Молодой граф и ему подобные в самом деле пострадали бы, если бы у них отняли историю. Каждый час их стал бы короче — на историю. Но для всех остальных тут никакой проблемы нет. Разве почувствовал бы кто-нибудь себя ограбленным, если бы судьба повелела нам снова начинать со времен Мешко¹. Гербы и антиквариат! — ужасался Медекша. Вот и все плоды нашей истории. Все кончилось тем, что посредничество надоело князю. Это было скорее отвращение, чем усталость. А ведь ему как раз выпадала доля вытягивать из усадеб и костелов мебель и картины, прожившие там много лет. Однажды ему сделалось особенно стыдно. Он прочитал, что два гобелена, которые он помог храму в Луцке продать, упоминались в завещании архиепископа Хризостома Медекши. Купил их один генерал, в последнее время с благословения правительства туз тяжелой индустрии, и выставил ими гнездышко своей возлюбленной. И тогда князь свернул торговлю. Он стал поставщиком исключительно для музеев. Такая позиция вскоре окупилась. Место реставратора приносило ему немного, но его пригласили читать — неплохо оплачиваемые — лекции в Вильно. Он обрадовался. История была ему благодарна. Взяла на содержание! Но когда взвесил свои возможности, взгрустнул. Объекты, которые находились под его попечительством, он назвал «церковными нищими», а свою служебную контору — «богадельней». Семья старые стены старалась свалить на шею государства. Государство — семье. Каждый хотел как можно меньше вкладывать средств, а от него требовали, чтобы он взял под охрану все. А тут-то чего от него ждут?

Медекша взглянул на костел. Сойдет, подумал он, недурен. Но, как всегда, нет формы, недостает воздуха, смелости. Здание не стоит, а как бы остановилось на минутку. И не скульптура, и не камень. Князь застегнул пальто. И еще холод, кивнул он головой, вечно этот ветер откуда-то. Страна везде, во всем наперекор. Черский заметил его нетерпение.

— Господин староста, — крикнул он, — долго еще?

Староста стал объяснять. В распоряжении говорится, что должен быть архитектор. Не смог приехать машиной старосты. Приедет попозже. Вот-вот должен быть.

— Архитектор! — прошептал князь. — Короля Стася в могилу будет класть архитектор! Мило. Кто так решил?

¹ Мешко I (ум. в 992 г.) — первый князь из династии Пястов, основатель польского государства.

Староста пробурчал, что не знает. С государственной точки зрения он считает этот вопрос неуместным. Ельский воспользовался случаем, чтобы вмешаться.

— При всякого рода переделках склепов и при эксгумациях, в интересах соблюдения истины и безопасности, необходимо присутствие врача и архитектора. Таковы требования администрации!

Медекша уставился на Ельского. Видел ли он его раньше? Ах да, в автомобиле. Правда, поглощенный беседой с Черским, он мало на что обращал внимание в пути.

— Администрации!—Князь не спеша попробовал повторить это слово с надлежащим уважением. Потом, прищулив один глаз, ввинтил взгляд в Ельского. Вроде не глуп, подумал он, но если говорит такое, что он понимает!—Ибо я полагаю,—продолжал он, не спуская с Ельского глаз,—что архитектор нужен из особых соображений. Кроме него тут непременно должны быть кадет и поэт. Но к чему врач? Какое отношение имел Понятовский к медицине?

Староста нервно обернулся. Ему ведь предстояло писать отчет. А ну как взбредет Медекше в голову вылезти с речью в подземелье. Тип такой настырный, непослушный, никакой у него административной дисциплины. В любую минуту готов выкинуть какой-нибудь номер. Пусть уж лучше загода выболтается!

Князь наверняка мнение это разделял. Мыслями, которые пришли ему в голову, он решил поделиться с Ельским.

— Послушайте,—произнес он очень громко, так как Ельский стоял далеко от него, а казалось, что Медекша преднамеренно повысил голос,—послушайте,—повторил он снова, все еще не находя формы протеста.—Мы собрались тут, чтобы некие останки захоронить втайне. Мне делается страшно. Как-никак это был король. Не допускаем ли мы случаем оскорбления величества?

Ельский возразил:

— В нашем кодексе нет статьи об оскорблении величества. Есть только об оскорблении народа.

Князь задумался.

— А если мы оскорбим короля, который был с народом!

— У нынешнего народа, без сомнения, есть более серьезные заботы, чем ломать голову над тем, где найдет вечное упокоение этот король, а того народа, который бывал с королем, уже нет.

Старик взорвался.

— Что это вы делите его надвое.

Ельский вспомнил Козица. Свести бы его с Медекшей, вот бы поговорили. Один все обрядил бы в старопольское платье, а другой повсюду бы от него стал избавляться. Выберем-ка середину.

— Народ один,—ответил он.—Только возраста разного. Тогда—ребенок, теперь—взрослый. Разве не так?

Ельский в этом не сомневался. Всякий высокопоставленный

чиновник знает сегодня, что такое интересы государства. Какие уж тут сравнения с давней Речью Посполитой. Несомненная зрелость!

— Да!—добавил он еще более уверенным тоном.—Теперь народ сознательный. Знает, чего хочет. Знает, что для него хорошо. Стало быть, повзрослел.

— И относится пренебрежительно к определенным эпохам своей молодости, свято веруя, что так не согрешит! Знаете,—Медекша подошел поближе к Ельскому, заговорил тише,—я бы не решился на такое,—он показал на костел,—заставить его лежать тут. Не спесивость ли это? Не вызов судьбе? Такой уж я суеверный.

Ельский уцепился за эти нотки беспомощности в его голосе.

— Вы, князь, не бойтесь,—многозначительно успокаивал он Медекшу.—Эти проблемы наверняка решил господин президент. И по зрелом размышлении.

— А может, и нет,—упирался князь.—Просто подмахнул. Вот и все!

Черский молчал. Ему от этого ни жарко ни холодно. А вот староста кипел от негодования. Ведь это же откровенная оппозиция.

— Воля правительства выражена ясно,—горячо вмешался он.—Все дело теперь в том, чтобы ее исполнить. Государство сильно повиновением.

— А повиновение опирается на традиции,—не оборачиваясь, отмахнулся Медекша от старосты. Он знал, чему суждено быть, то и будет. Но хоть бы кто-нибудь почувствовал то же самое, что и он!

Если бы еще в этом были самовольство, бунт, сопротивление. Лишить останки ненавистного короля всех почестей! Страшный жест, в истории повторявшийся. В ее духе. Но, видите ли, тут не лев преградил теням дорогу на Вавель, а черепаха. Символ чиновной деятельности. Всех этих бумажных шестеренок!

Ельский почувствовал, что должен открыть Медекше правду.

— Станислава Августа,—сказал он, веря, что это суждение возвысит его в глазах князя,—нельзя поместить в усыпальнице на Вавеле после Пилсудского. Вот и все!

— Это было бы все, если бы вы сказали, что не только один, но и другой тоже до Вавеля не дорос,—задумчиво проговорил князь.

Ельский возмутился. Ведь он выдал секрет самого президиума Совета министров. И так к этому отнестись. Он был возмущен.

— Рядом с Понятовским Пилсудский чересчур мал. Не слишком ли у нас серьезный разговор для парадоксов?

Но Медекша не дал сбить себя.

— Я услышал их в ваших словах. Смелее-ка всмотритесь в их подлинный смысл. Испугаться, что Пилсудскому повредит сосед-

ство плохого короля. Не значит ли это—усомниться в величии маршала? Положите-ка вы Понятовского на площади Инвалидов? Что от этого потеряет Наполеон?

— И тем не менее он лежит один,—вспомнил Ельский.

— И Пилсудский должен покоиться один,—проворчал Медекша.—Вы решили, что ему надо лежать рядом с королями, так почему же теперь король не может лежать рядом с ним. Какая же, извольте, здесь логика.

Ельский защищался:

— Это не правительство выбрало ему Вавель, он сам.

Князь подумал и заключил:

— Это Выспанский¹. Засорил себе голову Выспанским. Ведь у нас государственный ум—это либо законы, либо три великих пророка². Никакой середины.

Староста вообще перестал что-либо понимать. Отломал березовую ветку. Несколько раз со свистом стегнул ею по воздуху. Ельский вдруг вспомнил, что читал статью Медекши. Цитаты Сташица³ чередовались с остротами столичного фельетониста. Темой были исторические достопримечательности. Лейтмотив—они несут нам дыхание истории.

— Из того, что вы, князь, писали,—воскликнул он,—я заключил, что вы, кажется, за такую литературу.

Медекша живо отозвался:

— Но не за такое будущее. Его интересы расходятся с литературой. А верх всегда берет либо одно, либо другое. Берет верх и правит народом. А когда берет верх наш романтизм, это опасно. Ради своего величия романтизм готов еще раз сбросить нас в пропасть.

Черский, несколько раз подавлявший зевоту, теперь почувствовал, что в силах вмешаться.

— Ничего не поделаешь!—громко рассмеялся он.—В старое время властелином душ был романтизм. Словно правительство в государстве. Пилсудский влил в него силу. И теперь романтизм будет ослабевать, а сила нарастать. До тех пор, пока мы не превратимся в одну только силу.

Ельский добавил:

— Нечего бояться, что государство еще раз придет в упадок ради того, чтобы дать пищу вдохновению. Не придет в упадок, не зашатается, не дрогнет! Мы совершенно уверены, что выстоим. Вооруженные, зрелые, бдительные. Вы, князь, поражаетесь смелости, с какой государство засунуло труп Понятовского в

¹ Станислав Выспанский (1869—1907)—драматург, поэт, реформатор театра, художник.

² Три крупнейших польских поэта-романтика: Адам Мицкевич (1798—1855), Юлиуш Словацкий (1809—1849), Зигмунт Красинский (1812—1859).

³ Станислав Сташиц (1755—1826), ксендз, ученый, философ, политический деятель и писатель, выдающийся представитель польского просвещения.

угол. Говорите: «Как-никак король». Но ведь король, который ушел из нашей истории по-английски. Изменник, слабак, наймит, источник поражения, причина мучений. Король, который перестал быть королем. У него с головы свалилась корона, когда сам он валился к ногам Екатерины Второй. Так что незачем и упоминать о его похоронах. Ручаюсь,—разошелся Ельский,—если бы он и сам сумел по-настоящему разобраться в том, что натворил, он отправился бы в могилу на цыпочках.

Коли у него есть убеждение, зачем же ему факты, князь поморщился, но промолчал. Ельский упоенно продолжал:

— Знаю, если бы разошлась весть о нашем сегодняшнем официальном мероприятии, поднялась бы страшная буря. Вавель, кричали бы, Варшавский собор, Лазенки! Может еще, на гроб крест независимости с мечами? Назло правительству. Из строптивой симпатии к осужденному.

Ксендз ждал обещанного автомобиля из Бреста. Ему не сиделось в доме, и он отправился к костелу, но последние слова заставили его вздрогнуть.

— Я согласился похоронить,—прошептал он,—раз у вас, господа, есть согласие епископа. Но что нехорошо, то нехорошо. Хоронить человека тайком. Ночью.

Все это тревожило его. Могло ли подобное дело быть чистым. О таком никто никогда и слыхом не слыхивал! Как же тут пришлось поломать голову его превосходительству. А может, его обо всем и не информировали. Ходить во тьме к могилам, это же прямо язычество какое-то. Он почувствовал в Медекше родственную душу, потому обратился к нему:

— Раз уже не захотели его здесь принять по-христиански, зачем же вообще нужно было его привозить в Польшу.

Но князь не слушал, задумался, сморщился. Осужденный, думал он, вот самое верное слово. Судьба толкнула его на скамью подсудимых. Да! Но будем ли мы судить его? Кто же так высоко вознесся над историей, что почувствовал себя вправе карать? Понял ли человек, который принял решение, что он сделал, нарушив исключительные права помазанника божьего, дарованные ему народом? Превратив королевскую особу в лицо малозначительное, дабы лишить права на публичные похороны. Кто же столь смело осудил ее?

И он взволнованно заговорил:

— Народ ничего не знает. Может, надо было этот гроб провезти по всей стране,—размышлял он вслух,—и послушать, будут ли люди эти останки проклинать или же склонят перед ними головы в знак почтения к бывшей королевской власти. И глас народа подсказал бы, как поступить.

Черский рассмеялся. Для него вся эта история именно потому не казалась серьезной, что в ней был замешан король. Этого достаточно, чтобы провалить все дело. Хохотал он от души.

— Вozить его,—пожал он плечами,—может, ему еще и «дзяды»¹ организовать. На перекрестках дорог вызывать его дух, и пусть сельский сход судит. Вот уж был бы настоящий театр.

— Чистая комедия!—возмущенный староста присоединился к Черскому.

Князь почувствовал себя задетым за живое.

— А наша роль здесь?—сердито спросил он.—Не из балагана ли? Все это, вместе взятое, напоминает мне скверную шалость. И не столько приговор, сколько небрежение. Не рановато ли, господа, вы демонстрируете свое презрение? Я бы побоялся.

— Но чего?—разволновался Ельский.

— С таким высокомерием, с такой жестокостью затолкнули этот гроб в захудаленький склеп, что я опасаюсь судьбы, не сыграет ли она шутки, не повернет ли против гордецов меч, который они подняли.

Ветер нагнал облака, закрыв луну. Шум деревьев глушил голоса. Приходского священника отыскал огромный, лохматый пес, видно он что-то у него клячил. Идти в дом? Ельский смолк. Спор может еще разгореться! Отец Кристины так неосторожен. И все эти аллегории. И страх! Перед чем? Что погибнем?

— Хотел бы спросить,—старик чем-то притягивал его,—что это может быть за поворот? Повторение Станислава Августа?

— Да!—прошептал князь.

Ельский, который сам подал эту мысль, удивился ее подтверждению. Не поверил.

— Повторение,—проговорил он.

— Не в истории!—возразил князь.—В вас! Ошибки, вины, недостатки, которые вы у него находите и осуждаете,—только бы вам никогда не убедиться, что они вовсе не чужды власти имущим. Не видеть, как недалеко человеку до слабости,—это слишком большая гордыня, чтобы ею не заинтересовался бог!

На слова эти тотчас же откликнулся ксендз:

— Да не воссядешь на трон, нечаянно низвергающий, говорится в псалме.

— Это уже следствие,—мягко отказался Медекша от помощи приходского священника.—Я только призываю не смеяться над чужим падением.

Черскому шутка понравилась.

— Преувеличение,—воскликнул он,—преувеличение! Сильный смеяться может.

Ельский подытожил:

— И назвать труса трусом, посредственность посредственностью, короля, который погубил свой народ, изменником.

Князь опустил голову. Он разбирался в истории, не в реальной жизни. Коли они так уверены, подумал он, может, чей-то голос

¹ Польский народный обряд поминовения умерших

говорит их устами! В конце концов, кому судьба вручает власть, тому она дает и свет. Черский, который больше молчал, не скрывал своего торжества.

— Ну, убедили мы вас,—посчитал он спор законченным,—руки у вас опустились. Видите, не удастся Понятовского подложить в Вавель.

Князь еще пробовал защищаться.

— Не королям нужна наша рука,—сказал он.—Им туда дорога, там они у себя. Если бы речь шла о помощи, я бы и сам отказал в ней. Но не мешал бы. Пусть берет, что ему положено по праву. Большая, однако, смелость—осуждать кого-то за то, что он заблудился, в то время как мы опять едва-едва отыскиваем дорогу.

Ельский выпрямился, настала пора взглянуть на вещи шире, указать, как это все секретно и что горизонт определяется с того места, куда поставила жизнь.

— А вот есть люди, которые видят достаточно далеко. Чем пристальнее они всматриваются, тем фигура Понятовского представляется им чернее. Для Пилсудского это была очень черная фигура. Может, это он, зная, что скоро умрет, что его ждет Вавель, не хотел, чтобы рядом был Станислав Август. Мог, по-вашему, Пилсудский принять такое решение?

Князь только что не перекрестился.

— Так он его оттолкнул,—закричал Медекша, а затем горячо зашептал:—Смилуйся, господи, над его душой!—словно бы вспомнив, что покойники могут пугать.

Пес запрыгал, затем принялся лаять, понесся куда-то, не слушая окриков. Староста заключил:

— Приехали.

Ксендз поспешил навстречу.

— Ах, это вы! Господа из города еще не все собрались,—объяснил он.

Какой-то человек, по всей вероятности здешний, очень высокий, в отороченной барашком куртке, шел сюда, защищаясь от лап переставшего лаять пса. Теперь и староста узнал его.

— Ну что еще опять! Отправляйтесь восвояси,—закричал он,—я вас не звал.—А потом жалобным тоном ксендзу:—Вы же хорошо знаете, что я никому тут не разрешил быть, а вы сюда солтысы привели!

Солтыс, пока причитал староста, стоял не двигаясь, а когда тот кончил, помедлил секунду и зашагал вперед. Подошел к господам.

— Сач, так это вы!—удивленно воскликнул князь.

И только тогда солтыс стянул с головы шапку, поклонился, пожал руку Медекше.

— Приходский священник сказал мне, что я увижу здесь князя,—удовлетворенно объявил он.—И вот я его вижу в добром

здравии,—заклучил он. Голос у него был резковатый, бесцветный, выговор выдавал уроженца восточных окраин Польши.

— Что ты можешь видеть,—рассмеялся Медекша.—Темно!—И разом перешел на серьезный тон.—Вы, Сач, уже давно не у графини?—спросил он.

Но солтыс вступился за свой комплимент.

— Вижу, значит, что во здравии, вы ведь, господин князь, прямо держитесь.—А потом уж о себе, тоном, который слегка укорял Медекшу за забывчивость, поправил его:—Я у госпожи графини не служу после нашей войны с русскими. Теперь своими сетями живу!

Но князь помнил его довольно хорошо. Не раз толковал с ним у своей кузины, где Сач надзирал за прудами—с малых лет он знал толк в рыбной ловле, сам из семьи потомственных рыбаков. Медекша пояснил Ельскому:

— У них тут деревня вот уже сто семьдесят лет на королевской привилегии.

Пока Сач беседовал с Медекшей, староста ждал, теперь же, воспользовавшись тем, что Сач в разговоре был отодвинут на второй план, снова накинулся на него.

— Солтысу тут делать нечего,—скомандовал он.—Идите-ка домой спать!

Мужик отыскал глазами приходского священника.

— Простите, господин староста,—вежливо проговорил он, но уходить не торопился.—Я здесь не как солтыс...

— Мне все равно,—оборвал его староста.—Здесь имеют право находиться господа из Варшавы, а кроме них, я и ксендз. Из деревни—никто!

— ...но тоже по службе,—вернулся к своему Сач.

Старосту это глупое упорство вывело из себя.

— Я вам ясно сказал, что мне тут солтыс не нужен. Ведь, кажется, по-польски говорю, а?

Сач весь съежился, словно во время грозы, но не ушел.

— Я тоже здесь по делу,—попытался он объяснить свои иными словами,—от костельного комитета.

Ксендз до сих пор не вмешивался, уверенный, что все тут же разъяснится. Теперь он прекратил спор:

— Господин Сач—председатель комитета. В его обязанности входит надзор за всеми работами в костеле.

Затем коротко напомнил, какие права у комитета, но староста главным образом вслушивался в то, что внушал ему зазвучавший в его памяти голос воеводы. Распоряжение было такое: никаких посторонних лиц, а вместе с тем—никаких скандалов! Черт бы его побрал!

— Пусть остается,—решил он, пожимая плечами, вот ведь никак не могут двух слов связать, когда разговаривают с представителем власти, и с нескрываемым презрением добавил:—

Так сразу бы и говорили. Откуда мне знать, кто там у вас в каком комитете!

— Сто семьдесят лет. Ну и ну!—удивляясь на все лады, отозвался, как только умолк староста, Ельский. Оценят ли такт, спросил он сам себя, с которым он предлагает позабыть о вспыхнувшей стычке, молниеносно возвращая разговор к прежней теме? А вслух спросил Медекшу:—Правда, что они пользуются столь древней привилегией?

Князь рассмеялся. Вот эпоха, для которой все, что старше ста лет, уже древность.

— Она распространяется даже на лов допотопных видов!—трудно было Медекше удержаться от этой шутки. Потом он подавил в себе желание весело съязвить и подтвердил серьезно:—Пользуются! Пользуются! С тех пор они постоянно извлекают из нее выгоды, а она поддерживает в них жизнь, словно акведук, приносящий воду из дальних мест.

Ельский закутал шею. Ветер пригнал откуда-то слабенький дождичек, покапало немного. Этого еще не хватало!

— Дождь!—возмутились одновременно Черский и староста.

Но дождь этим и ограничился. Тем не менее никому больше уже не хотелось оставаться под открытым небом. Все подумали о душном доме приходского священника.

— Ждем?—спросил ксендз старосту.

— Я бы отбарабанил без них,—заявил Черский.—Приедут—подпишут, а нет—так нет! Там явно что-то стряслось.

Вмешался Сач:

— Эти господа из Бреста едут на телеге. Такси у них испортилось. Ведь присылали же к ксендзу с почты мальчонку?

Черский продолжил свою мысль:

— Мы тут до костей промерзнем, пока до чего-нибудь достоемся.

— Может, ко мне, чайку попьем,—пригласил ксендз.—Лето, а ночь прямо осенняя!

Пес твякнул раз-другой, потом помчался к костелу и залился лаем.

— Все еще какие-то люди там крутятся!—раздраженным тоном сделал староста открытие.

— Сторож костельный и еще каменщики,—объяснил ксендз,—но они в склепе.

— Давайте замуровывать, и точка!—потерял терпение Черский.

Он не замерз, но устал стоять. Устал и от места, которое было ему не по вкусу. Между кладбищем и костелом! Хорошо оно для какой-нибудь романтической истории, да и на войне тоже неплохо. Если в караул или в разведку. Черский нахмурился. Да! Была одна такая, даже очень похожая на эту ночь. За Кельцами, в самом начале войны. Такая же вот смена у костела, как здесь.

Сигарета за сигаретой, разговоры. О будущем, о Пилсудском. И о разного рода венско-польских политиках, которых Ольгерд так ненавидел. Ольгерд, Ольгерд, боже! Вся эта история с ним, но это уже гораздо позже, какое жуткое потрясение. А поскольку Ольгерд был другом, вспоминая об этом, трудно не вспомнить, каким же непримиримым врагом он стал потом. И хотя его нет, все равно он постоянно тот же — враг спокойствия.

— Я иду! — Черский больше не колебался, но ему хотелось теперь, чтобы с ним кто-то был. Он обратился к Ельскому: — Пойдемте со мной.

Пес оперся лапами о стену. Облаивал дорогу.

— Там наверняка люди, — крикнул староста. Вбил себе в голову, что кто-то в деревне следит за ними. А может, из окрестных усадеб или, того хуже, подкрался какой-нибудь журналист из города?

Медекша пошутил:

— Правда, что здесь есть привидения? — простодушно спросил он ксендза.

Сач, который прислушивался не едет ли кто на дороге, объявил:

— Телега!

— Может, они!

— Из Бреста? — любопытствовал староста.

Пес так разлаялся, что ответа расслышать было невозможно.

— Черт возьми, да уберите же наконец эту проклятую собаку! — не выдержал староста. — Освященное место, а она тут носится.

Сач пробурчал себе под нос:

— А сам на нем стоит и ругается. — И громко объяснил: — Пес этот ксендза.

Значит, как бы на христианских правах. Эх вы, люди! — подумал староста, но промолчал. Поднялся на цыпочки. Вглядывался в темноту. Забрэнчала телега по булыжнику. Миновала дом ксендза.

— Когда тут была война, эта, самая последняя — ни с того, ни с сего начал Сач, посчитав, что слишком мало было сказано о старой привилегии на рыбную ловлю, — приехал из города один, самый большой начальник, отобрал у нашей деревни разрешение на ловлю, дал разрешение ловить всем. Но местные ни ногой сюда, даже раков не ловили. Почитали старый закон, ибо его издал король.

— А усадьбу-то вы ходили грабить, — язвительно заметил староста. — Есть тут имение, — обратился он к Ельскому, — владеет им со времен потопа одно семейство, — наверное, это услышанное им когда-то выражение понравилось ему. — И что же, почему же крестьяне не проявили уважения к нему, а только к вашим рыбам, господин Сач?

Солтыс ответил с достоинством:

— Ибо привилегия на рыболовство дана не господам, а людям. Честь в том, что крестьянам дал ее король. Эту честь и уважили.

Черский все меньше понимал, что происходит вокруг. Нервы у него расшалились. Он все время вмешивался в разговор, как только сталкивался с чем-то непонятным. Даже если речь шла о предметах, ему безразличных. Лишь бы какая-никакая, но ясность.

— Вас,—спросил он,—Сач зовут? А у меня работает Юлиан Сач. Он кто, ваш родственник?

— Это сын,—объяснил старик и выжидательно посмотрел на полковника.

Но, попав в голову Черскому, такая подробность тотчас же и затерялась в ней. Проклятые похороны! Не могло разве вообще все это пройти иначе? Интереснее? Староста, видя, что Черский оставил тему, которой едва коснулся, решил снова вернуться к ней, дабы показать свою осведомленность в том, что делается у того в доме.

— Очень способный!—сказал он, склонив голову к плечу, будто впервые это понял и крайне удивлен.—К женщинам его не тянет, в рюмку не заглядывает, в карты не режется. Далеко может пойти!

Сач пробормотал что-то невнятное в благодарность и низко поклонился. Староста, которому казалось, что он затронул вопрос, касающийся только Черского, к собственному неудовольствию убедился, что интересуется он прежде всего старого Сача.

— Не за что вам меня благодарить,—резко ответил он и как-то невпопад закончил: —Поблагодарите господина полковника за то, что он его держит.

Черский, услышав свою фамилию, даже не шевельнулся. Крохотное красное пятнышко от сигареты освещало его лицо. Он морщился, дым ел глаза, губам все труднее становилось удерживать окурочек, на котором должны были еще разместиться и пальцы. Наконец он бросил сигарету. На малюсенький огонек упала капля. Он зашипел и погас. Влажно!—подумал Черский. Где те времена, когда он ложился на такую землю и спал. Тогда, пожалуй, так не мерз. Только наверняка тогда и проникли в него и этот холод, и усталость, и этот голод, о которых сегодня и думать не хочется. Черский вздохнул. Чудесные дни! Но кому хочется возвращаться в те, пусть даже героические минуты. Не ему! Кому-нибудь из давних его товарищей! Если родина платит, чего еще желать. Погрузиться в негу, в лесть, в тепло безопасности. Конечно, и сегодня геройство—дело хорошее, вот если бы только не так холодно. Смелость смелостью, но за нее ведь приходится расплачиваться физической немощью. Он отогнал эти мысли.

— Нечего ждать. Я возвращаюсь,—сказал Черский.

Ксендз за ним. Тогда он остановился, посмотрел, кто еще идет, ну что ему приходский священник, которого он едва знал. Ему хотелось бы кого-нибудь, с кем разговор вышел бы поинтереснее.

— Господин Ельский,—позвал он.

Тем временем двери в костел отворились. Водянистой полоской полился из них свет.

— Еще один!—сердито констатировал староста. И тут же успокоился, разглядев, что это костельный сторож.

— Что там?—отрывисто спросил ксендз.

— Каменщики спрашивают: можно начинать?

Ксендз, не зная, что ответить, повернулся к остальным.

— Ну как, господа, решаете?

— Потерпите,—попросил староста.—Минуточку терпения.—Но у него самого терпение было на исходе. И когда Сач предложил выслать навстречу господам из Бреста «такси», староста набросился на него.

— Помните раз и навсегда,—взъерепенился он,—я на такси не езжу. Такси стоят перед вокзалом, любой может сесть, поехать и заплатить. А то, что есть у меня, называется автомобилем.

— Значит, не даст!—так понял гнев старосты ксендз.

— Снегожецкий!—крикнул он.—Отнесите им по рюмочке.

Стало быть, опять им тут торчать! Черскому стало скучно. Ну и влип! Да и вообще, что с ним происходит? Всегда держал людей в кулаке. А сегодня ночью, неведомо отчего, не может им навязать своей воли. Этот ветер, эта собака, этот холод, бог знает что!—вдохнул он. Кладбище, костел, тьма. Не в его вкусе природа. А тут еще разные шорохи стали громче. Он нашел на колокольне веревку, напрягся и стал ею размахивать. И хоть бы от этого беспокойства в воздухе тишина казалась бы приятнее! Куда там. Хуже всего эти таинственные, молчаливые полеты ночных мышей. Разумеется, размышлял Черский, ночью без них не обходится ни один костел. В тусклом свете, сочившемся из открытых дверей, Черский разглядел лицо князя. По крайней мере он-то не поддался общему настроению. Держится, улыбается. Оставлю-ка я этого Ельского, подумал он. Ведь даже не отозвался. Замерз, что ли? Возьму Медекшу. Тот как раз заговорил:

— Точность—это вежливость королей. Но что-то Станислав Август не торопится выказать нам свою вежливость.

Теперь удивился старый Сач. Ксендз сказал ему только, что есть распоряжение заново замуровать могилы Чарторыйских. Каждый в деревне знал, что Чарторыйские лежат под костелом. Правильно ли он понял, что теперь будет покоиться там и король? Сначала он спросил:

— Так князь приехал не из-за семьи Чарторыйских?

Медекша ответил:

— Нет! Но из этой семьи был король.

Сач почувствовал, как горячая волна накатывается ему на сердце. Все стало проясняться. Он подскочил к Медекше.

— Король Понятовский?—просил он подтвердить правду, о которой уже догадался.—Это его гроб?

Ксендз не успел предотвратить неминуемое. Какая глупость была верить, что дело не вскрыется, укорил он себя в душе. А князь Сачу:

— Ну да!—И подозрительным тоном:—Вы что, этого не знаете?

— Только бога ради!—принялся заклинять ксендз.

Крестьянин посмотрел на костел. Снял шапку. Провел рукой по лбу, пригладив вихры на правую сторону. Уже совсем стемнело. Черную тишину вокруг прорывали то какой-нибудь огонек, то чей-то голос. Из растворенных дверей полился свет, но слабенький, и приятнее было в тьму смотреть, чем на него. Сач мысленно переступил порог, по ступеням спустился в подземелье. Ниши занимали там—одну подле другой—князя, засунутые, словно хлеба в печь, ногами к центру sklepa, эдакая роза ветров, так девушки на заморских пляжах забавы ради укладываются венком. Здесь покойники пальцами ног упирались в стену, поддерживая плиту и надпись, все сплошь громкие фамилии. Плиты тянулись рядами, одна над другой. Черные, но попадались и белые, словно на огромной шахматной доске, некоторые побиты; те, что у самой земли, напоминали стволы деревьев у дороги, серые от грязи. Две плиты были сняты, и останкам из обеих ниш теперь предстояло покоемся вместе, а в освобожденной—королю. Пока что он дожидался в костеле. В гробу из стального листа, блестящем, новом, схваченном несколькими обручами или металлическими ремнями. Что ему положили у ног?

— А этот маленький ящичек тоже гроб?—поинтересовался Сач.

И покраснел. Ну что плетет? Какой же это гроб, когда это ведь не гроб! Его занимало только одно, для останков ли это. И чьих. Может, какого ребенка, но разве такие крохотные бывают. Не дай господи, для попугая или кота.

— Тоже,—ответил князь.—Король предназначил его для своего сердца.

Зачем он так сказал? Во время бальзамирования вынимают внутренности и сердце. Вот для того и ящичек. Но князь все еще не отошел от своих забот. Так хоронить короля. С таким равнодушием. Может, он растрогает Сача этим сердцем. Но что-то не похоже. Мужик насушился, разозлился, стиснул зубы.

— А этот дорожный гроб,—бормотал он, думая о металлических обручах,—откуда он у него? От русских!

Медекша не знал.

— Пожалуй,— задумался он.— Хоронят его так, как привезли. Сач отвернулся и сказал тихо то, чего уже не мог в себе удержать:

— Зачем его надо было везти!

Князь, толком не поняв его, закричал:

— И ты против него?

Он не обратил внимания на руку, которая в темноте сжала его ладонь.

— Человек из его деревни!— горько удивился он.

Здесь родился будущий король. Об отце его, которому достался Волочин, приданое жены, из истории известно, что был хорошим господином. Если сын—никудышный король, то сюда он пришел сложить свои кости как сын не самого дурного помещика. И все равно плохо!

— Я не против!—изменившимся голосом заговорил Сач.— Я не о том. Разве же мы не знаем, что это был за король. Наш он был. Деревня знает его. Деревня встретила бы его триумфальной аркой, какой никакому епископу не поставила бы. Я теперь понимаю, что сегодня ночью тут затеяли. Мусор сторож со двора по ночам выносит, когда все спят, но не такую особу. Ведь никто из простых людей не должен его ночью видеть. Один только я. Я политик. И что после таких похорон будет, я тоже знаю. Но не выйдет этого, пусть правительство хоть из кожи вон вылезет.

Князь перестал его понимать. Мужик был явно взбешен. О чем это он?

— А чего тут может хотеть правительство?—допрашивал Медекша.

Сач вынул из него глаза. Как чего?

— Рыб!—прошептал он, напирая на это слово.

— Рыб,—повторил за ним князь.

— Ну да, наших рыб.—Мужик не собирался ни жаловаться, воспользовавшись случаем, ни осуждать кого-нибудь, он хотел только предостеречь, что отлично понял, какие тут ставки в игре.—Здесь уже крутят-вертят, чтобы правительство отобрало привилегию и сдало в аренду. Но никто из здешних аренду не возьмет!—Теперь Сач заговорил медленнее. Пусть-ка Медекша хорошо все поймет и в Варшаве повторит.—А если чужой возьмет, то потеряет. Рыба не любит менять хозяев. Она что пчела. А здешняя рыба особенная. Ее нужно чувствовать до тонкостей! Тут знают, как ее сберечь. И хорошо знают, как ее извести!

Он весь трясся от возбуждения, грозил, ничего не боялся, был великолепен.

— За сто семьдесят лет,—растолковывал он,—деревня многому научилась. И уж если есть у нее такое стародавнее право, то и бояться нечего. Одно вот только плохо,—он презрительно отмахнулся,—новый закон лишь и свят.

Медекша едва успел проговорить:

— А какое отношение имеет к этому король?

— Это он дал вам такое право?— даже не спросил, а скорее ответил сам себе Медекша.

Вся фигура Сача, его пришедшие в движение руки, надутые щеки— все выражало переполнявшую его радость, которая отдавала гордостью и почтением.

— Вот видишь, господин князь, как оно?— сказал Сач, казалось, всем своим видом он хотел устыдить Медекшу. Приехал, мол, сюда, а не знает!

— Должны были взять это чужие,— проговорил наконец Сач,— а он предпочел отдать своим.

Сач повернулся к старосте за подтверждением.

— Не один документ, не одна печать говорят о том. В суде, в воеводстве, в кадастре. Как бы кто тут ни подкапывался, бумага погибнуть не может. Даже если из города ее стянут, многие в деревне сняли с нее заверенные копии. И хорошо припрятали, вот. Если потеряют, станут отрицать, тогда-то только мы ее и предъявим.

Сач продолжал бы так и дальше, но его прервал пес, который, опершись лапами о стену, принялся выть.

— Ну, довольно, господа!— пытался перекричать его Черский.— Господин Ельский, господин Медекша!— обращался он к каждому.

И чувствовал, как гнев и нетерпение все нарастают. Вот тебе и вяпался!— бранился он, злясь на себя, как человек, который знает, что покраснел, но никак не может совладать с собой. Теперь его уже всего трясло. Испортится самочувствие, появится ощущение безнадежности, приползет страх. Растревожится человек— и от старого, и от нового. Жизнь покажется потраченной зря, утопленной в мерзостях. Черский сделал несколько шагов. Что же это не слышать его. К черту!— он был готов схватить за руку первого встречного, чтобы составил ему компанию, лишь бы не быть больше одному.

— Ну!— вопил он. И тут пес разошелся вовсю.

— Помнить о нем тут помнят, а вот словом вспоминать— не вспоминают,— продолжал Сач рассказывать Медекше,— но молиться за него будут.

Черский остановился подле них. Расставил руки. Загонял их в калитку.

— Пожалуйте, господа,— звал он наигранно беззаботным тоном,— а то что же, только могильщикам и достанется! Ксендз, верно, и нам поднесет по маленькой. Ну-ну, пошли же!— и нервно стал подталкивать каждого из них руками. С Медекшей хлопот не было. Сач застыл на месте. Черский уперся в него, словно в столб. Бесполезно.

— И вы идите,— упрасивал он, только бы компания была

побольше. Он уже плохо соображал, кто это, уговаривал бестолково.— Кто-нибудь из людей вас заменит.

— Я останусь,— сказал мужик.— Из людей-то я здесь один, так что некому моего места занять, чтобы помолиться за нашего благодетеля.

Глаза у Черского даже засверкали, так он посмотрел на Сача.

— За Августа?— осторожно переспросил он. Собственной догадке он не поверил, но о ком бы еще могла идти речь?

Сач, казалось, только того и ждал, когда они отойдут, чтобы пасть на колени. Медекша ответил за него:

— Отчего вы, полковник, так изумляетесь, что нашелся человек, который ведет себя, как и положено в данных обстоятельствах? Когда на обед приглашают, сидишь ешь, носом не крутишь. На похоронах тоже нечего капризничать. За покойника следует помолиться.

Но удивление лишь на миг приглушило желание Черского поскорее вырваться отсюда.

— Ясное дело!— согласился он.— Пусть остается. Не надо ему мешать. Пойдемте, князь!

Медекша наклонился к Сачу, шутливое выражение сошло с его лица.

— Может, лучше сейчас снести гроб,— прошептал он.— Совсем легкий, что там от тела осталось!— И вздохнул, пожалев королевские останки.— Поставить, как предусмотрено, и пусть замуровывают без нас. Не уважают покойного эти господа из города. И чего им ходить по пятам за тем, кто отправляется на вечный покой. Ну что?

Сач закивал головой. Он был того же мнения. И тогда Медекша непринужденно взял Черского под руку.

— Дед мой,— начал он рассказывать семейный анекдот, соль которого состояла в том, что один из Медекш на похоронах собственной матери, сильно затянувшихся, не дал епископу выступить с прощальным словом над могилой. «Ничего не поделаешь,— заявил он,— поминальный обед стынет!»

И все в том же роде. У калитки он опять чуть задержался. Остальные тоже покинули костельный двор.

— Что вы там выглядываете?— забеспокоился Черский и потянул Медекшу. Снова послышался вой.

Князь не сопротивлялся. Проворчал только:

— Вот ведь у нас кого растрогало прибытие на родину останков короля. Мужика да собаку!

Когда у него немела рука, он покорно брал свечу в другую, но всякий раз с надеждой разглядывал стену, не найдется ли какого выступа. Исцарапанная, шершавая, вся в трещинах, она, однако, нигде не выкрошилась настолько, чтобы можно было найти место для свечки. И костельный сторож держал и держал свечу, менял

руки, обе уже ныли от усталости, все в жирных, серых, стеариновых слезах. В большом проломе внизу стоял гроб.

— Ну!—подгонял он рабочих.—Теперь плиту, и баста!

Каменщик, помешивая мастерком известь в ведре, поморщился и выпрямился. Надорвался, снося гроб в склеп, и теперь у него разболелась поясница.

— Вечное ему упокоение!—равнодушно произнес он и удивился:—Ну и тяжесть же потащил он с собой на тот свет.

— Сам-то он легкий,—вспомнил Сач.—Когда вы гроб наклонили, столько там внутри ссыпалось в одну сторону, как в погремушке. Но сам-то он не в деревянном гробу лежит, а в свинцовом, который там внутри.

Могильщик авторитетно объяснил:

— Известное дело, господский обычай! Коли на железную дорогу господа соберутся, то сначала наденут шубу, потом бурку, а на нее еще и доху, точно так же и в могилу—гроб в гроб. А ты, брат,—насмешливо посочувствовал он,—отправишься в землю в одном!

Сторожу не хотелось продолжать разговор в таком духе.

— Ну так и что,—отозвался он.—Если у кого на жизнь не хватало, и на смерть, значит, не хватит. А если было тут, то будет и там. Не дожدهшься, чтобы и здесь все стало поровну. Как это богатоу на том свете показаться, если в костеле хорошо не заплатить. А брать-то можно лишь за качество похорон.

Каменщик начал с издевкой, но по ходу дела и сам погрустнел.

— Надули тебя князя,—прикидывал он,—раз решили перенести свою кончину из этого имения в другой приход. Надо было тебе с ними отправляться и до смерти от них не отлучаться, вроде как поклялся им в верности до гробовой доски.

Не пустые то были слова для сторожа. Райским, верно, казалось это место людям, которые служили здесь костельными сторожами до него!

— О!—Он горделиво выпрямился и провел рукой по золоченым буквам, словно по струнам. Несколько стеариновых капель упало на землю.—Сколько тут их лежит.

И так ведь могло быть и дальше! Он рассеянно смотрел прямо перед собой, потом взглядом стал искать какие-то следы, словно ресторатор, который глазами провожает постоянных своих гостей, отправляющихся пить в другое место.

Могильщик оглядел плиты. Все были очень старые.

— А ты-то ни одного не похоронил!

Сач получил приказ молчать о том, что узнал, но мысли его все время возвращались к этому.

— Из этих князей вышел наш король Понятовский!—вмешался он.

Каменщик захохотал.

— И эти похороны,—трудно порой не посмеяться над сторожем,—тоже из твоих рук ускользнули!

Сач посмотрел на них. Капельки пота все еще поблескивали на их лицах, намучились они с этим гробом, но никто из них не ведал, что творил.

— Много бы ему тут перепало!—буркнул Сач.

Каменщик продолжал хохотать.

— Может, шляхтичем стал бы!

Сач повторил:

— Много бы ему тут перепало!

Что ему было противопоставить этому смеху. Ксендз сказал им, что они хоронят какого-то родственника князей, перенесенного сюда для порядка из другого места. При жизни, видно, намыкался по чужим углам. Пожалеть бы его, да стыдно. Потому и обряд ночью. Каменщик подошел к Сачу. От него несло ксендзовской водкой.

— А это тоже?—спросил он. И показал рукой на дыру у основания плиты. Тронул ногой ящичек.—Туда пойдет?—переспросил.

Сач не на шутку перепугался. Ничего удивительного, если бы за такое дело каменщик в камень превратился. Но тот шевельнулся. Сач наклонился к нему.

— Оставь,—сказал он,—ты с этим не балуй. Это его сердце.

Сам взял ящичек и пододвинул к черной дыре.

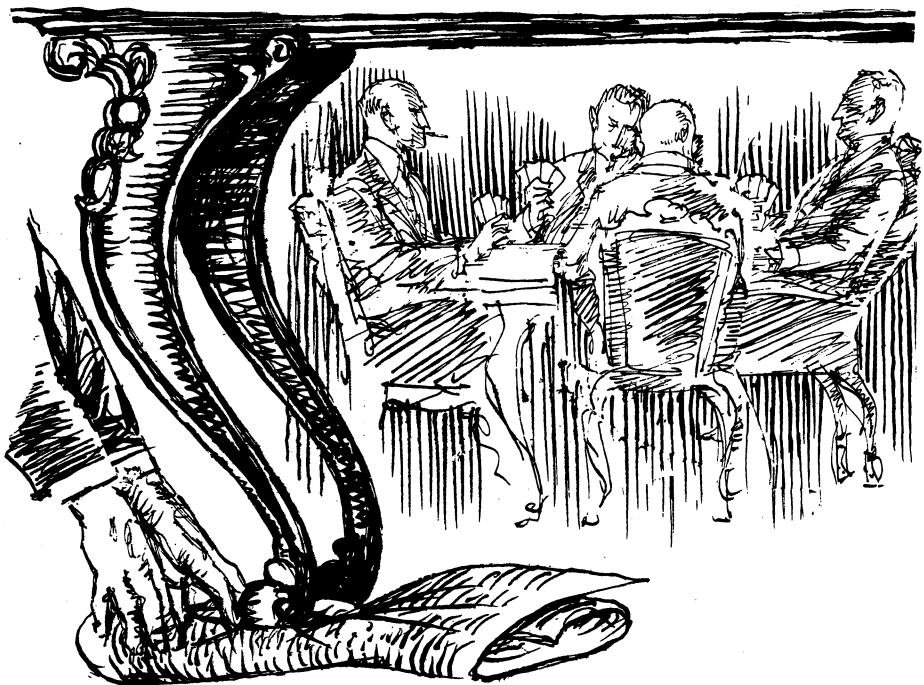
— Сердце?—поразились все.

Сач выпрямился, голос у него дрожал.

— Тот, кто в этом гробу,—наставительно заговорил он,—отделил его от своих останков, телу предстояло покоиться в склепе, а сердце он оставил близким, да никто не пришел за ним.

Все посмотрели на ящик, чтобы лучше уяснить услышанное. Каменщик мягким движением вставил его внутрь, но, чтобы не подумали, будто Сач им командует, снова решил пошутить, хотя ему было не до смеха.

— Нехороша жертва ксендзу,—сказал он,—воротись, грошик, в карман!



00

Не пью, в бридж не играю, за женщинами не волочусь, так что со временем брошу службу, иначе на всю жизнь останусь здесь ничем!

Что это секретарь Черского так привязался!—Ельский постоянно чувствовал на себе его взгляд. Пододвигается, слово у него уже на кончике языка, весь извертелся, так его и подмывает, раз пять уже хотел что-то прошептать ему в ухо. Ельский кивнул головой, словно услышал, но всем показал, что не слушает. Однако заметил, что тот теряется в такой пустяковой ситуации. И зачем пускать такого щенка во взрослое общество. Но, может, оттого, что людей тут не хватает, иначе и компанию не составишь! «Ах, уж эта провинция!—вдохнул он.—Провинция,—повторил он,—классическая!» И снова бормотанье.

— Мне нужно многое сказать вам, господин советник.— Шипенье секретаря ввинчивалось в ухо Ельскому.— Может, попозже удастся.

Ельский опять кивнул. Достаточно ли такого, чтобы возмутиться. Это бы только обратило на себя внимание. Ну и нахал. Словно самец, у которого месяцами женщин не было. Набух страстью, только бы разрядиться. Уж и сдержаться не может, так у него свербит выболтать какой-нибудь секрет. Кого он здесь хочет подцепить на крючок. У воеводы, кажется, позиция крепкая, а все остальные тут — его люди. Здешнее грязное белье? Неужели эта вонючка полагает, что гость из Варшавы затем и приехал, дабы ходить по домам и устраивать постирушку. А что, если встать и подсесть к кому-нибудь другому? Но это не лучший выход. Местные должны добиваться его общества. Не он же! И опять!!

— Я тут только жду кое-кого из своих, — продолжал откровенничать секретарь почти беззвучно. — Вот-вот буду готов.

Это уж не простачок из маленького городишка, а прощельга. Или какая-нибудь провокация. Кому бы, однако, пришлось тут подобное в голову. Пошел бы на это Черский? Нет, вот ведь он сам этого гуся зовет к себе.

— Господин Сач, — крикнул он, — столик для бриджа! Ельский встал.

— Сач — это вы? — спросил он громко, желая объявить, что и понятия об этом не имел.

— Так вы меня не узнали? — Молодой человек совсем растерялся. Покраснел. Со слабой надеждой спросил еще: — Но моя фамилия...

— Я только что виделся с вашим отцом, — оборвал его Ельский. Не сегодня, так завтра пронюхает, откуда я взялся. Чересчур уж пройдоха, тут для него, верно, тайн не существует. И мне на руку будет сказать, что я говорил с ним о его папочке. Он добавил: — Какая колоритная личность!

Значит, не узнал! Сач помрачнел. Ничего обо мне не знает, может, и не хочет знать. Он замолчал. Сбитый с толку, медленно расставлял карточный столик. Так, стало быть! Варшава, битых два года столицы, бесцельных шатаний и вынюхивания! Чего только он не нашел, и наконец ее голос. Предвестие дела. Как же он не помнит. Был ведь!

— А как у варшавянина с музыкальным слухом? — спросил Ельского Черский.

Ельский протянул карту.

— За мной! — Полковник почувствовал, что судьба сделала свой выбор, и принялся разглядывать Ельского. Партнер! Совсем новый. К такому стоит немного поприглядеться. Нервный! Будет неуравновешен.

Но пока что Ельский был только рассержен. Других сначала пригласил. Его — последним. Тут какое-то пренебрежение. И еще хуже — отсутствие интереса. Взбеситься можно. Приехал бы сюда инспектировать, тогда ходили бы гурьбой за мной по пятам,

только бы прорваться ко мне. Лишь в последнюю минуту, лишь как необходимость. А так, сидят, словно кем-то рассажённые, каждый у своей печки, греются, лениво отмахиваются словом от тишины, спиной к дверям, в которые входит кто-нибудь из большого мира. Так думал Ельский. Выложил карты. Черский покопался в них. Исправил некоторые неточности, а также порядок мастей. В козырях тройка на столе лежала у Ельского перед семеркой. Наведя порядок, Черский глубоко вздохнул.

— Ну!—добродушно сказал он, не придавая значения только что им содеянному.—Теперь можно играть!

Играть он умел очень быстро. Тотчас же и кончил. Одной рукой переложил, другой взял карты, выровнял колоду, отдал направо тасовать, мгновенно сделал запись и перед раздачей еще успел поболтать.

— Не уезжайте-ка вы завтра,—он не столько даже приглашал, сколько удерживал тут Ельского,—у вас есть случай присмотреться к моей работе. Мы здесь развернули гигантскую стройку. До сих пор Польша развивалась неравномерно. Запад ее—культура, Восток ее—дикость. Правая рука—рука Голиафа, левая—просто тряпка. Вот и выходи с этим на мировой ринг! Я тут как раз эту левую лапу и массирую. Строю вторую Силезию, второе Познанское воеводство, чтобы уравновесить весь наш Запад. В Пинске у нас исполнительное бюро. А планы мы разрабатываем здесь и в Варшаве. Думаем, как подтянуть этот отсталый край, который не сумел пока даже сделать должных выводов из того факта, что потоп кончился. Польша рот разинет, увидя, что тут под водой,—есть уголь и есть железо. И в мечтах такого не пригрезится, что можно из-под этих болот вытащить. Оставляйтесь-ка!

Настроение у Ельского немного поправилось. Такой уж, наверное, экземпляр, подумал он. По уши в своих делах. Ни люди его не интересуют, ни новости, само спокойствие после работы, от которой он берет и которой отдает все. «Великая промокашка Полесья»,—вспомнил он карикатуру из сатирического журнальчика. А об этом угле, пожалуй, сушая чепуха! Впрочем, кто знает. Во всяком случае, фигура с размахом! Был некогда вице-министром. Не позволял величать себя министром¹. Год назад, по слухам, отказался от министерского портфеля. Не захотел бросать работы здесь. Да что тут много говорить—положительный тип. Для оппозиции—преступник, ведь он же якобы убил этого Смуклу. Ну так что же, майский переворот был нашей надеждой². Всякий, кто сражался за победу, мог забрызгаться кровью.

¹ Давний обычай в Польше, сохранившийся до сих пор, при обращении к должностному лицу называть его рангом выше (вместо вице-министр—министр).

² В мае 1926 г. Пилсудский совершил военный переворот и захватил власть в Польше.

Ельский облегченно вздохнул. Он был благодарен судьбе, что те, старшие, взяли на себя роль головорезов, а теперь для его поколения дорога расчищена, лужи крови на ней давно высохли. Они могут с чистой совестью унаследовать власть—как состояние отца, нажитое мошенничеством. Слыхано ли, чтобы за такое придирались к сыну. Ельский снова открыл карты.

— Вы, господин полковник, все за меня трудитесь.— Он встал. Заглянул в карты Черского.

За игру можно было не беспокоиться. Скользнул взглядом по рукам сановника, поросшим жиденькими черными волосиками, в коричневых пятнышках, синюшные, уже чуть скрюченные годами, прославившиеся одним этим убийством, тайна которого все еще крылась в этих пальцах старым проклятием. Стрелял, говорят, он сам. К проблеме этой то и дело возвращались подпольные издания различных организаций. В последнее время, впрочем, все реже. С тех пор как правительство перестало обхаживать разного рода левых, какая кому польза напоминать о страданиях мученика-радикала, каким был Ольгерд Смулка, партийный товарищ всех моголов санации, которым он за какие-то грехи времен становления нашей государственности мысленно навязал пожизненный обет—отказ от власти. А тут май! Смулка составляет памятную записку из расписок и документов, которые у него сохранились. Не скрывает, что со всем этим намеревается пойти к новому президенту. Однако кто-то опередил его и пришел к нему сам. Официальная версия утверждала, что бандиты. Но к чему им было жечь бумаги. И зачем властям понадобилось опечатывать квартиру. Три недели держать ее запертой. Направлять туда толпы полицейских агентов и не впускать в нее никого из родственников. И выдать труп после вскрытия под честное слово, что похоронная процессия не пройдет через город, а траурная церемония состоится в часовне при кладбище на Повонзках. И пуля, которая тогда пропала, ибо могла выдать калибр оружия. Одна-единственная. Прозвучал только один выстрел. В упор.

— Роббер!—Черский с удовлетворением потирал руки.—Ну, мы и закрутили. Это мне нравится. Не дадим противнику и пикнуть!

Ельский был свободен. Черский сообщил ему об этом:

— Вы первый,—и, склонив голову набок, чтобы проверить сделанную мелом запись, произнес уже более теплым тоном:— А затем я.

Вот она, та самая карикатура! Изумительно! Ельский улыбнулся. Свет отражался в стекле. Надо немножко отклониться назад. Теперь хорошо! Черский—прачка—рукава засучены, бюст, фартук—пропускает через отжималку Полесье. А справа—другая. Поменьше, и рисунок уж не такой. Полковник, сильно запрокинув голову, залпом пьет из огромного кубка—Полесья—и подпись

«Черский, добрая душа, осушил Пинск до дна». Видно, он дорожил этой коллекцией, это были не вырезки из газет, а оригинальные рисунки. Заказывал их карикатуристам или доставал в редакции? Во всяком случае, чувство юмора у него есть, и, поощряя культ своей работы, он допускает, что можно посмотреть на нее и с ухмылкой. Это в размышлениях Ельского и перевесило чашу весов. Он благосклонно улыбнулся рисункам. Есть в этом что-то западное, он смаковал открытие такого сходства, что-то английское. Какая-то свобода. Превосходство, которое разрешает немного и поиздеваться над собою, ибо оно само знает себе настоящую цену. Всякий раз, когда он говорил об этом или думал, сердце Ельского начинало колотиться. Стиль! Стиль! Наряду с другими ценностями его поколение должно принести с собой и стиль! Конец всем этим легионерским замашкам. В последнее время на Совете Министров уже не говорят—мировб! Что с того, когда у большинства наших чиновников такое то и дело слетает с языка. Ну и язык! И глаза Ельского устремились к потолку. В голове зазвучали сладкие звуки славословий, которыми они убаюкивали друг друга на фольварке у Дикертов. Тон научного доклада, который читается в салоне. Вот так!

Ельский вздохнул. И, как бы пытаясь пощупать пальцами, он сам себе демонстрировал, сколь тонка материя, о которой он фантазирует. Ельский поморщился. Да! Решительно так. Из речей вытравить всякий след солдатских столовок, митингов, съездов. На этом вырастает общественный деятель, но государственному мужу такое не к лицу! Афоризм этот принадлежал Дикерту, который в некоторых вещах разбирался отменно. Он никогда не терялся. И что самое главное—всегда готов помочь. Это уже половина карьеры. Остальное сделает время, а вернее, возраст, когда человек сам превращается в покровителя, занимая место, оставленное стариками. Искусство созревания—это умение nasledовать! Вот в чем штука.

Ельский снова склонился над карикатурой. Любопытно, прячет ли он где-нибудь и еще одну, изданную нелегально, на которой он был изображен палачом. Она называлась: «Наши властители». Двадцать четыре портрета, впрочем, рисунок плох, печать неважная, одна грязь, брошенная на государственный Олимп. По большей части далеко от правды, исключение—Черский, где правдой была тень его жертвы, труп Ольгерда Смудки. Ельский отвернулся.

— Взятки не добрать.—Черский признался, что проиграл, положил оставшиеся карты на стол и предался поздним сожалениям.—Еще бы раз прикупить!

Двумя спичками он поправил свечу.

— Может, сигарету?

Ельский закурил. Придвинул свой стул. Посмотрел, что

получил Черский. Одни картинки! Кончат, подумал он, и я войду.

— Маленький шлем.— Черский заставил партнера встать.— Довольны, а?

Тот пробурчал:

— Карты, можно сказать, грудастые.

Но Черский почувствовал, что тот пальнул это, хотя сам и сомневался в чем-то. Заторопился, раздвинул его карты, задумался на минуту и не нашел ничего лучшего, как промолчать. Что-то явно было не так, как нужно. Ельский поглядывал на его растерянное лицо и понял, что положение неважнецкое. Лицо Черского могло бы показаться прекрасным в гневе, если бы не тень страха, а выражение, близкое к глубокой задумчивости, смазывалось бегающими глазками. Да! Не очень удачное лицо! Ельский еще раз оглядел его. Да! Сразу же уставшее от мучающих его страстей, можно сказать: почтенное, если бы не было одновременно и спесивое, хитрое с налетом пройдошества, окрашенное интересом отчасти к заседаниям, а главным образом к танцевальным площадкам. Вдобавок Черский хоть и пил, но не так шумно, как некоторые его коллеги. Знал норму. Это правда. Хоть это и была норма, близкая к алкоголизму. Чего же ждать от таких людей. Все, что они сделали,— наверняка страшно много. В мае, так это расценивал Дикерт, в политическом смысле мы перешли от трехполки к трактору. Вот если бы еще и сам переход совершился в политических рамках! Последний ли это набег в Польше? Может, это реванш от избытка крови, под влиянием которого поляк не раз рубился с поляком, дабы затем вместе с оглушенным потом соперником все запить всеобщим «возлюбим друг друга!»? А может, одна только озлобленность? Взрыв оскорбленного честолюбия?! Старых бойцов с характером старых дев и молодых еще офицеров, у которых уже было прошлое, но которых раздражало будущее без карьер. Этот легион обманутых подтолкнул Пилсудского, они рвались к тому, чтобы не только выиграть, но и отыграться за свои несчастья! Как же трудна для победителей эта стратегия, когда не надо преследовать противника, который побежден и лежит у ног! Этой погоней на месте они еще больше подорвали свои силы да растоптали к тому же множество людей.

Мысли эти опять подняли Ельского в собственных глазах! Что и говорить, он принадлежит к другой эпохе, которая исповедует терпимость! Какое же невежество эти проклятья, это обещания тех, кто хранит верность иному лагерю. И этому противопоставлению Ельский тоже слабо улыбнулся: в его эпоху не повторится тип министра «не комильфо». Ни предмайский министр—голодранец, ни послемайский министр—бандит и грубиян. Он еще раз покружил взглядом по голове полковника—с состраданием, к которому примешивалась и растроганность,—словно это был череп троглодита. Государственный деятель-

бандюга, государственный деятель, который лично берется за столь грязную работу. Тоже мне демократизм! Для этого же есть люди. Самому надо быть безупречно чистым. Понятно, власть не может обойтись без известной доли бесчеловечности, отдавая приказы, но, несмотря на это, каждый человек способен сохранить свою человечность, как можно дальше держась от их исполнения. Первобытный так первобытный! Ельский в конце концов пожалел Черского. Что дает ему эта работа здесь, самая добросовестная, беззаветная. Полесье он высушит до капли. Но и ему люди никогда не перестанут мозги сушить. Да и он сам не без того, чтобы укусить. Смулка, кажется, был старым его другом! И на что ему это!

— Лежим!—без колебаний примирился с поражением Черский, но партнеру все же выговорил с давно сдерживаемым укором:— Не было у вас карт на первое объявление.

Роббер явно затянулся. Ельский поднялся. Ожидая возвращения в игру, не было смысла стоять у партнеров над душой! Лучше уж поудобнее устроиться в соседнем кабинете на диване, может, и с газетой. И он сразу погрузился в чтение. Значит, напечатали! Первый раз в правительственном издании статья о Папаре. Содержание ее Ельский знал, просмотрев статью в гранках, присланных в президиум. Сверил. Весьма любопытно. Почти без сокращений. А это что такое? Выжженная коричневая полоса. Ельский поднес газету к самым глазам. Нет! Кто-то просто прожег сигаретой две-три строчки. Что же за фраза? Какой-то афоризм Папары, целая куча которых приводилась в этом месте статьи. Но какой именно? Трудно вспомнить.

— Пожалуйста!

Он поднял голову. Секретарь Черского протягивал ему какой-то листок. Да! Вырезка из другого экземпляра, но статья та же. Ельский прямо взглянул Сачу в глаза. Что тот о нем думает? В глазах подметил нервозность и упорство.

— Вижу, что в статье, которую вы, господин советник, читали, в одном месте дыра,—обратился к нему Сач.—По целой фразе кто-то тут огнем проехался. Прошу вас, вот неиспорченный экземпляр.

— Курите?—Ельский протянул Сачу открытый портсигар.

— Но газеты не прокуриваю.—Собственная шутка секретарю пришлась по вкусу. Засмеявшись, он подал Ельскому огня.

Ельский промолчал. Сач сделал еще один шаг.

— Тот прожигает,—показал он испорченную газету,—кого это самого обжигает.

— А вас испепеляет охота посплетничать!

Во взгляде молодого человека ничего не изменилось. В голосе тоже.

— Я этот дом знаю,—сказал он вовсе не тихо,—можете говорить спокойно. В зале отсюда ничего не слышно.

Ельский прикусил язык.

— Видите ли,—продолжал Сач,—обидно, что вы меня не помните. Ни меня, ни моего тут дела. Обидно! Вас это удивляет. В провинции легко снова стать чувствительным. Тем более у меня инструкция держаться ото всех подальше. Никаких контактов с нашими здесь. Возможно, это и нарушение дисциплины, но, как вас увидел—ведь наконец-то к нам кто-то из Варшавы, у меня язык весь исчезался.

Напуганный Ельский не проронил ни слова. Сач восхищенно, но не без примеси сожаления заметил:

— Ну и осторожный же вы.

Ельский наконец спросил:

— Где мы могли с вами познакомиться?

А секретарь Черского вспомнил их встречу в мельчайших подробностях. И то, что говорилось у дочери Медекши до прихода Ельского, и то, что сказал Папара о нем самом: «Он нам сочувствует. Он обрабатывает в нашу пользу людей наверху. Не надо только, чтобы он слишком много слышал, а то мы его подставим. Так что об Отвоцке молчок». Зато о Черском Ельский разузнал предостаточно. Что за ним будет по пятам ходить ангел-хранитель. Пусть-ка повынюхивает, какие тот там гадости творит. Наверняка рыльце в пушку. Кое-что на сей счет уже известно. Теперь лишь—сколько, как, что. И свалить в грязь еще одного допотопного бонзу. Сач помнит, как при этих словах Папары Ельский улыбнулся. Вот так!

— У нашего товарища, у Кристины,—напомнил Сач.—Где вождь поручил нам приглядеться к фигуре чудотворца с Полесья! Вот я-то и приглядываюсь.

Ельский облегченно вздохнул. Это еще не так плохо. Куда опаснее для него, коли его назвали бы нашим. Чьим только свойственником он, бывало, себя не чувствовал. Кум на крестинах самых разнообразных движений. Друг дома столько идей, хотя ни с одной из них он близко так и не сошелся. Да, теперь луч света выхватил что-то в памяти. Он зашел к Кристине, у которой вечно сидели какие-то ее приятели по организации. На этот раз такие, которые подбивали друг друга покончить с Черским. Соблазнительный, но трудный удар. Тогда из разговора Ельский даже заключил, что Папара махнет на Черского рукой. Правительство наверняка носится с добродетелью Черского, ибо знает, что и само зашатается, коли он споткнется. За Черского братья смысла не было.

— Прочитайте-ка фразу, которой в той газете нет,—Сач ткнул пальцем в нужное место,—и сразу поймете, кто с таким жаром на нее набросился.

Так оно и есть, продолжал размышлять Ельский. Какой-то молодой человек там тогда действительно был! А фраза эта? Ельский принялся шепотом читать:

— После преступления ради идеи есть лишь один путь — в монастырь, в буквальном смысле слова. Или же оставаться в миру, но жизнь тогда должна быть образцовой.

Бормоча себе под нос, Ельский перечитал еще раз.

— А это не так? — спросил он.

Сач ответил:

— Судить еще рано. Главное в моем задании — не спугнуть. Папара сказал мне: «Сиди, пока рогац не выйдет на поляну. По лесу не рыщи». Вот я и жду. Времени не теряю, изучаю. Вся жизнь Черского у меня как на ладони. Только сам он лучше меня в ней и ориентируется, ибо знает, во сколько что ему обходится. К примеру, госпожа Завиша. Ничего он ей не пересылает ни по почте, ни через банк, а у нее все от него. Вот видите, туманные места еще есть, но биографию Черского я мог бы написать лучше всякого другого.

— Ксендз к вам обратится, готовя речь на похоронах, — пошутил Ельский.

— Если уж речь, — возразил Сач, — то скорее прокурор.

— Так уж сразу и прокурор?

— Нет, нет, нет! — Сач яростно сжал кулаки, а потом растопырил пальцы во все стороны. — А есть тут где-то такая сволочь!

Метнул взгляд на картежников. Они сидели неподвижно, словно уснув.

— Чувствую, вот, кажется, уже здесь, под рукой, но доходит дело до доказательств, нет их у меня — ни в столе, ни у него в карманах, ни в служебных счетах. Чего бы я не дал, только бы выявить симптомы.

Глаза Сача горели. Ельский улыбнулся.

— В глазах ваших, — с неподдельным восхищением отозвался он, — пылает энтузиазм ученого. И давно вы начали свое исследование?

— Восемь месяцев!

Много! В таком случае, нахмурился Ельский, нет тут ничего. Ни щелочки не отыщешь! Ниточки из этого ржавого клубка не вытянешь, на что Ельский как-никак рассчитывал. Против старых хорошее средство — гражданская смерть, примеров тому немало! Касается вроде бы лишь одного, а скисает сразу целая группа. И тогда шансы у молодых набирают темп, ибо естественная смерть — слишком медленный процесс. Он вспомнил оброненную капитаном в поезде фразу и изрек:

— Не мертвых, живых хоронить — вот искусство!

Сач подался вперед.

— Я это сделаю!

Ельский удивился:

— Что это вы такой горячий?

Молодой человек снова крепко сплел руки. Сердце у него заколошматило. Вот этого, клялся Сач сам себе, он не скажет!

Это уж его личное дело. Его и ее. Он судорожно проглотил слюну. Сейчас, сейчас, что бы ответить? И он напыщенно произнес:

— Таково наше движение!—И тотчас же, словно школьник, насупился.

Ельскому это не понравилось. Он предпочел бы не вспоминать о доказательствах, которые приводили его приятели на даче у Дикерта, убеждая друг друга, что даже наирадикальнейшее движение будет нуждаться—на самом верху—в многоопытных чиновниках. Подпольная газетка раздувает заговор, служебная бумага гасит его. Действия кончаются там, где начинается бумага. Она превращает действия в акты. В папки с делами! Как? Да с помощью таких вот Ельских, расположившихся за письменными столами, словно в спасательных лодках. А сейчас на Ельского—с ним это порой случалось—как раз и напал страх за свое будущее, ибо в Саче бурлила дикость. Он встречался с нею все чаще. Она ничуть не походила на тот давнишний пыл, который служил детонатором для различных движений, дикость превращалась словно бы в программу; была не средством, а целью. Он не мог понять этого, задавался вопросом, что она несет с собой. Но то была тайна далекого будущего, иными словами, тайна самых молодых.

— Как вы попали к Черскому?—спросил он Сача.—Вас кто-то из Варшавы рекомендовал ему?

Сач неторопливо покачал головой. Не так уж он глуп!

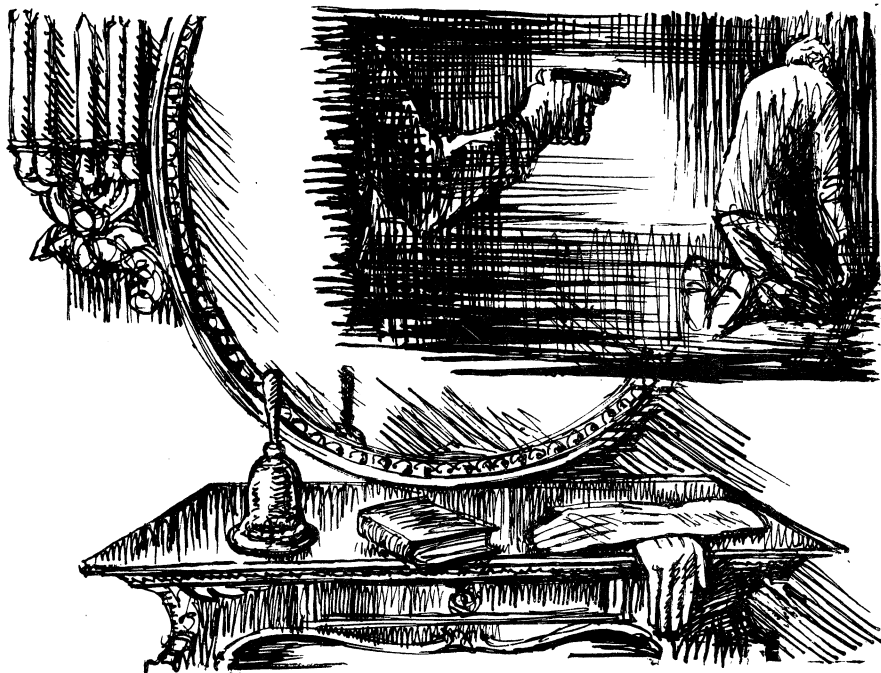
— Вот еще!—возразил он.—Из Варшавы, этого еще недоставало! Из деревни, через отца, приходского священника, господина старосту. Теперь у политиков на деревню большой спрос. Как и всегда, впрочем, на людей худого происхождения, которые были бы обязаны своей судьбой благодетелю. Таким меня и считает Черский. Я при нем о Варшаве и не вспоминаю. Пусть себе распинается, дескать, из мальчишки, пасшего гусей, сделал секретаря. Преданная душа. В огонь бросится! Это я?!

В дверях показался Черский. Выигранное с Ельским спустил, да еще проиграл чуть не втрое больше.

— Господин Сач,—крикнул он.—Ну и поставили же вы столик. Ножики шатаются, словно зубы после драки. Подложителка чего-нибудь, чтобы он так не качался.

Он смотрел на Сача, державшего в руках вырезку со статьей. Тот сложил ее пополам. Ельский побледнел. Черский внимательно наблюдал за руками Сача. Сейчас спросит! Какое спокойствие. Сач складывает и складывает. Вчетверо, и еще, и еще раз.

— Достаточно!—решает он, глядя на маленький, плотно спрессованный бумажный квадратик.—Чтобы подложить под ножку стола.



III

Кристина Медекша воскликнула:

— Сиротка, бедняжка, родителей у него нет, может, отдать ему немножечко своих?

Чатковский фыркнул и промолчал. Теперь пауза, ибо сейчас она примется перечислять их, одного за другим. Он знал это наизусть.

— Папа,—начала она,—мама,—после тонюсенького большого пальчика с узким ноготком, словно он появился на свет в наперстке, в ход пошел указательный,—ее второй муж, это три, и госпожа Штемлер, самая дорогая сердцу моего отца дама вот уже семнадцать лет, это четыре.

Тут следовало изобразить изумление, что она единственный в семье ребенок! Чатковскому юмор Кристины напоминал маленький дачный поезд, спустя час он у цели, но сперва остановится на всех, не пропуская ни одной, станциях.

— И подумать только,—черные глаза Кристины вспыхнули,

как того требовал обряд свершения такого рода открытия,— что от этих двух пар родилась одна лишь я!

Она перевела дух. Ни звука в ответ! Чатковский не воскликнул:

«А барышни Штемлер?» Он-то знал, что теперь наступает их черед!

— Ибо обе барышни Штемлер,— пояснила она,— от первой жены господина Бронислава Штемлера. Тетя Реги—вторая.

Чатковский спохватился и вовремя удивился.

— Тетя?— широко открыл он рот.

Кристина ему нравилась. Какие она рожи строит! Не может удержаться от смеха, вот-вот, кажется, скажет что-нибудь язвительное, вот-вот с кончика языка слетит колкая шуточка. А потом вдруг вздохнет, и глаза ее засияют нежностью. Губы строго сжимаются. По отношению к госпоже Регине Штемлер она не позволит себе ни малейшей бестактности. О, никогда! И обрушивается на Чатковского:

— Это самая старая дама, которую я знаю. Я выросла у нее на коленях. С малых моих лет она была для меня «тетей».

И снова веселье, упрямство, взрыв, дабы уж не принимали ее слов совсем всерьез. Чатковский выжидает. Знает, что теперь должно наступить. И потому морщится. Тогда Кристина делает вид, что разгневана.

— Что вы рычите,— восклицает она, довольная, что все идет как надо. Она клялась, что госпожа Регина—тетка. Сама мысль об этом заставила Чатковского рассмеяться. Ее вина?

Кристина вскочила. Звонок. Он тоже поднялся. Она его удержала.

— Вам незачем выходить в переднюю! Я открою сама.

И этому мне следует научиться, покачал головой Чатковский. Никому, упаси боже, не позволено тут вести себя как у себя дома. Она не любит ничего такого. Стакан воды? Вы хотите принести! Вы же не знаете, где кухня. У нее никто не найдет ни гостиной, ни столовой, ни телефона. Чатковский поначалу злился.

— И тем не менее попадаешь сразу чуть ли не в постель!— проворчал он себе под нос.

Но когда он уже раскусил ее, то расценил это даже как своего рода обаяние, пораженный тем, из сколь разных чувств складывается ее нежелание, чтобы кто-нибудь хозяйничал в ее доме,— нежелание, в котором выражались и ее независимость, и ее страх перед бесцеремонностью открывавшегося ей мира. Все, что осталось от барского инстинкта, так это объяснял себе Чатковский. Княжна вместе с заговорщиками пройдет по трупам, но на «ты» с ними не перейдет. Да к тому же она какая-то полудева, что ли. Дрожащими пальцами он провел по лбу. Несколько раз она позволила ему всю себя обцеловать. Кровать в ее комнате скрипела. «Идиотская рухлядь,— возмутилась она,— тронь ногой,

она и развалится. Для папы это, может, и память о бабке, племяннице короля Стася. Я бы ее выбросила на чердак». Слова эти еще больше разожгли его желание. Антикварная вещь застонала, словно ветряная мельница. А Кристина хоть бы что. А когда, придя в себя и желая полнее насытиться своим счастьем, он притянул ее лицо к своему, позвав едва слышно—«это ты?»—в ответ она прошептала: «Ша! Папа рядом. Услышит!»

Потом это прошло. Сначала у Кристины—у нее так ничего и не получалось с любовью, ибо всякий светский молодой человек наводил на нее скуку, если не был связан с движением, а парень из движения—отталкивал. Да и Чатковскому нужна была не такая женщина. Ему нужны и ее дом, и ее время все без остатка. Жил он с родителями на окраине Жолибожа¹, день проводил в городе, изматывая людей своим присутствием, в кафе стремительно проглядывал газеты, вмиг управлялся с делами, и времени на женщин оставалось у него уйма. Ему нужна была выносливая. Не такая, как Кристина!

— Господин Чатковский уже здесь,—уведомила она пришедших и тут же сморщила нос, недовольная, что сказала именно так. Она не могла решить, чего ей хочется: чтобы подобные собрания у нее считались конспиративными сходками или светскими приемами. От произнесенных ею только что слов пахивало заседанием. Она резко переменяла курс.

— Мама прислала мне сегодня восхитительный кофейный торт,—начала она.—Я дала слово, что попробую его только вместе с гостями. И теперь, когда вы пришли, нетерпению моему настал конец.

Она покраснела, не оттого, что уже попробовала торт, а разозлившись на себя за свой салонный тон. Это, правда, выходило у нее как-то само собой, но она сердилась на себя за это, полагая, что смущает товарищей из организации. Какое мученье. То она их смущает, то сбивается на фамильярность.

— Туда, туда,—указывала она им дорогу.—Не ищите, я сама погашу.

Молодой полноватый блондин упорствовал. Наконец нашел выключатель, повернул его, огромное зеркало в передней засветилось огнем двух пирожковых бра. Еще один поворот, и в углу зажглось нечто вроде паникадила, еще один поворот—и такое же в другом углу.

— Мариан, bravo!—Приятель блондина изобразил на своем лице восторг.—Лети-ка теперь на улицу и зажги фонарь.

Мариан извинялся и гасил. А приятель, только что похваставшийся своим чувством юмора, теперь выказал знакомство с социальной сатирой.

¹ Район Варшавы.

— Соображай-ка, как оно тут у господ,—поучал он.— У них в одной передней больше нащелкаешь, чем во всем своем доме!— произнес он с видом послушного мальчика, но это была лишь гримаса.

Он изображал из себя пролетария, дабы по сему случаю еще раз напомнить самому себе, что сам-то он шляхтич. Его всегда тянуло выкинуть подобную штуку в присутствии таких особ, как Кристина Медекша. Как он расписал бы у себя в организации весь ее княжеский род, коли бы хоть словечко она сказала о его фамилии. Он даже всячески намекал на это. Но она умолкала. Если бы он мог отплатить ей прекрасным за полезное и держал язык за зубами, когда речь заходила о Медекшах! Он боролся с собой, сдерживал свои геральдические восторги, но давал понять, что кое-что знает. Кристина взаимностью ему не отвечала. У нее не укладывалось в голове, что можно что-нибудь знать о Говорках.

О нем самом, о Станиславе,—конечно же. Он идеально подходил к движению. Думал, писал, говорил хорошо, умел находить общий язык с людьми на местах, партийная рубашка сидела на нем как влитая. Был тверд, беспощаден, в работе его отличала сухая строгость, в которой Кристина усматривала отличие нового времени. Толпу хватать за сердце, но каждого человека в отдельности—за горло; создать партию героев, но привязывать к ней людей исключительно лично заинтересованных; верить, что существует лишь одна идея, которую исповедует как раз их организация, освободиться от всех остальных! Кристина догадывалась что Говорек чувствует это лучше всех из руководства движением. Он затоптал в себе больше прошлого, чем его было у него на самом деле. Он верил в себя, а кроме того, в то, что у Папары есть инстинкт, а значит, вместе с организацией тот, словно машинист, дойдет до цели, а тогда может даже и оставить дело, ибо Папара скорее знает, как попасть в нужное место, нежели то, как обжить его. И тогда возникнет потребность в государственном деятеле без ореола. Кроме себя он не знал никого подходящего. Принадлежащий к древней расе, но обладающий новой силой, он окажется способным в таком случае отдать должное традиции, тем более что отчасти она будет и традицией домашней. Не во всем старошляхетской, да, придет эра привилегированных, будет принесена дань историческим именам, но каста господ возродится из всего того, что найдется в народе полнокровного, твердого, себялюбивого, с инстинктом насилия. Народ пассивен, когда нет правящего слоя, а правящий слой—когда нет хозяев. Такова была священная вера Говорека. Он обратился к ней Крестину. Все это пахло ересью, но их движение, в котором организация ценилась выше доктрины, сквозь пальцы смотрело на изощренные изыски в сфере собственных догм, если с их помощью укреплялась чья-то связь с партией.

Так произошло и с Кристиной, которой Говорек объяснил наконец, что ее отталкивает от молодых людей ее круга и что притягивает к партии. Не только навыки, приобретенные в школьные годы, которые она провела в Италии, но, как он говорил — «молодость этой старой крови», анахронизм какой-то власти у представительницы расы, у которой кровь застоялась.

— Вы, — растолковывал он ей, — напоминаете юную деву из рода Тюдоров или Плантагенетов. Мужчины вашего круга, которые были бы для вас по-настоящему современны, вымерли несколько столетий тому назад. Псы выродились в комнатных собачонок. Вам бы полководца. Только наш переворот даст вам мужчину.

Кристина даже не смеялась. Это было слишком правдиво для шутки. Она целиком отдалась движению, самозабвению, поскольку не искала личной выгоды. Теперь она перед нею замаячила. Было что-то такое в словах Говорека. Движение привлекало ее к себе, словно бал. Более высокой, иной, более сильной и возбуждающей реальностью. Чем-то, что связано с приключением и само приключением оборачивается. Чем-то, что позволяет человеку вдохнуть воздух в своеобразные легкие, для которых повседневность — тьма.

Чатковского они застали за альбомом с фотокарточками. Свободные места Кристина замазала белой тушью. Сверху и по бокам красовались виньетки, снизу подпись, фамилии, дата, порой какая-нибудь шутка. Вот, скажем, голый мужчина на пляже, в купальной шапочке, подле него несколько женщин, а стало быть, «родился в чепце». Виареджо! Стало быть, это еще Италия. Какой год? 1928-й! Значит, Кристине 13! Отец ее уже сдается. Выторговывает дни. Настроение у него улучшается, когда что-нибудь солидное удастся продать, но хозяин, магазины, поставщики, все кредиторы набрасываются на него, чтобы вытянуть деньги, надо им срочно выставить счета, что кому дал, всеми правдами и неправдами выкраивая из общей суммы пятьсот лир себе на домашние расходы! И опять какая-нибудь продажа. Набитый бумажник поднимает князя под облака, но снова со всех сторон тянутся руки, хорошее самочувствие исчезает, словно после кровотечения, а того, что у него остается, едва хватает на пристойный обед.

Чатковский этот период жизни Кристины знает по ее рассказам назубок. Сначала война, которую потом называли «мировой», крохотную Кристину мать отправляет в Италию. Там — тишина. Кристина растет. Разражается революция в России. Одним из первых бежит Штемлер. «Это не я боюсь, — объясняет он, — боятся мои деньги!» Побоялась и госпожа Штемлер. Потом она боялась возвращаться в Польшу! «В Варшаву никогда не поздно!» — толковала она мужу. Но он тосковал, ей тоже чего-то

недоставало, однако страх был сильнее. Она объясняла: «Я опасюсь оказаться в своей стихии». Может, ее пугало, что она разочаруется или произойдут еще какие-нибудь перевороты. Она сдерживала себя, князь тоже тянул, и они почувствовали, что склонности у них одни и те же. Медекша уговаривал Штемлера, фамилией которого пользовался в переписке со своей прежней женой. Та звала его домой, многие, приехавшие с восточных окраин Польши, вывезли картины и мебель, вот теперь-то Медекша им бы и пригодился. Он ответил: «Воспользоваться случаем? Фу, это дурной стиль!» Но он не показался бы ему столь отвратительным, если бы ради такого дела не надо было расставаться с Флоренцией! За границей можно осесть раз, но уж коли сорвешься с места, то обратно не вернешься. Ну, если только как турист, проезжий, а стало быть, чужой! Лучше уж совсем не возвращаться. Он не мог оторваться от Италии, так как госпожа Штемлер не хотела этого, привязался к стране.

— Вы, князь, меня понимаете,—взволнованная тем, что нашла родственную душу, она сжимала его руки.—Какая для меня радость поговорить с кем-то своим.—Она понизила голос, словно кто-то мог их понять в этом итальянском ресторане!—Люди здесь чужие,—жаловалась она,—с вами, князь, так хорошо себя чувствуешь, ведь мы,—она и сама поразилась, что дело объясняется так просто,—соотечественники.—Она уже начала ему нравиться, и в тот миг он не подумал о том, что она еврейка.

— Гобино!¹—неожиданно сказал он, растроганный тем, что причины его симпатии столь просты.—Родство крови, я всегда говорил, что в этом что-то есть, а меня, беднягу, лишь высмеивали!—Сколько потом было разговоров о возвращении домой.—Нет, нет!—качал он головой, будучи уверен в правильности своего решения.—Там из каждой щели лезет нищета, нельзя нам к ним.—И без ложного стыда, полностью осознавая собственную деликатность, которая не позволяет садиться людям на шею и сваливаться им на голову, когда они еще не устроились, князь чувствовал себя правым:—На иную жертву меня не хватит, так что я приношу в жертву родине собственное любопытство.—Пребывание во Флоренции стократ окупало его, хотя и то правда, что происходящее в Польше князя немного интересовало.—А вы?—приставал он с тем же к госпоже Штемлер.

— Нет, не могу представить себе Польшу,—вскрикивала она, умолкала после каждого слова, чтобы дать разыграться своему воображению.—Нет, не могу! Я отлично знала Варшаву!—говорила она с подкупающей откровенностью, которая могла даже и удивить.—И теперь, подумать только,—лицо ее затряслось от счастья, которое было бы еще более искренним, если бы не опасение, что это преувеличение,—Варшава—столица!

¹ Жозеф Артюр де Гобино (1816—1882)—французский писатель, философ, дипломат, один из основоположников идеологии расизма.

Князь напомнил официанту о шампанском. Миг приближался. Он про себя декламировал какой-то стишок Слоньского¹, одну строфу даже повторил вслух.

— Наши близкие,— вздохнул он,— нам не верят, а ведь что-то в нас тоскует по родине.

— Вы помните, князь,— спустя несколько дней говорила ему госпожа Штемлер,— нашу беседу о ностальгии, она накатила на меня, меня тянет к своим. Я получила сегодня восхитительное письмо!— Манет Корн, сестра госпожи Штемлер, описывала прием, который она устроила для французской миссии.— К своим, в Польшу!— прикрыв глаза, шептала она сквозь сведенные болью губы, словно сердце ее выло с тоски.

— *Rauve petite*²,— растрогался Медекша, не зная, жалеет ли он этими словами родину, госпожу Штемлер или дочь, встававшую у него перед глазами всякий раз, когда он думал о возвращении,— ее смуглое лицо, голые руки, обожженные здешним солнцем, которое не отправится за ними в Польшу.

И он бледнел, представляя себе, как посветлеет ее кожа, пылко веруя, что обосноваться в Польше— значит обречь Кристину, словно растеньице, на жизнь без лучей солнца. На фотокарточках лучей этих было полно, за корзиной на пляже, в которой она сидела, они выстроили ромб густой тени, отбрасывали на море подле лодки с Кристиной косяки серебряных светлых колосьев, всей своей сверкающей силой били ребенку прямо в глаза, стягивая их в щелки. Князь рассматривал на Кристине покрывало из солнца, словно бедняк последнее, оставшееся от лучших времен платьице, которое начинает расползаться. Что ж! Ничего не поделаешь! Когда он пил шампанское вместе с госпожой Штемлер за ее решенную уже поездку к своим—рой крошечных пузырьков стремительно рвался со дна,— князь почувствовал, что и его пребыванию в Италии приходит конец.

Но лишь спустя полгода проводил он госпожу Штемлер на вокзал. За это время в антикварной лавке дело дошло до распродажи обстановки. Какой-то англичанин снял с потолка огромную тяжелую венецианскую люстру, через несколько дней прямо из-под рук вытащили у Медекши письменный столик в стиле ампир, за которым он выписывал счета. У князя над магазином был маленький чердачок, где он складывал вещи, и, чтобы слышать оттуда, если кто входит в лавку, повесил на дверях колокольчик. Родословная у него была, верно, и несветская, но вместо звона—клекот, так что и самый захудалый костел постыдился бы его, в самый раз в горные пастбища для коров. Бывало, войдет человек и, услыша такой колокольчик,

¹ Эдвард Слоньский (1872—1926)—поэт, член Польской социалистической партии (ППС), в годы первой мировой войны—в польских легионах, автор популярных патриотических солдатских стихов и песен.

² *Здесь: бедная малышка (франц.).*

снова тронет дверь, как порой поступают с заикой, расспрашивая его еще и еще, дивясь подобного рода мычанию. Вскоре после письменного стола и люстры—а война уже кончилась, деньги ничего не стоили—кто-то, ничего не подыскав для себя в магазине, уже выходя, услышал колокольчик, заставил его позвонить раз, другой, третий, улыбнулся, словно попугаю, и купил. Это последний звонок, подумал князь. Делать нечего, надо собираться!

— Тебе будет очень жалко?—допытывался он у дочери.

— Нет,—отвечала она,—я ведь рада большевикам.

Медекша крикнул:

— Какое ребячество!—Наверное, думает, что граница, словно проволочная сетка, за которой их видно!

Вовсе нет. Кристина говорила вполне серьезно. Она хорошо помнила, как Муссолини двинулся на Рим. По крайней мере она будет на месте, когда придет время в Польше проучить коммунистов. Медекша понятия не имел, что творится с дочерью.

— Там страшная нищета,—говорил он.

А у нее все лицо преображалось. Не от жалости—от злости. Само понятие убожества раздражало ее, как раздражает попрошайка. Сама идея болезни вызывала тошноту, словно запах карболки. Сама мысль о пролетариате бесила ее, словно перебранка с носильщиком из-за чаевых. Коммунизм она воображала себе как всеобщую разнузданность. Большевизм таким же, но только в лаптях и с бородой. Наорать на них! Смело. Не так, как отец, который развращает прислугу. Все закипало в ней от одного только воспоминания о том, как Паола однажды хлопнула дверью. А папа хоть бы хны. Наконец пришел Муссолини! Пусть она теперь только попробует выкинуть что-нибудь эдакое. Красная обезьяна.

— Рассматриваете это барахло,—сочувственно воскликнула Кристина.

Чатковский задумался.

— 1922 год! Сколько же вам было?

Говорек изобразил возмущение.

— Стыдитесь, коллега, на хитрость пускаетесь, чтобы узнать возраст женщины.

Кристине захотелось тут же похвалиться, что предрассудки чужды ей.

— Столько же, сколько и всем вам,—закричала она.—Чуть за двадцать. Мне, к примеру, двадцать три!

Мариан, во всем предельно точный, заметил, имея в виду себя:

— Нет! Мне двадцать пять!

Чатковский прищурился.

— Эх,—с грустью, как вспоминают давно ушедшее, протянул он.—Значит, вы уже другое поколение.

Мариан Дылонг это чувствовал. Разница состояла в том, что

все, к чему движение стремилось, было ему впору, как собственная кожа. Говореку, Чатковскому, Кристине, каждому из них пришлось до движения дозреть. Чатковский сказал, что это свершилось, когда он преодолел в себе девятнадцатый век. Говорек—когда понял, что до сих пор шельмовали средневековые. Кристина, когда осознала, что равенство—это абсурд, в особенности между женщинами и мужчинами. Дылонгу не нужно было отказываться ни от каких предрассудков. Движение не обращало его в свою веру. Он в нем родился. От всякого интеллектуализма, по его понятиям, несло нафталином. Голосование на выборах в законодательные органы было для него то же, что для атеиста—церковный обряд. Если Чатковский любил создателя сердцем, словно дядюшку, яркого своей самобытностью, не оцененного по заслугам предшествующими поколениями, которого племянник только открывает для себя, а Говорек говорил о боге, как тончайший меломан о Монюшко, вполне отдавая себе отчет в том, что кого-то новый взгляд—дескать, это музыка высокого полета—может и удивить, то Дылонг верил просто, никому не назло, ему и в голову не приходило в этом оправдываться. Ни сам он не отличался пылкостью сердца, ни вера его особыми притязаниями. В нем ничего не было ни от атеиста, ни от неофита. В костел он ходил как ходят на прогулку. Человек потом чувствует себя лучше. У него был молитвенник, который еще студентом, совершая паломничество, он купил в Ченстохове. Он казался Дылонгу куда интереснее школьного, к тому же влезал в карман,—вещь, нужная зрелому католику, как хороший портсигар для курильщика, который теперь курит открыто.

Дылонг был из деревни. В Варшаве торчал уже пять лет. Долбил машиностроение. Учился так себе, средне. К движению присоединился от скуки. Не из честолюбия, скорее из экономии. Партийная столовка—единственная, где не надо платить, а уж никак не скажешь, что она хуже кафе. Но мало-помалу движение затягивало его все глубже. Однажды спохватился, что говорит сам. Поначалу думал, что наткнулся на молчание, но вдруг понял, что это он его и вызвал. Чуть было не расхохотался. Сдержался, дабы не опозориться. Слушают, да как слушают! А его несло, и довольно складно. Он не знал, что скажет в следующий миг, и это ужасно смешило его. Когда-то пугал сестру—дескать, в лесу военные. Чего только не наплел ей! С тех пор давно так не смеялся. А тут снова накатывает. Если слушают, значит, он умный! Стал состязаться в речах. Результат был в его пользу. Он выдвинулся в число первых. Освоился с проблемами движения, выезжал на места, скучно не было, но вот только хотелось опять что-нибудь открыть в себе. Что, к примеру, умеет командовать. Какой-нибудь армией, какими-нибудь добровольцами; смутно он это себе представлял: кем и зачем. Только одно—он и толпа и какое-то действие.

— Вся трудность в том,—воскликнул он,—что не дадут сказать людям все.

— А что ты хочешь сказать?—ничуть не сомневаясь, что ничего нового, спросил Говорек.

— Когда убедишься, что можешь говорить откровенно,—объяснял Дылонг,—и думаешь по-другому. Это как с женщиной: когда знаешь, что она позволит тебе все, ведешь себя с ней совсем иначе. А сейчас, когда я выступаю, меня постоянно что-то связывает. И шпик в зале, и отношение к какой-нибудь группе, и наша программа, в которой раз одно, в другой—другое. Я, кстати, больше всего люблю призывать к переменам. Это отвечает моему характеру, голос у меня подходящий, представление о переломе меня возбуждает. А тут все об ином духе и об ином духе. Значит, рукам надо ждать. Да, так! Перемена, только не в мире, а в нас самих. Великая смута, но все в голове. Чистая комедия, а вернее, опера. Идти, но стоять, торопиться, а не двигаться с места. Ах, мне хотелось бы заговорить во весь голос. Движение не дает мне роли!

— Ибо ее не дает движению польская жизнь. Движение молодо,—распалилась Кристина.

Дылонг прервал ее:

— Вы движение не оправдывайте, от меня его защищать не надо. Я все о нем знаю и понимаю. И вообще все, что к нему относится, для меня ясно как солнце. Знаете, у отца под Люблином есть мельница. Я уже какой-никакой инженер. Я прекрасно вижу, вот как сейчас вас перед собой, что мельнице нужно. Как нужно сделать, чтобы вода по-иному била в колесо. Какие камни нарезать и какие скорости отладить. Только взгляну—и тотчас же скажу: это должно быть по-другому, это и это! А говорю я так, потому что она моя. В чужой мельнице человек прежде всего видит неисправности, в своей—саму возможность ее исправить. Понимаете?

Говорек посерьезнел.

— Понимаю!—признался он.—И понимаю, откуда вся эта болтовня, из-за твоей мельницы!

Дылонг что-то забормотал. Он не умел перескакивать с одного на другое. Правда, он научился тому, как наилучшим образом высмеять шутку. Вроде бы задуматься и переждать. На это время слово отобрал у него Чатковский.

— Между нами и им,—заговорил он и показал на Дылонга,—есть разница: мы движение создали, а их создает движение, без нас не было бы организации, но без нее не было бы их.

— Э-э,—возмущился Дылонг,—пустой разговор! Взять вас, тебя и организацию, так все едино, кто кого породил. Ты ли ее, она ли тебя—значения не имеет. В любом случае ты от нее зависишь, а без нее—ничто. Вытащить у тебя из души организацию—и ты станешь точно таким же бедолагой, как тот, которого

она не породила. От того, что ты крестил ее, свободы у тебя немного.

Стоило только Дылонгу перевести дух, вмешался Говорек.

— Разумеется,— закричал он,— я вовсе не утверждаю, что мы более свободны или меньше нуждаемся в организации, я говорю лишь, что мы помним кое-что о том времени, когда мы в организации не состояли, когда у нас была возможность вступить в другую или создать нашу, но на иной манер. И мы, старшие, и вы, кто пришел после нас спустя пять лет,—все мы накрепко связаны с ней. Мы вот, однако, в состоянии представить себе, как это бывает, когда нет движения. Вы и вообразить себе такого не можете. Для нас оно только-только родилось, для вас—было всегда. У нас в голове не укладывается, что оно существует, у вас—что так недолго.

Чатковский закричал, и казалось, он не просто шутил:

— Ну так вон нас! Как этих пожилых господ, что пробудили Польшу, и точка. Еще разок хвостом взмахнули, совершили государственный переворот и поставили крепкую власть¹, да так намучились, что нет у них сил извлекать из нее выгоду. Победа в Польше всегда была на одно лицо. Вся энергия на это уходила. И всегда она не средство, а лишь цель. Поляк мудр в убытке, а глуп в победе. Над чужим ли, над своим ли, ради интересов соседних держав или во внутренней борьбе. Ягелло после Грюнвальда, Собеский после Вены, Август Сильный, когда он сбросил Сапегов, и Пилсудский после майского переворота.

И обратился к Дылонгу:

— Видишь, зачем нужна мстительность! Без нее врага не уничтожишь, даже если побьешь его. Победа—не Страшный суд, она—миг превосходства. Сигнал, что теперь можно давить. А если не видишь этого, если нет этого в крови!

Дылонг покраснел. Кинуться бы так на кого-нибудь, поверженного, валяющегося у ног, он бы доказал, что понимает! Самая худшая хворь в общественной жизни—мягкотелость. Они от этой хвори народ вылечат!

— Вот этого-то и не чувствуют эндеки². Для них Пилсудский был чересчур жесткий, для нас—пресный.

— А прежде всего слишком стар для отца,—заметил Чатковский.—Санация была дочерью пожилых родителей.

Говорек рассмеялся.

— А разве у нее вообще была мать? Пилсудский зачал санацию с пустотой. Потому, как он говорил, что в государстве было слишком много произвола. Стало быть, наткнись он на

¹ Речь идет о майском (1926) перевороте, совершенном Пилсудским.

² Так в Польше называли членов партии «Народовая демократия» («Народная демократия») — политического течения правого и националистического толка, сформировавшегося на рубеже XIX—XX вв.

справедливость, все было бы в порядке. Проблема правящей элиты та же, что и домашней прислуги. Лишь бы не крапа. Повод есть. Верно. Слишком серьезный для смены кабинета, слишком легковесный для свержения власти.

Вмешалась Кристина:

— И Пилсудский утверждал это всерьез! Мой отец слышал об этом от князя-регента.

Дылонг опустил голову, боясь расхохотаться. Вспомнил глупенький стишок: «У регента зад в цементе». Когда Кристина впервые пришла на собрание кружка, собиравшегося на Праге¹, которое проводил Дылонг, тут же выскочила с этим князем-регентом Любомирским. А в зале на девятую процентов пролетариат. Кто-то тогда и рывкнул в рифму, вроде бы себе под нос, но так, что слышали почти все. Когда все кончилось, из вежливости Дылонг извинился за эту выходку перед Кристиной, которая, впрочем, не обиделась.

— Я думала, что они такие слова произносят чаще,— ответила она спокойно.

— Пилсудский, пожалуй,— продолжал рассуждать Говорек,— своего рода Иоанн Креститель. Первый набросок, который вот так, для себя, сделала натура перед тем, как создать гениального пророка. Ибо санация была какой-то черновой доктриной, в которой угадывались очертания абсолютной и героической власти! Идея эта Пилсудскому не давала покоя. Мы дадим ей полный ход.

— Только его героизм был романтический, а в нашем движении героическим будет реализм. Героизм непогрешимости видения.

— Вот и литература!— буркнул Дылонг.

— Что поделаешь,— возразил Чатковский.— У верхушки должен быть свой жаргон. У церкви— латынь, у великой революции— лексикон энциклопедистов, у социалистов— словарь Маркса. Литургия необходима, а где молитвы— там и высокий стиль. Как же без торжественных слов. Ты и сам, как поговоришь с нами, выходишь окрепшим. Оттого, что узнал что-то новое? Может быть! Но главное— потому, что принял участие в литании, задирая голову к тайнам нашего движения, к которым обращены эти отвлеченные, возвышенные, праздничные слова.

Дылонг понял одно— что Чатковский смотрит на организацию будто со стороны.

— Знаешь,— печально сказал он,— ты не настоящий сын движения, ты как бы усыновленный им. Я считаю это цинизмом— когда отходишь в сторонку, чтобы посмотреть, как идея, которой ты предан, выглядит в профиль.

¹ Прага— правобережная часть Варшавы.

— Это зрелость,—возразил Говорек.— В твоём возрасте положено любить вслепую. Все равно—движение или женщину. А вырастешь, станешь как я. Преданным, но способным взглянуть издали.

Дылонг закричал:

— Никогда! Я не хочу быть зрелым по отношению к нашему движению. Никто не должен становиться таким. Подобным образом встают над движением. Вот ты как раз так и возносишься. У всех у вас это. Больше понимания, чем веры. То есть больше доброй воли, чем сильной. Из-за этого у нас погибали все движения, ибо, не успев обратиться в веру, человек принимался мудрствовать. Относился к организации как к какому-то механизму. Развинчивал, трогал колесики, пружинки, все обнюхивал. А ведь организация для того и существует, чтобы ее не понимать. Иначе ко всем чертям летят и субординация, и динамизм.

Чатковский замахал рукой.

— Молодые наизнанку выворачиваются ради организации, делают это из энтузиазма, старые из-за выгод, молодых гложет жажда приключений, старых—жажда власти. Так вот и держатся вместе. А ты словно пианино тащишь по лестнице. Все боишься, что те, кто выше, отпустят. Сам справляйся со своим страхом. Страх не нужен. Он ослабляет.

— Это вовсе не так,—возразил Дылонг.— Только я не люблю, когда организацию судят. Мне это противно. Как остроты над фамилией Папары¹. Насмешки, мелочное копанье, вольности, назидательный тон по отношению к организации, по-моему, неуместны. Это хорошо для политической партии. То есть для совокупности интересов какой-нибудь группы. Но движение не может быть адвокатом одного класса, это идея для всех и обо всем. Если смеешься над ней—значит смеешься надо всем. Нет у тебя ничего святого.

— Да ведь я углубляю свое отношение к движению,—горячился Чатковский,—когда осмысливаю то особенное, что выискиваю в нем.

Дылонг не уступал.

— Из ста подобных мыслей девяносто девять бывают ересью! Всегда так, когда речь идет о вере.

— Вот тебе и на!—засмеялась Кристина.— Значит, не надо думать?

Он побагровел и проговорил с язвительной вежливостью:

— Вы вольны поступать, как вам угодно. Даже мыслью вы не нанесете организации ущерба,—А затем, обращаясь к Чатковскому и Говореку, добавил:—Для вас движение все еще только проект. Вы не в состоянии забыть, что знали его, когда оно только рождалось.

¹ В просторечии польское слово «пара» означает—морда, рыло.

— Об этом ты уже говорил,—со скучающим видом кивнул Говорек.—И о том тоже, чтобы помочь ему стать совершеннолетним, ты зарезал бы его родителей.

Дылонг поморщился. Он был сыт такими издевками по горло. Спросил нарочито серьезно:

— Скажи, положи руку на сердце, ты можешь подтвердить, что никогда не выходил из роли апостола?

Чатковский, к которому это относилось, не очень понимая, о чем речь, развел руками.

— Вот видишь!—Дылонг понизил голос, тихо торжествуя по поводу его молчания, и проговорил с чувством:—О том и речь!

Нотация эта Говорека не тронула. Не первый раз слышишь такое! Сам Папара как-то упрекал его в чем-то подобном. Его и других. За дилетантское, как он говорил, отношение к организации. Никак не мог дожидаться молодого пополнения. Слишком медленно, казалось ему, росли. С поколениями, говорил, как в животноводстве. В первом—половина нужных черт. В следующем—все сто процентов.

— Апостол, сразу уж и апостол!—неторопливо обдумывал эту проблему Чатковский.—Пока пророк не призвал его, голова апостола должна быть пуста. Новая доктрина захватывает его тем, что делает человеком мысли. Потому Христос и отыскал простолудингов. Если говорить об их интеллекте, то христианство было для них первой любовью!

Будто жалеючи Чатковского, Говорек заметил:

— А ты, как голова, в скольких руках уже побывал!

Лучше не объясняться. Они же знают, что она у него вертялая. Поворачивалась то к одной, то к другой партии. Так уж она устроена, чтобы без усталости искать завершенности. И Чатковский теперь мог поклясться, что нашел. Раньше это были флирты!—сказал он, присягая на верность националистам. На самом же деле он присягал быть верным скорее себе, нежели им. И ошибся! Папара обладал способностью приковывать любого из своих людей, было бы только время. Чатковский впервые втянулся всерьез, счастливо пережил этап, когда движение уже не было для него в новинку, но и не стало еще второй его натурой. Если не ушел тогда, то из страха перед Папарой. Во времена прежних расколов ничего подобного он не чувствовал—встречая кого-нибудь из бывших товарищей, всегда забивал их словами. Папара молчал. Не шел ни на какие разговоры. Одной фразой, нередко обрывком фразы наставлял, указывал, оценивал. И с ним не поспоришь, как не поспоришь с фрагментами сочинений какого-нибудь древнего автора. Что-то было в нем такое, что еще при жизни приобрел он в глазах своих людей подобный авторитет.

— Знаете?—Кристина положила руку на рамку фотокарточки. Сильное, бледное, полное лицо, большие внимательные и

вместе с тем задумчивые глаза. Полотняная куртка. Рубахи не видно.— Знаете, спит и видит себя председателем. Не понимаю! И какая ему от того честь?

Говорек взглянул на Кристину. Чересчур умна или чересчур глупа! Все в руководстве организации знали, почему Папара должен стать председателем. Хоть раз-то надо, в конце концов, родиться, если уж надо жить. Папара решил, что движение заявит о себе тем, что его основатель сделается председателем. Межуниверситетского союза научных кружков! То есть не о той молодежи идет речь, которая обжирается, а о той, что вкалывает. Взять в свои руки этот союз—какие же тут открываются возможности! Папара оказывал на людей чертовски сильное влияние. Только бы стать председателем, а там он приберет к рукам кружок за кружком. И потом—реклама! Нет, не реклама. Небо, расколотое молнией. Мало кто с ними не связанный принимал всерьез их движение. Может, один из двадцати. Еще одна национальная часовня! А тут вдруг окажется, что церковь. Не одна тысяча верующих. Нежданный вождь молодого поколения.

— Тоже мне,—Кристина снисходительно взглядывалась в лицо Папары на фотографии,—студенческие почести!

Ах так! Говореку все стало ясно. Значит, с Дылонгом они ни о чем не говорили. Кристина играет в наивность, чтобы заставить Чатковского все ей растолковать. Кружной путь к Мариану. Ибо идти к нему напролом не получится, очень уж он подозрителен, не клонет и замкнется. А так готов проглотить. Вслед за Кристиной! С той же самой ложечки. Так оно и есть! Чатковский принимается объяснять.

— Низы наши,—сказал он.—Деревни, поселки, пригороды кишмя кишат нашими сторонниками. Разгромить еврейскую лавочку, огреть в темноте старосту палкой по голове—тут рук у нас сколько хочешь. Но войтом¹ тебя не сделают, в магистрат не пустят, двери в сейм захлопнут перед твоим носом. На улице—ты у себя дома, отличное место для беспорядков, но коли не хочешь переворота, то дело дрянь, тупик. Папара не хочет переворота не потому, что майские трупы смердят еще до сих пор. Просто он все просчитал с карандашом в руках. Перевороты делаются только в городах. А разве города у нас польские? Надо помнить, что напорешься на евреев. Кое-какой опыт у нас уже есть. Сами знаете. Отчаяние евреев, когда мы выступим, нельзя недооценивать. Полиция? В лучшем случае удерет. Армия будет огрызаться, но начнет стрелять. Она похожа на порядочную женщину: не изменит, хотя и хочется. Сладить с армией может только толпа, а она в городах—совсем не наша. Так если не

¹ В довоенной Польше правительственный чиновник, стоявший во главе сельской общины.

брать власть силой, чем же? Папара говорит — самим временем. Обстановка такая же, как в шляхетской Речи Посполитой. Санация хочет при жизни избрать короля. Народ не позволяет. Санация бесплодна — стало быть, бездетна. Об этом чирикают все воробьи на крышах. Правительство пытается усыновить то одно движение, то другое. И в конце концов нескольких таких сыновей приберет к рукам. Вот уж будут наследники! Что есть у санации? Разве это партия? Нет — клика. Разве это элита? Нет — команда. Может, она заняла ключевые места молодой аристократии? Нет, скорее места в клубе старых холостяков, вся заслуга которых перед потомками в том, что нет у них потомков. А если и оставят завещание, так и его признают недействительным. Настанет конец правлению абсолютного меньшинства. Власть будет валяться на письменных столах!

— Это из Ельского, — прервал Говорек.

— Да, — подтвердил Чатковский. — Он на вещи смотрит просто. Только вот с движением знаком шапочно. Думает, будто каждый из нас — это что-то среднее между вечным студентом и вечным оппозиционером. Что движение будет выжидать и тогда, когда правительство из рук людей, овеванных легендой, перейдет в руки чиновников. Пусть перейдет! У нас и против них есть средство. Помните — теория ворчания?

Это был афоризм Папары. Правительство личностей сбрасывают с помощью переворотов, коллегиальное руководство — одним ворчанием. Наше движение изобрело и соответствующее оружие. В любой момент оно может быть пущено в ход. Говорек склонился к Чатковскому и прошептал:

— Куда ты дел председателя?

— Действительно, — Чатковский огляделся по сторонам, — к чему тогда председатель межуниверситетских научных кружков! Папаре важно подчистить репутацию. Надо, понимаете, сделать из него фигуру. В Польше знают о нем одно только — что у него есть вооруженная группа. Этого слишком мало.

Дылонг снова включился в разговор.

— Хватит и того! — сказал он.

— Вот еще! — удивилась Кристина.

— Если вы все строите на том, — не спеша развивал свою мысль Дылонг, — что как только помрет последний овеванный легендой легионер, власть легально перейдет в руки высших чиновников, а мы тут на них и затыкаем из подворотни, то незачем и обряжаться председателями, общественниками. Все эти председатели нужны лишь затем, чтобы стать чиновниками-любителями. Для настоящего чиновника, который сидит за настоящим письменным столом, никакая это не фигура. Зачем нам обезьянничать да еще затевать игру с переодеванием! Если они должны отдать власть со страху, то пугать их надо всей нашей непохожестью. На письменный стол наехать телегой, с

пером сражаться дубинкой. У польской молодежи в университетах председателей было больше, чем у санации смертных грехов,—и что? Испугался их кто? Я против председательства. Вы—за? Тогда вам лучше перейти к эндекам, вот уж завод по производству такого рода шишек!

— Так кем же по-твоему должен быть Папара?—крикнул Чатковский.

Дылонг задумался. Чатковский уточнил свой вопрос:

— Для нас-то—я знаю. Господь бог! Истинное чудо! Ну а для всех остальных?

— Тоже чудо,—ответил Дылонг.— Чудо, что до сих пор еще не дал в морду!

Кристина взвизгнула от удовольствия:

— Смотри-ка, смотри!

Чатковский хотел что-то сказать.

— Минутку!—воскликнул Дылонг и потянул Чатковского за манжет, попридерживая его, словно тот собирался встать и сказать речь.—Минутку!—повторил он.—Вы принадлежите эпохе, когда политик выигрывал, если он убеждал. Для этого нужна была политическая программа, разработанная как целостная система. Сейчас можно обойтись наброском. Зачем себя связывать! Две-три идеи, два-три лозунга слепить вместе, и дело с концом. Сегодня на свете новую политику не разучивают как математику, она ударяет людям в голову словно водка. Никто никому не давит на мозги.

У Кристины уже готова была на этот случай фраза. Она не могла ею не похвастаться. Кто же из друзей не знал ее.

— Глупость сожрала мозги!

Дылонг переиначил ее выражение:

— Толпу легче взять глупостью, чем большим умом. Пастух нотациями овец не погоняет. Видели когда-нибудь такое: овчар сзади, собаки по бокам, так и катится большая орда. Скажете—привычка. Знаю. Но привычка к чему? К пастуху за спиной. Народ—не скотина! Да почему же. Свиньи. В толпе, в народе, в массах есть что-то от женщины. Счастье для нее—пастух. Муж, только настоящий. Тот, что может защитить и берет на себя риск. Чего стоит муж, который оправдывается перед женой? Того же, что и политик, который оправдывается перед народом. Да, говорить с толпой, но как с женщиной, дабы пробудить в ней доверие к себе, а кое от кого и предостеречь.

— Дылонг,—скучным голосом спросил Говорек,—где председатель?

Но Чатковский знал, что Дылонгу надо дать выговориться. Даже если потом он и поступит вопреки своим мыслям, терзаться не будет, если сперва измочалит их всех, обращая в свою веру.

— Оставь его. Пусть кончит,—попросил он Говорека.

Дылонг продолжал:

— Вождь не должен иметь ничего общего ни с одним учебным заведением. Он ни у кого не может быть в долгу за свою мудрость. Чужой ему не надо. Своей он ни у кого не занимал, Это раз. Вождь—это пророк. Пророков не избирают. Его нельзя поддерживать, за ним можно только идти. Противоположность пророку—председатель. Это два. Председатель—в лучшем случае коновод, пройдоха, хитрец, кокетка; вождь—верховный жрец, фигура, творящая суд. Изгнанный председатель—это пенсионер, изгнанный вождь—труп. В вожде нет места для председателя. Если председатель хочет стать вождем, это я отлично понимаю, но чтобы вождь председателем? Это три. Зал—неожиданность для председателя, вождь—для зала. Говорите, надо отобрать власть у чиновников? Так зачем же из вождя делать интеллигента? Интеллигент не умеет быть страшным. А вот интеллигентов пугать надо! Пролетарий, если он обалдевает, сжимает то, что у него в руке; интеллигент выпускает. На это вы главным образом и рассчитываете. А теперь хотите приучить интеллигента к Папаре. Разве, чтобы сделаться более страшным, ему надо становиться менее загадочным? Вождь—это обряд, а не уряд. Уряд—закат вождя, особенно такой уряд, который сделает его вождем по совместительству. Для людей председатель будет в Папаре на первом месте. Вот увидите! Это четыре.

Дылонг умолк.

— И все?—спросил Говорек.

— Пожалуй, хватит!—пробурчал Чатковский.

Он смирился с тем, что Дылонга одной целью не приманишь. Оставалось соблазнить его средством. Скандалом. Скандалистом Дылонг не был, но жестокость его восхищала. Она его закаляла, что ли, вроде как купанье в ледяной воде. Папара даже огорчил его однажды, простив одного члена организации, который после какой-то кровавой акции попросился перевести его из дружины на бумажную работу. Конечно, человек—это человек, а сердце—сердце. Но все-таки человек, не совершивший во имя организации преступления,—калека. Не может он в таком случае быть активным участником движения. Все это каким-то образом уживалось с религией. Как у других—грех с женщиной. У таких, кому вприглядку мало, мало просто поласкать, им надо обладать ею. Раз так, то так. Хотя бы почувствовать себя мужчиной! Согрешить ради движения! Вот, точно такое же тогда ощущение. Но разве мучит тебя что-то? Не больше, чем если бы ты не пошел в воскресенье в костел. Ребячество. Греха на тебе ровно столько же, сколько грязи на воротничке, который ты пристегивал всего раз: несвежий, но можно еще не стирать. Дылонг свято верил: сохранить свою честь—значит во всем идти до конца. Он тогда только и чувствовал себя человеком, когда наружу вылезал из него зверь. Исколошматить противника было гимнастикой духа. Причем не обязательно делать самому. Решиться! Вот что

главное. Тому, кто на собрании кружка на Праге невежливо отзывался о Папаре, следовало опасаться Дыллонга. Речей ему было мало. Слово, которым он так хорошо владел, бросало других в дрожь, его самого бросало в дрожь лишь дело. Но какие там, на Праге, дела!

— Боже милостивый,—плакался он недавно Чатковскому.— Разбили мы вчера еврейский ларек с газировкой. Бастилия, черт бы ее побрал!

Чатковский вспомнил об этом.

— Послушай, Мариан, сейчас наклеывается одно дело,— доверительно сказал он Дыллону.

— Да!—подтвердил Мариан, что слушает, он почему-то вдруг перешел на шепот, то ли оттого, что надо говорить тихо, раз речь зашла о тайнах организации, то ли от одной только мысли об акции, которая для него всегда праздник.

— Акция эта,—растолковывал Чатковский,—поможет нам добиться председательствования, но, конечно, она важнее сама по себе. Послужит мотором. Мы нашли его. Он будет лифтом, который вытянет Папару наверх. Он может пригодиться и для сотни иных надобностей, сам увидишь.

Дыллонг усмехнулся.

— Ладно!—вроде бы согласился он.—Хорошо, увертюра твоя прекрасна. А теперь открывай занавес. Приступай к делу.

Чатковский рассердился.

— Подожди. Я хочу тебе все как следует объяснить.

— Только чтобы до конца добраться, а то ты как развезешь со своими предисловиями...

И он захохотал—не Чатковский был тому причиной и не собственная его шутка, а только радостное возбуждение оттого, что теперь-то уж должны ему сказать.

— Ты знаешь,—напыщенным тоном приступил Чатковский к изложению сути дела,—Папара покуда известен лишь профессиональным политикам. Всем остальным надо его еще представить. Как? Есть три способа, три направления рекламы. На бумаге—раз, живым словом—два. Бумага? Время наше так ею засорено, что она потеряла всякую ценность. В ней завяз бы и сам Наполеон. Живое слово? Да, конечно. Одно опять только—Папара не оратор. Ты можешь, я, еще несколько человек. Да! Только негде! Полиция разгоняет, места нет, все что-нибудь мешает. Но есть еще третий способ добиться популярности. Американский! Раздуть шумиху вокруг какого-нибудь события. Понимаешь? Что должно теперь случиться с Папарой? Подумай, что бы ты организовал?

Говорек пробормотал:

— Только не юбилей!

— И конечно, только не наш!—согласился Дыллонг.—Знаете, что такое польский юбилей? Схлопотать палкой по голове.

Чатковский решил, что момент сейчас самый подходящий. Замахал рукой и, выделяя каждое слово, проговорил:

— Все зависит, от кого!

Говорек засуетился и, словно догадавшись, о чем речь, крикнул, будто сделал открытие:

— Так вот оно что!

А Дылонг откинулся на спинку стула. Посерьезнел, весь подобрался, будто ему достался трудный вопрос на экзамене. Ответ был ему по силам. Надо только сложить вместе все его части. Хитра их уловка, одному, без точки опоры, отдаться на милость памяти, причуд мысли.

— Сейчас, сейчас! — попросил он минуту тишины. Подробно-сти потом! Тут ведь речь идет, рассуждал он сам с собой, о самом принципе этой, что тут много говорить, провокации, чреватой огромным риском для Папары, провокации, в которой Папаре отводилась роль приманки. Хорошо ли это? — Просто бенефис, да и только, — буркнул он, поморщившись.

Чатковский разозлился. Нюх у него был отличный. Не согласится! Но Дылонг ничего еще не решил. Он пытался пошире взглянуть на дело. По ступенькам поднимался и поднимался все выше, он пошел бы на все, однако опасался, стоит ли втягивать в акцию самого Папару. Папара не должен играть! Вождь — слово, у которого нет пассивной грани. Так как же использовать его в подобной роли?

— Ты так красиво говорил о вожде, но, выходит, не очень-то ясно представляешь себе, чем должен быть Папара, — наставительно начал Говорек. — Для тебя он немного римский папа, немного главнокомандующий, а не вождь. Вождь потому и вождь, что он ведет за собой, тащит, он в первом ряду, он похож на любого другого солдата, только самый лучший. Вождь — это не профессионализм, не какое-нибудь чертовски усердное умение руководить, какого нет ни у кого! Фош был типичный главнокомандующий, собаку в своем деле съел. В этом отношении у вождя может и маковой росинки во рту не быть. Его мудрость не от мира сего. Но он и не папа, который словно центр круга. Все к нему сбегается, все вертится вокруг него. А он ни с места. Ты бы Папаре запретил даже пальцем шевельнуть.

Дылонг огрызнулся:

— А ты обошелся с ним еще чище. С этой акцией, что это должно было быть? — резко спросил он.

— Должно было? — удивился Говорек. — Ничего он еще, по существу, не знает. С первых же слов проект ему не понравился. Он его тут же перечеркнул. И уже заявляет при этом — должно было! А я тебе говорю, будет.

— Логики побольше, — окрысился в ответ Дылонг. — Без меня у вас ничего не выйдет. Вы меня сюда и зазвали затем, чтобы достать людей. Если я не соглашусь, так и делу конец!

— Да нет же! — стал растолковывать Чатковский. — Ты сначала послушай. Папара на публике показывается редко. Все больше сидит в помещении партии, куда никто из его врагов и не попытается прорваться, да еще в университете, где крутится довольно много его сторонников. Но скоро перестанут крутиться. Каникулы! А Папара все равно будет бывать там в связи с выдвижением своей кандидатуры. Он взял дежурство на кафедре! Если коммунисты захотят напасть на него, то именно сейчас. Они смело могут рассчитывать, что хозяева положения — они. Все выглядело бы весьма правдоподобно.

Планирование акции усыпило в Дылонге моралиста и политика. В нем пробудился стратег.

— А куда ты наших людей поставишь?

Чатковский принялся объяснять, оживленно жестикулируя.

— Двери аудитории выходят на лестничную клетку, такой путь Папары. Именно там он пойдет, а как дежурный — последним. Тут-то к нему и пристанут. Вроде бы никто там ему помочь и не сможет. Если сообразят, закроют на засов двери во двор. И будут сидеть себе с Папарой на лестничной клетке, запертой со всех сторон, сколько душе угодно. Могут с ним преспокойно разделаться. Сверху нет никого, а если кто во дворе что пронюхает, начнет с того, что попытается проникнуть через входную дверь, а у них там, по другую сторону лестничной клетки, окно. Выпрыгнут в университетский сад, только их и видели.

— Ну хорошо, это они, — второй раз о том же самом спросил Дылонг. — А мы?

— А мы! — Чатковский рассмеялся. — А мы! — В душе Дылонг уже был с ними.

— Что ты ржешь, — не сдержался Дылонг. — Говори!

— А мы, — и Чатковский снова улыбнулся, — отделаем их как следует. Но сперва! Все помните ту лестничную клетку?

Кристина поспешила сказать, что она не помнит.

— Только вы одна! — пренебрежительно заметил Чатковский. — Не беда! Женщин там не будет, ни одной. Так вот, — и он обратился к мужчинам, — сколько дверей на той лестничной клетке? Во двор, это одна, — стал считать он, — в аудиторию вторая. И все?

Вопрос предназначался Дылонгу. До него начало доходить.

— Нет! — вспомнил он наконец. — Там еще одна есть, на площадке подле окна, которое ты им оставляешь, чтобы у них было откуда прыгать.

— Bravo! — похвалил Дылонга Говорек.

Дылонг, казалось, и забыл все свои возражения.

— Она, правда, забита.

Веско, неторопливо, весело Чатковский выложил самое главное:

— Вот и не забита!—А потом скороговоркой, спеша все разъяснить:—Вы вообще-то знаете, что это за дверь?

Нет, Дылонг этого не помнил.

— Ты был когда-нибудь на факультете классической философии?

— А!—обрадовался Дылонг.—Ну конечно же. Маленькая приемная перед кабинетом профессора.

— Вот-вот!—И Чатковский ткнул пальцем в сторону Дылонга, словно указывая всем на источник истины. Затем принялся рассказывать:—Несколько дней назад я ждал профессора. И чтобы меня никто не опередил, не в зале, а в приемной, даже не сидя, а стоя, стула там нет. Стою, стену подпираю. Вижу, что-то белеет. Пододвигаюсь к двери. К той самой. Слышу, шаги за нею. Догадываюсь, там должна быть лестница. Идет кто-то. Слышу разговор. Два типа каких-то. Один хромым, ногу вроде бы волочит, шаги какие-то неровные. Еле тащатся, болтают. «Все о нас понимаю. Ничего тут для меня нового. Сам в Германии на жуткие вещи насмотрелся,—говорит один.—Вот что меня только поражает: как это молодые польские фашисты одновременно могут быть и такими правоверными католиками». А другой, судя по голосу желторотый, сопляк, в ответ ни больше, ни меньше речь закатил: «Я бы этого их Папару как собаку разделал. И всех ему подобных. Всех будущих вождей. И дело в шляпе. Сегодня они для многих посмешище, но справиться с ними можно только сегодня. Через год он уже не будет смешон, до него не доберешься, а через два—не ты до него, а он до тебя доберется! Государство внимания не обращает на эти сорняки. А потом будет уже слишком поздно. Сегодня до Папары еще дотянешься!» Когда они стали удаляться, а голоса их стихать, я навалился на ту дверь, хотел послушать, что дальше. И понял, какая же она слабенькая. На одной скобе держится. Говорю вам, труха! Тут профессор: «Вы ко мне? Пожалуйте!» Через минуту выхожу от него. Помчался через двор, влетаю в соседнюю аудиторию, куда и ведет эта лестница. Там как раз и дежурит Папара. Его нет. А вообще-то есть кто? Заглядываю в их читалку. Человек двадцать. К кому прицепиться? К колченогому. Вижу, знакомый студент. Спрашиваю, нет ли тут кого-нибудь хромого. Не знает! А кто сюда пришел четверть часа назад? Все. Как раз к открытию. Ищи ветра в поле! Одно только—выходя, я еще раз оглядел эту забитую дверь со стороны лестничной клетки. Держится она на честном слове.

— Да-а-а!—глубоко задумавшись, протянул Дылонг.—Действительно!—размышлял он.—Если такое должно случиться с Папарой, то именно там. А эти двое, знаешь о них что-нибудь, что по этому поводу думаешь, это что, пусть и самый предварительный, но план или так, случайная мысль?

Чатковский крикнул в ответ:

— Конечно же, больше! Желание, страсть, ясная воля. Для нас этого должно быть достаточно. Идею пьесы они выдвинули, а если у них нет автора, то мы его заменим и сыграем, что им хочется, только вот сцену выберем сами. И режиссура будет наша!

Кристина бросила взгляд на часы. Самое позднее через четверть часа придет Ельский. Днем он вернулся в Варшаву и навязался прийти сегодня. У него было что ей порассказать. Познакомился с ее отцом. Провел вечер с Черским. А как же! Уйма интересных разговоров. Ему хотелось повидаться с Кристиной как можно скорее. Все одни только предлоги! С пустыми руками, без новостей и приключений, он все равно рвался бы к ней. Ну а тем более раз у него, кажется, есть чем похвастаться. Кристина отодвигала его на вечер, попозднее. Он сказал: «Приду немного пораньше». Ельский частенько объявлялся, даже не позвонив предварительно по телефону. Нередко натькался тут на товарищей Кристины по организации. Так случилось с молодым Сачем, который принял Ельского за одного из своих. Так случалось с Чатковским, который считал Ельского человеком, очарованным движением, но пребывающим в нерешительности, отдаться ему или нет. «Не говорите при мне о ваших секретах»,— просил он. Ельскому отвечали, что ему доверяют. Считая его своим, галантно повторяли: «Мы знаем, вы нас не предадите!» «Но из-за ваших секретов»,— возражал он,— я предаю порядок, которому присягал. Не забывайте, я на государственной службе». «Не придавайте государству больше значения, чем оно вам!»— смеялся Говорек. А Чатковский успокаивал его: «Вы не первый чиновник в партийных списках. Прекрасный материал, который умеет держать язык за зубами. Секретные дела ему не в новинку». Ельского подобный тон раздражал. Ему хотелось побольше разузнать о движении, и он опасался сделать неверный шаг. Ельский ценил тот факт, что благодаря Кристине мог наблюдать за ними прямо в гостиной. В этом он отдавал себе отчет. И все же ему хотелось выгащить оттуда Кристину. Теоретически? И на практике тоже. Он несколько раз основательно говорил с нею об этом.

— Не думаю, что вы долго останетесь у Папары! Ну какая вообще это для вас работа! Вы даже не знаете, как она вам вредит!—Порой столь пылкие советы растапливали оковы светских условностей.—Одно дело—быть хозяйкой политического салона,—поучал он,—другое—клуба.

— Почему,—спрашивала Кристина,—опаснее?

— Об этом я и не говорю даже,—воспользовавшись случаем, он отдал должное собственной сдержанности,—хотя и умираю от страха за вас. Всякий день вас могут отколошматить. А арест!—вздыхнул он и простонал:—Боже ты мой!

— Вы говорите, словно самая обыкновенная тетушка!—возмутилась Кристина.—Вы еще скажете, не к лицу!

— Да нет же! — закричал он. — Тетка сказала бы «не к лицу» про ваши взгляды, а я про работу. Разве она вас не шокирует? — И он взглянул на Кристину с глубочайшим сочувствием.

И тут она набросилась на него с новым аргументом.

— Знаете ли вы, что мне за нее платят? — Получала она сущие гроши, но твердила, что это много, если взамен не надо просиживать восемь часов в день, как на службе, и можно делать, что поручено, когда сама захочешь.

— Если бы я был уверен, что вам будет хорошо на каком-нибудь порядочном месте, — восклицал Ельский, — я уж точно подыскал бы вам что-нибудь.

— Вот и чудесно! — Она хлопала в ладоши, но он прекрасно знал, что ни одно его предложение не подойдет, поскольку она станет привередничать. Это место плохо, там работают одни идиотки, то — слишком много денег уйдет на трамвай, третье не подойдет, ибо надо многое уметь!

— Отчего вы не скажете, — злился Ельский, — что просто не хотите!

— Ну какой же вы странный. Я вправду хочу!

Это он-то странный! Ельский про себя призывал бога в свидетели. И затем складывал оружие, делал вид, что принимает ее слова всерьез, опять что-то обещал, отчаивался, понимал, что Кристину ему не переубедить, а тем более не переделать! Надо принимать ее такой, какая она есть, а принять ее такой — невозможно! Он тревожился, и это оказалось лучшее, что он мог сделать, ибо Кристине становилось искренне жаль себя. И даже это чувство безнадежности, которое ее охватывало, оборачивалось выигрышем, она вдруг делалась сердечной и более доброжелательной, хотя до этого она отбивала у него всякую охоту обращаться к ней.

— Вы, однако, очень взбалмошная! — взволнованно заявлял Ельский.

— Сумасшедшая! — Она нарочито подчеркивала собственную неуравновешенность, предположив вдруг, будто это самая трогательная ее черточка, и просила Ельского сесть поближе и посмотреть на нее. — Я кажусь такой сумасбродной? — спрашивала Кристина. Тут Ельский обязан был непременно вздохнуть раз-другой, покачать головой, после чего в конце концов она позволяла ему поцеловать себя, с минуту сидела спокойно, а затем вдруг: — Излишества до добра не доводят! — кричала или же, расхохотавшись ему прямо в лицо, бросала: — Хватит, а то еще чуть-чуть — и будет слишком!

Всякий раз, когда в подобных случаях на нее нападал смех, Ельский обмякал. Это только возбуждало ее, но лишь до тех пор, пока Ельский хандрил. Мужчины в Ельском Кристина не любила, ибо его в нем она не чувствовала.

А Дылонг все продолжал размышлять.

— Ну,—заговорила она,—каков же будет ваш мужской ответ,—это было выражение из ее репертуара.

Теперь она подстегивала им Дылонга! Поздно! И к тому же от самого принципа еще предстояло перейти к деталям. Увы, переход этот не обещал ничего хорошего. Дылонг побледнел. Идея Чатковского и нравилась ему, и нет. Если левые действительно по собственной инициативе нападут на Папару! Ба! Слишком многого хочешь, сам себя в душе высмеял Дылонг. Чатковский выяснил лишь то, не торопясь рассуждал он, что какой-то враг Папары (ни кто он, ни как он выглядит, известно не было) не прочь избить Папару. Подобные желания должны обойтись ему порядочной баней, это так. Но, черт возьми, им овладело отчаяние, стоит ли ради этого насаживать на крючок Папару. Дылонга приводило в бешенство любое худое слово о Папаре! За каждое он бил. Папара должен быть неприкасаем, для Дылонга это было догмой. Он выше всех! Если с ним, как хотят коллеги, проделать такой фокус, не приблизит ли это его немного к земле. А может, это анахронизм мышления, которое в переломные периоды всегда затевает с нравственными принципами какую-то странную игру? Только ты откажешься от одного, почувяв в нем предрассудок, тотчас же возникают подобные подозрения и насчет следующего. А плохо, если ни одному из них не суждено избежать такой участи. Дылонг страдал. Никак не мог решить, есть ли тут какой-нибудь предел. Говорек взглянул на его хмурое лицо. Рассмеялся. Сделал вид, что о чем-то догадывается.

— Вслушайтесь-ка в эту тишину,—закричал он.—От огромных усилий душа Дылонга постанывает. Ну-ка, ушки—на макушки!

Дылонга затрясло, словно больного, с которого сбросили одеяло. Он враждебно и подозрительно посмотрел на Говорека.

— У вас никакой морали. Вам легко!

Говорек огрызнулся:

— А тебе трудно, потому как не знаешь, какую пустить в дело!

Кристина предотвратила ссору.

— Фу-фу, не лайтесь,—пропищала она. Больше всего в жизни она любила собак. Так она считала. В книге своих афоризмов она упоминала о них не раз.

А Дылонг впал в отчаяние, все в голове его перемешалось. Он то и дело принимал твердые решения, но всякий раз—иные! И ничто не предвещало, что он выберется из этого лабиринта. Может, отложить решение? Он проговорил это вслух и сам же себя обругал. Тут ведь прежде всего речь идет о принципе! Если сегодня он не знает, как выйти из положения, может, будет знать завтра. Это само собой. Но к какому бы решению он потом ни пришел, факт этот уже навсегда ляжет камнем на его душу: он ведь не сразу разобрался в том, где проходит граница между

честью и интересами вождя. В их движении вождь был всем! И не знать о нем такой основополагающей вещи значило не знать ничего.

— А говоря конкретно,—Дылонг отходил на запасную позицию,—чего вы от меня-то хотели бы?

— Чатковский тебе уже сказал,—Говорек решил снизить ставки до предела.—Пока что одного человека. Нам нужна ниточка к любой крайне левой группке. Их только подговорить, они соблазняются,—и потом навести! А мы будем ждать. Есть у тебя кто-нибудь такой, просто вдохновитель, а?

— А это получится?—неудачно попытался отсоветовать Дылонг.

Кристина с наигранным удивлением воскликнула:

— Как вы помолодели!—Это должно было означать, что он совсем ребенок.

Может, он и в самом деле на секунду стал ребенком, когда остро почувствовал—ни за что. Никому из своих людей он и словечка не смог бы сказать о сегодняшнем плане. И до конца жизни не посмел бы взглянуть им в глаза, если бы они знали, с каким легким сердцем он было уже согласился сделать из своего вождя подсадную утку. Сама мысль об этом была ему теперь отвратительна.

— Нет, не вижу никого!—Он откашлялся и еще громче повторил:—Нет у меня таких.

Чатковский усомнился:

— Ни одной свиньи!

— Свиньи есть,—возразил Дылонг. Отрицать этого он не мог.—Только пяточки у них слишком большие и языки чересчур длинные. Для секретов не годятся. А такое дельце, если оно вылезет наружу, произведет на мою молодежь страшное впечатление.

Чатковский спокойно заметил:

— Как, кстати, и на тебя самого!

Дылонг покраснел. Бывает всего лишь только миг, когда возражение может прозвучать естественно. Дылонг дал маху, он что-то забормотал, вышло фальшиво, да не все и не всё расслышали. Он замолчал и расстроился. Словно все они шли гулять, а он оставался дома один! Ибо они вдруг все повернулись друг к другу, будто его и нет тут. Он подумал о ребятах с Праги, как учитель о детях, разозлившись, что вот он должен с ними высиживать в классах, вместо того чтобы быть со взрослыми. Схватил Чатковского за локоть и оттащил от тех троих.

— Вам нужно привести человека,—спросил он,—или достаточно назвать фамилию?

Только бы не говорить ни с кем! На это он и сейчас еще не мог решиться. Чатковский понял его.

— Фамилии хватит,—и тем сразу развеял все сомнения Ды-

лонга.—Мы и сами его найдем!

Говорек поспешил с ненужными уверениями:

— Ты останешься в тени.

Дылонгу стало не по себе, но ведь он не мог сказать, что не хотел бы этого. Чатковский отмахнулся от не к месту сказанных слов Говорека.

— Ну, само собой.—И Дылонгу:—Послушай, серьезно, есть у тебя кто на примете?

Дылонг откусил пирожное и буркнул, уставившись в окно. Вроде как равнодушно, вроде как рассеянно:

— Брат Завиши, не знаю, слышал ты о нем, Фриш...

Чатковский не дал ему договорить:

— Ну конечно же, прекрасно. Он неплохой поэт. Но как переводчик—лучше. Его Мильтон...

— Ты прав,—перебил Дылонг, погруженный в свои мысли.—А вместе с тем тип этот страшно бедствует. Языков знает до черта, теперь вот финский долбит ради какого-то их эпоса, «Калевалы», что ли. Жаль, что произведение это именно ему в руки попало. Плохо кончит. Еврей, чахоточный, чудило, под надзором полиции, книги крал на Свентокшиской, коммунистом когда-то был, во всех камерах Павяка перебивал. Бог знает, когда его выпустили, а он до сих пор и помыться не удосужился.

— Откуда ты все это знаешь?—удивился Чатковский.—Я думал, ты к еврею приближаешься не иначе как с кулаками. А тут такие подробности.

— Знание предмета!—поправил Дылонг.—Сам я с ним не сталкивался. Но фамилию знаю, и не первый день. В нашей картотеке коммунистов он оказался по случаю какого-то процесса. В последнее время мы им особенно заинтересовались. Выйдя из тюрьмы, прекратил всякую деятельность. Охладел. Но связи, несомненно, у него остались. Наверняка найдет вам каких-нибудь энтузиастов, которых можно будет подготовить. А теперь отгадайте, кто ко мне обратился за материалом на Фриша?

Кристина пожала плечами и развела руками.

— Сач!—Одной этой фамилией Дылонг указал присутствующим верное направление. И принялся подробно распространяться насчет стечения разных обстоятельств.—Завиша живет с Черским. Тому это обходится тысяч в пятнадцать ежемесячно. Сач решил, что у этого Фриша можно было бы что-нибудь вытянуть для партии. Чепуха! Ну, Сач, правда, так твердо стоял на своем, что мы решили приглядеться к этому Фришу. Выяснилось, что с сестрой своей он не знается. Несколько раз она заплатила за его квартиру. С утренним чаем—сорок золотых! Нора. Несмотря на это, живет как альфонс. Сестру ненавидит. Сделает все, только бы уехать. За границу, понятно.

Чатковский заметил:

— Этот человек не сделает ничего.

— Оттого, что ему, вероятно, мало предлагали,— толковал свое Дылонг.— Ради жизни в Варшаве не стоит надрываться. Таково его убеждение. Но если ему посулить денег, которых хватило бы на несколько месяцев вояжа по дальним странам?

Чатковский задумался.

— Значит, ты его рекомендуешь?— пробормотал он.

Дылонг побагровел. Он-то рассчитывал, что ему удастся как-то незаметно навести их на Фриша, а самому остаться в стороне.

— Ничего я не рекомендую!— взорвался он.— Я против всей этой затеи. И не думаю ни во что вмешиваться. Просто рассказываю вам об этом человеке. Любопытный тип. Разве нет?

— Совсем неинтересный!— изрек Говорек.

Дылонг решил умыть руки.

— Это уж ваше дело. Я свое сказал. Нет так нет. Я уйду.— И прибавил тише, очень искренне:— Мне бы не хотелось, чтобы мы связались с этим Фришем.

— Совесть?— рассмеялся Чатковский.

Нет! Скорее покорность судьбе. Он уговорил себя, что в любом случае не одобрит их плана, но он не смог бы не думать о нем, если бы тут оказался замешанным его Фриш. Чатковский его успокоил:

— Не станем связываться, можешь быть спокоен. Что-то мне кажется, слишком дорого он нам обойдется.

— Ну скажем, полгода за границей,— стала подсчитывать Кристина с явной неприязнью к Фришу.— Сколько же это тысяч?

А Дылонг, как всегда раздваиваясь, вступился за своего кандидата.

— Где же слишком дорого!— возразил он.— Этот человек не тратит больше сотни в месяц. А при одной мысли о поездке в Париж готов себя во всем ограничить.

— Если бы!— буркнул Говорек и принялся высчитывать про себя.

Дылонг взглянул на него. По выражению лица Говорека он догадался об этом. Надо бы уйти, пока они не втянут меня в цифры. Он взял пирожное.

— Бегу,— пробубнил он, и еще с полным ртом попытался предостеречь их. Хотел даже погрозить рукой, но в конце концов подставил ее ко рту, чтобы крошки не упали на пол.— Во всяком случае, вы не вправе и гроша взять из партийной кассы. Такие расходы взбесят Папару и огорчат мальцов.— «Ребятишки и пророк!— задумался он.— Вождь— это идея. Ее приверженцы— масса. Между ними— иерархия посредников. На разных ее ступенях,— он оглядел собравшихся в гостиной, себя исключил,— все они. Дело Папары их вовсе не трогает, если подходить с точки зрения этики, а вот самую верхушку и самое дно оно способно потрясти!» Он как-то вяло еще пожалел тех, со средних ступенек,

за их нравственную всеядность. «Ну, да хватит! Ничего ведь не бывает в мире без каких-то примесей!»

В дверях он столкнулся с Ельским.

— А, все одни общие рассуждения!—солгал он, отвечая на вопрос, о чем они говорили. И тут он вдруг понял то, что уже давно мучало его.—Одним в жизни достается нравственное чувство, другим—чувство реальности.

И они разошлись: Дылонг, неожиданно открыв, что, может, потому он так глупо вел себя у Кристины, что оба эти чувства попеременно брали в нем верх; Ельский с горечью размышлял о том, что личная жизнь не удастся ему, ибо у него нет ни того, ни другого.

— О, это вы!—удивилась ради Говорека и Чатковского Кристина. И, как всегда, в нерешительности, что лучше—то ли что она пригласила Ельского на тот же час, что и их, то ли что положение Ельского таково, что он может приходить без приглашения.—Кристина решила на два—одно за другим—восклицания:—Какой сюрприз! Ждем! Ждем!

А они словно только и дожидались этого, чтобы подняться.

— Значит, до вечера,—прощалась она с Чатковским.—Я буду!

И несколько раз кивнула головой. Да, да! Дабы специально удостоверить, будто это и не было ясно само собой, что она воспользуется приглашением Штемлеров.

— Он тоже идет!—похвалил Говорека Чатковский.

Как-никак это было известное признание света! Большой прием, будет вся плутократия, которая поддерживала мир науки и искусства. Самые дорогие кисти, академические кресла, главные редакторы, директора театров, одна кинозвезда, вся в бриллиантах, может, один чрезвычайный посол, наверняка несколько министров, в том числе парочка бывших, множество советников из министерства иностранных дел, аристократический кружок, группа из наблюдательных советов и—молодежь. Но и они—все только самые избранные, из литераторов никого без премий, живопись, музыка, архитектура—все имена, связанные с какими-нибудь важными событиями: если уж молодой адвокат—то после шумного процесса, если чиновник—так уж правая рука министра, если ученый—хотя и редко, то по меньшей мере доцент, с торговцами еще сложнее; инженер, служащий—таких уже нет.

— Очень рада.—Кристина пожала руку Говореку, будто поздравляла того с повышением.

Он никто! Но у Штемлерихи прекрасный нюх, промелькнуло у нее в голове, видно, кем-то станет! В организации поговаривают, что после завоевания власти он будет генеральным прокурором, он и без политических перемен мог бы сделаться сегодня прокурором апелляционного суда. В министерстве его даже уговаривали. Может, что с этим назначением! Ибо госпожа Штемлер не любила ждать, когда у ее гостей засияет нимб вокруг

головы. Слава, которая только-только собирается разгореться, не в ее вкусе. Она поддерживала готовые изделия, пользующиеся популярностью. Но Говорек объяснил свое приглашение самым простым образом. Он дружен с дочерью Штемлера, с Бишеткой.

— А!—воскликнула Кристина и обвела глазами всю комнату, от потолка до пола, словно провожая взглядом падающий метеорит. Да! Ведь были же еще две барышни с их романами. О нем они и не вспоминали. Это знаменательно. Ведь до того, как только вокруг одной из них начинал вертеться кто-нибудь достойный, они всякий раз хоть словцом проговаривались. Какой снобизм при их-то слабых нервах.

— Вы непременно приходите!—Говорек все еще смотрел на нее, сбитый с толку ее восклицанием. Она старалась теперь как-то сгладить неприятное впечатление.—Дом стоит того, чтобы познать его.

Чатковский засмеялся.

— Наполовину французский салон, наполовину кафе. Что-то среднее между компанией в кафе «Земляное» и раутом в Замке¹.

Ельский никак не мог дожидаться, когда они уйдут. В разговор он не вступал.

— Вы тоже будете?—спросили они.

Он кивнул.

— Он для того и существует,—рассмеялась Кристина,—чтобы всюду бывать.

Наконец они остались одни, Ельский протянул к ней руки.

— Вы голодны?—поинтересовалась она и сунула ему тарелочку с тортом. И, глядя на вторую его руку, которой тоже следовало найти занятие, сказала:—Сейчас вам будет чай.

Она засуетилась, лишь бы Ельский подольше стоял вот так, с чашкой на блюдечке в одной руке, с тарелочкой в другой, широко расставив руки, балансируя, чтобы ничего не уронить,—принятый приветливо, окруженный заботой, но, правда, все по-товарищески.

— Что же вы подельвали?—начала она разговор.

Посмотрела на сигарету, подула на нее, чтобы та лучше разгорелась, взглянула Ельскому прямо в глаза. Они вмиг вспыхнули, а Кристина принялась изучать эти огоньки—то на кончике сигареты, то в глазах Ельского.

Ельский молчал. Вдохнул. Она вовсе и не намеревалась держать его на расстоянии и тем досадить ему. И все же, если ей надо было о чем-нибудь его попросить, обычно так и начиналось. Никаких ласк, ибо они доводили ее—еще до того, как ей удавалось добиться чего-нибудь,—до бешенства: ей представлялось, она сама себя ими унижает.

— Нам нужны деньги.—И она фыркнула, недовольная тем,

¹ Замок—резиденция главы государства—президента.

что подобных полезных вещей вечно не оказывается под рукой, когда в них возникает потребность.

У Ельского на кончике языка уже вертелась фамилия знаменитого председателя наблюдательного совета концерна «Голиаф», о котором он точно знал, что тот недавно дал партии около двадцати пяти тысяч. Но Ельский вовремя сдержал себя, ограничившись намеком.

— Я слышал о весьма весомых свидетельствах признания. От них не осталось ни гроша?

Кристина нервно взбила челку.

— Это совсем другое дело,—буркнула она.—Речь идет о сумме, которую мы хотим израсходовать неофициально. Это связано с Папарой.

Ельский улыбнулся.

— Подарок на именины.

Она хотела запротестовать, но промолчала. Что толку объяснять, и так ничего даже близкого к правде сказать она не может. Пусть думает, что подарок.

— Что-то в этом роде,—неохотно согласилась она.

По ее тону он тотчас же догадался, что это не так. У него не было желания притворяться, что он ей поверил.

— А хоть бы и не на это,—проворчал он.—Мне-то какое дело.

Но едва он успел закрыть рот, как им завладели совсем иные чувства. С государственной точки зрения, рассуждал он, движение можно рассматривать как своего рода опыт. Ставят его в малых масштабах и исследуют силу взрыва. Потом его соответствующим образом препарируют и делают государству инъекцию—словно укол мышьяка страдающему малокровием. Да, метод, конечно, сложный, но эффективный. Однако то, что помогает государству выздороветь, для отдельного человека может оказаться смертельным. Только бы не Кристина!

— А много ли нужно этих денег на подарок юбиляру?—спросил он с ехидством.

И тут только она сообразила, что и сама еще не знает. По глазам Ельского ничего нельзя было понять. Уж не издевается ли он над ней, злясь, что движение так ее захватило? Никогда не следует никого подпускать к себе слишком близко, теряешь свободу! И дышать-то рядом с этим Ельским тяжело, можно задохнуться от его похвал и ревности. При нем сердце то и дело начинает колыхаться, да вот только уж не от нежности.

— Бог ты мой,—вздыхнула она.—Да разве я знаю, сколько надо!—И злясь на Ельского, который вместо того, чтобы помочь, лишь еще больше запутывает дело, добавила:—Не все ли вам равно, тысячу или пять! Это одних нас касается. И того, к кому мы пойдем. Соболаговолите только подсказать какой-нибудь адрес, лицо...

— Пять, пять!—забормотал Ельский. Когда кто-нибудь не

понимал таких простых вещей, Ельский, стыдясь за него, начинал путаться, беситься и отчаиваться, и тут единственное, чего он не в состоянии был втолковать Кристине, так это самоочевидного.— Пять, пять!—повторял он упрямо.— Сотен или тысяч? К чему вам беспокоить какую-нибудь акулу, коли вам надо несколько сот злотых. Ступайте к какому-нибудь вашему единоверцу поплоче, да хоть к первому попавшемуся лавочнику. Оставьте в покое акулу до более серьезного случая.

— Этот-то и есть очень серьезный!—изрекла Кристина пророческим тоном.

— Но сумма-то какова? Тоже серьезная?

— Минутку, минутку.—Кристина разволновалась, догадавшись, как ее подсчитать.—Речь идет о том, чтобы отправить кое-кого за границу. К тому же надолго.

Ельский удивленно посмотрел на нее.

— На полгода. Ну нет, на пять месяцев!—тут же спохватилась она.

— Прекрасная цель!—похвалил Ельский.

И искренне. Поначалу ему всегда представлялось, что деятельность полуправительственных политических организаций сводится к одним преступлениям. Как бы благородны ни были их конечные цели, что ему до того: во всем этом движении его интересовала лишь Кристина и тревожило только то, что партия может втянуть ее в какое-нибудь грязное дело.

Ну значит, не сейчас!—облегченно вздохнул он. Полгода за границей! Что бы это такое могло быть? Для политических контактов чересчур долго, а если у кого земля под ногами горит, то слишком мало. Зато в самый раз, если это какая-нибудь переподготовка, курс чего-нибудь. Он раздумывал с минуту. Речь, конечно же, об учении, решил он. И успокоился.

— Пребывание, пребывание!—Ельский перебирал наиболее типичные варианты. Это зависит от того—где. Немецкий или бельгийский университетский городок—триста злотых в месяц. Лондон—шестьсот. Париж...

Глаза Кристины заблестели. Ельский это заметил.

— Видите ли.—Он развел руками, размышляя о том, как безграничны тут возможности.—Париж!—Можно жить и на сто, а можно голодать и на тысячу.

— Ну, а в среднем, в среднем!—раздраженно заторопила Кристина.

Стало быть, Париж!—утвердился в своей догадке Ельский. Никакой у меня от этого выгоды, подумал он, кроме удовлетворения от того, что угадал. И он выложил Кристине все, что знал о ценах в этом городе. Ее интересовала лишь месячная сумма, достаточная для скромной жизни. Услышав это, Ельский буркнул:

— Ага!

Париж! Само собой, курс чего-нибудь. Придя к заключению, что это именно так и есть, Ельский посчитал себя вправе пойти в своих выводах и дальше, Париж, Париж — парадоксальный выбор города для обучения молодого националиста. Хорошенький там его ждет искус! Ехидство, сдобренное духом противоречия, сделало свое дело: идея эта стала Ельскому нравиться. Кристине не повредит, а движение выставит в смешном свете. Так что у нее прямо-таки идеальные обстоятельства для того, чтобы искать помощи у меня! — решил он. И назвал сумму, необходимую для поездки, по его понятиям достаточную. Кристине она показалась огромной.

— Но это же сумасшедшие деньги, — вздохнула она. — Даст ли их кто-нибудь?

— Это зависит от того, сколько надо, — рассмеялся он. — Люди вкладывают в вашу партию не за то, что она прекрасна, а за то, что у нее есть шансы. Она может победить. Стало быть, надо застраховаться. Так, как страхуются от града, наводнений, пожара, страхуются и от радикального политического движения. Не от каждого можно. К счастью для большого капитала и собственности, от вашего — можно. Правда, движение ваше непристойно, но ни для одного богача оно не станет игольным ушком, главное — только не опоздать обратиться в нужную веру. Знаете, что такое для богатого обратиться? Это синоним слова «дать»!

Кристина вспомнила рассказ об одном своем предке. Тот Медекша, третий князь на Брамуре очень распутно жил на доходы от своих владений. Спустя годы заговорила в нем совесть, поставил он в своем городишке храм, который обошелся в такую сумму, что это чуть не разорило князя. Да вот грешить не перестал! Ельский знал эту семейную историю. Кристина напомнила ему лишь о том, что венчало ее.

— Вы помните, что сказал епископ моему прапрадеду? Имение свое, князь, ты обратил на путь добродетели, но душу свою — нет!

— Bravo, епископ! — расхохотался Ельский. — Только все это не по нашим временам. Ваша партия таких различий уже бы не делала. Лишь бы толстосум выразил свое «верую» деньгами — этого и достаточно. Что он там думает про себя, для политики значения не имеет. Партию интересуют только его убеждения как богача. Голос его фортуны.

В углу на табурете стоял английский граммофон. Кристина показала на заводскую марку: заслушавшаяся собачка.

— His fortune's voice¹, — поддразнила она Ельского.

И Кристина продолжала говорить легко и умно, но все еще сердясь, что сумма на поездку выходила такая немалая. А ведь

¹ Голос его фортуны (англ.).

она и сама бывала за границей, кстати, училась там. И то, что этому Фришу заплатят отправкой в большой мир, она тоже приняла совершенно спокойно. И, только когда Ельский помножил за нее сумму, необходимую для месячного пребывания в Париже, на шесть, она разозлилась и приуныла. Ибо все явления в воображении ее возникали без фона, без перспективы, лишенные каких бы то ни было связей друг с другом. Фантазия ее была способна только бурлить. И ничего больше. Простейшие действия были ей чужды. Поэтому сам факт, что такая обыденная вещь, как студенческая жизнь за границей, могла тотчас же обернуться прямо-таки неправдоподобными расходами, поразил ее и рассердил. На какое-то время мир в ее глазах померк.

А Ельский разошелся.

— Любопытно, что крупная земельная собственность вкладывает деньги в консервативные партии и газеты. А плутократия по тем же самым причинам делает ставку на политических новаторов. Ибо земля вечна, а деньги подвижны. Земля верит, что мир не должен меняться, деньги поняли, что должен, но не обязательно к худшему. Оттого консерватор никогда не менял бы министров, а банкир, заводчик, торговец охотно сделали бы это в качестве платы за такие перемены, чтобы дело не дошло до коммунизма.

Все это теории, думала Кристина. Из них вовсе не выходит, что кто-то должен дать им эти три тысячи. Кристина обожала общие рассуждения, только бы они не касались какого-нибудь реального случая. Особенно такого, в который была замешана она сама. Тем временем Ельский в полном противоречии с настроениями Кристины продолжал витийствовать. Мыслящий человек бывает слеп.

— В большом состоянии страшно то, что и оно подчиняется закону тяжести. Его тяжело сдвинуть с места, трудно им управлять, нередко оно очень упрямо, тянет, куда захочет, человек приписан к нему, словно раб. Ничего удивительного, что люди так боятся за свое богатство, ибо само оно себе ничем не поможет. Все нужно делать за него, беспрестанно его обхаживать, без усталости оправдываться за него и унижаться до того даже, чтобы оплачивать его шутов, таких, как вы, к примеру.

Кристина покачала головой:

— Все это красивые слова.— Чтобы разозлиться еще больше, ей не нужны были возражения. Хватало и собственного монолога. Так она сама себя распаляла. От замечаний, которыми она хотела выразить свое безразличие, она бросилась к прямо-таки оскорбительным.— И-и-и,— запищала она пренебрежительно,— все это болтовня одна!

— Она вам объясняет,—с достоинством возразил Ельский,— почему богатые люди откупаются от вас.

— Я не хочу объяснений— почему, я хочу знать— кто именно!

Побагровевшая Кристина ставила Ельскому свои условия. Он и в самом деле не подумал об этом. Минуточку! Проще простого — чья-нибудь фамилия, и все. Он умолк. Его охватила та особая свойства дразнящая лень, которая поражает мысль, когда ей поручается слишком легкое дело. И злость на собственную память, что она не спешит на помощь, и не пошевелится даже.

— Прошу прощения, секундочку! — рассердившись, сказал он и сморщил лоб. Он чувствовал на себе взгляд Кристины. Как дать ей понять, что она неделикатна? Зачем она так погоняет его глазами. Нет, по правде говоря, никто не приходил ему в голову. — Хуже всего, — заметил он, — насиловать память. Раздражать ее не стоит.

Но для Кристины существовало только сейчас. Если придется ждать, значит, ничего из этого не получится. Опять что-то пройдет мимо нее.

Еще одно приключение, которое минует ее стороной. Еще раз все кончится на приманке. И она ясно почувствовала, как из этого страха рождается в ней потребность солгать. Она не выдержит! Встретившись с теткой Штемлер или с кем-нибудь из кузенов, она должна убить их рассказом о солидной провокации, в нем она свяжет себя с нападением на Папару, словно сон с явью. Фантастически меняя фигуры и беспрестанно смешивая идею с ее осуществлением. Трудно представить себе, что кому-нибудь может присниться сон, в котором он сам бы не присутствовал. Так и Кристина просто не могла вообразить себе никакой ситуации без себя самой. И словно автор, прибегающий к вымыслу — мол, рассказывает он лишь о виденном собственными глазами, — она доводила дело до того, что правдоподобие выдуманных ею историй разрушалось только чрезмерностью ее свидетельств — слишком уж обильно истории эти были пропитаны самой Кристиной, чтобы не быть сказкой.

Есть люди, которые не перестают удивляться тому, что оказались где-то. Кристина не могла успокоиться, если ее где-нибудь не было. К тому же она не умела ничему удивляться и мириться с этим. Так что, покуда могла, она не соглашалась. И потому каждая ее ложь была в известной мере протестом против слепого случая, который отодвигал ее на задний план, хотя в каждом происшествии, в которое она позволяла своей фантазии втягивать себя, она принимала куда более живое участие, чем подлинные очевидцы, правда лишь в собственном своем воображении. И сейчас для Кристины важным стало не то, действительно ли кто даст деньги на авантюру с Папарой; ее интересовало прежде всего то, кто это будет. Чтобы узнать как можно поскорей и начать фантазировать. Какое наслаждение потом в разговорах с людьми, далекими от партии, ощущать в себе этот натиск правды, этой тайны, готовой сорваться с кончика языка, эту дрожь, которая пробирает тебя, когда ты исторгаешь намеки,

позволяющие другому лишь лизнуть правду, но никогда не постичь ее.

— Вы носитесь с секретами, словно полудева с целомудрием,— сказал ей как-то Чатковский, который видел ее насквозь.

Но за организацию он не беспокоился. Ибо Кристина умела примешать столько домыслов к капле правды, которую она выбалтывала, что толку от этого не было.

Ельский уже некоторое время держал Кристину за руку. Теперь он сжал ее.

— Нельзя,— сказала она,— иначе мы плохо будем выглядеть вечером.

Ельский поморщился.

— Всякий раз, когда действительно бывает нельзя,— заговорил он, надувшись,— вы по первому прикосновению догадываетесь, чего мне хочется. А как только в принципе можно, вы не желаете понимать.

Кристина подняла глаза, словно была уверена, что если внимательно рассмотрит Ельского, то поймет наконец, почему так получается. И опять ее поразила какая-то торжественность в нем, какая-то временность доброты его лица. Будь он убогим, он воззвал бы, как то умели другие, к ее материнскому чувству. Будь он сильным, он пробудил бы в ней жажду подчинить его себе. Физически он немного ей нравился, только вот из этой искры огонь не разгорался. В общем-то телесная приманка для Кристины—это да, но для ее слабостей—никакая! Как в луне, как в актере, как в пьянице, чувствовалось в силе Ельского и в его блеске что-то преходящее. Тот вечер, когда из ее квартиры он звонил на службу! Что же такое сказал ему дежурный чиновник, если он моментально угас. Спустя секунду он был уже жалким, достойным сочувствия, вся энергия из него улетучилась, так же как до того—может был чересчур самоуверенным и предприимчивым. Кристина насупилась, вспомнив тот вечер. Как он после этого телефонного звонка жался к ней. Не хотел и слова сказать: выкидывают его или еще что. Так или иначе, нельзя вот так вдруг превращаться в ребенка, если до того беспрерывно твердишь, что будешь для женщины опорой. Ничего из этого не выйдет!

— Ах, боже, боже!—вздохнула она и погладила его руку.—Расскажите-ка лучше поскорее, что было, тогда мы еще и переодеться успеем. Словом, прежде всего, зачем вы ездили?

Об этом Ельский говорить не мог.

— По служебным делам,—ответил он.—Такая там скучища!—Выражение это он перенял у Кристины.

— Скучища!—повторила она.—Все равно, вечно эти ваши секреты. И где это все? Можете сказать?—Это он мог. В Бресте. Глаза у Кристины заблестели.—Из-за Черского?—спросила она. Ельский сказал, что нет.

— Во всяком случае, не из-за,—рассмеялся он. И тотчас

вспомнил:—А этот Сач у него, вы его знаете, что он за тип?

Кристина возмутилась.

— Никакой он не тип! Парень первый сорт. Это я его отыскала!

— И подсунули Черскому!

— Вот именно!—Два эти слова Кристина произнесла резким тоном, вызываяще надменно, к чему она обычно прибегала, когда ей приходилось признаваться в собственной вине.

— Способный?—продолжал допрашивать Ельский.

— Прекрасный!—слово это вырвалось из ее уст со свистом, словно ветер зашумел в лозе.

Ельский покрутил головой.

— Вы свою молодежь толкаете на скользкую дорожку. Это вас развратит.

Она возразила, набросившись на Ельского с упреками:

— Вам бы надо было получше запомнить его, тогда бы вы так не говорили. В нем, в этом спокойном, флегматичном мальчике, настоящий вулкан. Он взялся за эту работу не ради карьеры. Забился в лесную берлогу, выслеживает Черского, словно собака. Вы помните Аню Смулку?—ни с того ни с сего спросила она.

Ну да, он ее помнил, так что из того!

— Это ее жених!

Ельский все понял. Черский был тем человеком, который застрелил отца Смулки. Правительство замяло эту историю. От вдовы оно попыталось отделаться концессией. Та с тяжелым сердцем—а что было делать—принялась за продажу предложенного ей спирта. Аня, когда подросла, велела отказаться от концессии. И этого ей было мало. Не просто разорвать пакт с убийцами. Она поклялась отомстить им. И сердце ее сладко щемило от счастья, которое привалило бы ей, коли с Черским стряслось что-нибудь худое. Да еще из-за нее!

— Только, миленький вы мой,—стала ластиться к Ельскому Кристина, готовая сгореть со стыда. Опять этот ее длинный язык!—Бога ради, ни словечка, прошу вас. Если Черский узнает, что они знакомы, все пойдет насмарку.

— Вот тебе и Смулка,—задумался Ельский.словно дочь кастаньяна¹ из средневековья отдает свою руку тому, кто убьет Черского.

Но Кристине было не до шуток. И зачем ей только пришло в голову разболтать об этом жениховстве. Все Ельский, он из нее вытянул. Всегда он так. И в глазах ее уже вовсе не было и тени страха, одна злость. На свое счастье, Ельский совершенно успокоил ее.

¹ В пястовской Польше комендант небольшой крепости и прилегающей к ней территории; с XIV века—высокое должностное лицо, член сената, командовавший ополчением своего уезда.

— У нас в кружке есть специалист по мелиорации Полесья. Чем скорее Черский свернет себе шею, тем лучше. У нас тоже свои мasons. Молодые!

И он взял кусочек торта, но затем отложил его. Он вдруг вспомнил стол у Штемлеров. И Дикерта, который превосходил его тем, что умел есть на приемах. Не терял головы, не метался, не болтался без толку, не хватал, что попадется под руку, но спокойно и основательно выполнял программу, которую он формулировал сразу же, бросив взгляд на стол. Накладывал, брал приправу, отходил в сторону, не в одиночестве даже — зачем же в одиночестве! — но всегда внимательнее следил за логикой кушаний, нежели беседы. Ельский же суетливо что-то кому-то подавал, что-то нарезал, ел без аппетита, сам не зная, то ли оттого, что уже наелся, то ли пришел из дому сытым.

— Сегодня кутят Штемлеры, — сказал он мрачным тоном человека, временно постыжающегося, но приглашенного на пирушку. — Конечно же, будет Яшча, а может, и Дитрих.

Два члена кабинета! Черский третий, который, кто знает, не выше ли еще, хотя и не занимает министерского поста. Это, я понимаю, прием! Ельский и Кристина помолчали, размышляя над этим, так молчат, войдя в костел. Всерьез воспринимая не самих лиц, но воплощенную в них власть. Сердце у Кристины застучало, однако не так, как сегодня утром, когда обсуждалось нападение на Яшчу, министра юстиции, который в последнее время что-то уж очень рьяно взялся за националистов. Он отказывался выпустить целую группу арестованных боевиков, взятых в Лодзи, когда они напали на митинг социалистов. Утренняя ее злоба, все ее возмущение, тогда ее охватившее, не прошло совсем, но, словно отодвинувшись в сторону, на маленький огонь, уже не кипело, а остывало по мере приближения часа встречи с этим чиновником. А Дитрих, которого, как публично заявил Дылонг, «по мнению националистов, осквернила еврейка-жена», сейчас вместе с нею, урожденной Кон, в нетерпеливом воображении Кристины то исчезал, то появлялся вновь, бросая ее в радостную дрожь или заставляя больно заходиться ее сердце по мере того, как то он; казалось, точно прибудет к Штемлерам, то опять обманет их ожидания. Кристина в сегодняшней статье и в приговоре, вынесенном этому министру, который каждый вечер ложился в оскверненную постель, не изменила бы ни слова не оттого, что была так тверда, а оттого, что была удивительно рассеянной. Как тот, кто условливается о встрече, а затем забывает сказать о самом главном, так и Кристина, встречаясь с каким-нибудь министром, тотчас забывала о том, о чем она думала, о главном — о собственном своем мнении, что все они дрянь.

— Ого-го! — И голос ее дрогнул. — Целых два!

Ельский низко склонил голову. Да, два. Для него это тоже

было делом серьезным. Присутствие министра! Сгущение реальности, иная цена жизни, гораздо более высокая, насыщенное время, отсутствие скуки. Он знал их всех. Почти не бывало дня, когда бы он не видел премьера, хотя чаще всего из окна. Но министр — все равно, в каком виде: или вылезавший на дворе из автомобиля, или гораздо более осязаемый, когда он дает какое-нибудь задание, — министр неизменно оставался для Ельского центром тяжести, самой чувствительной точкой, вечным магнитом, притягивающим к себе его глаза, уши и мысли. Если даже это и был мистицизм, Ельский его оправдывал; точно так же любая шутка о членах правительства его коробила. Он смирился с тем, что сам был каким-то не таким! И потому, хотя он и не без некоторой грусти смотрел на жизнь, как она есть, улыбался, когда ему повторяли остроты из политических кабаре, но делал он это с навязываемой самому себе снисходительностью, как нередко поступают, несмотря на всю ученость и терпимость, священники, читая средневековый текст, нашпигованный самыми грубыми издевками над церковниками.

Ельский взглянул на часы.

— Да, да, два, — подтвердил он и, не отрывая глаз от циферблата, мысленно рассчитывал время.

Разумеется, на вечер он должен прибыть минута в минуту. На переодевание он щедро дал себе час. В такой день надо быть внимательным к каждой складочке. Так что пора было идти. Но Кристине это еще не пришло в голову. Одна нога тут, другая там, напялив какое-нибудь платишко, напудрить нос, какие еще церемонии! Ельский наизусть знает эти слова. И здесь Кристина не далека от правды. Одевается она так стремительно, в последнюю минуту, сразу же и готова идти, только вот чаще всего с опозданием на час. Сама мысль о необходимости причесаться или принарядиться оскорбляет ее. «Для кого это еще», — высокомерно заявляет она. Но даже тогда, когда она, как сегодня, хотела выглядеть хорошо, она не в состоянии принудить себя к старательности, словно литератор, который не в силах заставить себя переписывать начисто письмо любимой. Это неестественно и излишне! Так и Кристина не раздумывает над тем, во что ей одеться. Открывает шкаф и запускает в него руки.

— Так что же, — у нее просыпается желание попоказать, — вы по телефону обещали столько любопытного. Как же там все было?

Ельский каменеет, лицо его приобретает похоронное выражение. Так он выглядел и во время того незабываемого телефонного звонка из президиума правительства, который так напугал его отставкой. Это вечная его беда, профессиональный комплекс, досаждающий ему, неизлечимый, выводящий из себя, ибо, рассуждая здраво, Ельский знает, что мало кто среди сослуживцев может быть столь спокоен за свое место. Да что поделаешь! С

нервами не сладишь! Ельский выкручивается, говорит, что расскажет вечером.

— Я думала, тут какая-то тайна.— Дух противоречия берет в Кристине верх независимо от ее воли.

Она враждебно взглянула на Ельского, словно он ее обокрал.

— Может, заехать за вами?—спросил он.

Она пробурчала:

— Я еду с отцом,—и сразу же:—Что вы от меня утаиваете?

Что бы для нее такое выдумать? Что он любит ее? Это было бы правдой. Но в ответ она расхохотется ему в лицо: «Тоже мне новость!» Что он беспокоится за нее? Значительно тише и с тревогой в голосе, очень серьезно, словно впервые, Ельский начал:

— Я знаю о ваших планах,—зашептал он.—Об одной задуманной акции. Вы хотели бы тут, в одном местечке под Варшавой, взяться за евреев. Умоляю вас...

Кристина прикусила губу. Он заметил, что рассердил ее.

— Ситуация не из легких,—он театральным жестом ударил себя в грудь,—моя вина, что вообще дойдет до этого, раз я знаю, но не препятствую. Но все это касается куда более сложной политики. В конце концов наше правительство тогда может разрешить себе антисемитизм, когда к тому принуждает его общественное мнение. Дело уже решенное, сейчас по некоторым соображениям оно позволит принудить себя. Но бога ради, вы-то держитесь в стороне. Вы же обещали, что у вас будет только салон.

Кристина все шире раскрывала глаза. А он распалялся.

— Однако ежели в этом салоне будут приниматься решения о погромах, если вы салон этот превратите в притон, если из этого салона по ночам вы будете ускользать на какие-нибудь акции...

Она рассмеялась, но неискренне:

— С бомбой в муфте!

Ельский оскорбленно:

— Это вовсе не так смешно. Вам иногда следовало бы подумать и о родителях.

Она изобразила удивление.

— О ком? А им-то что до того?

Он поднял вверх палец и проговорил тоном не то няньки, не то проповедника:

— До поры до времени. Не забывайте о тюрьмах.

Кристина весело расхохоталась.

— Кто об этом будет помнить? Это профессиональный риск!

Ельский вернул ее на землю.

— Какая же это для вас профессия. Мне хотелось бы,—он перешел теперь на заботливый тон,—чтобы вы все продумали и установили бы для себя какую-то границу. Ученые, художники, церковники, аристократия должны заниматься политикой, разумеется, но не доводить дело до тюрьмы. Не далее, чем до ее порога.

Точно так же и женщины, в особенности такие, как вы. Партия многим обязана вам за то, что вы с нею, княжна Медекша! Зачем же становиться рядовым, самой заурядной ее работницей. Тогда и интерес к вам у партии упадет. Неужто же вы этого не понимаете?

— Откуда вы знаете об Отвоцке! — спросила она, злясь, что он докопался, и смягчаясь, тронутая его заботой.

Стало быть, в Отвоцке! Этого-то он как раз и не знал. Именно Кристина и придала кое-каким намекам Чатковского и других определенность, географическую точность. Но открытие Ельского не обрадовало. Этого еще не хватало — устроить погром в местечке, где полно евреев. Политически выбор верен, но со стратегической точки зрения он может обернуться провалом. Ни капельки тут смысла! И зачем это все Кристине! Он хотел протянуть к ней руки, но потом скрестил их. Он все глубже погружался в печаль, которую рождало ощущение безнадежности и сознание того, что уже поздно! Что надо тотчас же уходить — и опять во вред делам! Ельский так ясно понимал свою личную правоту, что с минуты на минуту в нем росла неприязнь к Кристине, словно все рассыпалось в прах из-за того, что она не желает взглянуть на план, который и ей в конце концов показался бы бесспорным. Какой это, собственно, план? Жизни, поведения! Солидный и предусмотрительный, выработанный холодным умом, на сытую душу, которую не нужно ублажать насилием. Ему хотелось, чтобы она приняла его. И он успокоился бы. Но он ведь вился вокруг Кристины как раз потому, что она была совершенно другой. И именно такой он и восхищался. Правда, не деятельностью, не поступками и не ее вмешательством в жизнь. Ей, стало быть, надо бы и перемениться, и оставаться такой, какой она была до сих пор, вести себя иначе, сохраняя в то же самое время верность своей натуре. Это было недостижимо. Согласиться с этим он не мог, хотя все лучше и лучше отдавал себе в том отчет. Хотя бы позволила искренне поговорить с ней. Неужто же и пустяка какого-нибудь не удастся в ней поправить. Неужто все в ней надо признавать необходимым. Неужто же она и впрямь не могла бы по-прежнему вести свою бурную жизнь, если бы хоть чуть больше берегла ее? Она призналась Ельскому, что на Свентокшиской улице в последний раз два окна разбила она. Если бы правду знала она одна. Увы, были и свидетели. Вот из этого-то и складывается ее жизнь. От подобных шпучек она ни за что не откажется. И просить не стоит. В лучшем случае сделает и не признается. Если бы! По крайней мере никто хоть не знал бы. Но разве она утерпит. Костер не успеет потухнуть, а она уж болтает. Теперь-то даже и впрямь. Уже трезвонит об этом Отвоцке. Боже милостивый! Себя он жалел или их? Останется у нее еще на минутку. Может, это у него пройдет.

— Великолепную получите пищу, — сказал он. — Я как раз

проезжал по Брамуре. Это колоссально! Совершеннейшая Азия, какая дикость. И сколько же этого! Поезд продирался и продирался через чащу. Пешком, наверное, за день не пройдешь из конца в конец. И вот там, где-то на полпути, промелькнул какой-то огромный белый дворец.

Сердце Кристины бешено колотилось, будто в любви ей объяснился король. Но она была настолько горда, что никогда не выказывала своих истинных чувств.

И потому язвительно захохотала:

— Обычная деревенская хибара!

Сегодня вдруг ему пришло в голову, что лучше бы ей не противоречить. Усадьба, титул, старина для нее что красная тряпка. Кристина никогда не пропускала случая поиздеваться над такими вещами. Но он не станет сегодня ловить ее на том, что она непоследовательна и кощунствует. Ельскому хотелось, чтобы мысли ее заблудились в пуще на Брамуре. Судясь с государством, Медекши, казалось, имели все козыри на руках. Правительство ставило лишь на то, чтобы вернуть пушу как можно позже. В конце концов леса эти достанутся ей. Зачем? Чтобы в случае чего было где прятаться от полиции! Он и сказал ей об этом.

— Так чего же они не отдают? — огрызнулась она тоном куда менее равнодушным, чем ей хотелось бы то показать.

А если бы отдали, подумал Ельский. Разве он сидел бы у нее вот так, один на один, разве размахивал бы руками, которым она порой позволяла прикасаться к себе. Ельский отдавал себе отчет в том, что Кристина живет как бы на окраине. Большой свет не очень-то ею интересуется. Но коли бы были у нее эти леса, разве люди ее круга не прискакали бы к ней тотчас же. А она, верно, продолжала бы на них поплевывать. Неужели она и тогда насмехалась бы над своим положением. Ельский очень сомневался в этом. Слова, может, и остались бы те же самые. О своем дворце она по-прежнему твердила бы, что это хибара. Но в то же самое время она по несколько месяцев в году не высывала бы из нее носа. И Ельский содрогался при мысли о том, каким огромным событием была бы для них обоих победа, одержанная на судебном процессе. Он страстно желал и страшился этого. И потому, хотя и был в состоянии помочь, не пошевелил и пальцем, порой изнывая от вожделения напортишь. Потому-то он старательно умалчивал о том, что в министерстве сельского хозяйства был у него закадычный друг, референт, занимавшийся проблемами имущества повстанцев. Но разве не через Брамuru пролегалa дорога, которая могла бы увести Кристину от движения? В его западнях, при ее-то неосторожности и страсти к приключениям, разве дело для нее могло кончиться чем-либо другим, как не арестом? И разве в таком случае это сближало бы ее с ним как с единственным спасителем. Иллюзий Ельский не питал. Что с того, что он мог бы помочь ей, что с того, что после возможного

провала, кто знает, не стал ли бы он, чиновник достаточно высокопоставленный, неплохой партией для нее. Но тогда она со своим упрямством и мстительностью тем более выскользнула бы у него из рук. Ожесточившаяся в ненависти, пышущая презрением к баловням режима и господствующему порядку вещей, который окончательно опротивел ей, раз осмелился затронуть лично ее. Ельский помнил блеск глаз Кристины, когда однажды он уже пугал ее тюрьмой. Тюрьма могла бы отучить ее от партийной работы, могла бы привести к тому, что она оставила бы в покое Папару, но тюрьма никогда не усмирила бы ее. И Ельский опасался, что Кристина, осознав свою немошь противостоять режиму, перестала бы насакивать на него, но, бедняжка, собрав в кулак остатки своей злобы, принялась бы тогда атаковать только таких, как он. Разве она уже не говорила ему, что правительство покупает его? Все скверно. Ведь либо все по-прежнему — и тогда рано или поздно полиция ее сцапает, и ярость Кристины обратится против него, Ельского. Либо — Брамур! Чем тогда он станет для нее? Ельский вытер пот со лба.

— Кшися! — прошептал он. — Да ведь это же непременно когда-нибудь кончится! Процессы идут. Семья ваша так или иначе проиграть не может. Так помните же, что вы сможете солидными деньгами помочь партии. Но до тех пор — без глупостей! Это ведь даже плохо действует на судей. Ну зачем же давать такие деньги женщине, которая сидит за антигосударственную деятельность? Послушайте, Кшися, государство есть государство, оно должно думать о себе!

— Я раз только! — пообещала Кристина.

Ельский был в отчаянии. Что тут поделаешь, когда ее так и подмывает. Разубеждать. Вырывать изо рта. А что вместо этого? Что дать ей взамен? И разве из чистого источника не может порой забить грязь.

— Так уж этот Отвоцк вас искушает? — прошептал Ельский.

Кристина провела рукой по волосам и задержала руку на шее.

— Да не в том дело, что я так рвусь, — неторопливо, раздумывая, проговорила она. — И никакого тут нездорового любопытства нет. Не нужна мне дешевая сенсация. Точно так же как и никому из нас. Людей хорошо воспитанных и тонких. Для нас участие в реальной операции — самопожертвование. Отказ от собственной мягкотелости. Жертва партии — и закалка. Ибо тогда только наше участие в деле стоит чего-нибудь, когда идешь до конца. Если бы я не пошла с ними на все, у меня было бы ощущение, что я отступила. У Дыллонга участие в осуществлении программы — это еще и какая-то горячность. У Чатковского, может, чересчур много расчетливости. У меня это простая порядочность. Я всю себя хочу принести в жертву. Всю, без остатка!

Кристина терла пальцами кожу, нервно придавливая напрягшиеся на шее жилы.

— Так при чем тут ваши рассуждения о безопасности и положении в будущем! Не станет ли мне когда-нибудь стыдно, что я была так скупа и мелочна? Что я давала по капельке и пыталась откупиться. Теперь вы, верно, понимаете, какой советливой можно быть по отношению к идее? Это своего рода влюбленность.

Ельский, который считал дело свое уже проигранным, в последнее мгновение уловил огонек надежды.

— Но в себя!—крикнул он.—В себя! Я и говорю, что для партии выгодней, чтобы вы не рисковали собой, вы нужны для более важных вещей. А вы мне втолковываете, что ради личного душевного комфорта надо ставить на карту свою безопасность. Так что же важнее: ваше самоотречение или интересы партии?

Неубежденная, она покачала головой.

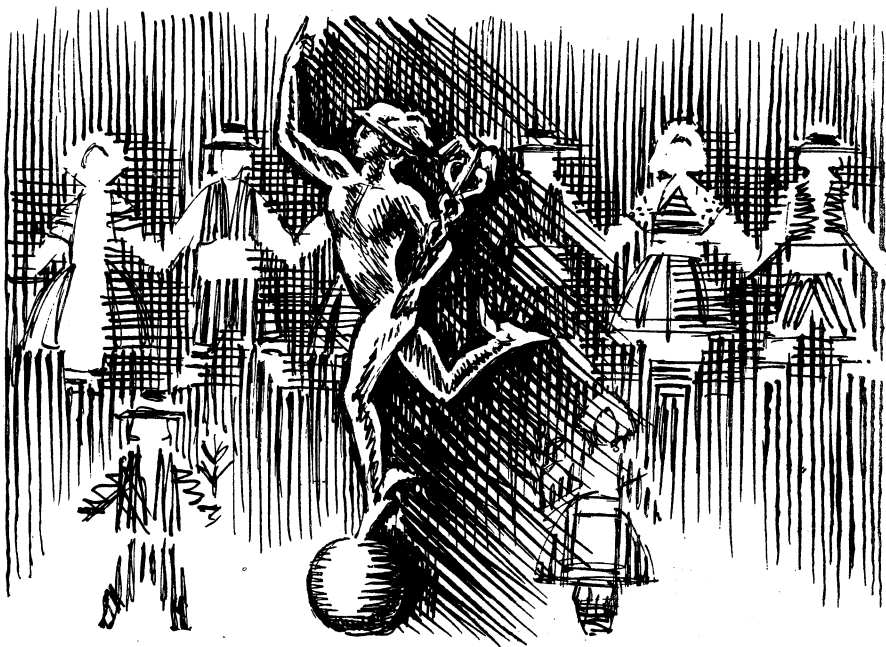
— Нет! Это рассуждение профанов, всякого рода бездельников. Открытая борьба—вот наш фронт. А в конце концов каждый пригоден для чего-нибудь лучшего, чем фронт.

Кристина спохватилась, что уже страшно поздно. Совсем иным тоном она воскликнула, что пора «наводить красоту». Но Ельский не мог прийти в себя. Серьезный тон Кристины поразил его. Она заметила это по выражению его глаз.

— Видите,—сказала она не без гордости, но и не без обиды, оттого что Ельский до сих пор недооценивал ее,—какие же глубокие мысли приходят в голову от страха.

А в передней пояснила:

— Я ведь считаю, что должна ходить с ними на такие дела, а сама чуточку боюсь.



IV

Болдажевский не рассчитал. На сей раз он чуть опоздал на свой выход. В театре он появлялся почти в тот самый момент, когда представление начиналось: словно вызванная ударом гонга, его величественно-высокая фигура, увенчанная птичьей, благородной головой, проплывала к предназначенному ей месту критика, непременно в первом ряду. Он слегка прикрывал веки, раздувал ноздри, чего не было видно из дальних рядов и с ярусов, но не этим великий католический поэт привлекал к себе внимание зала, а тем, что, продвигаясь вперед, он как бы воспрещал себе входить сюда, особенно же своей голове, отбрасывая ее назад, волоча ее за собой всем телом, болезненно откинутую, будто тоскующую об уголке тишины и размышлений, из которого и надо было склонять ее к толпе.

Варшава знала, кто это. Он принадлежал премьерам и всем зрелищам, ему отведена была тут изысканная роль — выразительностью своего появления на фоне занавеса прокладывать путь пьесе. Это замирание сердца, когда гас свет, когда

воцарялась тишина и гудел медный гонг, становилось от самого присутствия Болдажевского еще более сладостным, ибо для многих известный поэт был уже только фигурой на рубеже, отделяющем залу от сцены, чуть ли не Хароном, который всю публику, как в лодке, перевозил на другой берег реальности, в данном случае нереальной. А кому-то он напоминал особого рода приживала в традиционных усадьбах, человека, который внушил себе, будто его обязанность состоит в том, чтобы в дни отъезда господ, когда приближается эта минута, выходить на крыльцо и кричать: «Подавай!»

Болдажевский знал себе цену и в том, что касалось гонораров, ибо писалось ему трудно, и в том, что касалось его участия в светской жизни, которое никакого удовольствия ему не доставляло. Удовольствия непосредственного! Ибо он обожал приемы, шум, обожал чувствовать, что его рвут на части. Если бы вот только удавалось выковыривать из приглашений одно лишь то, что было связано с его особой. Прежде всего саму учтивую просьбу, адресованную ему как писателю, затем, уже в разгаре вечера, то из разговоров, что относилось к нему, деятелю литературы, наконец, несколько взглядов, брошенных оттуда, где собиралась молодежь, о которой в одном фельетоне он некогда сказал, что она завязывает «глазами узелок в памяти», дабы в отчетах о вечере не пропустить, кто там был. Он не сомневался: его бы никогда не обошли. Все это было приятно. Но как же немного этого в сравнении с той бездной времени, в котором ему не отводилось ни мгновенья. За весь вечер удавалось выловить не более нескольких минут, когда кто-нибудь вдруг отдавал себе отчет в том, что находится по соседству с автором «Хлеба насущного». Окупается ли все это?—думал Болдажевский.

И не от того он так заботился о своем времени, что вечера дома проводил занимательнее. Но по крайней мере без головной боли, настигавшей его на всех собраниях при мысли о том, что тут вот, подле него, находится человек, которому его, Болдажевского, присутствие ни о чем не говорит. Где тома стихов, где одиннадцать драм, где переводы, когда от них во всех этих людях—и это притом, что сам он здесь, рядом,—едва заметна крохотная частица. Все о нем вроде бы что-то знают, но так мало! И в той неопределенности, в которой застряло его творчество, его охватывал страх, что собственные его произведения и его затянут туда же. Его, который, может, уже был на отшибе.словно под стеклянным колпаком, чуть более, чем другие, заметный, чуть более яркий, но сбоку. Вернуться в центр, дабы другие расположились подле него лучами,—вот о чем тосковал Болдажевский, но на это не рассчитывал, ибо разуверился, и если бы он пришел к людям, а они окружили бы его, Болдажевский, наверное, неприятно удивился бы, так как стал уже мнителен. Говорили, что в театр он является так поздно, чтобы создать впечатление,

будто только его и ждали. Но в этом было куда больше робости. И того, что он не любил раскланиваться перед спектаклем, приносил голову из дому пустой, и лишь после первого акта у него находилось что сказать. Натошак, пока дух его не подкрепился, он ни на что не был способен.

Болдажевский стал виртуозом и еще в одном деле — на званые вечера он умудрялся попадать в ту самую пору, когда начинали разносить кушанья, так что прямо из залы, не задерживаясь в гостиной, он позволял хозяевам подводить себя к столу, где — как старейший в светских кругах по возрасту — первую рюмку (когда все остальные еще стояли со своими, образуя над подносом с напитками эдакую зыбкую, колышущуюся и хрустальную люстру) выпивал он, тем самым как бы перерезая символическую ленту ужина. Но к Штемлерам он опоздал. В этот дом он решился пойти впервые. И — не без колебаний. Оттого, что к евреям? Да! Ибо, если бы не кровь Штемлеров, ясное дело, проблемы бы никакой. Хотя при всем при том Болдажевский не был принципиальным антисемитом. И не потому, что признавал возможность каких-то исключений из правила. С какой же стати такого рода обвинения. Он искренне верил, что не знает ни с одним евреем. Ведь о происхождении тех, чье расположение он завоевывал, Болдажевский забывал. Так, он публиковал свои книги в издательстве, владельцем которого был еврей, лез из кожи вон, чтобы театр отдал его пьесу превосходному режиссеру, который был еврей, и посещал многие дома, хозяин или хозяйка которых, а то и оба были евреи. Взрывался, если слышал хотя бы малейший намек. Это старая варшавская фирма! — твердил он, и голос его торжественно гудел, если он говорил о вещи, которая могла быть его ровесницей. Израэлиты? Он буквально терял дар речи, когда при нем упоминали фамилию каких-нибудь его знакомых. Он, впрочем, не возражал, только удивлялся, что на подобную подробность кто-то мог обращать внимание, раз они так давно принимают его у себя. В его представлении это вовсе не означало признания, так сказать, расового права гражданства, но в таких обстоятельствах цепляться за это было мелко. Он говорил: буржуазия, но в мыслях держал другое слово, которое его чуточку корбило, как сноба от титулов. Патрициат! Вот выражение, которое имело для него силу заклинания. Строго говоря, что такого особенного он в нем видел? Ушедшее столетие, просторные квартиры, вычурную тяжелую мебель, столовые со стрельчатыми сводами, «бидермейеровские» мягкие кресла, портьеры и занавеси из плотного красного сукна, бахрому коих обстригло время, картины в громоздких рамах на занятные сюжеты, непременно висящие в таком месте, где мало света, лишь иногда упадет на них отблеск от многочисленных бра или излишне роскошных люстр, в которых зажигают лишь каждую вторую свечу. Вот мир, который Болдажевский охотнее всего признал бы своим.

«Сын мелкого железнодорожного чиновника», — сообщал о его происхождении в «Картина современной польской литературы» Чаховский¹. Так что годы и годы прошли, пока Болдажевский добрался до нынешних своих пятикомнатных апартаментов на улице Крулевской, чему способствовали три обстоятельства: наследство, полученное от дяди, рабочего-эмигранта, умершего в Канаде, выигрыш в разрядной лотерее и удачная для него с финансовой точки зрения женитьба. В памяти Болдажевского три этих обстоятельства не запечатлялись по отдельности, в его представлении известной материальной свободой, которой он пользовался, он был обязан попечению господню: бог кормит его, словно птиц небесных, тем более что столько он выжал из себя во славу божью, да и из «остатков». Чего? Чьих? Он никогда так и не определил этого для себя точно и не подумал; может, то были остатки некоего имения, которым владел кто-то из близких, может, деньги родственников жены, державших прибыльную торговлю колониальными товарами на углу Сенаторской и Медовой. От этих улиц он не отрекался. Услышав их названия, вздыхал, жмурился, чувствовалось, как он напрягает память!

Но вместе с тем никогда Болдажевский и не подхлестывал ее, чтобы она поскорее извлекала из прошлого какие-нибудь более точно обрисованные картины: магазин тестя или железнодорожную станцию в Скерневицах, где в последние годы жизни служил отец. Он не противился тому, чтобы от мебели, которую он купил на деньги, полученные по наследству из Америки, отклеилась мысль о трудовом ее происхождении. Взамен — представления о родстве со старыми, милыми улицами, испокон веков бывшими непосредственным отечеством традиционной буржуазии, крепили в его воображении, разрастались и выдвигались на первый план во всех воспоминаниях об ушедших годах и сливались с образом того времени, когда он, молодой, интересный, горячий автор стихов, оставив позади долгий период ученичества, с полным основанием мог сказать себе, что он принят в лучших домах Варшавы. И притом не покривил бы душой, поклявшись, что никто не упрекнет его и в намеке на снобизм; в самом деле, он никогда не стремился превратить в дружеское знакомство свои мимолетные встречи с аристократами, он самым торжественным образом готов был присягнуть, что барон Кроненберг производит на него ничуть не больше впечатление, чем самый заурядный господин Фраже. Его самолюбию льстило, что он знает этих людей и бывает у них в домах, а если он и замечал какое-либо различие между ними, то не потому, что у кого-то из них в гербе красовалась лишь

¹ Казимеж Чаховский (1890—1948), критик, историк литературы. Составил трехтомный справочник «Картина современной польской литературы 1884—1933», вышедший в 1934—1936 гг.

пятизубчатая корона¹. Это был пустяк, если подумать об их общем, изначальном качестве. О том, что они врастают в патрициат! Болдажевский ни разу не произнес этого слова. Берег для себя. Как хасид слово Йеговы. Оно не казалось ему претенциозным. Но что тут поделаешь, для других таким оно и могло казаться. Люди всегда все так упрощают. Порой никак иначе нельзя противостоять ходячему мнению, как только оставаться при своем собственном.

Так Болдажевский и поступал. Не ломая копий из-за самого принципа, не открывая другим своих взглядов, держа при себе собственное свое отношение к этой проблеме, он сроднился с ним, полагал дело совершенно ясным, знал, что так оно в действительности и есть, и, хотя видел, что он один лишь и занимает такие позиции, скорее ощущал, что защищает их, дожидаясь, когда на них вернутся другие, нежели считал эти позиции навсегда оставленными. Патрициат! Истинный, переходящий от поколения к поколению духовный сенат страны, вобравший в себя ее мудрость, культуру, достоинство, самую суть, независимость; являющийся аристократией интеллигенции, тем, чем были представители аристократических династий по отношению к нетитулованному дворянству. Интеллигенция! И тут Болдажевский улыбался своим мыслям. Интеллигенция! Самая подвижная группа, класс, определяющий лицо народа, но она нуждается в князьях по крови, в прирожденных руководителях, в элите. Патрициат! Мысли его были не так конкретны, ибо он с недоверием относился ко всякого рода хлестким формулировкам. Он не любил, чтобы его мысль или ее выражение представлялись ему как исключительно его собственные. Ну что ж! Защитить его вкусы и склонности не удалось с помощью затасканных терминов! Он смирился с этим, ожидая, что времена изменятся. Хотя вовсе не был убежден, что они должны измениться. Только в его душе и мог существовать культ того, что в жизни города уже исчезло. А может, предчувствие грядущего? Бабушка надвое сказала — так он себе ответил. А другим ни слова. Для людей у него оставались лишь фразы. Одно было известно: к вещам, людям, обычаям он относится положительно тогда только, если происходят они от двух этих слов — Старая Варшава.

И Штемлеры тоже? В этом-то Болдажевский как раз уверен и не был. Он не припоминал, чтобы перед мировой войной существовал такой дом в Варшаве. Зато деньги уже были. Она сама из Кракова, воспитания самого лучшего, знала языки. Даже переводила французские стихи. Но что все это, вместе взятое, могло значить! Идти или не идти? Приглашение от них он получал не впервые. Болдажевский всякий раз отнекивался и не ходил. Но

¹ В польской геральдике — свидетельство принадлежности к нетитулованному дворянству.

никогда не рубил с плеча, ибо еще не составил себе окончательного мнения, возможно такое вообще или нет. Откладывал. Оставлял надежду. Штемлерам? И себе тоже. Дом-то был интеллектуальный. Крикливости, кажется, и в помине нет. В прошлом году он познакомился в Трускавце с парой, тоже евреи, очень богатый адвокат, она в прошлом какая-то певица. В Варшаве они пытались заманить его к себе. От одной мысли об этом он страдал. Окна в полстены, декольте по пояс, разговор буквально обо всем. Ни за что! И это еще еврейская интеллигенция! Крайний случай. Значит, и несложный. Штемлеры находились на противоположном полюсе. Почти! Стало быть, пойти? Смешно быть таким мелочным! Но все же отчего такое сопротивление, какое-то вроде бы желанье пойти и есть, но, как только назначенная дата приближается, вдруг начинает угасать. Откуда же это сомнение, которое вдруг накатывается на Болдажевского, сомнение, дающее о себе знать уже в его тоне, как только ему приходилось говорить кому-то, что он собирается пойти. Мало приглашений? Правда, их всегда больше, чем хочется. Но вовсе недостаточно, чтобы поддержать в человеке ощущение, что он пользуется славой. Может, пойти? Но тут-то как раз в расчеты Болдажевского вмешивается его гордость. Цены своей не снижать! Ни в редакциях, ни в домах. Ни за строчку, ни за присутствие в гостини. Всегда быть—как великосветские дамы—почти что недоступным. И очень дорогим! Значит, остаться? Болдажевский сидел у окна. Смотрел вниз. На Саксонский парк. Скользил взглядом по крышам. Надо на что-то решиться, мягко уговаривал он себя, как обычно в тех случаях, когда полагал, что идти не стоит! «Не идти? Гм!—подумал он.—Это проще всего».

Только ведь это слишком мало—не идти, надо еще остаться. А там прекрасный стол. А там, может, будут говорить о нем. А там наверняка будет один из тех министров, которые подсказывают президенту, кому следует дать орден. Ясно же, что у него слишком маленький! Кто о таких вспоминает! Но появиться перед кем-нибудь, у кого влияние, заставить его взглянуть на свой орден, пусть бы увидел, какой! И пусть сам сделает вывод. А услужить ему только обстоятельствами, встать таким образом, чтобы тот поймал человека на мушку, глядя на него через узенькую орденскую ленточку, словно через прорезь прицела. И тогда в голове сановника уж точно промелькнет мысль, что произошла ошибка, что случилось недоразумение, что Болдажевский такая фигура, на которой хорошо смотрится только командорский крест. Все, что ниже, легковесно для него. А что значит иметь такой крест?—продолжал развивать эту мысль Болдажевский! Ничего особенного! Но вот не иметь его! Страшно! Он оторвал взгляд от крыш. Еще раз внимательно осмотрел приглашение госпожи Штемлер. Отправляюсь-ка к ним, решил он. И тут же покорно подчинился этому своему решению, насаживая

картонную карточку на бронзовую ручку фигурки Меркурия, стоявшей посреди стола специально для тех случаев, которые жизни Болдажевского придавали реальный смысл с помощью печатных изданий, писем или записок.

И однако же он опоздал! Большинство в душе его было за то, чтобы пойти, а меньшинство ставило палки в колеса. Так что в конце концов он начал собираться, но не торопясь, лениво намыливался, долго возился с пуговицами, впадал в забывчивость. В довершение всего никчемный телефонный разговор, бесконечный, даже и сам перепугался, что настолько поддался голосу внутренней оппозиции. Теперь ему было так же трудно отступить, как кому-нибудь лишить наследства своего первенца. Ибо раз уж решил! Но вот чем объяснить, что он явится так поздно? Тем, что случилось нечто важное! Важным делом могла быть только литература. А вся важность в ней зависела от него самого. Она ждала его. Стало быть, ждать не мог он.

— Забавная история,— проговорил он, здороваясь с госпожой Штемлер,— стихотворение меня задержало!

Она недоуменно посмотрела на него.

— Стихотворение, стихотворение.— Он стал раздражаться.— Вечером я работал сегодня. Стихотворение у меня пошло.

— Так вы не ужинали,— воскликнула она.

А Болдажевский продолжал врать:

— Встать не мог. Оно отделило меня от вас, словно поток, росло и росло. Думал, что оно будет литься на бумагу всю ночь. Я окончил третий акт «Иеремии»! Пришел к вам перевести дух.

Неправда! Не кончил. Ничего сегодня не писал. Уже несколько месяцев не мог сдвинуться с места. Разве только что причесал несколько сцен для еженедельника, в котором обычно печатался.

— Ну наконец-то!— обрадованно, тоном знатока сказала госпожа Штемлер. Она ничего не читала, ибо ей нужно было просматривать все. В голове она держала точный перечень вышедших произведений, прекрасно знала, где кто и что напечатал в последние месяцы.— Это великолепно, что вы пишете, монументально.

Слова эти вознесли Болдажевского на пьедестал, и оттуда он улыбнулся. Он и сам в минуты, когда не обманывал себя, чувствовал дерево в своем творении, алебастр, а не мрамор этой торжественной трагедии, специально задуманной затем, чтобы вдосталь позволить себе поплакать над положением дел в Польше, которая выглядывала из-за каждой строки этой библейской хрии. В третьем акте Иеремия должен был причитать по поводу разрухи. И этого-то места Болдажевский никак не мог начать. Надо было найти верный тон, настроение отчаяния. Да, старому поэту действительность не нравилась. И как раз два первых акта он напищал сетованиями. В третьем, однако, требовалось дать картину разрухи, сопровождаемой горестным плачем. В четвер-

том поэт намеревался со смирением заявить: на все воля божия! А тут он споткнулся на развалинах и отчаянии. Легко говорить, когда что-то есть. А тут приходилось придумывать то, чего нет, и затосковать по всему тому, что на протяжении двух актов он так поносил.

— Вы, верно, страшно голодны! — проговорила госпожа Штемлер, разглядывая его глаза, щеки, все лицо. «Ничего не ел, — сказала она сама себе. — Совсем не похож на обожравшегося».

— Сюда, пожалуйста! — Болдажевский был у них впервые, но, как обычно, едва он вошел, все ждало его; он добродушно отметил это, направляясь из передней в столовую. В дверях остановился.

— Все уже поели. — Госпожа Штемлер посочувствовала ему.

Он приблизился к столу чуть медленнее, чем всегда. Да! В самом деле. Поели. Он не был гурманом. Естественно, кое-как приготовленному он предпочитал хорошее, вместо большой порции одного кушанья любил попробовать всего понемножку. Однако особого значения этому не придавал. Иное дело, церемониалу. Своей главной роли в ту волнующую минуту, которая как бы знаменует собой открытие стола. Сервизы блестят, нетронутые, непорочные, блюда, тарелки башнями устремляются ввысь, в длинный ряд вытянулись вилки, ножи напоминают стальную клавиатуру, мясо, салаты, соусы через секунду отдадутся во власть ртов, но пока еще стоят девственно свежие. Болдажевский, словно верховный жрец, благословляет наступающий миг, мягко давая сторонам знак, что надо приступать. А сегодня какая разруха!

Раскопанные ямы, то и дело видно дно, глаз простреливает скелеты индюшек и рыб навывлет, как ветер, но кое-где еще остатки кушаний, что-то от фаршированной щуки, всего один кусок, уложенные по краям блюда для красоты листья салата продолжают привлекать внимание, не отдавая себе отчета в том, что теперь уже к пустоте; по другую сторону вдалеке еще можно заметить немного холодной спаржи да маячит корзиночка для печенья, из нее торчат последние палочки, словно колонны в храме божества, культ которого угас. У стены длинный узкий буфет для сладостей. И там не лучше. Последний великолепный ренклюд осел на дне, весь компот выпит. Пирожные! Ни одного целого. Госпожа Штемлер сооружает из всего этого ужин для Болдажевского. Не просит извинений, ведь этих остатков немало. Хватит, чтобы накормить еще нескольких человек. Однако от этого ощущения праздника, гармонии и изобилия, которое испытывали все совсем недавно, не осталось и следа. Даже на пробу. Что и говорить о кусках среди руин!

— Должна оставить вас на минутку, — оправдывается хозяйка дома. — Пришлю дочку, чтобы она за вами поухаживала.

Но Болдажевский вдруг почувствовал, что ему по вкусу те

мгновенья, когда он один. То ли враньем своим вначале он пробудил в себе, словно волка, стихи, то ли виной тому стол, жалкая картина, которую тот собой представляет, как бы то ни было, в душе Болдажевского зазвучали стихи. Тяжелые, неповоротливые, но наконец-то они отталкиваются от какого-то берега и отправляются в путь по течению его сознания.

— Кто знает,—размышляет Болдажевский,—не вернусь ли я сегодня к третьему акту.

К которому он еще не приступал!

— Всякий раз, когда я говорю «польский характер», я имею в виду народность,—искренне признается госпожа Штемлер.—В нашей культуре, но той простой, деревенской, я чувствую гениальное, вижу единственный выход. Она перерастает в новую эру. Займет свое место после дворянского искусства.—Вот, пожалуйста!

И она указывает на ряд картин, лентой тянущихся над лестницей вверх. Девушки и парубки в одеждах из колосьев, перьев и лент, в шароварах, в пелеринках, в конфедератках, которые кружат у них над головами. Все в застывших, напоминающих хвощ, линиях, хотя это и танец.

Регина Штемлер щурится, по губам ее пробегает слабенькая улыбка, она не скрывает своего восхищения, но знаки, которыми она его выражает,—это лишь крохи глыбы, прячущейся в ее душе и напоминающей айсберг в океане. И сотой доли не увидишь над водой! И потому происходит столкновение. Министру Дитриху и в голову не приходит, что это гора, вершина которой, может, волочится по самому дну. Он думает, что госпожа Штемлер его спрашивает, тогда как она обращает его в свою веру. Он с сомнением бурмочет:

— Пусть только им никогда не чудится, что они таковы! Может, в крестьянине и есть какое-то искусство или литература, но, во всяком случае, не такая, чтобы среди них встретился пестрый, будто букет, и прыгучий, словно пружина. Я этого не одобряю. Подобное лишь головы морочит.

У госпожи Штемлер зашло сердце. Она увидела бесконечную даль дороги, которую ей предстоит пройти, ей самой или делу, ей полюбившемуся. Если министр так уж ничего не понимает, что и говорить о каком-нибудь заурядном чиновнике. А к этому факту нельзя легкомысленно относиться в стране, в которой люди просвещенные и авторитетные как раз и разместились за письменными столами. О чем он думает? Госпожа Штемлер окинула взглядом прихожую. Деревянные панели на стенах поднимались тут метра на два от пола и увенчивались выступающим карнизом. На нем, словно на полке, куда ни глянешь, разные глиняные изделия. Фигурки, горшочки, безделушки, одна другой меньше. В самом центре, над дверьми в

столовую, покрытый изумительной зелено-желтой глазурью, на небольшом кресте, Христос, ноги его упирались прямо в цветы с толстыми кремовыми, словно на торте, лепестками.

— Да ведь это же просто чудо.— Штемлер воздела руки вверх, словно это было какое-то видение.

Дитриха не тянуло к спору. Не затем он приходил на вечера. От скуки искал за что зацепиться.

— Меня это не трогает,—признался он.— Деревенское, без понятия, наивное, ну и что с того? Ребенок нарисует домик, так мамочка восторгается. Тут,— он показал на полки,— то же самое. Вдруг чью-то грудь захлестнуло материнское чувство к мужику, и давай с ним носиться. В вас такая мамочка проснулась. Да, черт возьми, не того же разве мы хотим от него, чтобы он, словно дитя, пальцем умел глину приминать? Вы подумайте-ка об этом.

Этого не должно быть! Она огорчилась до глубины души. И зачем только завела речь с человеком, который этих вещей не любит. Ба! Презирает их. Отступать слишком поздно. Надо ему как-то возразить, стала она себя упрекать. Дитрих был суров, ему не хватало воображения, он мог отнести себя к позитивистам¹, если бы кто-нибудь припомнил ему этот термин. Все зло в Польше, по его представлениям, происходило от умиления. И остальные недостатки объяснялись этим. Слишком легко отпускались грехи, но никогда раз и навсегда. Ибо польское размягчение сердец, говорил он,—это болезнь, которая поражает человека, развивается в нем устрашающе быстро, и затем уходит. Тогда возвращается злоба, самого худшего пошиба, ибо направлена она против того, кому ты уже простил. Дырявая доброта.

Госпожа Штемлер взяла в руки одну из глиняных фигурок.

— Да вы посмотрите,—просила она, вглядываясь в глаза, выдавленные прутиком, в крохотный, узенький, вздернутый нос, двумя пальцами вытянутый из личика,—ни о чем вам разве это не говорит?

Она не спускала с него глаз, дожидаясь, что он увидит, а вместе с тем осознавая, что ей не удастся настроить его взгляд на эту мелкую подробность приводящей в волнение красоты—как на самолет, кажущийся в небе не больше мошки.

Министр что-то невразумительно промычал. Но в руки взять пожелал.

— Извините, пыль!—смутилась госпожа Штемлер. Подняла фигурку, поворачивая перед Дитрихом то одной, то другой

¹ Сторонники идейного и литературного течения, сформировавшегося в Польше после разгрома январского (1863 г.) восстания. Отвергая романтическую идеологию повстанцев, позитивисты во главу угла ставили политический реализм, программу экономического и культурного развития общества применительно к существовавшим тогда условиям.

стороной, дабы заставить ее, словно бриллиант, засверкать красотой.

— Да, конечно,— пробурчал он в ответ на все ее старания и решил отвяжаться.— Эта даже не уродлива.

Она сняла с полки еще одну и еще. Ей захотелось ковать железо, пока оно горячо.

— А эта?— спрашивала она.— А эта? Видите!— говорила она, обрадованная, что Дитрих и сам убедился.

Он, однако, поднял обе руки вверх. Отмахнулся от всего этого.

— Одна еще сносная,— фыркнул он.— А следующие— это уже масло масляное. Деревенский дурачок Ясь один, может быть, забавен, но вы мне велите принимать целый парад. Я от своего не отступлюсь. Крестьяне должны быть людьми взрослыми!

Она вытирала статуэтку платком, словно собственное залитое слезами лицо. Удерживала ее от того, чтобы заплакать, только слабенькая надежда на то, что Дитрих убедится сам. Это было для нее важно. Дело не в Дитрихе и не в мужике, но для нее приобретение такой фигурки было глубокой внутренней потребностью, она заняла прочное место в ее сердце, переполненном изливавшимся на все вокруг теплым чувством привязанности к стране, о которой она не раз думала, что если по крови она и не полностью принадлежит к этому краю, то сердцем присосла к нему. Как же сказать об этом министру. Тем временем внимание его рассеялось. Когда Дитрих наткнулся на госпожу Штемлер, он искал совсем другого человека. Слуга отворил двери. Министр заглянул в гостиную. Где же эта Завиша? «Легче будет ее иметь, чем отыскать». Он тем больше разозлился, что о первом он и не помышлял вовсе. Хотел только посидеть. Сделать первый шаг. Немножечко возбудиться, когда она начнет вертеться подле него. Ведь, кажется, она из тех, на кого министр весьма сильно действует. Куда же она запропастилась!

Глиняные фигурки стояли в ряд, на каждой яркое пятнышко— на руке, на голове, у горшочков блестели брюшко или только один клювик, напоминавший собачий нос. В приглушенном свете прихожей взгляд госпожи Штемлер переползал с одного предмета на другой. Каким же образом отстоять их! С полевыми цветами тоже все кончено, если они не придутся по вкусу сразу, ведь вряд ли их можно полюбить по рассудку. А как было со мной?— думает Штемлер и сама себя обрывает. Поскольку у нее-то это вкус благоприобретенный, очарование, которое призвано было заменить иное. Щеки ее покрываются румянцем. Из всех уголков памяти нахлынули на нее воспоминания о разговорах с Медекшей, о разных его намеках и фразах, которых он не оканчивал и которые давали ей такую обильную пищу для размышлений. Так, значит, не надо следовать велению сердца? Простому желанию, чтобы дом ее был во всем польский? Госпожа Штемлер боготво-

рит Брандта¹, слущкие пояса, польский фарфор. Ей бы и в голову не пришло сказать, что столовое «станиславовское» серебро к ней перешло по наследству. Но любит она его необыкновенно. Его прелесть совершенно непередаваема, так как оно истинно польское. Так что же связывает ее со всем польским—на такой вопрос у госпожи Штемлер ответа нет. Ибо она никогда его себе не задает. Она здесь, здесь была ее семья, из поколения в поколение речь ее сближалась с польской, пока не достигла грани совершенства. Госпожа Штемлер не знает даже, что существуют правила. Она отбросила прочь костыли. И никогда не допустит ни малейшего отклонения. Она не может споткнуться. Что-то в ней неизменно начеку.

— Разве я должна быть космополиткой, чтобы не быть смешной?—допытывалась она у Медекши, который отговаривал ее от покупки известной коллекции гравюр Ходовецкого².—Вы что, согласитесь считать меня полькой только в том случае, если я не буду слишком стараться стать ею?

Медекша не любил уловки, к которой постоянно прибегал во всех подобного рода разговорах с госпожой Штемлер. Она, мол, должна искать свой собственный стиль! Да ведь он у нее есть, тот самый, каким бы он восхитился, будь он не у нее. Ее тянул к себе польский стиль, стиль шляхетского искусства, культурной польской усадьбы. Какое у нее на это изумительное было чутье! А он, обреченный на то, чтобы, интригуя, внушать ей к нему отвращение, вздыхал и качал головой. Он чувствовал себя ответственным за Штемлеров. Его отношения с хозяйкой дома не были тут ни для кого секретом. Мог ли он допустить, что супруги Штемлеры станут посмешищем. Пара выкрестов с рыцарскими доспехами в зале. От одной этой мысли у него мороз пробежал по коже. Если бы их можно было прельстить—вот-вот!—европейским интерьером в духе восемнадцатого века. Добротная английская мебель той эпохи, картины и ткани. Нет! Это бы не прошло. Медекша всерьез относился только к подлинным вещам. Те были дороги. Штемлер страшно скуп. Она—равнодушна. Подогреваемая своей страстью, она сумела бы вытянуть у мужа деньги на кольбушовский³ столик, но на «чиппендейла»—никогда. Страсть ее была односторонняя. Либо то, либо ничего—так, казалось, она чувствовала. Медекша впадал в отчаяние.

— Вы же, князь, не говорите так из-за того, что я еврейка?—огорченно усомнилась она.

¹ Юзеф Брандт (1841—1915), польский художник, оказавший сильное воздействие на польскую живопись и литературу начала XX века.

² Даниель Ходовецкий (1726—1801)—живописец, график, рисовальщик, родился в Гданьске, с 1794 г. директор Академии изящных искусств в Берлине. В его графических работах преобладала польская тема.

³ Кольбушова—городок в Жешовском воеводстве: в XVIII—XIX веках славился изготовлением изящной мебели.

А почему же тогда? Но что он мог ответить. Перед этим порогом искренности он пасовал из-за своей деликатности и ни за что б не переступил этого порога.

— Ну и мысли у вас,—воскликнул он с негодованием, вполне искренним потому, что впервые слышал, как о подобных вещах спрашивают так прямо; об этом можно говорить лишь недомолвками. И стало ясно, что о старинных польских вещах им лучше больше не беседовать. А тем временем они продолжали любить свой особый мир—и тем судорожнее, чем больше неудобств он им доставлял. Мало-помалу Медекша старался позабыть обо всем остальном и наконец ушел с головой в старинные отечественные изделия. Тут и совесть подсказала ему, что до сих пор он недооценивал их, да и заступник брал в нем верх, поскольку по службе он защищал их, сльвя адвокатом древностей. Но был у этого его сентиментального чудачества и еще один источник. Раз или два он не сдержал восклицания:

— Ну и кто бы о нас такое подумал!

Раннее польское готическое искусство потрясло его. Не сразу. Сначала ему сделалось как-то стыдно, как-то не по себе из-за этого обезьянничанья. Ему и в голову не пришло даже, что это не были вещи, когда-то откуда-то вывезенные. Все знают, что они не наши, и это вполне понятно, какими же им еще быть! Его огорчало то, что не все тут было ясно. Он скомкал каталог. Так разозлился, что тотчас же вышел, но в трамвае заглянул в предисловие. Мы?—удивился он и глубоко задумался. Мы?—бормотал он себе под нос, словно сам себя допрашивал, не видел ли он случаем чего-нибудь, что могло бы подтвердить уму непостижимое желание, чтобы творения эти оказались польскими.

И призывал на помощь всю свою память, надеясь, что из бесконечно далеких своих уголков она в конце концов вытащит на свет божий образ старого резчика, именно одного из этих.

Он вернулся на выставку. И возвращался еще не раз. Проверял. Отбрасывал последние подозрения, но уже пребывал в таком душевном состоянии, что, если бы подобные сомнения высказал кто-нибудь иной, посчитал бы это вопиющим фактом. Так он открыл готику, после стольких разочарований все убежденнее восторгался отечественной мебелью, фарфором, живописью. Вот тебе и неожиданность! Какая пощечина ему. И представить нельзя, что он так плохо разбирался в подобных вещах! Ведь он же знал их. Вырос среди них. И немел от восторга, стоя перед золотоголовым буковым посохом, одной из немногих вещей из украинского дворца неизвестного шляхтича. Он смело сравнивал его с самой прекрасной лионской парчой, какую только помнил. Он говорил о нем с нежной гордостью. Но не с госпожой Штемлер.

«Что тут поделаешь!—думал он.—Она же станет посмешищем. C'est une Juive. C'est une Juive¹. И с этим ничего не поделаешь».

А тем временем, ничего не подозревая, госпожа Штемлер однажды заявила при нем:

— Как же хочется иметь истинно польскую обстановку, все должно быть польским.

Начиная с хозяйки дома! Разве удержишься, чтобы не добавить это про себя. А может, при чужих она подобным образом не выражается. Регина так ему нравилась, и он ни за что не отрекся бы от ее восхищения им. Если бы она ушла из его жизни, это было бы все равно что из него выпустили бы кровь. Он стремился уберечь ее от страданий, от пересудов, от всего, что могло бы представить ее в невыгодном свете. Госпожа Штемлер не была создана для огорчений. А вернее говоря—для утешений. Ее вообще нельзя было трогать. Если ее напугать, рассердить, наскучить ей—боль донимала ее неделями. Она не принадлежала к числу тех, кого злоба делает более острым на язык. Возражения лишали ее сил, угнетали. Притом как же долго она излечивалась от этого! Медекша содрогался при одном только воспоминании. Нет, она не может позволить себе старопольский стиль! Кто-нибудь когда-нибудь остроумно изобразит ее в этой нелепой обстановке. И разольется тогда на всю жизнь целый океан скорби, который она ни за что не переплывет. Ну а если отложить в сторону всяческие корыстные соображения, захотелось ли бы ему самому видеть ее на фоне, которым он так восторгался. Тысячу раз нет! Такое совмещение выглядело бы неестественным. Медекша чувствовал, что она ведет себя чересчур смело, когда обеими руками тянется к этому. Она рвется туда, где для нее нет места. И еще унижается, распластываясь перед тем, что ее отвергает.

Да он и не отбивал бы у госпожи Штемлер охоту к польским антикварным вещам, если бы не сомнение, которое, он знал, гложет ее душу. Оно то усиливалось, то слабело. Словно звон в ушах, порой пронзительный, порой тихий, а когда и просто кажущийся. Но разве он затихал совсем? Где граница между звуком и тишиной и существует ли она вообще? Разделяет ли эти редкости какая-то граница—на те, которые могут быть у нее, и те, которыми она владеть не смеет? Прекрасный портрет мужчины в парике, в орденах, кисти Баччиарелли², кривая сабля, рынграф³,—этого, тут она никаких иллюзий не питала, повесить у себя ей было нельзя. Неужели же подобные вещи выстраиваются

¹ Это же еврейка (*франц.*).

² Марчело Баччиарелли (1731—1818)—итальянский художник, с 1776 г. придворный живописец польского короля Станислава Августа.

³ Металлическая пластинка с гербом или изображением святого, которую на груди носили рыцари.

в какой-нибудь ряд. И прерывается ли он где. Если внутренний голос предостерегал ее, что не надо покупать «Volumina Legum»¹, то разве он же не подсказывал ей, когда она разглядывала старый польский гобелен, что тут стоит подумать! А если при виде сервиза из корецкого фарфора² у нее перехватывало дыхание, то не оттого ли, что внутренний голос либо давал ей разрешение, либо уже был бессилён.

Госпожа Штемлер сама не знает. Так боготворит, но так боится. Как бы она радовалась, но ее не отпускает страх, что она все испортит. Страна, которая окружает ее, обратила госпожу Штемлер в свою веру, тут нет и тени сомнения. Ее деревни, ее язык, ее история и искусство, ее города—все это она так тонко воспринимает. И надо же, чтобы в душе ее поселилось что-то, что, шипя, предостерегает. Не дает накопить всего в деревне вдоволь, не разрешает окружить себя отечественными вещами, просыпается и мешает прочесть наизусть строфу Кахановского. Ко всему запрещает прикасаться! И эта узда мучит госпожу Штемлер. Эти стеснения для нее невыносимы. Если бы она была вольна насытить своим восторгом и всем состоянием мужа истязавший ее голод, воплотить в жизнь донимающие ее мечты,—может быть, в центре Мокотова³, где она живет, вырос бы новый Вавель. А между тем она не вправе обставить даже несколько своих комнат так, как ей грезится. Недобрые эти силы в ней—и та, что притягивает, и та, что отталкивает. Госпожа Штемлер никогда не приглядывается к ним, но ни на минуту не перестает ощущать в себе присутствие их обеих.

И потому Медекше удастся опекать ее, благодаря этому ее внутреннему голосу. Она не потакает своим вкусам, отрекается от общих пристрастий и вместе с Медекшей обходит стороной ту цель, к которой каждый в одиночку, казалось бы, стремится. Если речь заходит о старине, они говорят о ней равнодушно, словно соблюдая странное соглашение не отдавать ей должного. И обе стороны чтут это нелепое соглашение—госпоже Штемлер оно воспрещает украшать свой дом, опираясь на исключительные познания Медекши в том, что касается польского искусства, а Медекше не позволяет воспользоваться случаем, о котором он мечтал много лет: воссоздать стильный польский интерьер.

Должен ли он возражать и против ее благосклонности к народным изделиям? К ним обратила она частичку той любви, которую Медекша задушил в ней. Но такую ничтожную, что Медекша оставляет ее в покое. Он не осмеливается вырвать у нее

¹ Начатое в XIV в. издание польских законов и конституций, полный их комплект (т. 1—8), включающий акты до 1780 г., был переиздан в 1859—1860 гг. в Петербурге.

² Фарфор, выпускавшийся с 1790 г. в небольшом местечке Корец (ныне районный центр Ровенской области).

³ Район Варшавы.

из рук фигурки, словно доктор, который, поколебавшись, все же не отбирает куклу у женщины, свихнувшейся на том, что у нее нет детей. Эта придорожная часовенка, перед которой она опускается на колени, поскольку костел закрыт, повелевает Медекше безмолвствовать. И напротив—для господина Штемлера собирательство жены, робкая тень того, первого ее увлечения, на которое он, будучи очень скупым, смотрел косо, стало огромной радостью. Наконец-то за дешево!

Так и появились все эти горшочки, фигурки, поделки. Изготавливают их в деревнях, далеко от городов. От Белостока, Торуня, Кракова. Глаза министра Дитриха оживают. Он смотрит в лицо одной такой глиняной фигурки—святой с нимбом, напоминающим бублик. Вид у нее испуганный, глаза глубоко вдавленные, чуть не до середины головы, и тупые. Прошное стучится в мысли Дитриха. Он был нервным ребенком, и, когда гончар, лепя фигурку святой, резким ударом прутика пробивал глазные впадины, Дитриха начинало трясти от страха, что таким же образом могли бы сделать глаза и ему. Он улыбнулся. И сегодня, спустя сорок пять лет, шутка нравилась ему. Чья? Не отца ли? Или учителя? Кто-то из них сказал—не боги горшки обжигают, а гончар богов! И всю эту чепуху вообще, которая так радует госпожу Штемлер. Знала бы она, что гончар этот, у них например, был еврей! Мастерская его располагалась в третьем от Келецкой заставы доме. Вся детвора в поселке знала этот дом, так как свистульки, а их можно было купить прямо у гончара, стоили полкопейки. К тому же и выбор куда больше, чем на ярмарке или в лавке! А то еще в придачу и какая-нибудь надбитая вещица! Звали его Фриш, Давид Фриш. Дитрих прикрыл глаза. По крайней мере мне так кажется, подумал он. Но вдруг все это перестало его занимать. С террасы в гостиную вошла Завиша. Одна. Остановилась в нерешительности, не зная, что делать. Дитрих поспешил вернуть глину госпоже Штемлер.

— И что, что?—Она пыталась разобраться в выражении его лица.—Убедила я вас?—Она подняла фигурку вверх:—Вот символ непорочно нашенского.

Дитрих отвел взгляд от белой фигуры Завиши, взглянул на госпожу Штемлер и, вспомнив гончара, которого знал в молодости, глухо засмеялся и возразил:

— А вот и с порчей! Самые нашенские вещи лепят у нас чужие руки. Приходится с этим мириться.

Прокурор Скирлинский хмуро разглядывал лестницу. Переводил глаза с одного на другой экспонат этой аляповатой коллекции, которой так гордилась хозяйка дома. Выражение его лица, когда он рассматривал их, оставалось суровым, а ведь так его вырывают. Подниматься или не подниматься наверх? Стыд боролся в нем с желанием. С желанием горьким и болезненным, ибо он

знал, что Товитка там не одна. Если бы еще он был завсегдатаем этого дома! Нет! К тому же повсюду его считали человеком чопорным, лицом официальным. Так прилично ли идти в комнаты барышень Штемлер потому только, что он найдет ее там. Он злился, считая всякую нерешительность проявлением слабости, с явной неприязнью поглядывал на краковянина, грубо размазанного всеми цветами радуги. Поднялся еще на две ступеньки, чуть выше — уже силезец, затем курп, гуцул, волянянин. Он шел вверх от провинции к провинции, поднимаясь, словно по канату, по этим фигуркам в национальных костюмах, так что, когда через минуту он окажется на втором этаже, все будет выглядеть вполне естественно. Ох, уж эта Товитка, вздохнул он и закатил глаза с видом искреннего возмущения. Но тотчас же спохватился и почувствовал, что натянул на себя свою профессиональную маску. Лицо его опять приняло выражение недовольства всем и вся. И только в душе он продолжал начатое обвинение избранной особы.

Он никак не мог к ней приспособиться. Из-за нее самой? Из-за других? Вот и опять она сидит почти в темноте, хорошо еще, если только болтает. Ей хочется всех, всех сразу, правда в каждый конкретный момент небольшое преимущество над остальными имел сначала один, потом другой, а то и третий. А Скирлинский? Он ее всерьез любит и хотел бы жениться. Но не спешит. Он? А может, она? Ибо прокурор со всем бы смирился, все понял, все простил, только, прежде чем связать себя с нею навечно, ему надо было бы перевести дух. Ему хотелось какого-нибудь недолгого, но настоящего жениховства; он расстелил бы его подле себя, словно коврик для молитвы, на который никому, кроме него, не позволено ступить ногой. Он и себе не отдавал в этом полного отчета. Да к тому же был достаточно горд, чтобы сознательно идти на столь мизерную сделку. Сделка же не обрела еще черт официальных, характера документа, копии которого каждый из них двоих мог бы носить в душе. Но она уже была реальностью. Без конца кто-нибудь из подружек Товитки выговаривал ей. Разве нельзя немного утихомириться? И каждая растроганно прибавляла, считая себя по-человечески вправе быть снисходительной: на какое-то время! «На какое-то время?» Товитка замирала перед строем этих слов. Высокомерно оглядывала их со всех сторон. И смысл, заключенный в них, совсем не пугал ее. Она пожимала плечами, когда подружки, развивая эту тему, поясняли: не бегать по танцплощадкам, не назначать свиданий, отвечать, что тебя не будет дома. К чему такие строгости? — надменно улыбалась Товитка. Не о том же речь, чтобы не видеть мужчин, а чтобы ничего не позволять им. Это по силам и ребенку, клаясь она. Ты мне не веришь, удивлялась Товитка тому, что подружка так плохо ее знает. До чего же вы все меня не понимаете! — восклицала она. И взгляд ее вдруг становился неподвижен, вся она, казалось, подбиралась; если они сидели в

кафе, значит, вошел какой-нибудь интересный мужчина, если дома — значит, приближалась пора, когда он должен был позвонить. Попробуй обойтись без них! — наставляла ее Штемлер-старшая. Неужели же и вправду не можешь? Глупый вопрос, взрывалась Товитка. Есть они, хорошо, нет их, еще лучше! О своем равнодушии к мужчинам она говорила вполне искренне, ибо сейчас подле нее никого из них не было. Но они еще будут, да и вообще они никогда не переставали существовать. Между завтраком и обедом нетрудно обещать себе, что собираешься голодать. Тем более когда знаешь, что вся еда не может исчезнуть с земли в один миг. Она язвительно рассмеялась: могу дать слово, что не притронусь к ним, пока тебе так хочется.

Скирлинский опускает глаза, склоняет голову. Вот уже несколько минут он рассматривал жителя сандомирщины, хотя, кажется, не смог бы ответить, что изображают гравюры из дерева на лестнице в доме Штемлеров. Сейчас глаза его смогли бы увидеть лишь одного человека! В памяти Скирлинского всплывает сцена двухлетней давности. У Смулки-младшей, тоже на приеме, когда он стремглав бежит по служебным кабинетам к Товитке, зажигает свет, застает ее всю в слезах, и — на ней немного крови! Он не может думать об этом. «Тови, — кричал он тогда. — Тови!» Кричал? Нет, кажется, шептал. А она пьяная, нет, даже и не очень пьяная, вовсе не отзывается. Я заберу тебя отсюда! — кричит он и трясет ее за плечи, а какой-то голос в нем все повторяет и повторяет: не тревожься, через месяц, два, три тебя это уже не будет огорчать. Вспоминая сегодняшнюю ночь, ты, как и все, расхохочешься. Но тогда никто не смеялся над тем, что произошло. И меньше всего расположена была к этому Смุลка-младшая. Такая история! В ее доме! А дома у нее были две комнаты по соседству с Лыжным обществом, дела которого уже много лет вела мать Смулки. В эту пору года она обычно отправлялась в Закопане. Дочке захотелось устроить прием. Она уже столько раз ходила на вечера к приятельницам, теперь настала ее очередь. Приятельницы еще со школьных времен, сейчас почти все в университете, две даже замужние — каждая что-то принесла с собой. Штемлеры — граммофон. Выпивки много. Настроение отличное. Никто не упился настолько, чтобы свалиться с ног, грубить или бесноваться. Смулка, Кристина, Бишетка Штемлер выглядели чудесно, Метка Сянос блистательно, ее очаровательный муж захватывающе рассказывал о своем предприятии, дела у него, видно, шли хорошо, раз купил автомобиль. Ельский в ту пору как раз перешел из министерства в президиум Совета Министров, его величали превосходительством. Товитка притворялась, что гадает ему по руке. Смулка помнит еще, что за полчаса до этого неслыханного происшествия Скирлинский сидел на полу подле дивана, у ног Товитки. Она гладила его по голове и приговаривала: «Да нет же, правда, всегда

одинаково». А он упирался: «Почему ты всякий раз рассказываешь мне свою жизнь иначе!» И тут они исчезли. Никто не заметил, когда они встали и пошли в кабинет председателя общества. И только потом взоры всех обращаются к дверям, в которых стоит Скирлинский. В беспамятстве, растерзанный, пустыми глазами ищет неведомо кого, Бишетка останавливает граммофон. Ельский вскакивает. Заслоняет собой друга. «Очнись!—шипит он свистящим шепотом.—Уходи отсюда». Но Скирлинский не может взять себя в руки и едва слышно говорит, что это неправда, что все болтали о Тови, она порядочная девушка, у нее до сих пор никого не было! Чьи уши смогли уловить этот почти что вздох? Но спустя мгновение все ее подружки уже знают сказанное Скирлинским, а через четверть часа их братья, мужья, женихи. Вечер расстраивается.

В последующие дни Ельский ни на шаг не отходит от прокурора, который, погрузившись в черную меланхолию, считает, что ему остается только одно—застрелиться. Подумай о ней!—втолковывает ему Ельский. Ты любишь ее, не исключено, тебе надо будет в чем-то помочь ей. Во всяком случае, ты должен подождать. Скирлинский берет в суде недельный отпуск. Запирается в своей комнате. Сотни проектов рождаются в его голове. Он выкуривает тысячи сигарет. Отравляется никотином. И только спустя два месяца, проведенных в больнице, приходит в себя. Но после этого случая он уже не может освободиться от Тови.

Письма от нее очень сердечные. Когда, чтобы закончить лечение, Скирлинский перебирается в другое место, она приезжает его навестить. Скирлинский не смеет поцеловать у нее руку. Он держится с нею словно отверженный подле ангела. Он должен делать над собой усилие, чтобы говорить Тови «ты». Просит, чтобы она распоряжалась всей его жизнью, всем, что у него есть сейчас и будет потом. Но у нее нет никаких просьб. Она по-прежнему влюблена в кого-то другого, кто не обращает на нее особого внимания. Да, конечно, тот видит, что есть миленькая девушка, делает себе в памяти заметку на будущее, когда будет посвободней, но сейчас у него очень серьезные планы: хорошая женитьба! Он чувствует, что с Товиткой лучше не начинать, она, похоже, агрессивна, безрассудна и не умеет держать язык за зубами. Она легко могла бы смешать ему все карты. Так что он держится от нее на почтительном расстоянии. А тем временем после того, как без сколько-нибудь заметного результата она перепробовала все свои штучки, ее вдруг осенило, будто у нее оттого ничего не вышло с Тужицким, что она еще не вполне женщина. Вечер у Смулки призван был исправить этот недостаток.

Но Скирлинский не знает этого. Возвратившееся ее равнодушие он объясняет обидой. Потрясением, в котором повинен он и от которого она еще не оправилась. Спасти ее, залечить в душе ее

то место, которое так неизлечимо чувствительно, вернуть ее в нормальное состояние, а нормальным, как кажется Скирлинскому, будет оно тогда, когда Товитка его полюбит. И он пытается добиться ее любви, ждет, выясняет, насколько сильны ее чувства к нему. Оказывается, все по-прежнему! И Скирлинский погружается в отчаяние. Главная его забота—о ней. Ведь она все еще только выздоравливает.

— Обладать человеком и так при этом оттолкнуть от себя!— Спустя много месяцев, когда Скирлинский возвращается в мыслях к своему поступку, да еще и сейчас, на лестнице у Штемлеров, он не может сдержаться стона. Громко жалуется на свое несчастье. Великая глупость, которую он отколол у Смукли, не отучила его думать вслух. Чем больше ошеломляют его приходящие в голову мысли, тем безразличнее для него становится, есть ли кто-нибудь рядом с ним. До него не доходит, о чем говорят все вокруг. Так как же другие могут его услышать?

Скирлинский верит в будущее. Он и без доказательств знает, что Тови переменит образ жизни. Чересчур неестественный. Стало быть, это пройдет. Чем глубже Скирлинский погружается в будущее, тем оно представляется ему светлее. Возьмем Товитку Болдажевскую, какой она была два года назад! Ни одного упрека в ее адрес сделать нельзя, если, конечно, кто-нибудь не захочет придирааться. А годом позже? Уже появляются кое-какие мелочи. Хуже всего нынешнее время, и уж совсем невыносимо то, что происходит сегодня! А вот за будущее, например, можно смело поручиться! И она тоже верит в это, с той лишь разницей, что ждет для своего тела и своего сердца—причем каждую минуту—еще чего-то, той вершины, перевалив через которую потихоньку, уходя к мужчинам, все более безразличным, она успокоится.

— Что это ты украшаешь лестницу, словно изваяние?— Скирлинский узнает Ельского только тогда, когда тот кладет ему руку на плечо.—Надрызгался?

Скирлинский качает головой. Что за дикая мысль? Он—и чтобы пил! Такого с ним не бывало. Даже тогда, у Смукли, он не набрался. Причиной его беспамятства не был алкоголь, те несколько рюмок, которые он выпил за час или два перед происшествием. Ах, нет же! Это другое! В течение месяцев он при Товитке страсть свою держал в узде, ибо твердо решил, что не станет одним из многих. Когда она сказала, что хочет отдалиться ему, он велел ей повторить еще раз. Чем больше она уверяла его в этом, тем яснее он чувствовал, что теряет ее. Теперь все будет так, как и с другими. Слишком рано! В ней еще не проснулось ничего большего, чем страсть. Слишком поздно! Ибо не под влиянием первого очарования. Вдруг вихрь величайшего удивления! Хор очередных умилений и упреков. Он понимает, что он у нее первый. Ему кажется, что и единственный. Он кричит ей. Она не все понимает так, как он. Впрочем, она просто в беспамятстве.

По крайней мере так объясняет себе Скирлинский состояние Товитки. А ей просто-напросто не хочется разговаривать. Жаль! Ему страшно много надо сказать ей. Скирлинский то радуется, то скрежещет зубами. В конце концов верх берет возмущение. Чего только про нее не говорили! Он сжимает кулаки. Разве не он, единственный избранник, обязан рассеять перед этими чудовищами ложь. Разум преграждает ему путь. Но волна умиления смывает эту преграду. Он бежит, чтобы всех растрогать до слез, объявив, что они ошибались.

Ельскому хочется его растормошить.

— Знаешь,—смеется он,—как мы называем тебя между собой? Прокурор-молчальник. Будь хоть раз на суде таким, каким бываешь в обществе. Свидетелям—ни полслова. Пробурчи что-нибудь вместо целой обвинительной речи. А после приговора мягко объясни судьям, что ты, собственно, от природы всегда такой немногословный.

В конце концов Скирлинский очнулся—так человек приходит в себя по утрам от шума голосов, наполняющих дом.

— Кто там наверху?—Он показал рукой на комнаты барышень Штемлер.

Тови ни на миг не покидает его мысли, но в памяти Ельского эти двое не связаны друг с другом раз и навсегда, а потому, случается, Ельский причиняет другу боль.

— Сидят рядком,—иронизирует он,—Болдажевская с Тужицким, а Кристина с Мотычем.

Говоря это, Ельский слегка поджигает губы. Ему хотелось бы, чтобы тон его был пязвительнее. Но в нем явственно слышится обида на то, что сам он в той компании оказался лишним. Для Кристины тоже. Grimаса отражает его собственную неудачу. Скирлинский уверен, что это Ельский так сочувствует ему, даже специально разыскал его, дабы сообщить, как Товитка скверно ведет себя с Тужицким. Глаза ее далеко, но Скирлинскому кажется, что льющийся из них свет проникает даже сквозь дверь. Вечно она охотится за Тужицким! И потому так горят ее глаза.

— Нонсенс!—сердится Ельский на друга за его расспросы о подобных пустяках:—Что там делают? О чем говорят? Несут ахинею! Болдажевская растолковывает Тужицкому, что аристократия прогнила. Без конца тычет ему в глаза его титул. Это граф, тянет она, словно на гармонике, с адской иронией дьявола, который, обращаясь к другому, называл бы его—ангел мой, поскольку оба они урожденные ангелы.

Скирлинского передернуло:

— Она же ставит себя в смешное положение.

Ельскому это не приходило в голову.

— Перед кем? Что ты плетешь?—разнервничался он.—Единственное, что спяну. Рычат от радости. Тужицкий на

седьмом небе, что они говорят о его костеле. Он предпочитает, чтобы лучше смеялись над этим, чем завели бы разговор о чем-нибудь другом. Ты идешь туда?

Скирлинскому это не прибавляет решимости. Все то же самое. Еще раз краснеть! Опять с болью в сердце почувствовать, как оставляет его покой, который начал было укрепляться в его душе. До изнеможения смотреть на то, как она сводит на нет все его старания приблизиться к ней и завладеть ею.

Ельский раздражается смехом.

— Им? Мешать? Не бойся. То, чего им хочется, они сделают в твоём присутствии с тем же успехом, что и без тебя. Ты в лучшем случае помешаешь самому себе, ведь, может, отыщется здесь в конце концов что-нибудь поинтереснее, чем быть пятым колесом в телеге. Пошли поищем!

Скирлинский дал увести себя. На диванчике под лестницей заняты разговором Говорек и Бишетка Штемлер. Они потому и прошли мимо. В большой гостиной все общество, Завишу окружают хозяин дома, Яшча, Дитрих и не отрывающая глаз от известной балерины, прославляющей наши народные танцы за границей, прекрасная Метка Сянос. Она не слышит, что говорит ей Костопольский.

— Посмотри: Хирам!¹ — толкает Скирлинского Ельский. — Никогда его тут не встречал.

— Тут немало и других деятелей новой волны. — Прокурор старается ослабить эффект. Костопольский интересуется его не больше, чем газеты прошлых лет. Иное дело — министр Дитрих. — Видишь, кто сидит рядом с Завишей? — показывает он. — Сам Дитрих. Понимаешь!

Но Ельский продолжает рассматривать крохотную фигурку Костопольского с личиком эльфа, который с неделю пролежал в воде, он знает не только то, кем был Костопольский, но и кем тот еще может стать, вот и удивляется.

— Но почему Хирам!

Так называли Костопольского в кружке друзей, хотя ни с архитектурой, ни с масонством ничего общего он не имел. Неизвестно, кто окрестил его этим именем великого строителя храма и патриарха избранных. Костопольский снисходительно принял это прозвище. И какое-то время казалось, что он сыграет при Пилсудском ту же роль, что и его патрон при царе Соломоне. Но из этого ничего не вышло.

Ельский нахмурился и продолжал смотреть. Да! Оставались еще эти! Отодвинутые старики, ужасно способные. Не спутают ли

¹ Хирам — царь Тирский (X век до н. э.), художник и архитектор, друг легендарных Давида и Соломона, доставлявший им материалы и ремесленников для строительства храма и дворца в Иерусалиме. Некоторые исследователи связывают происхождение призыва масонов, попавших в беду («На помощь, сыновья вдовы»), именно с Хирамом.

они карты молодым? Все сегодняшние властители потихоньку, один за другим полетят, станут посмешищем, обанкротятся, вымрут. Но останутся еще эти старые продажные девы славы, эти вдовы собственного величия, которые скатились некогда с самых вершин сановного мира, чтобы тут, внизу, вновь обрести авторитетом. Костопольский как раз так и держался, с достоинством. Неужели же он упал для того только, чтобы показать, что до этого был слишком низко? Не премьер и не президент, а обычный министр, каким был. Вот оно что! Ельский и сам не знал, разделяет ли он это мнение. Хирам представлялся ему мудрецом наподобие Лелевеля¹, однако же из другой эпохи.

— Порой я подозреваю,— шептал он прямо в ухо Скирлинскому,— что он был опоздавшим уже и в свое время. Что же говорить о будущем, о времени молодых. Смотри!

Теперь что-то говорил Костопольский. Сянос откинулась назад, ее огромные, слегка навывкате глаза застыли на лице Хирана. Отчаяние переполняло ее. Все, что говорил Костопольский, она воспринимала буквально. Яшча сидел, скривившись, Дитрих втянул голову в плечи, словно оказался под дождем без зонтика. Один Штемлер, поскольку это был его дом, пробовал возражать, но вдруг понял, что перебарщивает, раз уж ни один из сановников не огрызается.

— Отчитывает,— догадался Скирлинский.

Ельский буркнул:

— Ты сразу пронюхал, что это речь обвинителя. Хочешь подойти поближе?

Скирлинский увильнул от ответа:

— Знаешь, наверное, глупо выйдет. Дитрих какой-то надутый. Ругаются. Это не для наших ушей.

Ельский презрительно надул губы:

— Мне бы твои заботы!

Но они так и не подошли ближе.

— Осторожно!

Слишком поздно. Отскочить назад, в тень, было уже нельзя. Их заметил Болдажевский, который наводил на Ельского смертельную скуку.

— Сейчас сразу что-нибудь вытащит из Апокалипсиса или из мифологии,— сердито пробурчал он.

Так и есть! Болдажевский приветствовал их сравнением, что они стоят, словно два Аякса. Огляделся по сторонам. Что-то не видно было, чтобы ему нашлось место на диване подле сановников. Не хотел ставить себя в глупое положение, если сами они ему места не предложат. И потому, когда Скирлинский одним

¹ Иоахим Лелевель (1786—1861)— выдающийся польский историк и общественный деятель, один из руководителей ноябрьского восстания (1830), после 1831 г. в эмиграции поддерживал контакты с К. Марксом и Ф. Энгельсом.

словечком упомянул о его дочке, счел, что лучшим выходом будет пуститься в беседу с молодыми людьми. Вот тут, где-нибудь в уголке гостиной, не спуская глаз с главного алтаря.

— Она наверху?— переспросил он.

Молодые люди подтвердили.

— Сядемте,— проговорил он.

И тотчас же начал с роз. Что мало кто в этот вечер обратил внимание на редкостное их великолепие. За это же отчитал и Ельского со Скирлинским и объявил:

— Лишь по одной причине я завидую людям богатым!— Тут он выдержал паузу.— Они в состоянии окружать себя цветами.

Он не заметил откровенной гримасы на лице Ельского, который, скривившись, искал взгляда Скирлинского, чтобы поделиться с ним безбрежным своим презрением к такого рода болтовне. Болдажевский видел теперь только одно: Костопольский вставал.

Министры отбили у Костопольского всякую охоту продолжать. Он опять столкнулся, как он говорил, со сговором слепцов против зрячего. Что толку, что Дитрих молчал как мышь, Яшча путался. Завтра они будут вспоминать об этом разговоре как о страшном сне, который не имеет ничего общего с действительностью. Ни одной коррективы от них не добьешься. Теперь уже никогда. Они мчались вперед по неверному пути. Хирам, словно звезда, оторвавшаяся от своего созвездья, остановился и огляделся окрест. Их гонку он считал беганиной по кругу. Вместе с ними мчится вся страна. Он взглянул на Метку Сянос. Ею он восхищался. Но сейчас ее детский лепет—так малыш добросовестно читает стишок старосте—вызвал у него отвращение. Она пробовала пристыдить Костопольского:

— Как это, неужто вы и вправду не видите, как все хорошо! Он рассмеялся.

— Среди слепых одноглазый—паршивая овца!—беззлобно проговорил он.— Будьте здоровы!

Дитриху уход Костопольского придал смелости.

— Ты уже не Хирам, а Кассандра.—И он напыжился, гордый своей колкостью.

На него только сядут—и понесут! Костопольский понял это. Пусть поживет в них немного то, что он им говорил. Что ж, не успеет захлопнуться за ним дверь, как они будут пить за здоровье друг друга большими глотками из бокалов, наполненных доверием и верой в то, что все обстоит наилучшим образом, пока вовсе не позабудут о впечатлении, которое он на них произвел.

— Я присмотрю за делами!—полушутя, пробурчал он себе под нос. И оказался рядом с Болдажевским. Здесь он был недалеко от тех, но не с ними.

Ельский, Скирлинский сорвались со своих мест. Он выбрал стул одного из них, а тем временем Ельский придвинул кресло, но

он не сел в него, и Ельский оказался вроде бы без места. За другим идти глупо. Он обратился к Хираму:

— Может, однако, в кресло?

Костопольский отмахнулся от него.

— Вы и министерское мне тоже так уступили бы?—И, внимательнее присмотревшись к нему, добавил:—Э-э, кажется, нет!

Ельский был доволен. Хо-хо! Такая ассоциация! А Болдажевский тем временем искал тему для выступления. Соседство Костопольского—тот случай, которого упустить нельзя. Подыскивая весомые слова, он возвращается к вопросу о дочери.

— Товитка! А вы знаете, что это за имя?—гудит он, обращаясь вроде бы к Ельскому, но на самом деле к Хираму.—Не нянька и не сама она придумала такое уменьшительное имя, которое, можно было бы предположить, было нами подхвачено,—начал он длинным периодом.—Мы называем ее именем, записанным в метрике, едва только изменив его звучание,—Товита. Ибо такое существует. Вы не читаете Священное писание, это печально, а еще печальнее, что мне нетрудно в этом было убедиться, но ведь каждый из вас слышал о Товите. У него в Ветхом завете есть своя книга, как у Иова, Юдифи или Эсфири.

— «Слепой Товий».—Костопольский любезно напомнил о драме, которую Болдажевский поставил без малого четверть века назад.

Старый поэт ответил ему улыбкой.

— Вещь, уж столько лет не игравшаяся!—воспользовавшись случаем, пожалел он себя.—Товий, а по-гречески Товит, это имя отца, в отличие от сына, во всех уже языках—Товия. Книг, о которых я говорю, сам я,—признался он, едва доверяя себе,—тоже было такое время, не знал. Мой католицизм родился из слабости, это знакомо каждому, кто в молодости испытал страх перед жизнью, так вот у меня он выражался тоской по формам общественных реальностей, которые по большей части принадлежали минувшим эпохам. Я полагал, что относительно легче мне было бы жить в прошедшем времени. Костел, дворянские усадьбы, страна, не забитая людьми настолько, что они едва не касаются друг друга,—вот о чем я тосковал, и творчество мое тоже. Отсюда мой первый цикл исторических и религиозных поэм, отсюда и мой драматический дебют—пьеса «Книга», образ которой в моем сердце окружали два ореола: один—давности, а другой—чистоты. Я гонялся за подобного рода призраками, не отдавая себе отчета в том, что моей жизни они в общем-то чужды, поскольку мне ни разу не пришло в голову, что они когда-нибудь могут и должны соприкоснуться с нею.

Он переждал, пока не отзвонит смех Метки Сянос.

— Они говорят о чем-то веселом!—позавидовал было он на мгновенье, но тотчас же вернулся к повествованию.

— Я был женат. Постоянно сидел за границей. Один, не один! Жена моя привязала себя к Варшаве учением в пансионе, а кроме того, автору нужна особа, ходящая по его делам в издательства, редакции, пока ему хочется покуролесить по белу свету. Жизнь моя была безупречна. Большого не скажу, хотя понимаю, что трудно сказать еще меньше. В столице нашей, как вы знаете, за год до войны возникает Польский театр. Директор пишет мне, просит пьесу. С историей надо держать ухо востро! Цензура! Мне остается Библия. Принимаюсь читать ее сначала. Как-то не идет. Знаю, что и в наше время читают в мире эту книгу. В Англии, например—я говорю, разумеется, о мирянах. Естественно, молодежь смотрит на таких так же почти, как у нас на любителей Сенкевича. Попытался я себя заставить. Кто-то мне посоветовал начать где-нибудь с середины, как у Монтеня или вашего,—он надул щеки, поискал, кому бы его приписать, не нашел,—Пруста. Раскрыл на Товите. Посмотрел, как идет, кое-что я знал, а сейчас мне и закладка даже не нужна, моя Библия сама открывается в этом месте, столько раз я читал ее. Почему? Я знаю уже все из Священного писания, если подобное утверждение не выглядит чересчур смелым. Я возвращался к нему в поисках темы как к источнику неоднократно. Я работаю сейчас над Иеремией. Но Товию останусь верным.—Он рассмеялся, несколько оробев от того, что собирался сказать, хотя вот уже лет двадцать повторял это дважды в год.—Я останусь ему верным,—со второй попытки ему удалось закончить,—как жене! Бог послал Товию ангела, чтобы тот указал ему путь; мне,—признался он, постаравшись сделать это как можно скромнее,—послал Товия. Он стал для меня окошком в Библию, школой веры, наставником чистоты. Я никому не обязан большим!

Рассказ захватывал его все сильнее. Он поднял глаза и не без самовосхищения от того, что у него такая память, стал звать:

— Товий, Товий, Товий!—И, секунду помолчав, добавил:—Я, разумеется, говорю о младшем.—Только помолчав немного, он стряхнул с себя оцепенение и продолжал:—Нас учат священной истории, когда мы еще дети. Тогда она нас не увлекает. После всех сказок, которых мы только-только наслушались, ее фантастика кажется нам слишком пресной. А жизни, в которой Библия так гениально разбирается, мы еще не знаем. Если бы кто принял духа тьмы за учителя и велел бы ему под страхом кары учить человечество Библии, дав, однако, ему право самому выбрать для этого время в жизни человека, он знакомил бы нас со Священным писанием как раз в наши юные годы, ибо тогда это принесло бы нам наименьшую пользу. Я бы поступил совсем иначе! Я перенес бы экзамен по Священному писанию на последний год, то есть не тогда, когда мы начинаем учиться, а когда мы должны сами начать жить.

Костопольский с сомнением улыбнулся:

— Когда же наступает такое начало, это разве известно? — Но, почувствовав, что, возражая, собьет Болдажевского, мягко добавил: — Вы, однако, правы. Вот, к примеру, никто из нас не помнит, что случилось с Товием.

Болдажевский, прежде чем вернуться к повествованию, задал риторический вопрос:

— Что случилось? Он ослеп. Уже будучи человеком пожилым, лет пятидесяти¹, не в преклонном возрасте, но в таком, когда слепота, которая есть смерть глаз, а стало быть, часть подлинной смерти, зовет к расчету с жизнью. Были у него где-то в соседней земле у ближайших родственников, живших далеко, кое-какие сбережения, отданные на сохранение. Много лет не получал он от них никаких известий. Надо было наконец все уладить. Самому отправиться — дело немислимое. Так, может, сын? Но у того не было достаточного опыта. Если только найти ему подходящего товарища. А он как раз познакомился с неким молодым человеком, который собирался в те самые края. Приводят его. Тот называет свое имя. «Ты знатного рода!» — поражается старый Товит. А между тем это был ангел, который принял облик юноши. Когда они пришли к родственникам Товия, дядя встретил их хорошо, но, когда Товий, приглядевшись к его дочери, вспомнил о старом уговоре и попросил ее руки, родственник встревожился... Мог ли он позволить! Еще раз ставить на проигранную карту. Сарра семь раз выходила замуж. После брачной ночи, утром, находили труп. Какой стыд! Отец не знал, что и думать. Ни ран, ни следов яда. Несмотря на это, он обзывал дочь убийцей, как это случается с отцами! Он старался отговорить Товия, которого полюбил, от мысли жениться. Но тут отзывается его спутник, этот под личиной молодого человека из хорошей семьи скрывающийся ангел разъясняет, отчего умирали мужья Сарры. Ибо у каждого в мыслях было одно — стать ее любовником, а не отцом ее детей!

Неожиданно Болдажевский осекся и гневно обратился к самому себе:

— Нет! Плохо я говорю! Я ввожу крайности. В источнике их нет. Случай с Саррой не воспрещал рассматривать ее как любовницу. Речь шла о том, чтобы мужчины брали ее «не для удовлетворения похоти, но поистине как жену». Преувеличение? — Он вздохнул, поднял глаза, но вместе с тем следил за слушателями, действительно ли время, которое он предоставил им, они посвящают размышлению, а не тому, чтобы прийти в себя. Он встревожился, сократил паузу. — Демокрит, когда его застали с женщиной, на вопрос, что он делает, ответил: «Сажаю человека!» Какая трезвость мысли! Кто бы сегодня мог этим

¹ История Товита и его сына пересказана Болдажевским весьма вольно, согласно Библии Товит ослеп восьмидесяти восьми лет.

похвастать. Отчего? Ибо мало кто помнит, что он в такой момент делает. Его занимают обстоятельства. Не цель. Не природа. Но за нее мы можем быть спокойны. В адвокатах она не нуждается. Сама справится. Платит не она. Издержки этой рассеянности ложатся на нас. И это вовсе не проблема сегодняшнего дня. Это вечная проблема. А скорее всего, извечная.

Ельский облегченно вздохнул. Не многое так выводило его из себя, как жалобы на современность. Особенно стариков. Болдажевский, однако, намеревался вовсе проехаться по человеку вообще, как таковому. Неизменному. Это — прошу покорно!

— Сарра! Сарра! Кто были твои первый, второй, третий, все вообще твои мужья? Ну что это за порода людей. Такие, как мы, такие, каким был я! — Он вздохнул. — Отчего я не умирал. Отчего в наше время уже никто по-настоящему не погибал от страсти. Неужели она сама виновата? Перестала быть такой сильной, и мужчине приходилось умирять ее мыслью о будущем ребенке? Неизвестно! Очевидно одно: сейчас никто из-за этого не погибает. Или, пожалуй, гибнет за нас кто-то, о ком мы забываем. Семья наша. А может, что и большее. Уже в нас.

Костопольский прошептал:

— *Tristitia post coitum.*

Болдажевский согласился.

— Вот именно! — И продолжал свою мысль: — Откуда эта печаль? Я десятки раз возвращался к книге Товита, чтобы понять, была ли она ведома ему. Текст скуп! А слова, которые можно было толковать как выражение его самочувствия после свершившегося факта, говорят, как мне порой кажется, об ином. Отец Сарры — еще только одна подробность, — извинился он перед слушателями, — как вы помните, согласился на этот брак, но не без опаски. Видно, ночью он пришел в отчаяние, раз поутру разбудил домашних и приказал рыть могилу. Восьмую могилу в саду! Они выкопали. Ненадолго это его успокоило. Он не мог выдержать. Побегал к новобрачным и «нашел их живыми, здоровыми и спящими вместе». В Священном писании нет ни одного слова без смысла, нет таких, которые повторяются без толку. Поэтому я думаю, что «живые» относятся к плоти, «здоровые» к чему-то другому. К духу? Самочувствию? Способности? Но в таком случае они могут проявиться лишь тогда, когда человек знает, что не для одного наслаждения, но и ради потомства он старался.

Костопольский начал:

— Иначе ненасытность...

Но Болдажевский набросился на него:

— Нет, тысячу раз нет! — объявил он. Как бы там ни было, но такого аргумента он не мог допустить. — Ненасытность, неполнота наслаждения, разочарование завершенностью — нелепая идея! Это уже наш век особенно тянется к подобного рода диким диагнозам.

Бог своими писаниями, думается, ясно говорит: «человец, ты творишь наследника своего одновременно и своим телом, и своим духом». Мы хорошо знаем, что происходит с предназначенной на будущее существо частичкой человеческой материи, которую человек отторгает от себя. А с той частичкой нашей души, которая оставляет нас, дабы зачать душу ребенка? Что с нею происходит? Может, это она так ходит по кругу и печалит нас...

Неожиданно Болдажевский обратился неизвестно почему специально к Скирлинскому, мрачному, словно ночь.

— А эти столики, послушайте, эти духи, эти искорки. Кто знает, не призраки ли это зачатых, но не явившихся детей. Эта эктоплазма¹, являющаяся какой-то поразительно незрелой материей! А-а! — махнул он рукой. — Все равно. Не перестанут!

Он пристально всматривался во что-то прямо перед собой, словно картины из его прошлого проходили перед ним.

— Прочитавши книгу Товита, я не мог прийти в себя. Рукой, рвавшейся к бумаге, головой, пылавшей жаром, я создал мою драму о «Слепом Товии». Драматизированное послание о чистоте. Даже не о чистоте нравов, ибо достаточно чистоты намерений. Того, чтобы во время зачатия не прятать головы в песок. Дабы знать, чувствовать, помнить, что лежит в основе. Ребенок. Будущее. Потомство!

— А сами вы, — спросил Костопольский. Никто бы и не догадался, что он подтрунивает. — Головы не прячете?

— Никогда! — воскликнул Болдажевский и гордо вскинул голову. — Раньше разное бывало. Сегодня...

Он оборвал себя, засмеялся оттого, что так раскипятился.

— Ну, сегодня я уже стар, но с той поры, как в душе моей произошел перелом, о котором я вам говорил, я остаюсь верен самому себе. Как только пьеса была готова, первым же курьерским поездом я примчался в Варшаву. — Он опустил глаза и прошептал: — С вокзала прямым ходом к жене — повинулся перед нею. Далеко за полночь мы были заняты мыслью о сыночке, которому мне хотелось дать имя Товий.

Он подумал с минуту. Вспомнил, что было потом.

— Наутро я отправился в театр. Я знал, что пьесу возьмут. Сразу же после читки театр не стал делать тайны из того, что приобрел великую пьесу. Да-а-а!

Произнеся это словечко, которое он сильно растянул, Болдажевский впал в забытие и, кажется, не успев еще как следует прийти в себя, решил еще добавить:

— Я начал новую жизнь как раз в тот момент, когда Товита только-только начинала свою. Это единственный мой ребенок. Но даже если бы бог потом и не отказал нам в своей помощи, Тови

¹ В спиритизме субстанция, якобы источаемая медиумом, находящимся в состоянии транса.

все равно осталась бы для меня тем, что должно быть самым чистым. Кто стоял ближе всех к истокам ее жизни! Не жена даже, которую тогда частично отвлекали боли, ревматизм. Я чувствовал себя великолепно. Могу самым торжественным образом заявить, что ни пылинка не омрачила ту ночь. Потому и девочка достойна носить имя Товита—олицетворение чистоты.

Скирлинский протянул руку. Какая мука. Ах, надо бы предостеречь Болдажевского! Ведь Ельского вот-вот разберет смех, а кто знает, может, и Костопольского тоже. Ну как этот старик умудряется ничегошеньки не понимать! Но Ельскому расхотелось шутить: в дверях появилась Кристина под руку с Мотычем. Скирлинский сорвался с места. «Они одни!—подумал он.—Они остались наверху одни!»

— С ними больше никак не выдержишь!—весело кричит Кристина Ельскому.

И кивает ему головой, заметя, кто сидит спиной к ней. Только что не пищит, так ей хочется выболтать, что погнало ее вниз. Ельский не решается так вот вдруг оставить пожилых людей. Наконец они вместе. Вся четверка молодых. Скирлинский, Ельский, Кристина, Мотыч.

— Она ему глаза выцарапает,—с наигранной горячностью мечется Кристина.—Они так ругаются.

— Да о чем?—пристает к ней Ельский.

— Товитка толкует Тужицкому, что аристократизм убил в нем истинного человека, а он ей, что только аристократ и может быть истинным человеком.

— Вздор!—Скирлинский не в состоянии сдержать себя.

— Вот увидите, она его искушает или исцарапает.—Кристине не терпелось все рассказать.—Я вас предупреждаю. Чтобы потом на меня не валили. Пусть я буду лучше ябедой, чем санитаркой. Тем более что мой кузен Проспер...

Ей хотелось похвастаться, что в его семье, как и в царской, болеют гемофилией, но Скирлинский помешал.

— Как? Проспер?—прервал он ее мученическим, неврастеническим тоном, будто лишь это имя повергло его в отчаяние.

— Ну да! Так его зовут. Что поделаешь!—взвилась Кристина.—Ничем вам не могу помочь.

Ельский, слегка подталкивая Скирлинского, подсказал:

— Вмешайся как прокурор!

И Скирлинский стал ступенька за ступенькой подниматься по лестнице. Сначала даже подумал, что все у него выйдет гладко. Но поддержки, которую оказал ему Ельский, подсказав предлог, хватило ненадолго. Когда Скирлинский оказался на втором этаже, он уже знал, что не войдет. Он даже не заглянул в полуоткрытую дверь. Там царил тишина. Великое дело!—уговаривал он себя. Целуются. Ну и что!

И собрался возвращаться. Троица заметила его, когда он,

миновав поворот, появился на середине лестницы. Минуты разлуки было для него достаточно, чтобы сообразить, как они пьяны, он один протрезвел. Галдели они невообразимо. Глаза, жесты, голоса показались ему ужасно кричащими. И жестокими. И вульгарными.

— Ну как, ну же, что они делают?

Они, видно, о многом порассказали друг другу, пока он отсутствовал. Он вытянул руку. Он прямо-таки умирал. Они добивали его. Но Скирлинский как-то все-таки сумел овладеть собой. Как человек, поставленный к стене, который хочет покончить с кривляньем, решительно бросил:

— Я вспомнил, что я не полицейский,—голос его дрожал, он никак не мог выговорить эти несколько слов свободно. Но все же закончил.—Прокурору разрешается вмешиваться лишь после того, как преступление совершено.

Шутка эта отняла у него все силы. Он и не заметил, как спустился с лестницы и оказался в гостиной. Держась за перила, сходил ниже и ниже, словно в преисподнюю.

И тут услышал за спиной взрыв смеха. Но то, что сказал Мотыч, к счастью, не услышал.

— Оставьте его. Он хочет провалиться сквозь землю.

Метка Сянос улыбнулась Костопольскому.

— Ну, отчего же,—проговорила она искренним, деловым тоном.—Вовсе вы мне не мешаете.

В ее намерение входило еще что-нибудь прибавить к этим словам, ее тянуло к ответам щедрым, причем на любые вопросы, не исключая, избави бог, и риторических, однако Костопольский уже наслушался досыта, ему хотелось поговорить, и ничто так не развязывало ему язык, как красота. Чтобы пожирать глазами, ему надо было что-нибудь рассказывать. Он чувствовал бы себя не в своей тарелке, привелось ему смотреть молча. Ему к тому же хотелось с помощью настырной болтовни заставить свои глаза беззвучно выразить восхищение, которое росло в нем неумолимо. Но Метка в подобных ситуациях была неспособна сдержаться. Всякий, взглянув на нее, понял бы, что ею восторгаются. Ей в ту же минуту начинало казаться, что она допустила какие-то мелкие оплошности в туалете. Начинала она с самых распространенных, перебирала их про себя, вроде бы все, что только возможно, было в порядке, но она не успокаивалась. Ей хотелось говорить и говорить то о своем платье, то об инстинкте ориентации, то о своих зубах. В платье она в сравнении с фасоном изменила лишь складку, и вышло отлично. Вот была впервые в Гданьске, вечером бросила взгляд на план города, а наутро подсказывала мужу, где надо свернуть. К зубному она пошла перед свадьбой, он ее и на кресло сажать не хотел. Очень велика вероятность того, сказал врач, что мы с вами никогда в жизни не увидимся.

— И несмотря на все это,—вздыхнула она,—я часто спрашиваю себя, счастлива ли я.

— Так ведь это всего лишь ваш капитал.—Костопольскому дозволялось прибегать к подобным выражениям, поскольку он был экономистом.—Счастье будет зависеть от того, как вы пустите его в дело.

— Вот именно,—обрадовалась Метка, что не очень-то вязалось со сказанным Костопольским.—Я всегда говорю, что могла бы на что-нибудь пригодиться.

— Себе, себе!—Костопольский придерживается принципа, что поначалу надо относиться к женщине весьма серьезно.—Самое главное, пригодиться самой себе. Если вы обладаете ценными чертами и не находите способа использовать их к своей выгоде, то что же удивляться другим.

У Метки сердце екнуло при мысли, что за черты, которые она так ценила в себе, ей когда-нибудь придется держать ответ.

— Человеку надо помочь,—воскликнула она. В этот миг она помнила только о себе. О себе как о женщине. На которую все заглядываются.—Это страшно,—нервничала она.—Все рассыпаются передо мною в любезностях, но никто не в состоянии помочь.

Костопольский сказал наугад:

— Ибо вам нельзя помогать, вас нужно принуждать!

Метка цепким взглядом вонзилась в лицо Костопольского. Разговор не менял его. Краше он не становился. Глаза водянистые, волосы если бы кто взялся, мог бы все пересчитать за час. Правая щека, нижняя губа, шея в шрамах. Наверное, доброй горстью осколков брызнула ему в лицо шрапнель. Это под Киевом его так отделали, пожалела его Метка. За то, что он так настрадался, а не за то, что его так изуродовали, ибо даже среди женщин Костопольский славился не лицом. Его мужскую красоту надо было принимать, не ища в ней того, что легко бросается в глаза,—притягательность тела. В физическом отношении Костопольский был ничто. Некрасив для тех, которые не знали, кто он такой! Но кто же мог не слышать о нем? Ах, так вот как он выглядит!—прошептала Метка, увидев его первый раз. И его внешность принималась безоговорочно. Так, как верующие принимают изображение папы. Какое бы оно ни было, это делу не помеха!

— Я и одна пойду, куда мне нужно будет,—ответила Метка. Она больше не улыбалась.

— Вами, однако, кто-нибудь должен руководить.

Серьезный она человек или совсем ребенок?—раздумывал Костопольский. Бесспорно, одна из самых красивых женщин в Варшаве. Слишком прекрасна, чтобы быть заурядной особой. Слишком заурядна для красавицы. Не было в ней какой-то своей искорки, но как же все в ней великолепно. Очаровательная

головка, радовался Костопопольский. Фигура чересчур грузновата, словно постамент. Все вместе напоминает статую вообще, ничью статую? Теория очень красивого тела, а не кто-то конкретно.

— В принципе все хотели бы мной руководить, а на самом-то деле я всегда одна,—призналась она.

Костопопольский не сводил с нее глаз. Невыразительных, тусклых, водянистых. Но это разбавленное вино больше кружило головы женщинам, чем нередко самые красивые глаза. Оно, капля по капле, приковывало к себе внимание. Метке недавно снился экзамен на аттестат зрелости. Учитель математики смотрел на нее то своими глазами, то глазами Костопопольского; она вспомнила свой сон. И подумала, что еще очень нескоро забудет эти взгляды.

— А муж?!—невзначай бросил Костопопольский.

Из целого набора чьих-то кокетливых приемов в памяти ее осталась такая вот фраза. Она выдала ее за свою.

— Нельзя одновременно поклоняться двум богам, женщине и карьере.

Костопопольский не строил иллюзий, что с Меткой у него все пойдет просто, как это можно было бы заключить из ее слов. Она, конечно же, страшно желала, чтобы Костопопольский приступил к делу, причем желание подогревалось еще и тем, что Метка знала, как она строптива. Он чувствовал в ней и эту готовность, и то, что именно на него она возложит бремя увлечь себя. Он ведь так опытен. Донжуаны существуют затем, чтобы и у неприступных женщин кто-нибудь был. Мысль эта рассмешила Костопопольского.

— Я к вашим услугам!—прошептал он и подморгнул в знак того, что это шутка.

Она сделала вид, что не расслышала, но, хотя и не без колебаний, следуя своему решению, рассказала историю, которую ей напомнили слова Костопопольского.

— Сестра моей мамы была известной во всей Варшаве красавицей. Однажды обе они очень поздно возвращались домой. На Саксонской площади кто-то пристал к ним. Мама, скромная, тихая женщина, чуть не в слезы: «Какие несносные эти мужчины!» А та, опытная, которая была нарасхват, утешает ее: «Не бойся, они только притворяются такими».

Костопопольский позволил себе быть чуть менее серьезным.

— Притворяются!—улыбнулся он.—Вовсе не притворяются, просто тотчас же у них пропадает всякая охота.

Метка Сянос вздрогнула, припомнив что-то.

— И это наихудший вид притворства! Все мы предпочитаем тех, кто ничего не умеет, тем, кто ненадолго.

Она немного сконфузилась.

— Вы понимаете, о чем я говорю,—сама того не желая, пояснила она торопливо.—Совсем не о физической стороне дела!

А о том, что не успеешь оглянуться, а с любовницей такой обращается уже как муж, все как-то обыденно, все как по обязанности. Любить хотели бы все, да вот никто не умеет!

Костопольский обвел взглядом гостиную.

— Никто? — Он поморщился. — Вы хорошо искали?

Ничто уже не напоминало в Метке женщину, которая кокетничает. Она смотрела на Костопольского хмуро, словно ее донимали какие-то домашние хлопоты. Если бы не слышать, о чем она говорит, можно было бы подумать, что ее занимает проблема склонности не к мужчинам, а к полноте. И обеспокоена она тем, что теперь придется во многом себе отказывать, но что это будет за жизнь?

— Я не могу слишком часто пробовать, — сказала она. — Да и вообще подобные вещи немного пугают меня. Естественно, я ни о чем, что было, не жалею. А если мне и не хочется, то вовсе не оттого, что с этим связано немало неприятностей. Желание отбивает у меня, скорее, само удовольствие.

И она опять покраснела.

— Я и сейчас не говорю о физической стороне дела, — с трудом прошептала она.

— Вы в этом уверены?

Костопольский упорно рассматривал лицо Метки. Можно было еще глубже погрузиться в ее глаза. Выражение их не менялось, казалось только, что, хотя цвет их, темно-синий, стал еще гуще, они сделались прозрачнее, пропуская в себя человеческий взгляд. К беседе, которую она вела, она не готовилась заранее. Ей и в голову не пришло бы разговаривать подобным тоном с кем-нибудь из знакомых мужчин. Так исповедоваться в своих недостатках может молодой поэт перед критиком, который пробудил в нем доверие к себе. И если, кто знает, он этим воспользуется, не страшно; самое главное, помог бы советом. И действительно, хотя Костопольский и был ею очарован, он не относился к разговору как к возможности сразу же приступить к стараниям присоединить Метку к своей коллекции. Ему хотелось докопаться до сути самой проблемы.

— Вообще-то верите ли вы в примат плоти? — допрашивал он ее, словно на экзамене по катехизису.

Ее захлестнул гнев, почему, говоря на эти темы, нельзя обойтись без нелепостей. Она запуталась.

— А что такое плоть? Разве это известно? Не красота, она слишком хрупка. Не сила в сближении, хотя, правда, тут обо всем забываешь, но потом тотчас же забываешь и о сближении. Так какой прок мне от такого забвения, к которому не привлечена даже память. Все не то.

Костопольский не мог еще понять, какова она. Холодна или, напротив, как раз горяча. Мысль обладать ею все больше захватывала его. А не сама Метка. Она все еще казалось ему

скорее олицетворением красоты, а не женщиной. Воплощением совершенства того типа, которому покорялись ушедшие эпохи. Он даже и не знал, как к ней подступиться. Его это нимало не огорчало. Школой Костопольского был полный покой. Он не говорил, что восхищен. И сам не пытался вызвать к себе восхищения. В любовных делах он добивался своего, овладевая предметом. Не очаровывал, зато выслушивал исповедь о разочарованиях. Казалось, он отправлялся в страну любви как посланец рассудка. Он предлагал себя, не гарантируя, что любовь придет, а обещая, что это не будет пошло.

— Одно могу утверждать со всей определенностью,— начал он тоном доктора, который сидит за столом после осмотра больного, но еще не взялся выписывать рецепт,— просто-напросто никто вас не занимает. Ну хорошо, узнаете вы об этом. И что? Можно прожить годы и годы — и не влюбиться! Но любовь-то в эти годы нужна. Чужой, как видно, вам недостаточно. Результат она приносит ничтожный. Вы все удивляетесь, что ваш жизненный фонд так скромен. Но вы ведь в одиночку пополняете его! Так вас ничто не удовлетворит. Послушайте-ка меня. Поразмышляйте обо мне. Я присматриваюсь к вам очень давно. Если вы мне можете, я разгадаю вас. От меня вы о себе узнаете все, что может подметить человек у другого и осмыслить в нем. К слову, и очень сжившиеся друг с другом люди не всегда любят говорить кое о каких вещах. А я и тут помогу вам понять себя.

Костопольский обращался к женщине, словно выступал в комиссии сейма, если принять во внимание, что — так говорили — к комиссии он обращался как к женщине. Что он умел делать как никто другой, так это кротостью завоевывать к себе доверие. Во-вторых, не допускать и тени подозрения, что у него есть свой интерес, убеждать, что, когда речь заходила о решении, нельзя медлить и минуты. Он советовал выгодное дело, которое его якобы не занимало. Он указывал людям на пропасть перед самым их носом, указывал словом, даже не жестом, и уж никогда не вскакивал со стула. Причем поступал так не оттого, что был флегматичен или бесчувствен, а в убеждении, что спокойствию и рассудительности — этим двум надежным крыльям, всегда способным спасти, — всюду должно найтись место, даже на самом дне пропасти. Впрочем, если уж пропасть, то на дне ее всегда спасение; если дно, то непременно лестница, ведущая наверх, или боковой выход не сразу, так спустя какое-то время отыщутся. Вот самоубийство как раз и доказывает, что люди умеют загонять себя в угол! Можно ли относиться к самоубийцам всерьез, хотя и трудно быть более серьезным, — рассуждал Костопольский. Пуля им в голову входит легко, а все остальное — с огромным трудом. Это прекрасно, что поступком своим они как бы объявляют: жизнь для них не единственная крайность. Но не надо из-за этого впадать в другую. В смерть! Жизнь дана нам пожизненно. Есть

ведь такие спекуляции, которые с нею не проходят. Костопольский сверлил Метку глазами. Чудная женщина! Кто знает, не будет ли она моим прощанием с родиной!—расчувствовался он. Он давно сказал себе, что уедет. В последние месяцы мысль эта стала навязчивой идеей. Может, в Южную Америку? В далекий мир. Лишь бы не в иной.

— Открою вам свой секрет,—решившись на искренность, он совершил преступление, отходя от своих принципов и немного злясь на себя, но и был растроган тем, что Метка вынудила его к этому.—Я убираюсь отсюда.

Она не поняла.

— От Штемлеров?

— Нет, из Польши. Хотел бы, прощаясь с нею, поклониться вам.

Метку однажды кто-то надул разговорами об отъезде. Сегодня она бы сказала, что никакой это не повод. Почему же путешественник может иметь на нее больше прав. Куда бы это привело?

Она слегка надула губы.

— Хорошо, что вы мне об этом говорите с самого начала. Стало быть, эти курсы о жизни и обо мне будут заочными.

Костопольский почувствовал иронию, но посчитал это своего рода флиртом.

— Нет,—ответил он,—курсы состоятся здесь. Я уеду, когда мы исчерпаем весь материал.—И снова вернулся к своим мыслям.—Вы будете моим расставанием.

— Вы уверены,—спросила она,—что я пожелаю вам счастливого пути, как вы того хотите?

— Совершенно,—признался он.

— Судьба благословила нас, женщин, всякий раз, как мы начинаем уступать мужчине, одним таким мгновеньем, когда мы, словно в белый день, видим, чего будет стоить то приключение, которое близится. Я как раз переживаю сейчас такое мгновенье.

Костопольский сделал вид, что ему приходится кричать.

— Смотрите же, всматривайтесь же в него.

А спустя минуту:

— И что вы увидели?

Но не дал ей ответить. Сам ответил за нее.

— Путь из этого приключения не ведет ни к страданию, ни к горечи. Ценность его в том, что вы всегда будете вспоминать о нем и память о нем не будет ни тоской, ни укором. Все предшествующие ему годы мысль ваша объединит в неразрывное целое с годами детства. Знаете, приключения бывают либо глупыми, либо такими, которые нас умудряют. Верите ли вы в приключение, которое вместило в себя всю возможную зрелость? Такое приключение рядом.

Сянос, хоть и разозлилась на себя за то, что скажет вещь само собой разумеющуюся, тем не менее предупредила:

— А если я решусь. Вы не думали об этом?

— Вы лучше обдумайте, согласны ли вы? И что? Предпочитаете это? Выбирайте.

Сам выбор, казалось, не очень занимал ее.

— У вас большие трудности?

— Как и всякий раз!— удивилась она.— Если не большие!

Признаваться в этом ужасно грустно. Все прошлое свести только к этому! Тогда его пускаешь в распродажу по очень невыгодному курсу. И что еще хуже—с ведома чужих. Хотя бы и одного. Это и вправду горько.

— Да,—повторила она.—Есть у меня трудности. Во всяком случае, куда значительнее, чем при родах. Мне приходится исповедоваться под наркозом.

Костопольский пробурчал с деланным добродушием:

— Во всяком случае, вы должны.—И он коснулся ее руки.— Непременно. Теперь надо только не отступить от собственного мнения. Закройте глаза и скажите себе: я больше ничего не перемену.

Но Метка смотрела теперь на своего мужа. Тот стоял в дверях. Черные раскосые глаза его смеялись. Он вырвался из какой-то компании, в которой пили. Внимательно окинул гостиную. И скрючился, словно в руках держал чашечку кофе, который боялся пролить. Плотно сжал губы. Ноздри мягкого, оплывшего носа—он резко дышал носом—раздуты. Наконец он заметил жену. Немного сконфузился.

— Иди!—Метка протянула мужу руку.

В последний момент Костопольский отдернул свою. Появление Янека Сяноса не рассердило его. Он успел обговорить свое дело. А теперь пусть будет и муж. Он весело поздоровался с ним. Подвинулся, дав ему место, когда Метка попросила:

— Посиди с нами.

Мотыч, впервые увидев его, сказал:

— Что касается черт его лица, то сразу видно, бог создал их, наплевав на всякую там географическую формалистику.

Сянос услышал это и расхохотался. Здесь он понимал бога. Если тот хотел сохранить их семейную фирму, ему надо было подумать о весьма изощренном интерьере будущего директора. Когда он был готов, лицо он мог, в сущности, дать любое, лучше помилее, но главное—побыстрее. И дозревать Сяносу пришлось кое-как. В день совершеннолетия он принял на себя руководство заводом. Идея эта принадлежала матери, по мнению которой предприятие уже дышало на ладан. Так пусть же и он приложит руку к их разорению. Наравне с отцом на том свете и с нею самой, неведомо на каком свете живущей. До сих пор Сянос ни во что не вмешивался. Был под опекой. Опеке не доверял, но и себе тоже. Чужая глупость не умещалась в его голове. Он выговаривал себе, что упрощает дело, что плохо смотрел, что так быть не

может. Подозревал, что ощущения каким-то образом подводят его. Непохоже, чтобы моя семья отличалась таким идиотизмом, остерегал он сам себя. Он ошибался—понял это, когда подрос.

Четыре поколения Сяносов владели в Варшаве заводом игрушек. Самым знаменитым и самым большим в Польше. Гигантский игрушечный магазин на Театральной площади. Помимо еще одиннадцати в провинциальных городах. Когда молодой Сянос стал председателем правления, директор, отвечавший за сбыт, сострил, что завод игрушек спасет ребенок. Сянос, казалось, разделял это мнение. Истолковав его, однако, по-иному. Он женился. Мечтал о потомстве. Сам он уже так давно готовился к своей серьезной роли, что позабыл, чем забавляются в детстве. Ему хотелось приглядеться к этому по возможности поближе. Для Метки он был хорошей партией. Ее отец, высокопоставленный чиновник в министерстве просвещения, торопливо шел к пенсии. Больной, желчный, скрытый—правда, не очень искусно!—эндек. Ничто не могло спасти его от отправки на отдых. А значит, нечего было тянуть, когда Сянос сделал предложение. У Метки наверняка времени впереди оставалось немало. У отца не оставалось вовсе. Венчал их кардинал. Департаменту по делам вероисповеданий устроить это для директора завода было делом пустячным. Министерские автомобили, швейцары, множество поблажек, которых они добились через министерство, и торжество приобрело блеск. Хотя завтрашний день мог оказаться совсем серым. И старик, обычно такой невозмутимый, плакал, растроганный свадьбой дочери. Пригодилось и уважение к своей должности, к чему не без труда удалось ему приучить людей. Теперь он передавал его в другие руки, что куда как больше, чем отдать Метку, вмиг терял их обоих, выпестованных всем сердцем, так заботливо. Сянос обнял его, гордый женой, довольный, что и свадьба вышла великолепная. Это-то ему и нужно было, чтобы подняться над собственной семьей. Он хотел порвать с ней, отодвинуть от себя, занять сердце кем-нибудь еще. Он давно пришел к мысли, что нет иного способа развязаться со своей семьей, как только найти другую. Он и завел ее. Теперь Сянос обрел покой. Свои не могли часто посещать его. Ему нетрудно было выставлять их вон. Обирать себя он не давал. Благодаря жене дом его стал для них почти чужим. Он смеялся. «Женитьба—отличная идея»,—повторял без конца. Ко всему прочему Метка была так красива! Ее тоже радовало, что у нее есть дом. И может, дом этот, эта радость, что он их, притупили их бдительность. Если бы случай оторвал их от него навсегда, они стали бы друг для друга чем-то большим, не исключено даже, что всем. Вдобавок Сянос в те же самые дни, когда он связал свою судьбу с Меткой, вступил и еще в один союз. С заводом. Самое плохое, что это совпало по времени. Он готов был поклясться, что днем на заводе думал о Метке, правда, ночью он чаще думал о заводе.

Не потому, что завод был ему ближе, но потому, что с Меткой, полагал он, все улажено, а с заводом — нет.

А между тем и с Меткой, и с заводом дело обстояло одинаково. Он должен был их обоих сохранить, подкрепить собой, развивать. Только вот заводу, это было видно невооруженным глазом, срочно требовалась мужская рука. Метка могла подождать. Сянос порой отдавал себе отчет в том, что голова его занята не ею, а какой прок Метке от его туловища с головой, вроде бы отсеченной! Он возвращался пораньше. Но все, что у него было сказать, он выговаривал на заводе. Он добился, что его полюбили, столь же быстро дал возможность оценить себя, а потому не искал дома ни похвал, ни восторгов. И в этом отношении завода ему хватало. Именно с помощью постепенных усовершенствований он сумел укрепить его. Он переменял в фирме все, но ничего не делал одним махом. Никто в подобном случае не решился бы уволить меньше людей. Часть прежнего персонала осталась и при новом руководстве просто благодаря своему возрасту. Сянос мирился с этим, но в душе рассчитывал, что они скоро перемрут. Некоторым даже удалось оправдать его расчеты; от их семей он узнавал, как сильно страдали они перед смертью оттого, что уходят, когда завод начинает вставать на ноги. Один, уже занеся ногу на порог того света, извинялся перед Сяносом от своего имени и от имени всей старой гвардии за то, что в такой момент они покидают его. Сянос выслушивал подобные слова со всей серьезностью. Он многое сделал бы, чтобы ускорить выздоровление фирмы, но из средств, которые могли этому способствовать, он исключал те, что ущемляют интересы людей старых. На места старых он брал самых молодых, которых только можно было найти в Варшаве. И не из-за каких-нибудь предрассудков. Молодые обладали прежде всего тем достоинством, что их можно было заменить, если они не выказывали иных достоинств. Но в этом наборе, который ни в малейшей степени не был выбором, Сяносу сопутствовало счастье. Когда образовывалось свободное место, он легко соглашался, довольствуясь простой рекомендацией, ибо полагал, что одинаково некрасиво было и выбрасывать вон старых, и не предоставлять шансы молодым. Оказалось, что во всем этом судьба держала в мыслях прежде всего его собственный шанс. Фирма дедов и внуков, в которой не осталось ни одного человека под сорок, быстро шла в гору. Наверняка это не было результатом столь удачно подобранного коллектива, но только в подобных обстоятельствах и могла сложиться та особая атмосфера, которая воцарилась в фирме. Канули в прошлое всякая грубость, а с нею вместе и известный тип тупой и настырной амбициозности, свойственной возрасту, для которого солидный заработок и власть превыше всего.

Костопольский симпатизировал Сяносу. Ему по душе были его

разумный размах в мыслях, его счастье, которого он добивался, относительно немного отбирая у других. С какими же людьми, совсем на Сяноса не похожими, сталкивался Костопольский в жизни. Если самому ему хотелось чем-нибудь завладеть, с какой силой приходилось давить. А какую атаку некогда предприняли против него! Его даже вынудили расстаться с политикой. Где деньги, где должность, там сразу же и хищничество. А тут вдруг вовсе не такое уж пустячное дело ведется, как в сказке.

— Столько о вас разговоров.— Лицо Сяноса приняло озабоченное выражение, хотя услышанные им слова Костопольского согревали его сердце.— А никто не знает, в чем ваш секрет. Ваша человечность в фирме—что это анахронизм или музыка будущего?

Сяноса подобные вопросы ставили в тупик.

— То вы мне напоминаете о Диккенсе, а то об Уэллсе,— добавил Костопольский.

Метка растроганно воскликнула:

— Ну что Янеку на это отвечать!

И еще раз взглянула на него своими сказочными глазами. Конечно же, он был таким милым. Как ребенок! И она чувствовала, что при нем, как при ребенке, нельзя на кое-какие темы говорить. А она так любила порассуждать о проблемах пола. Янека она стеснялась. Куда больше, чем, к примеру, Костопольского. А ведь он не волновал ее. Она перевела взгляд на Костопольского. Ничегошеньки в нем нет!—утвердилась она в своем мнении.

Так что же так ломает в ней всякое сопротивление? Его зрелость?

Он наклонился к Сяносу и зашептал:

— Вы достаточно думаете о будущем?

Как это? Только о нем и думаю! Но он не так понял. Костопольский пояснил свою мысль.

— Вы имеете в виду завод, каким он станет когда-нибудь. Вы его развиваете. Но жизнь не всегда прямая линия. Бывают внезапные, крутые повороты.

Голос его повис в тишине. Слова Костопольского не произвели на Сяноса должного впечатления.

— Держимся,—Сянос искал, но так и не нашел слова поскромнее,—прима!—проговорил он и опустил глаза.

— Знаю, знаю.—Костопольский похвалил его.—Скоро вы станете миллионером. На ваш комнатный бильярд натыкаешься на каждом шагу. Фантастическая идея!

Его собственная! Сяносу опять пришлось покраснеть. Несколько лет назад он купил патент. Но чтобы расставить бильярд повсюду как собственность фабрики—на такую мысль он напал не сразу. В каждом кафе, клубе, пансионе сумел найти уголок для бильярда. Небольшой. Не более двух квадратных метров. Перед

столом счетчик для двадцатигрошовых монет. Плата за четверть часа игры, которой хозяин делился с заводом. А на нем из-за этого так много новых людей. Двадцать пять одних только «летучих голландцев», как называли агентов, механиков, сборщиков денег. Наконец-то игрушечный завод мог отыграться. Не то время Костопольский выбрал, чтобы пугать Сяноса.

А ему так хотелось выразить им свою симпатию! Искреннюю. А по отношению к Метке—даже и с походом. Но что же такое хороший совет без столь же хороших аргументов. Были они у него? Можно ли ему воспользоваться ими? Костопольский вздохнул. Не должен он. Почему они не хотят верить на слово, что дела плохи. Сам он—в этом, кстати, Костопольский признался Метке—уезжает. Порой он даже обвинял себя в том, что, говоря точнее, бежит. Моральное право было на его стороне. Так ли уж это верно? Прошло целых восемь лет, как он перестал быть министром. То самое время, когда он из кожи лез вон, чтобы стать премьером! Затем, пересчитав все ступеньки карьеры, соскользнул вниз. Сегодня должность в небольшом частном банке. Он—Хирам!—бесспорный председатель самых крупных хозяйственных институтов. Где он очутился. За что? За пессимизм. За бельмо, которое закрывало от него силы страны. За все свое беспокойство, из-за которого он не верил, что сами угонимся за временем. От его памятных записок отворачивались с неприязнью. Печататься он не пытался, предчувствуя, что наверняка зарежут. И все реже говорил о своих опасениях. Не ровен час, попадешь еще в дом для душевнобольных. Он взрастил в себе какую-то хворь, беспокойство, страсть к спешке, манию, что нависла какая-то угроза. Если страна как целое могла бы страдать неврастенией, он был бы ее выразителем. Так говорили о нем настроенные к нему благожелательно. Нынешний премьер определил это иначе: «Трус, вот что, достаточно одного слова—трус. Баста. Точка. Конец!» Костопольский исследовал все, что касалось его положения. Путь передо мной открыт—пришел он к выводу.

В мыслях он чаще всего уезжал в Аргентину. Туда и искры из Европы не долетят. Континенты разделяет огромный вал воды. Оказаться за ним! Костопольский не думал, что будет потом. Увильнуть—вот единственное, чего он страстно хотел. Он еще раз обвел взглядом лицо Метки, затем Сяноса. Ему так хотелось дать им хороший совет. Они никак не могли его понять! Даже если в известной мере они и последуют за ним, то не потому, что он их убедил, а из суеверия или на всякий случай. Он уже чувствовал, что улыбка, которая то и дело пробегает по толстым губам Сяноса, вызвана тем, что у него такое серьезное выражение лица. Он не хотел менять его. Им завладел страх, непереносимые жизненные трудности, с которыми он столкнулся, подточили его спокойствие. Его бросало в дрожь от ужаса, что вдруг что-то

случится и он не успеет. Неужели же он, который все предвидел, он, который предостерегал Сяносов, позволит в последний момент застать себя врасплох?

— Пока хорошая погода! — прошептал он. — Вы держитесь великолепно. Дай вам бог подольше так. — Вдруг он несколько раз топнул ногой, но ковер приглушил звук. — Но почва, почва, — зашипел он. — Вы отдаете себе отчет, на какой почве!

Сянос веселился, но сумел скрыть это. Костопольский скорее раздражил его, чем напугал. Агенты, которые объезжали приграничные области, случалось, возвращались с такими же глупостями.

— Война? — спросил он.

Толпы, приманенные билльярдами Сяноса, оставляют кии, чтобы освободить руки для винтовок. Такое когда-нибудь должно наступить, как смерть. Но Сянос никак не мог себе представить, что и то и другое может коснуться его самого. Монеты в двадцать грошей, круглые, словно кровавые шарики, серебряной рекой отовсюду стекались в его конторы. Наверняка воды в этих реках со временем поубавится, может, они и пересохнут, но ведь не теперь же. Мяса, цвета, сил должно набрать его дело, еще не растаяли все долги, счета в банках не обросли жирком. Успех пока лишь латал старые дыры, через месяц-другой будет пройден рубеж, когда Сянос сможет выровнять положение и начнет подниматься вверх на чистых прибылях. Разве он все так хорошо отладил затем, чтобы бросать дело? Это, казалось Сяносу, мало соотносилось с действительностью. Камень катится под гору, чтобы вдруг остановиться. Как?

Костопольский, по-видимому, тоже исключал подобную возможность.

— Война! — Он чуть вытянул губы, тихо дунул и, как мог категоричнее, покачал головой. Нет! Война, нет! Но и это его вовсе не радовало. Ибо, говоря так, он отнюдь не имел в виду, что будет мир. Он знал великое множество вариантов. Отбросил самый кровавый. Но и остальные розовыми не назовешь.

— Здесь что-то произойдет. — Костопольский огляделся по сторонам. — Давление в мире растет, вот-вот оно достигнет такого уровня, что нынешний порядок вещей лопнет. Все решат гигантские мобилизации и непосредственно после них мирная конференция. Нынешние достижения статистики, существование различных методов интегрального исчисления позволят людям тотчас же приступить к подведению баланса. Поля сражений — это ведь не единственно возможные счета.

Сянос спросил:

— И вы полагаете, что мы не смогли бы подсчитать как надо?

Костопольский проглотил слюну. Прикрыл глаза. Гражданское мужество, которое он сумел воспитать в себе, обошлось ему очень дорого. И он наслаждался вкусом его плодов.

— Сегодня нет.— Слова эти он произнес очень выразительно.

Значит, завтра — да! Сянос облегченно вздохнул. Всякую вещь он всегда трактовал так, чтобы это выходило ему на пользу. Он не любил разговоров о духах, как не любил и пессимистов. В конце концов, не было случая, чтобы мир не справился с каким-нибудь несчастьем. Человек, если он очень хочет, тоже справится.

— Сегодня — вполне определенно нет.— Костопольский смело не оставлял настоящему никаких шансов, ибо выхода не видел.— Труднее всего как раз помнить, что мы живем сегодня.

Он глубоко вздохнул. Сам начал. Значит, должен и кончить!

— А между тем все то, о чем я говорил, может случиться вот-вот. Неожиданный наплыв каких-нибудь новых государств, новых границ либо резкий возврат к старым. Эти перемены приведут к еще более серьезным. Нации, культура, политика отойдут на второй план. Явится новый Христос. На сей раз ради решения не нравственных проблем, а экономических. И двинется на все густо населенные континенты со своими проблемами. Христом этим не будет никто из тех, кого вы знаете. Когда есть сила, необходимо лишь вдохновение. И опять окажется верной мысль, что богатым трудней попасть в новый рай, чем верблюду пройти в игольное ушко. Дай бог, чтобы мы сами передали в общие руки то, что у нас есть. Надо при этом помнить, что время, в которое мы живем, — это не время уговоров. Возможно, придется поддаться принуждению. Вопреки желанию. Вопреки выгоде и убеждениям. Я решил быть начку.

Сянос хорошо умел считать собственные деньги, но, когда речь заходила о великих проблемах, эгоизм его испарялся. Он не раз думал, что у учителя, который бы принес миру экономическое спасение, он стал бы первым учеником. Так вот он какой, Костопольский! — вздохнул Сянос. Он его уважал. И потому встревожился.

— Действительно, готовиться надо, но как-то иначе! — наставлял Сянос мягким тоном, стыдясь того, что мысль, которую он намеревался высказать, обличит в нем человека благородного. — Надо учиться ожидать того, что принесет с собой новая эпоха, запасшись доброй волей и сочувствием к людям.

Костопольский отер лоб. Пятьдесят лет не пустяк, напомнил он себе. Тут уж о мире знаешь кое-что другое. Сянос щенок!

— Ах так! Запасшись доброй волей! — Повторил он то ли с сожалением, то ли с иронией, трудно это было понять, да он и сам не знал. — Безопасности это не обеспечит. Вы уж мне поверьте. Я-то в обстановке разбираюсь. Может, несколько нас таких. Может, я один.

А Сяносу рисовалась в воображении картина, рожденная метафорой Костопольского. Новое евангелие! Экономический спаситель! Первого заботило добро духовное, второго —

материальное. И голова у него шла кругом от таких мыслей. А кем будет Костопольский? Одним из фарисеев. Книжников, которые не захотели приблизиться. Опасаясь за свой авторитет. Боясь, что мудрость их подешевеет. Все знания обесценятся. Отречься от урожая всей жизни? Наверняка легче отказаться от обычного богатства, смиренно опустил голову Сянос, нежели от плодов размышлений.

Костопольский тоже наклонился. Зашептал:

— Вам надо застраховаться. Вам и вашей жене.— Он вытянул руки, нащупал плечо Сяноса, потом ладонь Метки. Так и держал их обоих. Затем вдруг отпустил. Беспокойно похлопал себя по жилету. Стал судорожно рыться в карманах. Он, видно, все перепутал, так как был во фраке. Потерял? Этого он не любил. Ему сделалось жарко. Просунул два пальца под воротник, он резал ему шею. И удивил тем Метку. Медальон он нам покажет или что? Тут он вспомнил, что переложил это в бумажник.

— Запас доброй воли. Да, да,—бормотал он, копаясь в бумажнике.— Но прежде всего: запас,—он показал большую, с часы, только потоньше, рыжую монету,—золота!

Он не обратил внимания на то, что Метке хотелось рассмотреть ее. Сунул монету в карман брюк. Вскочил. Он хоть и подумал о массе иностранной валюты, которую собрал, но мысль эта его не порадовала. Костопольского поразило, как тяжело бывает человеку, который не видит для себя иного выхода, кроме как в любви.

Тужицкий улыбался во весь свой огромный рот, выставляя напоказ клавиатуру ровненьких зубов. Еще разгоряченный, не остывший, опасаясь, что запах духов Товитки—а он весь им был пропитан—выдаст правду, а цвет губ, которым он был обязан поцелуям, губной помаде и попыткам стереть ее, доскажет остальное, Тужицкий старался всюю, надеясь, что люди не смогут оторвать взоров от этой белизны. Возбуждение все не проходило, его удивляло, что он никак не может прийти в себя, злился, словно на кушанье, которое, как ни тронешь, все обжигает, не видел облегчения, мысленно уносясь в ближайшее будущее. Ведь одно наслаждение подумать о том, что завтра, а вернее, послезавтра, в начале седьмого, он окажется, тут нет никаких сомнений, в постели с Товиткой; но Тужицкий был зол. Ему неслыханно везло с женщинами, но и после первого раза со всеми без исключения, как он говорил, дело сразу же приобретало для него дурной оборот!

— Не понимаю,—поражался он,—других женщины почему-то так не держат. Как об избавлении мечтаешь о том, чтобы уйти, и,—он разводил руками,—нельзя!

— Долго?—спрашивал его кто-нибудь и сам же подсказывал:—Месяц, два?

— Ну!—воскличал Тужицкий таким тоном, будто говорил, чего вы еще хотите.—Это муки-мученические,—повторял он.—Я на другой день готов улизнуть, но, увы, в течение шестидесяти дней отрабатываю то, что натворил за один.

— И всегда так?—удивилась Кристина, которой он плакался на свою судьбу.

— Нет! Иногда мне удается порвать раньше.—Но с Товиткой и не помечтаешь о сокращенном сроке.

Он чувствовал, что Болдажевская относится к тому типу женщин, которые с ребенком на руках приходят к костелу, когда бывший их любовник венчается. А семейство князей Альбрехтов через несколько дней возвращается в Варшаву. Он побледнел. И впрямь беда может случиться!

Бишета Штемлер, которая считала своим святым долгом просвещать юных подружек, знакомя их с важными гостями, позвала хрупкую, стройную, светлоглазую барышню, посадила ее подле Тужицкого.

— Вы знакомы?—спросила она.—Граф Проспер Тужицкий!—Потом пристально взглянула в глаза девушки.—А это,—пояснила она,—моя подруга. Мина Зайончковская.

Он позволил ей с минуту безмолвно разглядывать себя. А сам, словно на приеме у окулиста, водил глазами по сторонам. Наконец мягко посмотрел на Мину, широко улыбнулся, умудрившись тем не менее придать лицу серьезное выражение.

— Вы вместе ходили в школу?—Он поднял глаза к потолку, словно что-то припоминал, сопоставлял какие-то факты, о чем-то раздумывал.

Ему было скучно. Но не затем позвала Бишета Мину. Так можно представлять Тужицкого кому-нибудь, кто о нем что-то знает. Но не Зайончковой, готовой отнестись к нему лишь как к интересному мужчине. Красавец! Да. Но это лишь одно из его достоинств. Пойдем дальше.

— Граф Тужицкий,—сказала она,—вы принадлежите к одной из самых родовитых семей. Вы кавалер Мальтийского ордена. Расскажите что-нибудь об этом. Вы так чудесно это делаете.

Тужицкий молчал. Не от волнения. Каждый раз, когда ему доводилось предстать перед какой-нибудь хорошенькой девушкой во всем великолепии своей семейной славы, он непременно испытывал страх. Вызовешь ее восторг и попадешься в сети. Опять нависнет опасность. Вляпаешься так, что будешь обязан жениться. Вот он, весь ужас жизни.

— Пожалуйста! Может, о том кастеляне, основателе храма в Новолеске.

Разве утаишь? Нужно рассказывать. Есть о ком. Время, человеческая глупость, зависть, пытающаяся навести тень на величие Тужицких. Злой дух современности, стремящийся всех остричь под одну гребенку, подтачивает деяния столетий. Клей-

мать мало. Всей своей жизнью Тужицкий противился этому. Из первых денег заплатил за право быть кавалером Мальтийского ордена. Переехал из деревни в Варшаву. Нанял в старом дворце шестикомнатную квартиру под семейный музей. Перевез из деревни старые ценности. Рукописи, портреты, королевские подарки. Немного этого было! И он принялся рассылать письма. Терзал родственников, торопил с поисками, втягивал в дело антикваров. Скоро понял: самому не справиться. Секретарь? Нет, он не банкир или высокопоставленный чиновник. Держать в доме писаря может лишь человек с мизерными, современными потребностями. Ему, Тужицкому, будут писать историю!

Кто? Только не через знакомых! Он мучил людей лишь тогда, когда что-то уже сделал, может, оттого до поры до времени умел быть таким скрытным. В данном случае эта его черта помогла решить проблему вполне удачно. С помощью университета. Профессор рекомендовал ему своего молодого ассистента, который за двести злотых в месяц согласился составить хронику семьи Тужицких. Спустя год, ушедший на сбор исходных материалов, выяснилось, что можно составить том в тысячу страниц. Большую их часть молодой ученый предназначал для воссоздания исторического фона. Но дело до этого еще не дошло, и пока Тужицкий довольствовался крохами. Отсюда и скрашенные его исторической эрудицией семейные рассказы. Он обожал эти подробности. Над прошлым своего рода он размышлял, знакомясь с его хроникой, и впадал во все большую растерянность. Величие и упадок! Величием было происхождение, упадком — мезальянсы. Они подкарауливали на каждом шагу. Этот род, с горечью разглядывал Тужицкий генеалогическое дерево, неудачно женился. Чуть ли не со слезами на глазах он кричал летописцу:

— Даже в раю, где у него была только Ева, Адам, будь он Тужицким, наверняка женился бы в конце концов на какой-нибудь обезьяне.

Потом склонялся над таблицами. Размышлял над тем, что принесло ему время по материнской линии.

— Есть! — говорил он о бабках. — Есть, — повторял он и, нерешительно потирая друг о друга пальцы, выражал мнение, что бабки сказали надвое. — Есть! — убеждался он. — Как тут скажешь, что их нет! — Но какие неинтересные.

Он считал моменты взлетов, увековеченные на древе. Немного. И его охватывала злость. Смотрите. На боковых ветвях куча девиц Тужицких, которые так и не соскочили с них замуж. Хо-хо-хо! — думал он. С кем бы они только не породнили его! И проклинал их всех — много их было в прошлом — скопом. Глупые привереды! А все-таки это был род!

— Полностью фамилия моя звучит так, — начал он свою лекцию. — Шпитальник Падалица Тужицкий. Самая старая ее часть — в середине. Падалица — это и герб, и родовой девиз, и

первая наша фамилия. Предания по-разному объясняют этимологию этого слова. Пекосинский, Быстронь¹, а также изыскания, которые сейчас известно с Варшавским университетом ведутся под моим руководством, говорят в пользу так называемого пястовского тезиса. Ибо наука, касаясь истоков нашего рода, склоняется к трем вариантам объяснения. Во-первых, нас выводят от Мешко, товарища Болеслава Храброго, который будто бы на пузе прополз под какими-то оборонительными воротами во время похода на Киев. С тех пор и стали называть его Падальцем. Прозвище это якобы унаследовала от него единственная его дочь. А от нее, дескать, и ее потомки. Вздор!

Он взглянул на барышень. Обе слушали его внимательно. Он говорил серьезно. Воскрешал ужасно давние события. А при этом оставался частичкой одного из них. Они ни в малейшей мере не сумели разделить его возмущения, которое заставило его содрогнуться при воспоминании об ошибочной гипотезе. Их ошеломил сам факт, что история вообще знается с Тужицким. Он продолжал объяснять:

— Несецкий², а поверив ему, и Золотая Книга Шляхты повторяют имя того же самого Мешко, однако оговариваются, что сам он носит фамилию Падалица, а не его дочь. А отсюда выводят, что, будучи бедного рода, он собирал на полях, лежащих под паром, хлебные колосья, выросшие из зерен, осыпавшихся в предыдущий год. Такие кустики самосева и до сих пор называют в деревнях падалицей. Это и сбilo с толку историков. А ведь Длугош³, делая разного рода предположения относительно моего предка, одно утверждает со всей определенностью — что тот при жизни сколотил значительное состояние. На этих-то колосках?

Он рассмеялся, иронично и высокомерно.

— Падалица! — Мысли его обратились к прошлому. Потому вдруг четким голосом, как над колодцем, когда вслушиваются, далеко ли дно, повторил еще раз это слово. — Вам это ни о чем не говорит? Вы его впервые слышите? А есть ведь и третье значение. — Он снисходительно предупредил, что и с ним познакомит. — Пожалуйста!

Сколько бы он ни повторял его, каждый раз сердце его сжималось.

— Падалица? Что-то, что падает, само сеется, отсюда внебрачный ребенок, бастард. — Радость, которую он испытывал в этот миг,

¹ Францишек Ксаверий Пекосинский (1844—1906) — историк и историограф, занимавшийся проблемами происхождения и развития рыцарства в Польше; Ян Быстронь (1860—1902) — языковед и филолог.

² Каспер Несецкий (1682—1744) — иезуит, занимавшийся генеалогией польских родов, автор четырехтомного Гербовника «Польская корона» (1728—1743).

³ Ян Длугош (1415—1480) — историк и дипломат, автор первой «Истории Польши» («Historia Polonica»), где дал описание польских гербов.

омрачала ему близость этого последнего произнесенного им слова к слову «выродок». Поэтому он торопился.— Чей? От кого? От Болеслава Храброго!

И он замахал обеими руками, словно стараясь еще больше напугать историков-малOVERов.

— Можно ли что-нибудь иное вытянуть из многочисленных намеков Длугоша! Только то, что рядом с именем моего предка, когда говорится о том, что Болеслав посвящал его в рыцари, стоит слово: «И признал». Когда он женился на дочери кастеляна Яна из Бжезя, посланец Болеслава приветствовал в ней род, а в нем,—Тужицкий направил по пальцу на каждую из барышень и сдавленным голосом выпалил: —...кровь!

И, искренне возмущаясь, что правда должна сражаться за себя, вместо того чтобы самой бросаться всем в глаза:

— Это ничего не значит?—уничтожал он скептиков горькой иронией.—Бросаются такими словами на ветер?—И, ослабившись в ядовитой усмешке, ударил малOVERов с фланга:—А состояние откуда? Эта огромная фортуна. И опять Длугош ясно, хотя и не прямо, говорит: «как княжеская».

Он вытянул губы трубочкой. Что языком трепать. Наука лучше знает. А сейчас в этом нет ни малейшего сомнения.

— Подумай, он по прямой линии потомок Пястов!—подчеркнуто удивилась Штемлер, опасаясь, что в своем не очень точном доказательстве молодой граф недостаточно ярко обрисовал для Мины Зайончовской эту самую главную вещь.

Барышня, чтобы показать, что понимает, в чем суть дела, похвалилась, но неудачно:

— Я знала человека, чем-то похожего на вас. По прямой линии правнука Монюшко.

Тужицкий вспыхнул. Впрочем, он больше злился на себя за свое возмущение, чем на барышню.

— В таком случае ко мне это не имеет никакого отношения.—И добавила наставительно, не спеша, выразительно, чтобы она запомнила раз и навсегда:—С геральдической точки зрения происхождение из семьи художников или ученых не стоит и гроша. Великий воин, великий святой, королевская наложница, если ее имя внесено в анналы истории,—вот что дает истоки роду. Порой, случается, и министр, но, разумеется, не в республике.

Он развел руками:

— При нынешнем строе вообще нет возможности основать род!

Он раздражался, когда ему приходилось разъяснять саму теорию. Если только не на своем примере. Сменив, как переключных, два-три рода, он снова возвратился к своему. Торопился опять вызвать удивление обеих барышень. Двинулся в путь с целым караваном предков. Шпитальник—откуда? Канцлер Пада-

лица взял в жены последнюю представительницу ассимилировавшейся в Польше ветви французских маркграфов de l'Hospital¹. А Тужицкий? В отличие от самых старых Падалиц их младшие ветви писались «Туже-Тужицкие», так это вошло в обычай, что теперь стало родовой фамилией. Как вкратце объяснить? Нелегко отыскать род, похожий на его. Слой за слоем — исторические личности. Откроем учебник истории на любой странице. Нет четкой границы между проблемами его рода и страны. Давайте переберем по порядку фамилии вождей, государственных мужей, придворных — Тужицкий происходит ото всех них. Время раскинулось тут, словно луг, и нет на нем такого прекрасного цветка, которого не коснулся бы гений Падалиц, связывая каждый цветок с собою своими бабками.

До самых разделов! Трагическая дата! В семье начинает происходить что-то неладное. Она не придерживается больше давних правил. Жалкое это положение тянется и по сей день. Перед своим генеалогическим древом Тужицкий не смеет поднять глаз на маму. Ах, чего только не натворили эти последние сто пятьдесят лет. Даже фамилии ужасные. Тужицкий не раз вел разговор об этих болячках со своими двоюродными братьями. С первых же дней новой Речи Посполитой и они испытывают прилив сил, мечтая вместе с нею возродить свой род. Но один за другим подводят. Уже трое прескверно женились. Идут проторенной дорожкой. Рассказами о величии рода кружат голову барышням. И влипают. Тужицкий пока уцелел. Но ему страшновато. Ибо только он один.

— Основатель коллегиаты² в Новолеске, — опять начал он доверчиво, ибо его вновь затянули в свои сети времена, давно ушедшие. — Бог ты мой! Кастелян! Вы просите рассказать его историю. Осталась еще подробность, мне не известная, — весело обратился он к Бишетке. Потом назвал какую-то дату. Мазками обрисовал исторический фон. И вот костел готов. Вскоре умирает брат кастеляна. Воля божья! Кастелян заказывает мессу. Но во время службы глубокая печаль наполняет его душу. И он кричит: Тут Тужицкий привстал с диванчика и низким голосом крикнул: «Всем выходить! Я воздвиг этот храм господу богу — я! Теперь прошу оставить нас одних!»

Горящими глазами посмотрел он на обеих барышень. Волнение, в которое четверть часа назад привели его поцелуи Товитки, не унималось. Был момент, когда ее огромный рот втянул в себя его губы. Он и сейчас чувствовал этот круг от носа до подбородка, круг, краями своими прикасавшийся к нему так нежно, но врезавшийся ему в память сильнее всех иных поцелуев. Надо было бы поворачивать назад! Сегодня еще нет ничего легче

¹ Больница; по-польски — шпиталь.

² Костел, при котором находится собрание каноников.

отречься от нее. Только вот уже невозможно отказаться от завтрашнего свидания! Обе барышни ждали, что он еще скажет. Он возмущился. Чего они так смотрят?

Влетел Мотыч. С бутылкой, под мышкой поднос. Бросил его на столик, на поднос бутылку. Но во что наливать? Сделал вид, что задумался, наконец как бы вспомнил. В каждом из четырех карманов жилета по рюмке. С этой шуткой он обходил все комнаты. Прежде чем налить, обратился к ним:

— Здесь за серьезные диспуты. Смеха вашего не слышно! — Он выпрямился. Коснулся плечом Бишетки, поднял вверх палец. Действительно, за дверями фыркнула Завиша, все дружно ее поддержали. — Ну, моя острота дошла! — Мотыч хлопнул в ладоши. — Наконец-то! Кто-то ей объяснил. Надо назад. Расскажу еще одну.

— Нет, нет, нет, — бросилась протестовать Бишетка. Взгляд Зайончковской после того, как Мотыч направил его на двери, так и прилип к ним.

— У них, может, веселей. Совсем рядом! — Ей стало тоскливо. Пьют, смеются. Вот бы тоже встать и пойти туда, откуда пришел Мотыч. Но удобно ли? Она откинулась назад. За дверями все стихло. Зато в библиотеке сначала засмеялся кто-то один, потом раздался настоящий взрыв хохота. И уже не оглядываясь больше ни на что, она побежала. На полпути испугалась, что бежит не в ту сторону, где смех. Он доносился из другого угла. Повернула обратно. Но тут снова хохот поманил ее из гостиной. И она заметалась. Как только Мина приближалась к группе людей, воцарялась тишина, а в противоположной стороне веселье било ключом. Она никак не поспевала! Измученная, присела, словно в лесу, сил блуждать больше не было. Кто-то обхватил ее рукой. Она была готова смеяться, но никак не могла найти повода, теперь могла позволить себе. Только заставила себя посмотреть, кто это сел подле нее. Совсем-совсем знакомое лицо, но чье?

— Вы думаете, я пьяна?

До этого момента нет, но у нее так заплетался язык, что Говорек, весело глядя на нее, кивнул головой.

— Немножко да, — шепнул он.

Не первый раз в жизни! И все же, когда она уже знает об этом, делается беспомощной. Не может вспомнить, что тогда с ней творится. Первый же проблеск сознания, подсказывавшего, в каком она состоянии, мгновенно возвращал ей серьезность, но тут же и отбирал всю ее волю. Она позволила приласкать себя. Ее ничуть не удивило, что к лицу ее прижимается другое, теплое, как компресс. Что это? На губах — губы, совершенно чужие, на коленях рука, еще одна на груди. Зачем? И также непонятно, почему все это враз как бы кто-то смахнул; тут же Говорек заговорил, но почему? Ибо какие-то еще две osoby с писком

пронесли по комнате. Исчезли! И опять чьи-то теплые губы и руки, доставляющие удовольствие — приятное, как бывает, когда потягиваешься, когда замираешь, как от страха на качелях. Он перестал. Незнакомые люди вокруг. Смеются прямо в уши Мины. Что ей с того! Прямо в пищевод накатывает волна воздуха. Носятся пузырьки, наполненные сначала шумом. И Мина немеет. Ах, только бы не начал целовать в губы. Страх прибавляет сил. Она вырывается.

— Что за парочка! — кричит Кристина.

И не дает Говореку кинуться за ней. Она видит Мотыча. Ей хочется что-то сказать ему. Все трое друг за дружкой несутся в библиотеку. Тужицкий и Бишетка остаются одни. Она считала делом чести знать, что происходит в аристократических кругах. Заговорила о его хлопотах.

— Они вот-вот возвращаются! — огрызнулся Тужицкий.

Но, в сущности, он не чувствовал себя задетым. Дочка князя Альбрехта была для него весьма соблазнительной партией. Как знать, не самой ли вообще блестящей. Но и дело нелегкое. Тужицкий опасался просить кого-нибудь о посредничестве. Отчасти не осмеливался, но главным образом не к кому было обратиться. Никого на уровне князей Бялолуских. Ни тетки, ни дяди подходящих. Чтобы и кровей хороших, и со связями. Особенно чтобы знали с Бялолускими. А тут никого похожего и никаких связей.

— И за кого только эти идиотки умудрились выйти замуж! — хватался он за голову, имея в виду сестер своего отца. — А семья матери! — Он качал головой и опускал глаза. — Дно, — вздыхал Тужицкий. — Дно, дно!

Это было его болью. Так что никто не предпринял еще никаких официальных шагов, но о намерениях Тужицкого начали поговаривать. Лишь бы слухи исходили не от него, а так они ему были на руку. Его часто видели с Бялолускими, нередко даже один на один с барышней. Уже строятся предположения. И в конце концов это должно дойти до ушей князя и княгини. Если они будут против, наверняка, не желая его, найдут способ дать знать. Если его родня не способна, пусть за дело берется молва.

Что ж, красота, положение, отличная голова. А в ней все вверх дном! Тужицкий знал, что о нем так говорят. Титул старый, но в кругах истинной аристократии о нем уже позабывают. Да разве и сам князь Альбрехт не взглянул на него впервые, словно на пришельца с того света. «Так они же вымерли!» — вот было его мнение о Тужицких. И, не мешкая, направился к шкафам с альманахами. Проверил. Тужицкие там были. Стукнул рукой по тому месту, где их обнаружил. «А, есть! — закричал он. — Браво. Очень рад», — и пожал Тужицкому руку.

Признал его подлинным. Это далеко от того, чтобы признать зятем.

— Княжна Пела,— улыбнулся Тужицкий, скорее думая о почтенной паре родителей, а не о дочери,— особа, обладающая необыкновенными душевными качествами. Это ангел.

— Но, чтобы нуждаться в нем,— спросила Бишетка,— чувствуете ли вы себя в достаточной степени грешником?

Нет! Зато он обдумал, как вести дом, в котором они будут жить. Чистота, непорочность, пример для других. Стиль этот казался ему весьма традиционным. Впрочем, иной они и не могли бы себе позволить. Тем более сначала. Он набросился на Бишетку.

— Я, как и все мы, принадлежу к паршивой эпохе. К эпохе пустоты, треска и утрат. Утрат здоровья, имущества, времени. Нам нужны дома, которые воспротивились бы всему этому. И может, возвести такой дом— мое предназначение. А особа, о которой я мечтаю,— но тут еще ничего определенного!— как бы создана для этого.

Подле них выросла другая, взбешенная тем, что, заболтавшись, те ничего не замечают вокруг себя.

— Хороши вы!— надула она губы.— Я ведь ищу вас по всем комнатам. Кричу. А он не изволит даже отозваться.— Она словно просила Бишетку полюбоваться Тужицким, тыкая в него пальцем, который едва не касался его лица.— Вы пойдете в кафе «Трио»?

Бишетка рассердилась. Ладно еще, что Товитка подговаривает гостей уходить, но зачем так рано.

— Не огорчайте меня,— пропищала Бишетка,— еще только половина двенадцатого.

Товитка, не обращая внимания на ее просьбу, повторила:

— Ну что, идете?

Он ясно представил себе, как будет отвозить Товитку домой. По дороге они, может, заедут к нему? Но, чтобы забрать ее к себе из кафе «Трио», ее сначала надо там отыскать. И с кем? И рядом с кем? Скажем, столик к столику с кем-нибудь из круга Бялолуских. Молодежь, принадлежавшая к этому кругу, каждый вечер бывала повсюду.

— Кто идет?— Он, словно часовой, не спрашивал, а скорее предостерегал.

Товитка назвала его, себя и осеклась. Догадалась, что такая компания его не устраивает. Сказала:

— Все!

Бишетка обстоятельно обдумала свое положение.

— Я? Не знаю! Я тут как капитан, могу уйти лишь последней.

Надо защищаться, сопротивляться, размышлял Тужицкий. Может, пойти и в худшем случае, то есть если наткнешься там на сплетников, улизнуть! А послезавтра сразу же устроить сцену. Мол, с кем ты так долго разговаривала. Дескать, непристойно танцевала. Хорошо, хорошо. Но таким образом можно испортить себе все послезавтрашнее свидание.

— Они уже уходят!—жалуясь на свою судьбу, Бишетка искала спасения у Кристины Медекши.

Тужицкий раскопал, что они родственники. Такие далекие, что Кристине и в голову не пришло перейти с ним на «ты». Дабы не упустить выгоды от пусть и столь слабых кровных уз между их семьями, Тужицкий навязал ей шутливую, как бы в кавычках, форму обращения:

— Вы, кузина, тоже идете?

Старуха Бялолуская была о ней не лучшего мнения, но в этой ситуации Кристина вполне могла бы, с точки зрения света, послужить ему прикрытием. Дескать, старый князь Медекша поручил ему опекать дочь, вот что скажут. Седьмая вода на киселе. Ну да все же.

— Еще не знаю. Ельский куда-то запропастился.

Она поискала глазами. Чатковский, Скирлинский, Говорек. Куда они все подевались?

Тужицкий облегченно вздохнул.

— Видите, еще рано. Никто не уходит.

— Вот и нет. Костопольский, Дитрих, Черский, Яшча,—Товитка подслушала,—они уже собираются.

— Ну и на здоровье.—Тужицкий терпеть не мог министров вообще.—О! Они отлетают на танцы всегда раньше нас. Молодежь сдержаннее. Она тоже не в состоянии обойтись без ресторации. Но по крайней мере умеет оттянуть время.

Товитка вся бурлила. Она способна создавать самые нелепые сложности людям. Но совершенно не умела войти в положение других. Резко повернулась. Ушла. Тужицкий все понял и прикусил губу.

— Значит, она первая устроит мне скандал. Бог ты мой,—вздохнул он,—и мне же теперь извиняться. Начинается.

— Так что с этим домом?—нервно, Бишетка возвращала Тужицкого к оставленной им теме.—Вы должны построить его нам в пример.

— Ах, дом,—ухватился он за эту мысль, обрадовавшись, но всего только на миг.

Он следил, как по комнатам, расположенным анфиладой, носится Товитка, то и дело к кому-то склоняясь. И каждый тотчас же поднимался, у нее уже два, три, четыре добровольца. Она всех мужчин утянет с приема. Каждому говорит, что должна пойти именно с ним. Как они все уставятся друг на друга. Может, кое-кто и испугается, увидев остальных. Но все—никогда. И он. Стало быть, мог бы от нее отделаться. И жди потом вечера вроде сегодняшнего! Он не мог. Она сильно влекла его к себе. Невыносима сама мысль, что губы, живот, грудь, ноги, к которым он прикасался,—все это через час может стать убежищем для другого. Он знал, как за нею бегают. До сих пор он привередничал. Теперь, от одной мысли, что ее нет, сорвался с

места. Что-то буркнул Бишетке. Он только узнает, идут ли они!

— Ну?—Она стояла у дверей, ведущих в сад.

Он толкнул ее отнюдь не слегка. Хочу ее, простонал он, и с плеч долой! Кто-то заглядывал ему через плечо. Несколько мужчин толпилось вокруг нее. На каменных квадратах пола лежали их тени. Четкие, все стояли рядышком.

— Видишь,—проговорила она дрожащим голосом, который хотел его.

Отчаянное положение! Называет на «ты», все слышат. Опасность, неприятность, бестактность! Покончить со всем поскорее. Порвать можно безболезненно. Из-за того и такая спешка. Какое облегчение будет не иметь с нею ничего общего. При ней его все еще удерживает властный зов—слиться с нею. Иначе не брошишь. Он сжимает Товитке руки.

— Ну вот,—она, вроде бы еще жалуясь, мурлычет, словно кошка.

Прикасается к лицу, поворачивает его в сад. Велит смотреть в небо. В душе его такая сумятица, что он не в состоянии отличить звезд от фонарей. Плетет какие-то глупости. Товитка прижимается спиной к его груди, напирает на него, надвигается. От ее тела его рассудок замутнен. Что она делает!

«Ой-ой-ой-ой,—молит он про себя.—Пусть скорее это пройдет, кончится. И в деревню! Убраться из Варшавы надолго! А Бялолуские? Всем надо пожертвовать, только бы вырваться от нее. Придется пожертвовать Пелой». Такой ценой он избавится от Товитки. Он кладет руку ей на плечо. Гладит нежную щечку, проводит пальцами по губам.словно лавина искорок от тысяч невидимых проводов, приставленных к его коже, обрушивается на него. С этой точки зрения Пела не очень-то напоминает живое тело. И тут вдруг сердце Тужицкого начинает горько щемить, словно кто сжал его в кулаке. Ночь эта кажется ему предсказанием. На каждом шагу жизнь будет предлагать ему двух таких женщин. Одной он пожертвует ради другой, а одновременно той ради этой, и обеими впустую.

Мотыч заперся в уборной, лениво справлял малую нужду, уставившись в вентилятор, ворчливо выгонявший воздух во двор и вставивший оттуда свежий. Голова Мотыча, словно в мыльной пене во время мытья, вся, по уши, была в шуме, тело легкое и свободное, как обычно. Он улыбался, закрывал и открывал глаза, их немного жгло. Щурился, стараясь сосредоточиться. Но что-то перепутал, ничего он тут рассматривать не собирался, ведь вещь, которую он силился разглядеть, была в нем самом: какой-то сюжет, какая-то идея, еще один способ порезвиться, но он никак не отыскивался. Мотыч радовался каждой следующей минуте, будучи убежден, что она несет с собой всеобщий праздник. Кровь стучала по всему телу, подсказывая, что грядет радость. Куда

она его влечет? Почему только его одного. А остальных?

Он надулся от усердия, рассматривая собственное лицо в зеркале. Две струйки вливались в зрачки его глаз. Одна прозрачной ленточкой подрагивала в воздухе между зеркалом и глазами. Другая, шумно потрескивая, опоясывала сзади его голову, от уха до уха. Немыслимо, чтобы ничего этого нельзя было не заметить. Но поразительное дело! Никаких перемен. Мотыч еще пристальнее вглядывался в себя. Он не ошибся. Будничность его лица опечалила его. Должно же это как-нибудь дать о себе знать.

Он вдруг решительно отбросил все, что его мучило. Сунул руку в карман, затем в другой, обшарил все. В боковом, наконец, нашел какие-то бумаги. Не помнил, эти ли; посмотрел. Нашел гранки стихотворения. На завтра! Он же обещал себе после приема заскочить в редакцию «Газеты Польской»! Карандаш? Вот он! Теперь надо просмотреть. Сосредоточившись, Мотыч заставил буквы застыть, но, как только он чуть-чуть забылся, буквы тотчас же закачались, а потом принялись прыгать, словно блохи. Он видел не больше, чем если бы дрожащей рукой навел бинокль на звезды. Бумага, линии, буквы то разлетались в разные стороны, то снова собирались в одно целое. Мотыч понял, что гранки придется оставить в покое. И он снова сунул их в карман.

Стихотворение улетучилось, унеся с собой мысль о редакции, не оставя в памяти ни слова, только какую-то тень беспокойства, какое-то приглушенное эхо угрызений совести, вызванное тем, что Мотыч не выправил гранок. Но как же выбраться отсюда в город, как сойти с облаков. Это еще и удалось бы, если бы ко всему прочему Мотыч не почувствовал себя за океаном, а тут, так далеко, умирает все, что жило, когда ты был трезв. В него вселился новый дух, дух иной поэзии, которая черпала силу в том, что такие безбрежные пространства отделяют его от всего мира. Он одновременно видел и бренность, и очевидность, и притворство всех вещей. «Гармония сфер слышится лишь спяну!» — подумал он. Порывы ее налетали на Мотыча, словно он стоял в осенней аллее, когда ветер поднимает вверх то, что едва успел бросить наземь, как будто у него не хватило сухих листьев для устройства листопада, если бы он не велел им по нескольку раз повторять одно и то же.

Но одновременно радость все больше завладевала Мотычем. Все у Штемлеров казалось ему таким веселым, и каждый отдельный человек, и каждая ситуация созрела для того, чтобы посмеяться над нею, такая она комичная — и оттого, что очень забавная, и оттого также, что банальная. Шутка вообще, не обретшая еще точных очертаний, но очень размашистая, охватывала здесь все, все затягивала в себя, проникала в каждый уголок. Мотыч любовался ею.

Белая, сверкающая стена из кафеля. В зажимах рулон

туалетной бумаги, специально вставленный на сегодняшний вечер, толстый, в руках не поместится. Это рассмешило Мотыча. Такая предусмотрительность. Такой запас. Последний, кто тут сидел, догадался Мотыч, был неврастеником. После одного рывка глянцевая лента свисала чуть ли не до самого пола. Лента словно гранка! Может, из этого удалось бы выкроить шутку. Но ничего определенного Мотычу в голову не приходило. Он отогнул проволоочки, снял валик, выдавил середину. Получился сначала как бы холмик, затем клоунский колпак, потом что-то похожее на длинный манжет. Мотыч засунул в него руку по самый локоть. И ринулся к двери. Мысль показалась ему великолепной. Что-то вроде повязки. Многим уже случалось на весь вечер обессмертить себя одним фокусом. В прихожей с первого же попавшегося пальто он вытянул поясок, завязал под локтем. Не успел справиться с этим, как рядом оказались две помощницы, жаждавшие принять участие в розыгрыше. Они будут сопровождать его, поддерживая, будто инвалида. Гостиная, столовая — резервация пожилых, и они туда не пошли. В библиотеку! Тут первый миг триумфа. Одних разбирает любопытство, другим как-то не по себе от мысли, где взяли реквизит, но в основном это как раз всех и прельщает. Чатковский говорит Бишетке:

— Вот метафора овеществленного мира. Туалетная бумага, а в переносном смысле — повязка.

Говорек не может сдержаться:

— Дайте-ка мне, теперь я!

Товитка, разгоряченная, вмешивается:

— Самому надо было придумать. Тоже мне! — Мотыч кажется ей таким необыкновенным. Говорек хочет отнять, рвет бумагу. Мотыч бьет его по рукам, кричит:

— Портач?

— Парта что? — Говорек острит, делая вид, что не слышит.

Рулон падает, раскручивается.

— Видите, что вы наделали, — горюет о случившемся Товитка, поднимая вместе с Мотычем и Бишеткой бумагу, старается поправить дело, сердито бормочет: — Глупый бык!

На сей раз Говорек действительно не слышит, а Медекша только притворяется. Он не важничает, почти совсем домашний, держится поближе к молодежи, при нем можно выкаблучиваться как хочешь. Впрочем, сейчас он стоит спиной к ним, гладит пальцами корешки книг, рядами, словно частокол, поднимающихся к самому потолку. То и дело вытягивает какую-нибудь. Посмотрит, полистает, ставит на место. Глаза и мысли его блуждают порознь. Ибо, даже когда читает, он не перестает прислушиваться к тому, что творится у него за спиной. Чудаки. Вот теперь этот Мотыч находит на письменном столе Штемлера стекло от часов. Будет монокль. Всем по очереди вставляет его в глаз, смотрит, кому как идет. Наконец собирает по пряди волос

над ушами, делает из них что-то вроде баков, подтягивает отвороты смокинга так, что под шеей белый треугольник воротничка становится совсем крошечным. Строит глазки. Вертит задом. Все вместе—бледная тень денди столетней давности. Чатковский раздобыл где-то винную пробку. Вставил ее, словно лупу, в глаз. Хватает руку Мины с часами. Осматривает их. Это—часовщик. Медекшу эти штучки и не оскорбляют и не забавляют, только будоражат мысли. Что за всем этим?

Откуда такой инфантилизм! И алкоголь, поражается он, тот самый алкоголь, который у нас в стране еще не так давно, как правило, побуждал к скандалам, теперь толкает на забавы. У Медекши крепкая голова. Любой напиток, вино ли, водка ли, обостряет мысль. Просветляет память. Да, конечно, были пляски, танцы в огромных залах. Влюбленность в движение, но никогда такой, он и сам не знает, как ее назвать, влюбленности в незрелость. Несерьезные они. Но и это не то. Князь смотрит на Ельского. Несомненно, головастый. Хо-хо! Или Мотыч. Он читал его стихи, пронизанные глубоким беспокойством. Чатковский—хваткий, знаток политических интриг, силен в философии. Стало быть, не сопляки же. Том, который он в эту минуту бездумно вытащил с полки у себя над головой, выскользнул из рук и плюхнулся на пол. Товитка как раз подносила ко рту маленькую, до краев, рюмку—рука ее дрогнула. Всеобщее ликование. Несколькo человек обступили Медекшу, они заговорщически улыбались и были уверены, что с книжкой он это нарочно.

— Не знаю, как вас и отблагодарить,—перекрикивает всех Говорек.—Я ей говорю: вы разольете. Она: как бы не так и еще чего! Я: ну, вот увидите. Мотыч схватил меня за руку, чтобы я ее не подтолкнул. А тут вы—трах!

Они поднимают с пола том, помогают водрузить его на место. Приглашают присоединиться к ним.

— Как веселишься?—спрашивает князь у дочери.

Правду Кристине говорить не хочется. Сегодня вечером у Штемлеров она себя чувствует прекрасно. Присматривается, радуется, хохочет. Только что-то мешает ей сказать, что тут все замечательно. Товитка, не дожидаясь, когда ее спросят, опережает Кристину.

— Отменно,—кричит она,—отменно.—Ее возбуждает сама мысль о том, что такой пожилой мужчина позволил себе так созорничать. Она ищет глазами Мотыча.—Сейчас идем.

— Отчего вам тут не остаться?—удивляется Медекша.—Вообще, что с вами происходит?

— А что, а что?—кокетничает Товитка.

— Отчего вы не можете усидеть на месте?—говорит князь.—В наше время такого и представить себе нельзя было. Коли уж весело, так человек сидел, коли нудно, прощался, делал ручкой столу и отправлялся спать. А вам все равно, так или иначе—

непременно надо куда-то идти.

— Ведь ресторан с танцами совсем другое дело,—вступился в защиту Говорек.—Музыка, ритм, ощущение, что рядом с тобой веселится куча людей. Быть среди них.

— Вот именно,—с сомнением пробормотал князь. Он хотел еще что-то сказать, но Тужицкий, входя, от самых дверей прервал его.

— Идем?—обратился он к Кристине.—Идем?—спросил Мотыча. Но у того еще было одно важное дело к Чатковскому.

— Идем?—повернулся он к нему. Это было самое первое звено цепи. Так они и позванивали ею, одно за другим, словно вагоны, прежде чем двинуться в путь.

— Ну и что делать?—Бишетка не спросила, а скорее просто-нала, обращаясь к Медекше.—Прямо эпидемия какая-то. Вспыхивает неожиданно и выметает половину гостей.

— Много их пойдет?—прошептал он.

— Столько,—жаловалась она,—что те, кто останется, спохватятся и тоже дадут деру. А ведь только двенадцать.

Продержать бы их еще час или два. Дело чести. Поздняя пора свидетельствует о том, что вечер удался. Рассвет—самый шик. И еще—выкомаривание. Мотыч был великолепен. Мысль эта прибавляет Бишетке сил. Но достаточно ли он действительно известен, чтобы факт о его проказах уже сам по себе был восхитителен? Она начинает нервничать. Весь вечер старалась подчеркнуть важность одних гостей в глазах других. Последний час она провела в библиотеке. Прямо-таки ярмарка всяких шалостей и целый клубок зависти. Говорек во все вмешивался, но сам ничего придумать не мог. Стремился всех затмить. Выкрутасы, результат которых развлечение, не разгоняющее скуки. Честолюбие на это способно. Все разные штучки, гримасы, какие-то дурачества, истинный разгул ребячества. Что за всем этим?

— Что у вас тут происходит такое,—вспоминает Бишетка обращенный к ней вопрос Медекши.

— Спирт в каждом из вас пробуждает школьника.

— Даже в Товитке?—пыталась она защитить своих.

— Я понимаю,—сказал князь.—Ей просто страстно хочется мужчины. Так всегда было. Это свойственно и природе алкоголя, и природе женщины. Но вы?—дивился он.—Вас-то отчего разбирает? Пить, чтобы паясничать, да еще паясничать на манер молокососов. В мое время молодежь изображала из себя взрослых, сейчас наоборот—детей. И это в вас, должно быть, глубоко сидит, пьянство не лжет. Я, выпив, ощущал себя Наполеоном, а каждый из вас—сопляком. Что только на человека не находит!

Они сгрудились вокруг Медекши.

— Вы, князь, идете?—спросил Чатковский.

Старик посмотрел на него.

— Послушайте,—стал он ему растолковывать.—Собрался я однажды пойти вместе с компанией, которая задумала покинуть вечеринку и отправиться в ресторан. В дверях мы сталкиваемся с группой выходящих оттуда. Знакомые! Что это вы, неужели спать, так рано? Зачем же. Мы идем к этому господину, смеясь показывают на одного из приятелей. У меня дома есть немного водки, говорит тот, и граммофон. Чего тут высиживать в такой толкотне. А вы?—спрашивает нас. А мы как раз наоборот.—Медекша развел руками.—Лишь бы не на одном месте.

— Ну, бывает ведь иногда скучно,—возразил, оправдываясь, Чатковский.—И что, сидеть?

Медекша рассердился.

— Вот тебе и на! Делаете из меня старого брюзгу. Само собой, если здесь скучно, надо идти в другое место. Бежать, но от скуки, а не от веселья. А вы что? Я наблюдаю за вами. Вечно вы все меняете. Квартиры, жен, веру. Идешь к знакомым. А тут с кем-то другим, кто-то другой, в каком-то другом месте. Сегодня либерал, спустя неделю голова одурманена фашизмом. И тогда голова такая называется открытой. Вся ваша натура—сплошная переменчивость.

Мотыч уже и думать позабыл о своем шутовстве. Одно он знал твердо:

— Не у всех,—раскипятился он.

— Но у всех самых выдающихся в вашем кружке,—князь погрозил пальцем.—Ваш нравственный фундамент зыбок. Ну, а засим—я вас не держу, летите.

Чатковский засмеялся.

— Полнокровная жизнь!

Медекша оторвал взгляд от пола, посмотрел прямо ему в глаза, потом еще дольше и Мотычу, и Чатковскому, и Кристине.

— Ничего себе полнокровная,—буркнул он.—Не можете себе места найти.

Время от времени в библиотеку заглядывал сам Штемлер. Его место было подле Яшча, Дитриха, Черского, Костопольского, так что сюда он заходил на минутку, отдышаться. Только тут глаза его блаженствовали, ибо здесь царил полумрак. В столовой, в гостиной, в одной и другой, в зале было иначе. Искрясь лампами, они выглядели парадно и празднично, залитые белым электрическим светом. В библиотеке горела одна лампочка, не замененная яркой, как и обычно. Какой покой! Хотя и здесь люди, это правда, но все разбрелись по разным комнатам, тут не больше их, чем где-нибудь еще. Повсюду они казались одинаковыми, мётя свое место рюмками, чашками, тарелочками, нигде они не были свободны от их общества, как ремесленники от своих инструментов. Штемлер отвел глаза от этой картины. Вот! По большей части лишь отопьют, попробуют. Прием по самой своей сути был

мотовством. А тут еще дополнительные траты. Штемлер страдал. И если заскочил в библиотеку убедиться, что здесь, как и всегда, горит одна лампочка, то сделал он это не от пристрастия к будничности и не того ради, чтобы дать отдых глазам, а затем, дабы с облегчением констатировать: электричество не растрачивается тут попусту.

Весь вечер его трясло от страха. Он так ни к чему и не притронулся, не от скупости, а потому, что там, где великодушные, голоду места нет. А таким и казался сам себе Штемлер. Проблему своей неслыханной бережливости он решил для себя, как на войне, где бояться можно лишь во имя того, чтобы совладать с собой; по нему не было заметно, какие он испытывает муки, хозяин и скряга в одном лице. Что победит! Штемлер раздваивался. Внешне — хозяин дома, муж, отец, даже друг, в финансовых делах как рыба в воде, а в душу его прокрался скупец. Прислушивающийся, бдительный, нежный к деньгам, он жил больше его оболочкой, нежели корнями, более равнодушный к своим шахтам, заводам, домам, чем к тому, что все вокруг приходит в упадок. Он никогда не решался купить землю ни на берегу моря, ибо вода вымывает почву, ни на склоне горы, ибо она крошится и осыпается. Огнестойкие шкафы и нержавеющие ножи — вот что его радовало. Он мечтал, чтобы и все остальное было таким же. Ничего у него не выходило. Хотя он и отдавал себе отчет в том, что на разрушение каменного дома понадобится несколько десятилетий, время досаждало Штемлеру тысячей мелочей, царапало своими когтями стену, покрывая ржавчиной краны, расшатывая ручки и дверные косяки, ступеньки на лестнице. А содержание дома? Многие считали главной целью тут деньги, для Штемлера это было неумолимой, словно время, щелью, дырой, через которую уплывало состояние. Дом поглощал его, жена поглощала его и дети тоже, поглощала жизнь. Что делать.

Расходы, цены, необходимость вкладывать деньги! Отрицательная сторона жизни. Еще один образ зла. Самый страшный для Штемлера. Как же обидела его судьба, когда одарила его такой чувствительностью на траты, но вместе с тем не лишила рассудка. Штемлер прекрасно понимал, что иной ход событий невозможен, что нельзя только собирать, никому не платя, и, наконец, что за пределами деловой сферы раскинулась сфера личной жизни, которая только сосет и сосет. Если бы, наподобие снотворного, были такие таблетки, которые заглушают нерв бережливости! Без малейших колебаний Штемлер ухватился бы за них. И прямо сегодня вечером. По разным причинам давно следовало решиться на это, и он подсчитал, во сколько такой прием обойдется, вынудил себя согласиться, сжал зубы, не проронил ни слова, когда список приглашенных начал расти. Он мог думать, что переборол себя. Но только на один раз. А тут

вторично приходилось оплакивать цену каждой бутылки. Не только тогда, когда покупал ее, но и потом, когда ее распивали. Он присутствовал при уничтожении всех этих яств и напитков с таким чувством, с которым присутствуют на похоронах. Каждый кусок, каждый глоток, который исчезал в горле гостя, был для него еще одной похоронной процессией. Он провожал глазами деньги, которые превратил в индюшку, в паштет, в старку. Вот второй раз пропадают еще несколько злотых, принесенных в жертву тоненькому слою икры на тартинке, то есть в первый раз, когда он оторвал ее от себя, поставив на ней крест, а теперь опять, но представшую в естественном своем виде перед его глазами, которые следят за этой потерей. *Consummatum est!*¹ Но нет. Гость откусил половинку, остальное откладывает, чтобы ответить, так как кто-то заговорил с ним. И теперь позабудет. И вновь Штемлер впадает в печаль. Третий! Он не согласится ни на какие чудачества. Но предчувствует, какое облегчение должно испытывать подобное ему существо, подбирая объедки. Ему это не дано. Он не будет искать удовлетворения в помоях. В приносящем наслаждение реванше скряг, которые вытягивают свое из могилы.

И еще вчера этот роковой случай с машинкой. Вор влез уже после окончания рабочего дня. Через окно. Сначала вытащил машинку, хотел вернуться, но его спугнули детишки во дворе. Вот все, что установило следствие. Кто теперь будет отвечать за окно? Кто должен был проверить, все ли в порядке? Или еще: вор проник через кабинет директора. Для чего же Штемлер сказал секретарше, что еще вернется? Она его не дождалась, ушла, а у него вечер сложился иначе. Какого же черта он открывал окно! Проклятье, бесился Штемлер, будь он неладен, этот свежий воздух! Но кто в конторе распространялся на сей счет? Он сам.

Тысяча злотых. Самая последняя инвестиция, огромная черная машинка. Вот усаживается за нее девица Дрефчинская и — понеслась. Пальцы, словно град, летят вниз, а потом, подбрасываемые клавишей, выскакивают вверх, как из катапульты. А конец строки? Это сплошные чудеса! По смазанной маслом стали, до самого конца в левый угол, летит валик, а на нем бумага, которая, набрав разгон, должна вернуться назад. Совершенство того, что ново — так ощущал это наслаждение Штемлер, — и не знаешь даже, во что обходится его работа. Как юное создание, которое ничто не заботит. Какая радость иметь возможность думать, что оно не изнашивается. И вот такая вещь пропадает. Хотя полно было надежд, что служить она будет вечно.

Не ее вина! Так чья? Ясно, что Дрефчинской. И тут Штемлер спохватывается. Его злость разбирает, что собственность его пускают по ветру, а тут проклятая реальность. Барышня должна

¹ Все кончено (*лат.*).

вернуть деньги, но из чего? Даже если он станет вычитать у нее из жалованья, то соберет на машинку через пять лет. Да и удобно ли это? Кстати, когда он пилил ее за эту халатность, разве не дала она ему понять, что готова бросить место. Так как же? Внимать через суд? Тут его и ославят. Штемлер стиснул зубы. Потеря налицо, Дрефчинская у него в руках, были бы они на свете вдвоем, он бы выжал из нее причитающееся. А тут—не моги! Человек спеленут разного рода обстоятельствами. Что тут его правда.

Штемлер мечтает о милосердии свободы. Он никогда не отступался от той, которая вытекает из односторонности. Каждый случай разрывает его надвое. Влево он не может свернуть, ибо мешает правая вожжа. Вправо—тоже нет. Он уязвлен равновесием, этой штучкой, требующей от человека все, что в нем есть инстинктивного, так подобрать и подогнать головами друг к другу, чтобы ничего не пропало. Штемлер боялся. Он чувствовал, как в нем проблема эта разрастается и раздирается от противоречий. Он беспрестанно думал о Дрефчинской, злыми глазами искал ее по всему дому; в довершение всего ее, как дочь старинной подруги госпожи Штемлер, пригласили сюда. Она стояла в столовой у камина, одна. Кого бы ей тут знать! Уперлась глазами в зеркало, чтобы, не показавшись очень настырной, наблюдать за тем, что происходит вокруг. Штемлер пытался преодолеть неприязнь к ней. Боль, вызванная утратой пишущей машинки, лишь усилилась, если бы Дрефчинская ушла. Ибо, пока она у него служит, еще теплится надежда как-нибудь восстановить утраченное. Но как это сделать—пока ему еще не пришло в голову. Вера, однако, не раздумывает.

Дрефчинская, особа с темно-серым лицом, ленивым, неглупым взглядом, с губами, напоминавшими кусок сырого мяса, с жирными волосами, плохо разбиралась в том, что делается вокруг. Она подсматривала не для того, чтобы что-то выяснить,— к этому толкал ее инстинкт самосохранения. Станный мир, находящийся в еще более странном состоянии, готов сегодня обрушиться на нее. Свободой жестов, слов, всего своего поведения он может обидеть ее лично. Она пришла сюда, на вечер, одной из первых, знала, что не уйдет раньше, чем он закончится. Факт этот утверждал госпожу Штемлер в мнении, что она хорошо сделала, заманив Дрефчинскую.

— Девушка развлечется,—говорила она мужу всякий раз, когда он выражал сомнение в том, приглашать ли ее.

— Она не подходит нам,—морщился Штемлер, хотя, выбрав меньшее из зол, он предпочел бы видеть за ужином ее одну, нежели всех.

— У нее много достоинств,—защищалась госпожа Штемлер.— Отличная семья. Она родственница Медекши.

Это подтвердил даже князь, приглядываясь к Дрефчинской из угла гостиной.

— Дальняя! — озабоченно засвидетельствовал он. — Очень дальняя, — покачал головой. Привстал, еще раз бросил на нее взгляд и упал в кресло, всем своим видом давая понять, что тут уж, мол, ничего не поделаешь.

— Правда ведь, в ней чувствуется порода? — госпожа Штемлер возобновляла атаку с другого фланга.

— Конечно, конечно, — соглашался Медекша, но, вдруг испугавшись, что госпожа Штемлер подумает, будто он перехваливает девушку, тоном антиквара, знатока живописи, оговорился: — Насколько можно об этом судить под слоем грязи.

Она принадлежала к числу людей беззащитных; и перед собственной грязью тоже. Снаружи грязь покрывала Дрефчинскую, липла к ней постоянно, вылезала из каждой поры и щелки, словно пот или жир. И без конца. Как и те, кто не знает, что делать вечером с быстро растущей щетиной, Дрефчинская не умела справиться с собственной кожей. Она была чистой только сразу после ванной. Но тогда ее никто не видел. А кому видеть? В субботу вечером! Мать спала, а брат возвращался поздно после карточной игры.

— Ну, как вы развлекаетесь? — Штемлер изучал ее.

Она встревожилась. Не ирония ли это? Столько часов одной шататься по комнатам, задерживаться, только не там, где много гостей, оставившись безразличным взглядом то в зеркало, то в картину, то в скульптуру — словно смотритель в музее, который без конца проверяет, все ли на месте. Развлекаться? Мысль, опять пришедшая ей в голову, заставила Дрефчинскую покраснеть, чувство неуверенности привело в движение все ее запасы пота, и его потоки, обгоняя друг друга, устремились к коже; этот своего рода механизм только и работал у нее исправно. Она уже была вся мокрая, как это с ней всегда случалось, но еще не могла найти и слова в ответ, если не считать той фразы, которую едва можно было расслышать:

— Что вы сказали?

Уйти бы, раздумывал Штемлер. Но это значит показать ей, что ему нечего ей сказать. Тактичнее остаться? Но ведь единственная тема, приходившая на ум, была бестактна.

— Из полиции ничего? — спросил он, так и не преодолев своих сомнений.

— Они не звонили, — проскрипела она.

— А вы?

Он оборвал себя на первом слове нотации. В конторе он бы отделал ее, нудил бы с четверть часа. Но тут, у себя дома? А главное, он не хотел мучить себя. Губы ее шевелились, кривясь отвращением, словно она раскусила зернышко перца. Развлекаться! Она не могла отбросить это выражение, возилась с ним, будто развязывая веревку на свертке. Что оно может означать! Ей ни за что не пришлось бы в голову уйти с вечера. Зачем? Она взвешивала.

Чем бы это себе объяснить. Надеждой на то, что что-то случится. Желанием чего-то иного. Стремлением показать другим, насколько хороши у нее отношения с работодателем. Всем понемногу. И тут новая волна румянца залила ее щеки. Она с проклятиями набросилась на какую-то свою мысль. Не прозорливость же привела ее сюда.

— Завтра я сам позвоню,— решил Штемлер.— Это вещь недопустимая. Вор наверняка попыбует продать машинку. Поклясться можно, что он ходит с нею по городу. А полиция и пальцем не шевельнула.

Мысль о еде приводит Дрефчинскую в возбуждение. Нет, ей не хочется признаваться перед самой собой, что не в этом дело. Груды мяса, салата, масла, всего— задаром! Дрефчинская, бывает, вот так, ни с того, ни с сего, заскочит в закусочную съесть полкурицы, или грудку индюшки, или кусочек паштета за два пятьдесят. А у них все деньги на счету, и потом приходится как-то выкручиваться за недостачу перед матерью, седой, старой, которая, кстати, тотчас впала бы в отчаяние, узнав, что дочь голодна. Как объяснить, что вовсе нет. Но просто не могла выдержать и не съесть трех тартинок с лососиной, особенно, что самое удивительное, эту, последнюю.

Штемлера раздражает молчание Дрефчинской. До чего же бесчувственная. Ни словечка, ни жеста, ни сочувствия. Он смотрит на руку секретарши. Вот эти пальцы вспархивали вверх, утопая перед тем в клавиатуре. Машинки касались вот эти груди, впрочем—сейчас их и не заметишь, а о прошлых своих впечатлениях он начисто позабыл, теперь ему так только кажется. Сколько бы у нее можно было вычитать ежемесячно? Он сжал губы. Пугать ее сейчас жестоко, но как было бы приятно. Однако сквозь эти грезы на Штемлера уже посматривает жена, которая придет просить о жалованье для Дрефчинской, в конторе холод, капризы. И все же, хотя он и понимает, что никогда не решится на такую санкцию, Штемлер подсчитывает. Десять злотых, пятнадцать, семь лет, пять. Вздор.

Подходит слуга с подносом.

— Не угодно ли кофе?

Штемлер машинально идет на жертву:

— Может, все-таки?..

Но Дрефчинская отказывается. После кофе она не спит.

— Что вы говорите?—изумляется Штемлер. Сам он тоже не пьет кофе, но из-за желудка. Как же он его донимает.

«До самой смерти расплачивалась бы!—продолжает размышлять Штемлер. Но тут же одергивает себя.—Какая чепуха. И так, сколько же ей может быть лет? Ах,—он взвешивает, прикидывает,—лет тридцать. Не так плохо».

И вдруг молодость ее очень обрадовала Штемлера. В тоне его даже послышались приветливые нотки, когда он сказал:

— Тогда, может, кусочек торта?

К Штемлерам манит Дрефчинскую прожорливость. А удерживает здесь допоздна убеждение, что на приемах, как в кино или театре, надо высиживать до конца. Она томится, так как всегда чувствует себя усталой. И ей, в общем-то, все равно, что развлечение, что скука. Когда она открывает рот, то и сама не знает, что у нее получится, улыбка или зевок. Но поскольку она свято верит программке жизни, то и выполняет записанное в ней пункт за пунктом. Безразлично, надо ли идти в театр или в уборную. Да и без особых переживаний. Дрефчинской чужда косность взглядов. История с машинкой ее не взволновала. Раз существует воровство, значит, должны быть воры и краденое. А ломать себе голову, почему такое случилось с ней, незачем, это так же, как бывает с фальшивыми деньгами, ну кто-то ведь возьмет их в конце концов, иначе бы их не делали. А чего уж тогда говорить о том, что записано в судьбе каждого. О болезнях, возрасте, чувствах. Этим последним словом Дрефчинская называет то, через что раз или два в жизни пришлось пройти всем знакомым ей женщинам. То есть период безволия в отношениях с каким-нибудь одним мужчиной, безволия, которое ничем не объяснишь — ни корыстью, ни удовольствием, такое случается до сорока. Это столь же несносное чудачество, как и в более поздние годы страхи или восторги старых дев, но куда более постыдное. Ибо затем приходят иные мании. Дрефчинская знает об этом лишь по бумажкам. Семь лет она работала в Страховой кассе, пока ее не сократили. На что только она там не насмотрелась. Она и сама однажды едва убереглась от такой истории. Но его перевели в другое место. Она и выговорить бы не смогла слово, которым это называли: любовь — понятие, отделенное от чувства на потребу богатым и искусства. Она без восторга относилась к миру, который из чего-то подобного способен сотворить красивую вещь. Судя по тому, что она видела своими глазами, все всегда происходит иначе. И она выбрала для своей истории имя поскромнее, будучи к тому же уверена, что она еще облагораживает вещь, но подлинную, повседневную, а не для избранных, таким выражением, как «чувство». Ибо что это, в конце концов, такое? Вечный стыд — за себя, с ним, перед другими. Их колкости, взгляды, нарочитые намеки. Обычно ни за какие сокровища не хочет человек попасть в подобное положение, но это оглушает его. И еще страх. Нет его ужаснее, когда он приходит. Или потом. А надо. Дрефчинская о таких вещах иначе не думает. Изю всех существ она выделяет свой конторский мир, а из него — людей своего типа. Внешне не очень привлекательных, беспомощных в жизни, застрявших на самых нижних ступеньках. Раньше монастыри, а теперь конторы стали для них убежищем. В списках этого государства второсортных числится Дрефчинская. Ее воображению и ее сердцу доступны только они, ибо вести себя

так, как ей того не хочется, она может только с ними.

— Как ваша мама?—Это, видимо, еще некий довесок к предыдущей любезности.

Дрефчинская родственница Медекшам как раз по материнской линии. В течение трех поколений в семью ее отца приходили барышни из хороших фамилий, но все без приданого. Ибо Дрефчинские были богаты. И мать тоже признавалась ей, что вышла замуж не по любви, а из необходимости найти опору в жизни. Потом Дрефчинская узнала, что и бабка, и прабабка ее поступили таким же образом. Все они были чересчур впечатлительны. Едва войдя в жизнь, они пугались ее. В их бедных домах и в самом деле страшили тем, что, может, им придется работать. Этот страх и заставлял их, закрыв глаза, бросаться в замужество. И спустя три поколения барышня Дрефчинская стала обладательницей пышного генеалогического древа, на котором, однако, все ее бабки трепыхались в свое время, словно листочки на осине. Из-за приданого они так боялись жизни,—и страх этот был одним и тем же все сто лет! Вот что принесли Дрефчинским их заднепровские поместья, которые они оплакивали сегодня. Но, видно, судьба посчитала, что страхом больше не спасешь наследственной крови, ибо после стольких лет, в течение которых она постоянно разбавлялась, деньги, словно ненужное уже средство, были у них отняты.

— Мама осталась дома.—Дрефчинская изобразила книксен, благодаря Штемлера за любезность.

И еще быстрее зажевала. Сладость торта смешивалась со сладостью вежливости Штемлера, вообще-то враждебно настроенного к ней. Он хмуро смотрел на Дрефчинскую. И как это совпадает. А я только со злости обращаю на нее внимание! О!—бесился он. Все в наилучшем виде, словно бездомная собака, которая так отвыкла от человеческого голоса, что даже не в состоянии понять, в каком настроении позвавший ее. Штемлер никогда не ругался, а в те моменты, когда его к этому тянуло, злоеющая тишина затыкала ему горло, словно вместо неверной мысли или неподходящего слова в голосе его появлялось многоточие. Но гнев его рос. Спокойствие, аппетит, доверчивость Дрефчинской—и все это перед самым его носом,—да еще оправданные собственным его поведением, подливали масла в огонь. Она отправляла торт в рот, кусочек за кусочком растворяла его в слюне, а остальное, словно про запас, держала между зубами и щекой. Когда таким образом Дрефчинская справлялась с ним, она облизывала языком рот и тогда только откусывала новую порцию. Все это не делало ее в глазах Штемлера очень уж противной, скорее, она напоминала ему зверюшку или ребенка. Но это не уменьшало его недовольства. Ему хотелось видеть ее отвратительной. Уродство—это кара, и ему легче было бы тогда смириться с тем, что пишущая машинка пропала безвозвратно.

А то ему приходилось смотреть и смотреть на Дрефчинскую и ломать голову над тем, как бы компенсировать свои потери. Что бы можно было из нее выжать! Навалить побольше работы? Откуда ее взять! Сейчас ее не хватало и на рабочий день. Мстить, мучить, досаждать. Тогда сперва надо бы научиться извлекать из этого удовольствие. Штемлер больше и не пытался возвращаться к мысли о жалованье. Ах, вздыхал он, ну что возьмешь с людей. Ничего! Вот как скульптор, когда у него есть камень, но нет инструментов. И эта бесполезность, которая присуща самому типу человека-должника, повергала его то в отчаяние, то в ярость. Выхода-то нет, повторял он себе. Он снова затаивался, дожидаясь, чтобы минула та стадия гнева, когда трудно не выругаться. Мне с нее причитается, вот она, а от нее никакого толку. Хотя бы половину вернула, хотя бы часть, немножко. Отобратить у нее что-нибудь, начинал бредить Штемлер, продать. Соппротивление, которое оказывала ему Дрефчинская именно своей бесхребетностью, делало его несчастным. Ничего от нее не дожدهшься, ворчал он. А она, далекая от всех его расчетов, ела.

— О чем думает полиция? — Он довел себя до того, что никак не мог заговорить о чем-нибудь другом.

В конце концов, его уже не так волновала сама потеря, сколько вытекающая из самого этого факта невозможность возместить понесенный ущерб. Так и всё могут унести, раз уж нашли ход. Он перепугался, как человек, вспомнивший вдали от дома, что позабыл запереть двери. Это страшно. Значит, все его состояние просто валяется на улице. И хотя воображение его, подстегиваемое гневом, совсем разыгралось, у него не умещалось в голове, что он из-за подобного рода краж мог бы потерять все. Но сама по себе мысль, что существовал в принципе такой путь, была невыносима для него. Девушка, опять заслышав об этой ужасной истории, затихла, но только на минуту: так мышь перестает грызть, если в ее сторону бросить что-нибудь. Всем своим видом она показывала, что с самым этим фактом она уже примирилась. Только из вежливости притворяется, что затихла.

— У меня долг просрочен. — Штемлера всего трясло, словно у него боны в магазине, а магазин — сама Дрефчинская, в котором не было ничего, ему нужного. А тут последний день.

— Ваша мама? — придя в себя, попыталась ответить любезностью на любезность Дрефчинская. — Как ее здоровье?

В ответ он махнул рукой, будто речь шла о застарелой болезни. Ею для Штемлера была мать. Ничего приятнее не может сказать человеку, возмущился он. Ни одной симпатичной мысли. И несчастным грошом не оплатит. Вот уж бесплодна-то. Гнев и сознание, что она совершеннейшее бревно, вывели его из равновесия. Какое-то страстное желание встряхнуть человека, который ему должен и уперся, отказываясь отдавать, вдруг так захватило его, что, сам себя не помня, он вцепился руками в

плечи Дрефчинской. Какая тут нежность, какое тут возбуждение—этого и следа нет. Он бы стянул с нее платье, вырвал волосы, содрал всю кожу, чтобы хоть таким образом получить свое. К счастью, руки Штемлера, слуги более рассудительные, чем их хозяин, только сделали вид, что выполняют приказ, отданный его яростью.

— Оставьте, пожалуйста, оставьте,—тяжело дыша, пронзительно закудаhtала Дрефчинская прямо в уши Штемлера, стараясь стряхнуть со своих плеч его руки.—Да оставьте же, что еще подумают. Прошу вас!

Она его предостерегает! Стало быть, не зовет на помощь! Он удивился. Он ведь ее чуть было не ударил. Вцепился в нее пальцами со всей злобой. Они яростно поползли по ее коже к самой шее, тут он сам испугался, что сорвет с нее кружевной воротник и заберет себе. И вот ведь как женщина эти враждебные действия перевела на свой язык. Так она их истолковала. Странная мысль. Сейчас, сейчас. Он всматривается в Дрефчинскую. В этой идее он находит облегчение. Его алчной скупости, наконец-то, есть за что уцепиться. Он возьмет ее! Все равно.

— Советник Дикерт в эту пору!—взвизгнула Зайончковская.—В двенадцать, словно привидение.

Он не слушал ее, искал хозяйку дома, наконец подошел к ней, оба с жаром и великолепно отыграли свою сцену. Он извинялся. Она его оправдывала.

— Но чудесно, ничего страшного, вы правильно поступили!

Однако на самом деле она была в этом не очень уверена: когда Дикерт исповедовался перед нею в своей слабости, дескать, он не простил бы себе, если бы хоть на минуту не забежал, она принимала это за чистую монету; когда потом он умолкал в поисках еще каких-нибудь любезностей, ей становилось немного не по себе. Уж не слишком ли? Ведь уже глубокая ночь. И не понять, то ли он гордился, то ли отчаивался, когда, складывая руки, говорил, что не мог не пойти на банкет, что должен был забежать в одно посольство. Да еще тяжело дышал, то ли оттого, что торопился, то ли от страха при мысли, что было бы, если бы он этим пренебрег. Запыхавшийся, он складывал руки, прижимал их к груди, уверял, ссылаясь на священнейшую необходимость. Пойти в посольство, пойти на раут, пойти на чай. Зайти сюда. Быть там. Торопиться из одного места в другое. И вовсе не ради того, чтобы увидеть, поймать кого-то, что-то протолкнуть. Он слегка приподнимался на носках, набирал полные легкие воздуха! Нет! Только чтобы быть! Иначе я бы не заснул, клялся он. И наверняка говорил правду. Поэтому он сначала внимательно изучал приглашения. Рассуждал: принять или нет? Взвешивал все за и против. Знать, почему идешь или отказываешься,—первая заповедь светского человека. Поэтому Дикерт не признавал

половинчатых решений. Нет таких мест, куда можно пойти предположительно! В этих делах мнение должно быть определенным—надо или нет. Когда речь заходила о Штемлерах, приговор неизменно был: стоит. И потому не существовало таких препятствий, которых он бы не преодолел. Иначе его ждала пытка. Дикерт нелегко прощал себе отсутствие закалки и воли. Он долго казался себе отвратительным. По крайней мере ночью. Так что держал себя в ежовых рукавицах. К светским обязанностям относился всерьез. Пренебрегают ими, особенно по отношению к иностранцам, люди вовсе недисциплинированные. Да ведь не пойти к румынам, напал он недавно на одного младшего своего сослуживца,—это же дезертирство! Ибо остановившимся от ужаса взглядом он уже водил по совершенно пустым залам их посольства—и все это по вине таких чиновников, как тот, которого он только что распек. Какая катастрофа, никто не пришел! Со страху он всюду прибегал первым. Он не знал ни усталости, ни колебаний, ни досады. Кто выполняет свой долг, тому никогда не скучно. Один у него был недостаток. Его вежливость. Хотел одарить ею всех, с каждым минуточку поболтать, кое с кем подольше. Кого выбрать? И, терзаясь, носился из угла в угол залы, высматривал, морщил лоб, вспоминая, не забыл ли кого. А время несло, словно поток.

Круглое толстое лицо он отирал носовым платком, в его окаймленных густыми бровями и чернотой карих глазах светилась мука, когда он, мчась к какой-нибудь важной особе, проскакивал мимо, правда, не таких важных, для которых, однако, надо было тоже найти словечко, кожа, побуревшая от вечного беспокойства, руки, готовые с лучшими намерениями прийти на помощь, если язык, слишком быстро тараторивший, заносил его с разбегу на какую-нибудь сомнительную тему,—все это теперь пошло в дело в комнатах Штемлеров, да еще полным ходом, так как было страшно поздно. Но, оглядевшись, он немного поостыл. Иностранцев не было. Так что он мог начать обход поспокойнее. Прежде чем подойти к Костопольскому, он вытащил носовой платок, помахал им, слезливо улыбнувшись, словно прощался с кем-то, отер щеки, приблизился и сказал несколько слов о болезни маршала сейма. Тот, однако, был закадычным другом Костопольского, который потому и располагал новостями посвежее. Дикерт слегка смешался, снова схватился за платок и, пока Костопольский говорил, держал его в воздухе, словно сдаваясь, вывесил флаг, потом едва коснулся им лица. Ему можно было и отойти, но таково уж лицемерие светских ситуаций. Ничто его больше уже не удерживало. Каждый сообщил, что знал. Легко сказать—оставить его, но с каким впечатлением! Вот именно это, то есть завершение разговора, у Дикерта получалось неважно. Он смотрел правде в глаза—меня парализует «до свидания»!—жаловался он. Ежесекундно откладывал и откладывал, но никак

не мог закруглить. Боже упаси приблизиться ему к прощанию. Оно тянулось словно тянучка.

Он не сумел отойти. Как же это вдруг—ни с чем. Так все ничтожно, и что приносил, и что слышал. Он понимал, разговоры на приемах иными быть не могут. Он первый ретировался всякий раз, когда в таких обстоятельствах сталкивался с оригинальностью. Как знать, не огорчился ли даже, как если бы прочитал дипломатическое донесение, написанное слишком самостоятельным языком. Он верил в сношения между учреждениями, в общую форму, в одинаковость чиновничьего языка. Министерство было для него братством, но не забегай вперед. Он склонял голову перед этим правилом и равнялся на других. На низших, а нередко и на высших, блеск которых обратился в дела, а не в слова. Он страдал от этой банальности. Никогда не переходил ее границ. Понимал, ее надо носить, как маску. Это в огромной мере помогало тому, чтобы никому не дать постичь его личных качеств. И они оставались под сомнением. Что было у Дикерта под его мелкостью, кто мог об этом догадаться? Такие, как он, оценивали друг друга лишь в своем кругу, будто масоны. Фасад у них был гладкий.

И вот Дикерт, сознавая, что ни во что ни на йоту углубляться нельзя, растекался вширь. Он никогда не позволил бы себе выделиться среди товарищей, так что подходил к людям с ничемными разговорами. словно актер на сцене, который, манипулируя пустым кувшином, делает вид, что наливает. Откуда он знает, что уже хватит? И я этого не знаю, думал о себе Дикерт. Только ни за что не высовываться, вздыхал он, а как бы мне хотелось наполнить кувшин!

Задышавшись, Дикерт болтал языком, а тем временем, словно лунатику, ему снились какие-то трогательные сны, и он вытягивал перед собой руки. Какая-то затхлость! Где же те разговоры, которые он вел с друзьями в деревне много лет назад. Да и сейчас ему случается интеллигентно поболтать со старыми приятелями. Поразить их метким выражением, точностью взгляда. Но он вроде как бы скрывал это. Ум у него был на потом. А пока он лишь следил, чтобы не сморозить чего-нибудь. Так легко запутаться. Но это ему не грозило. Не потому даже, что Дикерт так строго следил за собой, а потому, что он так горячо верил. В учреждение! Мысль, что он в нем, никогда Дикерта не покидала. Он жил ею, не работой, рвением он не отличался, а своим высоким положением. С тех пор, как семь лет назад, поступив служить, он прикоснулся к нему, это ощущение поселилось в его сердце. И так у них у всех. Казалось, это любовники учреждения. Упоенные им. Уже самим фактом, сверх меры. Счастливы они были, только если оно благоволило к ним, если бы оно их бросило, это повергло бы их в отчаяние.

— У меня есть кое-что для тебя.— Дикерт потянул Ельского за рукав.

Они стояли лицом к саду, как недавно Тужицкий с Товиткой. Дикерт огляделся по сторонам. Сорвал в темноте какой-то цветок.

— Ну,— подогнал его Ельский.

— Янек сидит!—И чуть помолчав, добавил:— Мои родители знают.— Поднес цветок к глазам, затем дунул в лепестки, бросил.— Его взяли утром, где-то на Лешно¹, со всей группой. Не вернулся к обеду, но такое случается. Вечером дал знать. Он на Даниловичевской улице.

Этим должно было кончиться, думал Ельский. Он слишком хорошо знал того Дикерта, чтобы не ожидать его ареста.

— Ты уже предпринял что-нибудь?—спросил он.

— Попросил из канцелярии министра позвонить в цензуру. В прессе фамилии не будет.

— Это ты ради себя,— начал Ельский.

— Прежде всего ради отца,— с достоинством возразил Дикерт.

— Ну, так это ради вас, а для него что?

Дикерт сжимал и разжимал пальцы. Он не сделал ничего. Зато брат ему—да! Он сжал губы.

— Только ты что-нибудь можешь,— вздохнул он.

— Я?—удивился Ельский.

— Через Скирлинского. Ты в хороших отношениях. Разве не так?

— Тогда завтра.

— Почему, он же здесь.— Дикерт разволновался.— Как я вернусь домой? Мать не оставит меня в покое.

Ельский повторил:

— Сегодня, правда, не стоит и пытаться. У него тут были большие неприятности.

— Здесь?—с высоты своих переживаний усмехнулся Дикерт.— Какие у него могут быть неприятности. С Болдажевской?

Она, конечно, может что угодно выкинуть, но чтобы из-за нее неприятности! С пятого на десятое он знал, что Скирлинский считает себя ее женихом. Хочет чем-то отличаться от других. Это пожалуйста. Но чтобы переживать! Ельский подтвердил:

— Вот именно. Сегодня он ни на что другое просто не способен. А ты что, боишься, если следствие начнется, нельзя будет дать ему обратный ход? Что ты вообще знаешь об этом деле?

— Ничего.

Он и боялся этого дела Янека, и ждал его. Верил, что в конце концов брата можно будет вытащить. Но с трудом. Мечтал он только об одном. Пусть бы улики оказались настолько серьезными, что единственным выходом станет заграница.

Брат-коммунист в Америке, да хотя бы и во Франции. Это легче вынести, духовно он уже был довольно далек от него, так

¹ Район Варшавы.

пусть же отправится подальше с этим своим коммунизмом. Лишь бы не здесь, не на месте. Во многих отношениях это было бы делом щекотливым. Да еще и под одной крышей.

— Чего бы ты хотел, чтоб я знал?—жаловался он.— Таскается, я и сам толком не представляю где, шьется с самыми худшими элементами, только что домой всего этого не тащит. Если говорить о людях, то тут наверняка. Но что у него в ящиках стола, думаешь, мать знает? Или отец?

— Ты тоже не знаешь!—Ельский посмотрел Дикерту в глаза.

Разумеется, он переворачивал в комнате брата все вверх дном, но не постоянно же. Никакой от этого пользы, никакого спокойствия, так что ему не в чем было себя упрекнуть.

— Нет,—рассердился он.— Ну и что? В его комнате груды бумаг, кучи книг, так ведь нелегальную литературу не узнаешь по внешнему ее виду. Но—ты же знаешь нашу квартиру! Безнадежно. Тысячи комнат, антресолей, шкафы в коридорах. Бог ты мой!—И вдруг, уже не в силах скрывать дольше то, что его по-настоящему беспокоило, но не оттого, что беспокойство это сейчас так возросло, а оттого, что все остальное в этот миг ушло на задний план, он вздохнул:—Что теперь будет с моим Лондоном?

— Как это я мог позабыть об этом?—Ельский даже обозлился на себя.

Очень важно, чтобы Дикерт взял эту высоту. Это имеет значение для всей их группы. Мол, на такую должность опять подошел один из них. Тридцать пять лет, советник в посольстве, да еще где!

— Видишь,—опечалился Дикерт,—до сих пор мне нечего было поставить в вину. Отец в политику не вмешивался. Я! Весь университет прошел без пятнышка! Не влез ни в одно правление, не запачкался никакой дружбой. А он взял и все это пустил по ветру.—Дикерт преувеличивал и сам знал об этом. Ельский, которому надо было бы его утешить, молчал. Дикерт поторопил его:—Как ты думаешь?

Ельский думал о встреченном в поезде Козице. Тот как-то по-иному расставлял братьев. Сказал тогда, что его специальность—исследовать пути проникновения коммунистических идей в учреждения. Если у министерства возникнут сомнения относительно Дикерта, то именно у Козица спросят, как обстоят дела. И тут-то, поскольку советник Дикерт вызывал у того отвращение, он выставит его в наилучшем виде. А теперь? Может, ради смеха поведать Дикерту то, что он знает? В общем-то, можно, только не стоит называть фамилию.

— В генеральном штабе с этой точки зрения ты на хорошем счету,—уверил Ельский своего друга и прибавил:—Хотя там и интересуются твоим братом.

Дикерт растрогался всем сердцем, как это бывает с сентимен-

тальными людьми, когда они становятся свидетелями торжества справедливости. Да еще в таких сложных обстоятельствах! Нежность захлестнула его. Подобное мнение всего еще не решало, так что радость его объяснялась не тем, что, значит, назначение у него уже в кармане. То мнение влияет как бы косвенно. Это правда!

Но и не тому он радовался. Не было никакой конкретной причины. Просто возросла уверенность, что атмосфера вокруг него чиста, что старания всей жизни приносят свои плоды, что трясина, которой он всегда так остерегался, затянет не его. И эта благодарность, бескорыстная, лишь за одно то, что знающие люди выносят справедливый приговор, и растроганное удивление осязаемостью правды, что порядочность окупается, сделали Дикерта лучше. Он уже не помнил о своих страхах, позабыл думать о несправедливости и дрожащим голосом горячо попросил:

— И непременно добейся, чтобы его не били!

В жизни от сценической красоты Завиши оставались одни только глаза. Зелено-синие, цвета темного винограда. Чатковский и не замечал, что уже давно смотрит в них. Восхищение красотой может быть совершенно бессознательным. Так случилось и на этот раз.

— Это Завиша!—Дикерт шептал прямо в ухо Ельскому, словно в исповедальню.—Как онаординарна!

Он видел ее приплюснутый нос, слишком большой рот, огромные плечи, фигуру ярмарочной силачки; взглянул вниз и наткнулся на толстые икры балерины.

— Прямо какая-нибудь экономка,—пожал он плечами.

Голос у нее был довольно резкий.

— В Варшаве уж так повелось,—криливо говорила она,—что у всех нас, артистов, легендарное прошлое. Вы, господин министр, не верьте тому,—просила она Дитриха,—что говорят о нашем происхождении. Тем более если это говорим мы сами.

С наигранной задумчивостью тот спросил:

— А разве это так важно?—Он думал, Завиша хочет скрыть, что она еврейка.—Артисты выше таких проблем. Что им до происхождения!

Завиша повернулась в ту сторону, откуда упорно смотрел на нее Чатковский. Молод. А тем самым и не мог представлять интереса. Он-то и вмешался.

— Единственно,—Чатковский широко растягивал рот и говорил скрипучим голосом,—отчего не могут избавиться люди искусства, так это от своего происхождения. В нем-то все их будущее творчество. Особенно это верно в наше время.

Завиша, как огня, боялась молодых. Возраст этот был для нее воплощением язвительности. Все, что выходило из уст молодых,

она воспринимала как колкость. Но чаще старалась притвориться, что просто не слышит.

— Искусство бывает только одно—вечное!—Дитрих родился в Пётровке, где недавно открыли театр. К месту вспомнил кое-что из своей речи там.—Если оно сегодняшнее, это не искусство.

Не обращая внимания на то, что это всего лишь фраза, Чатковский серьезно готовился к спору.

— А балет?—ловил он Дитриха на слове.

Завиша закрыла глаза. Балет, подумала она, существует для того, чтобы я могла пережить себя. Дитрих не имел представления, считают ли его теперь искусством или нет. Ускользнул в комплимент.

— На ваш танец можно смотреть вечно. Клянусь вам. Это истинное искусство.

Завиша рассмеялась не совсем натурально, резким, гортанным смехом. Каждый комплимент в первый момент был ей неприятен, но спустя какое-то время прибавлял ей сил.

— Я не смогла бы танцевать так долго,—она перешла на капризный тон.—Так что можете смело клясться.

— Вам трудно танцевать?—спросил, как бы уловив ее сомнения, Чатковский.

Ничего, кроме удивления, не отражалось в его глазах. В конце концов, она могла его и услышать.

— Мне трудно,—ответила она.—Но не так, как не танцевать.

Чатковский понял, похвалил:

— Очень вы это мудро заметили.

Да потому что шиворот-навыворот!—подумал Дитрих. Секрет любой глубины. Он ненавидел афоризмы, тем более что временами умел их понять. Но никогда не мог сам решиться на них.

— Из дружбы к одному человеку я перестала выступать.—Тут она вся ушла в воспоминания.

— Но вы могли бы продолжать танцевать для себя.

Казалось, ей хотелось облить себя с ног до головы презрением.

— Для кого?—Она с отвращением сморщилась. Что это за выдумки—танцевать самой для себя.—Все чем-нибудь можно заменить,—она заволновалась и суетливо искала примеры,—музыку, костюм, задник, сцену. Одного нельзя—человеческий глаз.

— Они должны смотреть,—словно ребенок, утверждался в этой мысли Чатковский.

— Должны!

Дикерт прямо окаменел, ошеломленный своим открытием.

— Так ведь она же совершенная уродина!—произнес он.

Неизвестно почему считается, что истина эта относится к числу тех, которые нельзя держать под спудом. Он схватил Тужицкого.

— Это Завиша,—подбородком указал он на балерину и выжидал. У него было выражение лица решительного человека, который смело смотрит в глаза своим собственным убеждениям.—Ну, что?

Тужицкий поначалу ответил уклончиво:

— Необыкновенно волнующая женщина,—а затем вежливо и очень сладко добавил:—Но она меня совершенно не интересует.

Теперь мне только с такой еще не хватало показаться, испугался он. Хорошо бы я выглядел! Он отвернулся. Отошел.

— Кто это?—спросила Завиша.

Чатковский назвал его, но с неприязнью. Ибо либо уж беседа, либо корсо. Она была очень восприимчива даже к едва заметному охлаждению к себе. Уловила она это и сейчас. Повернулась к собаке, не позволяя ей забраться на колени. С псом почувствовала себя в большей безопасности, хотя и была в платье из кисеи. Но Чатковский не сдавался.

— Стало быть, кто-то любил вас и не разрешил вам танцевать?—Его это удивляло.

Она подняла голову. Сначала сверкнула и погасла диадема, затем засверкали глаза. У Завиши был свой секрет. Она так серьезно относилась к нему, что все непонятные ей фразы, с которыми люди обращались к ней, принимала за намек. Она попросила растолковать.

— Что вам представляется странным: что любил или что был против моих танцев?

Чатковский сжал руки.

— Нет,—немного заикаясь, произнес он.—И то, и то.

Собака пискнула. Какая-то ласка Завиши дорого ей обошлась.

— А ведь эта женщина Черского с ума свела. Он всаживает в нее огромные деньги,—шептал в ухо Ельскому Дикерт. А потом еще тише:—Смотри, она какая-то злая сегодня.

А ведь это именно они ее раздражали. Слов она не слышала. Они были слишком далеко. Но все же достаточно близко, чтобы по их глазам она могла догадаться, что говорят о ней. Отчего не подойдут? Значит, плохо говорят. Всегда это так!—вздыхнула она.

Духовная жизнь пробуждалась в ней тогда только, когда она осознавала, что вызывает неприязнь. Невольно она прошептала:

— Даже когда вызываю любовь.

Чатковский, совершенно уверенный, что фраза эта относится к их разговору, спросил:

— И ради этого танцуют?

Вопреки язвительным замечаниям Дикерта Ельский смотрел на нее с уважением. Он восхищался массивностью, мускулистостью, сбитостью ее тела. Такое может нравиться, он взял это себе на заметку. О! Любителям солидности. Его Кристина была воздушной. И нынешнее время, казалось, принадлежало таким. Бесплот-

ным, легким, хрупким женщинам. И к тому же они были на высоте, а те, тяжелые, шли ко дну, как в эпоху романтизма. Мужчины искали в женщинах прозрачности, хотя сами так не походили на романтиков. Зачем он дает ей эти деньги? — изучал он глазами Завишу. Бриллианты, меха! Такой все будет мало. И добавил, стоя в шаге от Завиши, словно в шаге от несчастья:

— Не дай бог влюбиться в такую. — Резко повернулся. Протиснулся между двумя столиками для бриджа. Напрямик. Так он скорее уйдет отсюда.

Завиша почувствовала себя еще более одинокой. Пошли, перестали — тут сомнений у нее не было — перемывать ей косточки. Уже облегчение. И все же печаль приемов, так сильно донимавшая ее, хотя большую часть дня ей приходилось посвящать им, накатилась на нее. Единственное чувство, которое всегда оказывалось у нее под рукой. Источником его были не ничтожество развлечений и не их пустота, источником было одиночество. Трудно ей было принимать в расчет Чатковского или еще кого-нибудь, словом, отдельное существо. Завиша должна заполнять собою вечер для нескольких сотен, то есть для зрительного зала. Глаза, которые не смотрели на нее танцующую, были для нее пусты. А их безразличие всегда казалось ей враждебным. Бежать! Она вскакивала, однако никогда не могла уйти дальше соседней комнаты. Ее удерживала надежда. Вечер был для нее только ожиданием того, что потом будет хорошо. И так до самого конца. А вот с сидением дома она не связывала никакой надежды. Черский ничего тут не изменил. Но все же она любила, когда он приезжал. Никого не намерен видеть в Варшаве, объявлял он. Только тебя! Так и было. Но удовольствие ему доставляло смотреть на Завишу лишь тогда, когда он вокруг чувствовал зависть других. И он пользовался каждой возможностью появляться с нею.

Чатковский не понимал, зачем раздумывать над ответом. Вертел языком, словно велосипедист ногами, — иначе не поедешь.

— Зачем танцуют? — напомнил он свой вопрос.

Семилетнюю девочку Фриш ее мать, необыкновенная злока, вытолкала из лавки. Девочка летела с огромной скоростью через всю улицу, размахивая руками в попытках удержать равновесие, медленно вращаясь, словно угасающий детский волчок. Тут и увидел будто бы ее директор балетной школы. Завиша обижалась, когда это подавали как начало ее артистической карьеры.

— Прежде всего, — уточняла она, — у моих родителей не было лавки. Ну, а что касается возраста, я начала танцевать значительно раньше.

Ей казалось наилучшим объяснением своих занятий танцами то, что она без них себя не помнит. Она разоблачала эту неправду и разоблачала тот факт, что мать ее не работала в магазине. Та доставляла товар из мастерской мужа! Это была большая разни-

ца. Дочка ее, будучи малым ребенком, не танцевала. Она прыгала, скакала, вертелась. И не для забавы. По крайней мере не для своей. Движением она искупала свое уродство. Жестами платила за право входить во двор. Она была слишком некрасива, чтобы получить его без издевательств. А мысль о плате родилась у нее странным образом. Когда она удирала!

— Зачем танцуют?—пожала она плечами. На такие умные вопросы можно еще как-то ответить лишь в том случае, если посчитать их глупыми.—Откуда знать, зачем делаешь то или иное, если делаешь это с детства!

Она попыталась курить. Черский просил, чтобы она не делала этого. Весь ее ответ свелся к одному: я раньше тоже курила. Само собой, танцев своих ей никому не приходилось объяснять, это они объясняли ее. И она едва выходила за рамки того наипростейшего объяснения, что делает это постоянно, когда добавляла, что делала это всегда. Так было. С той, однако, поправкой, что как-то она сделала это впервые. Тот раз выветрился из памяти. Или же слился с сотней других в один. Ибо она без конца должна была все так же прыгать и вертеться, чтобы толпа ровесников со двора оставила ее в покое. Выбрасывая руки вверх, изгибаясь, словно тетива лука, то вправо, то влево, она утихомиривала детей. Зрелость для нее—это только проблема, как подобным средством воздействовать на взрослых. Черты лица Завиши долго считались малопривлекательными. И сейчас это порой в чем-то давало о себе знать. Поэтому Завиша не любила, когда ей говорили, что она выглядит молодо. Эпоха, которую многие невольно связывают с воспоминанием о неуклюжих движениях, была неприятна для Завиши, поскольку красота их использовалась в столь унижительных целях. В лучшем случае она была уловкой. Как иные дети кривляются, чтобы насмешить остальных, так и она выполняла свои красивые движения, дабы попросить прощения. Но и то, и другое долго казалось ей бесчеловечным. И лишь когда она начала прыгать не для всех детей, а только для одного—сына доктора с ее этажа,—она прониклась уважением к своему танцу, которое необходимо питать ко всякому искусству, даже к колдовству.

Не то было поводом этих бесконечных вращений, что он ей нравился. А то, что она так страшно ему не нравилась. Он донимал ее на все лады. Он был ребенком, а стало быть, созданием, которому так легко дается жестокость. И ее голос, немного похожий на утиный и хриловатый, сплюснутый, пуговкой, нос, кожа вся в мельчайших пятнышках—все он ей ставил в вину, с отвращением тысячу раз открывал одно и то же. Где тот единственный способ убежать, если именно убежать-то она и не могла! Ведь парнишка жил по соседству, на той же лестничной площадке. Весь день если не во дворе, то в окне торчал. Не следил за ней, но что за мысль! Его разбирала злость, что, куда

ни посмотришь, всюду ее физия. А она бегала с места на место, с одного на другое, а так его ей было мало! Впадала в забытие, род движения ради самого движения, делая вид, что это для себя, что она от холода перебирает ногами, подолгу почти что зависая в воздухе, хлопая в ладоши или крутя руками все меньшие и меньшие круги. Казалось, она сливается воедино, растворяется, примешивая к рукам, ногам, ко всему телу свое особенно некрасивое лицо, смягчая тем самым свое безобразие. Так, собственно, зачем танцуют?—думает она, решает, можно ли из своих воспоминаний выкроить какой-нибудь ответ на вопрос Чатковского.

Дикерт, которого Ельский оставил одного, подходит ближе. Именно потому, что она, по его мнению, некрасива. Подле красоток он чувствует себя не в своей тарелке. В те минуты, когда он оказывается рядом с красивыми женщинами, ему даже чудится, что он занимает чье-то место. К счастью, все очень интересные дамы, которых он знал, непременно жены либо его сослуживцев или начальников, либо иностранных чиновников. Это позволяло Дикерту забывать об их красоте. Какое же это удобство!—думает он. Женщины малопривлекательные или совсем некрасивые. С ними не конфузишься.

— Все были в восторге от вас в Латвии,—замечает он, как всегда скороговоркой, задыхаясь.

Он примчался сюда прямо из министерства, когда в посольском донесении обнаружил это известие, или как его? Но Завиша сама знает, что ей думать о своем турне. Ее меньше занимают слова Дикерта, чем его взгляд. Отвратный!

— Господин министр прислал мне целый альбом вырезок,—говорит она, не переставая смотреть прямо в глаза Дикерту.—И был так любезен, что велел перевести самое интересное.

Она покачала головой. Пугает Дикерта огнем своих бриллиантов, лохматит норковую накидку, укрывающую ее плечи. Она прекрасно разобралась в глазах Дикерта. Такие взгляды она ненавидит: взгляды мужчин, которым только безобразие придает смелости и возбуждает, как профессия уличной девки—своей доступностью. Пусть по крайней мере поймет, она погибает разукрашенные перстнями пальцы, что я из дорогих. И называет города, в которых в последнее время побывала с концертами:

— Ревель, Рига, Хельсинки.

Дикерт почти ничего не знает о ней, кроме нескольких сплетен и анекдотов. Такого, к примеру: однажды, изрядно выпив, она по очереди ощупывала одну за другой драгоценности на себе и, словно сопровождая кого-то по галерее, где были выставлены только неподписанные произведения, не задумываясь комментировала. Указывая на сапфир с бриллиантами—Черский, на большой, в три карата, бриллиант—князь Бялолуский, на следующий—Костопольский. И опять—шла дальше—Черский. Среди

различных перстней был один из мелкого жемчуга в форме цветка клевера. А это даже и не знаю откуда,—и долго разглядывала его, задумавшись, силилась вспомнить. После какого-то приема обнаружила на пальце. Кто-то дал мне. Но кто и за что?—она развела руками. Нет, в памяти никаких следов не осталось. Видно, этому так и суждено навсегда остаться загадкой.

— Чему вы смеетесь!—раздражается Завиша.

В соседней комнате раздается музыка. Дикерт встает, но так и застывает на месте. Танцевать неуместно, раз уж тут кто-то знает о его несчастье—хотя это всего лишь один человек. И он может войти в любую минуту! Вспомнив об этом, Дикерт посерьезнел. Завиша морщится. Но только серьезным она, кажется, видела похожее лицо. Ах да, вспоминает она, так это брат того Дикерта, который когда-то заходил к ее брату, Марку. Завиша спрашивает о нем.

— Откуда вы его знаете?

Нет, этого она не скажет! Ни за что она тут не проговорится о своем брате. Но ей и в голову не приходит, что, как и она, кто-то еще тоже может стыдиться своего брата. Дикерт, пожалуй чересчур сухо, повторяет свой вопрос. Янек поступает нелояльно, завязывая знакомство с особой, принадлежащей свету, который сам покинул. Свет для тех, кто его принимает. А тут Янек оставил свой след! Рука Завиши медленно и отлого поднимается вверх, шевелятся растопыренные пальцы. Она и понятия не имеет, откуда знает.

— Но его самого я хорошо помню. Всегда такой хмурый, неразговорчивый. Очень умный.

Совершеннейший осел! Дикерт слова эти процедил про себя. Недовольное выражение не сходило с его лица.

— Где он теперь?—ласково допрашивает Завиша.

Она знает, что Дикерты принадлежат к изысканному обществу. Разве такие люди существуют не для того, чтобы на некоторые темы можно было бы говорить откровенно?

— Брат в деревне!—лжет Дикерт.

А если ей известно много больше, чем ему? Он начинает нервничать. Если она его знает. Еврейка! И, кажется, такая ловкая. Может, она в жизни играет еще и другие роли, а не только танцует. И тут вдруг в душе его злоба, которую он испытывал по отношению к брату, переносится на нее, с нее на Черского, с Черского на всю санацию. Шайка дикарей и неврастеников. И эти их женщины! Он с такой яростью смотрит на Завишу, что та начинает о чем-то догадываться.

Рука, все еще висящая в воздухе с того момента, когда Завиша показала, как зыбки ее воспоминания о брате Дикерта, покачивается в ритме. Этим жестом она призывает на помощь ритм из соседней комнаты. От трудной ситуации она бежит в музыку. Всем телом слегка покачивается в кресле, будто бы только и

поглощена доносящимся танго. Ей бы очень хотелось целиком погрузиться в его ритм. Как она уже не раз делала, стремглав удирая от людей.

— Танцуют, видно, для того, чтобы навязать себя свету,— Чатковский подходит к своему вопросу с другой стороны.

Ничего подобного! Но как это трудно сказать. Завиша так редко размышляет. Во всяком случае, в одиночестве. Только в чем-нибудь обществе. Да и тогда главным образом о том, как бы от этого общества избавиться. Тогда зачем же она пристрастилась к роскоши? Неужто она показала её убежищем, где можно скрыться от людей? Ото всех? Разумеется, исключая одного. Уже четыре годы им был Черский. Человек малоинтересный, но именно потому он ей и не наскучивал. За него договаривало молчание. Простого, без выкрутасов, сложения, ни себя не загонял, ни других не калечил. По ее представлению, главным врагом человека была впечатлительность. Со своей она справиться не могла. Куда уж тут с двумя. Да еще если одна—чужая. Ах, зачем ей нужно это что-то в ней, что ощущает человеческую неприязнь. И разве только это и называется впечатлительностью? Разве в то же самое время она и не является неутолимой жадной доброжелательности? Неспособностью насытиться? Если, однако, только и ощутит это тот, кто приблизится к другим, не желая страдать, тогда, может, достаточно скрыться с глаз людских, но как в таком случае жить? И разве, если скроешься с глаз, скроешься и из мыслей других? И не было ли это концом света? Свет, свет! Да разве вообще позволит он человеку слишком далеко зайти в неприязни к себе?

— Не для того ли танцуют, чтобы покорить свет?—в последний раз выпрашивает ответ Чатковский.

Что он, собственно говоря, называет светом? Завиша не знает. Может, для него это бриллианты на пальцах или люди, которые их дают? А для нее? Тот, кто вдохнул в нее танец? Так это он ее покорил. Свет злых взглядов, враждебных мыслей, горьких слов. С детства они привязались к ней. Она плохо их помнит. Да и вообще хотела бы забыть. Свет этот тоже отвращает ее от ее молодости. Если бы свет просто не любил ее, а он любил досаждать ей. Он не мог забыть. Причем таких будничных вещей. Того, что она еврейка, что она некрасива, что она вульгарна. Еще когда она носила фамилию Фриш, украла у лавочницы апельсин. Никогда о таком ничтожном преступлении не вспоминали так долго. Навязать себя свету, покорить его? Слова эти так же далеки от правды, как и она сейчас от ответа. Она понимает себя, но не всегда. Смотрит на Чатковского. Тот опять скажет себе—раз и навсегда,—что она глупа. А может, она танцует, стараясь перечеркнуть память людей. Тогда бы танец ее назывался: позабудьте, пожалуйста, что я такое! Она медленно стягивает меховую накидку с плеч. Они некрасивы. Встает. Мысль ее

вот-вот облетится в слова. Она уверена в ней, но не в своих словах. «Может, для того я танцую,—репетирует она про себя,—чтобы свет ни в чем меня не попрекал. Чтобы на то время, пока я танцую, он забывал, что во мне есть плохого. Так нередко рождается искусство».

— Не знаю для чего,—сдается она, ей не сладить с этим заумным лексиконом. Она все обращает в шутку.—Но могу потанцевать с вами.

После выпитого Кристина Медекша становилась нервной и бестактной. Если двое уединялись, это выводило ее из себя, и она их разводила. Проносилась по всем комнатам, всюду совала нос под каким-нибудь предлогом. Могло показаться, что она пришла с дюжиной сумочек, так как одна, пожалуй, не успевала бы так часто теряться.

— Знаю,—кричала она,—я оставила ее у камина!

Ничего подобного. Зато там, в большом, двойном кресле, нашли приют Мина Зайончковская и Говорек.

— Должна вас побеспокоить,—а пока они стояли по сторонам, дожидаясь, когда она кончит обшаривать кресло, Кристина то и дело выпрямлялась, чтобы их успокоить. —Минутку, сейчас вы займете свои места. Я уже покидаю вас, мои золотые.—Затем, скорее возбужденно, чем шутливо.—А вы помните,—спрашивала,—как вы сидели?

И заталкивала их в кресло, прижимая друг к другу, превращая их в игрушку, в какую-то детскую игру, когда надо сложить что-то по прилагаемому образцу. Переплетала им ноги.

— Ах,—попискивала она,—еще подушечку под голову.—Заставляла их повернуться лицом друг к другу, крестя им лбы.—Ну, спокойной ночи!

И с высунутым языком летела в соседнюю комнату, пересказывая все первому же встречному. Ей казалось, что она чудно веселится.

— Ваши волосы и глаза час от часу становятся все чернее,—этими словами задержал ее подле себя Костопольский.—И так каждую ночь?

Кристина в подобном сегодняшнему состоянии все ей непонятное истолковывала как намек эротического свойства, а выпив несколько рюмок, она уже вообще ничего не сообщала.

— Каждую ночь?—повторила она и громко рассмеялась. Когда Кристина ни слова не понимала, она обычно подхватывала последнее, что слышала, как ей казалось, саму соль.

— Вы смеетесь.—Костопольский смотрел на нее с удовольствием, которое слегка омрачалось сознанием, что время не позволит ему это удовольствие приумножить.—Я ведь серьезно!

Она и сама не знала, что говорит, но получилось к месту:

— Мне все равно. Когда мне весело, я смеюсь и над серьезными вещами.

Но на самом-то деле она не смеялась и над веселыми, ибо смеялся у нее только рот. Горло ее душил уже не смех, а тревожившее ее возбуждение, которое всякий раз мешало ей искренне отдаваться развлечению,—так боль в сердце может отогнать сон.

— А что же в вашей жизни самое серьезное? — Костопольский в тот вечер заговаривал со всеми, кому было весело.

Он так мечтал, чтобы они помогли ему стать одним из них. Но решение, которому он не помешал созреть в себе, воспрещало разрастаться зернышкам радости, которые он хватал. Его занимал отъезд, все, с ним связанное, было не просто. За годы своей политической карьеры он накопил кучу денег. Он боялся попасться, переводя их за границу. Ни один способ не казался ему безоговорочно верным. А тут еще надо было спешить.

— Политика,—продекламировала Кристина,—для меня единственно серьезная вещь!

— О, трудно поверить, но они стали еще чернее,—снова удивился глазам Кристины Костопольский. И тотчас же вспомнил—этим он, кстати, постоянно утешал себя,—что будет приезжать. Как только обоснуется, устроится, разок-другой как-нибудь приедет в Варшаву, просто так. Не сразу! Но надежда на это не отменяла и некоторых сомнений. Как люди, самые близкие, расценят его отъезд из страны? А если посчитают это бегством? Тогда произойдет разрыв— Костопольский нахмурился. Кристина это заметила.

— А у вас,—закричала она,—мысли становятся все чернее.

— Вот-вот будут розовыми,—пробормотал он.—Так уж настроила меня эта ваша политика.

Он знал о ее национал-радикализме.

— Вы против нас?—спросила она.

Он содрогнулся. Вспомнил, как умирала его мать. Доктора мучили и мучили ее уколами. Отец схватил одного из них за руку и попросил: «Дайте ей спокойно умереть».

— Нет,—ответил он и, пока произносил это коротенькое слово, проверил, так ли, и согласился, что так оно и есть.— Я был у власти во времена, когда о молодых не говорили. Мы сами ими были. А вы—детьми. Так что не могу привыкнуть к тому, что надо вас бояться.

— А нас кто-нибудь боится? — Кристина задала этот вопрос наверняка. Она любила слышать в ответ, что да.

— Вы будущее,—объяснял Костопольский,—а его все боятся. Не именно вас.

— А мы совершенно ничего не боимся! — Кристина, задетая за живое, перешла на крик.— Мы знаем, что лучше вас разбираемся, что такое государство. И государство в нас разберется.

— Государство! — Костопольский задумался. Сколько же сот раз в своей жизни он произносил это слово. Заклинал им. Что оно для него сегодня? Опять слово, написанное на бумаге, линия, идущая вниз, указывая путь к упадку. Мог бы он к давней своей страсти вернуться? Власти ему не было жаль. Минута, когда он ее утратил, оставалась для него по-прежнему горькой, он чувствовал ее вкус, просчитался, вот и все. В собственной судьбе он вычеркнул бы сам факт отставки, но не старался бы ничего вернуть. Он уже не верил. По тысяче причин родина его не устраивала. Он пробовал защитить ее от себя. Ему даже удавалось поддерживать в себе веру, но всякий раз только в одном каком-нибудь пункте. Оставались другие. Он обращался к ним. Тогда рушился тот, единственный. «Государство! — неприязненно подумал он, — великое ничто».

А Кристине казалось, что ему не хочется с ней разговаривать.

— Вы, господин министр, что-то нелюбезны ко мне с этой вашей мудростью.

Костопольский сказал, почему ему не хочется говорить:

— Я, видите ли, поклялся, что буду пугать. Кто-то из прежних моих коллег назвал меня Кассандрой. Кассандра прощала детям, пугала вождей.

Кристина удивилась:

— Так нам сначала надо подрасти?

Он возразил:

— Прежде всего им. Дорости до ситуации. Вы — дальний план. Я пугаю ближайшее будущее.

— А если бы его отдали в наши руки.

Страус прячет голову в песок, король во время революции отрекается от престола в пользу малолетнего сына, страна, оказавшись над пропастью, на помощь зовет молодых! — подумал он.

— Я здесь уже ничего не значу, — сказал Костопольский. — Но не советовал бы.

Одни планеты от земли дальше, другие к ней ближе, но всегда они страшно далеки от нее, так и детям, подросткам, молодежи страшно далеко до искусства управлять. Он никого не видел за пределами своего поколения, хотя ведь именно оно выросло на пустом месте. Он помрачнел, прислушался, как будто хотел услышать совет насчет будущего. А тут изо всех комнат неся в гостиную крик. Один другого стремился переорать, и не только словом, но и смехом. То и дело кто-то закатывался или начинал хлопать в ладоши; казалось, какая-то женщина вопила так, что нельзя было понять, кто. Только когда голос стих, стало ясно, что это Мотыч.

— Молодые, — закончил он свою мысль, — существуют для того, чтобы завоевывать, старые — чтобы сохранять в целости. Время, которое наступает, принадлежит старым, ибо это будет время обороны.

Улыбнувшись Кристине, Костопольский как бы улыбнулся и Ельскому. Он был его кредитором. Рекомендовал его в президиум, помог отыскать должность, сделал его правой рукой министров. Костопольский полагал, что за него Ельский дал бы себе отрубить руку.

— Я не вообще против старых,—выпалила Кристина.—В некоторых случаях молодые могут использовать их.

Но теперь уже Костопольский улыбнулся просто Ельскому, ибо начал с ним одну игру. Несчастные мои сбережения, говорил он ему неделю назад, должны, такое я принял решение, оказаться за границей. Он знал, что Ельскому трудно будет отказаться, тем более что дело это он мог бы сравнительно легко устроить. Именно он ходил из президиума в министерство иностранных дел выправлять чиновникам паспорта. Взял бы такой паспорт для Костопольского, вот и все дела. Важная фигура, в недавнем прошлом сановник, ему дадут министерские бумаги со всеми почестями. Пусть берет с собой что хочет. На улыбку Ельский ответил покорным выражением лица. Со всевозможной вежливостью выкручивался, как только мог. Боялся. Сам Костопольский говорил, что за ним ходят по пятам. А если его сцапают на границе с этими деньгами и дипломатическим паспортом, на который он потерял право, Ельский окажется в глупом положении.

Костопольский вперил в него свой тяжелый, тягучий взгляд. Догадывался, что Ельский все еще относится к нему с уважением. Недавно разрешил немного проводить себя. Ельский в толпе отыскивал знакомых, и хотя Костопольский никогда не видел, как он раскланивается, почувствовал, что эти его сегодняшние поклоны необычны. Значил он еще что-нибудь для него? У Костопольского были друзья очень высоко. Общепринятым было не считаться с его мнениями, но не с капризами. Ни один министр финансов не принял бы от него совета, касающегося финансов, но любой принял бы чиновника, которого Костопольский рекомендовал. Уклоняться от его влияния и оказывать ему мелкие любезности—таков, видимо, был наказ, как вести себя с бывшим сановником. Костопольский понимал это, злился, но так вяло, что, если бы не его зуд протестовать, как знать, нельзя ли было бы принять все это только за грусть?

Он напоминал смятенного революцией, но любимого крестьянами помещика, которому в память о прошлом оставили право собирать на лугу цветы. Костопольский не собирал. Ни во что не вмешивался. Не давал указаний, не суетился по мелочам, не выдвигал и великих проектов. Никто не знал, что он думает, нельзя было догадаться, каким он стремится предстать во мнении других: тем ли, кто еще многое может, если захочет, или же тем, кто уже совершеннейший ноль. Но даже если бы правдой было это последнее, Ельский все равно не перестал бы гнуть спину

перед своим бывшим министром. Он не рассчитывал на его помощь ни в чем, но ему и в голову не приходило, что тот мог бы ему навредить. Просто он помнил Костопольского, как никого другого. Первую женщину не забывают, точно так же и чиновник не забывает своего первого начальника. Для Ельского это был Костопольский. Знакомство с теми, кто приходил ему на смену, сделало Костопольского в глазах Ельского единственным начальником, которого он уважал. Ни о ком после него он уже не мог сказать, что видит лучше, шире, глубже. Из кабинета Костопольского он всегда возвращался с ощущением, что человек этот как бы смотрит с башни или через микроскоп. Следующий директор поразил его. Они с Ельским подходили к делу одинаково. Но потом удивление стерлось, стерлись и воспоминания о Костопольском. И Ельский стал тогда считать, что у них с новым директором зоркий взгляд, тем более что, по мнению нового шефа, Ельский был необычайно способным чиновником.

«Не устроит!» Выражение лица Ельского привело бывшего министра к такому выводу, и он перестал сверлить его взглядом. Бойся! Чего? Да, тут он похож на всех остальных, думал Костопольский. Не до меня, страшящегося катаклизма, когда все они опасаются чепухи. Это ужасно — стать, как я, например, функцией чьего-то страха. Как же тяжел всякий чужой страх. Ему бы только завладеть человеком. Попробуй-ка его потом тронуть. Не буду пробовать. Поищу другой выход.

— Но, но, — закричала Кристина, — интересные вещи обнаруживаются. Господин министр — наш враг.

В глазах Костопольского, смотревшего на Ельского, появилось что-то, напоминающее удивление. Так он, значит, с ними. Ельский заметил это и торопливо поправил:

— Ваш враг, ваш!

Тон Кристины стал серьезным. Насчет неприязни Костопольского, просто она хотела пошутить. А тут Ельский вдруг ее поддерживает.

— Ну, вот видите, — вздохнула она.

Но Костопольскому такой поправки было мало. Он почувствовал, как можно подобраться к Ельскому. Глядя на него исподлобья, он спросил. Кристина не дала ответить:

— Владек? Ну конечно же. Она питает к нам слабость. — И потом, немного кокетничая: — Но, может, я компрометирую вас в глазах господина министра?

Костопольский возразил:

— Людей с большим удельным весом в пустоте не удержишь. Чем больше пустоты в середине, тем большее их число тянется к крайностям.

— Разве это несчастье? — допытывалась Кристина.

— То, что каждый думающий человек симпатизирует у нас какой-нибудь нелегальной партии! Она об этом спрашивает?

Кристина, не подумав, бухнула, что да.

Костопольский покачал головой.

— Самое паршивое, что на легальные партии ни у кого нет аппетита. Я-то знаю.

Он умолк, не высказал своей мысли до конца. Вокруг женщины—кровь с молоком, а ты живи с призраком, вот что такое санация, если уж кто хочет в образной форме охарактеризовать ее идеологию. Он бросил еще одну общеизвестную истину:

— Только религия способна выкорчевать суеверия, рационализм—никогда.

Кристина пошла в наступление:

— Так мы—суеверие?

Он не возразил. Так уж случилось, что сегодня вечером все неприятные для себя истины ей приходилось изрекать своими собственными устами. Наперекор такому стечению обстоятельств она торжественно заявила:

— А я вам объявляю, что мы—религия!

Костопольский молчал.

— Разве неправда?—Кристина потребовала помощи от Ельского.—Признайте же, что мы—религия, и признайте также, что мы в последнее время немножечко обратили вас в нашу веру.

— В последнее время?—вслух размышлял Костопольский. Перевел взгляд с Ельского на Кристину, затем снова на молодого человека. Пара, не пара?—попытался он разобраться в их отношениях. Пара!—решил Костопольский и улыбнулся Кристине.—Мне кажется,—заявил он наконец, опустив голову, словно старелся откуда-то с самого дна памяти вытащить какое-то воспоминание,—вы, господин Ельский, всегда были немножечко националистом.

Ничего подобного. Но хотя Ельский и подумал так, у него даже не дрогнули губы. Он знал, чем обосновывал Костопольский свое суждение—его первыми шагами в министерстве. Для тогдашнего начальника отдела кадров каждый вновь принятый был подозрителен. А поскольку в те времена эндеция считалась самой подозрительной ориентацией, Ельский и показался ему—пока он с изумлением не убедился в том, что в корне ошибся,—скрытым националистом, о чем он и оставил соответствующую запись в деле. И хотя Ельский вел с Костопольским разговоры лишь на служебные темы, Костопольскому, видно, показалось, что от них пахнет левизной. Он сопоставил это с персональными данными, и тогда Ельский представился ему человеком со светлой головой, думающим парнем, хотя тот просто-напросто высказывал банальности—в неожиданной для Костопольского манере. И вот теперь опять высосанное из пальца мнение бывшего начальника отдела кадров—видно, о последующих, опровергавших их, Костопольский забыл,—принесло Ельскому выгоды. Он вырос в глазах Кристины.

— Ну,—крикнула она,—теперь я все поняла, и вам незачем признаваться.

И протянула министру руку.

— У меня есть свидетель.

С отвращением, вызванным тем, что он с помощью лести подбирает ключи к Ельскому, фигуре такой незначительной, Костопольский процедил:

— В те времена, когда мы работали вместе, позиция господина Ельского казалась мне достаточно смелой, сегодня она уже не шокирует, а завтра, возможно, шокировать будет любая.

Он не мог отделаться от неприятного ощущения, что унивился до подобных слов. Они прозвучали печально.

— О! Какое же отчаяние в вашем тоне!—Кристина встревожилась. Она подумала, что Костопольского пугает его судьба при будущих порядках. Кристина полагала, что вправе его утешить.— А вы у нас на очень хорошем счету.

Это вышло так по-детски, что Костопольский перевел все в шутку.

— Стало быть, у вас я могу рассчитывать на покой?

Она не поняла и полезла дальше.

— Даже на большее, на пост.—Она очень серьезно сообщила ему о такой перспективе.

И тут Костопольский вдруг обратился к Ельскому.

— Что с паспортом?—спросил он и зло посмотрел прямо в глаза Ельскому, скривил губы, словно улыбался, процедил сквозь зубы:—Мне надо немного проветриться, отдохнуть, раз уж я получил от вас, Кристина, такое обещание.

Ельский смутился, он еще не принял решения, но теперь уже поздно хитрить. Костопольскому не нужен обычный паспорт, который Ельский совал ему в руки. Ему хотелось дипломатический. На каком основании?

— Вы позабыли,—и в голосе его прозвучал упрек.

Он хорошо знал, что это не так. Нелегко позабыть Костопольского, который подбивает на злоупотребление. Зачем он ему открылся! Ельский пытался еще хотя бы на секунду оттянуть ответ. Как неделю назад. Тем самым он укреплял у бывшего министра уверенность в том, что что-то удастся сделать.

— Позабыл!—вмешалась Кристина и, негодуя на подобную рассеянность, надула губы:—Как же можно.

Ельский чувствовал, что сейчас ему, во всяком случае, никак нельзя возвращаться к существу дела. И вообще иначе, кроме как с глазу на глаз с Костопольским. Почему же он сразу его не отшил? Когда только спустя какое-то время говорят «нет», то уже в этом есть частичка обещания. Что-то, позволяющее надеяться. Теперь он расплачивался за свою мягкотелость и услужливость.

— У меня были кое-какие трудности!—начал Ельский.

Но Костопольский преградил путь всем подробностям. Боже милостивый, он еще, пожалуй, скажет, что они связаны с его особой.

— Меняют форму печати, чиновник, ставящий подпись, заболел, бланки кончились!— он пренебрежительно махнул рукой.

И не спускал с Ельского своих цепких глаз, не позволяя ему проронить и слова.

— Загляните ко мне завтра,—предложил он, потом задумался, жестом попросив помолчать, делая вид, что вспоминает, свободен ли, а ведь ради этого паспорта он бы все бросил. Свободен! И Костопольский повторил:—До десяти я не выйду из дому.

Ельский старался сократить поездки в город. Попытался договориться о встрече до работы.

— Отлично!—сказал он.—Ничего, если в половине девятого?

Костопольский пожал плечами. Любезно договаривается о часе, когда придет отказывать! Он разозлился. Как бы не так, его всего трясло от ярости. Подмажу, а заставлю! Он презрительно посмотрел на Ельского, словно сопротивление, которое тот оказывал, говорило о низости его натуры.

— А помимо того у вас никаких трудностей нет? Точно нет? С самим собой?!—спросил он неприязненным тоном, в котором слышались какие-то намеки, угрозы, предостережения. И добавил:—Во всяком случае, до отъезда вы можете располагать мной.

Костопольский ушел. Ельский вдруг почувствовал себя брошенным. Так бывает с каждым при соприкосновении со злом. Своим собственным или чужим. Оно вызывает ощущение одиночества. Костопольский был для него великим человеком, и смотреть, как он совершенно сознательно идет на злоупотребление! Упал, а теперь разваливается на куски. Кристина ничего не поняла. Женщина не чувствует величия в чужом мужчине, она видит его только в своем. А может, от непосвященной и нельзя требовать, чтобы она разобралась в смысле сказанного Костопольским, который обещал взятку и шантажировал. Ей надо простить, что она не возмущена. Ельский снова возвращается в мыслях к бывшему министру. Ну что ж! Он хочет удрать отсюда. Кто улепetyвает, тот должен сжаться в комок. Достаточно ли это для объяснения того, что он не сумел сохранить своего лица?

— Идем?—торопила Кристина Ельского.—Остаемся?

А он не двигался с места. Все еще был под впечатлением разговора с Костопольским. Он пытался положить себе торт, но кусок то и дело сваливался с вилочки. Ельский повторил эту операцию несколько раз. И каждый раз рот его, который он машинально открывал, так и закрывался ни с чем.

— Я так рассчитывал на этот вечер с вами!

— И ничего?—рассмеялась она.

Он возмутился. Мужчина, если уж ему нечего сказать,

молчит, женщина—смеется. Ну и что? Почему это так его задевает? Он не женщина, не отвечает за них. Какие есть, такие и есть. Вот на чем ему надо успокоиться! Быть с той, которую он выбрал. Разве это не наслаждение? Очень хорошо. Но быть, подумал он, недостаточно. Нужно так изменить ее, чтобы стало возможным общее счастье. Он погрузился в свои мысли. Что, в конце концов, для него Кристина? Мысль, которая приходит в голову чаще других. А когда она рядом и перестает быть мыслью, что она приносит ему с собой? Радость, нежно ласкающую сердце, но такая она легкая, что ее уносит самый слабенький ветерок. И сегодня так?

— Всякий раз, как я вас вижу, я волнуюсь, словно в первый раз, словно он должен быть и последним!

Она недоверчиво отнеслась к его словам.

— Откуда это?—спросила.—Из какой-нибудь книги?

Он обиделся, но тут же и сам усомнился, его ли это слова.

— Я так чувствую. Вы помните, как мы познакомились?

Кристина ответила:

— А как же! Мы всегда вспоминаем этот день.

Однако, будь они действительно так уверены в настоящем, они не призывали бы тот день в свидетели. Все, что произошло потом, было неудачным его порождением. Ельский так и остался в плену первой встречи. Как она его слушала! Неужели же у него тогда даже не промелькнула мысль, что та прекрасная встреча никогда больше не повторится. И что же? Необычность Ельского потускнела, словно соблазненное целомудрие. Он перестал возбуждать в Кристине пылкое волнение. Просто вошел в ее повседневную жизнь. В их отношениях мучила его еще какая-то покорность. Тогда, в тот вечер, ничего подобного в нем не было.

— Я сразу разобралась в вас, да?—Восхищение, которым она тогда одарила его, Кристина сейчас перенесла на себя.

Она часто напоминала ему о том, что, когда она вошла в конференц-зал министерства, где все для нее казалось таким чужим, только одно тронуло ее, пробудив доверие: выражение его лица. Остальные, ну что за люди! Министр, общественные деятели, журналисты! Министр знакомил собравшихся с идеей какого-то пропагандистского ведомства, которое он намеревался создать. Кристина закрыла глаза. Фигура министра с унылым лицом огромной летучей мыши возникала перед ней, она слышала его притворно интеллигентный и гладкий голос, который то и дело проваливался или соскальзывал в свое недавнее прошлое, проведенное его хозяином между караульной будкой и солдатской столовой. Министр построил свою речь на одной метафоре, а вместе с тем и обещании, что он пойдет за лучом этой пропаганды. И перечислил, куда. Он уже был в бедной комнатенке, на чердаке, в клубе. Все дальше и дальше. Он так разогнался,

что никак не мог остановиться, то и дело заглядывая в бумажку, куда еще идти. До самых границ Речи Посполитой! И показал рукой в угол зала.

— Я посмотрела туда,— так рисовался этот момент в рассказе Кристины,— а там сидел кто-то, похожий, наконец-то, на человека. Это вы!

И она развела руки, склоняясь перед Ельским в легком поклоне.

Ельский не имел прямого отношения к организуемому ведомству, стоял в сторонке, хотел улизнуть, как только министр кончит. Он собирался в кино, но речь затянулась, он опаздывал и остался. Коллега попросил его минутку побыть у столика с пропагандистскими изданиями министерства. Кристине он понравился. Так началось их знакомство.

— Помню, как восхитило меня ваше воздушное платье,— сказал Ельский.— Вы сразу же открыли, наверное, с пяток брошюр, держали их рядом, сравнивая иллюстрации и цифры. И ваши пальцы, широко расставленные, словно вы брали аккорд. В шелесте страниц, в мелькании картинок, в том, как вы склонялись над каждой следующей книжонкой, вы были прямо-таки воплощением пылкости, а для меня впервые ясным ощущением, что одно дело—нервы, которые я ненавижу, и совсем другое—трепет, которым с той поры я обьят.

Она старалась не отставать от него в культе того вечера, когда они познакомились. Она шла за ним по пятам, от ощущения к ощущению, сквозь сонмище мгновений, которых в воспоминаниях стало куда больше, чем было на самом деле, и чувствовала себя очень щедрой. Тот день переполнял ее какой-то торжественностью и умилением.

— О! Безбожник растроган своим первым причастием,— простонал Ельский.

Она пропускала мимо ушей подобного рода колкости. Но зато воскликнула:

— Всего за час вы сказали мне больше мудрых вещей, чем я слышала за всю свою жизнь.

Однажды он попробовал вытянуть из нее, говорил ли он и потом так же. Она ответила:

— О да! Потом некоторые из них вы повторяли.

— Что же это такое,—воскликнул он,—значит, для вас человек только однажды может стать откровением. А после уж и ничем.

Кристина пообещала:

— Я непременно и обычные ваши слова полюблю когда-нибудь так же, как и те, первые.

— Это мило, то, что вы мне говорите,—вдохнул Ельский.— Да отчего же грустно? После первой встречи вы оглохли,

перестали меня слышать, вот последствия «coup de foudre»¹, если уж кому не везет.

Кристина искренне возмущилась.

— Я никого так охотно не слушаю, как вас, я привыкла к вам; как вы можете говорить подобные вещи.— И спросила:— Вы разве не чувствуете, что мы с вами сжились?

Он рассмеялся ей в лицо.

— Старая супружеская пара! Только очень странно, помолвка и сразу—золотая свадьба!

Куда девалась вся середка?

Он продолжал, словно разговаривая сам с собой:

— Сжились, сжились, да, только с одной оговоркой: вместе-то мы не жили. Физически!—И махнул рукой.— Об этом я даже и не вспоминаю, но мы же вообще так мало были вместе, не жили под одной крышей, никуда не ездили вместе. Моя любовь к вам—вечное хождение в гости. Бессмысленность моей вечной тоски, что ей следует сказать, надо ли ждать? Знаете, что такое мое проклятие? Благовоспитанность.

Он всю раскапризничался.

— Со мной к любым обстоятельствам легко привыкают. Все как-то образуется. А что это значит—привыкнуть? Остановиться. Только строптивцы продвигаются вперед. Где они, там постоянно надо искать перемен. Ну, зачем же бог сотворил меня таким покорным.

Кристина растрогалась.

— Я знаю! Знаю,—повторила она возбужденно,—чем я вам обязана, и знаю тоже, что нехорошо отношусь к вам. То как к учителю закона божьего, то как к собачонке. Хочу с вами посчитаться. И сделать это по совести. Но это все равно что самое трудное письмо написать. Почему-то хочется отложить.

— А вы, хотя бы в самых общих чертах, знаете, что в нем напишете?

— Почти что ничего!—Но потом попыталась перечислить то, что могла.—Люблю быть с вами, хорошо себя чувствую, не скучаю. Когда долго вас не вижу, начинаю тосковать. Физически!—прибавила она серьезно.

Он расхохотался.

— Ах, какой же вы ребенок!—Но по словам его чувствовалось, что он был тронут.—Физически! Вы знаете, зачем существует это выражение? Говоря о нас, вы явно слишком торопитесь его употребить.

И тем самым он остановил ее. А она чуть было не прикоснулась к нему. И уже хотела было сказать, что она чувствует в его присутствии. Он лишил ее этого слова. Она не знала другого, которое могло бы помочь ей признаться, что—ничего.

¹ Удар молнии (франц.). Здесь: любовь с первого взгляда.

— Вы не умеете стараться, вы умеете только нервничать,— пожалела она плечами.

— Если бы я хоть однажды увидел, как вы из-за меня нервничаете, я больше бы не нервничал.

— Значит, вы меня не волнуете?

Он покачал головой.

— А кто меня волнует?— вспыхнула она.

Незнакомые! Можно ли такую ревность выразить в словах. Множество близких друзей Кристины Ельского не заботили, ее тоже. По тем крикам, которыми она их приветствовала, можно было судить, что она возвращает себе то, что ей в свете дорожке всего. И все это люди, для которых уже завтра у нее не было ни минуты свободной. Такая она была прозорливая! В одном с первого взгляда она не могла разобраться: кто ей безразличен. Может оттого, что с самого начала он не выступил в роли слушателя. Ей особенно были по вкусу все приезжие, таким можно порассказать, чего душа пожелает. При виде старых знакомых, которые сегодня о Кристине знали лишь с пятого на десятое, в ней словно прорывалась плотина. Тут она впадала в такое восхищение собой, что прямо теряла способность что-нибудь замечать вокруг. Человек уходил, а Кристина так была упоена собственной болтовней, что даже не успевала как следует его рассмотреть. Только однажды Кристина сказала собеседнику, что он изменился,—это был какой-то поручик, который после того, как упал с лошади, стал глуховат. По-настоящему же, во все глаза Кристина разглядывала только тех, с которыми она не могла поговорить. То есть людей, с которыми она лично знакома не была. Ельский не раз ревновал ее именно за то, как она поедала взглядом совсем чужих ей людей. Он не знал, что только такой взгляд всегда искренен и выдает вождество.

На него она так не смотрела! Так пусть бы и для других погас этот взгляд! Среди горьких воспоминаний Ельского была и такая картинка. Они в небольшой компании; между ним и Кристиной студент из провинции, который принимает горячее участие в споре. Кристина смотрит, и в сверкающих ее зрачках Ельский улавливает мужской профиль, словно барельеф, ее кошачьи, с густыми ресницами глаза скользят по нему. Горят. Ельский не может привлечь к себе их внимание. И до сих пор видит это лицо, как бы отпечатанное на медали. Потемневшее, стершееся в воспоминаниях. Только взгляд Кристины, брошенный на того, чужого, по-прежнему полыхает и обжигает.

— Нет у меня к вам подхода,— любовный гимн всегда походил у Ельского на плач.— Хожу вокруг да около. Вы привыкаете к тому, что я рядом. Неизменно рядом. Что мне сделать, чтобы нацелить вас на себя. Чтобы ваше, самое дорогое для меня лицо, когда вы захотите взглянуть не на меня, должно было бы отклониться от своего естественного положения?

Кристина ответила:

— Вы знаете, у меня никого нет.

— Но у меня нет вас!— восторженно воскликнул он и сложил руки.— Я, словно собака, вечно при вас, а в вас все в ожидании кого-то другого, в конце концов он появится, и роль моя будет сыграна.

— Вы всегда останетесь другом!— это должно было быть приятное слово.

Он взорвался.

— Не останусь. Меня не устраивает болтаться в вашей свите.— Злость свою он сорвал на брюках, вцепился в них на бедрах и обтянул.— Я вас хочу.

Но это был гнев, а не страсть. Он угас бы, скажи Кристина, что она согласна на помолвку. Ничто другое его не успокоило бы. Впрочем, такая развязка казалась ей вполне возможной. Женщина скорее из сострадания выйдет замуж, чем просто отдастся.

— Знаю, что вы мне скажете,— он весь кипел.— Что у меня нет соперника. Знаю! Только я и сам не соперник. Мне надо ждать. Могу! Но лишь бы не на одном месте. Я должен чувствовать, что иду вперед. Вы ведь это понимаете! Пожалуйста, положи руку на сердце, скажите мне, я продвигаюсь?

И он застыл, напряженно ожидая, что она теперь скажет.

— Послушайте, Владек, я принимаю вас у себя в гостиной охотнее, чем кого-либо еще.— Этим ничего нового она не прибавляла, пальцы Ельского опять соскользнули по сукну брюк вниз.— Вы ведь и сами лучше других знаете, что стали своим у меня в доме. Вы хотите тотчас же удалиться, как только я пушу кого-нибудь в спальню. Успокойтесь. Никого нет даже под дверьми.

— Я!— закричал он и принялся барабанить пальцами по столу, требуя от Кристины внимания к себе.— Я!— повторил он с силой и добился того, что глаза ее потеплели.

Его руки, словно неоперившиеся еще птенцы, взметнулись вверх и тут же рухнули на колени. Он почувствовал в Кристине какую-то перемену. Боялся вывести ее из такого состояния. Но ему, а не ей миг этот казался сном.

Как он сегодня буен!— удивилась она. Он бывал таким! До сих пор, правда, она сразу же догадывалась, что это в основном нервы. И тогда возбуждение у Кристины моментально гасло. Все исходило от ее экзальтации, наслаждение могли дать ей лишь сила и уверенность. Физическое удовольствие было для нее передышкой и отдыхом. Если, разговаривая, она переставала набрасываться на собеседника, значит, ей вспомнился чей-то поцелуй.

— Вы слишком мало рассказываете мне о себе,— заявила она и вся как-то затихла, будто готова была слушать.— Все только о политике.

- Это вы!— Он переложил вину на нее.
- Знаю!— согласилась она.— Надо все переменить.
- Решительно.

Теперь она взяла на себя его роль. Указывала на ошибки в их отношениях:

— Ведь мы словно ведем друг с другом служебные разговоры. Все о деле. Никогда не остаемся наедине, без него.

Они перешли в сад, туда, где час назад стояли Тужицкий и Товитка.

— Вы словно созданы для меня и поняли себя только со мной!— начал он, когда они остановились.— Правда, когда у меня над головой эти звезды, а вокруг такая тишина всего мира, мне хочется сказать, что бог вас для того и создал. Дивную!

Он растрогал ее, теперь очередь была за ее строфой.

Какая-то парочка прошла совсем близко, направляясь в глубь сада, закрипел гравий.

— Это странно.— Для разнообразия Кристина принялась обсуждать его положение.— С тех пор, как я вас узнала, все мои флирты пошли на смарку. Никто уже не хозяйничает в моем сердце. А по правде должна сказать, что и с вами я не флиртую.

— Я регент.

Кристина отыскала в этой метафоре то, что смогло бы его утешить.

— Но такой, который отобрал все права у предыдущей династии.

— Не для себя. В моих отношениях с вами что-то есть стариновское.

Но сегодня Кристина упорно держалась мысли, которая вдруг осенила ее вечером. Она действительно после того, как появился Ельский, утратила вкус к свиданиям и флиртикам. Обходилась без них. Охоты не было. Вернее, она поослабла. Так прекрасно умела некогда подыгрывать мужчине в завязывании близкого знакомства. «Мы словно хорошо подобранные лошади,— сказал ей однажды кто-то, с кем они отправились в лес целоваться.— Тянем вместе». А теперь вот она перестала. Не могла заставить себя никому аккомпанировать. Каждое приключение обрывалось, не успев начаться. Ельский страдал, видя взгляды, которые Кристина бросает на других. Если бы он знал, что это из-за него ни на какие продолжения она уже не способна. Она это поняла.

— Знаете что?— воскликнула она.— Пошли отсюда! Сейчас же! Куда-нибудь, без них всех. Напьемся вина. Надо чем-то подстегнуть нашу любовь. Может, температура у нее тогда подскочит.

Ельский покраснел от стыда. Он вспомнил, как однажды на обратном пути из Свидра, куда они ездили, Кристина велела ему сесть на единственное оставшееся свободным место, а сама пошла в соседнее купе, где также якобы было только одно место. В

Варшаве он убедился, что она всю дорогу стояла. «Я в сто раз выносливее вас!» — накричала она на него. Сейчас он чувствовал себя так же, как и тогда.

Он взял ее под руку.

— Бежим, — произнес он каким-то безжизненным тоном.

— Только не натолкнуться бы на папу! Он, кажется, уже собирается и страшно любит возвращаться вместе со мной.

Выпить вина! — размышлял он. Вот наш путь, он способен привести ее ко мне, меня к ней. Это не произойдет само собой. Тут нужны подпорки. Он опечалился. Как бы ему хотелось, чтобы они сблизились по желанию, подогреваемые влечением друг к другу, уступая нашептываниям страсти, просто самой чистой природе, ничем не подстегиваемой. Но что же такое церковь, подумал он, зачем венчанье? Тоже средство для тех, кто недостаточно пылок, кого лишь священник берет за руки. Их должно было взять так вино.

Костопольский подморгнул ей.

— Чего он хотел? — спросила она Ельского бездумно. Зачем же я мучаю его сейчас этим? — спохватилась Кристина. Чтобы освободить его, ответила она сама себе. — Какую-нибудь бездельницу, наверное.

Он гордо возразил. Вся его бдительность в этот миг улетучилась.

— В том-то и дело, что нет. Я мог бы ему помочь в афере, по меньшей мере миллионной.

Кристина так не привыкла устраивать денежные дела, что мысль об отъезде Фриша продолжала терзать ее. Может, Костопольский даст!

— Устройте вы ему это. — Кристина загорелась своей идеей. — А взамен я велю ему кое-что дать нам. На ту поездку, о которой я вам говорила. Милый вы мой!

— Поговорим об этом, — пробормотал он.

— Но я прослежу, — запищала Кристина.

Они торопливо одевались в прихожей. Всяких там объятий в пути она не любила. С ним? Он подозревал, что не со всеми. Несовершенство их отношений всегда немного его печалило. Но сейчас он прямо-таки окаменел, поняв, что этим придется и удовольствоваться. Большого им вместе не сварить! Теперь уже не трезвость, а настоящая стужа в его душе не позволила бы ему прикоснуться к Кристине. Он чувствовал, что это он сейчас бы замер, если бы она прижалась к нему в автомобиле. Он поверил в вино, как падающий с ног от усталости человек отдает себя во власть другого. Погруженный в эти мысли, Ельский замешкался.

— А я, а я? — Они повернулись. К ним бежал отец Кристины. — Министр Яшча спрашивает о вас, — передал он Ельскому. — Домой? — обратился он к дочери.

Он догадывался, что в чем-то помешал им, но позволил себе

подчиниться собственным желаниям.

— Я так люблю вечером потолковать с дочкой.— И добавил еще в свое оправдание:— Завтра я еду в Брест.

Ельский не противился. Подождал с минуту, что тот скажет. Не взглянув на нее, помог князю надеть пальто.

— Ну, так до завтра!—Только тут он вытаращил глаза, не мог выдать из себя ни слова; вспомнил, что старик против целования барышням ручек, и потому только крепко стиснул пальцы Кристины.

Что это меняло в принятом ими важном решении? Они пришли к нему против воли, но—вот так, если учесть все обстоятельства. Дело откладывалось. Ничего не пылает. Можно в любой вечер. Кристина не чувствовала, что именно сегодня она особенно податлива. Настроение и разговоры с Ельским привели ее к решению. Она была уверена, что все происходило наоборот.

— Вы остаетесь?—спросила она.

Знала, что он будет не в своей тарелке, если поедет с ними. Отец сразу поймет, что Ельского что-то гнетет, начнет выпытывать. Но она прекрасно понимала, что он вправе идти за ней.

Медекша искал палку.

— Может, вы хотите остаться?—пыталась Кристина помочь Ельскому.—Если Яшча вас ищет. Ведь наш процесс по ведомству этого министра... Правда?

Он подождал, пока они уйдут. Запутался совсем, сам не знал, что делать. Да еще эта неприятность на прощанье, как знать, может, она хотела, чтобы он вернулся, предпочтя его обществу делу. По-видимому, она думала, что ему удастся как-нибудь напомнить о Брамуре.

На улице, рядом с отцом, Кристине стало весело. Не только он обожал разговаривать с нею по вечерам, она с ним тоже. Он, однако, отдавал себе в этом отчет и на людях, а она—лишь когда они оставались наедине. Он огляделся, нет ли такси. Ходить ему было трудно. С отвращением посмотрел на автомобили министров. Ближе всех стоял темно-синий гигант Яшчи. Кристина устала прямо перед собой, впереди шел какой-то молодой человек, стройный, высокий.

— Пусто!—злился Медекша, думая об автомобиле.

Догонят ли они его? Что это, он сворачивает в сторону, останавливается у стены. Кристина отворачивается. Они пересекают улочку, в которую тот завернул. Вскоре кто-то их догоняет. Мотыч!

— Бегу посмотреть, есть ли в каком-нибудь ресторане свободные места, отсюда позвоню. Ну и пришло такси, тут полное безлюдье.—И потом с поразительной наивностью:—Лучше вы посторожите столик, а я вернусь за ними.

Кристине пришлось объяснить, что они идут прямо домой, а князь, не особенно скрывая своего возмущения, закричал:

— Такси!

Мотыч вперил в Кристину свои круглые синие глаза, предельно глупые. Как это, не идут?

— Нет, нет, нет!— торопилась она продырявить тишину своими отрицаниями.

Опять кто-то был с ними, и ей опять сделалось жаль, что конец вечера они проведут с отцом вдвоем.

— Но мы вас подвезем!

В такси, наклонившись вперед— он сидел напротив Кристины,— Мотыч тараторил без умолку, прижимаясь к ней ногами. Потом она почувствовала, что Мотыч положил руку ей на колени, легкую, сильную, чуть дрожащую. Решился на большее.

— Так вы не дадите себя уговорить?— он склонился еще ниже.

А в ней вдруг как-то сразу и резко пробудилось желание. Прижаться, поцеловаться. Сегодня вечером она ни за что не хочет только облизываться! Яркое освещенная площадь осталась позади. Тьма стала еще гуще, тогда Кристина провела пальцами по губам Мотыча.

— А может, зайдём?— повернулась она к отцу.— На полчаса-ка?

Князь прекрасно знал, что грубая ошибка стариков— не позволять молодым совершать мелкие ошибки. Он согласился. И тут только она подумала о том, что произошло у них сегодня с Ельским. Любовь, настоящая, большая любовь!— удивленно вздохнула она. Ничего она не может с собой поделать. Интрижка— все!

— Я самый молодой из стариков и самый старый среди молодых. Отсюда и мой оптимизм!— И Яшча расхохотался во все горло. Он выразился неточно, ибо что это за оптимизм без веры в торжество добра. Такие вещи вообще не приходили ему в голову. Но он был уверен, что его никто не сможет победить.— Моя история,— сказал он,— настоящая сказка о Золушке. В прокуратуре никто не давал за меня и ломаного гроша, но вот как-то приехал президент, поговорил и запомнил. Спустя два месяца я стал министром.

И тоже не так. Ельский знал это, но не вмешивался. Он познакомился с Яшчей, кажется, во время первого его процесса. Сразу же в судебном мире утвердилось мнение, что это выдающийся талант. Однако все то, что Яшча завоевывал себе своими способностями, он рушил своим поведением. Он был, как говорится, человеком неприятным. Во всем ведомстве о нем одном справедливо говорили, что он обладает гражданским мужеством, но при этом раздражал даже тех, кто готов был им восхищаться. Он нарочно искал случая продемонстрировать свое гражданское мужество. И нельзя сказать, что находил только удачные. Кроме

того, он презирал каждого, если мало его знал, а познакомившись поближе, сразу переходил на фамильярный тон. Из-за всего этого наверх он шел туго.

— В кабинет мне вас вызывать несподручно. Много шуму из ничего,—говорил он могучим голосом с хрипотцой.

Ельский не спускал глаз с шеи министра. Что с ней произошло? Подгрудок словно вал. Не из жира, из мускулов. Тут, наверное, размещаются, удивлялся он, какие-нибудь железы власти. Но как они разрослись! Яшча неприязненно усмехнулся.

— Это вы занимаетесь контактами с национал-радикальной молодежью, а? Чиновник по части комплиментов. Премьер вас к ним посылает или вице-премьер?

Ельский не понимал, над чем иронизирует Яшча. Он же пробивал свою кандидатуру в премьеры, пытаюсь—именно первым—взять в правительство нескольких молодых националистов. Так чего же он издевается?

— Вы там что-то путаете. Они возбуждают, а мне их потом успокаивать.

Ельский, время от времени, помогая себе жестами, объяснял, что да, поддерживаются некоторые связи, исключительно чтобы ориентироваться в изменениях идеологической атмосферы. Президиум старается иметь своих информаторов повсюду. Изучает.

— Просто для того, чтобы знать, что у нас сейчас думают,—оправдывался Ельский.

— Ничего!—И Яшча опять закатился веселым смехом.—Так вы этого еще не знаете?

Пустословие вызывало у него отвращение. А больше всего такое гладенькое. Он бурно набрасывался на своих собеседников вовсе не ради того, чтобы убедить их, но чтобы определить то самое место, где они сейчас находятся. Ему многое нравилось в животном мире. К примеру, то, что там начинают рычать друг на друга безо всяких вступлений. Но Ельский не умел так же твердо, как противник, держаться своего мнения. Крутые выражения приходили к нему лишь *ex cathedra*¹.

— Может, еще и не видно результатов,—с благородной беспристрастностью заявил он.—Но я нахожу, что у нас политическая мысль на самом деле развивается.

— Ребенок в пеленках тоже,—буркнул Яшча.—Но большой выгоды вам от этого не будет.

Ельский защищался:

— Я хожу к Папаре из собственного любопытства, но не по своей воле. Если вы, господин министр, против, я скажу моему шефу, и мы с радостью все это бросим.

Яшча смотрел на Ельского безо всякой радости.

— Да что мне ваши разговоры,—просипел он, надув губы.—

¹ Здесь: неожиданно, сами собой (лат.).

Воркуйте с ними, но должным тоном.

Ельский не понял. Это было видно по его глазам.

— Начну сначала,—монотонным, притворно покорным голосом заговорил Яшча.—Зачем вы к ним ходите? Министр посылает? В поисках политической мысли. Да? Посмейтесь-ка над этим.

Он подозревал прислугу. Велел принести пива.

— Вводить в заблуждение! Вот зачем нужны все эти церемонии. Оппозиция укрепляется во мнении, будто получит что-нибудь задаром. Силу отставляет в сторону.

Выпил пива, поморщился.

— Теплое!—Он выругался.—А теперь сила. Вы в нее верите? Есть она у них, а?

Ельский понимал, когда или начальник ему что-нибудь поручал, или некто равный что-то объяснял. Но в разговоре с Яшчей он терялся. Его рассуждения облекались в форму приказа. Ельский не мог выдавить из себя ни слова, только губы вытянул трубочкой, готовясь ответить. Слишком поздно. Яшча не собирался ждать.

— Никакой! У молодежи ее нет. Что это такое на нас, зрелых людей, нашло, отчего мы вдруг сразу напугались. Подражателей! Собственной тени! Такого никогда не бывало. Знает история такое, чтобы молодежь свалила правительство? Прошу покорно! Последняя авантюра в университетском дворе. Вам это напоминает революцию, а мне паузу. Я и сам принадлежал к молодым, совсем не так давно, чтобы принимать их всерьез. Я надежды не теряю. Так что все ваши связи с Папарой ошибка.

Ельский решил на афоризм:

— Ошибку можно совершить лишь в отношениях с более сильными. А вы, господин министр, говорите, что Папара слаб.

— Ибо не взорвется. Кто решается на переворот? Только тот, у кого нет другого выхода. А у молодежи он всегда есть. Ждать!

Ельский возразил.

— Да вот душа ей этого не подсказывает. Когда человек доживет до семидесяти, ему кажется, что на все есть время, а когда вам двадцать, вы думаете, что нельзя терять ни мгновенья.

Яшча пожал плечами.

— Переворот происходит не потому,—сказал он,—что кто-то торопится, а потому, что ему так надо.

— Но ведь ощущается напор молодых.

— Молодежь—это проблема должностей, а не проблема мест.

Ельский содрогнулся, но отрезал:

— Но ведь это вы, господин министр, уговаривали премьера дать места нескольким самым выдающимся радикалам-националистам.

Яшча принадлежал к людям, которые чем больше смущаются, тем больше шумят.

— Ибо я хочу восстановить спокойствие. При случае и в

университетах, но прежде всего в сердцах господ министров. И всем растолковываю: не бояться, и не будет никаких авантюр.

Он следил за Ельским. Немногое он мог вычитывать в его глазах, но уже понял, что за ними что-то прячется. Его передернуло. У Яшчи вызывали отвращение люди типа Ельского. В его министерстве сидел такой. Он называл его: «сын серого превосходительства». Тип чиновников, занимающих одну из нижних ступеней служебной лестницы, но очень хорошо обо всем осведомленных. Они помешаны на государственных секретах. Да и каким путем раздобытых — умом или пронырливостью; он наблюдал, как затем они, очарованные знанием тайны, суются бог знает куда, шастают бог знает где. Заязывают всякие закулисные связи как во сне, словно лунатики.

— Есть у вас дети? — спросил он. Ельский отрицательно потряс головой. И в глазах Яшчи это Ельского оправдывало. — Так вы можете и не знать. — И предостерег на будущее: — Но когда они у вас появятся, не позволяйте, чтобы с ними играл кто-нибудь чужой. Разбалуются, и вы с ними не справитесь.

Ельский понял смысл этого образа, отнюдь не смешного, однако вопрос, который он вознамерился задать, надо было непременно сопроводить улыбкой.

— Значит ли это, что премьер — особа для молодежи чужая, а министр юстиции — своя?

Яшча сухо ответил:

— Свой — это всякий, кто постоянно ею занимается.

Он насупился, понял, что сказал вздор. Ельский ожидал такого рода фразы. Она показалась ему самой уместной из всех возможных. Министр открылся, что он, в конце концов, имеет в виду. В дела молодежи должен вмешиваться только он один. Ельский сказал об этом вслух:

— Так, стало быть, по вашему мнению, господин министр, молодежными пьесками должно заниматься лишь одно ведомство.

Яшча его поправил:

— Один человек.

И умолк. У него не было намерений исповедоваться. Он обращал внимание других, чтобы они перестали грешить. Он мечтал о покое. Не затем делаешься министром, чтобы тревожиться. Он понял, что был самым смелым из всех. Не заметил опасности. Она казалась ему пугалом. Для верности решил взять ее в свои руки. Для других коммунистическая работа связывалась в какое-то одно целое. Он смотрел на нее, как на несколько десятков процессов в год. Подобным же образом подходил он и к деятельности национал-радикалов. А от нее перешел к молодежи. Не всех упрямцев он сажал в тюрьмы, некоторых усаживал за стол. Теперь он вбил себе в голову сделать Папару вице-министром, своим заместителем. Чтобы достичь большего эффек-

та, он требовал вообще на некоторое время оставить молодежь в покое. А премьер ворошил ее.

— Один человек,—повторил он,—это и для порядка, и для приличия. Пусть события выберут себе государственного деятеля. Отдать ему всю молодежь, а у остальных пусть об этом перестанет болеть голова.

У Ельского вырвалось:

— Собственно, этим должен заниматься министр просвещения.

Яшча обрушился на это мнение, он был явно готов к отпору. Видно, недавно оспаривал его.

— Да нет,—воскликнул он,—нас тут вовсе не занимает, как молодежь учится! Если бы речь шла об этом, никаких проблем. Но ведь она к тому же еще как-то ведет себя. А это уже не школа, где одни и те же отметки ставят и за учение, и за поведение. В более зрелом возрасте оценки уже даются разные. Одни выводит учитель, другие—суд. А значит,—он ткнул себя пальцем в грудь,—я!

И был так доволен своим выводом, что одним глотком допил пиво.

— Ну что?—Он добродушно попробовал растормошить Ельского.—Вы тоже принадлежите к запуганным? Это все газеты. Да еще,—он повеселел,—близость к молодежи. И разговоры. У меня такого чувства нет. А знаете, почему? Просто я не вязну в проблемах.

Он втянул голову в плечи. Как бы уместил ее на пьедестале из подбородков и продолжал басить.

— Мир идей? Да, разумеется! Но всех сразу. Одна загадка возбуждает мысль. Десять сразу ее угнетают. Точно так же, если к одной вещи отнестись серьезно, это бодрит. Если же так относиться ко всему—можно пасть духом.

И отважился на следующий парадокс:

— Подходить к каждому вопросу всерьез—наихудшая форма легкомыслия.

Ельский облегченно вздыхал, когда Яшча переходил к замечаниям общего характера. Может, заговорить с ним об этой Брамуре, задумался он. Тем временем министр, словно на собственном примере хотел подтвердить, что всякая схватка с духом, если только не бьешься против нескольких проблем сразу, отрезвляет, бодрым и жизнерадостным тоном повторял:

— Все будет хорошо. И вот увидите, еще как. Полгода терпения, самое большее—год. Силы вне нас, с которыми мы идем вместе, образуются. Силы внутри нас, пока еще ссорящиеся, отыщут в конце концов какой-нибудь общий план. Все это вырисовывается уже достаточно определенно.

И устремил взгляд вдаль. План планом, но главное, он засмотрелся на Завишу, появившуюся в дверях. Не удержался.

— О, вот это женщина!—воскликнул он. У него было особое

чутье на человеческое обаяние. Ему казалось, что если он только что это заметил, то, значит, самым первым вообще. И от усердия, к которому примешивалась самонадеянность, он готов был на все, чтобы показать, как он верит в свое открытие.—Пожалуйте!—приглашал он ее.—Пожалуйте!

Завиша устала, но ведь это был министр. На приемах она подходила к таким людям, словно паломник к местам страстей господних. И делала это не из расчета, а из мучившей ее, но ею не осознававшейся жажды найти опору. Строго говоря, ни один мужчина не нравился ей тем, что давал ей такую опору. Любовь ее пробуждали, скорее, те, кто сам в ней нуждался. Она, однако, могла прожить без нее. Но не без помощи.

— Прошу вас!—Яшча произнес это весьма дерзко, развалился в кресле; чем больше нравилась ему женщина, тем больше он хамел.—Сейчас как раз происходит диспут человека зрелого с этим вот молодым человеком.

Не поднимаясь с места, он придвинул стоявшее за его спиной кресло.

— Рядом со мной, непременно!—повелительным тоном пригласил он. Ельский вернулся на свое место.—Приглядитесь-ка к нему. Это человек с будущим. Но вот о современности не имеет ни малейшего понятия. Зато я знаю о ней все.

Он взял Ельского за руку, чтобы—ради симметрии—взять за руку и Завишу.

— Знаю, что принадлежит она нам. Нет в мире силы, могущей навредить нам. Предсказывают бурю. Это такой способ. Их издавна существует два: либо пугать, либо уверять! В сейме, выходя на трибуну, я прибегаю то к одному, то к другому. А здесь государственную тайну я выдам без всяких выкрутас: мы и вправду сильны.

В тоне его чувствовалась самонадеянность. Казалось, он говорит не от своего имени.

— Поверить в силы своей страны—единственный путь к согласию. Групповщина не всегда означает борьбу за власть, она—судороги страха. Когда состояние безнадежно, зовут все новых и новых докторов. А с прыщами справится любой фельдшер. Нашему государству досаждают только прыщи. Понять это, и в прах разлетится неверие в страну и самая распространенная у нас его форма—неверие в премьера. Тем, который у нас есть, наши проблемы и удовлетворятся. Они ему по силам.

Он помолчал немного, чтобы потом не говорили, будто он никому не дал слова сказать, и продолжал рассуждать:

— Политика у нас смешивается с новейшей историей, ибо обе они не расстаются с прошлым. До сих пор решающую роль в карьере наших государственных деятелей играла память, и только потом—умение предвидеть. А тем временем лишь утрата памяти

позволяет нам добиваться согласия. Я первый министр, который не разбирается в недавнем прошлом. Прихожу на заседание кабинета и допускаю чудовищные промахи. И что же! Мне завидуют. Один за другим стараются позабыть, что было раньше.

Завиша подошла к этой проблеме более конкретно, но совершенно серьезно:

— Исходя из самых лучших побуждений, санация может перестать помнить только о том, что чинила несправедливость, но позабыть о несправедливостях — не в ее силах.

Ельский прошептал:

— Легче всего забываются оплаченные счета, так, может, оплатить их?

По ведомству Яшчи это означало пересмотреть некоторые политические процессы. Он содрогнулся.

— Нет несправедливостей,— закричал он,— есть только удары, нанесенные в борьбе!

Завиша вернулась к своей мысли:

— Но вы сами говорите, что теперь конец.

Его программа менее всего ствечала идее исправления. Людей еще можно ублаготворить орденом или должностью, а сам принцип — чем? Кто был прав? Признаться, что не был! Тяжелое дело — отбредаться. Даже частному лицу, а что уж тут говорить о государстве. Кстати, более всего этому, как считал Яшча, мешало то, что в то время, как будут бить себя в грудь, правительство ослабит хватку. И позволит в конце концов кое-что отобрать у себя, причем уже не какую-то там мелочь, к чему оно готово, а гораздо больше.

Ельский сказал:

— Этого не так много. Вы, господин министр, знаете памятные записки, которые оппозиция подавала в разное время. Я весьма тщательно подсчитал цену извинений. Самое большее — пять процентов от того, чем сейчас владеет режим.

Но для Яшчи это было слишком много.

— Иными словами,— подсчитал он,— каждый двадцатый из нас должен уйти.

Больше же всего его злило то, что не мог он просто так вот наплевать на все прошлые несправедливости. Он был самым молодым министром, но и он ведь успел запачкаться.

— Странное это чувство у человека,— пустился он размышлять вслух,— чувство справедливости. В конце концов мирятся с властью, которая обижает, но никогда с той, которая оправдывается. Пусть уходит! Это единственный способ для силы сказать «извините». Все остальное очищается с помощью исповеди и покаяния. Власть — только с помощью самоубийства. Наша не может на него решиться. Упорствует в старых грехах. Вот куда заводит гордыня.

И с тоской:

— Верно. Отличная вещь. Рассчитаться и продолжать править.

Теперь его неприязнь обратилась на тех, у кого могли быть еще какие-нибудь претензии. Он считал, что все это—одно сплошное чудачество.

— Каждый двадцатый! Вот именно. Этому не будет конца. Можно очень быстро исправить несправедливость, если удастся сразу же определить величину долга. А тут плати по счету, хотя неизвестно, каков он. Ну, вот удовлетворил его. Опять что-то! Человек, который обидел тебя, всегда останется тебе что-нибудь должен.

И Яшча навалился на Ельского:

— Ну-ка, приведите пример, когда правительство могло бы дать однажды то, чего от него хотят, и потом больше ни о чем не беспокоиться. Пожалуйста,—повторил он,—пожалуйста!

Он с готовностью, которая все нарастала в нем, вытянул руки, а Ельский один за другим мысленно отбрасывая вспомнившиеся примеры, в каждом чего-то не хватало. Завиша уже подумала, будто Яшча прав, он добился превосходства, только потому что Ельский не мог привести ни одного примера, который не прозвучал бы как явная бестактность по отношению к министру. К счастью, существует история, всегда готовая прийти на помощь. И уже дело человека доказывать ссылками на нее все что угодно. Ельский начал с январского восстания 1863 года. Брамур, думал он, повод—лучше не придумаешь! И с благодарностью посмотрел на Яшчу: удалось, мол, найти грязное дело, к которому министр не приложил руки.

— Так вот,—принялся Ельский за обстоятельный рассказ,—самой известной на Полесье фигурой в дни восстания был князь Медекша. Магнатский сын, близкий родственник Велепольского¹, очень популярный барин. Он собрал всю местную шляхту. В любом описании январского восстания можно отыскать историю Медекши. Муравьеву пришлось вырубить лес, иначе никак не мог выкурить его отряд из той округи. Наконец пришел и его черед, он оказался в руках царских войск. Медекша переносил все тяготы наравне с товарищами, заставил их покласться, что не выдадут его фамилии. Но когда полевой суд приговорил всех к смертной казни, кто-то, зная, что к князьям всегда относятся с большими церемониями, желая спасти Медекшу, назвал его. Князь обрушился на него. «Я обещал,—сказал он,—что доля у меня с вами будет одна. До самой смерти!—и, чтобы не было сомнений, добавил это историческое:—Включительно!» Но дать согласие на свою смерть можно один раз. А это не значит—раз и навсегда. И

¹ Александр Велепольский (1803—1877)—граф, консервативный польский политик, сторонник соглашения с русским самодержавием; объявленный им в январе 1863 г. рекрутский набор по именным спискам («бранка») был направлен на ликвидацию патриотических повстанческих организаций и ускорил начало национального восстания 1863—1864 гг.

когда случилось так, как и предвидел товарищ,—что к князю отнеслись по-иному,—он забрал свою жизнь назад. Геройству, впрочем, не нужна сама по себе смерть, ему достаточно полной готовности к ней. Его счастье, и притом редкое, что он всех убедил в своей смерти, но не умер. Потом—Сибирь, двадцать лет, наконец вернулся. Не в Полесье, не в Литву, даже не в Варшаву. Такой запрет. Он женился на Украине, да там и остался. Наш князь—его сын.

Яшча постепенно вспоминал. Конфискация, какой-то проклятый для Медекш документ, в котором отец повстанца отписал России все свои богатства, в обмен на право спокойно дожить свои годы. Иначе он поступить не мог. Его вынудили. Но бумага осталась. Разумеется, суд душой и сердцем перенесется в то время. Но всегда лучше такая правда, которую не надо подпирать психологией.

— После смерти отца князя Бартоломея...

— Это кто же?—Медекши уже стали путаться в голове Завиши.

— Бартоломей—участник восстания. Единственный сын. Отец его умер, где-то в семидесятых годах. Пушу на Брамуре забрало правительство. Сегодня это тоже правительственные леса. Наши.

— Мне кажется, старик еще жив.—Яшча предпочитал пока вспоминать, а не раскрывать свои мысли.—Правда?

— Ему без малого сто лет. Живет старик в Отвоцке. У него там что-то вроде усадьбы. Получает от государства пенсию. Правительство присвоило ему звание подполковника. Восстановило его во всех правах. Пригласило приехать в Варшаву, в Литву, куда угодно. Только вот лесов не отдает.

Завиша возмутилась:

— Фу! Надо...

Но министр перебил ее:

— Даже если вор украдет, должен быть суд, следствие, протоколы, а не сразу отдадут пропажу. Что и говорить, когда это правительство.

Он не улыбнулся. Ельский ответил ему также серьезно:

— Подвергнуть проверке чьи-то права не значит удерживать силой. Вы знаете, господин министр, что был подобный же случай, суд вынес решение передать состояние внукам повстанца, оно вступило в силу, а Дирекция государственных лесов уперлась, что не отдаст. Пришлось в министерство сельского хозяйства посылать судебного исполнителя.

Это тоже возмутило Завишу. Яшча как-то приуныл.

— Роковые это поступки,—воспользовавшись моментом, сурово обвинял Ельский.—Вроде бы и мелкие, но они о многом могут сказать, если попадут на страницы книг. Эту историю с судебным исполнителем, с помощью которого пришлось прижать к стене правительство, требуя вернуть собственность, любой историк

вспомнит для характеристики типичных черт новой Речи Посполитой. Если нельзя управлять без ошибок, то надо избегать по крайней мере таких, которым время все шире раскрывает рот.

Обычный человек оправдывает свой поступок, видя, что его нельзя похвалить. Власть имущий начинает хвалить, когда сообразит, что ему не удастся что-то оправдать.

— А мне эта история нравится,— Яшча поднял голову.— Вы хотели бы, чтобы правительство руководствовалось евангельскими заповедями. Все бы роздало. И умилило бы всех. Тоже мысль.

Он всячески подчеркивал, что говорит с силой. Ибо он высказывался за ее нравственность.

— Вся страна—это единый организм,—сделал он вывод.— Метафора старая, но, кажется, не для вас. Вы страну делите. На сегодня и на историю. И ей, истории, отдаете предпочтение. Почему? Что она такое, в конце концов? Современность умерших. По-вашему, они перетягивают живых. Понимаю. Умерших в древних нациях всегда больше, чем живых. Но живые—это живые. Вы этого не чувствуете?

Вместе с креслом он чуть отодвинулся назад. Щеки его покраснели. Глаза заблестели. Он ненавидел старость вообще. Ту же неприязнь испытывал он и к историческим деятелям, и к старым женщинам в собственной семье. Бесился, когда ему приходилось быть с ними галантным. Но считаться с ними было уже выше его сил. Особенно с тех пор, как он стал министром.

Яшча вещал:

— Управлять с мыслью о том, что работаешь ради прекрасной истории,—то же самое, что работать с мыслью о прекрасной пенсии. Омерзительно! Вы сами отбросите эту точку зрения, когда наберетесь сил. У Польши они есть. Поэтому за ее репутацию нечего опасаться. Время сейчас тяжелое! Время больших трудов и больших нужд. Кого волнуют приличия?

Он перевел дух.

— Управлять! Управлять!—Он повторял это слово, будто подбрасывал его в воздух и ловил.—Порой так надо. Что делать. Сегодня,—признался он,—я тоже не смогу по-другому. И если стану премьером, тоже не буду.

Спросил:

— Загляните-ка, кстати, в свою историю, что такое управлять. Ибо, по-моему, это всегда игра. Здесь правительство, там страна. Всерьез играют. Как бы ее назвать,—задумался он.—Играют? Во что?

— В «что упало, то пропало»,—подсказал Ельский.

— О,—обрадовался Яшча, но тут же снова посерьезнел, решив раз и навсегда:—Так оно и должно быть.

Было поздно. Вся молодежь ушла. Штемлер убавил звук в радиоприемнике, будучи уверен, что так он меньше портится. Оглядывал столы, подоконники, полки, заставленные тарелочка-

ми, измазанные сладостями. Как чирьи!—подумал он. Проклятье, выругался про себя. Ему захотелось есть. Но при виде всего этого его тянуло на что-нибудь солененькое и мясное. Тем временем госпожа Штемлер монотонно упрашивала всех взять пирожное и торт. Она пыталась из этих объедков и людей, которые еще не разошлись, составить как бы финал приема. Она заглянула в гостиную. Против Яшчи, который что-то говорил, сидели Ельский и Завиша, безмолвно его слушавшие. Тут ничего не изменилось за час. Никогда разговор так не затягивается, подумала госпожа Штемлер, если людям нечего сказать друг другу. Но она ошиблась. Они заразились ее усталостью. Им хотелось еще слушать этого министра, он все крепче приковывал их к себе словами, правда, довольно им чуждыми.

— Вы нас упрекаете, что мы плохо скроили Польшу,— обратился он к Ельскому.— Но вы увидите, как прочно она будет сшита. Ее ничем не разорвать. Я увеличил время, в котором она живет. У нас снова такая же страна, какой она была при Казимеже Восстановителе¹. Мы взяли ее каменной. Оставим железной.

В доме Штемлеров только в гостиной, где был Яшча, раздавались громкие голоса. Это притягивало сюда засидевшихся гостей. Заглянул Болдажевский, жена снова морочила ему голову, требуя, чтобы он рассказывал; бесплодный наблюдатель оставался как можно дольше, собирал материал. Дрефчинская, секретарша Штемлера, на подобных вечерах ничего не могла приобрести для себя, но, боясь что-нибудь потерять, через силу держалась до самого конца. Черскому не жаль было ночи, поскольку при Завише каждую ночь в Варшаве он посвящал выпивке. Барышни, хоть и не могли дожидаться, когда все уйдут, чтобы и им можно было тоже исчезнуть, внимали каждому слову министра, дабы спустя несколько минут повторить сказанное им в ресторане, в довершение всего пожалевав своих недавних гостей, что их не было, когда Яшча так чудно говорил.

Госпожа Штемлер валилась с ног от усталости, но тем не менее сложила руки, словно молясь, только бы Яшча продолжал. Она тоже хорошо понимала, как много стóит подобное событие. Приемы, как и войны, входят в историю всегда под каким-нибудь названием. До сих пор сегодняшнему приему грозило, что его окрестит рука Мотыча, обмотанная туалетной бумагой, но тут одним прыжком, в последний момент вечер вот-вот достигнет высшей степени в иерархии, готовясь получить имя, рожденное речью министра. Всем было достаточно самого факта. Один

¹ Казимеж I Восстановитель (1016—1058)—польский князь из династии Пястов. Заключил союз с Ярославом Мудрым, на сестре которого, Добронеге, женился. Укрепил самостоятельность польской церкви, вернул Польше Мазовию и Силезию.

только Ельский вслушивался в слова. Кстати, именно к нему Яшча главным образом и обращался.

— Вы пришли ко мне с проблемой умерших,—мимоходом он хотел покончить и с этим.—Я человек практичный. Ладно, я вам это устрою, тем более что ваш покойник жив. Это мне в нем нравится. Обещаю, и больше на сей счет ни слова.

Яшча встал. Госпожа Штемлер перепугалась. Нет! Голос его еще набрал силы.

— А теперь мое последнее! Ваше, молодых, время не настало. Я знаю, что вы несете с собой. Те, кто придерживается правительственной ориентации: хороший, четкий стиль, восхищение далекой Европой, крупные, интеллектуальные расчеты, одни только самые изысканные вещи. Прошу пока подождать! И те, кто с самого края, озлобленные на правительство,—тоже. Не время еще на все наводить блеск, как вам бы хотелось, не время также и переворачивать все вверх дном. Не время ни лоск наводить, ни идти на ампутацию, не время и на комплименты, к которым вы столь расположены. Я говорю—не время. Но и для путча, к которому стремятся такие, как Папара,—тоже нет. Каждый из вас тем не менее пригодится, но в нашей руке! Такой, как моя.

И он показал обе.

— Государству сейчас нужны только люди первого поколения после переворота. Большого трудолюбия и выносливости. И уравновешенные! Люди обычные, но крупных масштабов. Для господ необыкновенно культурных—слишком рано, для господ путчистов—слишком поздно. Может, и в таких через какое-то время возникнет потребность. Сегодня—нет! Сегодня—только такие, как мы.

Он приподнялся на цыпочках. И еще громче зазвучал его голос.

— Поэтому мы и есть! И хорошо, что есть! Не на мелочи смотреть надо. На цифры! Вы прекрасно знаете, сколько домов у нас возводят каждый год, сколько школ, сколько прокладывают дорог, сколько километров бетона на границах, вглубь и вширь, сколько самых разнообразных машин, наземных и воздушных, сколько миллиардов пуль. Я знаю.

Он закрыл глаза, словно хотел мысленно полюбоваться всем этим.

— Кое-кому из вас,—и в этом отношении он тоже хотел успокоить слабонервных,—сиротливо без Пилсудского. Грустно, что не заменил его никто, столь же гениальный. А зачем? Гениальный человек—творит, после него обыкновенный человек повторяет. Сейчас время повторений. Одно и то же надо делать, постоянно одно и то же. Без конца—школы, дороги, танки. И опять—казармы, дороги, танки.

Он поднял руку. Казалось, он повторит это еще раз со всеми

вместе, как конференсье повторяет с публикой припев. Но ничего не произошло.

— Мы, министры, почти все представляемся людям такими гордыми,— сказал он.— Но если бы кто оказался над нами, то увидел бы, что головы наши склонены. Мы знаем, что работа наша останется анонимной. Для действительности она будет всем, для истории—ничем. Это наше дело! Народ никогда этого не поймет. Особенно наш, и не стоит ему этого слишком часто повторять—тем более сегодня. Ибо он еще не отведал тишины. Несчастье доконало его, но, если речь идет о тишине, можно сказать, что и счастье было для него не лучше. И лишь мы как раз такое первое правительство, правительство спокойствия. Правительство неброское, оно-то нам и нужно, правительство без своего ярко выраженного лица. Вот что! Умеренность, чувство долга, дисциплина восторга не вызывают, так же, как и восторг не рождает прочности. Кто это понимает!

Он взглянул на часы.

— Не дает мне покоя мысль о ваших страхах. Ежедневно тысячи людей терзаются. Зря! Мы на лучшей из возможных дорог. К работе для каждого, к правам для всех, к законной гордости за свой народ. Скоро останется только одно, чего надо бояться,—смерть. Этой мы не победим! Но, как и ее, похоже, и нашу страну не победит никто. Так что вы, дамы и господа, можете спать спокойно.

И он попросил свою машину.

Старуха Штемлер, бабка Бишеты и Боулы, весь этот вечер провела в их гардеробной наверху. Постоянно она жила в Люблине, откуда была родом, а к сыну и невестке приезжала на несколько дней раз в год. Спала в библиотеке, которую в этот вечер тоже заняли под прием. Чтобы сойти вниз, ей надо было дожидаться, когда все кончится.

С шумом ворвались барышни—привести себя в порядок: Бишете надо было еще сменить и чулки. Бабку они застали в кресле, с английской книгой в руках, в которой она ни слова не понимала, в роговых очках на носу, только размазывавших буквы, так как они были для дали. Она посмотрела на внучек своими бесцветными глазами. Думала, раздеваясь, они расскажут, как было. Но ошиблась. Они как бы мимоходом улыбнулись ей, и ни слова. Она это выдержала. Но дальнейшее было уже выше ее сил.

— Одевайтесь! Опять!—опечалилась она.

Только что Бишета сняла чулки, а теперь вдруг все наоборот. Внучка натягивает другую пару.

— Вы с отцом идете?

Вопрос этот она задавала себе. Самый горький за весь день момент наступал для нее перед сном. Невестка отсылала ее. Тебе ничего не нужно будет в библиотеке?—обращалась она к мужу.

Тогда он переводил взгляд на мать, старался вспомнить, затягивая паузу, всякий раз по-новому, недовольный, что ему доставляют хлопоты.

— С отцом? — рассмеялась Боула. — Отец еле на ногах держится. Он уже отправился спать.

Ах да! — сообразила старуха. Ее сын не любил укорачивать ночи. Работать он мог по четырнадцати часов в сутки. Лишь бы не слишком поздно. В течение двух лет, когда он был представителем оптового склада зерна в Люблине, он приносил домой из конторы счета. К утру они должны были быть готовы. Каждый вечер она отбирала у него работу. В составлении бумаг она ему не помощь, но считать! Только глаза из-за этого испортила. Искусственное освещение? Пожалуй, не оно им повредило. Скорее всего, они просто спалились.

Но теперь ей уже не надо стараться поднимать веки. Она не спит. Сердце напоминает о себе, не дают покоя мысли. В Люблине она все время собирается в Варшаву. Единственный сын! Такой богатый, такой известный. Внуки! Боула, Бишета! — ей уже объяснили, что так их прозвала мадемуазель француженка. От слова «biche», то есть маленькая серна, и от «boule» — шарик. У обыкновенных католичек таких имен не бывает! Они как раз подкрашивают губы, а она гордится этим, словно крестьянка — фиолетовой сутаной сына-епископа. Их платья! Она не думает о том, сколько они стоят. Она видит, что это одежда богатых. Восхищение, но какое-то печальное, на ее лице. Она верит в деньги, а стало быть, из тех, для которых жить в богатстве — это словно бы жить на небе. Сын ее с семьей там! Какое счастье. Только трудно иногда удержаться, чтобы не вздохнуть, глядя на него с земли. В Берлине у него было два каменных дома. После прихода Гитлера к власти германское правительство отобрало их. Сын был потом таким душевным. Когда он еще жил с матерью, бедствовал, потому, наверное, как только он разорвался, возвращался к ней. Она вздыхала: «Боже, возьми такую душевность!»

Внуки, два ангелочка с такого неба, где воздух и пища были лишь чудесным ароматом, наклонились и кончиками губ коснулись ее желтого лба.

— Покойной ночи, — сказала одна, а другая уже ее торопила:

— Идем, идем, скорее.

Он мог бы купить ей особняк, автомобиль, дать прислугу. Нет, нет, отмахивалась она, не хочу. Состояние ведет за собою повинность. Тут другие законы, чем в сердце. Матери — дворец, а что отцу, который умер, — мавзолеей! Построить его! Дедам и прадедам склепы? Где это кончится! Надо сразу же встать, прижавшись друг к другу, если хочешь сохранить деньги. Старуха не той породы, чтобы вкладывать деньги в традицию и тем жить. Она родила человека, который затем разбогател, словно бы она

родила художника. Не претендуя, чтобы на нее сыпалось богатство от гениального ребенка. Она поднялась.

Но ей плохо. Она живет тоской о сыне, о внуках. Приезжает, молчит. Прислуга не всегда понимает ее речь. Она не делает ошибок, вот только этот акцент. Все выговаривается горлом. Словно у нее нет губ. А ведь они есть. Слишком большие, лиловые, по-еврейски капризные. Она избегает людей в Варшаве, хотя ей так хотелось бы встретить тут человека, который бы ее выслушал, подробно рассказал бы о семье. Что она о них знает. Ничего не знает.

Она встает, ее слегка пошатывает, глаза блуждают, едва освободившись от очков; она вынимает шпильки, распускает волосы, ах, какие они были, теперь жалкие остатки, они рассыпаются во все стороны, так легче, когда они не собраны вместе. На лбу кровавая полоска: она размазала губную помаду, след поцелуя внуки. Опирается о подлокотник кресла. Ну и насиделась же она сегодня в нем. У нее болят ноги. Злость ее разбирает. И комната эта как тюрьма. Зря старалась невестка, говоря, чтобы старуха не показывалась на люди. «Вы же, мама, устанете»,—вспоминает старуха ее слова и сердито ворчит:

— Пошли! Наконец-то можно ноги расправить. Вся прямо одеревенела.

Когда уничтожают душу, болит тело, словно ему-то и было тут тесно.



Крутящиеся двери большого кафе на Саксонской площади вертелись, словно пропеллер. Стекланные перегородки выталкивали людей поодиночке, а когда давка усиливалась — то и парами. Будто вал молотилки, двери раскалывали это скопище на два потока, отделяя зерно от плевел, гостей старых от новых, тех, кто уже был, от тех, кто только еще шел. Рисунок каменных плит на полу в вестибюле нельзя было рассмотреть из-за грязи, в раздевалке горы одежды, лес вешалок, распухших от пальто, плащей, шляп, мокрых и промерзших. Зал в табачном дыму, неумолкающий гул нескольких сот голосов и музыка, которая ни на что не обращает внимания, грохочет безостановочно. Каждый вечер здесь битком набито, даже официантам не пройти. Словно волну, рассекают они толпу, протискиваясь всем телом, стараясь во что бы то ни стало уберечь поднос, который гремит, дрожит, качается, напоминая мотор, и кажется, словно самолетный винт, тащит их вперед. Кто-то встает, одно зернышко в этом подсол-

нечники, медленно пробивает себе дорогу сквозь толпу. Возвращается, нет—это кто-то из ждущих около дверей спешит на свободное место, прорывая в толпе коридор. А на столике в беспорядке грязная посуда, вилочки для торта, зияющие пустотой чашечки, на всем пятна кофе, с блюдечка лентой свисает застывшая пенка, еще одна на ложечке. От человека, который ушел, остался след его отвращения. Но вот и новый кофе. Только иного цвета: черный. Другого Сач не пьет.

Его донимает головная боль, пол под ним слегка раскачивается, он озирается, смотрит туда, откуда пришел. В зале есть еще несколько таких, как он, глядящих на входные двери, словно на берег. Они плывут туда. Нервничают и ждут, когда кто-то появится. Все еще никого нет. Сач потер лоб. Режет глаза, но он и на миг не решается заслонить их. Ему было тоскливо. Образ ее не покидал Сача всю дорогу от Бреста. Чем ближе к Варшаве, тем отчетливее видел он ее, казалось, ее фигура надвигается на него из тумана легкой походкой, зыбкой и неумолимой, которой духи выходят навстречу людям. Его влюбленные глаза во всем мире видели только лишь одно девичье лицо. Но в то же время Сачу чудилось, что она повсюду. В поездке он то и дело слышал ее голос. И хорошо еще, если в соседнем купе. Тогда он вскакивал, чтобы проверить. А если на улице? Голос ее прямо-таки преследовал Сача в пути. Если встать, он звучал громче. И ведь все откликался на что-то, да только обращался не к нему. Может, раз уж он нашел Сача, привел бы и саму Аню Смуклу, пусть, мол, приходит вся. И она приходила! Но во сне, стоило ему только задремать, и, как это только во сне бывает, она-не-она, а порой хоть и она, всамделишная, но с не своими какими-то заботами! То плакала, что рыбы в Вилии начали плавать, плавать и совсем растворились в ванне. Где такое бывает! Но даже если и так! Разве Аня могла бы чем-нибудь подобным огорчиться? Откуда же тогда слезы на лице! В другом сне она на прогулке убила пчелу, и уже не хочет в деревню, боится мести. Ах, как же страшно она разрыдалась. Нет! Это же теперь он, жалея ее. Какие у нее мокрые ресницы: тычинки нарциссов после дождя. И вдруг она начинает преображаться в разные цветы, все окрапленные росой. Сач в полудреме вытягивает руку, ищет платок по карманам. Хочет смахнуть эти капельки. И просыпается. Ох! Но только сон сбежал с глаз, как уже завладел слухом. Да ведь она шепчет что-то, смеется. Так редко! Ему ужасно любопытно, над чем. На последней станции никто не сел в соседнее купе. Он проверял, ее там нет. Но закрывает глаза и напряженно вслушивается. Поезд сначала отбивает ритм, потом затевает какую-то мелодию, голос Ани, самый выразительный в мире, на одном дыхании рассказывает какую-то длинную историю, никак нельзя сосредоточиться на словах, так поражает и притягивает сам его тембр. Как это странно, поражается Сач, неужели у меня в глазах

и ушах какие-то почки ее, что ли, которые тотчас же распускаются, как только я перестаю думать о чем-то определенном.

Он пьет кофе, вместе с музыкой сразу же стихает и боль. В зале становится более терпимо, но одновременно что-то происходит и с разговорами, они начинают угасать. Шум, кажется, подстегивает, побуждает к откровенности, как вино. Тишина напоминает о других возможностях. Она позволяет задуматься, а это — смерть для правды. За столиком рядом с Сачем сразу пятеро откидываются в креслах, грохот, который объединял их, оборвался, тема отцвела, как цветок, люди отвалились друг от друга. Мысли уходят в головы, а сами они погружаются в тишину. И такое же происходит направо, налево, за всеми столиками. Сач, усталый, путает тишину с прозрачностью. Он перестает следить за дверьми, уверенный, что теперь Аня легко отыщет его глазами. Сач задумывается.

Какое это счастье, размышляет он, наконец-то получить возможность отдаться ее делу. Счастье и покой. Покой этот поглотил всю прежнюю неловкость. Все прошлое напряжение, он словно бы завис над пустотой, которую нечем заполнить. Сач помнил обрывки давних разговоров с Аней. Ах, как трудно они давались. У него было такое ощущение, будто он весь изранен осколками разбитого стекла. Перед каждым собранием он часами выискивал повод сесть рядом с ней, но всегда забывал подумать, о чем с ней будет говорить. Потом он уже готовился, но как же мысль доверчива к жизни; она непременно все повернет неожиданным образом. Когда он пересчитал по нынешнему курсу цену слов, которые нагромоздил, оказалось, что они не стоят и ломаного гроша. Виной всему страсть, слишком настойчиво толкает она мысль в одном направлении, не позволяя обратить внимание на те разные разности, которые могут произойти. О чем мечтал Сач? Понравиться ей. В том, что касается чувств, он был очень несмел, страшно робок. Бывало, к ней у него просто пропадал аппетит, но ни на минуту он не переставал ощущать ту мягкую доброту, которую благодаря ей может обрести мир, а в нем и человек к человеку. В мыслях он мог бесконечно быть с этой девушкой, а когда воображение разогревало в нем физическое влечение, он удивлялся этому, причем снисходительно, хотя упрекал собственную кровь в том, что та не умеет хранить секретов. Все славит ее, все в нем устремляется к ней: кровь, глаза, мысль — и все по-своему. Бог создал ее не для вожделения, не для рассудка, он создал ее для всего Сача, тот замирал перед этим существом, очарованный не ее достоинствами, а достоинствами той мелодии, которую она в нем пробуждала. И мир переставал быть степью, где нет дорог, ибо они везде и всюду, он уменьшился вдруг до размеров узенькой тропки, по которой можно прийти к какой-то огромной радости. До сих пор Сач не

знал, что ждет его в жизни, теперь знал, чего ждет он сам. Земля, казалось ему, населена плотнее плотного, ибо заселил ее один человек. Самые разнообразные вещи, которые его до той поры заботили, Сач выбрасывал из головы, выбрасывал все. Словно собирался куда-то уезжать, думал он только о ней. Ему предстояло переехать в счастье.

Он поднял голову, на глаза вновь накатила усталость, и ничего с ней не поделаешь, залил их жар ожидания, который обязательно подскажет, как поступать. Сач то и дело вскакивал с места, стоило только в дверях показаться какой-нибудь барышне; от его страсти и беспокойства она тут же преображалась в Аню. Но вблизи Сач понимал, что это оболочка. Вошли две барышни, одной он дал облик Ани, другую наделил ее голосом. Утомление уже не позволяло считаться с правдоподобием. Три женщины мигом превратились в Аню Смуклу; через секунду сходство исчезло. Вошла еще одна. С ней-то у Сача не будет хлопот. Ничего в ней от Ани. Ей пришлось положить ему руку на плечо, тогда только он узнал ее.

— Вы надолго приехали?

Она спросила просто так, но, пока дожидалась ответа, руки ее, растегаившие пальто, замерли.

— Завтра назад,— ответил он.

Они не были ни влюбленной парочкой, ни даже просто хорошими знакомыми. Пойти вместе в театр или в ресторан не было для них делом обыденным. Каждый раз, приезжая в Варшаву, Сач расспрашивал об интересном спектакле или фильме, а потом, нажаловавшись, что сейчас, мол, нет у него тут знакомых, робко просил ее составить ему компанию. Он не договаривал, что обращается к ней, чтобы не сидеть одному, но это было понятно и без слов. Он думал, что благосклонность ее не способна распространиться дальше. Просто она благодарна ему за его рвение, за то, что он весь отдался делу ее отца, а потому всякий раз так легко соглашается скрасить его пребывание здесь.

— Мне надо завтра,— повторил он и только теперь испугался ее вопроса.

Зачем она его задала? Может, она вообще очень занята. А может, сегодня вечером? Хотя он и был молод, но уже знал такой вид гостеприимства, которое спит чуть ли не до самого отъезда, но тем не менее стремится выяснить, когда же все-таки человек уезжает, дабы сориентироваться и проявить сердечность в нужное время. А между тем Аня прикидывала, что ей надо переменить в распорядке дня, чтобы освободить вечер. Но не проронила ни слова. Сач принялся рассказывать. Видел, как потихоньку лицо ее оживлялось.

— Сначала я пошел неверным путем,— сказал он.— Что касается директорского фонда, то тут господин Черский чист. Все скрытые расходы сам заносит в тетрадку. Я уже говорил вам об

этом полгода назад. Меня поразило, что множество каких-то расчетов он делает особым образом. Что-то прикинет, подсчитает, результат запишет на бумажке, а черновики бросит в печь. Вы же, кстати, без конца мне твердили—докопаться, на что идет фонд.

Он не вытер кофе с губ. След от него напоминал узенький испанский ус. Аня не замечала этого. Она видела одни глаза.

— Ни на что!—прошептал он.—Черский чист.

Он опустил глаза. Сердце у него бешено колотилось. Сейчас он увидит ее отчаяние.

— И у вас нет ни малейших сомнений?—спросила она.

Сомнений у него не было. Она попросила сигарету. Сач не курил. Позвал официанта.

— Неделю назад мне удалось подержать в руках его тетрадку. Я мог спокойно просмотреть ее. Черский был на охоте, а мне дал срочную работу, я заканчивал ее вечером, нужные бумаги брал из его кабинета. Я знал, что тетрадка лежит в нижнем ящике, выдвинул верхний. Счета ведутся самым тщательным образом. Они действительно могут скомпрометировать, но не Черского. Деньги идут депутатам, нескольким журналистам. Даже какой-то приходский ксендз фигурирует. Все вместе—расходы на пропаганду. Хотя довольно-таки странную, занимаются ею, не раскрывая рта. Просто молча. Вот! Депутат Дукат собрал материал для запроса в сейме. Теперь получает семьсот злотых в месяц. Другой, кажется, набрал воды в рот. Получает триста. И только лишь тогда, когда проходит сессия сейма. Видно, в остальное время года правда не вертится у него на языке.

Перед ним вырос паренек в зеленом кепи, с большим ящиком на ремнях. Сач побледнел.

— Вы просили сигарет.—Голос у него был птичий. Глаза остекленевшие. Немного навывают.

— Ты, ты...—Сач осекся. Протянул руку. Коснулся мальчи-ка.

— «Плоские», «Чайки», «Египетские».—Паренек тыльной стороной ладони провел по пачкам, словно по клавишам.

Аня поморщилась, наставительно заметила:

— Фу! Такие грязные руки.

Сач помнил их без единой кровинки, холодные, скользкие. Набрал пригоршню мелочи. Он не курил. Спросил, сколько стоит. Показал на пачку с косулей. Может, потому, что вся она была белая, чистая.

— Нет, нет, я заплачу!—Розовые, тоненькие, словно стручки, пальцы Ани метнулись с монетой в два злотых.—Это мне захотелось курить.

А когда она машинально предложила сигарету Сачу, тот взял и, забрав у мальчишки еще коробку спичек, сначала закурил сам и только потом подал огня Ане.

— Итак, ничего, ничего не вышло!— простонала она.

Ее отец, который стоит на коленях в углу комнаты с вмятым пулей лбом, с красной отметиной через все лицо от резиновой палки, не оботрет лицо, не шелохнется. Никогда не затянется его рана! У того, кто его ударил, руки чистые. Чистые! Чистые! Если не считать крови отца, ибо никто ее больше не счищает. Аню охватывает страшная ненависть к Черскому—выскользнул. Она пытается снять с языка крошки табака. Морщится. Никак не получается.

— Ах, боже, боже!— жалуется она. Табак мешает ей закрыть рот.

Сач удерживает паренька, который собрался уходить. Он знает о том, что жест этот ведет к очень неприятному признанию. Правды оно не опровергнет, но, может, убедит, что это не ее призрак. Зачем он оказался так близко. Слезы катятся из глаз Ани. Мальчонка пришел осушить их. В сердце Сача, хотя и не на ее щеках. В вытаращенных черных кружках глаз удивление.

— Помнишь фольварк Тузин? Это тебя спас господин полковник?

Мальчик гордо вскинул голову. Да, его!

— Мама каждый день бога благодарит, что меня вытащил из воды господин полковник.

В этот миг на эстраде торжествующе взорвалась музыка. Аня сверлила паренька глазами.

— Ну, иди,— говорит Сач.— Тебя зовут.

Так зачем же было его задерживать, набросился он на себя с упреками. Мало разве, что нечистая совесть своим выразительным словом мучит его, теперь она доберется и до Ани. Она уже разгадала сейчас половину тайны. Он знает вторую. В какое ужасно трудное положение он попал.

Мальчик не уходит.

— Я лежал, говорила мама, на траве, зеленый, прямо лягушка. А господин полковник взял меня за руку и ну выдавливать воду. Сначала, мама говорила, она не хотела выходить. Я обсох, господин полковник обсох. И работал, работал. Весь лоб у него в капельках пота. Мама говорила, тогда и из меня вода стала выходить.

Не так, было по-другому!— думает Сач. Но это все равно. Тело паренька, облепленное до пояса волокнистыми лентами зеленых водорослей, неподвижно. Тело его с голыми грудью и шеей, прикрытыми лишь одной этой эпитрахилью, возложенной на него трясиной, покоилось на песке, окоченевшее, напоминавшее те, что летом нежатся тут под солнцем, но такое ненужное! Какое-то твердое, сосредоточенное в себе и гордое, и немного вздувшееся—то ли это обида на смерть, надругавшуюся над телом, то ли гнев на бытие за то, что оно позволило сломить себя. Над мальчонкой—Черский, серьезный и деятельный; его вид,

движения, его спокойная и сдержанная работа выдавали в нем—так можно было бы подумать—мастера в этом деле, относящегося к своему ремеслу серьезно и добродушно, верящего в то, что его навыки все под силу, и в то также, что, как правило, тело поддается искушению ожить снова. Сотни раз поднимал он ему руки, одной из своих толстых ладоней проходил, словно рубанком, по груди ребенка и превращал это водное, холодно-кровное создание в дитя человеческое. Сач опустил голову: а что же тогда делал он?

— Иди,—повторил он.—Тебя зовут!

Аня нервно передвигала колечки по пальцу. Она не понимала всего, но, разумеется, речь идет о Черском. Он очистился от обвинений в денежных махинациях и теперь вторично очищается как человек. Ну так что? Что из того? Не он важен для нее, а ее свобода, ее покой, которые он стеснял собою, как однажды в годовом табеле об успеваемости ее стесняла переэкзаменовка по латыни. Стесняла, пока она не сдала. Лето было тогда такое чудное, но только не для нее из-за этой соринки в глазу. А Черский для ее мира—вечное затмение. И какое огромное. Она и знала в жизни лишь эту завесу, да тоску об отце, которого едва-едва помнила. И тоска не о нем конкретно. Самое дорогое для нее существо—мать, но такое забитое и слабое! Все лучшее и ничего худого—таким должен был быть ее отец, которого убили. Почему же на коленях, что тогда случилось, отчего он упал на одно колено, может, умолял, может, его кто толкнул, может, о чем-то он просил? Принял ли он пулю в лоб на коленях, или это она свалила его на колени? Он вроде бы никогда не молился, но как знать, что видишь, умирая,—наверное, какой-нибудь другой берег. В школьной часовне она не раз получала нагоняй. Да и чего только она там не вытворяла. Падала на одно колено, хваталась рукой за лоб, пошатывалась, словно была без чувств. Так бывает иногда: возьмет человек в руки фотографию любимого, давно умершего, и принимает его позу. В памяти Ани, правда только по полицейским протоколам, навсегда запечатлелась эта застывшая картина, когда отец угасал. Парнишка с сигаретами, зеленый и легкий, как кукла, скользил между столиками. Многого ли он стоит? Слишком мало, чтобы рассчитаться за отца!

— Юлек,—начала Аня,—слушайте, вы уже столько выяснили в деле Черского. Я не могу поверить, что это чистый человек. Ведь его расходы... вы и сами так часто повторяли, не может же он заработать столько законным путем.

Сач сидел с низко опущенной головой.

— Что это значит?—спросила она резко.—Что мы сразу же пошли по неверному пути?

Он не отвечал. Она ему напомнила.

— Это вы ведь так сказали.

Сач поднял на нее глаза. Лицо ее, наверное, такое теплое,

столько крови под кожей! Между темно-красными ее губами показался кончик языка, коснулся маленького бриллиантового камушка на колечке. И этот бессмысленный поступок, выдававший ее возбуждение, можно было истолковать так, что ей страшно хочется пить, раз уж ее маленький язычок соблазнился камушком, напоминавшим замерзшую каплю. Только глаза ее оставались холодными, этого Юлек вынести уже не мог.

— Пожалуйста,—запинаясь, попросил он,—не смотрите так. Я не увиливаю. Я только должен молчать. Защищаю себя.

Она наугад бросила ему:

— Вы боитесь. Чего?

Он так резко навалился на столик, что металлический поднос для пирожных упал на пол. Оглушительно загремел. Из-под стола показалось его лицо с вытаращенными глазами. Тяжело дыша, он проговорил:

— Послушайте, Аня, ради бога, ничего я не боюсь, ни капельки не лгу. Но я ведь тоже человек. И должен защищаться.

Она закричала:

— Но от кого, от кого?

Он растерялся. Раскрыл рот. Почувствовал себя глупо. Это было написано на его лице. Как же он мог не предвидеть такого вопроса! А она плакала. Нервно, устало. Всю оставшуюся жизнь будет ее терзать невыносимая боль от зла, причиненного отцу, за которое она так и не сумела рассчитаться. И еще это! Нет уже больше преданного, пылкого существа, которое шло вместе с ней по следу, объединенного с нею тем, что более всего сближает, узами общей мести. Он хотел ответить на ее вопрос. Пожалтием плеч она освободила его от такой необходимости. Зачем?

— Я защищаю себя от вас!—закричал он.—Только в ваших глазах. Чтобы в ваших глазах...

Он смешался. Она поняла, что это не притворство.

— Он выбил у меня оружие из рук!—сказал Сач. И еще раз повторил:—Выбил оружие у меня из рук.

Аня пошла в наступление:

— Я знаю только, что Черский уже был у вас в руках, а теперь вы его отпускаете. Из-за этого мальчика?—спросила она.

Сач задумался.

— Но вы-то ведь знаете, из-за этого ли мальчика или из-за чего-то другого. Ну!

Мучительно долго он молчал. И вдруг закрыл лицо руками. С минуту сидел неподвижно. Наконец стал отводить руки от лица, да так медленно, будто опасался показать его. И действительно, оно было страшно.

— Одно ваше слово,—обещание это вырвалось у него с трудом,—и завтра Черский будет мертв!

По глазам Ани он заметил, что она не поняла его.

— Я убью его!—крикнул Сач.—Убью. Пусть это кончится раз и навсегда.

Но Аня хотела не смерти Черского, а его позора.

— Нет,—проговорила она медленно.—Вы уж оставьте его жить. Он ведь для вас герой.

Поднос снова полетел на пол. Сач старался перекрыть оркестр:

— Это прохвост! Убийца и вор!

Человек за соседним столиком, только что с улицы, перестал расчесывать мокрые усы, все в капельках дождя, которые напоминали стеклянные шарики на проволочках, какие бывают снизу у елочных лампочек. Аню вдруг что-то осенило.

— Мальчишка-купальщик, когда это было, теперь ведь лето!

Так она сказала, а Сач спокойно подтвердил.

— Да,—проговорил он.—Это случилось через несколько месяцев после того, как я поступил к нему.

Теперь она совсем запуталась. Так ведь этот маленький утопленник явно заставил его переменить мнение о Черском. Стало быть, перелом произошел уже давно!

— Послушайте, Юлек,—она просила, чтобы он подтвердил это,—мы ведь с тех пор тысячу раз говорили о Черском. Вы всегда были так уверены, что на чем-нибудь его да поймаете. Больше, чем я. Вы ничуть не сомневались. Я даже думала, что вы лишь ждете очевидных улик, хотя сами все хорошо знаете.

— Ибо я знал,—вздыхнул Сач, а затем, вздохнув еще раз, глубже, прибавил:—И знаю!

Тут она торопливо стала швырять в сумочку все, что разложила на столике: пудреницу, кошелек—она собиралась заплатить за сигареты,—спички, деревянный мундштук. С шумом защелкнула замок. Хотела встать, но стулья сзади так тесно прижали ее к столику, что она вскакивала и опять садилась, теряя равновесие. Лицо ее покраснело—от усилий, а может, и от злости. Казалось, это Сач не отпускал ее.

— Нет, нет, я уйду!—кричала она.—Все крутишь, не хочешь сказать, я так больше не могу.

И он тоже закричал, вкладывая в свои слова всю душу:

— Клянусь! Я не изворачиваюсь.

Но она не дала ему говорить. Сказала со злой издевкой:

— Так я и поверила.—На губах ее заиграла презрительная улыбка.

И она опять схватила за сумочку. Оскорбленная, по-детски разобиженная, мечтающая унижить.

— Я плачу за себя.—Она так разнервничалась, что никак не могла достать денег из кошелька. Монетки, лежавшие на кожаном его дне, не давались в руки. Он удивленно смотрел на нее. С самого же начала был у них такой товарищеский уговор, что каждый платит за себя. Что с ней случилось? К чему такая демонстрация?

А ее прямо-таки подмывало порвать. Такое чувство захватывает любящих друг друга людей, когда они ссорятся. Никогда гнев так стремительно не выливается в слова, никогда желание убежать не бывает таким сильным, как во время таких скандалов. Единственное слово, которое еще может что-то объяснить, застревает в горле. Даже если оно уже вертится на языке, не соскакивает с него, неловко ему как-то. А — нет! Ведь все равно сердца, мысли, уши закрыты перед ним. Часто одни только уши, их просто заткнули руками.

— Скажу, все скажу, — простонал Сач.

Глаза ее не сразу потеплели. Злоба мгновенно опустошает в душе огромные пространства, словно молния, растапливающая металлический предмет. Возрождаются они не скоро. Сам он был готов сказать все, но не было у него для этого готовых слов. Он достал бумажник. Начал рыться в нем.

— У меня тут письмо, которое я давно вам написал, — прошептал Сач. И продолжал искать. Пояснил то, что и так было ясно: — Письмо об этом деле.

Значит, это целая история, и длинная. Аня закивала головой. Как под пятном на коже, открывала она застарелую болезнь. Все в мире ведет двойную жизнь.

— Может, вы влюбились в Бubu Черскую? — Это была дочь Черского от первого брака, девушка очень красивая, которая утренние часы проводила на корте, послеобеденные — в холостяцких квартирах, а вечерние — в посольствах.

Юлек печально, немного разочарованно взглянул на Аню. Самая нежная женщина умеет быть самой нежной лишь внешне. К ее словам, поведению, поступкам всегда примешивается что-то мелочное. Но Аня спрашивала серьезно. Ведь между ними никогда не было и речи о любви. Одно только слово, как нажатие кнопки, могло открыть им их чувство. В тот миг они были слепы.

— Она отвратна! — Несмотря ни на что, он посчитал, что должен удовлетворить любопытство Ани. — Дочь, достойная своего отца.

Она все еще пыталась закрыть сумочку. Юлек протянул над столом обе руки и сжал в них ее ладони.

— Дочь вора, вора, вора! — кричал он все громче. Она не могла освободиться от его рук.

— Так чего же вы его не схватите? Неужто он вас околдовал? — На столе лежало письмо Ане об этом деле, давно уже написанное Юлеком.

Он уставился на него диким взглядом, словно хотел прочитать письмо сквозь конверт.

— Дорогая Аня! — начал он с обращения. — Сегодня вы должны узнать от меня всю правду. Уже полгода я страшно терзаюсь, хотя я все сделал так, что не вижу никакой возможности что-нибудь переменить; у меня нет оснований сказать, что я

освободился, ибо способ, которым я решил эту трудную задачу, не помогает мне в моей миссии тут.

Он перенес взгляд с конверта на лицо Ани, но задержался на ее носике, словно на пороге, не смея посмотреть в ее глаза.

— Миссия!—вздыхнул он.— Может, и не подходящее слово к шпионажу, но так я понял свое задание. Начинать жизнь, когда уже знаешь, что она такое, начинать с чего-нибудь подобного можно только тогда, когда трактуешь собственное свинство как самопожертвование. Иного выхода нет, если, конечно, сам ты просто-напросто не свинья.

В его чашке кофе уже не осталось, он машинально отпил чуть-чуть из той, которую она давно отодвинула от себя.

— Если бы это была работа только для Папары... постепенно я, однако, забыл об этом, думая о вас, о вашем отце, о самом себе. Мы должны были отомстить за него, опозорить человека, который убил вашего отца. Это наш святой долг. Вся моя жизнь отдана тому, чтобы помочь вам в этом. Возьмите ее. Но на одно я не пойду. На то, чтобы опозориться самому.

Она смотрела на Сача, который постепенно загорался. Не известно, что он прочитал в ее глазах, но он вдруг рассерженно воскликнул:

— Не из-за страха, и речи о страхе тут нет. Я не говорю о тюрьме, о приговоре, о лагере. Я говорю о том, чтобы опозорить душу. Разве ваш отец согласился бы на то, чтобы ради этой мести вы покрыли себя позором? Никогда, и вы об этом знаете. Но разве вы не считаете, что путь к отмщению вообще должен исключать какую бы то ни было подлость. Странно, конечно, набрасывать кому-нибудь на шею петлю и заботиться о том, чтобы она была безупречно чистой. Но всякая нравственность и честь принадлежат миру самых больших чудачеств. Я знаю, что очень переживал бы потом, если бы помог вашему отцу на том свете восторжествовать над Черским, пойдя на низость.

Аня Смулка была человеком чести. Так она и прожила до сих пор. Но она была слишком женщиной, чтобы не перенимать морали и взглядов мужчины, который был ей в данный момент близок.

— Но вы ведь согласились шпионить, знали, что вам придется войти к человеку в доверие, знали, что затем предадите его. Одно это уже отвратительно.

Он пристально посмотрел на нее. Интересно, только ли сейчас это пришло ей в голову или она уже давно так о нем думает.

— Нравственность—это искусство обходиться маленьким свинством там, где можно было бы совершить большое.

Какое-то время казалось, что беседа на столь отвлеченные темы вот-вот угаснет, но Сач вдруг ни с того ни с сего начал вспоминать:

— Прямо на юг от Бреста, в полчаса езды на машине, есть

маленький фольварк Тузин, принадлежащий Некежицким, большим друзьям Черского. Земли там всего моргов триста¹, пополам с водой. Торф, песок, луга, огражденные дамбами. Птиц — масса. Рыбы еще больше, на ней держится все хозяйство, вокруг нее все и вертится. Некежицкий, как продаст рыбу — тотчас же в Брест; человек он компанейский, соберет людей, повытянет их из учреждений. Наконец-то, радуется он, с рыбоводством покончено, теперь полный покой. Но речь идет не о покое, а о деньгах. Пошумит он несколько дней так, что весь город о нем только и говорит. Политик он завзятый. Пьет с воеводой, со старостой, с Черским, пока не заставит каждого отречься от чего-нибудь. Начинает он с второстепенных министров или важных, но бывших. После закуски все согласны с ним, что это сволочи. Тогда он переводит разговор на другую тему, но ненадолго, опять берется за свое, опять набрасывается на какого-нибудь сановника, и так забирается все выше и выше, наконец остаются лишь президент, маршал², может, еще Бек³. В пьяном угаре гости Некежицкого ничего не соображают, ничего не слышат. Он тщедушный, черный, кожа прозрачная, то и дело ему плохо, льнет к каждому, пристаёт, угрожает, добиваясь не аргументами, а непрекращающейся мольбой того, чтобы в конце концов все с ним согласилось; что эти трое тоже сволочи. И наконец услышит, чего ему хочется. Лицо у него меняется, будто ему предложение сделали, а он еще терзается сомнениями. Искренним ли было признание, не для того ли только, чтобы от него отвязаться, серьезно ли сказано, не в расчете ли на то, что он пьян и позабудет. Нет! Нет! Сволочи! Сволочь — его любимое определение, зачем нужны какие-то еще, лишь затуманивающие суть дела нюансами. Рассветает. Пьянствуют обычно в гостиничном номере, большом, переоборудованном под столовую, с диванчиками по стенам. Двери заперты, все в своем кругу, чужих никого, кощунственных речей никто не слышит, но он-то слышал. Некежицкий! И счастлив. Все в порядке.

Аня удивленно глядит на Сача — и долго это будет продолжаться? Болтовня, не относящаяся к делу! Но инстинктивно она чувствует, что Сач принадлежит к такому типу людей, которые соврать могут сразу, а вот чтобы сказать правду, должны сначала часами попетлять вокруг да около. Сач продолжал:

— Когда, однако, этот самый Некежицкий возвращается к себе, то хватается за голову от ужаса, что он наделал. Посадят

¹ Один морг равен 56 арам.

² Эдвард Рыдз-Смиглый (1886—1941) — ближайший соратник Пилсудского, генеральный инспектор вооруженных сил, маршал; вождь профашистской части санации — буржуазного лагеря в довоенной Польше.

³ Юзеф Бек (1894—1944), полковник, министр иностранных дел в 1932—1939 гг., сторонник антисоветской политики, которая привела к изоляции буржуазной Польши и ее поражению в сентябре 1939 г.

еще. Задуют налогами. Бог знает что! Столь тяжкое похмелье мучит его днями и ночами. Какой же он в это время покорный и робкий. В деревню бы он всех с той пьянки затащил, в деревню. И тогда бы ни гугу о том, что говорились в городе. Никто не вспоминал, никто не слышал! Потому рта не раскрывают. Некежицкий сидит тихо, нервничает, весь обратился в слух. Каждое слово, адресованное ему, пытается разгадать—ставят ему то в вину или нет? От столь чрезмерного смирения, наверное, вновь душа его наполняется ядом, и после следующей продажи он опять кощунствует.

Казалось, Сач и в самом деле позабыл, зачем все это. Уставившись в люстру, слегка сощурившись от бьющего в глаза света, он продолжал:

— Черский, впрочем, его любил, хоть он один и досаждал ему в деревне. Послушайте, Казимеж, как там было, что вы последний раз спрашивали нас о президенте? А Некежицкий изворачивается, краснеет, как барышня. «Господин полковник, господин полковник,—бормочет,—да разве я помню». А ведь только это одно и не выходило у него из головы. В том угнетенном состоянии он и не мыслил себе перевернуть все с ног на голову. А они разве не отвечали так! Он кто—рядовой гражданин, а они—как-никак чиновники!

Наконец Сач решился сделать шаг вперед, ибо ввел в повествование себя самого:

— На пьянки нет, но в деревню Черский брал меня с собой. Еда изысканная, да еще полно водки, но, конечно, не чересчур, кофе, карты. Настроение словно после престольного праздника; оттого, может, что ксендз приходил, тамошний, приходский. Захотелось однажды Черскому этого ксендза проводить. Тому надо было возвращаться к вечерне, а тут, когда стали уже прощаться, обнаружили какие-то давние общие военные знакомства. А они—самая большая слабость Черского. Мы пошли. Меня он взял с собой, чтобы не одному возвращаться. Дорога шла по дамбе. Тропкой, кое-где укрепленной, немного лесом. Скользко. Дамба вся раскисла. Слякоть. Черский даже за ветку раз схватился, иначе свалился бы с насыпи, там сплошная глина. Устал—и обед, и кофе, и выпитое, а тут еще такая сумасшедшая дорога. Ибо ксендз сразу же решительно отсоветовал идти прудами. Лед был ненадежен. Он даже разозлился. «Смотрите,—показал он,—совсем свежие следы». А там дальше река. Посреди пруда воды было как на блюдечке. «И как узнать, не остался ли он там!»—гневно пожал он плечами. У Черского глаза были получше. «Нет,—говорит,—наверняка прошел. Следы есть и по ту сторону воды». Ксендз продолжал сердиться: «Торопятся все на тот свет, срезают путь.—И вдруг в каком-то приступе ярости:—Даже труп не всегда могут отыскать!» Черский грубовато засмеялся. «Тут мы ксендза ждали,—задышался он, доволь-

ный,—сбежал у него с похорон покойник. Да, да! Вот прощелыга». Спустя минуту ксендз распрощался. Сказал, что не может заставлять нас идти по такой дороге.

Сач оглядел зал, поискал кого-то. Торопливо продолжал:

— Черский сначала сильно икал. «Ну и осетр!—Его невольно потянуло на воспоминания.—Неслыханно! Ну, ну». Хотя я и сам из тех мест и из семьи рыбаков, непроизвольно спросил, здешнего ли рыбака улова. Черский иронически расхохотался, а потом, вздохнув, добавил: «На такие танцульки после подобного осетра лучше не ходить. А когда я бываю в Варшаве,—тема сама его луча за собой,—почти всегда ем осетра, вернее, зразы из осетрины». Он не сказал, где, но я кое о чем догадывался. Это должен был быть дом, в котором Черский чувствовал себя очень свободно, заглядывал на кухню, а может, и помогал там. О приготовлении этого блюда рассказывал весело, словно о какой-нибудь школьной выходке, «Самое главное,—объяснил он,—хорошо отбить мясо, а то очень жесткое.—У него, видно, были какие-то приятные воспоминания в связи с этим.—Лучше всего,—смеялся он,—не отбивалкой, а настоящей палкой.—Он со свистом ударил тростью по воздуху.—И бить надо такой палкой из всех сил». Еще раз поднял трость, на сей раз обеими руками, чтобы показать. Тут улыбка вдруг слетела с его лица. От этого резкого движения ему стало нехорошо, а может, еще что, подумал я. Я ведь видел, как он нажирался. «Держи»,—пронзительно закричал он и сунул мне в руку трость. Затем мигом сбросил шапку, доху, пиджак, еще кашне стянул с шеи. То ли все это произошло в одну секунду, то ли он меня так поразил, но я ничего не мог понять. Он взглянул на меня, а пожалуй даже, на свою трость в моих руках, схватился за нее, соскользнул с насыпи в пруд.

До сих пор, хотя это произошло с полгода назад, Сач все еще не мог окончательно прийти в себя от удивления. Рот раскрыл, будто и сейчас продолжал теряться в догадках, что же это тогда могло означать. Круглыми и поглупевшими глазами уставился прямо перед собой, как, наверное, в тот раз, привстал со стула, высмотрел, наконец, то, что искал. Аня проследила за его взглядом.

— Вот тот мальчонка,—сказал он,—посреди пустого пруда тонул.

В маленьком зеленом кивере и красной, обшитой галунами тужурке? Как же все это не вязалось с этим щекастым боем. Мог ли лед треснуть под ним, созданным проворным, легким, как куколка. В глазах Ани он до того сросся с цветами своей одежды, что она не могла представить себе его в болоте, а особенно сейчас, глядя, как он ловко проскальзывает между стульями и столиками, ей трудно поверить, что с ним случилось тогда что-то страшное. Но, видно, это правда, раз уж Сач побледнел при одном воспоминании. Хотя в тот миг думал, скорее всего, о том, как рисковал Черский.

— Плотный, пожилой человек, после такого обеда. Господи Иисусе! А я на берегу. Подумайте только,—горячился Сач,—этот человек шел на смерть. Посмотрите же, какой он предоставлял ей шанс. Себе оставлял совсем крохотный, чтобы возвратиться самому, и почти никакого, чтобы с мальчонкой. Разве ему до него добраться. Втрое тяжелее парня. На полдороге лед треснет, и они оба пойдут ко дну. Он остановился. Видно, одумался—так мне показалось. Жалко жизни. Вот ведь нет! Из жилетного кармана вытащил часы, видно, их берег, и положил на носовой платок. А сам пошел дальше.

Лицо Ани снова делалось все более злым. Зачем ей слушать об этом самопожертвовании. Когда минуту назад Сач сказал, что Черский остановился, у нее появилась надежда—вернется. Но в общих-то чертах финал ей был известен. Теперь она чувствовала, что лишь обстоятельный рассказ Сача придает этой истории, которую он схематично ей обрисовал, живые черты.

— Черский бежал на цыпочках, а лед, казалось, вопреки всем стараниям ощущал тяжесть, прогибался. Словно столик из красного дерева, на который я влезал у Черского, чтобы достать какие-то бумаги из шкафа. Чем дальше, тем слой льда должен быть тоньше. Черский не обращал на это внимания, мчался вперед, и секунды не задерживаясь, перескакивая с одного места на другое, столь же опасное. Фигура его все уменьшалась—и оттого, что росло расстояние, и оттого, что с каждым шагом он все больше пригибался. Вдруг лед затрещал, Черский судорожно расставил руки и перехватил палку за нижний конец. Все на ходу. И закричал: «Держись, держись!» Значит, не ради своей безопасности он перехватил палку, а намереваясь протянуть ее мальчику. Слишком поздно! В этот как раз момент и погрузился в воду. Черский потом говорил, что ручонкой он ухватился за край льдины, как за ветку, не понимая, что от давления лед тает. И когда в ладошке осталась вода, он пошел ко дну.

Сач пригладил волосы жестом, в котором сквозила какая-то безнадежность. Умолк. Чувствовал: чего-то он не может—продолжать ли рассказ, распутать ли свои воспоминания либо же смириться с собой, каким сам он был тогда.

— Я!—продолжал он.—Я!—бормотал он.—Не страх удерживал меня на берегу. И даже не подумал о том, чтобы спуститься на лед. Оттого, может, что тут же созрел у меня в голове некий план. Не знаю, не знаю!—твердил он. Тер рукою лоб.—Я из деревни, но у нас мало кто умеет плавать. А мне легкие не позволяют,—оправдывался он. Его даже передернуло всего при одном только воспоминании, он принялся дальше выкладывать, как все было.—На льду,—объяснял Сач,—появились трещины, со страшным шумом лед ломался в центре, а потом вдруг такой треск раздался, будто кто поднял весь ледяной покров с пруда и шмякнул оземь. Черский отскочил в сторону, то ползком, то на

четвереньках. Даже и не знаю, не упал ли он сразу, во всяком случае, позади него огромная, метров двадцать, трещина стала заполняться водой. Он отполз от нее довольно далеко, сел на лед, огляделся по сторонам. Я заорал что-то, от чего-то его предостерегая. Он и головы не повернул. Промок уже, наверное, насквозь, я же видел, как с плеч, груди и живота он счищает снег, стряхивает его с пальцев. Тут он приложил руки ко рту и крикнул мне: «Развесь мои вещи на кустике, а то отсыреют!» Они валялись на земле, там, где он их бросил, я стал поднимать, из куртки выпал бумажник, записная книжка, ручка.

Горло у Сача перехватило, он прикрыл глаза.

— Я поднял все это! — пробормотал он. — Все!

Он вытянул руки ладонями вверх, взглянул на свои колени, на столик, казалось, ища места, куда бы эти вещи положить. Затем, словно подпорка, поддерживавшая его ладони, сломалась, руки его как-то беспомощно устремились вниз, с силой ударившись о подлокотники креслица.

— Когда он уже был у самой цели, — продолжал Сач более твердым голосом, — Черский повел себя как-то странно: лег и пополз, но только ногами вперед. Снова привстал, в последний раз огляделся по сторонам, потом уперся в лед локтями и ступнями и стал боком, боком ноги бить и бить по льду.

Сач наклонился и стукнул себя по бедру.

— Вот! — показал он. Он никак не мог вспомнить слова. — Так вот поднимал и бил, поднимал и бил. Передвинулся на метр. И опять то же самое. На два метра. И снова. Самого треска я не слышал, но через некоторое время Черский уже больше не поднимался, напротив, медленно, на льдине, похожей на огромный лист, стал погружаться. Этого, видно, ему и надо было, ибо только теперь наконец он повернул голову к проруби посередине пруда, палкой, грудью, плечами обламывал, давил перед собой лед, который был там, верно, тоненький, как рождественская облатка.

Сач сжал пальцами подлокотники, как-то слегка осел, далеко вперед вытянул ноги. Совсем не для того, чтобы устроиться поудобнее.

— Вот так, — он то раздвигал, то сводил ноги вместе. — Черский искал его вроде как щипцами. И вдруг заржал, смех его далеко окрест разнесся, прямо загредел, какой-то нечеловеческий. «Есть», — загоготал он, словно огромная и добродушная лягушка. Затем, как ни в чем не бывало, ухватившись за кромку льда, будто это столешница, залез под лед — так залезают под стол, — с гримасой неудовольствия, появляющейся на лице пожилого человека, которому трудновато нагнуться.

Губы Ани задрожали. Она тут же плотно сжала их, злясь на свою слабость. Ей надо было перебороть собственное волнение, чтобы оно не застилало ей глаз, не подтачивало чувства вечного

презрения, которое она питала к Черскому. И она поступила так, как поступают очень молодые и неопытные люди,—она рассмеялась.

— На что мне все это знать? Любопытно!

Но Сач все еще оставался под впечатлением той сцены. Казалось, настроение, которое она тогда, довольно уже давно, вызвала у него, теперь вновь подчинило его себе, само выплескивалось наружу, подсказывая лишь слова.

— Он скрылся подо льдом,—говорил Сач,—только на мгновение. Но оно тянулось долго. Рука его была на кромке льда, залог того, что он вернется, пятипальный якорь, которым он уцепился не за дно, за поверхность. Наконец он вынырнул из бездны. Я вздохнул с облегчением, почувствовал, что воздуха мне не хватает, и тогда только сообразил, что, пока он был под водой, я тоже не дышал, то ли просто подражая Черскому, то ли мой организм без моего ведома решил таким образом выразить ему свое сочувствие.

Сач вытер лицо. Задержал платок у рта. На губе выступила капелька крови. Он и сам не заметил, как прикусил ее. Может, в ту секунду, когда еще одно воспоминание, тесно со всем этим связанное, вертелось у него на кончике языка. Он сдержал себя.

— Наконец он его нашел. Все длилось вроде бы какой-то миг, всего одно погружение в воду, так по крайней мере утверждал Черский, но я, глядя на все это, отмерял время той нестерпимой болью, которая сжимала мне грудь, и потому мне и сегодня кажется, что Черский долго искал, прежде чем нашел. Мальчонка походил на мертвеца! Черский толкал его по льду и сам полз за ним. Теперь, когда их стало двое, опасность еще больше возросла. Живой распластался, подтягивая ноги к себе и отбрасывая их, мертвый, которого Черский толкал, потихоньку вползал по откосу вверх, поза его была странной и неестественной, такую по собственной воле приняло это полумертвое тело из-за того, что было совершенно неподвижно и находилось в состоянии какого-то своеобразного покоя. Разумеется, своеобразного с точки зрения того света.

Аня знала, что было дальше: наконец, уже на берегу, Черский уложил мальчика на шубу, стал делать искусственное дыхание, долго возился, пока не вернул его к жизни. Сбежались какие-то люди. Об этом уже рассказывал сам парнишка. Сач не будет этого повторять. И она вдруг поняла, что не в состоянии—ни в резкой форме, ни вообще—попрекнуть его. Дело сделано, подумала она. Слова теперь ни к чему. После всего того, что он видел, Сача уже не заставишь взглянуть на Черского прежними глазами. Тот раз и навсегда выставил в свою защиту маленького и шустрого мальчишку, повседневным занятием которого было шастать тут с сигаретами в ящике со стеклянной крышкой, а высшей целью—оградить своего спасителя от кары за убийство Смудки. Аня ошибалась.

— Первой женщиной, которая прибежала туда,— продолжал Сач,— была тетка этого мальчишки. И за ней следом— тьма местных. Я спустился на лед взять часы и платок. Когда вернулся назад, Черский был уже в шубе. «А пиджак?»— спросил я.— «Э-э, промокнет»,— ответил он.— Я понесу его в руках. Или,— он обернулся,— пусть мальчишка наденет». Он крикнул им: «Отошлите его потом господину Некежицкому». Благодарили, верно, немногословно, пока я ходил за часами, туда и обратно, и прощались тоже недолго. «Ну, с богом»,— сказал Черский. И еще прибавил:— Больше так ребенка на лед не пускайте». Баба, словно молитву, покорно повторила за Черским, обращаясь уже к мальчишке: «Больше один на лед не ходи».

Теперь досказать осталось самую малость. Сач молча собирался с мыслями, потом усталым голосом закончил:

— Они взяли мальчика под руки. К дому им было ближе, чем нам к Некежицкому. Только в обратную сторону. Они пошли. Я что-то промямлил о самоотверженности и, может, даже о героизме. Он выслушал молча, но его это тоже поразило, ибо, когда мы уже прошли быстрым шагом, чтобы разогреться, добрую часть пути, он вдруг признался: «Э-э, скорее спорт!»— затем остановился, сунул руки в карманы шубы, проверил, все ли на месте— бумажник, ручка и эта маленькая записная книжка (когда он их переложил из пиджака в шубу, не знаю; тоже, наверное, когда я ходил за часами),— и разъяснил, что он имел в виду.

— Ночью, ночью такого искать,— он обвел рукой чуть не весь горизонт.— А днем!— Он пожал плечами и, иронично сжав губы, процедил:— Фи!

И как доказательство:

— Зимой 1917 года мы простояли над Стырью. Наконец ранняя весна. Мы все пытались с помощью разведки узнать, что на русском берегу. Так вот там таких историй, как сегодняшняя, было десятки. Лошадь,— воскликнул он и, подчеркивая важность этого обстоятельства, повернулся ко мне всем телом,— и то удавалось спасти. А уж человека, да еще ребенка.

А я ему в ответ, что если уж не героизм, то самопожертвование. Он рассмеялся во весь рот, ибо подобное слово вовсе его не смущало, не то, что такое, как— героизм.

— А вы знаете, ради кого?— И глаза его хитро сверкнули.— Ради этого приходского ксендза!— объявил он.— Хороший мужик, но я его поддел. Пусть и у него будет свой покойник. Это ксендзу положено. Уже если его придется хоронить, то пусть лучше он, что-то парнишка, сдастся мне, очень плох. Ему грозит воспаление легких. Да еще какое!

Он присвистнул. Я запомнил, как люди говорили, что мальчик— единственный ребенок в семье, к тому же не из местных, приехал из Варшавы на праздники. Я сказал об этом Черскому. И тут вдруг исчезают из глаз Черского и лукавые искорки, и блеск,

они сереют, веки медленно опускаются и наполовину прикрывают глаза. Я поразился, что так его взволновало. А он:

— Сердце, ах, как жмет. Пстойте-ка.— Несмотря ни на что, мы все-таки добрались до дому без происшествий, едва, правда, тащились.

И тут Сач умолк. Он рассказал все, кроме той, последней вещи. Осмотрелся. Да. Больше уже ничего не осталось, только она. Нервный спазм сдавил горло. Сач взглянул на Аню, в глазах его была страшная усталость, словно какие-то чары утопили в них чью-то пропавшую жизнь. Он протер глаза. В них отражались не только душевные тревоги Сача, но и усталость от того, что происходило вне его, вокруг и рядом, от дыма, духоты, жары— все это можно было прочесть в его глазах. Было светло, но свет проникал в пространство здесь с трудом, как бы дрожа от напряжения, кое в каких местах становился цветным. Голубые пласты материи, туманной, но сохранявшей жесткие продолговатые очертания, застыли на высоте окон, так что у тех, кто вставал, голова погружалась в их сияние. Стало свободней, за некоторыми столиками было по одному свободному месту, за другими по несколько—люди покидали зал группами. Казалось, они бежали от этого дыма, а может, сама суть таких вечеров и состояла в том, чтобы люди исчезали отсюда, словно дым. Музыка становилась все яростнее, прямо-таки отчаянной, оттого что ее никто не слышит; действительно, в зале не было ни одного человека, который обращал бы на нее внимание. Видно, в ушах людей что-то изменилось, слух стал не такой чувствительный, словно его оградил какой-то пленкой—так защищается кожа от предмета, который в нее проникает.

— И зачем вы все это мне нарасказывали?—повторила Аня.— Не понимаю!

Как цепь, выброшенная за борт, тянет за собой последние свои звенья, так и у Сача то, что он хотел сохранить для себя, готово было соскользнуть с языка. Равновесие между тем, что уже вышло на явь, и тем, что должно было остаться в тайне, давно нарушилось, секрет теперь не мог не обрести голоса. Дерево, которое рубят в лесу, всегда задержится на секунду, прежде чем рухнуть, на то самое, особое мгновенье, когда сила тяжести уже отдала себя во власть физического закона, а он на миг приостановил свое действие. Это время, когда природа радуется собственной гармонии, видя, что подобная масса слепо подчиняется формуле. Сач поднял голову, веки, словно скорлупка, прикрывали его глаза, белые, напоминающие глазницы старинных статуй; Сач был бледен, но недостаточно выразить лицом свершенное зло, надлежало рассказать о нем. Аня, правда, успела еще прокричать:

— Так оттого, что он спас, он уже больше и не может быть подл?

Он пропустил ее крик мимо ушей. Протянул через стол руку к ней, сильно сжал ее локоть. И сам простонал:

— А я, а я, знаете ли вы, чем я занимался все то время?

Он сделал глубокий вдох.

— Рыскал у него по карманам!

Сач за локоть тянул ее к себе.

— Это мерзавец,—задышался он,—это мерзавец. Я знаю о нем все до последнего! Он набрал без малого миллион. И все из одного источника, из этой гигантской подрядной фирмы, ведущей в основном все работы. И подумайте,—что-то наивное слышалось в этом его восклицании, спустя столько месяцев он удивлялся все тому же самому,—у него все это зафиксировано в записной книжке.

Аня потребовала, чтобы он еще раз подтвердил. Тон ее был совершенно сух.

— Значит, крал?

Он сразу же подтвердил:

— Ну естественно.

Она зло и хмуро посмотрела на Сача. Чего же она могла добиться. Одного только—доставить ему неприятности. И все-таки сказала:

— А чего вы ждете?

Он не хотел с ней ни о чем договариваться, он хотел просто во всем признаться.

— Я не могу. Я не могу.—Он отказывался с какой-то нарастающей поспешностью.—Я не могу опереться на это. Не могу касаться этого источника. Целый год я не терял надежды. Я ведь знаю его расходы, они вдесятеро превышают легальные доходы. Знаю я об этом. И вовсе не благодаря той минуте. И потому беру на заметку. Тысячью способов стараюсь его схватить за руку. Но только один способ для меня невозможен.

И в полном отчаянии Сач простонал:

— А другого-то и нет!

Она повторила за ним, словно эхо.

— Вам трудно воспользоваться!

Он и не заметил, что в словах ее нет и тени иронии.

— Я тогда не сразу понял, только позднее. Послушайте!—Он взглянул на нее широко открытыми глазами.—Пусть он говорит, что хочет, но он ведь в тот момент рисковал. Нельзя было его трогать.

Ей пришла в голову мысль, что, может, и в самом деле милосердие, самоотверженность и сострадание—это для преступников, как и в средневековье, костел. Убежище. На его пороге погоня прекращается.

— Один такой крохотный добрый поступок,—вздыхнула она,—оплачивает его покой. А все преступления, вместе взятые,

никакого ущерба ему не приносят?—спросила она.—Вы возвращаетесь туда?

Да, он возвращался. Сам не знал, зачем. Он усомнился, что свалит Черского. Это был человек, напоминавший огромную глыбу с сотнями граней, все как хрусталь, только не с той единственной стороны, которую он так мастерски укрывал. Сач просмотрел у Черского каждую бумажку—не нашел ничего. Второй раз до его записной книжки добраться он не мог. Стянуть ее не составляло для него никакого труда, но не было никакой гарантии, что ему удалось бы положить ее на место, если бы он ничего там не обнаружил. А Сач требовал от себя, чтобы к вещам, которые носит с собой Черский, относиться так, как будто он ничего о них не знает. Подходил к концу третий квартал, но случая еще раз добраться до записной книжки, не сжигая за собой мостов, больше не подвертывалось. А к тому же он уже так хорошо изучил Черского, его привычки, что понял одно: такой оказии можно дожидаться годами.

— Я возвращаюсь,—прошептал он.—Не могу я оторваться от этого дела.—И с горькой усмешкой добавил:—Я словно рыцарь, который знает волшебное слово, способное пробудить спящую царевну, но которому нельзя его произнести.

И внезапно, чуть не плача, прокричал:

— Я вас теряю!

Глаза ее засветились. Он застал ее врасплох, словно перешел на иностранный язык. Да еще незнакомый. Аня и в самом деле не понимала языка чувств, вот и сейчас она не могла понять отчаяние Сача, тем более что и самой ей было невесело, притом по причинам совершенно иным. Она не сводила глаз с Юлека, в них вовсе не было гнева, в них было сочувствие, и даже больше, чем сама она думала,—сочувствие, которого хватит надолго. Она пыталась разобраться в том, что руководило Сачем. Поверила в его благородство. У нее и мысли не возникало, что он пытался улизнуть или прикрывал собственную слабость. Ее коллега в походе на Черского отказывался идти дальше. Она почувствовала то же самое, что пережила несколько лет назад во время поездки в Татры. Ее спутница, только когда ей стало плохо далеко от базы, призналась, что у нее больные легкие. Тогда, как и сейчас, к жалости и сочувствию примешалось и раздражение, но она не позволила ему проявиться ни в мыслях, ни тем более в словах. Кстати, в благородстве и чухотке было для Анны какое-то очарование, временами, может, даже и немалое, но не в подобных случаях, как сегодня или как тогда в горах, когда они начинали мешать различным ее планам. Сач вслушивался, что принесет ему эхо в ответ на его крик. В словах Ани он уловил типичные нотки прощанья.

— Мне всегда приятно будет увидеться с вами.

Слова эти обычно произносит тот из любовников, который

решил связать свою судьбу с кем-то другим. Сач встал, руки его страшно тряслись, и Ане стало не по себе. Никогда он не чувствовал яснее, как бесконечно привязался к этой девушке,— путь к сердцу ее, единственный, был так верен, но им-то он и запретил себе пойти. О чем она может сейчас думать?— вопрос этот терзал его. Наверное, уже не обо мне. И чтобы привлечь ее внимание к тому, что он еще может принести ей пользу, Сач начал умолять:

— Позвольте мне убить его.

Но это неправда, что смерти Черского было ей слишком мало. Аня, натура впечатлительная, содрогалась от одной мысли об этом. Всякая смерть для нее была чем-то чрезмерным. Она всегда это чувствовала, но никогда так отчетливо, как сейчас, когда Сач молил ее.

— Нет,— нервно ответила она,— не хочу, не хочу.

Во рту у него было горько, перед глазами поплыли круги.

— Я должен ради вас,— настаивал он,— должен броситься навстречу опасности.

Приговор, долгие годы тюрьмы, промелькнуло у нее в голове, и вдруг все, о чем она только что думала,— и его благородство, и то, что она посчитала это беспомощностью и сравнила с чахоткой,— все в мыслях ее спуталось. Несмотря на тщедушность, был он совершенно здоров, и ее взгляд, обращенный на него, стал необычайно мягким. Могло показаться, будто она обласкала им большого человека. Погас весь ее гнев, исчезли все ее требования. Она с тоской отказалась от них, быть бы только уверенной, что с ним ничего не случится. Аня встала. Лицо ее оказалось так близко от Юлека, глаза его от этой близости округлились; прямо смотря в них, она сказала:

— Запрещаю. Не хочу терять такого друга.— А потом покорно вздохнула, как вздыхает человек, когда чувства его идут наперекор его мыслям.

— Ничего не поделаешь. Пусть все так и остается.

И даже не вздрогнула, когда маленький зеленый бой, видя, что они уходят, подбежал к ним и прокричал:

— Кланяйтесь, пожалуйста, господину полковнику. Храни его бог.



VI

Ельский пришел к старикам Дикертам так поздно, что те уже перестали надеяться. Из гостиной, где они его ждали, перешли в комнаты позади столовой, старик надел мягкие, меховые туфли, госпожа Дикерт вместо кашемировой шали, в которую она куталась, когда надо было кого-нибудь принять, натянула черный, длинный халат из шерстяного трико с шелком. Ельский не мог вырваться раньше. Со Скирлинским, правда, он попрощался часа два назад, но задержался в президиуме, надо было просмотреть передовые статьи провинциальных изданий завтрашних варшавских газет. Ельский делал это по поручению премьера. И только в одиннадцатом часу он наконец освободился. Пошел пешком. Он знал порядки на Вейской улице, знал, что никто не ложится там спать до двенадцати, а ему еще хотелось немного проветриться и продумать, что, собственно, сказать Дикертам. Сыну их придется посидеть!

В просторной гостиной было прохладно, через очень большое окно и балконную дверь тепло уходило на улицу. Из-за неплотно

прикрытых шерстяных портьер дуло. На самом дальнем окне, в углу, они даже раскачивались от сквозняка, вздымаясь и опускаясь, словно грудь. Руки Ельского распластались на изразцах, он задумчиво разглядывал их, ладони прижал к плиткам, словно каракатица к скале. Он довольно долго стоял, упершись в печь, пока не почувствовал, что пальцы у него просто мерзнут. И тогда понял, какой идиотизм. Ведь не зима же! Он засунул руки в карманы. Ельский никогда не был здесь летом. Он вспомнил обеды у Дикертов, все это, скорее, казалось сном. Ибо в его снах их гостиная не раз была местом действия. На стольких танцевальных вечерах он тут бывал, на стольких приемах; госпожа Дикерт любила выдавать дочерей замуж, да и дочерей своих родственниц тоже, благо дело клеилось. Семья у них такая богатая. В некоторых из них Ельский влюблялся; когда объявляли о помолвке, он узнавал последним, всегда это для него бывало неожиданностью. А портьеры эти, сегодня все больше набухавшие вечерней прохладой, он помнил колышущимися от частого дыхания барышень, которые, укрываясь под ненадежной защитой, дабы услышать чье-нибудь признание, смущенно склоняли головы набок, лаская бархатными своими губами ткань. Ельского поразило, что это уже только воспоминания. Сейчас от них веяло и холодом, и далью прошедшего. Это ведь здесь, размышлял Ельский, среди сестер и родственниц, провинциальных барышень, хотя кое-кто из них родился и вырос в городе, среди девушек, которые по утрам занимались благотворительностью, днем бывали на «журфиксах», а вечера проводили в развлечениях,—это ведь здесь рос Ясь! На большой стене против окон висела огромная картина Матейки: Ян Собеский принимает австрийских послов. Опять же нунций, но не такой кроткий, как Поссевин, и господа иностранцы—стоя, в очень праздничных одеждах. Это они как раз навещали Ельского во сне, расступаясь под напором польских дам и позволяя занять место впереди себя то Марысе, то одной из тех кузин Дикерта, в которую Ельский был в те дни влюблен. И тут вошли старики Дикерты.

— Вы так добры, Владислав,—госпожа Дикерт обеими руками обхватила руку Ельского,—а мы заставили вас так долго ждать!—Она обратилась к мужу:—Ну извинись же!

Но так и не выпустила правой руки Ельского, а Дикерт никак не мог сообразить, как же ему подцепить гостя.

— Ну объяснись же,—торопила она мужа, который решил, что нет у него другого выхода, кроме как схватить левую руку Ельского. Она растроганно посмотрела на мужа и призналась, но так, будто это был их маленький супружеский секрет:—Он ботинки менял.

И они стали в четыре руки тянуть его, но сами не знали куда. Кушетки стояли у окон, около фортепиано неудобно, диван слишком близко к дверям. Прислуга все услышит!—вздыхнул

хозяин дома. И он как бы произвольно, беспомощно и в отчаянии опустил руки, поскольку в течение последних двадцати лет о тайнах они говорили в своей спальне, да и речь-то там шла о помолвках барышень, если же Дикертам наносили визиты, они принимали гостей, как сейчас Ельского, в гостиной, официально, когда те приходили выразить соболезнования, а в таком случае умершим отдавали должное громким голосом.

— При каких обстоятельствах встречаемся!— Госпожа Дикерт больше не могла сдержаться и не застонать.— Сын в тюрьме.

Сколько же в волосах ее серебра!— подумал Ельский. Волосы хозяйки дома, пушистые, мягкие и непослушные, несмотря на все старания гребней, пышным седым облаком обрамляли голову, словно тюбан из тумана. Она поднесла к глазам платок.

— Перестань,— успокаивал ее муж.— Пан Владислав все знает.

И слезы ее тут же куда-то исчезли, видно, это веки постарались, слез как не бывало. Дикерт полагал, что плакать уместно лишь в тот момент, когда кто-то узнавал об их горе, слезам надлежало показываться только в ответ на первый порыв сочувствия, быть как бы взволнованной прелюдией, за которой должен следовать деловой рассказ.

— Да, да!— объяснила она то, как сама понимает сложившуюся ситуацию.— Плакать мы умеем и наедине, но вот помочь сами себе не умеем. Может, вы будете так любезны.

Руки ее ухватились за длинную золотую цепочку с часиками, спускавшуюся с шеи. Она стала тереть ее пальцами и нервно подергивать. Муж посмотрел на нее. Госпожа Дикерт спохватилась, но спустя секунду принялась за бахрому своего халата, то распутывая ее, то завязывая узелки.

— Оставь, оставь,— нежно отвел он ее пальцы— так поступают с котятками, запрещая им тереть одежду.— Немножечко самообладания!— напомнил он ей.

И даже улыбнулся Ельскому, хотя улыбка на его печальном лице выглядела натянутой и неуместной, словно павлинье перо на монашеском капюшоне, ибо взгляд старика был жалким и растерянным, а сам он как-то необычно съежился.

— Плохо, видите ли,— сказал он,— плохо!— Тон его должен был показать, что старик смотрит на это дело как бы немного со стороны. Потом покачал головой.— Ну и натворил же он.

А она отвечала вздохами, казалось, будто только что бог весть откуда прибежала сюда к ним, оттого и одышка. Муж и это не одобрил. Сильно сжал ей плечо. Посмотрел на жену укоризненно-удивленно.

— О, ты сегодня невыносима.— Он чуточку рассердился. И даже не за эти вздохи, а за то, что она проявляла свое беспокойство то так, то эдак. Что она еще выдумает?! Он смотрел на жену.— Нельзя так докучать собой людям,— проговорил Дикерт.

В действительности же его не волновали ни впечатлительность Ельского, ни даже соблюдение приличий, он тревожился о здоровье жены. Считал, что бурное проявление горя, словно быстрая езда, очень мучительно. В наш век, полагал Дикерт, надо и передвигаться, и страдать потихоньку. Разве кто-нибудь слышал, чтобы старый человек хоть раз закричал?

— Пожалуйста, пожалуйста,—говорил Дикерт Ельскому, показывая ему то на одно, то на другое кресло, и никак не мог решить, где им сесть.— Вот!—остановился он вдруг перед картиной Матейки.— Вот!—воскликнул он и, глядя в глаза Ельскому, принялся заговорщически кивать головой, потом нервно развел руками.— И ничего, ничего,—огорчился он.

— Из такого дома,—растолковала мысль мужа госпожа Дикерт.— Из дома, где в каждом углу произведения искусства и памятники нашей культуры,—такой ребенок!

И старики, согласно тряся головами, в один голос произнесли:

— Страшно подумать!

А затем госпожа Дикерт уже одна прибавила:

— Так что же в таком случае творится в иных местах.

В конце концов старик плюхнулся на первый подвернувшийся ему стул, словно бы вдруг сообразив, что перед лицом такой катастрофы остальное не имеет значения, даже сохранение ее в тайне.

— Покой и уважение,—жаловался он,—единственное, что приберег себе человек на старости лет. И того в конце концов дети лишают.

Дикерт тупо уставился прямо перед собой.

— Холодно тут, ой, холодно!—Огляделся по сторонам, чем бы укрыться.— Не беспокойся,—крикнул жене,—не стоит!—Но она не послушалась и засемила за пледом.

Тогда Дикерт накинулся на Ельского.

— Бьют его, да.—Он стиснул зубы. Его бешенство выливалось в какое-то неожиданное брюзжанье. Но в то же самое время, опустив кончики губ, мягким тоном покорно соглашался с тем, что иначе и быть не может.— Но жене ни слова, молчок!

Он продолжал предостерегающе грозить Ельскому пальцем, хотя говорил о том, что жене его отлично было известно.

— Дома, видите ли, знали, куда идет дело. Но когда у нас что-нибудь случается, все думаешь, это теория. А здесь, понимаете ли, оказывается, и практика была. Нам представлялось, он только читал, знакомился. Как дошло до того, что он и сам стал действовать? Всегда так с детьми.

Он погладил руки жене, укутывавшей ему ноги, улыбнулся:

— У наших друзей тоже такое приключилось. Дочка их все сидела за письменным столиком с романом в руках.

— Ах, не болтай,—прервала его жена. А он фыркнул, но, кажется, не на нее, а на ту барышню.

— К черту! Родители тоже про нее думали, читает, мол, и читает. А там тоже на практике такие были романы!

Он все как-то не мог отвязаться от этих историй и сетований. Ельский понял, что они позвали его затем, чтобы спросить, не удастся ли как-нибудь все устроить, но все жалуются и жалуются, ибо для них возвращение сына из тюрьмы не перечеркнуло бы ни одного часа пребывания его там. И Ельский чувствовал, они ждут от него не того, что он вернет им сына, а того, что они получат сына таким, каким он был до прихода полиции.

— О родителях думают в последнюю очередь,— сморщил лоб Дикерт.— Они для них спасение, а не только близкое окружение. Я не раз начинал разговор с сыном. Он не хотел. Всегда одно и то же: то увертки, то недомолвки. Будто я полицейский комиссар. Однажды он сказал мне, дескать, не может забыть, что я был президентом города. Также мне крупная фигура!

Дикерт горько рассмеялся.

— Говорит мне такое дома. Спустия столько лет, и это мой собственный сын обращается ко мне с таким упреком. Ничего подобного ни от кого я не слышал в магистрате, пока был президентом. Все ко мне тогда относились как к отцу.

Тут он не выдержал и закричал:

— Согласившись на подобные отношения, на подобные отношения отцов и детей, господь бог рискует проиграть человека.

Ельский, чтобы утешить его, напомнил:

— У вас, господин президент, есть ведь еще дети.

Старик вскочил, плед сполз на пол, он подтянул его и набросил на себя, словно это была тога из верблюжьей шерсти.

— Нет,— закричал он,— нет. Когда теряешь ребенка, только тот и есть, которого теряешь.

По глазам Ельского ему показалось, что тот не верит ему. Дикерт бросил на чашу весов всю силу своего убеждения.

— Да, да!— трясся он всем телом.— Хотя бы их у вас были тысячи!

Мать, по-видимому, считала, что есть и другие причины, по которым оба они были так привязаны к Янеку.

— Этот ребенок нам вообще немалого стоил. В детстве — сплошные хвори, весь был покрыт коростой. Два года болел. Доктора, правда, находили его вполне здоровым, а у него и местечка на коже не было, которое бы не болело. Ни спать, ни сесть, ни опереться обо что. И все чесался, чесался. Вечно приходилось воевать с этими его руками. Всегда ухитрялся одну освободить. И давай сдирать с себя кожу.

Прикрыв глаза, она сразу все вспомнила, теперь взгляд ее был полон ужаса.

— Когда кожу привели в порядок, болезнь перекинулась внутрь. То желудок, то малокровие, то легкие. И знаете что,— она скорее мужа просила подтвердить ее слова, чем старалась

привлечь внимание Ельского,—болезнь для него была словно алкоголь. Весь покрывался красными пятнами, чего-то требовал, метался, все хватал. А как выздоравливал, будто в сон погружался. Только книжки, да и то над одной неделями просиживал. За то время, что его брат прочитает, скажем, все произведения Словацкого, Ясь едва успеет кончить «Кордиана».

Дикерт посчитал, что она что-то путает.

— «Кордиана»!—сказал он.

— Я и говорю.

— Как она сказала,—слегка сбитый с толку, спросил он Ельского,—«Конрада», а?

Но она улыбнулась, и ее теплый взгляд растопил без остатка это недоразумение. Так что Ельский промолчал.

— Мы с мужем все хуже слышим, но понимаем друг друга все лучше.

Дикерт чуть нахмурился, он не любил, когда так несерьезно относились к его старости.

— А школы?—заметил он, только что появившееся на его лице недовольство не успело еще исчезнуть.—Его спасал всегда один предмет. Сначала география, потом математика.

Продолжила жалобы опять она:

— И вечно какие-нибудь истории с учителями. У всех—ничего не понимает, зато у одного слишком много. Тот сначала жаловался на него, ведь Янек ничуть не походил на отличника, которых в школе любят, таким учение на пользу и здоровью не вредит. А тут—нет. Он забивался на последнюю парту, мрачный, пытался решить проблемы, которых не понимал; а те, с которыми уже разобрался, вызывали у него скуку. У доски мучил учителя, ибо то решал задачу в два счета, перескакивал от одного действия к другому, да еще в уме, а то часами бился над простой вещью, сомневаясь в самих принципах.

Муж добавил, поясняя:

— Она это знает. Находилась к директору!

Госпожа Дикерт вспомнила еще об одном и сама удивилась.

— Вы не поверите,—сказала она,—пришлось нанять репетитора по математике. Учитель потребовал, чтобы Янек соответствовал общему уровню: «Класс должен быть более менее ровным, а ваш сын всегда отвечает чересчур умно». Он намучился, пока приноровился к средним ответам, без чего, как дал ясно понять директор, нечего и мечтать об окончании школы.

— Ну, в конце-то концов он сдал,—попытался сгладить углы Ельский.

Старика даже передернуло при одном воспоминании об этом.

— Да только на бумаге.—Он покраснел.—Не будь я президентом, он бы срезался и срезался бы каждый год. И мне это тоже ясно дали понять в школе.

— А в университете!—Ельский не спрашивал, а напоминал; от

своего коллеги он знал, что молодой Дикерт обладал исключительными математическими способностями.

Отец презрительно вздохнул.

— Экзамены, сударь, экзамены! Я спрашиваю, где тому свидетельства. Который уж год слышу одно и то же, и на семинаре он, мол, профессора загоняет в угол, и в Варшаве, дескать, один он сумел найти общий язык с парижским ученым, и какому-то старшему товарищу выправил-де докторскую диссертацию, а у самого,—глаза старика гневно сверкали,—даже и степени нет!

Он побарабанил пальцами по столу.

— Такая, видите ли, у нас с ним математика!

И ни с того ни с сего ошелолил Ельского вопросом:

— Слушайте, где он это подхватил?—и, видя, что Ельский не отвечает, прибавил:—Коммунизм этот.

Ельский сделал вид, что собирается с мыслями. Откуда? Да кто же знает, где Янек шастал. Из родительской гостиной он старался улизнуть, как только мог поскорее, вставал из-за стола и шел к себе, если изредка и соглашался отправиться к кому с визитом, то сидел все время молча. Говорят, однажды он заявил отцу, что именно эти светские выходы и привели его к коммунизму.

«Не впихивали бы в меня ваш свет,—сказал он,—я бы и не возненавидел его так». Но в конце концов должен же был кто-то открыть перед ним иной мир, который притянул его к себе. Кто, где, когда? В гимназические годы он жил, отгородившись ото всех, потому с такой доверчивостью и льнул к университетским товарищам. Однажды заявил, что вся математика на стороне коммунизма. Но потом уже на эту тему ни слова, то ли он ученых имел в виду, то ли саму науку. Хотя этого и представить себе невозможно.

Верно, сострил так, думал Ельский. Он иногда не прочь был пошутить, но как евнух, у которого ни с того ни с сего просыпается вдруг тяга к женщине.

— Но сын он хороший.—Непонятно было, что подтолкнуло Ельского к такому выводу.

Дикерт вскинул на него глаза, словно взвешивая, тот ли он человек, которому можно открыть тайну. И затем резко бросил:

— Никакой. Никакой он не сын. Никакой.

А госпожа Дикерт в ослеплении, свойственном женщинам, которые даже и не замечают, когда подливают масла в огонь, воскликнула:

— Не говори так!

— А я буду,—рассердился он.—Ни одного ласкового слова, ни одного доброго жеста, камень, знаете ли, камень. Да и не камень даже,—ему показалось, что в камне есть что-то живое,—вот что: машина. Камень,—бог знает почему он верил в это, но

верил свято,—камень, может, и вспомнит иногда гору, от которой оторвался, а машина завод, сделавший ее,—никогда. В ней ни капельки тепла, ни капельки памяти. Таков наш сын.

Тут он не позволил вмешаться жене.

— Всегда он был бессердечным. Но сначала другим подражал, своему брату, нам. И только как начал забивать голову своей математикой, тут окончательно и окаменел. Но лишь этот коммунизм убедил его в том, что так надо.

Старик заскрипел вставными зубами. Нет, такого орешка ему не разгрызть, непокорно качал он головой, а память подсовывала ему донос за доносом.

— Он бы скорее язык себе откусил, чем пришел поздравить с днем ангела.

И тут госпожа Дикерт торопливо подтянула рукав своего трикотажного черного халата, принялась быстро расстегивать пуговицы на манжете, засучила рукав по локоть, словно собиралась мыть руки, правда, только одну.

— Ну, пора о Кларысеве!—отозвался старик с иронией, но и не без удовольствия от того, что так легко догадался, о чем собирается рассказать жена.

Но и Ельский тоже знал, о чем пойдет речь. Два года назад госпожа Дикерт, спускаясь по лестнице виллы, которую они снимали на лето, упала и сломала руку. Дома в городе был один Янек, он сделал все, о чем его попросили по телефону, и отправился на вокзал узкоколейки. Там он узнал, что поезд будет через час. Так и неизвестно, то ли он беспокоился, то ли из спортивного интереса, но Янек пошел пешком. Наверняка часть пути бежал, может, и весь, он, правда, предпочитал не распространяться на эту тему и даже сказал, что кто-то его подвез. На сей счет всегда в семье спорили.

— Я вижу его, как сейчас,—вспоминала госпожа Дикерт, и ее белая обнаженная рука служила ей тут помощницей.—Вбегает он, знаете, в мою комнату, еле дышит, волосы в пыли, глаза ввалились, глубоко-глубоко, еле на ногах стоит, а сам изо всех сил старается выглядеть пободрее.

Дикерт, который всегда в этом месте возражал жене, сказал на сей раз еще более неприязненным, чем обычно, тоном:

— А чего ему притворяться, сам признался, что доехал. День, правда, был жаркий, вот он и вспотел. Всего-то!

В глазах ее показались слезы. Слезы, которые хорошо знали свое время и место, заученные, но все же неизменно искренние. Старик, однако, был беспощаден.

— А руку он тебе поцеловал?—гневно допытывался он.

И это заставило старушку так низко опустить голову, что волосы сизой тучей закрыли ей даже грудь.

— О!—торжествующе воскликнул Дикерт и обеими руками, жестом, выражавшим сострадание, указал Ельскому на жену. Он

сочувствовал ближнему себе существу, хотя ее страдания служили ему коронным доказательством его собственной правоты.

— Пришел,—возмущался Дикерт.— Увидел, что правая рука у нее сломана, а он всегда целовал у матери правую, а раз теперь она в шине, значит, конец. И не поздоровался даже, не прикоснулся к матери, ни о чем не спросил, молчком забился в угол, посидел, отдохнул и отправился восвояси.

Старушка медленно подняла голову. А Дикерт опять заставил ее склониться, воскликнув:

— Разве он потом пришел хоть раз, может, в больнице проведаль?—И сам ответил себе с презрительным отвращением, которое относилось не только к этому поступку сына:— Не пришел, не проведаль!

Госпожа Дикерт посмотрела на руку, провела пальцем по каким-то линиям, видно, это были следы, которые оставил скальпель хирурга.

— Вот здесь!—прошептала она.

Но шрам показался ей темнее, чем обычно, а ведь, ссылаясь именно на то, что следов почти совсем не видно, она и защищала сына: не возвращался, так как убедился, что у матери нет ничего серьезного. Тут она вдруг почувствовала себя совсем беспомощной. Тот сын, который, преодолевая смертельную усталость, бежал к ней, больной, теперь куда-то исчезал. Все это подтверждали. Сам он своей какой-то неискренней, неприятной ложью втапывал себя в землю. Потихоньку, складка за складкой, она расправляла и опускала от локтя вал шелка и шерсти, пока он не растекался по всей руке, облекая ее и пытаясь дать хоть немножко тепла, раз уж не мог успокоить боль.

— Сворачивает свое знамя,—проворчал старик и посчитал себя теперь вправе прогреметь:— Нехороший, нехороший, нехороший сын!

Затем решил развеять всякие подозрения, что виной тут он сам.

— Тетка моего отца, вон она,—согнув руку, словно дорожный указатель, он протянул ее к красивой мраморной головке, обрамленной локонами, напоминавшими два застывших потока.— Двоюродная моя бабка—я ее хорошо знал, она умерла в девяносто лет, даже с гаком,—была воплощением злобы. Вечно рассерженная, вечно неприязненная, она никого не любила, каждого, родственника ли, слугу ли, унижала. Противная, упрямая. Никому не уступала, ни от чего не отступалась. И от жизни тоже. Измучилась болеть и страдать, но за жизнь цеплялась. Живешь только тогда, это было ее кредо, пока можешь язвить, допекать, восстанавливать людей против себя.

Госпожа Дикерт, подняв голову, была начеку, так как знала, что близится момент, когда муж, заранее ожидая подтверждения, подчеркнуто вежливо склонится к ней.

— У жены тоже!— Дикерт раболепно улыбнулся, признавая, что и она не беднее его в том, чем богат он сам.

— У жены тоже,—повторил он,—есть в семье подобный фрукт.— Он огляделся по сторонам, потом показал на маленькую картину вдали.— Вот куда он запрятался, за фортепьяно, отсюда и не разглядеть его. С домашними он говорил лишь в приказном тоне, но с чужими, которым не мог отдавать распоряжения, был нем как рыба. Как надулся, разозлившись на отца за то, что тот забрал его из кадетского училища и посадил на хозяйство (он слишком много позволял себе), так и не улыбнулся до гробовой доски. А в гробу, скажу я вам, совсем другим человеком стал!

Госпожа Дикерт была из тех, у которых размышления о загробной жизни сводились лишь к чтению некрологов. На похороны она ходила, словно трезвенник на попойки, ради компании, вовсе не обращая внимания на катафалк. Могила, бог, секс были темами, на которые она предпочитала не говорить.

— Сразу и смерть! О, не вспоминай!— резко бросила она.— Ей это не по вкусу.

Но старик смотрел в угол, на портрет деда жены. Он описал пальцем кривую, словно показывая, как кубарем скатываются с горы.

— Прямо в него и мой сын,—воскликнул он.— И в нее,—оттопыренным большим пальцем он показал за спину, будто там, за ним, была его бабка.— Чужой ребенок, родили его мы вместо наших деда с бабкой и наделили чертами, которые хотя те и были злыми, но не передали бы своим детям и внукам. Только следующим поколениям. К которым они были равнодушны. Потому и он равнодушный и злой.

Госпожа Дикерт подбежала к мужу, седые волосы ее развевались, словно искры от головешки. Глаза горели.

— Не говори так. Как ты можешь.

Но сколько же раз он доказывал ей, что может, и всегда призывал на помощь портрет. Дикерт вылетел из своего пледа, словно горошина из стручка, снял портрет с крюка, каким-то слишком размашистым движением руки поднял кверху. Казалось, сейчас с этой высоты он швырнет его на пол, но Дикерт лишь вертел портрет так и сяк, стараясь подсунуть изображенное на нем лицо Ельскому.

— Вот вам,—он щелкнул пальцем по дощечке, на которой пожилой мужчина, действительно чем-то недовольный, закутанный до самого подбородка салфеткой, щурился от того, видно, что с темной стены его перенесли на свет.

— Вылитый Янек.

Госпожа Дикерт неторопливо, сильным, ровным голосом человека, которому открылась правда, хотя по природе своей она и такова, что действительность ничем ее не подтверждает, возразила мужу:

— А ведь он бежал тогда, бежал, бежал.

И доверчиво, дав волю той неподдельной искренности, которая рвется наружу из глубины души, она попросила мужа подтвердить ее слова:

— Ну, ты же не станешь отрицать, что он бежал.

Но старик стучал пальцем по картине.

— Видите, настоящее дерево,—повторял он сквозь зубы,—деревяшка, а не человек, деревяшка.

И в это время в дверях зазвучал милый, мягкий, теплый смех Генрика Дикерта, который наконец-то освободился от своих дипломатических обязанностей и разыскал родителей вместе с Ельским в гостиной, чтобы разузнать, есть ли какие-нибудь новости о брате.

— Картина пошла в дело!—Он остановился, склонил голову, прищурился, убеждаясь, что все идет, как надо.—Видно, разговор о моем брате был основателен. А мама?—По ее напряженному лицу он понял, что она проиграла.—Значит, защита Янека в Кларысеве позади. И никто не поверил в его доброе сердце.

Но вдруг он замер и, как бы перечеркнув эту сцену, не столько пустячную, сколько доставлявшую глазу эстетическое удовлетворение, серьезно взглянул на отца, спросил:

— С чем же пришел к нам господин Ельский? Отпустят его?

Старик явно растерялся. Генрик не сводил с него глаз, хорошо понимая, в чем дело.

— Они ни о чем тебя не спрашивали?—повернулся он к Ельскому.

Ельский хотел что-то сказать.

— Да знаю, знаю,—опередил его Генрик.—Не дали тебе и слова сказать.

И опять старикам, покачивая головой:

— Так же нельзя, господа.

Хозяйка дома взяла из рук мужа картину, осторожно положила ее на фортепьяно, чтобы она не раздражала сына. Старик снова закутался в плед по самую шею. Генрик, повернувшись к Ельскому, всем своим видом и тоном подчеркивал, что ведет показательное расследование:

— Тебе удалось поймать Скирлинского? Где ты его видел? У него в кабинете? Он был один? Долго с ним говорил?—сперва внешние обстоятельства, затем тон разговора, наконец, суть и результат.

— Отрицательный!—признался Ельский.

Генрик этого и ожидал. Время было неподходящее. Они оба понимали это.

— Нажим идет с самого верха. Германии надо вбить в голову, что с коммунизмом в Польше борются беспощадно.

— Знаю, знаю,—повторял Генрик Дикерт.

— А немцев не интересует коммунизм пешек, даже коммунизм

руководителей, их прежде всего интересует коммунизм философов, мыслителей, пророков. У нас позволялось думать в коммунистическом духе, только не действовать. Фашисты считают, что коммунизму можно поставить преграду, если сначала будет уничтожена благоволящая ему мысль.

— Знаю, знаю,—чуть слышно, мягким голосом вторил Ельскому Дикерт.

— Твоего брата,—продолжал Ельский,—именно то сегодня и губит, что он из интеллектуальной среды. В прошлом политическом сезоне сказали бы: безвредный теоретик—и дорога домой была бы ему свободна. После переворота в Германии, словно после какого-нибудь переворота в медицине, то, что вчера было безвредным, сегодня считается весьма опасным для общественно-го организма. До сих пор нас без конца учили тому, что немислимое дело—выпустить на свободу сторонника Москвы, сейчас точно так же никому нельзя простить интеллектуальное преступление. Поразительно, что только действительно враждебная человеческой мысли система стала относиться к идеям всерьез, относя грех в мыслях к числу грехов смертельных.

— Знаю, знаю,—тихо бормоча, уверял Генрик, и тон его становился сдержаннее, он пытался дать понять, что знает это даже лучше других.

Кстати, то ли разговор с Ельским его успокоил, то ли он и пришел уже успокоенным, но с лица его исчезло то злое и усталое выражение, с которым он вбежал недавно вечером на прием к Штемлерам. Обида, которую он испытывал всякий раз, вспоминая, что брат его в тюрьме, как-то сгладилась. И он даже ощущал слабенькую нежность к брату, но не оттого, что лучше теперь понимал его, а потому, что час назад узнал об аресте в Румынии за принадлежность к «железной гвардии»¹ множества лиц, связанных узами родства с видными правительственными чиновниками. Он почувствовал себя лучше. Ярость сменилась тонкой иронией.

— Наконец-то у него будет какое-то звание.

Он повернулся к родителям.

— Никто теперь не сможет оспорить, что у нас в семье есть интеллектual. Это будет зафиксировано приговором самого суда!

И покрутил головой.

— Этот Янек...—Дикерт задумался.—Если бы уровень его пристрастий был равен уровню его способностей, может, и дорос бы до уровня мыслящего человека. Чудачество еще не интеллектуализм, как и нервный тик—не спорт. Ни то, ни другое ничего не пробуждает в человеке.

Он взглянул на полотно Матейки.

— Рамы, рамы,—жалобно воскликнул он.—Сегодня я был на

¹ Фашистская организация, действовавшая в Румынии в 1931—1944 гг.

обеде у Леона Барычека. Болдажевский уже слышал о наших неприятностях. Прекрасно говорил о том, как Янек разочаровал его. Об измене, которую тот совершил. Старая Варшава! Но что она для него!

Дикерт был в смокинге. Сунул палец за белый, тугой воротничок. Поморщился.

— Что-то сегодня давит, растолстел я, что ли?—Но это отвлекло его лишь на миг, он снова обратился к действительно-сти, которая доставляла куда большую боль.—Видишь,—он смотрел на Ельского глазами, в которых еще стояли слезы, напоминавшие о его возне с воротничком,—Болдажевского поразило то же самое, что и меня. Как же так. Стало быть, это ничего не значит?

И он замахал руками во все стороны, указывая на картины, коврики, горки и многочисленные бра на стенах, трехрожковые, на маленькие абажурчики, надетые на не горящие сейчас лампочки, чуть набок, напоминавшие шляпы, надвинутые на лбы пассажиров, заснувших в дороге.

— Среди всего этого вырасти,—поражался советник,—и ничего из этого не вынести. Чудо какое-то.

Он взглянул на родителей, немного поколебался, но заставил себя не утаивать правды оттого только, что она беспощадна.

— Может, тупость. Полнейшая тупость.

Но того, что он ожидал, не произошло: родители оставили Янека. Только вину его они как бы брали на себя, молча, опустив глаза. Голос Генрика Дикерта снова стал сладким:

— У Барычеков была Буба Черская. Я заметил, ее и вправду покорила мебелировка особняка. Глаз не могла оторвать.

А он—от нее! Дикерт давно знал эту честолюбивую и бесцеремонную девицу, которая презирала все, что не было силой, богатством и значительностью. Говорили, что у нее есть любовники, но то ли это было неправдой, то ли она подбирала лишь мужчин, умеющих держать язык за зубами, ибо никто из посторонних не знал ни одного факта, за который мог бы поручиться. Может, пристрастия ее покрывала столь плотная завеса тайны потому, что она вербовала себе друзей исключительно из среды молодых чиновников, которые понимали: огласка их отношений с дочкой министра, как и разбалтывание служебных секретов, могла бы испортить им карьеру. Барышню эту боялись главным образом из-за ее невоспитанности, никто не осмелился бы утверждать, что она отомстила или нагадила кому; одной ее наглости было достаточно, чтобы стараться избегать ее. Но как это сделать, когда что ни бал, прием или какая-нибудь прогулка, если они действительно были высокого ранга, никак не могли обойтись без нее. Да к тому же разве кто сомневался, что, коли она уж решилась бы наконец выйти замуж за кого-нибудь из этих молодых подчиненных отчима—а сколько их после первого же

поцелуя руки постоянно отбивало у нее испытательный срок,— то любому из них это сулило прекрасную и вполне гарантированную карьеру. Генрик мечтал о Бубе.

— Подумай,— взывал он к воображению Ельского,— она, сама современность, которая каждый сезон меняет у себя мебель, даже она была сражена такими вот Барычками, этим своего рода Ланьцутот варшавской буржуазии.

Ельский слушал. Он тоже никогда не был любовником Бубы, поскольку она не переходила определенных границ. Соглашалась посещать лишь друзей, которые жили одни и изредка принимали гостей. В гостиницу, меблированные комнаты или холостяцкую квартирку с входом через кухню она никогда бы не пошла. В сердечных делах она держалась священного принципа: любой ценой надо соблюдать приличия, а остальное в руках провидения.

— Она очень странно вела себя по отношению ко мне!— Генрик был не в силах не поделиться тем, что его тревожило.— Я страшно боюсь, что это уже отголоски дела Янека.

— Она была холодна?— заинтересовался Ельский.

— Нет. Но совсем не такая, как обычно.

— Значит, все зря!— вздохнула госпожа Дикерт. Генрик отмахнулся, давая понять, что он еще не сдается.

— Я сумею ее убедить. Попытаюсь.

Госпожа Дикерт говорила о Янеке.

— Ты ничем ему не можешь помочь.

Тогда Ельский рассказал о Козице. О влиятельном офицере разведки, который интересовался особой Янека. Он познакомился с ним в ходе какого-то следствия и отнесся к нему с уважением.

— Ох уж эти наши офицеры!— Генрик надул губы.

Ельский согласился, но ведь Козиц именно это и дал ему понять. Даже как будто бы разрешил в случае чего обратиться с просьбой.

А он многое может.

Дикерт не решил, поддакнуть ли Ельскому, дав знать, что ему ведома роль Козица, или продолжать реагировать на все презрительной миной. Эти сомнения обратили его гнев совсем в другую сторону.

— А я бы,— закричал он,— не позволил ему из тюрьмы и носа высунуть. Такой брат—враг, такой сын—враг. Наивреднейшая личность. Из-за таких людей рушится вся общественная лестница; кто принадлежит к элите, должен быть элитой! Куда же, черт возьми, должны стремиться низы, если мы, верхи, станем кидаться вниз. Значит, нет верхов, значит, незачем в жизни стараться, значит, нигде на этом свете не может быть хорошо! Это цинизм, скептицизм, это нигилизм. Янек недотепа и просто ничего не понимает. Ни в искусстве, ни в благосостоянии, ни в культуре. И того урона, который он нанес. Как же к нему должны отнести наш сторож, наш лавочник, наш мусорщик.

Все они карабкаются вверх, сами или с помощью своих детей, толпа боготворит представителей буржуазии, отец президент, сенатор, такой видный домовладелец, для них он олицетворение величия, о каком можно только мечтать, а этот спускается со священной горы и поворачивает вспять поток, который пробивался вверх, говоря ему, что незачем тратить силы. Это предательство класса, это предательство народа и предательство человека.

Он стал кричать на родителей, так как ему показалось, что они собираются возражать.

— Знаю, знаю, вытащить его и отослать куда-нибудь подальше. Одним махом с ним покончить, чтобы навсегда с глаз долой. Я хочу того же самого. Как-никак он мой брат. У меня тоже сердце есть. Но с теоретической точки зрения, как честный гражданин общества, я осудил бы его и беспощадно покарал. Накипь, накипь, которую надо счистить.

Голова старика тряслась. Боль старит детей, стариков превращает в детей. Бывший президент залепетал так невразумительно, что даже Генрик, заподозрив недоброе, отпрянул от него.

— Не говори так, ради бога,—отец не просил, а предостерегал.—Мы, как и ты, когда-то давно кричали у себя в клубе: бандиты, отбросы, безумцы! А сегодня—они у власти. Выкинули меня из президентского кресла. Лучше ты сам будь поосторожнее!

Генрик недовольно смотрел на отца, только по глазам Ельского он понял, что, бесспорно, можно опасаться и этого. Тем временем взгляд старика прояснился.

— Прости меня,—прошептал он.—Может, это и глупо, что я сказал. Но, видишь ли, я так давно живу на свете.



VII

Ты? Ты! С каких это пор мы стали на «ты», недоумевал Чатковский. Но признавал этот факт и даже не выказывал сомнения, лишь удивлялся этому, будто собственному старому письму, написанному в уже выветрившихся из памяти обстоятельствах, которые можно сравнить со скалой, каменистым островком, остатком погрузившейся в воду суши,—в жизни оно ни на что не нужно, хотя и держится на ее поверхности. Да, огонь в своем стремительном наступлении сжигает не все, бывает, перескочит через что-нибудь, оставит себе на следующий раз, понуждая изумиться тому, что он признает исключения и способен пощадить, он, столь неумолимый. Точно так же и время, которое, возможно, то же самое, что и огонь, только очень медленный. Жизнь выгорает сегодня, прошлое—в памяти, порой от самой буйной жизни остается горстка пепла, ничего ни для нынешнего дня, ни для воспоминаний. Поскольку, если быть точным, их, воспоминаний, и нет, есть только проблемы, временно отложенные.

Чатковский обходился без прошлого, хотя оно у него и было бурным. О том, что произошло позавчера, он никак не мог ничего вспомнить. Когда-то он был коммунистом, полгода — послушником, затем отмахнулся от мировоззренческих проблем и всерьез занялся теорией стихосложения. Он не отрекался от всего этого, точно так же, как не отрицал, что это вот он на фотографии в детском платьице. Ясно, что теперь оно ни к чему его не обязывало, раз сам он стал кем-то совершенно другим. Как актер, сегодня перевоплотившийся в Гамлета, не думает о том, что месяц назад он был Гутем, так и Чатковский всегда находился в настоящем времени, никогда не отдавался прошлому, и вспоминать для него было делом столь же нереальным, как и видеть сны. Он испытывал самые странные чувства, беря в руки «Капитал» или «Подражание Христу», только в этих книгах он находил подтверждение того, что прошлая его жизнь была, — есть люди, которых ощущение того, что какой-то миг они уже переживали когда-то, утверждает в вере, что они уже однажды жили на земле.

Чатковский равным образом не помнил ни своих верований, ни своих взглядов. Случалось, что в обществе, на улице или на собрании женский голос произносил его имя, и тогда только Чатковский вспоминал о старом своем романе, о котором ничего ему не говорили ни глаза женщины, ни ее губы, ни весь ее облик.

— Мне кажется, ты ошибаешься, приписывая каждому покушению две сущности — нравственную и техническую. На самом деле природа всякого поступка только одна. Если ты не видишь этого в покушении на жизнь ненавистного тебе человека, то приглядишься к своему покушению на целомудрие любимой женщины. Тут обе стороны — нравственная и техническая — одно и то же, по крайней мере они так слились, что ты не можешь думать о каждой из них по отдельности, как за шитьем ты не в состоянии думать то о нитке, то об иглке.

Чатковский видел перед собой некрасивое лицо Фриша, одутловатое и серое, но тем не менее спросил его, куда серьезнее, чем, скажем, красавца Тужицкого:

— Но ведь ты сначала говоришь себе, что любишь, а затем уж думаешь, как будешь ею обладать.

Фриш пропустил это мимо ушей, вернувшись к проблеме покушения.

— Брут загорается лишь после того, когда понимает, что с технической точки зрения он сможет убить Цезаря. Действия только у нас, интеллектуалов, могут облекаться в теоретические формы. Для людей, живущих полнокровной жизнью, мысль неотделима от возможности. Это напоминает процесс оплодотворения. Люблю — значит, могу обладать, ненавижу — значит, могу убить. Нет ни безнадежной любви, ни безнадежной ненависти. В

жизни. Ибо на бумаге — сколько угодно. И в голове, без которой никогда бы не было никакой бумаги.

Фриш сидел за деревянным маленьким столом, наверное, бывшим когда-то кухонным. Грязными, очень жесткими и длинными ногтями он рисовал на нем бороздки и отковыривал щепки. По-видимому, он часами занимался этим, так как во многих местах стол был выщерблен.

— Под таким углом зрения любопытно выглядит ненависть богов. Особенно по отношению к смертным, над которыми они были вознесены сверх меры. Они в любой момент могли уничтожить все, что захотят, и осознание такой возможности должно было бы отобрать у их ненависти всякую горечь. А ведь они искренне ненавидели. Я предполагаю, — он вырвал щепку побольше и какое-то время разглядывал ее, — что проистекало это из следующей причины...

Он метнул взгляд на Чатковского. Ему не терпелось высказаться.

— Но только никому ни слова, — предупредил он. Чатковский не понял, что Фриш берет с него обещание молчать, поскольку опасается за свое право на какую-то мысль: он полагал, что философские рассуждения, по-видимому, тянут того выболтать какие-то политические или партийные секреты. — Видишь, боги — это никакой не талант, никакая не своеобразная способность, по большей части это всегда лишь сила. Что-то среднее между великим князем и стихией. Позиция и мощь. Как глупы все их шутки, да, им есть в чем позавидовать людям!

И Фриш продекламировал:

...Tantusne evertere — dixit —
Me superis labor est, parvague puppe sedentem
Tam magno petiere mari!

— Вергилий? — спросил Чатковский. И тут же понял, что нет, и вспомнил тот вечер, когда перешел с Фришем на «ты». Тогда все готовились к экзаменам, а Фриш учил только стихи. До поздней ночи они проверяли друг друга по латинской грамматике, как вдруг этот чудак — способный, о чем они знали, но всегда говорили, что он провалится на экзаменах из-за своей робости, — начал читать Лукиана. Он декламировал его, пока шли через всю Варшаву, от Старого города до Уяздовских аллей, где немного посидели; было, кажется, часа три, к ним прибилась какая-то собака, две проститутки попросили закурить, и тогда Фриш, желая покрасоваться, перешел к Овидию. Он знал наизусть множество отрывков в оригинале и их переводы, порой несколько одного и того же фрагмента.

— Ты считаешь, Цезарь мог в это верить, — задумался Чатковский. Он произнес имя Цезаря, стремясь показать Фришу, что

знает! Он теперь вспомнил то самое место у Лукиана, вспомнил, что это были слова Цезаря, который, торопясь из Африки в Рим, сказал во время бури: «Так трудно бессмертным свалить меня, что против сидящего в утлой лодчонке они бросают столь огромное море!»

— Такие, как он, верят,—сказал Фриш.— Собственная незаурядность возбуждает их, но еще больше — их собственная удача. Им кажется, природа не в силах устоять перед их личным обаянием и оттого питает к ним слабость. Они относятся к природе так, будто она отдалась им. Превратности судьбы для них — то же самое, что скандалы, которые устраивает любовница. Она яростно накидывается на тебя, но готова пожертвовать за тебя жизнью.

Комнаты вроде той, в которой жил Фриш, Чатковский видел только в театре. Самый настоящий чердак, и никаких особых подробностей — итак, скошенный потолок, невзрачное окошко, одно, сейчас мокрое от дождя, очень узкая железная кровать, железная печурка, чайник, которому самое место на помойке. В углу стопка книг и ботинки, словно с усами от растрепавшихся шнурков. Только стены взяли на себя труд скрасить однообразие комнаты. С помощью простейших средств, давно всем известных, — с помощью трещин, дыр и подтеков стены были буйно расписаны. Целые картины, но в основном что-то похожее на зарисовки в альбоме — фрагменты, какие-то детали, лица, запечатленные для того лишь, чтобы взять на заметку, руки, гротескно жадные, бороды, лягушки, листья, коллекция носов, собачьи морды, лапки ящериц, словом, излюбленные темы случая. Кое-где штукатурка отвалилась и видна была дранка.

— Ты вообще веришь в величие? — спросил Чатковский. — Я говорю, — прибавил он, — сегодня!

С подоконника стекала вода, многими ручейками разбегаясь по стене, и собиралась на полу, образуя лужицу, которая, похожая на язык, осторожно продвигалась все дальше и дальше. Две стены по бокам и косой потолок постепенно покрылись мокрыми пятнами.

Фриш сказал:

— Не могу уверовать в ничтожество, хотя и вижу его. Не могу поверить, что величия нет, хотя я его и не вижу.

Он пояснил:

— Это талант! Это просто талант, как и всякий другой. Великий человек рождается так же, как скрипач или проповедник, порой только природа забывает проверить, способна ли она дать ему слушателей. И это ее несовершенство. В этом как раз ущербность наших дней. Читая книгу, можно брать из нее только сюжет, а не наслаждаться искусством, великого человека можно использовать в практических делах, не обращаясь к его величию. Природа продолжает создавать их, как, наверное, она создает и

астрологов. И те и другие должны изменить род занятий, чтобы быть нужными в сегодняшнем дне. Великий человек чаще всего способен на это, но тут уж все дело в его таланте, а не в величии.

Чатковский почувствовал, что начинает мерзнуть. Фриш велел ему не снимать пальто, ибо всякий, кто приходил сюда с улицы, не мог сразу разобраться, будет ли ему холодно в такой сырости. Чатковский принялся застегивать пуговицы, застегнул все до единой.

— Свежо у меня, а? — забеспокоился хозяин. — Знаешь, я иногда и летом протапливаю, если вот так, как сегодня. А теперь, правда, дров нет, — тут же разрушил он свои надежды. — Но, может, найду что-нибудь, — он согнулся над кучей бумаг. — Черт! Еще может пригодиться. — Он принялся выдирать из какой-то книги целые страницы. — Теми местами, которые я знаю наизусть, в конце концов, позволительно и пожертвовать, — сказал он. Поднял книгу вверх и показал обложку: — «Числитель!»!

Чатковский положил на стол два злотых.

— Знаешь, это идея, — сказал он. — У тебя действительно дьявольски холодно. Пошли за углем, — попросил он. — Мне надо поговорить с тобой.

В интересах организации лучше с Фришем в кафе не показываться, а сырость разъедала у Чатковского уверенность в себе.

— Знаешь Корсака? — спросил Фриш. — Переводчик Данте, — пояснил он, — в чем-то даже лучше Порембовича, вот, например, — он поднял вверх палец: — «Лев голодом был так взбешен, что воздух испуганный оцепенел». А у Корсака, — он, выдавая свое пристрастие, голосом нарочито подчеркнул красоту перевода: — «Лев ревом голодным залил весь лес». — И отложил листки на столик. — Сожгу, — объявил он. — Это я умею!

— Сходи же за углем, — нетерпеливо напомнил Чатковский. — Есть у тебя какое-нибудь ведро?

Он отобрал у Фриша томик Данте.

— В кухне дадут, — успокоил его Фриш.

Вышел и тотчас же вернулся с завернутыми в газету несколькими кусками угля и щепками. Сложил все у печки. Прямо в кармане, рукой, теперь уже черной от угля, принялся отсчитывать деньги. Он купил у хозяйки топлива на пятнадцать грошей.

— Да оставь. — Чатковский подsunул мелочь Фришу.

— Больше не поместится, — деловито объяснил Фриш тоном человека, который хорошо знает свою печку. — Раскошегарится до невозможности.

Он принялся возиться с колосниковой решеткой. Выгреб золу. Кусочки шлака попадали ему в рукав. Чатковский отодвинулся от

стены. Подтеки образовали на ней отчетливый рисунок бабочки величиной едва ли не в две ладони.

Чатковский разглядывал этот плод воображения сырости. Фриш стоял над ним.

— Вот!—воскликнул он и ткнул пальцем в нижнюю часть правого крыла, и, поскольку этот рисунок напоминал ему легкие человека, он еще раз ткнул и сказал:—Тут у меня каверна.

Ветер на улице, видно, стих, было хорошо слышно, как по наружной стене дома стекает поток воды. Чатковский вздрогнул. Окошко закрипело. Ветер снова принялся за свое дело. И комнатенка Фриша закачалась, словно лодка в океане. Фриш погрузился в печальные раздумья и повторил: «Tantus labor est evertere me parvaque puppe sedentem!»

— Садись,—спохватился он. Положил обе руки на стол, одну побелевшую от холода, другую почерневшую от угля.—Скажи,—спросил он,—ты что-нибудь пишешь?

Сейчас скажу, зачем я пришел к нему!—решился Чатковский. Но Фриш продолжал разглагольствовать.

— Но и Порембовича перевод хорош—слушай,—сказал он и, глядя на печку, уже чуть раскаленную, процитировал: «Если бы я мог описать, как волнует меня воспоминанье тех мгновений, я воспел бы напитки, которыми вечно рада была бы услаждаться душа моя. Но уж заполнены мои листы Материей для песни о чистилище. И я натягиваю поводья, сдерживая эту прыть искусства. Чистый, готов лететь к звездам».

Есть какая-то неделекатность в замечаниях, удачно сделанных к слову. Чатковский и сам почувствовал это, проговорив:

— Я тебе дам возможность полететь в мир. Хочешь?

Фриш пристально посмотрел на него, блеск в его глазах угас, в них показалась усталость.

Может, он и подумал про себя, когда тут появился Чатковский, зачем тот пришел, но вскоре позабыл об этом. Теперь он понял, что у его гостя дело, а дело это—свинство. Фриш погрузнел.

— Видишь!—развел он руками.—Смущение—наша честь, честь людей слабых и бедных.—Он раздумывал. Предлагать что-нибудь скверное можно только тому, кого хорошо знаешь, а вместе с тем только тому, кого хорошо знаешь, предлагать что-то скверное—неприятно. Парадоксы плутовства, вздохнул он.

Он взвесил в руке кучку угля и положил ее в печь сверху, через отверстие конфорки. Уже собрался стряхнуть пыль с рук, сложив их вместе, но в последнее мгновенье передумал, побоялся измазать чистую грязной, которую попытался вытереть газетой, хотя и без особого результата.

— На кого? Большой? — спросил он. Фриш не сомневался, что речь идет о пасквиле. — Наверное, в стихах?

— Нет, не то, — покрутил головой Чатковский. Фриш даже отвернулся. Ему стало горше от того, что для свинства, которое ему надлежало совершить, не нужен его талант, а не от того, что ему вообще предлагают пойти на свинство. Чатковский зашептал: — Это касается твоих политических связей.

— Я так мало знаю, — вздохнул Фриш. Он подумал, что Чатковский требует от него каких-то подробностей о его прежней работе в организации. Чего они могут стоить? Что за это можно получить? — лениво размышлял он. Немного! И сказал: — На большое свинство решиться нелегко, маленькое не окупается. Таковы парадоксы порядочности! — И чуть более резким тоном добавил: — Нет, нет, я никого не заложу из тех старых. Это пешки. Такое не продается! Мне это дороже обойдется, если говорить о нервах, чем вы можете мне заплатить. Для меня они представляют особую ценность, ни для кого больше. Ты шляхтич, — вспомнил он, — и поймешь, если бы кто захотел купить у тебя какой-нибудь пустяк, а он ведь для тебя — семейная реликвия.

Он замолчал; но стоило только заговорить Чатковскому, Фриш опять взрывался:

— Не окупается!

Наконец слова Чатковского привели его в себя:

— Да не об этом речь. Послушай.

И он изложил план нападения на Папару. Фриш снова поморщился:

— Помогать вам! — И стал присматриваться к Чатковскому с каким-то новым любопытством, пытаясь понять, кому же. Затем, разочаровавшись, прикрыл глаза. И пожаловался: — Я уже давно дал согласие на любое свинство в жизни. Только моя честь не позволяет мне бегать за ним повсюду, я дожидаюсь предложения дома. Моя сестра, потаскуха, которая стремится скрыть это от меня, уверяя, что со всеми, с кем я ее встречал, она отдается не за деньги, а задаром, содержит меня. Не позволяя подняться выше моего уродства, моей мерзости и моей ненависти к ней. Как видишь! — он обвел рукой комнату. — Недавно я был у нее, она милостиво соизволила пожаловаться на директора одного варшавского театра, который тиранит ее, поскольку понял, что не сможет с ней переспать. «В жизни надо делать какие-то исключения». Это я сказал. Говоря так, я хотел выразить мысль более деликатную, чем она подумала, ту именно, что на женщин ее типа всякий мужчина может иметь виды и только исключительно ради сохранения чести дома или из фанаберии можно тому или иному дать понять, что никогда ничего из этого не выйдет. Но она раскраснелась от злости. «Ты принимаешь меня за особу, которая живет, продавая себя!» — кричала она. Мне незачем иметь секре-

ты от сестры, и я признался, что да. Тут она расплакалась. «Если бы мама знала, какой ты плохой брат!» Я никогда ни от кого не скрывал, что я нехороший. В конце концов, не я и виноват. Виновата доброта. У меня нет никаких обязательств соблюдать приличия. Еще немножко поскулю, но сделаю все, что захочешь. Я уже сыт по горло ее мерзкими деньгами; от сестры вообще деньги брать неприятно, а тут еще от содержанки. Мне надо уехать! Чувствую, мне поможет перемена воздуха,—прибавил он с явной иронией,—ну и перемена свинства.

В чайнике на печурке закипала вода. Пар взлетел вверх роскошным султаном.

— Чаю, что ли, выпить, а?—нерешительно проговорил Фриш.

И отправился на кухню за заварным чайником.

— Пронюхала, что деньги в доме!—сказал он, вернувшись, имея в виду, очевидно, хозяйку.—Насыпала свежего!—И засмеялся. Повеселел. Но ненадолго.

— Грусть!—удивлялся он собственному настроению.—Грусть! Это все, на что способна моя совесть. Грех,—он находил утешение в том, что, к примеру, так бывает у всех, принадлежащих к католической церкви,—это замкнутый, ложный круг, отпадения через раскаяние к прощению и все сначала.—Ибо что делать, что делать?—разводил он руками.—Я не грешник-джентльмен, я профессионал.

Он поморщился, недовольный собой. Тем, что говорит.

— А может, это голос совести,—стал он рассуждать на гамлетовский манер.—Может, волнение?—Он пытался совладать со своим настроением. Каким-то неестественным, громким голосом объявил:—Во всяком случае, я принимаю заказ. И выполняю работу добросовестно.—Он принялся что-то подсчитывать.—Заходи через неделю. Скажем, в понедельник. Я тем временем повигаюсь с ними.—С ними?—задумался он. Едва только он решился, сразу же вспомнил о них: о группе левой молодежи, связанной с одной студенческой газетой, душой которой был старый знакомый Фриша, наборщик.—Значит, через неделю,—повторил он.—Заказ принимаю. В понедельник приходи на первую примерку!

Крышка чайника слегка приподнялась, кипяток брызнул на железную печку, вода разбежалась по ней сотнями капелек. Трясаясь и шипя, толпы шариков ринулись к краям плиты, земля, как говорится, горела у них под ногами. Фриш не торопился разливать чай, хотя и не спускал глаз с чайника.

Пар, устремившийся ввысь, навел его на мысль об отъезде, а разлетающиеся во все стороны капли напомнили кадр из какого-то фильма—гигантская парижская площадь, которую видишь с очень большой высоты, а на ней разъезжающиеся в разных направлениях автомобили. Фриш не выносил шума, и сама мысль

о гигантских городах приводила его в ужас, он наверняка предпочел бы маленькие, если бы не то, что терпеть не мог захолустных городишек. Он верил, что известные столицы, просторы которых отличались длиннотами, только выиграли бы от сокращений. Париж в его воображении представлялся ему сотней знаменитых зданий и двумя-тремя своеобразными округами, так зачем же ему еще такие огромные поля. Может, как раз для него и ему подобных, из-за которых столицы превращаются в людские скопища. Он вдруг заволновался. Неужели же он увезет с собой и память о том, как он отсюда выбрался? По собственному своему опыту он, казалось, должен был знать, что после всякого неэтичного поступка человек впадает в состояние какого-то отупения. Лишь бы оно не растянулось на все время его пребывания в Париже.

Он разозлился на Чатковского, на сей раз не за то, что тот искушал его, а за то, что он живет в комфорте—не только в материальном, но и в духовном. Гигиена!—поморщился он и добавил про себя еще несколько эпитетов, немного даже удивившись, ибо гигиена не такое понятие, с которым обычно связывают паскудные слова. Он хорошо знал, что ни за что не устоит перед соблазном, что посвятит всего себя точному выполнению соглашения с Чатковским, но никак не мог успокоиться. Гнев его обрушивался то на Завишу, то на Чатковского, а в конце концов обращался и против него самого, против Фриша, который пока что страдал ради других людей или ради отвлеченных идей, дабы только быть в состоянии перевести дух. В то же время Фриш опасался, как бы Чатковский не усомнился в том, что он сделает требуемое. И еще не подумал бы он ненароком, что его, Фриша, недовольство отрицательно скажется на работе по организации провокации. Его очень интеллигентный ум спокойно наблюдал за тем, как в душе его проходил процесс переоценки нравственных ценностей. Поскольку он не видел возможности не сделать подлости, он намеревался сделать ее старательно. Это не всегда означает, что люди, которые тщательно выполняют порученную им пакостную работу, закоснели во зле, порой это означает, что они закоснели в добре. Фриш с беспощадным хладнокровием готовился к низости, а вместе с тем и настраивался на поездку, которая, он знал, не будет для него ни радостью, ни наслаждением. Париж в его понимании должен был стать не любовным романом, а женитьбой на какой-нибудь страхолюдине по расчету.

Он заставлял себя не думать обо всем этом, но тем самым лишь подстегивал такие мысли. Он был из числа тех людей, вся сила которых в полной мере проявляется лишь в преступлении. Тоска понемногу рассеивалась в его глазах. Он смотрел теперь на Чатковского, может, и хмуро, но очень твердо.

— Пойду,—проговорил Чатковский и встал.

Печка потухла. Вода в чайнике остывала, но и без того визит затягивать было незачем.

Фриш его не удерживал.

— До понедельника,— сказал он.

Поднялся, отодвинул стул, чтобы Чатковскому было удобнее пройти. При этом он, может, даже бледно улыбнулся, во всяком случае, на лице его промелькнула тень радушия. Но он сразу же замер, едва только Чатковский произнес:

— Я принесу тебе денег!

У самых дверей, перед тем как попрощаться, он медленно отвел назад правую руку. Он сделал это непроизвольно, украдкой. Об этом, однако, знала его левая рука, которая, хотя и была белой, чистой, тоже спряталась от рукопожатия за спину.



VIII

Собачонка нежно взглянула вверх. Подняла передние лапки, облезлая шерстка взъерошилась от волнения. Она служила. Для нее это было, пожалуй, куда как труднее, чем даже подпрыгнуть и на миг замереть в воздухе. Едва она встала на задние лапы, ей уже надо было о что-то опереться. Теперь лучше всего о Папару, тем она и обратила на себя внимание молодого вождя. Вождь протянул ей палец, отодвинул от своих ног собаку, все еще напряженно замершую. Собака, неловко переступив несколько раз куриными ножками, отошла назад, она знала, что нужно, отпустила руку хозяина, слабо замахала лапками в воздухе и смотрела на него, догадывается ли он, когда она плутует и дает себе чуть-чуть передохнуть, коснувшись его пальца так, чтобы хозяин этого не заметил. Мариан Дылонг сбился.

Склонился над своими заметками, поглядывая на Папару, не перестал ли тот возиться с собакой. При вожде он речей не произносил. Информировал и рассуждал. Ничего не упускал. Приходилось держать память в напряжении, чтобы каждый пункт

обговорить до конца. У вождя не принято было повторяться. Что позабыл, то пропало. Еще одна собака, овчарка, вышла из-за печки посмотреть, есть ли что интересного в игре хозяина с малышом. Зевнула и улеглась тут же, вытянув лапы далеко вперед, туда, где скакал китайский пинчер. Папара наклонился, навел порядок. Теперь уже Дылонг окончательно растерялся. Собака занимала Папару? Он, Дылонг, ему наскучил? На всякий случай он умолк.

— Ну,—буркнул Папара и позволил передним лапкам пинчера опуститься на землю.

Разнервничавшийся Дылонг вздрогнул, словно вдруг увидел двуногое творение стоящим на четвереньках: собачонка так долго держалась на задних лапах, что Дылонгу показалось, будто так и должно быть. Папара спросил:

— Что там дальше?

Дылонг продолжил доклад.

— Напрашиваются три решения,—сказал он и стал загибать пальцы.—Пройти по центру города большой группой, громя все витрины. Это одно. Или: окружить тамошний ресторан «Аврора», публику, исключая немногих файн-пурицев¹, разогнать, а ресторан разгромить. Это два. Или же,—указательным пальцем правой руки Дылонг разогнул третий, средний, палец левой руки и, подняв его, показал всем поочередно,—дворника, который живет в доме еврейской общины, терроризировать, без шума окружить здание и в разных местах поджечь его. Пока приедут пожарные, сжечь.

— Дворник — ариец,—выскочил Дрефчинский. Чатковский фыркнул.

— Так зачем он работает на евреев?..

Папара посмотрел на них, равнодушно, словно лишь проверяя, кто как думает. Затем—этим обычно и ограничивалось его участие в дискуссиях—коротко бросил:

— Это деталь. Всё?—обратился он к Дылонгу.

— Еще несколько слов в обоснование. Проекты, которые я тут изложил, предварительно тщательно мною обдуманы с учетом местных условий. Вместе со своими сотрудниками я принял во внимание, во-первых, осуществимость акции, а во-вторых, ее резонанс. Осуществимость зависит от числа людей и их подготовленности. В настоящий момент я располагаю сотней хорошо натренированных, сильных и смелых парней. Говоря о резонансе, я имею в виду, что акция должна быть доступной для понимания и значительной. Она призвана ясно выразить то, что мы хотим ею сказать. Она должна вызвать широкий резонанс. А теперь повторю: магазины—раз, ресторан—два, еврейская община—три. У меня все.

¹ Здесь: первых богатеев (идиш).

Папара расслабленно шевелил повисшей рукой, словно он был в лодке и, оставив весла, опустил ладонь в воду. Может, просто его пальцы искали собаку. Уставился в портрет своего деда, австрийского генерала, лицо которого и все на лице было каким-то вдавленным: глазницы, щеки, виски. Зато глаза горели такой алчностью, что, наверное, на поддержание этого огня потребовался бы весь жир его тела. И так же горели его ордена, но не из самых высших. От плеча через всю грудь пролегла широкая голубая муаровая лента. И поэтому грудь генерала напоминала макет небольшого городка. Ордена — домики, лента — река.

Слова попросил Дрефчинский.

— Это я ездил с господином Дылонгом в Отвоцк, — он избегал говорить «вы», «коллега», а то, не дай бог, привыкнешь, и такие слова еще вырвутся у тебя в порядочном обществе. — На мой взгляд, община — идея бесплодная. И шума от нее не будет, и жалко на это сотни людей. Там вот как...

Он обвел своими круглыми глазами комнату, ища, на чем бы показать. Дылонг прыснул. А Папара не прерывал.

— Вот! — Дрефчинский отодвинулся в угол диванчика и на освободившемся месте показывал. — Дорога тут, садик, дом. Входят здесь или там, — палец его впиался в плюш, словно шило. — Отсюда направо небольшой флигелек.

— На улице? — холодно спросил Дылонг.

Дрефчинский сбился. Действительно, тут у него уже была улица. Он провел рукой по дивану, нашел улицу — и под пальцами, и в памяти. Незастроенная, обычная дорога. Он был уверен в этом. Зачем Дылонг его путает! Он разозлился.

— Не на улице. Еще чего, — фыркнул он в убеждении, что отделался от Дылонга, и снова стал расставлять по обеим сторонам дороги домики, соседствующие с общиной. И кончив, приспел: — Это все.

Дылонг вылез с поправкой:

— А вилла с вишневой башенкой?

Да, как же это! Она ясно краснела у него перед глазами, но никак не хотела вставать на нужное место. И вдруг — есть!

— Ага, эта вилла, — бормотал он. Он по отдельности видит и ее, и всю местность. Неожиданно в его воображении земля словно бы приподнялась и притянула к себе парившее в воздухе строение. — Здесь, — показал он на обивке дивана.

— Там, где эта пуговица? — с притворной вежливостью пожелал удостовериться Чатковский.

Но Папара не дал себя провести. Нервно застучал ногой по полу, а Дрефчинскому, к которому питал слабость, сказал:

— Не обращай на них внимания. Говори!

Но Дрефчинского, который преодолевал все препятствия, расставленные ему, помощь вождя свалила. К чему вообще-то вел его план? Папара что-то прикинул.

— Сколько тебе нужно на саму общину? Ну?—И, как учитель, который ставит слишком легкий вопрос, сам себе тут же и ответил:—Пятнадцать.—Он прищурился.—Сколько в таком случае отводишь на поддержку?

Вот именно! В голове Дрефчинского просветлело.

— Самое большее сто,—заверил он.

Дылонг посмотрел в потолок, не грянул ли гром, но сдержался и, лишь когда Дрефчинский стал расставлять людей, воскликнул:

— Святые угодники! Со стороны старика Медекши десять? Ты что, с ума сошел! Кто тебя оттуда тронет!

Папара разглядывал ногти. Опять никак нельзя было понять, слушает ли он. Его бесил балаган на такого рода совещаниях. Он считал их пережитком. У него, у него одного должна рождаться всякая мысль, но еще не время! Пусть катятся дальше, и—поскорей.

— Не имеет значения. Поставил. И пусть.

— Стало быть, со стороны Медекши десять,—протянул последнее слово Дрефчинский.

Папара поддержал его, но теперь уже и ему самому цифра эта казалась чересчур большой.

— Или,—он слегка вытянул губы, словно собирался отпить из маленькой рюмочки,—пять.

Папара прошептал:

— Не меняй. Я хочу знать, каким был твой план первоначально.

Конечно же, непродуманным. Молодой вождь не сомневался в этом, однако выпытывал, ибо речь тут шла о будущих действиях, а откровения не всегда посещают самых мудрых.

Теперь Дрефчинский не на шутку разволновался, так с ним бывало всегда, когда к нему начинали относиться всерьез. Он чувствовал себя человеком, сказавшим, что то-то и то-то можно сделать, которому тут же и поручают это. Он расставлял людей, обозначая их опущенными вниз пальцами, которые он словно собирался окунуть в воду.

— Здесь,—сказал он,—пять. Здесь,—он прикинул,—десять.—Каждую цифру он называл с опаской, боясь, что его спросят, зачем.

Но по примеру Папары все слушали молча. Только когда он снова вернулся к вопросу о совести, напомнив, что дворник общины—католик, Чатковский рассмеялся.

— Дрефчинский, дай лапкис.—Так у них было принято обращаться к шабесгоям¹.

— Еврейский хлеб и сам по себе достаточно горек.—Сказав это, Дрефчинский с тревогой взглянул на Папару. Но и на сей раз вождь и виду не подал, что он думает. Слушал и смотрел. У него

¹ Здесь: поляки, служившие у евреев; гой (древнеевр.)—не еврей.

на все было свое мнение. Рассердился ли он на только что высказанное или отнесся к нему благожелательно? А может, и вообще пропустил мимо ушей. Во всяком случае, он не позволял ничего себе повторять. Мог и не оборвать, но что он думал про себя! И теперь он сидит с тем же выражением лица, как и тогда, когда Дрефчинский пришел к нему признаться, что сестра работает у Штемлера, еврея. Ни слова не проронил, и по лицу его ничего нельзя было понять. То ли он вообще не желал этого слышать, то ли хотел подумать. Выражение лица у него менялось, хотя некоторые считали, что оно всегда остается одним и тем же, как иногда кажутся одинаковыми все костюмы человека, который не умеет одеваться. Но не тем, кто хорошо его знал. Кристина, которая на фотографии увидела лицо Папары таким, каким оно было сейчас, сказала: «Оно говорит! Но языком, который нам неведом».

Дрефчинский кончил. Неожиданно для самого себя. Так порой человек, который едет даже по очень хорошо известной ему дороге, вдруг видит, что он уже у цели. Он опять открыл рот, но теперь лишь от удивления. Оттого, может, и весь его план казался всем совершенно никудышным. Чатковский, не потрудившись даже опровергать, тотчас же высказался за другой. Нападение на ресторан. Начал он каким-то скрипучим голосом, будто слова с трудом давались ему. Язык его то и дело отвлекался на иные занятия, будто Чатковский пытался вытащить что-то застрявшее между зубов, в деснах, словно он только-только разделался с куском вареного мяса. Весь он был как-то скован, лицо тоже застыло, словно его покрыла маска из свежей глины. Как-то бестолково водил глазами, они блестели, но зрачки оставались темными, так что глаза его казались потухшими, напоминая старинный морской маяк, когда служитель еще не успел поставить перед рефлектором лампу, которую уже принес.

— Они в Отвоцке, чтобы лечиться, так чего же они развлекаются?—восклидал он.—Чего так разъездились в автомобилях, швыряют золото пригоршнями, да еще по ночам. Выбрали себе ресторан там, где как раз город сливается с деревней. Да разве такие могут относиться к чему-нибудь с уважением! Словно огненный язык, эта шваль сжигает все на своем пути, продвигаясь вглубь. Значит, надо разогнать банду из «Авроры», и готов спорить на что угодно, каждый ясно поймет, зачем мы это сделали. А теперь—каким образом?

Руки у него еще подрагивали, но во рту уже все совсем успокоилось, на лице тоже, из глаз исчезло чуждое им выражение. Он, правда, все еще то и дело вскакивал с места, хватался за подлокотники и опять валился в кресло.

— Это первоклассный эффект, и какая работа! О чем-либо подобном для наших людей я и мечтать-то не смел. Ведь подумать

только! Мы портим вечерок шайгецам¹, раз, сами устраиваем себе развлечение—два. Соберется сотня людей, расставим их у всех выходов, чтобы ловить, а ловить будет кого! Дамы и господа, вы уже улепетываете с бала, ан нет же! Скучно было? Пожалуйста, возвращайтесь, мы берем в руки дирижерскую палочку. Я бы голышом пустил сукиных сынов. А платья, фраки, пальто бросил бы в первый подвернувшийся под руку автомобиль и облил бы бензином. Зданьце само деревянное. Вот уже загорится!

— Нерон,—прошипел Папара.

Так волк, вылизывая волчонка, ненароком делает ему больно.

— Если уж они и должны быть в нашей стране,—вернулся Чатовский к своей теме,—так пусть по крайней мере не чувствуют тут себя как дома. Всех раздражают. И что же это за элемент такой развлекается! Отвратительный абсолютно всем. Сливки Моисеевы, для которых мы совершенно чужие. Наши обычаи и культура, наша земля. А сидят тут!

Теперь он подкреплял сказанное главной мыслью.

— Дать по морде веселящемуся еврею! Ха! Копошится, пляшет черный муравейник, как тут не врезать!—Сравнение это доставило ему удовольствие.—Из студенческих аудиторий вон их погнать—так это стыдно. Тогда гони их из-за ресторанных столиков. За шиворот их. Прочь из ночного ресторана. Ах, Дылонг!—не то простонал, не то вздохнул он, словно при мысли о наслаждении со своей девой, любимой, но далекой.—Твоим людям только позавидовать можно.

— А что думает их руководитель?—спросил Папара.

Дылонг пришел на собрание с уже сложившимся мнением, но неизвестно почему считал долгом приличия показать, что только сейчас, во время обсуждения, его себе составил. Он нахмурился, погрузился в раздумье, но это было притворство. Ждал, посадил свою мысль в карантин. В комнате стало тихо, как бывает, когда собравшимся измеряют температуру.

Дрефчинского заинтересовал письменный стол. Чернильница, представлявшая собой огромное сооружение, словно макет дворца, да еще с пристройками, деревянный китаец, подтянувший колени к подбородку,—для табака. Бронзовый зверек с одной лапой, когда-то он поднимал ее, но кто-то отбил. Баран? Нет, это не баран. Тогда собака. Он любит собак, вспомнил Дрефчинский. А как же! Он угадал ее происхождение, но непонятно почему посчитал, что это противоречит предыдущему определению. Память об отце. Старая вещь. Но притронуться к ней себе не позволил. Вспомнил, как плохо это не раз кончалось. А вот кабан из скверного сплава, по всему хребту обросший щетиной для чистки перьев. Наконец, коробочки из карельской березы, одна открыта, в ней кусочек сургуча, огарок свечи, обломки очков,

¹ Прохвосты, мерзавцы (жаргон., искаж. идиш).

трубки, затем стеклышко от часов и две связки бечевки. Это просто так! Как и могильная плита королевы Ядвиги в миниатюре, обычный пресс, но сейчас она лежала на столе, не придерживая никаких бумаг. Дрефчинский скользнул по ней взглядом, сам не мог себе объяснить, почему, но тем не менее отлично понимал, что предмет этот никакой ценности не представляет. Гроши, гроши! Другое дело — борзая или персикового цвета коврик прямо под портретом генерала. Сколько бы за него Папара мог получить! Ого-го! О Дрефчинском в шутку говорили, что «никто так много не вынес из родительского дома, как он». Однажды в отсутствие матери и сестры, которые были в деревне, — даже целый комод! Сам, в одиночку. Он попал тогда в такое положение, что все бы распродал. Вот только с тяжелыми вещами без помощи не управиться, а людей звать он боялся, дворник мог увидеть и сказать хозяйке. Потому они и остались на месте, но тогда-то у него и появился нюх на вещи, можно что продать или нет. Названий он не знал, зато цену отлично. Такой у него наметанный был глаз. Наконец Дылонг нарушил молчание.

— Я бы направил удар на магазины, — всей ладонью сверху вниз он провел по лицу и перешел от указания цели к деталям. — Акция, чтобы врезаться в память, должна иметь размах. Чтобы поразить воображение, она должна сокрушить ценности. Товар, оборудование магазинов, вещи, стоимость которых не вызывает сомнений. Нам, по всей видимости, удастся охватить в ходе операции всю еврейскую собственность к югу от станции, масштабы уничтожения будут для всей округи мерилom нашей силы. Но и самого широкого охвата недостаточно, в расчет входит еще и качество уничтожения. Спору нет, огонь куда лучше выводит из строя все внутри, нежели лом или камень. Но камень может быть брошен лишь человеческой рукой. Лом разбивает только в том случае, если его направляет человеческая рука, а огонь может вспыхнуть случайно. Поэтому в картине улицы с разбитыми витринами, с кучами стекла на тротуарах, заваленных сумками, нитками, с месивом бутылок, банок, флаконов, втоптаных в землю как раз там, где им пришлось расстаться со своим содержимым, где пятна кремов, пудры, вышвырнутой на мостовую, словно это грибницы, тюбики зубной пасты, раздавленные, будто кишки маленьких живых существ, — есть в такой картине красота преднамеренности. Никакая стихия не воссоздаст такую картину разрушения. Только ненависть. Это-то хорошо. Ибо больше всего мы, пожалуй, должны быть заинтересованы в том, чтобы никаких сомнений не оставалось, что осуществил подобную акцию человек.

Папара вытащил из кармана жестяную коробочку, крестьянское, дешевое хранилище для табака и бумаги. Скрутил себе довольно толстую самокрутку, отщипнул с одного конца немного вылезавшего табаку, взял ее этим концом в рот, а другой,

напоминавший макушку какой-то сказочной ивы на картинке, нацелил в комнату и ждал. Пока кто-то из них, кто был поближе, не встал и не поднес спичку. Папара не поблагодарил.

— Фотогеничность террористического акта! — Дылонг перенял у Чатковского манеру каждую часть своих рассуждений начинать новым заголовком. Немного подождал, чтобы он не слился с последующим изложением, потом сам себя поддержал: — Именно это я и имею в виду. Не надо подражать всему тому, на что способна сама жизнь. Будем рушить собственным методом. Наша злоба выражается в своеобразной форме. Но помимо этой принципиальной причины, первостепенной, в пользу разрушения магазинов говорят и обстоятельства технического характера. А именно: работа такого рода спорится в руках наших ребят. Знаете, ресторан! — Он поморщился и взглянул на Говорек, ища у того сочувствия, ибо тому план нападения на увеселительное заведение был совсем не по вкусу. Он покачивал головой и, выдерживая паузу, готовил собравшихся к тому, что повод, о котором он скажет, будет пустой. — Ресторан, знаете, — это женщины. Разодетые. Элегантные. — Он притворился, что и сам понял, что это не имеет никакого отношения к делу, но как-то нехорошо брать за шиворот подобных дам. — И если бы еще к тому же, — он с минуту подумал, но затем все-таки сказал, — там не было так светло!

Чатковский напомнил ему:

— Однако же в Румынии, да и в Германии.

На этот раз Дылонг вступился за самого себя:

— Я не говорю, что вообще нет. С какой стати! Нам надо взяться за эти танцсараи. Каждый из нас это чувствует. Но в данном случае, — он снова вздохнул, — речь идет о новом типе акции. Новом не только для моих людей, но и для всего общества. А новость редко когда бывает прозрачной. Нам же сейчас нужно какое-то ошеломляющее, сногшибательное выступление. Не какие-то там фигли-мигли, а Грюнвальд. И огромного масштаба. Так нам приказал комендант, я, кажется, верно его понял.

Он повернулся к Папаре, остальные тоже; вождь не шелохнулся. Приказа не повторяют! Его надо запомнить! — подумал Дылонг. А может, я перепутал что? Он так засмотрелся на вождя, что тот спросил:

— Это все?

Тогда Дылонг в нескольких словах пояснил, что позволит себе познать коллег с деталями операции лишь тогда, когда сам принцип ее будет одобрен. Пока он говорил исключительно о принципе. Папара пробормотал, что это само собой разумеется.

Попросил слова Говорек. Он считал, что раз пришла его очередь, то иначе он не может и теперь уже непременно должен. Теоретически он понимал все эти различия, но чтобы они имели такое важное значение на практике! Взять Отвоцк. Хорошо, это

идея. Здоровье — главное. И естественно, что для поляков. Стало быть, движение должно протестовать против того, что в главной здравнице под самой столицей лечатся евреи. Но чтобы такие разводили антимоны, так высчитывать. И еще втягивать в обсуждение верхушку организации. Это была единственная мысль, которая приходила ему в голову по поводу всей нынешней дискуссии, но высказать ее он не мог.

— А не подошла бы такая идея, — воскликнул он, впрочем, и сам понимая, что это был не план, а фраза, — втянуть бы в акцию местное население. На один только раз. Одних только тамошних поляков наверняка хватит на все три участка. А нам бы осталось лишь направить их и исчезнуть.

У Дылонга задрожали губы, и этого было достаточно, чтобы Говорек позволил прервать себя.

— Толпа? Нет, оставь уж, тоже мне идея. Перед тем как подоспеет полиция, они успеют отделать всего несколько лавчонков. Сколько уж об этом понаговорено. Не далее как на последнем совещании, как раз в связи с данной акцией, которая должна быть идейной, чистой. И стремительной, тогда обойдется без жертв.

Говорек оправдывался:

— Я, собственно, не держусь уж так за толпу. Речь идет, скорее, о смешанной акции. — И раз десять повторил эти два слова.

Сначала могло показаться, что Говорек высказывается за то, чтобы слить выступление боевиков и толпы воедино, но потом выяснилось, что Говорек предлагает одним махом напасть на общину, ресторан и магазины.

Дискуссия, которая до сих пор походила на цепь прямых отрезков, приобрела теперь беспорядочный характер. Дылонг набросился на план Говорека и не оставил от него камня на камне, ибо он состоял из пустых слов, без какой бы то ни было убежденности, и быстро утих. Говорек тоже. Со страху, что его заставят защищать то, что было ему совершенно безразлично. Дылонг же из-за Папары, который не любил бестолковщины. И стоило им только на миг умолкнуть, как, воспользовавшись паузой, накинулись друг на друга Дрефчинский и Чатковский. Каждому из них почудилось, что Говорек поддерживает его. Ведь он говорил, что надо нанести удар по ресторану. Ну да, но он же говорил, что и по общине. Дрефчинский терял контроль над собой всякий раз, как только разговор касался конкретных действий. Идеологическую часть всех рассуждений он тихонечко переживал, делался нем и, можно сказать, пока длился отвлеченный спор, слеп. Во время таких споров ему, словно курице под вечер, все казалось серым. Возбуждала его только акция. Не потому, что был он человеком действия, но просто воображение его воспринимало как реальное лишь то, что двигается и что можно

потрогать. Часами он составлял маршруты курьеру, который разносил подписчикам партийный еженедельник. Фантазии Дрефчинского хватало на то, чтобы представить себе одного человека и простейший поступок, но чтобы сформулировать правило или какой-нибудь закон, касающийся всех? И как такое могло происходить в человеческой голове? Он не понимал, какой смысл в обобщениях, единичный случай был для него всем. Но не всем, чем нужно. Когда в спорах собеседники доходили до фактов, Дрефчинский начинал страшно нервничать. Как охотник, много часов просидевший в пуще, на которого наконец-то выходит зверь. Ибо Дрефчинский все еще был словно в лесу, он менял и менял позиции, утомленный всем этим, переставал владеть собой, как только кто-нибудь вылезал с чем-то живым, конкретным. Он вскакивал, прицеливался и промазывал. И перед глазами плыли круги. С завистью он слушал, когда кто-нибудь, хотя бы Чатковский, рассуждал о вещах, следовавших из работы мысли. «Вот, одна видимость, штучки-дрючки, а как они его слушаются,—морщился он.—Меня не слушается даже сама действительность!» Он, однако, не сдавался. Кидался во все стороны. Упрямился. Но как слепой от рождения, который после операции прозрел, не сразу способен примириться с тем, что то, что он видит, еще ничего не значит, Дрефчинский злился, гонялся за боевыми отрядами в воображении, словно по лугу, то туда, то сюда, едва мысленно тянулся к одному, остальные исчезали. Он не владел мыслями, что уж говорить о руках. Разволновавшись, он придвинул к себе ту, вторую, закрытую шкатулку из карельской березы, открыл ее, засунул внутрь палец.

— Этот визг, гам, суматоха, всеобщий страх,—горячился Чатковский.—Сотня людей, налетающая на эту их банду, чтобы разогнать ее на все четыре стороны. Взрыв здоровой ярости. Здоровье против оргий и распутства. Сила, которая топчет вялость. И какое во всем движение, какой разгон. Посмотрите, что за контраст! Веселье гнилья—а против него наш санный поезд, словно вихрь.

Он задохнулся. Широко открытые глаза перестали видеть висевший напротив портрет высохшего генерала; потолок, стены, все перед ним преобразилось в огненное знамя. В фон того сокрушительного удара, который в ближайшее время должен обрушиться на головы десятков еврейских пар. Ах! Во рту, плотно сжатым страхом, привкус вина, в уголках губ остатки смеха, вдруг скованного ужасом. Руки болтаются в воздухе или мгновенно опускаются на столы, на белую мраморную плиту, и возвращаются с уловом—собственной сумочкой, спасенным портсигаром. Танец тех, кого нападение застало на ногах, мгновенно превращается в бегство. Кто-то защищается. Какая смелость! Нет, наглость, ведь речь идет о людях, которые будут побеждены. Хорошо обороняющиеся города приходится брать дом за

домом, здесь—столик за столиком. Да где уж там. Самое большее, кто-нибудь один станет сопротивляться, но, как только увидит, что один, готов будет перегнуть тех, которые сразу же бросились наутек. Пожар гонит их взащей.

Пальцы Дрефчинского затаились. Золотые!—решил он. По березовому дну медленно проползли запонки. Он потряс шкатулку, повернул ее. Всякое старье, пуговицы, бляшки, застёжки обрушились целым потоком. Запонки оказались в самом низу. На поверхность выскочили две другие, соединенные вместе, на пластинке из камешков. Платина и бриллиантики! Дрефчинский вздрогнул, словно во время танца прикоснулся к груди партнерши. Закрыв шкатулку.

— И еще одно,—вспомнил Чатковский.—В таком заведении польское—только евреи. Все остальное заграничное. Коньяк, фрукты, даже каждый эстрадный номер должен быть импортным.—Злость его смешивалась с иронией.—Они сумеют нас поразвлечь, а мы их нет. Посмотрят.

Дрефчинский угас. На него драгоценности действовали так же, как на очень возбудимого человека первый же попавшийся представитель иного пола. Он сидел слегка напуганный. Желание присвоить себе то, что он нашел, точило его где-то—эх!—очень и очень глубоко. Но, несмотря на это, Отвоцк, и боевая дружина, и то, как ее расставить,—все вдруг выветрилось у него из головы. Сцена осталась пустой. Он насупился, на удивление грозно, отгоняя страсть, которую едва ощущал в себе. А разве когда-нибудь в его жизни она побеждала! Нет! Совершенно аморфная, она вдруг порождала одно безупречное движение, судорожное, как во сне. И на том все кончалось.

Голова Дыллонга тоже была занята драгоценностями. Это из-за них он не решался повести своих подчиненных на ресторан. Сам по себе грабеж—глупость, но в этом случае он даст свои плоды! Дыллонг говорил себе: «Я не могу подвергать опасности моих людей». Иное дело при погроме магазинов, тоже случай, чтобы поднабрать, но чего? Булок, чулок, водки. А не шуб, не бижутерии. Дыллонга передернуло. Это уж был бы настоящий грабеж. «Нет, никого не могу подвергать опасности»,—повторил он самому себе. Кто же его люди! Простой народ, который при продаже награбленных вещей непременно засыпался бы. А еще если в это дело влезут евреи. Подставят перекупщиков краденого, которые из кожи вылезут вон, чтобы только скомпрометировать акцию.

— Я за своих ребят ручаюсь!—воскликнул он и подумал о нескольких из них, о которых знал, что они честные люди.—Отвоцк я проработал тщательно. Проблему можно решить сотней разных способов. Я выбрал из них три, которые наилучшим образом отвечают нашим возможностям и условиям. Я предусмотрел и операцию в ресторане тоже. Мои люди осуществят

ее,— задумался, как это можно точнее определить, и сказал:— эф, эф!¹ С той же точностью они обработают магазины. Им все равно. Но я стою за магазины.— Голос его окреп.— Еврейская торговля! Да ведь каждый ребенок у нас знает, что она ведется в ущерб нам. Сама очевидность? Наш Отвоцк должен сослаться на эту очевидность, именно на этой известной всем несправедливости и акцентировать внимание. Акцент на правду, против которой в Польше не спорит никто. Это будет удар во всю силу, чтобы вбивать, вбивать правду в головы, глубже, глубже. Как вы считаете?

— Пожалуй, можно выбрать любую из тысячи и одной несправедливости!— Сотни примеров носились в голове Чатковского: адвокатура, врачи, фильм, банки. Они летали с такой скоростью, что лишь некоторые из них он был в состоянии рассмотреть. Он перечислил даже не самые главные, просто первые пришедшие на ум; так старый солдат на параде называет имена проходящих, причем не обязательно тех, кто лучше других послужил родине, а скорее тех, кого он вовремя сумел вспомнить.— Ты хочешь их бить за торговлю,— визжал он гневно.— Я за наглость. Я шляхтич. Я предпочитаю, чтобы меня обкрадывали, но не оскорбляли. Меня кондрашка хватает, как только я, отдыхая, увижу какого-нибудь Йойну. У меня не всегда есть на рюмку водки, а он тут коньяк хлещет бутылками. И такое нужно терпеть?

Свистящим голосом он скомандовал:

— Дружина, марш на маюфес!²

Собака проснулась, подняла морду, твякнула, подползла поближе к ногам Папары. Последними словами Чатковский перетянул на свою сторону Говорека, который сказал:

— Я тоже, как и он,— и показал на Чатковского.

Дылонг пожал плечами.

— Тут не голосование, а дискуссия.

Тогда Говорек рассмеялся и заговорил:

— Из всех проектов Дылонга все три хороши и ни один не лучше другого.

И тут второй раз за вечер Папара постучал ногой по полу. Он сидел, скрестив руки, вдали от товарищей, в стороне от них. Не принимал никакого участия в дискуссии. Порой подчиненные посматривали на него. Видя это, тот, кто не заметил бы самого вождя, мог бы подумать, что там ребенок в колыбели, о котором они вспоминают лишь тогда, когда он поднимает крик. На сей раз взгляды надолго остались прикованными к углу, где сидел Папара. Да. Он явно чем-то был недоволен. Может, печален? Они

¹ От фортиссимо (итал.)— мощно, сильно.

² Начальное слово праздничной песни, исполняемой во время еврейских религиозных обрядов.

не знали, верно ли они поняли его. Чаще всего он ведь бывал таким колючим, восприимчивым ко всему, что происходило вокруг, и—отсутствующим. Может, это его выражение—вина тени. Да нет. Комнату освещала большая люстра, сверху шелковый разовый шар, снизу—огромный медный обруч с тонкими стеклянными подвесками. Папара отодвинулся в угол, но оставался у всех на виду. На кожаном диване, очень дряхлом, облешем. На то, что уже подточило своими зубами время, азартно накидывалась своими зубами и маленькая собачонка, которую словно бы возбуждало такое сверхъестественное содружество в деле разрушения. Рядом—хорошо сохранившийся сверху буфет с прекрасным фарфором и хрусталем, он укрывал в своем чреве и вещицы, оставшиеся после генерала, главным образом награды на скачках, трофеи молодых лет, а также сувениры из Карлсбада, они относились уже к более позднему периоду. Орденов тут не было. Они висели в комнате вдовы, подле кровати, на специальном коврикe, предназначенном исключительно для орденов, их расположили вокруг Христа на металлической пластинке, здесь как бы почетного гостя. Нижние полки буфета занял Папара, одну под книги, в которые никогда не заглядывал, другую под бумаги, лежавшие в полнейшем беспорядке, в них он ничего не мог отыскать. Нижняя часть буфета выглядела скверно, обшивка вся расползлась, боковые стенки прогнили, словно десны, все ножки сверху источил жучок. Дерево, пока оно в грунте, чем ближе к земле, тем крепче; в комнатах, защищенное от молний и ураганов, оно портится снизу. Это испытало на себе и вольтеровское кресло, довольно-таки красивое, французское, в чехле, который не защищал его, а укрыв, дабы избежать стыда, поскольку, в нескольких местах разодранное и порванное, оно выставяло напоказ старую обивку, всю в пятнах. Кресло это, словно хромое четвероногое существо, накренилось, упав на одно колено, правое, переднее, так сильно, что уже многие годы никто не садился в него. Папара, подняв со своих коленей собаку, положил ее на кресло.

— Я взялся за фронтальную защиту нашей культуры,—сказал он. Говорил приглушенным голосом, но чувствовалось, что может говорить очень громко. Он не акцентировал слова, речь лилась ровно, не монотонно, в ней угадывалась мощь.—Однако в ходе борьбы я заметил, что за элементом культуры стоит элемент силы. Культуру нельзя защитить самой культурой. Нужна сила.

Он говорил как по нотам, ибо до этого места повторял самого себя. Теперь добавил к тем мыслям новую.

— У антисемитизма старого покроя была одна великая забота. Заботой этой не был еврей, заботой этой был каждый поляк. Каким образом убедить каждого из них, что ему досаждают евреи? Дабы это растолковать, искали самоочевидного ущерба, а прежде чем тронуть еврея, смотрели соотечественникам в глаза,

щупали им пульс, не выскочит ли у них сердце из груди. Меня это не интересует. Мне вполне достаточно, что я знаю опасность. Так что вам, коллеги, нечего стыдиться и нечего бояться.

Он посмотрел на Чатковского, но взгляд свой направил в его грудь, не в глаза. Затем опять, глядя в стену и ничуть не повышая голоса, продолжал:

— Эндеки—это Ветхий завет, мы—Новый. То же самое учение, однако в формах более чистых. И более целеустремленных. Откровенный антисемитизм, без секретов и уверток, без церемоний. Факт, и точка. Мы евреев ненавидим, но принимаем во внимание саму возможность иной точки зрения. Допускаем позиции безразличия. Кто-то может не быть антисемитом. Милости прошу. Но пусть отвернется. Его дело. У нас нет времени на человеческие рыдания. Мы должны действовать неутомимо, дабы придать силы тому, о чем и подумать-то не решалась высокая культура наших духовных отцов.

В уголках рта Папары промелькнула легкая тень иронии, а вместе с тем голос его стал менее напряженным, какой-то намек на сочувствие.

— Ни община, ни ресторан, ни магазины!—Он еще раз повторил свой запрет, словно зная, что с первого раза его не поймут.—Я не принимаю ни один из этих трех планов. Все отбрасываю.

Он спохватился, что замолк, и это ему самому не понравилось в себе. Хоть и невольно, но дал время остальным удивиться. И кинулся к следующей мысли.

— У всех старая система. Еврей, коллега,—он слегка повернул голову в сторону, где сидел Чатковский,—это любой еврей, а не только тот, который танцует. Он может быть и нахалом, мне все равно, лишь бы его не было там, где есть я. Не с торговлей, не с организацией, не с какой-нибудь из их черт я сражаюсь, я воюю с ними. Если бы я верил, что каким-нибудь ударом я уничтожу весь еврейский капитал, может быть, я и ударил бы. Но в Отвоцке деньги меня не интересуют. Отвоцк—не биржа и не луна-парк.

Он приложил обе руки с растопыренными пальцами к груди.

— В Отвоцке мы лечим свои легкие!—неторопливо произнес он. Лицо его просветлело, он отчетливо увидел цель, к которой стремился. Он радовался, как радуется путешественник, который замечает, что остаток пути так легок.

— Еврей, которому ты выбьешь стекла на Свентокшиской улице, не бросит из-за этого торговлю и даже не сбежит с этой улицы. Еврей, которого ты прогонишь от одного оркестра, пойдет танцевать под другой. Мне все равно куда, но мне не все равно, куда он отправится лечиться. Я не хочу, чтобы делал он это на польском курорте. А прежде всего я не хочу, чтобы он делал это в Отвоцке, который по воле всевышнего специально так близко от

Варшавы, чтобы служить нашим рабочим, нашей интеллигенции, нашим деятелям искусства. Протест? Нет. Наша акция не будет ни протестом, ни пинком. Торговать ты можешь даже под градом камней, но лечиться — это нет!

Мягкосердечный Дрефчинский закрыл лицо руками. Папара заметил это.

— Всякая справедливость всегда содержит в себе частичку несправедливости, как сладкое тесто немного соли.

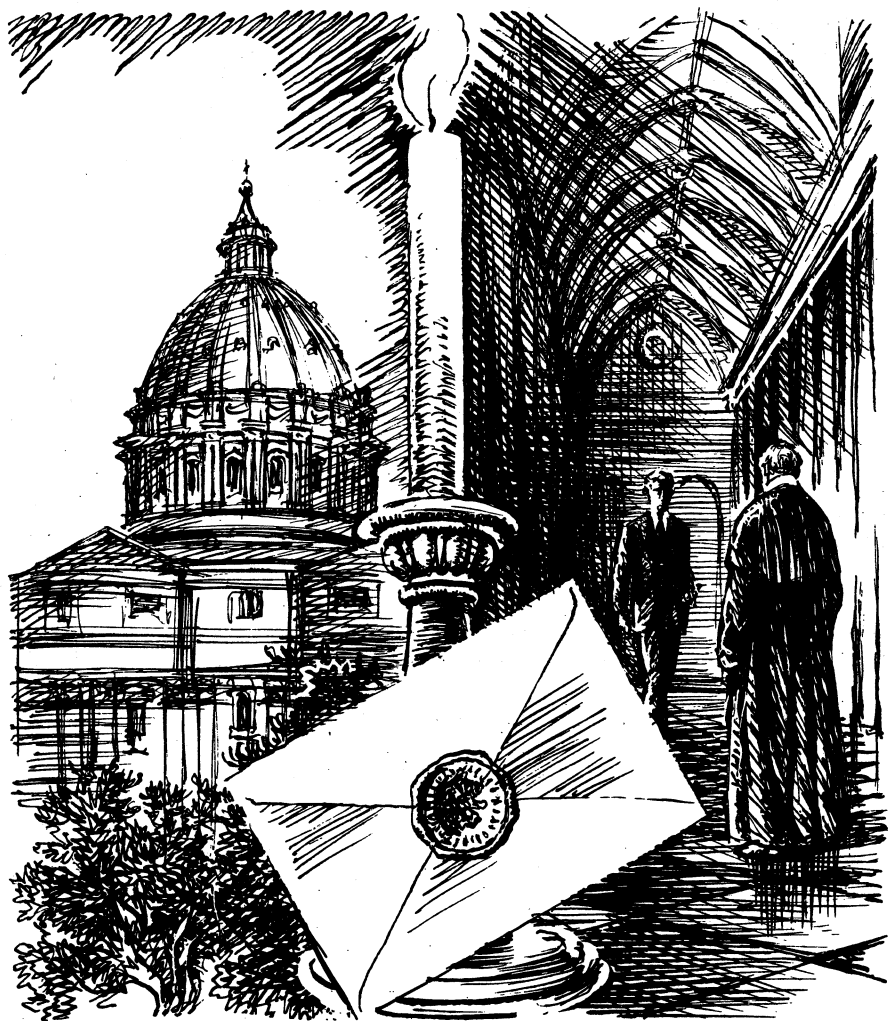
И повернулся к Дылонгу.

— Возвращайтесь в город, — приказал он, — продумать все еще раз. — И добавил резче: — Я не хочу иметь в Отвоцке никаких еврейских чахоточных. Ясно или нет?!

Слегка трясущимися руками Папара опять взял собаку. В ее шерсти он спрятал от чужих глаз свои подрагивающие руки и закончил совещание обычным ворчливым тоном:

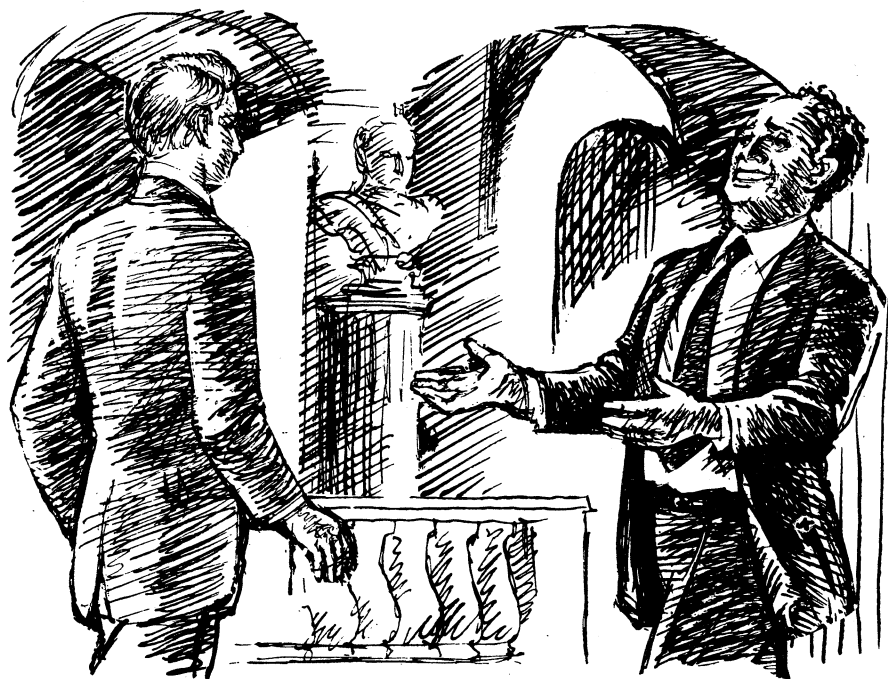
— И на этом, пожалуй, все!

ЛАБИРИНТ



URZĄD

Перевод Ю. Мирской



I

Поезд медленно подходил к вокзалу. С волнением я смотрел в окно. Хорошо помню все: огни, которых становилось больше и больше, толкотню в коридоре, перрон с толпой ожидающих. За Флоренцией на меня напала страшная сонливость, я не смог против нее устоять. Все-таки я попросил соседа разбудить меня у Орвьето. Мне хотелось увидеть этот городок. Путь следования я знал. Названия городов и городишек, мимо которых нам предстояло проехать, помнил наизусть. Я их вовсе не заучивал. Перед отъездом целыми часами я просматривал старый, довоенный путеводитель по Италии из отцовской библиотеки. Он теперь был со мной. Лежал в чемодане. Но и без его помощи названия одно за другим возникали в моей памяти. Когда итальянец дернул меня за локоть, говоря: «Вот ваше Орвьето», я знал, что теперь в течение ближайшего часа за окнами промель-

кнут Поджоди-Биаджо, Мнтефьясконе и Витербо, а без десяти восемь появится наконец Рим.

Вот он и появился. Мне стало еще жарче. Пока мы ехали, я предавался мирному, блаженному созерцанию. Уже много часов крутилась эта лента. Я не отрывал от нее глаз с утра до конца дня. То ли с мистическим трепетом, то ли в опьянении я впивался затуманенным взором в мир, открывающийся за окнами. Он был голубой, кирпичный, оливковый. Все как на репродукциях из альбомов и учебников истории искусства. Чем дальше к югу, тем больше золотистых и желтых тонов. Это тоже как в альбомах. Колорит, архитектура и планировка городков, прилепившихся к скалам, в точности соответствовали репродукциям. Даже очередность их появления. Орвьето тоже был похож на мое представление о нем. Удивительный городок, раскинувшийся на гигантском плоскогорье с отвесными, крутыми стенами. Через мгновение и ультрасовременный римский вокзал напомнит снимки, которые мне тоже довелось видеть. Но для этого нужно выбраться из вагона, смешаться с толпой, выйти на вокзальную площадь, где стоят такси. Пустое дело. Но не в чужом городе, в незнакомом тебе мире.

Чемодан свой я не отдал носильщику, помню и это. Все отдавали, а я нет; это я тоже запомнил. Носильщики быстро передвигались на тележках, предлагали свои услуги. А я тихонько шел вперед, не обращая на них внимания. Я волновался. Не знаю, что меня пугало. Не знаю также, почему я стыдился своего волнения. Ведь в отсутствии житейского опыта нет ничего постыдного. Мимо меня проносились тележки, увозя горы великолепных кофров и чемоданов. Меня обогнали муж с женой, с которыми я ехал в одном купе. Итальянец, дернувший меня за локоть у городка Орвьето, тоже прошел мимо. Я поднес руку к шляпе, а он что-то прокричал на прощание. Я не расслышал, что именно.

На какое-то мгновение мне показалось, будто из всего поезда я один остался на перроне. Нет. Вагоны второго класса были в конце. Теперь подходили их пассажиры—черная, шумная, бедно одетая толпа; они сами несли свой багаж. Эти тоже обогнали меня. Я не из слабых. Да и вещей я намеренно взял с собой немного. Но как-никак у меня позади было сорок часов путешествия.

Возбуждение мое не улеглось. То и дело меня кидало в жар. Посередине вокзала я остановился. Света здесь было—как в операционном зале. Алюминий, яркие краски. В Венеции и во Флоренции я выбегал на минутку из вагона—поглядеть на вокзалы. Они меня восхитили. Но римский вокзал все превзошел. У меня закружилась голова. Не знаю почему. То ли от ревности, то ли от зависти. А может быть, от глухой досады? В нескольких шагах от меня стояли столики и стулья целиком из металла. Вокзальное кафе. Я сел, заказал кофе, минут десять отдыхал,

разглядывая все вокруг. Так я пришел в себя.

Вот и маленькая гостиница, адрес которой мне дали знакомые в Кракове. Неподалеку от отеля Борромини, где всегда останавливался отец. Но мой «Неттуно» скромненький, дешевый. Здесь я наконец выпустил из рук чемодан — ведь из такси я тоже сам его вынес. Когда чемодан притащили в номер, я вынул только самое необходимое, умылся, сменил рубашку. Потом спустился вниз и сказал портье, что еще сегодня к вечеру сообщу ему, оставлю ли за собой номер. Однако, подойдя к телефону, чтобы позвонить в пансионат «Ванда» и узнать, есть ли там свободные комнаты, я почувствовал, что слишком утомлен и что мне очень хочется есть.

Знакомые говорили мне, что ресторан в «Неттуно» хороший и недорогой. Я заглянул туда. Пусто. Портье из-за своей конторки заметил, что я растерялся. Он не ошибся. Пусто было только в этой части, под крышей. Дальше был садик, точнее, маленький дворик, заgrimированный под садик, — пергола¹, с которой свисали глицинии и дикий виноград, небольшой фонтан, освещенный цветными лампочками, обломок стены, украшенной каменными ракушками и табличками с латинскими надписями. Я остановился ослепленный.

Я долго наслаждался бы этой картиной, если бы меня не отвлек кельнер. Даже не один, а два или три. Все они были расторопные, самоуверенные, веселые. Тотчас отвели мне столик. А если я захотел бы сесть поближе к фонтану, то мог бы выбрать другой столик. Я сел. Кельнеры наперебой давали мне советы. Передо мной сразу же очутился графинчик. Я налил себе вина. Поглядел на свет, как всегда это делал отец. Выпил.

Я почувствовал себя счастливым. Сезон глициний прошел, ведь уже стоял июль. Но кое-где еще доцветали последние, измельчавшие кисти. Несколько цветочков валялось на гравии у меня под ногами. Я нагнулся за ними. Поднес к самому носу. Они почти не пахли. В них сохранился едва заметный след, далекое эхо того изумительного, дурманящего аромата, который запомнился мне с очень давних времен.

Мне было десять лет, когда отец повез меня в Италию. Это случилось за два года до войны. Отец обычно ездил в Рим позднее, чаще всего в июле, а возвращался в середине августа. Он почти каждый год так ездил. Только один раз поехал раньше и, видимо, не опасаясь, что я буду страдать от жары, взял меня с собой. Но от той поездки мне запомнился прежде всего зной. Душные ночи, нескончаемое лазанье по раскаленным руинам, гигантские, внушающие трепет церкви, море, в котором отец не разрешал мне купаться, и беседка в гостинице на самом верхнем

¹ Садовое строение типа беседки (итал.).

этаже, терраса и беседка, обросшая цветущими глициниями. Вид с этой террасы открывался фантастический. Там был ресторан.

Я выпил еще вина. Оно было кисловатое, холодное. Вокруг стоял гул голосов. Я прислушивался. Приглядывался. Рядом за столиком сидели французы. Напротив — англичане. Но преобладали в ресторане итальянцы. Разговорчивые, шумные, как им и свойственно. Со всех сторон до меня долетали итальянские слова. Я мало что понимал, хотя знаю язык. Свободно читаю и разговариваю. Но только — как шутил отец — с одним итальянцем разраз. Разговариваю и понимаю. Он был прав. Впрочем, ему я обязан тем, что вообще изучил итальянский язык. Еще во время войны он следил за тем, чтобы я регулярно читал, и заставлял меня говорить по-итальянски. После войны он тоже время от времени занимался со мной. Но реже. В особенности с тех пор, как понял, что его планы, связанные с моим будущим, больше не устраивают меня.

Я ел спагетти вилкой и ложкой, низко склонившись над тарелкой. Получалось у меня нескладно. Однако не это было важно. Моим действиям придавали значительность различные воспоминания, и в особенности прощальные слова отца на вокзале в Торунь. «Съешь за мое здоровье большую порцию спагетти!» — сказал он. Но ел я скорее по настоянию кельнера (он хвалил спагетти и всем их подавал). Я ел, и, по мере того как исчезал голод, во мне нарастало радостное чувство. Отец, воспоминания, Торунь, дело, ради которого я приехал, — все это заполняло мои мысли, но как-то мягче, ласковее. Прежде всего я испытывал радость оттого, что приехал, что нахожусь в Риме, что именно я здесь нахожусь. Нахожусь здесь и сижу как ни в чем не бывало, ем и пью в маленьком итальянском ресторане, красочном миниатюрном рае, где все напоминало о старине. Посредине бьет фонтан. Поднимается, взвизгивает, разбрызгивает тонкую, как карандаш, струю воды. Ее не слышно из-за шума, царящего вокруг. Можно только догадываться, что вода журчит. Она освежает всю беседку, как и всего меня освежает и очищает от усталости, тревог и беспокойства самый тот факт, что я сижу здесь.

На десерт я выпил кофе. И — в город! Я чувствовал себя усталым, таким же усталым, как в тот момент, когда пришел сюда, но мысль о том, чтобы запереться теперь в комнате, показалась мне нелепой. План города лежал у меня в чемодане. Я взял его у отца. Но подниматься вверх не хотелось. Впрочем, для чего, для чего план? Побродить, размять ноги, еще уверенней почувствовать себя в городе, куда ты приехал, — вот и все, что требуется. Где-то рядом, в нескольких шагах от «Неттуно», находился отель «Борромини». Он-то мне и нужен. Я свернул вправо. Еще одна узенькая улица. Еще одна и еще одна. Прижимаюсь к стене, чтобы пропустить машины. Их тут полно.

Наконец Пантеон. Ну, значит, сейчас будет пьядца Сан-Андреа. Так и есть. Вот и «Борромини». Тот самый любимый отель отца, где его встречали как почетного гостя, оставляя для него всегда один и тот же номер. Номер, в котором и я спал на диванчике. Перехожу на другую сторону площади. Закидываю голову. Вот и терраса, обросшая глицинией. Та самая, с которой я часами любовался Римом. Видны столики, и на столиках лампочки с цветными абажурами. Были эти абажуры в то время или их не было? Не помню. Быть может, десятилетний мальчик ужинал раньше, еще до того, как темнело. И уж наверное, не было неоновых ламп у входа в отель. Замечательных неоновых ламп салатного цвета.

Я свернул вправо. Снова в узкие улочки. Здесь было темнее и более душно. С моря уже тянуло вечерним понентино¹, который нес прохладу и освежал воздух. Но до маленьких улочек ветерок не доходил. Воздух по-прежнему был насыщен запахами кухни и мочи. Я с трудом пробивал себе дорогу. Кругом было полно людей. Они болтали, стоя группками в воротах или сидя на низеньких плетеных стульчиках перед закрытыми лавочками. Осторожно проскальзывали машины. Кроме того, множество автомашин стояло вплотную у стен, баррикадируя улочки. Под автомашинами пробегали худые, облезлые кошки. В воздухе тоже пахло кошками.

На углах я останавливался и читал таблички с названиями площадей и улиц. Вдруг я застыл на месте. Пьядца ди Сан-Аполлинаре! Да, это здесь, конечно же! На этой площади находился знаменитый «Аполлинаре», где учился мой отец. Я увидел церковь, носящую имя того же святого. А рядом здание лучшей юридической школы, переведенной теперь в Латеран². Я, наверное, был здесь в детстве. Ничего не помню. Теперь я не отрывал глаз от этого здания, прижавшегося к церкви. Фасад у него красивый, величественный. Мне он показался холодноватым, даже мрачным, хотя отец уверял, что здание это принадлежит к числу красивейших в Риме. Я подошел ближе. Заглянул через решетку во двор. Там виднелись какие-то аркады, а в центре — контуры фонтана, бездействующего или просто бесшумного. Теперь здесь помещается какая-то школа. Так говорил отец. Я поглядел в ту сторону. Так оно и есть. Но в темноте я разобрал на большой каменной доске только одно слово — Liceo³. Стало быть, школа, как он и говорил.

Докторскую степень отец получил тоже в «Аполлинаре». Он провел в Риме семь лет, включая годы практики. Мне отлично знаком этот период его жизни. Отец столько о нем рассказывал! Не только мне — гостям, знакомым, ксендзам из нашей курии. В

¹ Западный ветер (*итал.*).

² Дворец в Риме, до начала XIV века служивший резиденцией пап.

³ Лицей (*итал.*).

Торуни было мало людей, окончивших этот атеней¹, самое большее пять-шесть человек, но о его существовании знали все. Мне было известно, что тот, кто хочет как можно лучше изучить церковное право, кончает «Аполлинаре». Ну и что там учились люди, которые впоследствии сделали большую юридическую карьеру в церкви. Зная, что всем это известно, отец любил пошутить даже с теми, кто понимал, что к чему. Он смеялся:

«San Apollinare», «San Apollinare»,
Più si studia, meno si impara!²

Ксендзы возражали. Отец, впрочем, так же точно возражал бы, если бы кто-то посторонний сказал ему, что в «Сан-Аполлинаре» «чем больше учатся, тем меньше узнают». Такую фразу он счел бы святотатством. Иное дело в своем кругу, когда он сам так говорил. С ним горячо спорили. А ему это нравилось. И было приятно, что собеседники могли убедиться, до какой степени он овладел всеми премудростями в «Аполлинаре». Постиг не только их содержание, но и предел.

Я пошел дальше. Ноги несли меня и несли. Все медленней и медленней. Однако я никак не решался прервать прогулку. Все время я чувствовал, что нахожусь в Риме. Что никогда в столь полной мере не буду в Риме, как именно в этот первый вечер. Я был поглощен Римом. Он менялся у меня на глазах. Теперь он сверкал все сильнее и сильнее, так, что приходилось даже щуриться. Он просто ослеплял меня светом, брызжущим из неоновых ламп и витрин магазинов. Я вышел на огромную, широкую улицу. Обыкновенную улицу, с тротуарами. По ним шли толпы людей, словно на демонстрации. Это было мучительно.

После целого часа изнурительной работы ног и глаз я сообразил, где нахожусь. Еще одна площадь с фонтаном. Я присел на его ограде. Не я один. Несколько человек, подобно мне, искали прохлады. Фонтан я узнал. Сколько раз я разглядывал на фотографиях тритона, сделанного по рисунку Бернини! Я знал также, как называется площадь: Барберини. Справа от меня, где-то здесь, должен находиться дворец Барберини. Его не было видно. Меня отделяла от него большая световая завеса кинорекламы. Слева тянулся квартал Лудовизи, который так нравился моему отцу, — квартал, выросший в более поздний период, построенный после семидесятого года, уже после падения папского государства, красивый, со множеством роскошных ресторанов и отелей. Отец охотно проводил вечера в этом квартале. Но жил он в старом Риме. Поблизости от различных папских учреждений и трибуналов. В Лудовизи ему жить не подходило.

¹ Академия, университет (итал.).

² «Сан-Аполлинаре», «Сан-Аполлинаре», чем больше учишься, тем меньше узнаешь! (итал.)

На следующий день я позвонил в пансионат «Ванда», просил к телефону пани Рогульскую. «La professoressa e assente! Anche il professore e assente!»¹ Ее не было дома. Ее брата, пана Шумовского, тоже. Я не мог разобраться, когда они вернутся. Горничная, которая мне ответила, трещала как сорока. Она подозвала кого-то, не выпуская из рук телефонной трубки. Таким образом я услышал, что звонит «uno straniero»² и невозможно понять, чего этот straniero хочет. Тогда к телефону подошла пани Козицкая.

Но час спустя, когда я добрался наконец до виа Авеццано, меня приняла пани доктор Рогульская. Я намучился, пока доехал. Разыскать эту улочку было нелегко. Все было так, как мне говорили знакомые в Кракове. Пансионат находился далеко, район малопривлекательный. Я совершенно зря пошел в сторону железной дороги. Взобрался на виадук, не встретив ни живой души. И спросить не у кого, и самому не разобраться. Жарко; внизу, под мостом, грохочут поезда. Я повернул назад и, раз десять справившись, туда ли я иду, в конце концов нашел нужный мне адрес.

Зато самый пансионат произвел на меня приятное впечатление. Знакомые в Кракове предупреждали меня, что там грязно. Я этого не заметил. Чистотой, правда, он не поражал, но мне показалось, что и холл, и столовая, и комната, где мне предстояло жить, содержатся вполне прилично. Что касается цены, то в Риме, пожалуй, и в самом деле не удалось бы найти комнаты дешевле. По крайней мере мне, uno straniero в этом городе.

Я не мог судить, правильно ли мне советовали в Кракове не вести по телефону переговоров относительно комнаты. Но поступил я так, как мне рекомендовали: приехал, чтобы договориться. Признаюсь, если бы свободной комнаты не оказалось, я бы рассердился. Зря пропало бы целое утро. Но все сошло хорошо. Таким образом, я больше не раздумывал о том, действительно ли в пансионате с опаской принимают людей, приехавших из Польши. А если не с опаской, то с осторожностью и, прежде чем отжаться на это, предпочитают сперва поглядеть, с кем имеют дело.

Когда все было улажено, мы присели на минутку в столовой. Комната была светлая, скромно обставленная. Все ее украшение составляли горшки с бегониями, стоявшие на плетеных круглых столиках. А на стенах висели виды довоенной Варшавы в черной тонкой окантовке.

— Стакан чаю? — предложила пани Рогульская.

¹ Профессорши нет, профессора тоже нет! (итал.)

² Иностранец (итал.).

— С удовольствием.
— Здесь не умеют хорошо заваривать чай.
— И верно,—сказал я.—Сегодня утром я попросил в отеле чаю. Слабый и на вкус ужасный!

Пани Рогульская улыбнулась. Губы у нее были тонкие, бледные, но улыбка милая. Должно быть, когда-то пани Рогульская была красива—благородный профиль и большие голубые хмурые глаза. И очень стройна, узка в кости, с прекрасными, почти бескровными пальцами. Она держала стакан, грея руки, хотя день был жаркий.

— Ну и как там теперь в Польше? Лучше?

Я ответил в двух словах, подтвердив, что теперь действительно стало лучше. Она слушала, но я почувствовал, что, хотя ей не безразличен вопрос, который она задала, мой ответ ее не интересует.

Потом она сказала:

— Выпустили вас?

Слова ее прозвучали не как вопрос, требующий пояснений. И даже не как констатация факта. Просто слова из разряда тех, которыми некогда отмечали возвращение из путешествия, сопряженного с известными опасностями.

— Вы надолго?

Об этом мы уже говорили, когда я снимал комнату. На месяц. На два. Все зависит от дела, ради которого я приехал. Что касается денег на расходы, то я рассчитывал на помощь адвоката Кампилли, помня о его обещании в письме к отцу. Об этом я, разумеется, ничего не сказал пани Рогульской.

— Думаю, что на месяц,—ответил я.

— В Риме впервые?

— Нет.

И я рассказал ей, как приезжал сюда в детстве. Добавил несколько слов об отце. О его связях с Римом.

— А мы здесь уже восемнадцать лет!

Я знал, что она говорит о себе и о своем брате. Они оба очутились здесь в конце тридцать девятого года. Я слышал об этом от знакомых в Кракове. Оба были мобилизованы, он офицер запаса, она врач. Они пробрались через Румынию в Югославию. А из Югославии в Италию. И отсюда уже дальше не двинулись. Ни во время войны, ни после.

Она спросила, чем я занимаюсь на родине.

— Наукой. Я ассистент на кафедре истории права. Докторскую степень получил в Кракове. Несколько моих работ напечатано в научных журналах, и отдельно издана докторская диссертация «Польский судебный процесс XVI века».

— Ну а как теперь обстоит с наукой в Польше?

До войны она была доцентом на кафедре стоматологии в Варшавском университете. Кажется, и здесь, в Риме, она где-то

работала по своей специальности. Ее брат, магистр истории искусств, до войны тоже занимал какую-то должность в Национальном музее. Все это я знал от наших общих краковских знакомых. Следовательно, вопрос, который она теперь задала, мог заинтересовать ее больше, чем все предыдущие. Поэтому я ответил несколько подробнее. Однако вскоре понял, что все близкое мне в этом вопросе ей бесконечно далеко. Тем не менее она с любезным видом слушала мой рассказ.

— Что вы говорите! — вежливо удивлялась она. — Неужто? Неужто?

Таким образом мы поболтали еще с часок. Около двенадцати она напомнила мне, что надо позвонить в «Неттуно» и отказаться там от комнаты. А когда я объяснялся по телефону и она усомнилась, правильно ли портье меня понял, то сама взяла трубку и сказала все, что нужно.

Я вернулся в отель. Заплатил по счету. Чемодан оставил у портье, предварительно вынув из него письмо к синьору Кампилли и копию мемориала¹, который я должен был подать. Мы с отцом решили, что синьор Кампилли просмотрит мемориал и, возможно, внесет свои поправки. В конверт с письмом отца я вложил записку от своего имени, сообщая адрес и телефон «Ванды».

Дом синьора Кампилли я нашел без труда. Я вышел из троллейбуса возле замка Сант-Анджело² и двинулся в сторону собора святого Петра. Солнце жгло. Так и обдавало жаром. Я шел весь мокрый от пота, оглушенный движением; меня толкали паломники и туристы: в этой части города их бродят тысячи. Из-за того, что меня толкали, я продвигался вперед зигзагами, как пьяный, но на душе у меня было легко, я восхищался небом, воздухом, светом, Тибром, платанами, мостом, замком святого Ангела. Вдруг я увидел впереди собор. Над ним купол из поблекшего серебра, такой четкий по своей форме и очертаниям на фоне неба, что сердце мое едва не выскочило из груди, словно я шел навстречу очень близкому человеку или чуду.

Я простоял там, пожалуй, с четверть часа. Однако становилось невыносимо жарко. У меня просто рябило в глазах. Я свернул направо. Укрылся в тени, под колоннадой Бернини. Потом пошел по виа делла Порта-Анджелика и дальше и дальше — на виале Ватикано, окружавшей всю его территорию. На одной ее стороне высились каменные стены, в которых кое-где были пробиты ворота, а на другой — старые виллы, потускневшие от времени, окруженные вековыми садами с густо разросшимися деревьями и кустами, почти без цветов.

Миновав с десяток таких вилл, я остановился. Так и есть. Угловая, солидная, на пересечении виале Ватикано и улочки

¹ Докладная записка, вручаемая вышестоящим властям.

² Замок святого Ангела (итал.).

Кливо-делле-Мура Ватикане¹, откуда открывался вид на километры вокруг,—это их вилла, вилла семейства Кампили, что подтверждала большая медная табличка, прикрепленная к столбу возле стены, отполированная, сверкающая, одна-единственная без патины, с надписью: «Prof. Marcantonio Campilli». И на другой строчке: «Avvocato del Sacro Consistoro»².

Я позвонил. Один раз, немного погодя другой. Наконец в дверях появился лакей, о чем я догадался по малиновой куртке в серую полоску: такую я уже видел на лакее в «Неттуно». Не дожидаясь, что я скажу, он сообщил:

— Il signor avvocato è uscito³.

Через решетку калитки я показал ему конверт, адресованный адвокату. Тогда он решил привести в действие механизм. Решетчатая калитка отворилась. К вилле вела широкая аллея, усыпанная гравием, обсаженная кипарисами. Я отдал письмо.

Было уже около двух. Следовало поест, ну и, воспользовавшись случаем, переждать самые жаркие часы. Как ни был я восхищен всем, что увидел, восторженное состояние, сопутствовавшее мне с того момента, когда я очутился среди красот и чудес этого квартала, мало-помалу улетучивалось. Я отупел от усталости, но пока что не заметил нигде поблизости ни ресторана, ни бара. По одной стороне—только каменные стены, самое меньшее десятиметровые, отвесные, некогда служившие для защиты, с кое-где пробитыми в них воротами, а по другой—виллы разных церковных тузов, светских или духовных, которые селились здесь особенно охотно не только ради близости к ватиканским стенам, но и потому, что это считалось хорошим тоном. Обо всем этом я слышал от отца. Я понимал также, почему здесь нет никаких ресторанов или кафе. Они были бы неуместны в таком квартале.

Однако жаловаться у меня не было оснований. Едва миновав последний поворот, я увидел множество столиков с мраморными досками, накрытых скатертями. Столики стояли всюду—на тротуарах, отгороженные от улицы зелеными кадками с геранью и петунией, за большими решетками с украшениями из латуни, и еще во двориках—по образцу вчерашнего ресторана в отеле «Неттуно». Столиков было чересчур много, что затрудняло выбор. Наконец я зашел в один из ресторанчиков, расположенных во дворе. Ему не хватало очарования вчерашнего вечера—и потому, что обстановка была более убогой, и потому, что дело происходило днем, и, значит, не было того особого настроения, которое возникает от смешения черноты ночи с искусственным освещением. Прежде чем войти в ресторан, я запасся одним из

¹ Холмик у стены Ватикана (итал.).

² Проф. Маркантонио Кампили. Адвокат священной консистории (итал.).

³ Сеньор адвокат ушел (итал.).

тех еженедельников, которые манили меня чистыми яркими красками своих обложек из всех киосков на пути от Венеции до римского вокзала. Я намеревался после еды почитать, чтобы убить время, дожидаясь часа, когда спадет жара. Много прочесть мне не удалось. Как только я поел, выпив при этом графинчик, мне так захотелось спать, что буквы расплывались перед глазами, а итальянские слова не лезли в голову. Я отложил журналчик. В пять—снова в «Ванде». Распаковал вещи и лег. И спал часа два! Быть может, я спал бы еще дольше, но меня разбудили к ужину.

В столовой было накрыто на пять персон. Мой прибор в конце стола. Рядом со мной с одной стороны стул, прислоненный в наклонном положении к столу, в знак того, что место занято, с другой стороны дама моего возраста с высоким лбом, маленьким носиком и крупным ртом; как я догадался—племянница хозяйки. Я слышал о ней от наших общих знакомых, но очень мало. Пансионатом, собственно говоря, занималась она. В то время, когда здесь были мои знакомые, она стряпала и даже стирала и, по целым дням привязанная к кухне, вовсе не показывалась в столовой.

Я обошел вокруг стола, поздоровался сперва с пани Рогульской, потом с ее братом паном Юзефом Шумовским—он сидел рядом с ней—и затем с их племянницей пани Козицкой. О Шумовском я тоже слышал одно хорошее. Он превосходно знал Рим. Отлично изучил памятники древности. В туристский сезон с утра до вечера водил по Риму различные группы. Когда мои знакомые—те, что дали мне адрес «Ванды»,—были в Риме, он, даже усталый, измученный, всегда находил для них время. Поздоровавшись, я передал ему приветы от них и добавил, что они с восхищением и благодарностью вспоминают о нем.

Шумовский без улыбки поблагодарил за приветы. На нем был свитер, хотя вечером тоже было жарко, и Шумовский потел так же, как мы все. Лысоватый, жирноватый, даже тучный, он внимательно ко мне приглядывался. Красиво очерченные брови оттеняли его слегка покрасневшие глаза. Хотя мои комплименты Шумовский воспринял весьма сдержанно, сразу же выяснилось, что поговорить он любит. Из его слов и из тех фраз, которые вставляла его сестра, пани Рогульская, я сделал вывод, что они знают обо мне гораздо больше, чем можно было почерпнуть из нашего утреннего разговора в пансионате. Я догадался, что они обзвонили всю польскую колонию, собирая обо мне сведения. Вот так, из любопытства или от недоверия. А может, попросту из осторожности—об этом мне тоже немало рассказывали мои знакомые. Да пожалуйста! Мне нечего скрывать. Дело, ради которого я приехал, носит чисто личный характер. Впрочем, если бы даже кое-что до них дошло, то в хлопотах, которые я намеревался предпринять, тоже не было ничего зазорного. Однако, судя по их словам, они ничего не слышали о трениях между

моим отцом и епископом Гожелинским. Разузнали только кое-что о моей семье, среде, интересах. Значит, одни только утешительные сведения.

В утренней беседе с пани Рогульской я упомянул о моем отце и его связях с Римом. Не дожидаясь, пока я сам об этом заговорю, пан Шумовский предложил повести меня в церковку святого Аполлинаре и, главное, показать здание бывшего папского института *utriusque juri*¹. Попутно он блеснул познаниями — сообщил, что святой Аполлинаре был епископом Равенны и учеником святого Петра, что в церкви под алтарем лежат останки бесчисленного количества святых и блаженных армян; рассказал о фасаде церкви — древнехристианском соборе, от которого, однако, ничего не осталось, — и о пристроенном к церкви здании, двух шедеврах Фердинандо Фуджи. Об «Аполлинаре» он тоже все знал, с уважением перечислил ватиканских сановников, которые окончили это учебное заведение.

Высказав все это, он задумался.

— Может, пойдем с вами завтра, а? — Но тут же спохватился. — Нет! Нет! С самого утра у меня испанские туристы. Потом группа монахинь, тоже испанских. А в четыре какие-то цветные туристы, кажется африканские. Послезавтра у меня тоже каторжный день.

— Ничего. От нас это не убежит, — сказал я.

— Будем надеяться.

Заговорив о своем Риме, он расстегнул ворот свитера. Теперь снова его застегнул.

— Самое скверное — группы, — продолжал он. — Собирают их с бору по сосенке. Тут торговец, а рядом парикмахер, а там народная учительница — одним словом, мозаика. Разный уровень, разные интересы. Трудно с ними работать.

Ужин окончился. Стул, прислоненный к столу, никто так и не занял. От начала ужина и до самого конца пани Козицкая не подарила взглядом или словом ни дядю, ни тетку, ни меня. Мы встали.

— Может, зайдете ко мне покурить? — предложил пан Шумовский.

— Ты обещал не курить, — покачала головой пани Рогульская.

— Одну сигарету, — улыбнулся Шумовский.

Я поклонился дамам. Пан Шумовский повел меня к себе, отворил дверь и прошел вперед, чтобы зажечь свет. Комната была небольшая. Маленькая тахта, полка с книжками, большой письменный стол, заваленный путеводителями по Риму, одни раскрыты, в других закладки из разрезанных полосками газет. Над столом большая фотография Падеревского. На стенах снимки Варшавы, так же окантованные, как в столовой. Рядом с ними

¹ Обоих прав (лат.) — гражданского и церковного.

диплом магистра гуманитарного факультета Варшавского университета с вписанной готическим почерком фамилией Шумовского. Перед Падеревским — несколько белых астр в глиняной вазе, вероятно польской, в народном стиле.

Мы сели. Я достал из кармана сигареты.

— Польские? — поинтересовался Шумовский.

Он взял у меня из рук пачку и стал разглядывать ее, как антикварную редкость. В этот момент в дверях появилась горничная.

— Una telefonata per lei¹.

— Della parte di chi?² — спросил Шумовский, хотя было совершенно ясно, что горничная обращается ко мне.

— Della parte dell'avvocato Campilli³.

— Это ко мне, — сказал я.

Так и было. Меня приветствовал по телефону барственный, но очень дружелюбный, задушевный голос. Мягко, медленно, нарастав адвокат сообщил, что счастлив узнать о моем приезде. Он будет рад меня принять в любое время, однако лучше всего в одиннадцать утра или в пять пополудни. Я предпочел одиннадцать.

— Я с волнением прочитал письмо вашего милого отца, — сказал Кампилли. — И мемориал.

— А как мемориал? — спросил я.

— Отличный. Отличный, — ответил он. — Но поговорим о нем завтра.

Я вернулся к Шумовскому. Он по-прежнему разглядывал пачку сигарет. Впрочем, вполне безотчетно, потому что его мысли, кажется, были заняты Кампилли.

— Он тоже из «Аполлинаре», — заметил Шумовский.

— Я знаю. Он ведь учился вместе с моим отцом.

— Женат на польке.

— Знаю, — ответил я. — Господа Кампилли до войны были очень дружны с моими родителями. Мой отец состоит с ними в постоянной переписке.

— И зять у него поляк.

— Я слышал об этом.

Дверь снова приоткрылась. На пороге появилась пани Козицкая, держа высокую рюмку для вина.

— Дядюшка, сироп.

Она присела на стул, ожидая, пока он выпьет. Как и раньше, Козицкая была молчалива и не поднимала глаз. Шумовский пригубил лекарство, поморщился.

— Мне приходится ухаживать за своим голосом, как Карузо, — объяснял он. — Сырые, холодные церкви вперемежку с

¹ Вас зовут к телефону (итал.).

² Кто просит? (итал.)

³ От адвоката Кампилли (итал.).

раскаленными площадями и улицами—это ужасно. Ну и в автобусах все окна открыты—сквозняк. С одной стороны греет, с другой дует. И ко всему надо надрывать глотку. Если в автобусе—так из-за уличного шума, а если в церкви или, например, в Форуме—так мои туристы не стоят на месте, а расползаются кто куда.

Он жаловался и медленно пил сироп. Наконец он справился с ним и потянулся за сигаретами, лежавшими на столе, но Козицкая накрыла их рукой.

— Лучше не курите, дядюшка,—сказала она, а затем оставила нас одних.

Мы еще немного поговорили о том о сем. Вернувшись к себе в комнату, я долго не мог заснуть. Улица была шумная, поблизости гудели поезда; я прочитал от первой до последней строчки итальянский журнал, который купил после того, как вручил письмо лакею адвоката Кампилли.

III

Проснулся я рано, и сразу на меня дохнула жара и оглушил шум, тот же самый, что и вчера, еще умноженный на голоса уличных торговцев. Я выглянул в окно. У ворот дома стояла тележка с помидорами и зеленью, по мостовой тащился ослик, нагруженный корзинами персиков, чуть подальше угольщик толкал тачку с поблескивающими на солнце черными глыбами и смолистыми ветками для растопки, на которых искрились капли живицы. Было очень шумно. Отдельных голосов я не различал. Я видел только широко разинутые, кричащие рты. И всюду краски, до предела насыщенные светом. Краски, сплошной крик, жара.

Чтобы попасть в ванную, мне пришлось пройти через столовую. Возвращаясь из ванной, я увидел, что пустовавшее вчера место занимает пожилой господин с проседью, в роговых очках, погруженный в чтение газеты большего формата, чем наши, польские. Я не знал, кто он: поляк или итальянец. В зависимости от ситуации следовало сказать «добрый день» по-польски или по-итальянски—«buon giorno». Пока я раздумывал, не зная, как поступить, неизвестный мне обитатель пансионата встал и поздоровался со мной по-польски. Он уже знал, кто я такой и когда приехал в Рим. Спросил, как я спал первую ночь на новом месте. Его удивило, что я спал хорошо, несмотря на температуру, и особенно, что днем меня не валит с ног жара.

Он приписал сон усталости после путешествия, а невосприимчивость к жаре объяснил тем, что я всего два дня в Риме и зной не успел еще истомить мое сердце. Все это он высказал еще до того, как мы друг другу представились. Наконец он назвал свою

фамилию — Малинский — и при этом пожал мне руку как доброму знакомому. Хотя он держался очень сердечно и произвел на меня приятное впечатление, я не поддержал разговора. До встречи с Кампилли оставалось, правда, много времени, но я все-таки торопился. Как и всякий новичок в большом городе, я испытывал страх перед средствами передвижения, тем более что в Риме ими пользоваться очень сложно, в чем я уже успел убедиться. Таким образом, наш контакт оборвался на дружеском рукопожатии. По крайней мере на этот раз.

До виллы адвоката Кампилли я добрался вовремя. Даже смог передохнуть у излома колоссальной замшелой каменной стены — чтобы остыть. Здесь была тень, и, значит, в этом месте стена была холодная. Пустынно, тихо. Вдали, за несколькими поворотами, следовавшими после мощных защитных бастионов, был вход в ватиканские музеи. У ворот высотой в несколько этажей царило оживленное движение. Группы приезжих высаживались из больших туристских автобусов. Тянулись вереницы пеших паломников. Из-за потока машин возникали пробки. Все это происходило в пятистах метрах от меня, если идти вниз по улице. Но здесь, в верхней части виале, была полная тишина.

С адвокатом я, разумеется, был знаком. Однако, не будь у отца его фотографии, в моей памяти мало что сохранилось бы от встречи двадцатилетней давности. Я не узнал бы его. Но теперь, благодаря фотокарточке, я сразу догадался, что седоватый господин в синем костюме, осторожно тормозивший машину песочного цвета, — это адвокат Кампилли. Он еще разворачивался, ставя машину в гараж, а я уже подошел к калитке его дома. Он обернулся и тоже мгновенно узнал меня. Но, как мне кажется, вовсе не потому, что видел меня когда-то, а просто из-за моего сходства с отцом. Ворот гаража он не закрыл. Сразу бросился ко мне.

— Как приятно! — воскликнул он. — Ну наконец-то.

Вид у Кампилли был отличный. Волосы слегка вились. От него пахло лавандой. Из кармашка пиджака элегантно торчал светлый платочек. С минуту он держал меня за руки. Потом положил ладони на мои плечи.

— Как ты похож на отца! — несколько раз повторил он.

Он не мог надивиться этому. Больше того — нарадоваться. Не только глаза и улыбка, даже жесты у меня были отцовские. Даже мое итальянское произношение напоминало ему отца.

— Я словно слышу его, — уверял он.

— С той лишь разницей, что отец хорошо говорит по-итальянски, а я прескверно, — засмеялся я.

— Научись. А впрочем, не в том дело.

Все это мы сказали друг другу до того, как он отворил дверь виллы ключиком, выбрав его из целой связки, хранившейся в изящном портмоне. Мы вошли в роскошный холл, где стояло

множество бюстов и статуй. Тень от них падала на пол, выложенный черными и белыми ромбами. Прошли через маленький зал, где преобладали золотисто-розовые тона. Я догадался, что это приемная. На столах и столиках лежали различные иллюстрированные издания. Следующая дверь вела из зала в кабинет адвоката. Здесь мы наконец уселись в удобных кожаных креслах, низких и очень глубоких, среди шкафов, заполненных так хорошо мне знакомыми томами «Bullarium», «Juris Canonici Fontes» и «Des Decisiones seu Sententiae»¹, лишь немногие из которых сохранились у отца.

Мы еще несколько минут поговорили о моем сходстве с отцом. Оно искренне растрогало адвоката. Я напоминал ему отца, что в свою очередь напоминало ему молодость. Годы учения и различные связанные с ними приключения. А также приключения, связанные не с учением, а с молодыми годами. Я же, глядя на Кампилли, размышлял о том, что и он мне напоминает отца. Не буквально, не физически. Однако в облике этого человека было нечто, заставлявшее меня думать об отце.

Вернее всего, сходство было в особом рода эlegantности, покрое костюма, типе рубашек, хорошем вкусе при подборе тонов, что особенно бросалось в глаза в Торунь, где господствовал тяжеловесный стиль в одежде даже в наши дни, когда в город съехались люди с разных концов Польши. В том, что отец проникся духом Италии, нет ничего удивительного. Он увлекся ею смолоду, а потом в течение стольких лет ездил туда и, наверное, там все покупал для себя. Более удивительным было то, что и теперь он находил время и энергию и—прежде всего—деньги, чтобы одеваться так же, как в прежние годы. Я знал, что с тех пор, как епископ стал чинить ему трудности, он едва сводил концы с концами. Вероятно, ему приходилось во всем себя ограничивать, чтобы не отступать от своих привычек. Но так или иначе, мы оба с синьором Кампилли были растроганы. Меня растрогал он, его—я, а точнее—нас обоих растрогал отец, здесь не присутствующий, но какими-то своими чертами воплотившийся в каждом из нас.

Кампилли знал, что через несколько месяцев после вступления немцев в Торунь нас выселили и всю войну мы прожили в Кракове. Отец писал ему об этом. Но мне пришлось рассказать ему еще раз, как нас вынудили в течение получаса покинуть квартиру, разрешив взять с собой только по чемоданчику. С моей матерью он был знаком: она несколько раз ездила с отцом в Рим. Ему захотелось услышать подробности о ее болезни и смерти. Далекие дни, события пятнадцатилетней давности, словно живые, встали перед моими глазами. Мать в Кракове стряпала для нас.

¹ «Сборник папских булл», «Материалы и документы по церковному праву», «Решения и приговоры» (лат.).

Однажды она рубила мясо—видимо, оно было не вполне свежее,—порезала палец, и у нее началось заражение крови. Болезнь развивалась молниеносно, спустя сутки вены на ее руке уже почернели. Я не отходил от матери. Отец носился по городу в поисках лекарства, но его нигде нельзя было достать. А без лекарства самые лучшие врачи, которых мы пригласили, ничем не могли помочь. Она скончалась неделю спустя, под утро, когда я спал в кресле возле ее кровати, а отец—на кушетке в соседней комнате.

В кабинете Кампилли было светло даже при опущенных жалюзи. Лучи проникали только сквозь узкие щелки. Но этого оказалось достаточно, чтобы победить мрак,—так велика была пробивная сила солнца. Кампилли встал и прошелся по комнате. Рассказ о смерти произвел на него впечатление не в силу своей исключительности. Ведь если учесть время и место, смерть эта не была особо героической. Она взволновала его так, как волновало все, касавшееся моего отца, а значит, их общей молодости. Он произнес несколько теплых слов, засуетился возле шкафчика со спиртными напитками, потом позвонил, чтобы принесли лед и кофе.

Теперь в свою очередь он рассказал мне о своей семье. Начал с себя, а именно с того, что он не воевал, так как его затребовал в свое распоряжение Ватикан. Много ездил, главным образом в Германию, Швейцарию, Испанию, ну и в Риме массу времени посвящал большому благотворительному учреждению, созданному Ватиканом. Жена работала в больницах, тоже ватиканских, рассчитанных на беженцев и лиц, пользующихся правом убежища. Дочка тоже работала, но только в последний год войны и после освобождения Рима; до этого она была слишком мала. Тогда-то она и познакомилась со своим теперешним мужем, польским офицером, который обратился к синьоре Кампилли с просьбой о постое для солдат. Она пригласила в дом этого человека—первого поляка из частей, вступивших в Рим вместе с союзниками,—не предполагая, что приглашает будущего зятя.

Вошел лакей в полосатой куртке. На полированном, несколько великоватом подносе он принес две маленькие чашечки кофе, две рюмки и небольшую вазочку с кусочками льда. Синьор Кампилли предложил мне вермут, сказав, что для этого времени дня вермут незаменимый напиток. Бросил в рюмку лед. Залил его золотистой, мерцающей в полумраке жидкостью. Вермут действительно освежил меня.

— Жена, наверное, захочет тебя повидать,—продолжал он.—Теперь она в Остии. У нас там вилла, и мы туда перебираемся на лето. Жена, дочь, зять. Что касается меня, то, пока курия работает, я езжу к ним только на субботу и воскресенье.

Я потянулся за рюмкой.

— Ну как вермут?

— Отменный.

— Как долго ты думаешь пробыть в Риме?

— Зависит от обстоятельств.

— Понятно,—сказал он.—Прежде всего уладим финансовую сторону.

Моих денег могло хватить на неделю. Столько мне выдала валютная комиссия. Я сказал об этом Кампилли. Он внимательно выслушал, после чего заметил:

— Ты мой гость. О деньгах не беспокойся. За неделю ты ничего не добьешься. В лучшем случае успеешь нанести несколько визитов, да и то, наверное, не самых важных, то есть не попадешь на прием к людям, которые могут помочь. Они заняты.

Затем он спросил, где я живу. Я ответил.

— Ах, правда, ты писал мне,—сказал он.—Ну что ж, это приличное место. К кому ты думаешь здесь обратиться?

— Я хотел бы посоветоваться с вами.

— А какие фамилии назвал тебе отец? Разумеется, рассчитывать можно только на тех, кто хорошо его помнит.

Я достал блокнот, в котором у меня все было записано.

— Отец де Вос.

— Отлично.

— Отец Кордеро.

— Умер.

— Монсиньор Крешенци.

— Нунций в Лиссабоне.

— Монсиньор Риго.

— Отлично.

— Адвокат Куньяль, патрон отца.

— Фи!

— Слишком стар?

— В курии не существует такого понятия. А в твоем случае только очень старые люди смогут тебе помочь. Куньяль, бедняжка, болеет в последнее время и чаще всего находится вне Рима.

— Я мог бы к нему подъехать. Отец очень на него рассчитывал.

— А я бы не рассчитывал. Скажу тебе откровенно: Куньялю уже память изменяет. Кто у тебя там еще?

У меня больше никого не было. Я огорчился.

— Значит, остаются де Вос и Риго. Достаточно.

— Вы так считаете?

— Конечно. Дело несложное. Но деликатное. Не надо поднимать вокруг него слишком много шума. Это могло бы только снизить шансы на успех. Ты куда-нибудь уже обращался?

— Нет. Только к вам.

Он предложил мне рюмку вина. Сам тоже выпил. Потом задумался.

— Напиши отцу де Восу,—сказал он наконец.—Так же, как

мне. Это лучшая форма. Хотя нет. Ему можно даже позвонить. Или напиши, что ты находишься здесь и завтра с утра позвонишь. Да, так проще всего.

Придуманный им ход и вся эта тактическая схоластика рассмешили его. Но тотчас он снова заговорил с прежней серьезностью:

— И Расскажи ему все. Он человек дальновидный и осторожный. Для меня, например, его мнение будет авторитетным. Однако пока я бы не относил мемориала.

— Он не годится?

— С чего ты взял? Очень хорош.

— Тогда почему же?

— Он по-своему хорош. Только, быть может, понадобятся другие аргументы. Ведь дело можно представить на тысячи ладов. Сперва надо знать, каковы там настроения и что монсиньоры в данном вопросе готовы считать истиной. Нам отнюдь не следует навязывать свое мнение. Мемориал твоего отца должен подтвердить их точку зрения, то есть точку зрения тех лиц, относительно которых у нас будет уверенность, что они к нему благоволят. Понимаешь?

— Не вполне. Но, разумеется, я подчиняюсь.

Он взглянул на часы.

— Гляди-ка, скоро час. Ну и заболтались мы!

Я встал, чтобы попрощаться. Он удержал меня. Объяснил, что обедает в городе, поскольку жена увезла кухарку в Остию. Посоветовал мне позвонить в пансионат и предупредить, что я не вернусь к обеду. А затем спросил, куда бы мне хотелось пойти. Я засмеялся, ведь я не знаю римских ресторанов. На это он возразил, что мой отец знал все рестораны, понятно из числа лучших, и, наверное, мне о них рассказывал. Я вспомнил несколько названий, которые отец чаще всего упоминал. Синьор Кампилли одобритительно кивал головой, когда я произносил эти названия.

— Превосходно!— говорил он.— Превосходно!

Он успокоился, со лба исчезли морщины.

Образ моего отца—любителя итальянских ресторанов—в данном случае тоже связывался с далекими временами и, должно быть, вызвал у Кампилли приятные ассоциации. Он пришел в хорошее настроение, выбор его пал на первый из названных мною ресторанов. Он позвонил лакею, сказал, что уходит. А когда тот исчез за дверью в приемную, синьор Кампилли протянул руку к лежавшему на письменном столе конверту, видимо заготовленному до моего прихода.

— Возьми,—сказал он.— У меня старые счета с твоим отцом. Поэтому не смущайся.

Никаких счетов у них не было. Я хорошо это знал. Кампилли просто избрал такую форму. Я поблагодарил.

— Когда истратишь их, сообщи,—добавил он.— Если бы мое

дителя оказалось без денег, твой отец тоже ему помог бы. Я надеюсь, что ты будешь смотреть просто на такие вещи.

Мы обнялись. Я спрятал конверт. Перед уходом мы пошли в ванную вымыть руки. Мы шли и шли, тогда только я понял, какая огромная вилла у семейства Кампилли. Ванная тоже была большая. В ней могла бы уместиться вся наша торуньская квартирка. Из окна, выходявшего в сад, открывался бесконечно далекий ландшафт, тот самый, которым я вчера любовался с угла виаля и Кливо-делле-Мур Ватикане.

Ресторан поразил меня своим внутренним видом. Залы узкие и высокие, как церковный неф; в окнах витражи, пропускающие мало света. Среди этой непонятной архитектуры кружилась тьма кельнеров в ослепительно белых накрахмаленных пиджаках. Все они знали адвоката. Он долго раздумывал, какой выбрать столик. Наконец мы сели. Вино Кампилли выбирал так же старательно, как столик. Наполнив бокалы, чокнулся со мной, выпил за здоровье отца и за успех его дела. Но о деле мы больше не говорили. Он не хотел. Раза два я пытался возобновить разговор на эту тему, но Кампилли уклонялся. Обрывал меня, говоря:

— Теперь важнее всего побеседовать с де Восом; интересно, что скажет отец де Вос.

Мне хотелось использовать пребывание в Риме для моих научных занятий, и я намекнул на это. Работая над моим «Польским судебным процессом XVI века», я наткнулся во Вроцлаве на любопытный документ — послание испанской Роты¹, адресованное вроцлавской курии. Послание, снабженное печатью, которая дала мне повод для размышлений. Я обнаружил, что некоторые ее детали могут разрешить спор, тянувшийся целые десятилетия, — спор о происхождении названия папского трибунала: Рота. Нужно было исследовать ее печати на самых старых документах. Из литературных источников я знал, что печати хранятся в Ватиканской библиотеке. Я вкратце рассказал об этом Кампилли и спросил, не может ли он оказать мне содействие, поскольку я слышал, что полякам, приезжающим из Польши, чинят препятствия. Он посоветовал мне и с этой просьбой обратиться к отцу де Восу. Сказал, что сам по себе вопрос пустяковый, но, если им займется де Вос, профессор, ученый, это будет выглядеть более естественно. Мы выпили также и за успех моих планов.

IV

Выспался я отлично. Проснулся, не чувствуя лихорадочной дрожи, не покидавшей меня со дня приезда, и без той слезинки, которая то и дело пробегала от сердца к глазам,

¹ Рота — высший церковный трибунал католической церкви.

щекотала веки и в любой момент готова была выползти наружу. Я думал, что это вызвано натиском воспоминаний и разных ассоциаций, а это была просто усталость. Исчезло также волнение, естественное в моем положении, но еще подхлестываемое усталостью.

Одевшись, я первым делом позвонил по телефону. Вчера, как и советовал мне Кампилли, я оставил письмо на пяйца делла Пилотта, где находится Грегорианский университет и где живут его профессора. Кампилли продиктовал мне письмо и подвез на пяйца делла Пилотта. Он предложил подвезти меня до самой «Ванды». Я отказался. Передав письмо, я вволю погулял. Сперва решил обойти университет, а вернее огромный четырехугольник дворцов, церквей и садов, в которых он размещен. По пути то и дело встречались колоссальные лестницы. У меня спирало дыхание. От вида этих лестниц и от восторга, потому что весь ансамбль действительно очень внушительный. Особенно со стороны Квиринала. Нечто сказочное!

Я разыскал в записной книжке номер, который тоже дал мне Кампилли. Набрал. Пока я стоял у телефона, перед моими глазами высилось здание университета. Лестница, вестибюль и дежурная комната, где сидели два молоденьких иезуита: один в справочном окошке, другой — у телефонного коммутатора. Ему-то теперь я пытался по буквам назвать свою фамилию. Безуспешно.

— Скажите, пожалуйста, отцу де Восу, — сказал я тогда, — что звонит тот поляк, который вчера оставил ему письмо.

— Понимаю.

Наконец отозвался сам де Вос. Я смелей произнес свою фамилию, ему она была знакома. Молчание. Я упомянул о письме. Молчание. Затем я сказал, что привез ему привет от отца. Вместо ответа все то же молчание. И только спросив, может ли он меня принять, я услышал:

— К вашим услугам.

И тут же, прежде чем я успел поблагодарить и попросить назначить час, он добавил:

— В двенадцать. Вам удобно?

— Да-да. Я буду точен.

— Слава Иисусу Христу.

Он говорил тихо. А последние слова произнес еще тише. Если я их уловил, то скорее по наитию, чем на слух. Заканчивая разговор, он, вероятно, уже опускал трубку на рычаг. Я тоже положил трубку. Некоторое время я не отходил от телефона. Короткий диалог, только что оборвавшийся, все еще звучал у меня в ушах. Слова священника де Воса, скупые и лишённые интонации, приковывали внимание. Мой отец высоко его ценил. В «Аполлинаре» де Вос читал процессуальное церковное право. Вероятно, этот же курс вел и в Грегориане. Предмет свой он знал

и, хоть это материя сухая, лекции читал интересно. Мне известно также, что он автор нескольких знаменитых публикаций.

Но у студентов он заслужил добрую славу прежде всего своей сердечностью и искренностью. Его ученики всегда знали, как с ним себя держать. Он не юлил. Не обижался. Не чванился. Так мне его охарактеризовал отец, добавив, что у других священников нрав куда более крутой. По этим причинам отец и поместил де Восу в списке лиц, к которым мне следовало явиться в Риме. Я полагаю, что он поместил отца де Восу на первом месте еще и потому, что в курии считались с его мнением. Он входил в состав различных совещательных, научных и административных комиссий и органов. Отец прекрасно разбирался в их сложном переплетении и даже сообщил мне их названия. Они вылетели у меня из памяти. Во всяком случае, помню одно — они звучали внушительно. И следовательно, священник де Вос имел в курии влияние.

Спешить мне было незачем, и одевался я медленно. В задумчивости ходил по комнате, мысленно приводя в порядок все материалы для предстоящей беседы. За окном буйствовали краски, к которым я уже привык, и раздавались крики, которые теперь меня не отвлекали. Я раскрыл блокнот и набросал кратенький план беседы. Важнее всего было не растекаться, по возможности сжато и без отступлений показать различия в точках зрения, основу и историю спора. Это было важнее всего, но отнюдь не легко, хотя бы потому, что период идиллических отношений между епископом Гожелинским и моим отцом отошел в далекое прошлое. Потом начались трения и тот конфликт, из-за которого пострадал мой отец и который, помимо всего, материально разорял его.

Закончив заметки, я заглянул на кухню — предупредить, что опоздаю к обеду. Как и принято в Италии, обедали здесь рано, в половине второго, и я боялся, что не успею вовремя с пятаццелла Пилотта. На кухне я застал пани Козицкую. Рядом с ней — с одной стороны горничная, с другой — кухарка, а напротив — уличный торговец рыбой, который в соответствии с ритмом переговоров то закидывал на плечо корзинку с товаром, то снимал ее. В ответ на мои слова пани Козицкая кивнула головой, дав понять, что принимает их к сведению. Но повернулась ко мне, лишь когда заметила, что я не двигаюсь с места, ибо сценка заинтересовала меня. Во взгляде ее я не прочел одобрения. И поэтому поскорее удалился из кухни.

В передней — Малинский. Роговые очки. Портфель. И на поводке маленький бульдог, приветствующий меня рычанием.

— Вы куда?

— В город.

— Могу вас подбросить.

Я колеблюсь. Сам не знаю почему: ведь я звонил отцу де Восу из пансионата, а не из какого-нибудь бара. Вернее всего, я

колеблюсь потому, что в предложении Малинского слышу тон превосходства. И когда Малинский спрашивает, куда меня надо доставить, отвечаю: к Квириналу. Мы спускаемся вниз. Синий фиатик у ворот, мимо которого я несколько раз проходил, оказывается, принадлежит Малинскому. Я сажусь. Черный как сажа бульдог, который перестал на меня ворчать еще на лестнице, теперь дружески располагается на моих коленях. Мы трогаемся. Малинский везет меня не той дорогой, по которой идет троллейбус, а более красивой. Но, оказывается, он выбрал этот маршрут не для того, чтобы любоваться памятниками старины (когда я его расспрашиваю про какие-то достопримечательности, он ничего мне не может объяснить), а потому, что ширина улиц здесь позволяет развить большую скорость. Наконец я узнаю, где мы находимся: Колизей, Форум, площадь Венеции. А потом вместо пьяцца Квиринале пьяцца делла Пилотта; уж и не знаю почему — то ли по интуиции, то ли по рассеянности: быть может, Малинский слышал мой утренний разговор по телефону и машинально отвез меня сюда, забыв, о чем я просил его. Но нет, это не так, по крайней мере не вполне так. С пьяцца делла Пилотта он едет дальше. Я высаживаюсь у Квиринала и как можно медленнее спускаюсь вниз. Останавливаюсь перед магазинами. Мне еще рано.

Время тянется бесконечно долго. Но вот пора идти. Я толкаю тяжелую дверь из стекла и железа и подхожу к окошечку дежурной комнаты. Узнаю молодого иезуита, которому вчера вручил письмо. Ему уже известно, что я условился с отцом де Восом, и он высовывается из окошечка лишь для того, чтобы указать мне, в какую приемную надо пройти. Их тут несколько. В каждую ведут двери из зала, напоминающего приемную адвоката Кампилли. Низкие кожаные кресла, столы, картины и бюсты. Это сходство. Но я замечаю также и отличие. У синьора Кампилли стоят бюсты цезарей и богинь, а здесь — прелатов; на столах разложены журналы без крикливых разноцветных обложек. Все это я отмечаю мимоходом, бессознательно. Сердце колотится. Во рту пересохло. Рука у меня дрожит, когда я отворяю дверь приемной. Пусто. Стол, диванчик, несколько стульев. На стене только распятие. Чисто. Душно. Немножко пахнет ризницей и немножко больницей или амбулаторией.

Я не решаюсь сесть. Подхожу к окну. Напротив — стена вышиной во много этажей. Достает до самого неба. А наверху виднеется зеленая полоса, кусты, деревья — наверно, какая-то терраса. Вокруг полная тишина. Я жду и жду, не шевелясь. Вдруг раздается голос, тот же самый, что утром в телефоне:

— Слушаю.

Я оборачиваюсь. Невысокий худой священник указывает мне на стул. Голова у него маленькая, остриженная по-немецки, он опустил ее так, словно ему докучает боль в затылке. Я быстро подхожу, чтобы поздороваться. Он едва прикасается к моей руке.

После чего снова так же, как и минуту назад, тем же самым жестом приглашает меня сесть. Мы даже не глядим друг другу в глаза.

— Прежде всего,—говорю я,—позволю себе передать вам самые сердечные и почтительные приветы от моего отца.

Молчание. Поначалу весь разговор ведется в таком духе. Он молча принимает к сведению приветственные слова, а затем мои общие фразы и сообщение о здоровье отца и о его душевном состоянии. Ни разу даже не кашлянул. Вместе с тем не знаю почему, не знаю, на каком основании, но я проникаюсь уверенностью, что слушает он меня внимательно. Смотрит в сторону. Мимо меня. Когда я объясняю, что приехал вместо отца, так как он болен астмой, то внезапно слышу голос де Воса, лишенный всякого выражения, всякой теплоты:

— Вы, кажется, очень похожи на отца.

— Все так говорят.

— Я слушаю. Пожалуйста, продолжайте.

Он сам напомнил о нашем сходстве. Но, видимо считая, что это не имеет отношения к делу, попросил меня вернуться к главной теме. И я в конце концов приступил к изложению самой сути. До этого я спросил только, дошли ли до него слухи о наметившемся в последнее время конфликте между моим отцом и его епископом. Он ничего мне на это не ответил и повторил:

— Пожалуйста, говорите.

Одно это я от него и услышал. И теперь, и позже, в течение всего разговора. Всякий раз, когда я останавливался или спрашивал, каково его мнение, он торопил меня, прося, чтобы я рассказывал дальше. Свое пожелание он выражал в нескольких почти одинаковых вариантах. Прошло немало времени, прежде чем я понял, что он ни в коем случае не выскажет свое мнение. Тогда я перестал задавать ему вопросы. Но по-прежнему время от времени прерывал свой рассказ, чтобы набраться духу. В такие моменты он тоже нарушал свое молчание стереотипными фразами: «Продолжайте, говорите дальше» — или: «Я слушаю. Это уже все?» До самого конца — уравновешенный, невозмутимо терпеливый, полный решимости узнать все. Но — уже усталый. Я догадывался об этом по его произношению. Оно менялось. Вначале трудно было поверить, что мой собеседник не итальянец. А час спустя я уже ясно это чувствовал. Священник де Вос был голландцем. Он пятьдесят лет прожил в Риме. Отец рассказывал, что де Вос говорит по-итальянски превосходно. Но при иных обстоятельствах, после чрезмерно долгих торжественных церемоний или на затянувшихся научных заседаниях, его итальянское произношение становится более твердым. Я вспомнил об этом теперь. И даже сообразил, что злоупотребляю не только его временем, но и силами, и что-то пробормотал по этому поводу. Он ответил своим неизменным:

— Пожалуйста, говорите дальше.

Хотя я и заготовил план, но говорил бессвязно. И прекрасно это сознавал. Мне мешал мой итальянский язык, мое волнение, ну и то пассивное внимание, с каким священник де Вос слушал мой отчет. И прежде всего то, что я не мог разобрать, многое ли ему известно о моем отце и условиях жизни в Польше. До нашей встречи я предполагал, будто из ответов на мои вопросы кое-что выясню. Не получилось. Отсюда и длинноты в моих объяснениях. Понял я это только позднее. Мой отец, получив образование, сдав экзамены, пройдя практику и стажировку в Риме, был включен в список адвокатов, имеющих право выступать во всех папских трибуналах, и, разумеется, как в Роте, так и в Сеньятуре¹. Во всех низших инстанциях также. А значит, и в судах каждой курии. К адвокатам этой категории принадлежал Кампили, проживающий в Риме. Но сколько таких же адвокатов, как он или мой отец, выбирали для себя ту или иную провинциальную курию. Они выступали в ее судах чаще всего по делам об аннулировании брака и, когда «казус», выражаясь профессиональным языком, осложнялся и, согласно церковному праву, переходил на рассмотрение в Рим,—могли там выступать, не прибегая к помощи ватиканских адвокатов. От этого выигрывали их престиж и их финансы. Они обладали также привилегией передавать дело прямо в Роту, которая для других была апелляционным судом, а для них—судом первой инстанции. Они передавали дела, Рота для проведения следствия посылала их местной курии, а курия, считаясь с тем, что дела прибыли из Рима, относилась к ним с особым вниманием. Это опять-таки шло на пользу адвокату. Конечно, я совершенно зря объяснял это отцу де Восу, в таких вещах он разбирался лучше, чем я. В какой-то момент я сравнил адвокатов Роты и Сеньятуры с адвокатами, которые имеют право выступать в верховном суде, а обыкновенных, консисторских,—с теми, кому разрешается выступать только в административных коллегиях. Тут я прервал свою речь. Сперва до моего сознания дошло, что, пытаясь разъяснить вопрос, я затемняю его, так как пользуюсь терминами, которые незнакомы священнику де Восу. А потом я сообразил, что вообще напрасно его мучаю, поскольку все, что касается папских трибуналов, ему и без того великолепно известно. Я попросил извинить меня за ненужное отступление. На мои извинения он ответил так же, как на вопросы:

— Пожалуйста, продолжайте!

Зато я четко и связно изложил суть конфликта между епископом Гожелинским и моим отцом. Это уж верно. Без отступлений, без разбега, не касаясь предвоенного периода и лет оккупации. Самое важное—дать представление о нынешней ситуации. Об этом можно было рассказать в нескольких словах. А

¹ Папский суд (итал.).

именно: епископ Гожелинский лишил отца возможности заниматься своей профессией на территории епархии. Отец перестал ходить в курию и выступать перед консисторией. Воспользовавшись полнотой власти, которой обладает епископ во всех церковных вопросах на территории своей епархии, Гожелинский фактически лишил отца не только положенных ему специальных привилегий, но и обычных прав консисториального адвоката.

Я сказал, что епископ человек злопамятный и темперамент у него кипучий. Он вернулся из лагеря Дахау физически надломленным, но психически и умственно не изменился. В первой же проповеди сразу наметил свою программу, объявив, что остаток сил, которые ему сохранил бог, использует для борьбы с его врагами. Он сказал также — и позднее не раз повторял, ибо эта формула, по-видимому, пришлась ему по вкусу, — что всегда мечтал о мученичестве, и в детстве и впоследствии, когда уже стал священником, но для того, чтобы принять мученический венец, ему пришлось бы бросить епархию. На старости лет, по божьей милости, ему не надо искать своих палачей где-то далеко, они найдутся совсем рядом. Епископ дышал ненавистью, произносил провокационные речи. Образ мышления у него был средневековый. Дипломатичностью он не отличался. Жил как святой. Пользовался у людей большим уважением, особенно у тех, кто его мало знал. Подчиненных он угнетал своей суровостью. С «мягкотелыми» был беспощаден. А к «мягкотелым» он причислял всех, кто не разделял его взглядов и не одобрял его тактики. Таких было много среди духовенства — и в приходах, и в его курии. Епископ их преследовал.

В конце концов ему предложили покинуть Торунь и поселиться за пределами епархии. Он на это не согласился. Ослушался. Однажды перед его дворцом остановилась машина. Епископа интернировали. Он провел два года в маленьком городке на Люблинщине. После событий 1956 года он вернулся, ничуть не изменившись. Только еще сильнее возненавидел «мягкотелых», которых застал на разных постах в своей епархии.

Мой отец принадлежал к их числу. Пока епископ отсутствовал, власть осуществлял избранный капитулом каноник Ролле, который без помощи моего отца, наверное, растерялся бы в той обстановке. Он доверял отцу, а отец уважал его. Они очень отличались друг от друга: отец — немножко космополит, Ролле — человек простой, без взлета, но гуманный, здравомыслящий, что как раз и сближало его с отцом. Как и отец, он не был политиком. Как и отцу, ему не очень нравились новые порядки. Но Ролле, не в пример Гожелинскому, не считал все происходящее вокруг сплошным безумием и обманом, пустой видимостью, которую, по словам епископа, те или иные силы в один миг сотрут с лица земли. Напротив, по его мнению, новая действительность есть нечто устойчивое, с чем, хочешь не хочешь, надо

считаться. За два года не было и дня, чтобы отец не посетил Ролле или не готовил у себя дома какие-либо материалы для него. Вот в чем состоял грех отца, за который он теперь расплачивался. Когда вернулся епископ, Ролле сразу отстранили от всех дел в курии, а перед моим отцом постепенно, мало-помалу закрылись двери канцелярий и управлений в епископском дворце.

Я кончил. Воцарилась тишина. Отец де Вос встал.

— Мне уже пора,—сказал он.—Оставьте, пожалуйста, в дежурной комнате свой адрес и телефон.

Я чувствовал, что нельзя больше его задерживать и о чем-либо спрашивать. На прощанье он быстро, легко прикоснулся к моей руке. При этом добавил:

— В случае чего я вас разыщу.

Я остался один. Настроение неуверенности еще усилилось, когда я очутился в первом зале. Один из многочисленных бюстов, стоявших здесь, изображал кардинала Эрле. Раньше, подходя к указанной мне двери приемной, я его не заметил. Теперь я сразу его узнал. Снимок этого бюста помещен в монографии Эрле, подаренной мне отцом. Крупный ученый, в свое время префект Ватиканской библиотеки, он был автором монументального труда о книгохранилищах апостольской столицы. В этом труде он исследовал также происхождение термина *рота* применительно к папскому трибуналу. Его трактовка получила признание. Мне же она показалась ошибочной. Теперь его бронзовое сухое лицо с глазами без зрачков, как у греческих скульптур, напомнило мне, что я забыл попросить у отца де Воса рекомендацию в библиотеку. Кампилли от этого увильнул. Пока я был у де Воса, мысль о библиотеке вылетела у меня из головы. Телефон и адрес я, по его совету, оставил в дежурной комнате, хотя без особой надежды, и вернулся в «Ванду» в подавленном настроении.

V

В пансионате меня ждало *messaggio*¹ от четы Кампилли с приглашением к чаю. Из приписки к *messaggio* следовало, что надо подтвердить свое согласие. Я позвонил и сказал, что приеду. Сообщил я об этом лакею, который взял трубку и от которого я узнал, что «господа отдыхают». Пообедал я в столовой один, так как опоздал, и тоже отправился к себе, чтобы, по итальяскому обычаю, лежа переждать самую жаркую пору дня. К пяти я уже был у Кампилли.

Лакей—на этот раз не в полосатой куртке, а в белой—провел меня в гостиную слева от холла. Это был огромный зал со множеством зеркал и подсвечников. На стенах полно картин,

¹ Весточка, послание (итал.).

обивка стен золотисто-голубая. Такая же обивка на массивной мебели в стиле барокко, по крайней мере на тех диванах и креслах в одном углу гостиной, с которых сняли чехлы.

Проводив меня сюда, лакей сообщил, что господа сейчас спустятся, и ушел. Я принялся разглядывать гостиную и картины. На самой большой из них, современной, был изображен юноша на пороге костела, а вокруг него группа солдат в папах. Солдаты с карикатурно-монгольскими чертами лица, стоявшие на первом плане, нацелили штыки в грудь юноши. В глубине костела виднелась дарохранительница с мерцающими серебряными святыми дарами. Знакомый мне аллегорический и слащавый жанр живописи. Табличка на раме объясняла содержание картины. «Il martirio d'Andrea Zgierski»¹, — прочел я. Да и без таблички я знал, о ком и о чем идет речь. Брат синьоры Кампилли, урожденной Згерской, погиб при тех обстоятельствах, что изображены на картине. Летом 1917 года, под Житомиром, его убили на ступенях деревенской церквушки солдаты, дезертировавшие с фронта в глубь страны. Я знал также, что синьора Кампилли уже много лет хлопочет о причислении к лику святых ее брата, чью недолгую, тихую и, кажется, очень благочестивую жизнь скрепила своей печатью смерть.хлопоты ее продвигались медленно. Отец говорил мне также, что кандидатура Згерского вряд ли подойдет. У него были серьезные конкуренты с биографиями, сходными в историческом и географическом аспекте, но более блестящими.

Спустя одну-две минуты появились супруги Кампилли. Он держался сердечно, свободно, его жена — натянуто, величественно; но она всегда была такой. Я запомнил ее фигуру с детства — она выделялась среди других своим высоким ростом и тем, что сильно выпячивала грудь. Теперь, как и прежде, она держалась прямо. Однако рост ее не показался мне таким уж поразительным. Зато я не помнил ее глаз, очень больших, черных, с умным, хоть и неприветливым выражением. Она завела разговор по-французски. Произнесла несколько фраз и, заметив, что язык этот доставляет мне трудности, перешла на польский и в конце концов — на итальянский, после того как Кампилли сказал несколько теплых слов о моем итальянском.

С Кампилли я нашел правильный тон с первой минуты, а с синьорой Кампилли нет. Хотя разговор с ней пошел по тому же руслу, что ранее с ее мужем, но звучал по-иному, как бы повторял тот разговор в холодно-церемонной форме. Она спрашивала про смерть матери, справлялась об отце, отмечала наше сходство, но так безучастно, словно едва их знала, а ведь это было неверно. В течение десяти лет, никак не меньше, всякий раз, когда отец приезжал в Рим на несколько недель — часто вместе с моей матерью, — он не расставался с четой Кампилли. Все четверо

¹ «Мученичество Андрея Згерского» (итал.).

называли друг друга по имени. Об этом свидетельствовали старые и новые письма и то последнее, которое я привез синьору Кампилли от отца. Поэтому меня неприятно поразила ее холодность. В особенности потому, что я догадывался, в какой степени она исходит от характера синьоры Кампилли и в какой навязана принятой по отношению ко мне линией поведения. Видимо, опасаясь, как бы я не вообразил, будто она приехала специально ради меня, синьора Кампилли стала подробно перечислять, какие причины побудили ее именно сегодня явиться в Рим, хотя, казалось бы, нет ничего более естественного, чем время от времени заглядывать домой, если живешь в получасе езды от Рима.

Мраморный стол, за которым мы сидели, так и сверкал — столько на нем было серебряных чайных приборов, вазочек, тарелок и корзиночек для фруктов, печенья и конфет. Синьора Кампилли непрерывно меня угощала. Во всем, что касается питья и еды, она была очень любезна. Но когда от семейных дел мы перешли к вопросам общего порядка, она повела разговор в еще более неприятном тоне. В библиотеку Ягеллонского университета поступает немного эмигрантской прессы. Знакомые в Кракове и не в Кракове рассказывали мне кое-что о своих спорах с поляками, живущими на чужбине. Поэтому мне были известны их аргументы, взгляды и тон, с теми или иными оттенками, неизменно, однако, ставивший людей, приезжающих из Польши, в положение обвиняемых, ибо поляки-эмигранты осуждали все огулом. Хотя я ни словом не обмолвился о положении у нас в стране, Кампилли, видимо, с первой встречи понял, что я доброжелательный гражданин своей страны, и поделился своим впечатлением с женой, — и вот теперь, еще до того как я что-либо высказал на эту тему, в ее словах, адресованных мне, зазвучали едкие намеки. Еще до приезда сюда у меня голова распухла от горячих дискуссий, в которых у нас участвовали все поголовно. Сердце мое раздирали противоречия. Вероятно, поэтому, чем настойчивее синьора Кампилли распространялась о наших делах, тем менее я склонен был согласиться, что со своей предвзятой точки зрения она элементарно, по-своему, права; меня прежде всего раздражало то, что она рассуждает о Польше, как слепой о красках. Вначале я возражал, стараясь при этом скрыть раздражение. Мне очень не хотелось восстанавливать ее против себя. Отец мне говорил, что она оказывает влияние на мужа и вообще пользуется авторитетом в своей среде. Зная мою слабость к точной информации и мою объективность, отец просил меня соблюдать величайшую осторожность в этом отношении, поскольку тот мир, куда он меня посылал и где я должен был уладить его дело, верит, будто правда известна только ему. К счастью, синьор Кампилли пришел мне на помощь. Он сказал, улыбаясь:

— Все приезжающие из Польши немножко заражены. Они не

такие, как мы, и не те, что были.

— Не все,—возразила синьора Кампилли.—Например, пани Весневич, мать моего зятя,—пояснила она мне,—гостившая у нас весной. Я раньше не была с ней знакома, но уверена, что эта женщина осталась такой, как была.

— Я говорю о молодежи,—заметил Кампилли.

Они еще некоторое время спорили. Видимо, у них бывало много приезжих из Польши, по преимуществу принадлежавших к бывшей помещичьей среде или к католическим организациям. Одни, по терминологии синьора Кампилли, полностью зараженные, другие в меньшей степени. Во всяком случае, перевес был не на стороне тех, кто несколько не изменился.

— Признаю, что это так,—согласилась синьора Кампилли.— Попросту ваши власти выпускают тех, кого считают надежными. Разве же это не правда?

— Оставь его в покое!—Кампилли явно надоела эта тема.— Люди меняются. Наступят другие времена, и они снова изменятся.—Тут он взглянул на часы и сообщил:—Шесть.

Синьора Кампилли встала. Она извинилась передо мной: ей уже пора ехать на заседание благотворительного общества. Мы вместе вышли в холл. Здесь выяснилось, что хозяйку дома отвезет лакей, который на этот раз был не в полосатой и не в белой куртке, а в серой с позолоченными пуговицами. Синьор Кампилли оставался дома и задержал меня. Мне стало неприятно, потому что сделал он это по знаку жены, не ускользнувшему от моего внимания. Я догадался, что ей не хочется со мной ехать или показываться на людях рядом со мной. Она предпочла подать мужу знак, вместо того чтобы, не глядя на меня, сесть в машину и уехать. Однако получилось еще неприятнее.

Мы перешли в кабинет. Кампилли понял, какие чувства я испытываю. Я сразу это заметил. Тон его стал еще более сердечным. Но во время первой беседы мы уже сказали друг другу все, что могли сказать, и теперь разговор не клеился. К счастью, мне на помощь пришел отец де Вос, вернее, мой утренний визит к нему, о котором я и принялся рассказывать.

— Ах, значит, он тебя сразу принял,—оживился Кампилли.

Он еще больше обрадовался, узнав, что я разговаривал с де Восом почти два часа.

— Это очень хорошо,—повторил он несколько раз.—Очень, очень хорошо.

Я пытался пересказать ему, о чем я говорил, но Кампилли слушал совсем невнимательно. Зато его интересовали любые подробности, касающиеся поведения де Воса, и он заставил меня как можно точнее их описать. То, что мне казалось случайным, мелким, для него было полно значения. И наоборот. Ни малейшего значения он не придавал столь взволновавшему меня факту, что де Вос никак не комментировал мои слова. Де Вос ничего не

сказал о моем отце, не выразил своего мнения о его деле. Кампилли считал, что это тоже не имеет значения. Важно то, что он велел оставить номер моего телефона.

— Знаешь, чего я боялся?—признался Кампилли.—Как бы он не отослал тебя в коллегия адвокатов Священной Роты или прямо в Роту, по уставу.

— К монсиньору Риго?

— Не к монсиньору Риго, а в Роту, не к определенному лицу, а в ведомство. И это означало бы, что он умывает руки.

Обе эти фразы он произнес медленно, ставя акцент на словах «ведомство», «определенное лицо».

— Если бы он тебя направил прямо к монсиньору Риго, было бы еще лучше. Ты сослался бы на де Воса, и, таким образом, он как бы шефствовал над тобой во время беседы с Риго. Однако довольствуйся достигнутым. Он тебя не сплавил. Не отстранился от дела твоего отца.

Это разъяснение меня обрадовало. Но от дальнейших рассуждений Кампилли меня попеременно кидало то в жар, то в холод. Свои мысли он излагал без стеснения, полагая, вероятно, что его недавняя осторожность уже потеряла актуальность. Однако я нервничал, мне трудно было полностью разделить его позицию.

— Это хорошо, очень хорошо,—говорил Кампилли,—признаюсь тебе, что у меня были серьезные опасения. Дело твоего отца очень деликатного свойства. В игру вступает епископ, одного этого уже достаточно. И к тому же особое положение епархии—она находится не здесь, у нас, а по ту сторону! Да, закон, безусловно, на стороне твоего отца. Но что с того! Ведь на спор, о котором мы говорим, никто не станет глядеть под этим углом. Спор разыгрывается в вопиюще сложных условиях, тут примешана и политика, и не только политика; так что естественный импульс, импульс здравомыслящего человека, которого хотят втянуть в эту кляuzu, побуждает его быть подальше от нее. Я такой же адвокат, как и твой отец; защищая твоего отца, я защищаю свои права согласно инстинкту профессиональной солидарности. И все же поверь мне, что, если бы не дружба с твоим отцом, старая, крепкая дружба, я поспешил бы отделаться от тебя, явись ты ко мне в качестве незнакомого молодого человека, сына неизвестного мне коллеги. У меня прочное положение в Ватикане, я не лишен адвокатского нерва, и, несмотря на это, я повел бы себя именно так, как сейчас откровенно тебе о том говорю.

На этом он закончил свое рассуждение—вероятно, потому, что заметил мою растерянность. Он полез в шкафчик с напитками и не поленился сходить на кухню за рюмками. А затем еще раз подвел итог своим впечатлениям.

— Ты поставил ногу в стремя. Ты пока еще не сидишь в седле, еще не едешь, и неизвестно, куда приедешь, но нога твоя в стремени.

Потом мы с четверть часа говорили о других вещах. О пансионате «Ванда», об отношении синьоры Кампилли к приезжим из Польши, в частности о том, как она отнеслась ко мне, и, наконец, о Ватиканской библиотеке. Что касается пансионата, который Кампилли в прошлый раз хвалил, то теперь он осудил мой выбор. В пансионате он никогда не был, однако слышал о нем, да и с его владельцами время от времени встречался. Кампилли советовал мне от них переехать, выбрать отель лучше и не такой скучный. Его беспокоило, что из-за «Ванды» у меня сложится ложное представление о Риме и будет испорчено впечатление от поездки.

— У пансионата безупречная репутация,—говорил он.— Иногда даже полезно пожить под столь почтенной крышей. Но в твоём положении это не обязательно.

О жене он сказал:

— Она, безусловно, относится к тебе так же сердечно, как и я, и при обычных обстоятельствах показала бы тебе это. Но в твоём положении ты должен понять ее настороженность. Она и католичка, и полька. Впрочем, я передам ей наш разговор. Многого это не изменит, но по крайней мере она убедится, что я был прав, уверяя ее, что она может тебя принять в своём доме.

Затем он дал мне записку в Ватиканскую библиотеку—после того, как узнал, что я от волнения забыл попросить об этом отца де Веса. Я его от всего сердца благодарил.

— Нет ничего проще,—сказал он.—Дон Паоло Корси, от которого зависит допуск в библиотеку, мой хороший знакомый. Я направлю тебя лично к нему,—добавил он и весело рассмеялся, видимо вспомнив, что он мне говорил о разных способах обращения с просителями.

VI

«„Дон“ — значит священник»,—думал я, вспоминая, что в различных итальянских новеллах и романах это словечко присоединяется к именам приходских священников и викариев. Однако на следующее же утро, придя в библиотеку, я увидел в указанной мне комнатке пожилого господина в черном костюме, с розетками двух орденов в петлице, заметил большой перстень с печаткой на его пальце и решил, тоже на литературной основе, что, очевидно, передо мной сидит аристократ, которому по праву полагается титул «дон».

Я вручил ему записку от синьора Кампилли. Он взглянул на нее, прочитал, еще раз взглянул, наконец внимательно посмотрел на меня, что-то соображая. Комната, в которой мы сидели, была маленькая, стены ее, увешанные потемневшими картинами, по большей части изображавшими различных князей церкви, пап и

кардиналов в старинных одеяниях, казались совсем темными. Дон Паоло Корси вертел в пальцах визитную карточку Кампилли. Голова у Корси была большая, сложение крепкое, только глаза подведены огромными синими полумесяцами.

— Ну, хорошо,—решил он в конце концов.—Мы не часто принимаем у себя ваших соотечественников. То есть таких, как вы, приезжающих из Польши, а не поляков из эмиграции.

— Теперь многие ездят за границу,—заметил я.—Несравненно больше, чем раньше.

Дон Корси пропустил мои слова мимо ушей. У него было свое мнение на этот счет. А может быть, он хотел определить свою позицию независимо от того, усиливается ли прилив путешественников из Польши или спадает.

— Бедная Польша. Народ—страдалец.

Он потянулся за одной из многочисленных регистрационных книг, лежавших перед ним. Внося в список мою фамилию, он немножко помучился с правописанием. Имя далось ему легче, и совсем легко—римский адрес. Однако он по-прежнему держался натянуто. Я чувствовал, как от него веет холодом, что, разумеется, было вызвано теми же самыми сложными причинами, которые заставили его так долго вертеть в пальцах визитную карточку Кампилли. Лед чуть-чуть растаял, когда, сообщая свой адрес на родине, я произнес слово «Краков». Дон Паоло Корси не видел Кракова, не был там, но знал о нем по научным работам, отчетам, фотографиям. Дону Корси было известно, что это красивый древний город, богатый памятниками старины. Мои акции поднялись на несколько пунктов. Он спросил меня, над чем я буду работать и как долго собираюсь пользоваться библиотекой. Внимательно все выслушав, он выписал входной билет. Потом подробно разъяснил правила пользования библиотекой. Попрошавшись он со мной очень любезно.

После бесконечно долгой консультации и переговоров в отделе каталогизации документов работники библиотеки обещали интересующие меня научные материалы только к понедельнику. Я прошел в читальный зал и, чтобы сразу, в это же утро, приступить к работе, заглянул в шкафы подсобного книгохранилища и взял несколько томов, но вплоть до часу дня, то есть до закрытия библиотеки, не продвинулся дальше Эрле. Я читал и по несколько раз возвращался к тем страницам его основного произведения, озаглавленного «*Historia bibliothecae Romanorum Pontificum tum Bonifatianae tum Avinionensis*», где он излагает результаты своих розысков и, опираясь на них, устанавливает происхождение занимавшего меня названия папского трибунала.

Этимологически слово «рота» означает то же, что латинское *circulus*—круг, диск. Исследовав различные материалы, относящиеся к авиньонскому периоду, Эрле пришел к убеждению, что посредине зала, в котором на протяжении всей той эпохи заседали

папские судьи, должен был находиться большой вращающийся пюпитр, на котором раскладывали папки с делами. Такой механизм известен был в средневековые и применялся в некоторых канцеляриях для удобства служащих: благодаря ему не нужно было вставать и перетаскивать тяжелые тома с подшитыми делами. Так как пюпитр вращался, его называли рота. Это суждение Эрле я хотел опровергнуть. В своем труде он приводит старые-престарые счета за такие пюпитры, сделанные по заказу папской курии в Авиньоне. Но нельзя считать установленным, что их заказывали для судов. Более вероятно, что эти пюпитры устанавливали в других административных учреждениях, значительно меньших по составу, чем папские суды. В авиньонские времена в трибуналах заседало по двадцать аудиторов. Какой же неправдоподобной величины нужен был пюпитр, чтобы обслужить столько человек! Я сделал подсчет, и тогда во мне проснулось подозрение, что кардинал Эрле, выдвигая свой тезис, не подумал об этой стороне вопроса—назовем ее столярной,—ибо, вне сомнения, не стал бы настаивать на своем решении загадки, если бы представил себе колоссальные размеры такой махины и неудобства и сложности, связанные с ее размерами. Взвесив все эти обстоятельства, я вправе был считать гипотезу Эрле опровергнутой. У меня родилась собственная гипотеза, подсказанная силезским документом. Я был уверен, что найду здесь ее подтверждение. Я упивался книгой Эрле, отчаянно с ним споря и радуясь своей догадке. Домой я вернулся в отличном настроении.

В пансионате волнение, суматоха. Туристы, отбившиеся от бразильской группы, которая поселилась неподалеку, в монастырской гостинице, заняли все свободные комнаты. Мою также. Едва я вошел, горничная спросила, не соглашусь ли я перейти в другую, меньшую. Я согласился. Тут же в мою комнату внесли диванчик. Я как можно быстрее запахнул свои вещи в чемодан, потому что в коридоре уже ждали новые жильцы—дама с дочуркой,—готовые вторгнуться ко мне. Новая комната—это конурка напротив ванной и уборной, так что здесь, надо думать, будет шумно. Я не собираюсь, однако, переезжать в отель, как советовал синьор Кампилли. Не только потому, что через несколько дней, когда бразильцы двинутся на юг, я смогу вернуться в прежнюю комнату: живя здесь, я не чувствую себя в Риме одиноким. Мне есть с кем поговорить. По крайней мере в теории, так как за исключением пана Шумовского обитатели пансионата не очень разговорчивы.

Пока я разбирал чемодан, мне пришло на ум, что конурка кому-то принадлежит. А когда я открыл нижний ящик шкафа, чтобы уложить там белье, то обнаружил в нем дамские вещицы, и у меня возникло подозрение, что я теперь живу в комнате Козицкой, а ее, вероятно, переселили в другое место, к тетке или

к кухарке. У стены стояла небольшая этажерка с книгами, несколько романов и стихи, преимущественно изданные в эмиграции. Я достал с полки несколько книжек. Конечно, комната Козицкой. На книжках надписана ее фамилия. Установив это, я заметил еще кое-что: этажерка закрывала большую фотографию. Я снял еще несколько книжек — мне хотелось разглядеть, что же изображено на фотографии, — и увидел часть разрушенного дома с вмурованной в стену табличкой, а на ней надпись, или, вернее, часть надписи, — однако этого было вполне достаточно, чтобы понять ее смысл. В польских городах сохранилось много таких табличек в тех местах, где немцы расстреливали заложников или повстанцев. Я положил книжки на полку. Еще внимательнее оглядел комнату. На расстоянии метра от этажерки на стене четко отпечатались ее контуры. По бокам и над ними стена была темнее. Не подлежало сомнению, что до сих пор этажерка стояла там. Другие фотографии, маленькие сувениры или картинки — на это указывал размер гвоздиков — обычно висели над кроватью. Все это пани Козицкая сняла, а большую фотографию закрыла этажеркой специально от меня, непрошеного гостя; всегда ли она так делала, если ей приходилось уступать свою комнату, — этого я не мог знать. Но мне стало неприятно, особенно из-за того, что я шарил на ее этажерке; я действовал инстинктивно, без злого умысла, тем не менее в данных обстоятельствах не очень деликатно.

Едва я разложил свои вещи, стук в дверь — звонят из Остии. Адвокат Кампилли. Приветствует меня — и сразу:

— А почему бы вам не приехать к нам на море?

Это было приглашение, но так странно сформулированное, что я не понял, то ли он в самом деле хочет, чтобы я приехал, то ли бросил фразу мимоходом, собираясь сообщить мне нечто совсем иное.

— Ну?

— Очень охотно.

— У вас нет на завтра никаких планов?

— Ничего определенного.

— Значит, просим к нам. Мой зять за вами заедет. Пожалуйста, будьте готовы к девяти. Не слишком рано?

— Конечно, нет.

— А как с библиотекой? Все в порядке?

— Вполне. Я очень вам благодарен.

— Какие пустяки! Жена очень рада, что вы приедете. И дети, то есть мой зять и моя дочь.

Я положил трубку. «Насчет радости — это, наверное, ни к чему не обязывающая, любезная фраза», — подумал я. Кампилли по доброте душевной и из уважения к моему отцу старался, как мог. Отсюда и приглашение, на которое синьора Кампилли, разумеется, согласилась без всякого восторга. Ничего не поделаешь. Приглашение следовало принять. С Кампилли надобно поддержи-

вать отношения. Если бы я не пошел к ним на чашку чаю, то до сих пор терзался бы из-за беседы со священником де Восом, не поняв ее положительного значения. Только Кампилли мог посоветовать мне, спустя сколько дней и в какой форме я должен напомнить о себе на пьятца делла Пилотта. Значит, нужно подготовиться к поездке в Остию. Прежде всего внутренне — так, чтобы синьоре Кампилли завтра не удалось спровоцировать меня ни своей холодностью, ни своими колкостями. Ну и, так сказать, внешне подготовиться. Приобрести какие-нибудь сандалии для пляжа, купальный костюм.

Возвращаясь к себе в комнату, я наткнулся на Малинского.

— Как дела?

— Помаленьку.

— Весь день в городе?

— Преимущественно.

— Надо нам с вами как-нибудь поболтать. Но обычно труднее всего выбрать время, когда живешь под одной крышей.

— Действительно, — согласился я с ним.

— Может быть, завтра отправимся куда-нибудь вместе?

— Увы! Меня пригласили в Остию.

— К Кампилли?

— Вот именно.

— Хо, хо! Ну, желаю вам повеселиться!

Покупка вещей в чужом городе — дело хлопотное. А уж тем более в чужой стране, особенно в Италии, о которой мне столько наговорили знакомые в Кракове. Я спросил совета у Малинского. Он дал мне адреса нескольких больших магазинов, рекомендуя их следующим образом:

— Вы там найдете товар только невысокого качества. Но по крайней мере не переплатите.

Кажется, его так и подмывало поговорить об Остии, семействе Кампилли, а вернее, об их приглашении. Он вернулся к этой теме, сказав что-то в таком духе, будто, пригласив меня, они очень мило поступили. И ему явно еще больше захотелось оказать мне подобную же любезность.

— Так, может быть, послезавтра. В понедельник. Отвезу вас в Фреджене. Отличный пляж. И в будни там не так многолюдно, как в Остии. Разумеется, в первой половине дня.

— По утрам я работаю. Хожу в Ватиканскую библиотеку.

Он на мгновение онемел.

— Вы туда попали! Тоже благодаря Кампилли?

Секунду подумав, я ответил:

— Нет. Благодаря моему отцу.

Из коридора выбежал черный бульдог пана Малинского и яростно накинулся на меня. Малинский взял его на руки; песик, однако, по-прежнему рычал и вырывался. Пришлось закончить разговор, и мы попрощались.

Утром, захватив все, что требуется, надев защитные очки от солнца, тоже только что приобретенные, я ровно в девять спустился вниз. Было жарко, парило. К этому же часу должен был подъехать экскурсионный автобус за бразильцами. Они носились взад-вперед, одни выбегали на улицу, другие торопливо возвращались в пансионат за забытым фотоаппаратом или купальным костюмом. Наконец все сбились в кучу посредине мостовой, и на их головы посыпались проклятия из машин, с мотоциклов и мотороллеров, мчавшихся из центра в сторону моря или холмов к югу от Рима. Наконец подъехал автобус, уже набитый бразильцами. На улице стало еще шумнее, туристы кричали, громко окликали друг друга.

Одновременно с автобусом из боковой улочки внезапно выкатилась пианола—черный ящик на колесиках—и остановилась перед воротами нашего дома. Возле нее суетились двое мужчин, оба грязные, вспотевшие. Один торопливо вертел ручку, другой в большом волнении проталкивался между бразильцами и протягивал шляпу, стараясь выманить у них несколько лир, прежде чем им удастся втиснуться в автобус. Вернулся он ни с чем, едва дыша. Тогда-то и подъехал зять Кампилли в маленькой роскошной «альфа-ромео», линиями которой я уже не раз восхищался; по Риму кружило много машин этой марки. «Альфа-ромео» зятя Кампилли была красная как рак.

За рулем сидел Весневич, рядом с ним двое и двое сзади; всё молодежь. Весневича я сразу узнал. После венчания дочери супруги Кампилли прислали отцу памятный альбом с описанием торжественной церемонии, списком гостей и фотографиями новобрачных. Мы поздоровались тепло, с размахом, словно только что заключили сделку или встретились после долгой разлуки. Тем не менее мы при этом назвали друг другу наши фамилии: он—свою, я—свою. Потом он весело познакомил меня с остальной компанией. Быстро, с воодушевлением.

Все это происходило под аккомпанемент пианолы и мелькание шляпы, которая как бы превратилась в шапку-невидимку в руках бесплотного духа, потому что никто не потянулся за деньгами.

Впрочем, процедура знакомства длилась меньше минуты. Машина Весневича поразительно легко рванулась вперед. Он вел ее отлично. Выбравшись из города на автостраду, Весневич развил скорость, от которой у меня захватило дыхание. Поддерживать разговор не было никакой возможности. Я сидел впритык сзади, односложно отвечал на обращенные ко мне шаблонные вопросы и любовался пейзажем, его чарующими красками. Снова всем существом я почувствовал, что нахожусь в Италии. Доказательством тому служили совершенно особая синева неба, рыжеватый цвет земли, высокие стволы романтических пиний; ослики, впряженные в странные короткие повозки на огромных колесах;

пригородные старые виллы-дворцы, расположенные на холмах; акведуки, появляющиеся в отдалении от шоссе, поражающие чистотой линий. Вдоволь насмотревшись на пейзаж, я переводил взгляд внутрь машины, на пассажиров, с которыми я ехал. Это были итальянцы, они весело смеялись, а по какой причине — я понятия не имел. Взрывы смеха вызывало любое словечко, содержащее в себе, очевидно, либо намек, либо условный смысл, как это бывает в спевшейся компании. Самым старшим среди них был Весневич, широкоплечий, очень красивый. Он то и дело отпускал какую-нибудь шутку, приводившую всех в бурный восторг. Садясь в машину, я был твердо уверен, что моя соседка — это и есть Сандра, его жена. У нее был такой же прекрасный лоб, такой же чуть-чуть великоватый нос с подчеркнутой линией ноздрей, такие же изумительные продолговатые египетские глаза, что и у новобрачной на снимках в альбоме. Красавица, однако, объяснила мне, что она двоюродная сестра Сандры. Что касается остальной компании, то я не смог разобраться, кто они такие. Впрочем, это не имело значения. Я и на них смотрел отчасти как на окружавший меня пейзаж и природу; они служили еще одним доказательством того, что я действительно нахожусь в Италии, и от этого во мне росла та кипучая радость, которую я испытывал здесь всякий раз, как забывал о деле моего отца или почему-либо более оптимистически оценивал связанные с ним хлопоты.

VII

В Остии я мог о нем не думать или думать только хорошее. День был чудесный, а вилла семейства Кампилли, в современном стиле, восхитительна. Сами хозяева — сияющие, одетые во все белое — воплощение любезности. Синьор Кампилли — шумно общительный, его супруга — снисходительно улыбающаяся, Сандра — в брюках и майке, испещренной звездами и лунами, такая радушная, словно я был ее вновь обретенным братом, правда встреченным при обстоятельствах, не располагающих к разговорам, например на беговой дорожке.

Пляж был недалеко, их собственный. Весневич сразу же увел нас, мужчин, в свою комнату. Сандра проводила женщин в комнату родителей. Все весело покрикивали друг на друга, потирали плечи. В купальных костюмах мы сбежали на первый этаж, в большой застекленный холл, служивший одновременно столовой, читальней и гостиной. Нас угостили фруктами и замороженными напитками, после чего мы вышли в сад и двинулись к морю, осторожно ступая по усыпанной гравием аллейке: острые камешки кололи босые ступни.

Я совсем не запомнил моря. Отец как-то привозил меня сюда,

но это было так давно! Он тогда не разрешил мне купаться, позволил только шлепать у самой кромки воды. Зато от солнца он меня не оберегал, и я обжегся. Теперь я тоже сразу почувствовал мягкое тепло на плечах и лопатках—так, словно кто-то накрыл мою спину нагретой нежной фланелью. Из аллейки мы вышли на каменистую полосу, отделявшую виллу от моря. Камни были большие, отшлифованные, раскаленные. А дальше—темный сырой песок, совсем не такой красивый, как на пляже у нашего моря, и вода.

Я неплохо плаваю; меня сразу понесло, и я стал удаляться от берега. Вода была приятно освежающая, в первый момент даже показалась холодной, температура ее была ниже температуры воздуха. Я перевернулся на спину и поплыл, выбрасывая кверху руки, а потом все дальше и дальше, но уже гребя понемножку и почти что одними ладонями. Я плыл все медленней и медленней. Ноги стало тянуть книзу. И тут, в полукилометре от берега, я вдруг почувствовал твердую почву. Я встал. Вода доходила мне до пояса. Справа море было еще более мелкое.

Между мной и берегом тоже было много больших светлых полос, выдававших отмели. Я не спеша двинулся в сторону остальной компании, бултыхаясь, падая в воду и ныряя. Слева, примерно в километре по прямой линии, виднелся главный пляж Остии. Там жарились на солнце и купались в воде тысячи разноцветных муравьев. А повыше, на твердой земле, пестрело множество огромных зонтиков и кабин самой яркой окраски. Я добрался до берега. Сандра и ее приятельницы, неподвижные, полусонные, разлеглись на узорчатых купальных полотенцах и старательно загорают, время от времени смазывая себя кремом. Весневич и гости, которых он сюда привез, совместными усилиями выталкивали из узкого зеленого строения на воду чудесную моторную лодку каштанового цвета. Я тоже сел в нее.

С шумом и криком мы понесли влево, в сторону главного пляжа, прошли перед скопившимися здесь толпами, а затем Весневич вернулся за дамами. Две из них отправились с ним. Третья осталась со мной и молодым итальянцем, который утром в машине сидел на переднем месте. Он, видно, чувствовал себя здесь как дома: вошел в зеленое строение у самой воды и выехал оттуда на двухместном водяном велосипеде, державшемся на трех плавниках. Мы попытались втроем взобраться на него. Велосипед под нами закачался, но мы не сдавались. Правда, недолго. Я первый свалился в море. Потом они. Мы снова взобрались на велосипед и после длительного балансирования снова очутились в воде.

Потом к нам присоединились Весневичи. Они тоже в конце концов со всего маху опрокидывались вместе с велосипедом. Сандра и ее кузина плавали отлично. На них были одинаковые чепчики, еще сильнее подчеркивавшие их сходство. Им и мне

удалось дольше всех удержаться на велосипеде. Мы ушли от берега на изрядное расстояние. Миновали зону отмелей. За ней открывалась картина воистину прекрасного моря — лазурного, прозрачного, как кристалл. Мы ринулись туда, хотя по-прежнему в качестве опоры под нами был велосипед, и поплыли дальше в этой более холодной, но зато чудесной воде. Нам стали кричать с берега, что уже пора обедать. Сандра и не Сандра поплыли напрямик. А мне еще нужно было пригнать велосипед. На половине дороги я взобрался на седло. Нажимать на педали в одиночку оказалось нелегко. Мне помог Весневич. Не выходя из воды, он подталкивал велосипед, я крутил педали, и так мы в конце концов добрались. На пляже никого уже не было. Мы поспешили на виллу, переоделись и быстро спустились в столовую, заняв наши места последними, Весневич — в конце стола. Мне же выпала честь — рядом с синьорой Кампилли.

Когда попадаешь в незнакомое общество, то вначале оно представляется единым целым, нерасчлененным, связанным между собой неведомыми путями. Но уже за столом мне перестало так казаться. Общество распалось на отдельных людей. Даже кухня стала менее похожа на Сандру, чем мне это показалось в машине и на пляже. Итальянец, который выволок велосипед, был ее мужем. Другая пара тоже состояла в браке. Эти были моложе Весневичей, а кухня и ее муж — в том же возрасте. Наиболее шумно держал себя Весневич. Он острил и, если его острота вызывала возражения или никто ей не смеялся, немедленно предлагал новую. Меньше всего обращали внимание на его остроты члены семьи; кажется, они уже не раз их слышали. Разве только, сочтя какую-нибудь шутку неуместной, они принимались громко его осуждать, и тогда их голоса заглушали все остальные.

За время всего обеда Весневич ни разу ко мне не обратился, не задал мне ни одного вопроса. Но он ко всему прислушивался. Смеясь и разговаривая со своими соседками, я заметил, что стоило кому-нибудь меня о чем-либо спросить — и он сразу бросал на меня молниеносный взгляд и поворачивал голову в мою сторону. Это помогало ему уловить мой ответ, несмотря на шум за столом. Он не комментировал мои слова в тех случаях, когда их принимали благосклонно или молча. Но если они вызывали хотя бы самое слабое возражение — вставал на мою защиту. Не всегда удачно, так как его насмешливый тон и резкие выражения только подливали масла в огонь. К счастью, присутствующие не особенно много занимались моей особой. А если уж занимались, то не столько разговором со мной, сколько моей тарелкой и рюмкой. В этом отношении первенство принадлежало синьору Кампилли. Но синьора Кампилли тоже не скупилась на знаки подобного внимания. Я охотно их принимал, тем более что еда и вино были превосходные и как небо от земли отличались от того,

чем меня кормили в «Ванде». К тому же я сильно проголодался после купания.

— А как дон Паоло? Ты застал его вчера?

— Застал. Все в порядке. Очень вам благодарен.

— Мне пришлось ему написать, что ты приехал из Польши. Вероятно, он был весьма удивлен. Правда?

— Пожалуй,— ответил я, немножко помедлив.

В конце концов, долго ли, коротко ли вертел он в пальцах визитную карточку Кампилли, все-таки пропуск в библиотеку мне выдал. Незачем было ставить ему в вину его нерешительность.

— Он был очень поражен?— нажимал на меня Кампилли.— Долго раздумывал?

— Кажется,— сказал я.

Синьора Кампилли сухо заметила:

— Это совершенно естественно по отношению к людям, приезжающим из Польши.

Тут вмешался Весневич:

— И пытающимся пробраться в царство ладана!

Кампилли поморщился. Его супруга пожала плечами. После секундного молчания тишину нарушила Сандра; она протянула медленно, в нос, голосом, совсем не напоминавшим ее красивый смех:

— Зачем ты так говоришь? Ты знаешь, что я этого не люблю.

Не дожидаясь, пока она кончит, Весневич засмеялся:

— Но все-таки жестоко направлять к Корси людей с такими просьбами. Сегодня он, наверное, лежит: заболел от страха.

Сандра:

— Он очень приличный человек.

— А какое это имеет отношение к предмету? Приличные люди всегда самые пугливые.

Кампилли поспешил с разъяснением:

— Никогда бы я не направил кого-либо в Ватиканскую библиотеку, не будучи вполне в нем уверен. Корси ни на мгновение не мог в этом усомниться. Но, разумеется, он был поражен.

Инцидент был исчерпан. За столом снова воцарился беззаботный шум. Я сидел лицом к большому окну, занимавшему половину стены. Глядя туда, я видел море и такое бесчисленное количество дрожащих, ярко светящихся чешуек, что пришлось отвести глаза. Сандра Весневич сидела по той же стороне стола, что и я. Нас разделял младший из итальянцев. Синьора Весневич время от времени наклонялась в мою сторону и дарила меня улыбкой либо обращалась ко мне с каким-либо пустым вопросом, например:

— Отец мне говорил, что вы поселились в пансионате пани Рогульской. Вы довольны?

— Да. Конечно.

- Она очень симпатичная. Вы не находите?
- Несомненно.
- Ее брат тоже очень мил. Вы не считаете?

Под влиянием недавнего купания, жары, вина я отвечал немножко сонно. Вмешался Весневич:

— Страшно скучные люди. Малинского, того, что живет у них, еще можно терпеть. Кстати, в последний раз на богослужении он сидел в одном конце церкви, а Козицкая в другом. Что-нибудь изменилось?

— То, что ты говоришь, отвратительно,—мягко возразила Сандра.

Несколько минут спустя она снова о чем-то меня спросила. У нее были очень красивые глаза. Продолговатые, чуть-чуть раскосые, карие. Я загляделся на нее, вдобавок становилось все жарче, и, отвечая ей, я так спутал времена глаголов, что она ничего не поняла. Муж вполголоса объяснил ей, что я имел в виду.

— Я ужасно говорю по-итальянски,—смутился я.

— Да что вы!—возразила Сандра.—Мне пришлось бы десять лет изучать польский, чтобы говорить так, как вы по-итальянски.

— Сто десять,—засмеялся Весневич. Тон его голоса был слегка иронический.

Синьора Кампилли дотронулась до моей рюмки. Она делала это время от времени, безмолвно спрашивая, не хочу ли я еще вина. На этот раз она подкрепила жест словами:

— Как ты находишь это вино? Твой отец очень его любил. Называется оно «Орвьето».

Синьор Кампилли с самого начала называл меня по имени. Синьора Кампилли впервые обратилась ко мне на «ты». Я покраснел.

Ее холодность в Риме огорчила меня. Сегодня она не была со мной холодна, но и отнюдь не ласкова. Она относилась ко мне как к нашалившему ребенку, которого теперь собирается простить.

— Благодарю вас,—сказал я.

Я протянул рюмку. Она ее наполнила. Еще некоторое время мы разговаривали об этом вине, о городке, по которому ему дали название и в котором я побывал проездом из Флоренции в Рим, и, наконец, об отце. Беседа наша длилась недолго, а содержание ее было довольно банальным, но, собственно говоря, в таком же тоне велся разговор в течение всего обеда, уже подходившего к концу. После кофе, который мы пили у окна, где стояли большие удобные кресла, супруги Кампилли ушли к себе наверх. Молодежь осталась. Мы по-прежнему разговаривали и шутили, но все более вяло. Мало-помалу сперва итальянки, потом итальянцы, а под конец и мы с Весневичем принялись листать иллюстрированные журналы. Целые груды их лежали на нижних полках столика, за которым мы пили кофе. С час мы лениво просматри-

вали журналы, а потом Весневич поднял нас. Мы снова пошли на пляж. На этот раз к нам присоединились супруги Кампилли в купальных халатах—он в желтом, она в розовом. Тут я узнал от нее, что они проводят в Остии не все лето. С середины августа переезжают в Абрुццы, у них там еще одна вилла. Дети Весневичей—я также знал их по фотографиям, которые Кампилли регулярно присылали отцу,—уже несколько недель находятся там. В Остии для них слишком жарко.

— Для меня тоже слишком жарко,—вмешался в разговор синьор Кампилли.—Но пока курия действует, то есть пока монсиньоры не разъедутся на воды и не начнутся большие вакации, я должен сидеть в Риме.

Мы троим шли медленнее, чем остальные.

— Ах да,—то ли он только теперь вспомнил об этом, то ли намеренно выбрал именно этот момент,—отец де Вос просил тебе передать, что завтра будет тебя ждать. Позвони ему с самого утра, чтобы уточнить время.

У меня забилося сердце.

— А что он думает о деле?

Кампилли остановился. Вытер платком пот с лица.

— Ничего не думает. На мой взгляд, он пока что пробует разобраться в том, что думают другие. И думают ли о нем вообще.

Увидев смущение на моем лице, он немного погоды добавил:

— Мы недолго разговаривали. Встретились вчера в Роте на консультативном заседании. Но в одном отношении я могу тебя успокоить: он твердо хочет тебе помочь.

Я не двигался с места. Он взял меня под руку и легонько потащил за собой.

— Я бы на твоём месте,—сказал он,—не падал духом.

Только-то! Я чувствовал, что больше он ничего не скажет. Жизненный опыт подсказывал ему, что надо придать мне бодрости именно в такой, а не в большей дозе. Быть может, даже не опыт, а инстинкт, регулировавший подобные вещи. И правильно. Но я сказал себе это только позднее, уже очутившись в воде. Я ожидал большего, поэтому в первый момент отпущенная мне доза показалась недостаточной и неопределенной. Однако она произвела действие. Нелепо было думать, что задачу можно решить с одного раза. Я все отчетливее понимал это. Завтрашний вызов к де Восу стал приобретать значение. И все большее значение после того, как я основательно это обдумал.



Отец де Вос на этот раз принял меня у себя. Молодой иезуит из дежурной комнаты, которому я доложил о себе, указал мне, где находятся лифты, и, видя, что я растерялся и не знаю,

куда идти, вышел из-за своего окошечка и проводил меня. Я поднялся на пятый этаж и снова заблудился. Довольно долго я блуждал по лабиринту бесконечных, ярко освещенных коридоров, пока наконец не очутился перед нужной дверью. На ней значился тот номер, который я искал. Я не сразу постучал. У меня сильно билось сердце, и я хотел сперва успокоиться. Дверь была окаймлена широкой дубовой рамой. Справа, на высоте замка, ее пересекало своеобразное устройство, состоящее из десятка кнопок и маленьких табличек. Дожидаясь, пока у меня пройдет сердцебиение, я принялся их разглядывать. На табличках за слюдяной пластинкой виднелись отдельные слова: библиотека, трапезная, часовня, терраса, аудитория, зал 1, зал 2, зал 3 и так далее. На последней, нижней табличке я прочел надпись: «У себя». Она слегка светилась. Кнопка возле нее была вдавлена. Я постучал.

Дверь приоткрылась. На пороге стоял отец де Вос. Увидев меня, он молча отступил в сторону, чтобы дать мне пройти. На этот раз он мне показался еще меньше ростом—возможно, потому, что комната, куда он меня ввел, была огромная, с высоким потолком. Заметив, что я не двигаюсь, он дотронулся до моего плеча, а потом указал на кресло, стоявшее в глубине, возле письменного стола. Я подошел к креслу, но не сел. Тем временем отец де Вос притворил дверь. Движения его были такие медленные и осторожные, словно он закрывал крышку драгоценной старинной шкатулки, а не самую обыкновенную дверь. Только теперь он поздоровался со мной—пожал мне руку, вернее, быстро к ней прикоснулся. И снова, не произнося ни слова, указал на кресло, приглашая сесть. Я сел. Тогда и он занял место за письменным столом.

Молчание тянулось несколько минут. Я должен был что-то сказать и чувствовал, что не могу начать с общепринятых, банальных фраз. От фигуры священника веяло важностью. Обиходные пустые слова его бы оттолкнули, следовало сразу приступить к делу. Проще всего было бы задать вопрос, имеющий прямое к нему отношение. А именно: что отец де Вос думает, составил ли уже мнение. Или что-то в этом роде. Мне не удавалось перехватить взгляд отца де Воса. Он смотрел в мою сторону, но глаза его были прикованы к моему плечу или к какой-то точке на стене позади меня.

— Я вам очень признателен за то, что вы пожелали вызвать меня,—сказал я наконец.

Он кивнул головой и ничего не ответил, видимо ожидая продолжения. Тогда я начал наобум:

— Побывав у вас, отец, я потом много размышлял о том, не пропустил ли я какого-либо существенного обстоятельства дела. Мне кажется, не пропустил. Но может быть, я ошибаюсь. В таком случае буду благодарен за любые вопросы.

— Спасибо. Я понимаю.

Снова тишина. Но более терпимая. Не столь безгранично пустая. Священник де Вос теперь перевел взгляд на письменный стол, заваленный книгами, тетрадами, листочками бумаги. Потом, словно желая навести порядок в своем сложном хозяйстве, он прикоснулся к одному предмету, к другому, причем так осторожно, как будто располагал их по местам с точностью, рассчитанной до миллиметра. В действительности он что-то искал. Найдя наконец нужный листок, он положил его перед собой так, как хотел — ровно и аккуратно, — и наклонился над ним.

В этот момент зазвонил телефон. Отец де Вос взял трубку. Он держал ее на большом расстоянии от уха. В трубке что-то быстро застрекотало. Продолжалось это довольно долго. Отец де Вос не шевелился. Я не отрываясь смотрел на его небольшую седую, красиво вылепленную голову. Если бы он не держал в руке трубку, могло бы показаться, что вот такой, как есть, усталый и вместе с тем внимательный, он выслушивает в исповедальной чьи-то признания. Наконец голос в телефоне замолк. Ждал. Священник де Вос ответил:

— Нет. Теперь не могу. Я занят.

Он положил трубку на место. Снова склонился над листком бумаги. Прежде чем он его изучил, вторично зазвонил телефон.

— Хорошо. Иду.

Отец де Вос извинился, что покинет меня на минутку. Я тоже встал, чтобы размять ноги. Но тут же почувствовал себя неловко оттого, что нахожусь один в комнате, а на столе лежит бумажка с заметками, вне сомнения касающимися моего дела. Я подошел к двери и выглянул в коридор. Отец де Вос медленно прохаживался там в обществе довольно рослого священника, и тот вполголоса что-то разъяснял внимательно слушавшему, слегка сутулящемуся де Восу. Я думал, что они исчезнут за поворотом, но, дойдя до конца коридора, они повернули назад. Когда они подошли ближе, я предложил отцу де Восу подождать его в коридоре, пока он у себя в комнате продолжит разговор со своим собеседником. Де Вос отказался.

— Зачем же. Пусть вас это не смущает. Пожалуйста.

Он отворил дверь. Я вернулся в комнату. Теперь я имел возможность разглядеть ее внимательнее. Справа, за занавесками, отгораживавшими целый угол, стояла железная кровать и рядом с ней — большой, вмурованный в стену умывальник. Занавески были раздвинуты посредине. У противоположной стены тоже висела занавеска, заслоняющая пюпитр со скамеечкой для молитв. Над ним дешевая литография с изображением какого-то святого, приколотая к стене кнопками, обтрепанная по краям, вся в пятнах. Чуть подальше двустворчатые книжные шкафы. И наконец окно. Я выглянул и увидел ту самую высоченную стену,

которую рассматривал из окон приемной, но здесь ландшафт был более широкий—ведь смотрел я теперь с верхнего этажа.

Терраса с висячим садом. Глядя снизу, я мог бы об этом только догадываться; теперь я стоял как раз напротив террасы и видел деревья, кусты, беседки, бюсты и маленькие, изящные фонтаны. Все это уместилось на крыше одного крыла дворца. Я недолго восхищался этим чудом архитектуры, так как возвратился отец де Вос.

Он еще раз просит его извинить и склоняется над листком. Я отхожу от окна, иду на свое прежнее место и мельком бросаю взгляд на листок. Безусловно, это вопросник. Я не уверен, касается ли он меня. Если да, то беседа может затянуться. Вопросник с виду очень подробный. Весь листок исписан бисерным почерком. Но быть может, это не вопросник, а, к примеру, выдержки из разговора со мной. Заметки, относящиеся еще к первой встрече, а вовсе не список вопросов, заготовленных впрок. Увидим. Священник де Вос складывает руки, словно для молитвы, и опускает их на свой листочек.

— Вы мне говорили, что ваш отец плохо себя чувствует,—начинает де Вос.—Меня это огорчило.

Я повторил то, что уже сказал во время первого посещения: отца мучают приступы астмы, особенно частые, когда он бывает утомлен или взволнован. Тогда ему трудно разговаривать, он становится раздражительным, напрягает голос, отчего его состояние еще больше ухудшается. Поэтому он и решился послать меня сюда. Рассказывая все это, я мысленно упрекал себя за то, что слишком обстоятельно отвечаю на вопрос, заданный из чистой вежливости. К тому же я не был уверен, правильно ли поступаю, не говоря священнику де Восу всей правды. Отец советовал мне ничего от него не скрывать. Однако у меня не хватило духу признаться, что астма, как она ему ни докучала, не удержала бы его от поездки. Унижения, ожидавшие отца в Риме, страшили его куда больше, чем приступы болезни. Священник де Вос выждал, пока я кончу, после чего задал следующий вопрос, тоже связанный со здоровьем отца. Из этого второго вопроса я понял, что священником де Восом движет нечто большее, чем светская любезность.

— Досадное недомогание для адвоката. Не мешает ли ему астма заниматься своей профессией?

— Отец не занимается своей профессией,—возразил я.—Епископ Гожелинский...

— Я уже слышал от вас об этом,—прервал меня священник де Вос.—Я хотел бы знать в принципе, может ли ваш отец выступать.

Меня ударило в пот.

— Конечно.

Священник де Вос продолжал спрашивать деловым, спокойным тоном:

— Таково ваше мнение или так считают врачи?

— Ни разу я не слышал от врачей даже намека на то, что отцу вредно выступать в суде или вести переговоры с клиентами.

— Понимаю.

Не расплетая рук, он передвинул их так, что приоткрылся листок. Наклонившись над ним, он сказал:

— Таким образом, если бы не конфликт с его преосвященством Гожелинским, ваш отец мог бы по-прежнему вести дела.

— Безусловно. Никогда раньше он не испытывал недомогания, о котором я упомянул. Я думаю, что приступы прекратились бы совершенно, если бы отец получил возможность работать и наконец перестал бы страдать.

Священник де Вос не отрывался от листка бумаги, лежавшего перед ним. Но он не читал его. С низкого кресла, на котором я сидел, мне хорошо было видно, что глаза священника устремлены в одну точку.

— Из ваших слов, сказанных во время нашей первой встречи, я сделал вывод, что ваш отец добивается моральной сатисфакции, для него это вопрос чести. А между тем, если я хорошо вас понял, он озабочен прежде всего своими конкретными интересами.

Я забеспокоился.

— И тем и другим.

— Ясно: Спасибо. Я понял.

В этот момент я расхрабрился и задал вопрос, касающийся непосредственно самого дела. Не знаю, впрочем, была ли это храбрость или просто я больше не мог выдержать неизвестности. Запинаясь, я спросил:

— Простите, как вы думаете? Все уладится?

— Вероятно, вы имеете в виду, все ли уладится так, как желательно вашему отцу?

Я не сводил глаз с его лица и заметил, что легкая гримаса искривила его рот, когда он поправил меня.

— Извините меня,—сказал я.

— За что?

— За мой вопрос. Я знаю, что он неправильный. Неуместный.

— Нет. Он объясняется вашей молодостью. И хорошо, что вы его задали, иначе вы ушли бы от меня с ощущением, будто не раскрыли передо мной сердца и не были со мной откровенны.

— Вы понимаете меня!

— Разумеется. Но на заданный вопрос я ответить не могу. Вашего отца постигло большое несчастье. Он лишился доверия своего епископа.

— Ведь можно доказать, что обвинения, которые епископ Гожелинский выдвигает против моего отца...

— Епископ Гожелинский не выдвигает против вашего отца никаких обвинений.

— Как это? — удивился я. — Ведь...

— Прошу меня не прерывать. Торунская курия ничего не писала в трибунал Священной Роты по поводу вашего отца. Из этого следует сделать вывод, что ваш отец не совершил никаких проступков, не нарушил ни одного постановления, ни одного правила; в противном случае декан трибунала, согласно соответствующим предписаниям, давно уже был бы об этом осведомлен. Зато неоспорим другой факт: епископ Гожелинский не питает к вашему отцу того доверия, которое необходимо таким людям, как ваш отец, чтобы заниматься своей профессией, столь тесно, столь нерасторжимо связанной с местной курией.

Я был весь мокрый от пота.

Должно ли это означать, что здесь, то есть в Риме, ничего не удастся уладить и все надо решать на месте, в Торунь?

Зазвонил телефон. Священник де Вос поднял трубку.

— Нет-нет! — сказал он. — Мы уже кончаем. Просто разговор наш несколько затянулся. Одну минуточку. — Он извинился и прикрыл трубку рукой. — Вы сейчас свободны? — обратился он ко мне.

— К вашим услугам, разумеется!

— Он сейчас свободен, — сообщил священник де Вос своему собеседнику. — Я сразу же его пошлю к вам, монсиньор. Он будет у вас через четверть часа. До свидания. До свидания.

Он положил трубку и дал мне следующие указания:

— Спуститесь, пожалуйста, сейчас же вниз. На площади стоят такси. Скажите, чтобы вас отвезли во дворец Канцеллерия. Там помещаются отделы Роты. Вы подниметесь на четвертый этаж к монсиньору Риго — заместителю декана этого трибунала. Я с ним разговаривал, так как синьор адвокат Кампили сказал мне, что вы собираетесь посетить монсиньора Риго. Что касается меня, то я, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Не могу даже дать оценки правовой стороны конфликта, поскольку, с точки зрения церковного права, между вашим отцом и его епископом нет конфликта. А теперь поторопитесь. Я-то сейчас располагаю своим временем, ведь в университете каникулы, но Рота еще работает. Поэтому воспользуйтесь тем, что у монсиньора Риго оказалась свободная минута, и извинитесь перед ним — я виноват, что так долго вас держал. Дольше, чем следовало.

Я склонился к его руке и поспешно вышел. В данный момент меня занимало только одно — как бы поскорее попасть в палатцу делла Канцеллерия; от пьяцца делла Пиллота это было далеко. Но когда такси пробилось сквозь последний затор автомашин на углу проспекта Виктора Эммануила и палатцу Канцеллерия, все подробности моего визита к священнику де Восу внезапно сложились в единую картину. Пожалуй, я не обольщался относи-

тельно позиции отца де Воса; он принял меня у себя, наверху, чтобы подсластить пилюлю, и перевел стрелку на официальные пути Роты, когда понял, что фундамент у моего дела шаткий. Все это было мне ясно. Ясно как день. Меня охватило чувство безнадежности. Однако ни на мгновение я не допускал мысли о том, чтобы не пойти к монсеньору Риго. Не знаю, как объяснить, но если уж человек впряжется, так продолжает тянуть лямку, даже если это безнадежно и бессмысленно.

IX

Я вошел в здание Роты. Швейцар указал мне, как попасть на четвертый этаж. В канцелярию вела огромная лестница с широкими и низкими ступеньками. Поднимаясь по ней, я прикасался к каменной балюстраде, за которой раскинулся великолепный двор. Балюстрада была холодная, меня так и тянуло прильнуть к ней всем телом. Беспокойства я не испытывал—во всяком случае, в гораздо меньшей степени, чем накануне первого визита к отцу де Восу. Мне только хотелось бы лучше подготовиться к встрече с монсеньором Риго, посоветоваться с Кампилли, как вести разговор, чего остерегаться, на что нажимать. Я мало возлагал надежд на предстоящую встречу. И вместе с тем у меня не выходило из головы, что из списка лиц, составленного отцом, остались только двое: священник де Вос и монсеньор Риго. Я уже знал, какой помощи можно ждать от первого. Если и от второго будет такой же толк, то неясно, что же мне еще остается делать в Риме.

Двор больше не был виден. Внутри здания лестница стала уже и с каждым этажом все круче. Наконец на светлой каменной стене появилась черная эбеновая дверь с большой медной табличкой «*Sacra Rota*»¹. Я позвонил. Безрезультатно. Снова позвонил. Никакого отклика. Я нажал ручку. Дверь была не заперта. Небольшой вестибюль. В нише за черным столом—служитель, благоговейно складывающий выпуски каких-то ватиканских изданий. Несколько черных кресел—жестких, без обивки. Стены голые. Пусто и по-больничному чисто.

Я сообщил служителю, что меня вызвали к монсеньору Риго. Ничего не ответив, он встал и пошел по одному из двух коридоров, которые вели из вестибюля. Он не спросил, как моя фамилия, вообще ничего не спросил, поэтому я последовал за ним. Тогда я услышал его голос—вежливый, но явно недовольный:

— Синьор, вы, кажется, у нас впервые.—В голосе звучало скорее сожаление, нежели упрек.—Ждать надо здесь.

¹ «Священная Рота» (итал.).

Он указал рукой на кресло, ушел и вскоре вернулся.

— Монсиньор просит вас к себе,—сказал он.—Третья комната направо.

Он подвинулся, чтобы пропустить меня, но, пока я не нашел нужной мне двери, не тронулся с места, наблюдая за каждым моим шагом. Я постучал:

— *Avanti!*¹

Я вошел в просторный, обитый зеленой материей кабинет, в котором всего было много—мебели, картин, канделябров и зеркал. Монсиньор Риго, массивный, с большим розовым лицом, лишенным каких-либо характерных черт, чуть тяжеловатого поднялся из-за стола. Приветствовал меня он мило. Проще говоря—обычно, естественно. В Риме меня так встречали впервые. Без всякой скованности или подчеркнутого радушия, за которым скрывалось холодное безразличие, и без того пристального, недоверчивого интереса, который всегда так раздражал меня.

— Будем говорить по-итальянски или по-французски, как вы предпочитаете?—первым делом спросил монсиньор Риго.—А может, по-латыни?

Он не шутил, а выяснял. Только в веселой, легкой манере.

— У меня нет опыта в разговорной речи на латыни, а жаль, потому что меньше всего ошибок я делаю в этом языке.

— Как приятно, что вы так хорошо знаете латынь. А откуда, если не секрет?

Я ответил, что отец, мечтавший, чтобы я унаследовал от него адвокатскую канцелярию, с давних пор обучал меня латыни по разным древним сборникам булл и документов.

— О боже!—вдохнул с усмешкой монсиньор Риго.—Они написаны самой худшей в мире латынью!

Он слегка отодвинулся от стола. Выпрямился. Потянулся. Во время разговора он проделывал это несколько раз. Можно было подумать, будто такими движениями он хочет хоть немножко вознаградить себя за то, что постоянно прикован к столу. В противоположность священнику де Восу он поминутно меня прерывал. Отчасти потому, что уже был знаком с делом, но прежде всего потому, что его интересовала не обстановка, не характеристики людей, а только юридическая сторона конфликта и уточнение ситуации с точки зрения права. Остальное для него не имело значения.

Первый раз он прервал меня, заметив, что я намереваюсь изложить всю историю с самого начала. Он выдвинул один из ящиков стола и достал оттуда печатный список адвокатов Сеньятуры и Роты—такой же экземпляр я видел у отца.

— Молодой человек,—сказал он.—Вот список адвокатов, правомочных выступать во всех церковных трибуналах и судах.

¹ Войдите! (*итал.*)

Начиная с высшего трибунала Сенъятуры и кончая низшими монастырскими судами. В этом списке значится фамилия вашего отца. На вашего отца не поступило никаких жалоб. Ничего такого не доходило ни до меня, ни до декана адвокатов Роты, то есть до единственно компетентных лиц в случае поступления упомянутых жалоб. И следовательно, с юридической точки зрения не существует никаких помех к тому, чтобы ваш отец выполнял свои обязанности.

Во второй раз он прервал меня, когда я заговорил о том, что состояние здоровья отца помешало ему приехать.

— Очень правильно сделал, что не приехал. Он доказал этим свою деликатность и понимание обстановки в курии. Не явился сюда в качестве пострадавшего, а скромно пытается через близких ему третьих лиц надлежащим образом восстановить пошатнувшееся положение.

В третий раз — когда, не ссылаясь на священника де Воса, я пробормотал несколько бессвязных фраз относительно того, что отец якобы утратил доверие епископа.

— Это случай неприятный, но, увы, не единичный. Не первый и не последний раз приходится мне вмешиваться в споры между епископами и нашей адвокатурой. Наши адвокаты пользуются известными привилегиями — я имею в виду прежде всего их право непосредственно сноситься с Римом, — а епископам это не по вкусу. Но покуда такие привилегии существуют, Рота обязана их защищать. И главное — ни в коем случае не допускать такого положения, когда на местах, пусть и на высокой в иерархическом смысле ступени, этих привилегий фактически не признают за теми, кто ими обладает. А что касается доверия, то достаточно того, что ваш отец как в профессиональном, так и в моральном отношении пользуется доверием Роты, в противном случае его фамилия не значилась бы в списке.

Монсиньор Риге четко формулировал свои мысли. Он высказывал их решительно и самоуверенно. Я слушал его со смешанным чувством. Сердце мое переполняла бурная радость, но вместе с тем меня пугало то, что он смотрит на вещи чересчур логически и потому чересчур односторонне. Теперь я в свою очередь позволил себе вторгнуться в ход его рассуждений, с дрожью в голосе напомнив о политическом аспекте дела.

— Политика? — удивился он. — А что же это такое? Ни церковное право, ни *lex pgroria*¹ Роты не знают такого понятия!

Широкоплечий, сильный, он снова распрямился. Взял список адвокатов и стал им обмахиваться.

— Я хочу, чтобы вы хорошенько меня поняли, мой молодой друг, — продолжал он. — Я не отрицаю большого значения и, если можно так выразиться, вездесущности некоторых политических

¹ Частное право (лат.).

соображений. Но я ими не занимаюсь, поскольку питаю доверие к различным органам курии, и прежде всего к статс-секретариату, и не сомневаюсь, что они зорко следят и в достаточной мере считаются с характером и весомостью этих соображений. Таким образом, по роду моей работы я не чувствую себя ни призванным, ни внутренне обязанным выступать с какими-либо политическими коррективами. В своей области я делаю то, что мне повелевает дух божий, ясно и вдохновенно взывающий ко мне со страниц кодекса церковного права и норм ведения судебного процесса Роты, торжественно утвержденных апостольской столицей.

Он говорил спокойно, слегка выделяя некоторые слова. А я, слушая его, то ежился, то вздрагивал так, словно он эти слова выкрикивал. Право может быть таким же слепым, как политика, и точно так же способно погубить человека. Поэтому меня пугало то, что он смотрит на дело отца исключительно с правовой точки зрения. Мне хотелось, чтобы он учел все побочные обстоятельства, взглянув на вопрос житейски, нормально, по-человечески. Я был уверен, что только тогда он сумеет дать совет и предугадать дальнейший ход событий.

— Простите за смелость, монсиньор,—прошептал я,—но поскольку вы сами упоминали об органах курии, в обязанности которых входит вмешательство в дела, приобретающие политический характер, то я не могу устоять перед желанием...

— Вас интересует отношение этих органов к вашему отцу?

— Да.

— Не будем этого касаться. И стало быть, обойдемся без домыслов и гипотез. Хорошо? До меня частным путем дошли слухи о том, что в результате каких-то недоразумений вашего отца, адвоката Роты, лишили возможности заниматься своей высокой профессией. Я известил об этом нашего декана, кардинала Травиа. Его преосвященство передал дело в мои руки, согласно со сферой моих полномочий. Узнав, что вы находитесь в Риме, я позволил себе пригласить вас сюда. Из ваших уст я получил авторитетное, исходящее из первоисточника подтверждение упомянутого факта. А именно что отец ваш лишен возможности заниматься своей профессией. Данное положение противоречит установленным правилам. Вот и все, что я знаю о деле. Ничего больше мне и не подобает знать, молодой человек. А теперь перейдем к выводам; вернее, не к выводам, раз вывод ясен и я вам уже сообщил, что отец ваш должен быть восстановлен в своей должности, а к вопросу о том, как навести порядок в этом деле.

— То есть?

— Епископ не жаловался нам на вашего отца. Ваш отец не жаловался нам на своего епископа. Мы можем только быть благодарны им за такую сдержанность и доказать нашу благодарность тем, что сами не станем преувеличивать значения конфлик-

та. Но вследствие этого, разумеется с точки зрения процедуры, вопрос становится довольно сложным. Мне кажется, что есть только один выход из положения: надо направить из Рима в торуньскую курию какое-нибудь дело с пометкой, что адвокат, ведущий процесс, назвал в качестве своего тамошнего представителя вашего отца.

Я ничего не понял, хотя имел некоторое представление о церковном праве и ведении процесса.

— Порядок довольно обычный. Предположим, что в Риме ведется какой-то процесс. Бракоразводный или любой другой. И к примеру, оказывается, что кого-то из свидетелей нужно допросить на месте, а именно в Торунь. Адвокат, который ведет процесс, является к нам, в наш трибунал, просит, чтобы мы дали соответствующее распоряжение курии, и одновременно сообщает, кого на территории данной епархии он избрал в качестве своего представителя. Мы даем распоряжение. Местного адвоката вызывают, и он вступает в свои права. Будем надеяться, что, один раз преодолев трудности, в дальнейшем уже...

При мысли о том, что возможно нечто подобное, при мысли о том, как жестоко страдает отец, я вскочил со стула и принялся бессвязно благодарить. Я благодарил тем горячее, что поначалу несправедливо судил о монсеньоре Риге, и теперь корил себя за это. Правда, конфликт между моим отцом и епископом он рассматривал только с юридической стороны. Для того чтобы найти выход из тупика, он тоже обращался только к правилам и процедуре. Но он умно и по-человечески был чувствителен к оттенкам моего дела.

— Сядьте же, молодой человек!— произнес он наконец, скорей приглядываясь ко мне, чем прислушиваясь к моим словам, да и то в некотором роде удивленно, даже разочарованно.— Я не оказываю вам никаких благодеяний, а просто информирую вас.

Я задумался и стал рассуждать вслух:

— Но вот какое дело можно было бы передать в Торунь? И кто? И чье?

— Что-нибудь, наверное, найдется. У вашего отца есть в адвокатских кругах верные друзья, не правда ли? Впрочем, это уже полностью переходит границы моей компетенции.

Он встал, и я встал. Высокий, грузный, он несколько раз крепко тряхнул мою руку.

— Мне кажется, будет полезно,— сказал он,— если ваш отец обратится ко мне с письмом, в котором точно, но со всем уважением к епископу изложит подоплеку и ход развития конфликта.

Я упомянул о мемориале.

— Ничего похожего!— обрушился на меня монсеньор.— Никаких официальных документов! Никаких донесений. Частное письмо, коротко и ясно излагающее суть дела для моего сведения.

Он добродушно улыбнулся.

— Вы-то уж наверное привезли от отца различные варианты писем или прошений. Выберите наиболее подходящее. Тут вам даст самый лучший совет друг вашего отца.

Он взял меня под руку и проводил до дверей. Уже в дверях он добавил:

— Письмо вашего отца можете сразу же мне передать. Что касается дальнейших шагов, то ждите, пожалуйста, моего сигнала. А за это время вы вместе со своими друзьями подберите материал, который Рота могла бы переслать в Торунь.

— А мой адрес? Вы знаете мой адрес, монсиньор?

— Да уж как-нибудь разыщу вас. Пусть вас это не беспокоит!

И, догадываясь по выражению моих глаз, что меня это все-таки беспокоит, монсиньор пояснил:

— Рим, молодой человек,— это маленький городок! Я имею в виду настоящий, истинный церковный Рим. Тот, по дорожкам и закоулкам которого вы бродите. И, как бывает в маленьких городках, здесь всё обо всех известно. Поэтому не бойтесь, что я потеряю ваш след в этом городке. И не проявляйте нетерпения, потому что, на мой взгляд, вся история очень простая и ее легко уладить.

В коридоре, в вестибюле, на лестничной клетке, во дворе я сдерживал себя, стараясь шагать медленно, с каменным выражением лица. Но, очутившись на площади перед дворцом Канчеллерия, я перестал притворяться спокойным. Если даже некоторые детали разговора были мне неясны, не вызывало сомнений, что монсиньор Риго решительно держит сторону моего отца. Сверх того, исход дела зависит от него, раз декан Роты поручил монсиньору заняться этим делом. И значит—мы победили! И значит—конец неприятностям!

Перед отъездом из Торунь мы с отцом составили род шифра, чтобы телеграфировать, как идут хлопоты. «Маленьким городком» был не только Рим, но и Торунь—понятно, в том же самом смысле. Мы изрядно помучились над нашим шифром, чтобы торуньская курия не смогла разгадать условных выражений, в случае если кто-либо доставит ей тексты моих телеграмм. Свернув на проспект Виктора Эммануила, я сразу попал на почту и составил телеграмму, извещающую отца о благосклонном отношении Роты к его делу.

Время близилось к часу дня. Мне уже надо было возвращаться к обеду в «Ванду». Но я так сиял от счастья, что мне показалось попросту неприличным предстать в подобном настроении перед невеселыми обитателями пансионата. Это было бы неделикатно по отношению к ним, да и легкомысленно, поскольку мои хлопоты, пусть и продвигающиеся весьма успешно, требуют соблюдения полнейшей тайны. Поняв это, я вдруг заметил, что нахожусь на площади Сан-Андреа делла Валле, обернулся и

увидел фронтон отеля «Борромини», любимого римского отеля моего отца. Ему было удобно останавливаться здесь, всего в двух кварталах от дворца Канцеллерия, где помещались оба апостольских трибунала, ради которых отец главным образом и приезжал. А кроме того, всюду вокруг находились папские учреждения, ведомства и архивы, не говоря уже о дворцах и апартаментах церковных сановников, с которыми отец поддерживал отношения. Я вошел в отель, поднялся в лифте на террасу, ту самую террасу ресторана, с которой связано столько воспоминаний, сел за столик, защищенный, как и все остальные, тентом с вьющимися растениями. Мне доставлял удовольствие вид зала, а в особенности радовало то обстоятельство, что еще вчера вид этот был бы мне неприятен. За столиками довольно заметно выделялись черные сутаны с фиолетовыми кантами или без кантов, их было немало, бросались в глаза и темные костюмы светского покроя. Глядя на них, я с радостью думал, что близится день, когда мой отец по-старому займет столик в этом ресторане, будет обсуждать и улаживать различные дела, вернув все свои давнишние права постоянного клиента отеля «Борромини» и вступив в свои обязанности. И я наконец избавлюсь от этого кошмара—говоря откровенно, воистину смехотворного, если бы не мучил он так моего отца.

Х

Заказав обед, я позвонил в пансионат и предупредил, чтобы меня не ждали. Потом набрал номер телефона адвоката Кампилли, но, еще до того как мне ответили, повесил трубку. Я звонил из гардеробной, где полно было людей, которым могли быть известны фамилии священника де Воса и монсиньора Риго. Следовательно, не стоило отсюда сообщать Кампилли о моих разговорах. И я позвонил с почты спустя два часа, так как помнил, что Кампилли спит после обеда.

За это время впечатления от обеих утренних встреч основательно перетасовались в моей голове; от священника де Воса я ушел полный сомнений, от монсиньора Риго—в приподнятом настроении. Мысленно восстанавливая картину первой и второй беседы, я по-прежнему прекрасно понимал, что добрых симптомов гораздо больше, чем дурных. По-прежнему мне было ясно, что ситуация складывается хорошо. Но понемногу я начал замечать в ней и темновые стороны. Они вырисовывались как из расхождений между высказываниями моих собеседников, так и из нескольких загадочных утверждений и пожеланий. По мнению священника де Воса, тот факт, что отец лишился доверия епископа Гожелинского, безнадежно усложнял дело. А монсиньора Риго факт этот тревожил не больше, чем песчинка, забивша-

яся в мотор. Нужно было лишь устранить песчинку, чтобы мотор продолжал работать.

Кроме того, я недоумевал, почему священник де Вос так подробно расспрашивал о состоянии здоровья моего отца, о том, сможет ли он или не сможет в случае чего вести дела. Я не усматривал также никакой логики в том, что монсиньор Риго пожелал получить письмо от отца. Если он считает, что никакого конфликта нет, то зачем нужно письмо? Если же он согласен с тем, что конфликт существует, то в таком случае ничего ведь нельзя исправить с помощью частного письма. Я твердо знал, что за требованием монсиньора не кроется ловушки. Но по временам с беспокойством думал, что требование это необдуманное и выказано опрометчиво, в соответствии с психологией людей, которые имеют право принимать решения и инстинктивно всякий раз должны компенсировать каким-либо условием свое согласие поддержать вашу просьбу. Условие подчас бывает случайным, нелепым—отсюда новые осложнения. Так по крайней мере вытекало из моего опыта.

Я глубоко ошибался! Узнав по телефону мой голос, Кампилли приветствовал меня с обычным радушием. Он обрадовался, услышав, что утром меня приняли оба—и священник де Вос, и монсиньор Риго. А когда я в двух словах изложил содержание бесед, он потребовал, чтобы я немедленно пришел. Итак, снова такси. Мы пробивались по проспекту Виктора Эммануила через затор машин. Наконец широкая виа делла Кончилиационе. Мой любимый купол собора святого Петра, колокол-гигант, вызывающий тишину. Объезд у ватиканских стен. Лакей в полосатой куртке. И наконец, широко раскрытые объятия Кампилли. Поздравления и рукопожатия.

— *Ci siamo! Bravo!*—Кампилли хлопал меня по плечу.—*Te l'ho fatta.*

Означало это: «Мы у цели! Bravo! Дело улажено!» Глаза у него блеснули. Широко растопырив пальцы, он всей рукой пригладил свои густые седоватые волосы. Он сгорал от любопытства и так жаждал подробностей, что мы уселись сразу, в первой же комнате—в приемной, а не в смежном с нею кабинете. Он подробнейшим образом расспрашивал меня обо всем. Для него все было важно: не только слова, сопровождавшие их жесты, интонации, но любые, казалось бы второстепенные, обстоятельства обеих встреч, и прежде всего—сколько времени они продолжались. Священник де Вос принял меня у себя наверху, и адвокат Кампилли расценил это как доказательство великой милости. В равной мере его растрогало то, что монсиньор Риго проводил меня до дверей, вдобавок взяв под руку. Я подумал было, что Кампилли пересаливает, но тут же отогнал эту мысль, так как понял, что он владеет несравненным искусством извлекать наружу истинный смысл слов обоих моих собеседников. Кампилли

быстро и безошибочно прояснял темные для меня места. Едва он проник в их подтекст, как мне пришлось согласиться, что он правильно оценивает аккомпанемент—все эти паузы и прочие мелочи, сопутствующие моим разговорам.

Уже по телефону я сказал Кампилли, что священник де Вос, собственно, ни о чем меня не спросил. Потом, когда мы стали подробно обсуждать мои встречи, я еще раз сказал ему об этом. Говоря «ни о чем», я имел в виду «ни о чем существенном». Между тем оказалось, что вопрос о здоровье моего отца был очень важным вопросом.

— Я думал, что он спрашивает из вежливости,—сказал я.

— Неправильно.

— А когда он начал на меня нажимать, допытываясь, сможет или не сможет отец при своей астме вести дела, я уж и не знал, что об этом думать.

— И что же ты ему ответил?

— Сможет! Потому что это соответствует истине. Однако я опасаясь, не дурно ли я поступил.

— Почему дурно?

— Священник де Вос, видимо, считает, что отец беспокоится о деньгах, то есть о материальной стороне.

— Ты прекрасно ответил: священник де Вос так и должен считать. Пойми! Борьба из-за денег, доходов, материальных благ—это человеческое дело. Зато борьба за самый принцип, за справедливость или за престиж есть проявление гордыни. Там, где речь идет о принципах, никто в церкви не может выиграть ни одного спора со своим начальником. А в области материальной это вполне возможно. Священник де Вос, как и монсиньор Риго, оба понимают, что твоему отцу нужны средства для существования и, даже имея на что жить, он вправе добиваться лучших материальных условий. На этой почве давай и будем двигаться, ибо она не заминирована.

— А проблема доверия?—спросил я.—Кто из них прав?

— Прав отец де Вос. К сожалению. И запомни, что я этого от тебя не скрываю. Но его аргументация—это аргументация столь высокого порядка, что для обсуждаемого нами случая она не имеет решающего значения. Таким образом, ты можешь без всяких опасений и с чистой совестью придерживаться указаний монсиньора Риго.

— А хороша ли и осуществима ли предложенная им комбинация, удастся ли послать через Роту задание торуньской курии и в качестве исполнителя назвать отца?

— Комбинация реальная. В случае чего лично я и моя канцелярия к твоим услугам. И мы всегда сможем провести эту комбинацию. Но я считаю, что другая была бы лучше. Я имею в виду такую, в которой участвовала бы исключительно Рота и которая была бы предпринята по ее инициативе. При первой же

возможности поговорю об этом с монсиньором Риго.

— А письмо? Зачем монсиньору Риго понадобилось письмо отца, если он-то как раз и считает, что никакого конфликта не существует? Вам не кажется подозрительным такое требование?

Синьор Кампилли покачал головой.

— Нет. Само по себе требование не вызывает тревоги. А цель? Святой боже! Если, несмотря на все, ему нужен документ в форме письма, значит, он хочет кому-то его показать. Кому? Своему декану либо лицу, возглавляющему другое ведомство. Для чего? Чтобы они одобрили его решение или разделили с ним ответственность. Точнее, чтобы они одобрили или разделили ответственность письменно. Потому что еще до разговора с тобой он, наверное, устно обсудил вопрос, с кем счел нужным. Таким образом, попросту говоря, письмо твоего отца ему нужно для того, чтобы уладить некоторые формальности.

— Монсиньор Риго подчеркнул, что письмо должно носить частный характер.

— Разница формальная, но смысл тот же самый. Если бы письмо было официальное, десятки людей имели бы право прочесть его, а так—только избранные. Ну что, я разъяснил тебе?

— Любопытно!—сказал я.

— Тебе, быть может, кажется несколько старомодным такой порядок выполнения служебных обязанностей. Иными словами, то, что вопрос одновременно рассматривается во многих планах. Но я как-никак вырос в этой атмосфере и считаю ситуацию вполне естественной и обычной. Признаюсь, что неожиданности и капризы такого порядка вещей по временам бывают невыносимы. Но тот, кто с ним сжился, не променял бы его ни на какой другой. При таком порядке ни одно дело не бывает заранее предрешено и окончательно утверждено так, чтобы не подлежать пересмотру. Человек никогда не может полностью быть в чем-то уверен, но зато его никогда не оставляют без тени надежды. Это прекрасно! Признайся!

— Но в моем конкретном случае?—воскликнул я.—Полная уверенность? Или только тень надежды?

— В данный момент ты можешь считать, что дело полностью и безоговорочно улажено. Я тебе это уже сказал и поздравил с успехом.

— В данный момент?

— Большого ты не можешь требовать! Неужели ты не чувствуешь, что дело выиграно?

Иногда я чувствовал, иногда нет. В отеле «Борромини» я не мог совладать с собой от радости, распиравшей мою грудь. Потом я поддался сомнениям. В начале нашего разговора адвокат Кампилли полностью их развеял. Затем повел себя так, что я снова заколебался. Но под конец, когда мы стали обсуждать

содержание письма монсиньору Риго, оптимизм вернулся ко мне. Письмо, видимо, получится великолепное — то есть убедительное и тактичное. Но пока что Кампилли не разрешал мне писать.

— Вечером в Остии я набросаю черновик, — сказал он. — А завтра мы еще раз все обсудим и закончим письмо.

— Быть может, вы захватите с собой мемориал, который я у вас оставил?

— Правильно. Ты тоже его перечитай. Пригодится. Но мы не станем перегружать письмо чрезмерным количеством подробностей.

— Монсиньор Риго настаивал, чтобы письмо было подробное.

— Так только говорится. Письмо не должно быть длинным. Совершенно достаточно, чтобы в нем было четко выражено отношение твоего отца к данному вопросу. Нам с тобой оно хорошо известно. Мемориал мне отлично все разъяснил. Таким образом, с твоей помощью и в соответствии с правдой я смогу изложить дело так, как нужно. Помнишь, что я тебе сказал, когда ты первый раз пришел ко мне? Я сказал, что, прежде чем мы начнем бороться за какую бы то ни было правду о твоём отце, надо узнать, что монсиньоры в Роте и не в Роте готовы считать правдой. Из того, что ты здесь рассказывал, мне совершенно ясно, что эта правда должна быть обыкновенной и простой. Такой, какая годится для человека без претензий, желающего только спокойно жить и честно зарабатывать себе на жизнь.

— На отношение отца к этому делу влияют и другие мотивы!

— Я догадываюсь. Пожалуй, ты мне даже говорил о них. Однако, пока ты находишься в Риме, постарайся о них забыть. Ты приехал сюда не затем, чтобы знакомить монсиньоров с психологией твоего отца, а только для того, чтобы выиграть его дело. Ты согласен?

— Согласен.

— А подпись твоего отца? Я полагаю, отец снабдил тебя чистыми бланками со своей подписью.

— Да. У меня есть его подпись и на служебном бланке, и на бланке для частных писем.

— Узнаю его! Он всегда был предусмотрительным и точным. И надо же было именно ему ввязаться в спор со своим епископом. Ведь он такой осторожный, тактичный!

— В котором часу я должен завтра прийти?

— В одиннадцать. Мы напишем и перепишем. Так, чтобы до часу дня ты успел передать письмо секретарю монсиньора Риго.

— Я несказанно благодарен вам за все.

— А как с пансионатом? Ты переехал в другой пансионат?

— Нет. По-прежнему сижу в «Ванде».

— Что тебе посоветовать? Спрошу у жены. Я что-то не могу вспомнить ни одного хорошего адреса.

Я попросил его не тревожиться, сказал, что охотно буду и

дальше жить в «Ванде». Кампилли возразил: из всего, что он слышал, можно сделать вывод, что пансионат очень бедный и скучный. Тогда я ответил, что именно по этой причине мне было бы неприятно съехать оттуда, доставив огорчение людям, которым живется так тяжело.

— Избыток деликатности! — поморщился Кампилли. — Не можешь же ты из-за своей чувствительности портить себе пребывание в Риме. Я не заглядываю ни в чей карман, но знаю от жены, что они в общем сводят концы с концами. У пани Рогульской есть кое-какой заработок — она лечит зубы в амбулатории, которую содержат монахини; ее брат зарабатывает на туризме, работая в разных церковных учреждениях, занимающихся организацией паломничества и экскурсий по Риму. Те же учреждения поставляют и клиентуру для «Ванды». Рогульская и Шумовский на очень хорошем счету в этих кругах, и можешь быть совершенно уверен, что им не дадут погибнуть с голоду.

— Ну хорошо, тогда я подумаю, — ответил я.

— А я разузнаю у жены про какой-нибудь пансионат получше.

Мы стали прощаться. Теперь, после того как он дал мне необходимые разъяснения и указания и не ломал голову над формулировками отца де Воса и монсиньора Риго, я особенно хорошо понял, что и для синьора Кампилли, для него лично, были выгодны вести, которые я принес. Когда я к нему явился, он поздравлял меня и радовался одержанным успехам, имея в виду прежде всего отца, а чуточку и меня. Под конец, размышляя о деле, он подумал и о себе. Еще раз обнял меня и сказал:

— Признаюсь тебе, что у меня камень с души свалился. Я ведь вращаюсь в мире, неизмеримо чувствительном к некоторым вещам. Чувствительном и памятливом. Но теперь на нашей стороне могучие силы. Никто не может поставить мне в упрек то, что я пришел вам на помощь, если от тебя не отвернулись ни на пьядца делла Пилотта, ни в палаццо делла Канчеллерия. Меня в самом деле это искренне радует.

Я возвратился в пансионат к самому ужину, потому что, уйдя от Кампилли, еще некоторое время бродил по городу. Доехал до собора in Laterano. Заглянул внутрь. Все там очень величественно. Потом осмотрел площадь. Ошеломленный впечатлениями дня, усталый, я старался ни о чем не думать. Шел медленно, с широко открытыми глазами, но как в полусне. Шел по длинной, душной, шумной улице Таранто, липкий от пота, покрытый пылью, но с таким легким сердцем, словно его обмыли и полоскали.

В пансионе пусто. Бразильцы отправились на юг. За столом только Рогульская, Шумовский, Козицкая и Малинский. Заметив, что Козицкая и Малинский сидят рядом, я вспомнил намеки Весневича. Любовная пара. Разница в возрасте огромная. Ему, должно быть, под шестьдесят, ей, пожалуй, лет тридцать. Вероятно, и такое бывает. Впрочем, независимо от

возраста, они, видимо, не очень подходят друг другу. Их дело. Но когда живешь рядом с такой парочкой, а в семье все знают об их отношениях, то это как-то неприятно раздражает. По крайней мере когда смотришь на них.

Разговор за столом самый обычный, вялый. Поддерживает его Малинский. Чаще всего он обращается ко мне:

— Что же это вы целый день не были дома?

— Да так получилось.

— Библиотека?

— Нет, сегодня там не был.

— Осматриваете город?

— Главным образом.

Шумовский:

— Что вы сегодня осматривали?

— Латеран. Ну и окрестности. Я отлично прогулялся.

— А у меня завтра снова экскурсия. Ирландская. Послезавтра возвращаются бразильцы. И так без перерыва. А мне хочется пойти с вами вдвоем и по-человечески вам что-то объяснить, показать.

Я:

— Успеется! От нас не убежит.

Малинский:

— А пока что вы на весь день убегаете из дому. Не удивительно. Комнатка, в которую вас теперь запихнули, страшно тесная.

Рогульская:

— Может быть, перевести вас в прежнюю комнату?

Козицкая, не слишком вежливым тоном:

— Да ведь сейчас только дядя сказал, что бразильцы возвращаются. Что же, перевести на одну ночь? Или как?

Я:

— Ну разумеется, не стоит. Комнатка очень милая. А если я мало ею пользуюсь, так это в порядке вещей. Каким же я был бы туристом, если бы сидел дома!

Малинский:

— Весь день на ногах, а аппетит, я вижу, у вас неважный. Или вам не по вкусу?

— Ну что вы! — запротестовал я. — Я слишком много ходил и устал.

Но правда была на стороне Малинского.

Я отодвинул на край тарелки в самом деле очень неаппетитные ракушки, поданные в виде приправы к макаронам, которые от этого стали для меня почти несъедобными.

Козицкая снова заговорила — сухо и к тому же с явным намеком:

— Мне очень неприятно, что наша пища вам не по вкусу. В Польше великолепная кухня!

Я пристально поглядел на Козицкую. Она встретила мой взгляд холодно, не опустив глаз. Так мы смотрели друг на друга несколько секунд. Инцидент замял Шумовский, пустившийся в пространные рассуждения относительно различных блюд итальянской кухни. При этом я узнал, что злосчастные ракушки, из-за которых все произошло, называются «vongole». Их-то, во всяком случае, я буду избегать.



Утром, за завтраком, обязательный в эту пору дня — Малинский. В аккуратно вычищенном костюме, благоухающий, тщательно выбритый. Чистая рубашка, воротничок накрахмален, но края потертые, как и у манжет. Костюм тоже поношенный. Бульдог, увидев меня, поднимает лай и заглушает первые приветственные фразы Малинского. В этот момент я решаю, по примеру некоторых других постояльцев, просить, чтобы мне подавали завтрак в комнату. Но после приветствий приходит очередь информации. Я слушаю со смешанным чувством. Во всяком случае, с любопытством.

— Не принимайте слишком близко к сердцу вчерашний выпад пани Иси.

— Пани Иси?

— Я имею в виду пани Козицкую.

— У меня к ней нет ни малейших претензий. Догадываюсь, что содержание пансионата — тяжелый и неблагодарный труд.

Малинский прерывает меня:

— Даже не в том дело. Но какое перед ней будущее? Конкуренция велика; иностранец, к тому же не специалист в данной области, не сможет тут чего-либо достигнуть. То есть добиться независимого положения. В первое время, сразу после войны, когда она приехала сюда из Германии, то надеялась, что ей удастся закончить образование. Ей тогда не было и двадцати лет. Сперва ее отхаживали. Вы представляете себе ее состояние после двух лет лагеря. С деньгами тогда было легче. Шумовский зарабатывал. Рогульская зарабатывала. Причем нормально, без всякой трепки нервов. Но времена эти кончились, когда польские воинские части ушли из Италии, а мы, поляки, на этой земле из категории победителей скатились в категорию эмигрантов. Теперь уж и думать не приходится, что пани Ися получит образование. У нас в пансионате дела идут то лучше, то хуже. Бывает и так, что приходится убирать и готовить без посторонней помощи. Не удивительно, что у пани Иси нервы развинтились. Особенно если мечтаешь о многом, строишь разные планы. Иногда это планы ближнего прицела, иногда дальнего, связанные с тем, чтобы бросить все к черту и уехать отсюда.

— Что вы говорите? — удивился я. — Уехать?

— Оставим это. Лучше не забегать вперед, чтобы не искушать судьбу. Особенно потому, что теперь шансы на отъезд слабые. По этой причине и раздражительность обостренная. Пример — вчерашнее настроение. Не удивляйтесь, пожалуйста, что я вмешиваюсь в чужие дела. Но я живу в пансионате с самого его основания. Мне жаль их всех. Пани Козицкую тоже. И я подумал, что вы вчера могли обидеться. Но, право, на некоторые вещи здесь надо смотреть сквозь пальцы и не придавать им значения. Поэтому я позволил себе посвятить вас в здешние трудности.

— Да я ни на минуту не был в обиде на пани Козицкую, — ответил я ему. — Однако я прекрасно понимаю ваши намерения. Вы все объяснили, спасибо. В случае чего это мне пригодится в будущем. То есть при следующих колкостях пани Козицкой.

Мы оба рассмеялись и встали. Бульдог снова залаял.

Малинский:

— В город?

— В город.

— Подвезти вас?

— Я не могу так злоупотреблять вашей любезностью.

— Я еду в сторону палаццо ди Джуститиа.

— А где это?

— Близ Ватикана.

— А я в библиотеку.

— Ватиканскую? Ну тогда вы злоупотребляете моей любезностью в очень скромном размере.

Он высадил меня у ворот святой Анны. Я подождал, пока его машина исчезнет за углом, и двинулся в сторону виллы Кампилли, которая находилась в нескольких сотнях шагов отсюда. Синьор Кампилли уже подготовил проект письма. Один экземпляр черновика он вручил мне, а с другим сел за письменный стол.

— Читай! — сказал он.

Я начал читать про себя.

— Нет! Вслух. Фразу за фразой.

После первой или второй паузы он изменил метод.

— Нет. Лучше ознакомься с письмом в целом, а потом мы прочитаем по фразам.

Содержание письма меня поразило. Суть даже не в его смиренном и слащавом тоне и не в подходе к особе епископа Гожелинского, которого Кампилли превратил в добряка, источающего святость и великодушие. Хуже было, что оценка самого конфликта тоже не соответствовала истине. Так, например, распоряжение епископа, данное им своей курии, приобретало превратный смысл. В изложении Кампилли все выглядело так, будто мой отец только догадывался о неблагоприятности епископа. Ни слова о запрещении. Вместо точной информации о

факте—жалоба: «Чувствую, что его преосвященство с неприязнью следит за моей работой». Место это вызвало у меня опасения. В письме не было никаких просьб, никаких пожеланий. В одной-единственной короткой фразе оно выражало сожаление. Будь я монсиньором Риго, то, прочитав такое письмо, пожал бы плечами. Чем же он мог помочь моему отцу победить неприязнь епископа? Предоставить дело течению времени, веря, что все постепенно образуется. Ничего больше.

— Ты кончил?

— Да.

— Ну а теперь с самого начала, по фразам.

Я читал, останавливаясь после каждой точки. Он повторял фразу вслед за мной. Потом секунда тишины, размышления и вопрос, а скорее подтверждение с его стороны:

— Это правильно.

— Да,—отзывался я.

Таким путем мы дошли до центрального места, то есть до той фразы, которая мне не нравилась. Не дожидаясь, пока он одобрит ее, я высказал свои сомнения.

— Ты не прав,—возразил Кампилли.—В письме ни в коем случае не должно быть слова «запрет».

— Но я уже пользовался им в разговоре с монсиньором Риго и представил дело в истинном свете. Епископ издал запрет, и отца не пускают на порог курии, монсиньор это знает. Ведь нельзя же, чтобы устная версия расходилась с письменной!

— Должна расходиться!—с многозначительным видом возразил Кампилли.—Ты сообщил монсиньору Риго, каково положение в действительности, и это в порядке вещей. Но в письме нам нельзя так писать. Это сразу направит дело по ложному пути. Процессуальному. Правовому. Пойми же наконец, что верующий, католик, может жаловаться на обхождение, на холодность своего епископа, на то, что он его не понимает, но ни в коем случае не на какой-либо его поступок. Жаловаться на поступок, да еще на поступок епископа,—очень опасно, это дерзость!

— Однако в действительности, то есть фактически...

— Но не формально!—прервал меня Кампилли.—Не на бумаге! Для тебя это, быть может, условное различие, но в том мире, с которым ты имеешь дело, к написанному слову относятся с величайшей осмотрительностью, признавая между написанным и устным словом почти то же самое различие, что между действием и помыслом.

Мы закончили чтение. Прав он или не прав, установить было невозможно. Однако, несомненно, он обладал опытом. Следовательно, я должен был ему доверять. Кроме того, после всего им сказанного некоторые фразы при повторном чтении уже не резали мой слух. Тон письма был смиренный—да, смиренный, но вместе с тем достойный и внушающий уважение.

— Письмо в целом кажется мне очень хорошим,—признался я.

— В целом—этого мало. Важнее всего отдельные фразы. Мне известна техника чтения в курии. Мы ее здесь применили. Будем надеяться, что с пользой.

Мы выбрали самый подходящий из принесенных мною бланков с подписью отца. Выбор был большой, на некоторых подпись стояла внизу, на других—с оборотной стороны, посередине или тоже внизу. Кампилли сел за машинку и сам все перепечатал. Еще раз перечитал. Аккуратно внес мелкие исправления пером. Затем написал адрес на конверте. Все это он проделывал старательно, осторожно, с серьезным видом. Я тем временем наблюдал за ним молча, чтобы не помешать. Как и отец, он за работой то надевал, то снимал очки. Меня это очень растрогало—я был благодарен ему за доброту и отзывчивость. Когда все было готово, я потянулся за письмом.

— Сразу же отнесу,—сказал я.

— Конечно. Но прежде—рюмочку вермута. Мы с тобой ее заслужили!

— В таком случае я не стану пить. Я не приложил никакого труда к этому письму.

— Ничего подобного! Ты возражал. В нашем мирке за такой труд тебе причитается двойная порция!

Мы оба засмеялись. Сеньор Кампилли позвонил лакею и распорядился принести лед и кофе. Затем достал из шкафчика бутылку. Все время он говорил без умолку:

— Ты отнесешь письмо. Оставишь его в секретариате монсиньора Риго. Полагаю, что через день, самое большое через два монсиньор даст тебе сигнал. Скорей всего, через меня. Мы видимся регулярно два раза в неделю, согласно с расписанием аудиенций. Я за это время разузнаю, нет ли у кого-нибудь из моих коллег поручений, связанных с Торунью. Либо выжму что-либо из собственной канцелярии. За этим дело не станет!

— А я пока что должен ждать звонка от вас или из секретариата монсиньора Риго. Правильно?

— Вот именно! Да, чуть не забыл!—воскликнул Кампилли, разводя руками.—Приношу тысячу извинений. Мы с женой как раз обсудили этот вопрос: почему бы тебе не поселиться у нас? Дом пустой, Ватиканская библиотека в двух шагах, каждодневный контакт между нами! Все говорит в пользу нашего плана, уж не считая того, что мне приятно оказать тебе гостеприимство.

В этот момент лакей внес поднос с рюмками, льдом и кофе. Он довольно долго их расставлял и наконец ушел.

— Мне не хотелось бы причинять вам беспокойство,—сказал я.—Право, вы слишком добры.

— Чепуха. Дом стоит пустой. Ты у нас поселишься.

Я полез в карман за деньгами, которые в свое время дал мне

Кампилли. Они по-прежнему лежали в том самом конверте, в котором он мне их вручил,— правда, не все, потому что какую-то часть я уже истратил. Кампилли возмущился, поняв, что я собираюсь их ему возвратить.

— Ты шутишь!— воскликнул он.— Что с того, если ты теперь не будешь платить за квартиру? Деньги тебе понадобятся. Хотя бы на еду. Ведь, кроме первого завтрака, тебе придется столоваться в городе. Так же, впрочем, как и мне, потому что кухарка вместе с моей женой в Остии.

— Поверьте, я и в самом деле не знаю, как мне вас благодарить!

— Пустяки! Совершенные пустяки.— Помолчав, он добавил другим голосом, немножко встревоженно:— У меня только одна просьба. Или, вернее, совет. Я не касаюсь того, был ли ты в прошлое воскресенье на мессе. В будущем лучше не пропускай! В особенности пока живешь у нас. Ты мне обещаешь?

— Со всей охотой!

— Отлично. А теперь еще одна мелочь: не рассказывай в своем пансионате, что переезжаешь к нам. Пани Рогульская и пан Шумовский люди очень почтенные, однако мы не поддерживаем с ними светских отношений. Тем более с пани Козицкой или паном Малинским. Понятно, что они немножко косятся на мою жену. Для чего раздражать их еще и тем, что двери нашего дома раскрылись перед тобой, едва ты очутился на римской земле. Эмигрантская судьба очень печальна. Комплексы! Обиды! Оскорбленное самолюбие! Моя жена поляка, мой зять поляк—это верно. Не можем же мы, однако, допустить, чтобы нам на голову свалился весь этот мир обездоленных. Увы!

Он проводил меня до калитки.

— Заплати им за несколько дней вперед. Скажем, за три дня. И возвращайся сюда к пяти. Я помогу тебе здесь расположиться. Письмо ты взял?

— Взял.

— Ну, теперь поспеши в Роту.

Полчаса спустя, уже не стучась, помня, что эбеновые двери Роты в палатце Канцеллерия открыты, я нажал красивую, медную, до блеска натертую дверную ручку. Тот же самый служитель точно так же сосредоточенно вкладывал в большие конверты синие выпуски каких-то изданий. Он поднял голову, поглядел на меня и сразу узнал.

— Монсиньор уже ушел,— сообщил он и вернулся к своему занятию.

— Я с письмом.

— Положите, пожалуйста, сюда.— Он дотронулся до конвертов, лежавших на столе, за которым он работал.— Я передам.

— Я хотел бы отдать письмо секретарю монсиньора. Мне так сказано.

— В таком случае,—он мотнул головой, указывая через плечо,—первая дверь налево.

XII

Меня принял невысокий молодой священник. Отвечая на мое приветствие, он встал из-за стола, заваленного папками. Должно быть, священник был близорук. Его глаза за сильными толстыми стеклами производили странное впечатление: они казались огромными и слегка деформированными. Когда я подошел поближе и он смог убедиться в том, что меня не знает, священник сел. Я протянул ему письмо.

— Монсеньору Риго,—сказал я и добавил: — В собственные руки.

Он поднес конверт к глазам и проверил фамилию. Кажется, мое замечание задело его.

— Письма, адресованные монсеньору Риго,—пояснил он,—попадают к монсеньору Риго.—Потом он спросил: — Вам угодно в связи с письмом выразить еще какие-либо пожелания?

— Нет, больше ничего,—ответил я.

— В таком случае—все.

Я вышел из комнаты. Сбежал по лестнице. На втором этаже я остановился. Опершись на балюстраду, я поглядел на широко раскинувшийся монументальный внутренний двор. Сегодня ничто мне не мешало им восхищаться—ни страх, угнетавший меня вчера, когда я шел к монсеньору Риго, ни радость, заполнившая меня, когда я от него возвращался. Мощь и гармония двора, этого шедевра эпохи Возрождения, теперь целиком захватили меня. Я нагнулся еще ниже. Двор был заставлен автомашинами. Те, что поменьше,—светлые, серые, а побольше—черные. Первыми пользовались лица светского звания, вторыми—духовенство, вернее, различные сановники курии и важные прелаты. Как раз из такой большой длинной черной машины вышел монсеньор Риго. Я сразу его узнал и оторвался от балюстрады, чтобы не стоять спиной к лестнице, которая вела в канцелярии Роты. Но монсеньор направился в угол двора к небольшой двери и отворил своим ключом. Там находился очень маленький лифт; вероятно, лифт большего размера нельзя было вмонтировать в стену ввиду технических трудностей или архитектурной ценности здания. Увидев монсеньора Риго, я обрадовался. Его секретарь произвел на меня впечатление человека, способного растеряться от обилия бумаг, особенно если вспомнить, как был завален папками и документами стол, куда он бросил мое письмо. Теперь я был уверен, что он не успеет забыть о нем и передаст монсеньору.

В пансионате я не застал ни пани Рогульской, ни пана Шумовского. Горничная сказала мне, что синьора Рогульская два раза в неделю ездит за город в амбулаторию, которую содержат

какие-то монахини, и возвращается оттуда поздно вечером. Как раз сегодня ее нет. Синьор Шумовский обедал вместе с экскурсантами и должен вернуться только после пяти. Хочешь не хочешь, а пришлось пройти на кухню к пани Козицкой — сказать ей, что я отказываюсь от комнаты. Она внимательно выслушала меня, глядя мне прямо в лицо своими холодными голубыми глазами.

— Я работаю в Ватиканской библиотеке, — добавил я, запинаясь, — отсюда мне очень далеко.

— Разве я прошу у вас объяснения?

— Я условился с вашей тетушкой, что проживу дольше. А теперь так внезапно переезжаю. Мне хотелось бы заплатить за несколько дней вперед, чтобы возместить расходы...

— Вы нам ничего не должны, — прервала она меня.

— Вам не трудно будет передать пани Рогульской и пану Шумовскому, что я с сожалением покидаю «Ванду», где мне жилось очень хорошо, и приветствовать их от моего имени?

— Как вам угодно.

Она снова занялась салатом, который готовила к обеду, бросив мне еще через плечо:

— Насколько я помню, вы заплатили больше, чем следует. Счет я пришлю вам в комнату. Вы будете обедать?

— Да.

За обедом — искусственная, мучительная атмосфера. Я, Малинский, Козицкая. Она, кажется, не сообщила ему о нашем разговоре. Она сидела насупившись, сердито морща лоб. Я односложно отвечал на пустые вопросы Малинского: «Как дела?», «Ну и как вы переносите жару?». Наконец:

— Правда, в библиотеке вам прохладней.

— Я сегодня не был в библиотеке.

— Как не были? Я сам вас отвез.

Я совершенно забыл об этом. И о том, что утром солгал ему. Я покраснел. Козицкая отвела глаза от тарелки и устремила на меня слегка презрительный и иронический взгляд. Желая оправдаться, я сказал, что провел утро в ватиканских музеях. После обеда я сложил вещи и постучался к Малинскому. Нужно было с ним проститься. Он всегда был со мной так любезен. Малинский отворил дверь — и не сразу:

— Что случилось? Чем вызван ваш внезапный отъезд?

Теперь он уже знал. Я повторил то, что уже сказал Козицкой. Но он этим не удовольствовался. Сыпал подряд вопросами: «Что за внезапное решение! Убегаете?» Ну и прежде всего: «Куда?» И разумеется: «Адрес?»

Я не был готов к столь сильной атаке и пробормотал, что в данный момент переезжаю в маленькую гостиницу близ Ватикана, где мне обещали подыскать дешевый пансионат. И следовательно, нет смысла оставлять адрес — ведь это всего на несколько дней. Как только я где-нибудь прочно устроюсь — позвоню. И так далее

и так далее. Но на этом не кончилось. Он пожелал меня подвезти. Я решительно отказался, сказав, что из гостиницы пришлют за мной машину.

— Не такая уж жалкая ваша гостиница, если рассылает машины за клиентами!

— Я в этом не разбираюсь. Во всяком случае, она дешевая.

Весь этот разговор происходил в дверях. Мне хотелось поскорее его закончить, и я схватил руку Малинского.

— Может, все-таки войдете на минутку?

— Увы. Сейчас за мной приедут. Сердечно вас за все благодарю.

Наконец я вырвался. Теперь еще Козицкая! Тоже необходимая формальность и тоже, хотя и по другим причинам, не предвещающая ничего хорошего. На кухне мне сказали, что я найду Козицкую в комнате тетки. Дверь в эту комнату была приоткрыта, и я заглянул туда. Козицкая сидела на узкой тахте, пододвинутой к окну. Вероятно, она спала на ней, с тех пор как я занял ее комнату. К тахте был придвинут столик. На столике лежали тетрадь и книжка, из которой Козицкая делала какие-то выписки. Видимо, она что-то изучала. Разумеется! Я кашлянул. Она вздрогнула. А потом встала и подошла к двери.

— Ах, это вы?—сказала она.—Уже уходите? Ну, тогда до свидания!

Сильно, по-мужски, схватив мою руку, так что ладонь вплотную прильнула к ладони, Козицкая несколько раз тряхнула ею. Подобную перемену по отношению ко мне я приписал влиянию умственного труда, который действовал на нее успокоительно, в отличие от занятий по хозяйству, выводивших ее из равновесия. Я грубо ошибся. Вот что я услышал:

— Поздравляю, вы очень чувствительны. Если я правильно угадала, вас обидели мои вчерашние замечания за ужином. Надеюсь, что у всех вас в Польше теперь так развито чувство достоинства. В вашем положении это самым лучшим образом свидетельствует в вашу пользу.

Я стремительно вырвал руку.

— Что за чушь!—воскликнул я.

В ответ она с размаху захлопнула дверь. Прощание вышло неудачное. Я вернулся в комнату за чемоданом и без дальнейших промедлений выбежал на улицу. Мне не хотелось, чтобы Малинский вдобавок ко всему еще и убедился в том, что за мной никто не приехал. Стараясь, чтобы меня не увидели из окон пансионата, я почти впритирку к стенам домов дошел до площади Фьорелли, где была стоянка такси. До пяти я просидел в какой-то таверне, совсем рядом с тем рестораном, где я обедал на второй день моего пребывания в Риме, после того как передал письмо синьору Кампилли.

Я остановился перед калиткой виллы, мокрый от жары и

оттого, что нес чемодан. Я позвонил и, услышав скрип механизма, открывающего калитку, толкнул ее. В дверях появился лакей, который поспешил взять мой чемодан. Кампилли пришел за мной в холл.

— Привет!—воскликнул он.—Пусть тебе хорошо и спокойно живется под нашей крышей.

Затем мы поднялись на второй этаж в предназначенную мне комнату—огромную, высокую, со старомодной большой кроватью. Стены увешаны гравюрами с изображением римских руин и главнейших церквей города. Вид из окон замечательный. Я в восхищении переходил от окна к окну. Из одного я увидел вырисовывающийся в отдалении на фоне неба последний ярус купола собора святого Петра. Из двух окон в другом конце комнаты—целые километры разметавшегося пространства, заполненного холмами, парками и островками домов, стоявших почти вплотную.

— Какая красота!—сказал я.—Восхитительно!

— А тебе не будет здесь одиноко?—спросил Кампилли.—Я чаще всего езжу ночевать в Остию. Что ты будешь делать по вечерам?

— Найду себе занятие! Погуляю по городу, почитаю.

— В таком случае я тебе покажу библиотеку. Она в твоём распоряжении.

Прежде чем проводить меня туда, Кампилли сообщил, что рядом с моей комнатой находится отведенная для меня ванная. Он показал мне ее. Меня удивило, что она такая большая. Кампилли объяснил, что раньше здесь была жилая комната, которую он велел перестроить. Мы спустились вниз, прошли через холл, а затем через гостиную, обитую золотисто-голубой материей, где несколько дней назад синьора Кампилли угощала меня чаем. За этой гостиной была библиотека. В ней царил полумрак. Кампилли поднял жалюзи над одним из окон, и стало немножко светлее. Но еще до этого я успел разглядеть, что библиотека превосходит по размерам гостиную. Она была заставлена высокими палисандровыми застекленными шкафами. Все в них блестело и сверкало: красное дерево, стекло, медная арматура и ключи, позолота переплетов. Так же блестела и сверкала большая витрина, стоявшая в нише между двумя шкафами. В тени оставались лишь портреты, висевшие на стенах. На двух самых больших были изображены мужчины в придворных костюмах. Оказалось, что это отец и дед Кампилли, тоже консistorиальные адвокаты, занимавшие, кроме того, какие-то высокие должности в Ватикане. Отсюда их пышный наряд.

Посредине зала стоял большой стол. И всюду у окон тоже столики и консоли. А на всех них тьма фотографий, вставленных в рамки из красного дерева или серебра. Синьор Кампилли наконец перевел взор с портретов на фотографии, взял одну из

них и протянул мне. Это был большой групповой снимок — типичный и традиционный: молодежь и профессора, собравшиеся по случаю какого-то торжества. Этот снимок отличался от других тем, что и преподаватели и учащиеся по большей части были облачены в духовные одежды, то есть в сутаны или в рясы.

— Тысяча девятьсот двадцать седьмой год! «Аполлинаре»! — сказал Кампилли. — Приглядишься. На этом снимке есть твой отец. Что? Нашел?

Он потянулся за лежавшей на столе лупой. Большая, тяжелая, в солидной эбеновой оправе. Но я и без помощи стекла нашел отца. Он стоял в последнем ряду. Прямой, серьезный. Я взял лупу. Маленькая голова стала теперь большой и выразительной, вынырнула из толпы мне навстречу. Я вспомнил в этот момент о телеграмме, которую послал отцу, чтобы успокоить его, и поднес еще ближе к глазам фотографию. Она дрожала, потому что у меня дрожала рука. Я улыбнулся отцу. Напрасно у него такое серьезное выражение лица.

— А это священник де Вос. Узнаешь?

— Он нисколько не изменился! — воскликнул я.

— А вот наш тогдашний ректор Чельсо Травиа, нынешний кардинал и декан Роты. А рядом монсиньор Риго.

— Быть не может! Какой худой!

— Да, он действительно немножко растолстел с тех пор. Что ж, склонность к тучности. Сидячий образ жизни.

Затем Кампилли подвел меня к витрине, стоявшей в нише. Над витриной большая цветная фотография папы с надписью — благословением для супругов Кампилли. В витрине — раскрытая тетрадь с тщательно выписанным стихотворением. А кроме тетради — молитвенник, карманные часы, перо, несколько карандашей и раскрытый на титульной странице экземпляр «О подражании Христу» Фомы Кимпийского. На середине страницы — дарственная надпись. Почерк неразборчивый. Только подписано четко: «Любящий Анджей». И дата: «10 июня 1917».

— За месяц до его мученической смерти, — сказал Кампилли.

Ему уже нужно было уходить. Он опустил поднятые жалюзи. Мы вернулись через гостиную в холл, Кампилли еще раз в сердечных, изысканных выражениях пожелал мне чувствовать себя здесь как дома, затем позвонил лакею, дал ему соответственные указания, касающиеся завтраков для меня, и ключи, после чего велел вывести машину из гаража. Я проводил его до калитки. Кампилли сел за руль. Тронулся. А мы, лакей и я, еще некоторое время смотрели, как он маневрирует, объезжая автобусы, набитые экскурсантами, кружащими по небольшому апостольскому государству, укрывшемуся за высокими каменными стенами.

В Ватиканской библиотеке меня ждали документы, которые я заказал по каталогу отдела архивов. Ждали с понедельника, а уже была среда. Поэтому я счел необходимым как-то оправдаться и сказал, что мне помешали прийти сюда срочные дела. После чего взял документы и отнес на мой стол. Документов было пять. Все они датировались XIV веком. С каждого свисала печать; ее оберегали от порчи металлические ободки той же эпохи. Несмотря на эти меры, воск печатей не всюду уцелел. Я огорчился: ведь меня интересовало не содержание документов, а именно печати.

Однако сперва я проглядел самые документы. Передо мною лежало пять судебных решений Роты. Два касались аннуляции¹, в третьем речь шла о диспенсации², четвертое и пятое были посвящены бенефициям³. Даты были отчетливо видны: 1330-й, 1335-й, 1337-й и дважды 1350 год. Подписи аудиторов занимали много места. Я принялся их подсчитывать. На одном документе насчитал более двадцати. На остальных подписей было меньше, и все-таки не меньше двадцати. Установив это, я не совершил никакого открытия. Из научной литературы известно, что в авиньонские времена число аудиторов, то есть судий в папских трибуналах, было очень велико. У кардинала Эрле это не вызывало сомнений.

Он не рассчитал лишь, что при таком количестве судий вращающийся ротационный пюпитр с подвижной верхней частью, состоящей из покатых стенок, называемых «rodetae», на которых размещали папки с делами, должен иметь гигантские размеры. И значит, от него было бы гораздо больше беспокойства, чем пользы. Если даже из найденного кардиналом счета следовало, будто папский двор в Авиньоне заказал для себя подобного рода вращающийся пюпитр и по тем временам пюпитр стоил дорого, то кто же мог поручиться, что его заказали именно для суда? Если же согласиться с мнением кардинала, то кто же опять-таки мог поручиться, что этот неудобный гигант стоял в зале суда, и к тому же простоял там так долго, что его название, рота, присвоили суду, как это пытался доказать кардинал Эрле?

Я восстановил в памяти аргументацию кардинала, она не казалась мне убедительной. Силезский документ — а вернее, не так самый документ, как его печать, — подсказывал мне другое решение. Но одной печати мало, не говоря о том, что она очень позднего происхождения. Теперь передо мной лежало пять печатей. Это уже было нечто внушительное, позволяющее строить

¹ Объявление недействительным какого-либо акта, договора или прав.

² Освобождение от соблюдения некоторых правил или постановлений.

³ В римско-католической церкви должность, связанная с определенными доходами.

научную гипотезу. Тем более что все печати относились к решающему для моей гипотезы периоду, к той эпохе, когда один из папских трибуналов стали называть трибуналом Роты.

Я склонился над первой из печатей. К сожалению, ее центральная часть, от которой зависела судьба моего открытия, не сохранилась. Что же касается начертания надписи, то, напротив, я имел возможность восхищаться и отличным состоянием литер, и их классической, типичной для XIV века формой. Строгой и красивой. Медленно вращая в руках печать, я прочитал название трибунала: «*Sacri Palatii*»; слова «рота» в нем еще не было. Наукой о печатях я специально не занимался, но в Кракове, где я учился, было несколько выдающихся сфрагистов. Как раз тот самый мой знакомый, который рекомендовал мне остановиться в пансионе «Ванда», избрал своей специальностью эту вспомогательную историческую дисциплину. Мы вместе посещали лекции и практические занятия по сфрагистике. Таким образом я немножко усвоил ее методы, полностью оценив силу света, который наука эта может проливать на загадочные страницы истории, хотя и считал, что такие удачи случаются весьма редко. Но как раз в моем случае я мог надеяться, что сфрагистика расщедритсЯ и даст необходимый толчок моим исследованиям, прольет на них свой яркий свет.

В центре второй печати — хорошо сохранившаяся эмблема. Две четкие фигуры — мужчина и женщина, окруженные сиянием. Это покровители трибунала — святая Катерина и святой Августин. Я достаточно нагляделся на них — у отца хранилось много иконографических материалов — и сразу узнал святую из Александрии и святого епископа, обратившего в христианскую веру Англию. Третья печать подобного же рода, и остальные тоже. По-прежнему те же две фигуры святых, иногда лучше, иногда хуже сохранившиеся. В надписях, окаймляющих эмблемы, тоже ничего нового. Зато на последней печати — след тайны, которую я пытался раскрыть. Увы, только след, потому что воск на середине печати сохранился лишь частично. Однако было ясно, что, помимо святых, выступавших на заднем плане, на печати были видны аудиторы во время совещания, разместившиеся по кругу. НельЗя было разобрать, сидят ли они на стульях или, как я предполагал, на скамье. Здесь изображение уже стерлось. Напрасно я вертел печать, стараясь, чтобы на нее падало как можно больше света, — мне не удалось извлечь из нее ничего нового. Нужно было принести лупу из библиотеки Кампилли. Ну и прежде всего заказать для себя на завтра следующую партию средневековых документов Роты, снабженных печатями. Мне подготовили так мало, предполагая, что я буду вчитываться в содержание документов, и тогда для одного дня занятий их было бы достаточно. Я встал, собираясь направиться в отдел каталогов.

Стол, за которым я работал, рассчитан на двоих. Однако ко

мне никто не подсел. А за столом, стоявшим тут же рядом, изучал какие-то материалы священник, который появился в зале позже меня. Он прошел мимо моего стола и едва заметно мне поклонился. Я подумал, что таков здешний обычай, и поклонился ему в ответ, поначалу не обратив на него внимания. Впрочем, печати поглотили меня целиком. Но, когда раза два я на мгновение отрывал от них взгляд, глаза наши встречались, потому что священник больше размышлял над книжкой, которая лежала перед ним, нежели читал. Всякий раз, как взоры наши скрещивались, он улыбался либо многозначительно кивал головой. В библиотеках иной раз встречаются читатели, которые так себя ведут,—это значит, что они либо не освоились с обстановкой, либо же скучают. Однако мне вдруг пришло на ум, что священник не принадлежит ни к одной из названных категорий, но зато я его откуда-то знаю, мы знакомы, где-то уже виделись. И мысль эта немножко отвлекала меня от дела.

Где же? В Кракове у меня не было никаких знакомств в мире духовенства. В Торунь я знал немногих священников, но тех, кого я знал, знал хорошо. А не так вот—человек с тонзурой мне знаком, а фамилию вспомнить не могу. Нет! Не Торунь и не Краков. Придя к такому выводу, я снова склонился к печатям, забыв на долгое время о священнике, сидевшем за соседним столом. Когда я встал, намереваясь пойти в отдел каталогов, то сперва обнаружил, что его нет на месте, а потом заметил оставленную им книжку. Чтобы попасть в отдел каталогов, надо пройти через маленький круглый зал с блестящими колоннами и большой лоджией. Там всегда прогуливаются посетители библиотеки, уставшие от занятий. Мой загадочный священник возвращался из лоджии.

Высокий, рыжеватый, широкоплечий, он остановился как вкопанный, увидев меня прямо перед собой. Глубоко запавшие глаза, выступающие скулы, кривой нос. В зале, когда он сидел спиной к свету, я мог строить различные догадки. Теперь, однако, в непосредственной от него близости, ни одна из них не оправдалась. Безусловно, он совершенно мне незнаком. Однако, когда священник протянул мне руку, я ответил тем же. Он крепко пожал мою руку и при этом улыбнулся. Весело и широко, с радостным блеском в глазах, никак не подходившим к данной ситуации.

— Как вам работается?—спросил он.

Итальянец! Разумеется, незнакомый, как же иначе? Мое предположение сменилось полной уверенностью. Мои связи в мире итальянских священников были весьма ограничены. И тех двоих, с которыми я столкнулся в последнее время, я узнал бы с первого взгляда, даже если бы меня разбудили среди глубокой ночи.

— Отлично,—ответил я.—Покой. Тишина. Превосходнейшие архивы.

Нам пришлось отойти в сторону. Мы стояли на дороге у тех, кто шел из читальни в отдел каталогов. Какой-то старичок метнул на нас грозный взгляд. Мы подошли к ближайшему окну. Священник теперь был освещен солнцем. Сам он от этого не изменился. Зато яркое освещение не пошло на пользу его сутане, так как выдало ее солидный возраст и плачевное состояние. Сутана была едва ли не серая, потертая, в заплатах.

— О да!—согласился со мной священник. Но мою мысль он обобщил:—В библиотеках всегда такая тишина и покой! Мой епископ часто говорит, что библиотеки тоже дома божьи. Мой епископ—это значит глава моей епархии.

Говоря это, он повернулся ко мне в профиль. Тогда я снова подумал, что его профиль мне все-таки откуда-то знаком.

— Глава епархии?—спросил я.—Значит, вы живете не в Риме?

— Нет,—ответил он.—Я нахожусь в Риме только временно.

— Учитесь?

— О нет. Образование я уже закончил. Я живу в Сан-Систо, неподалеку от Орсино. У меня там приход.

— Но я вижу, что здесь, в библиотеке, вы над чем-то работаете. Он нахмурился.

— Можно это и так назвать. Читаю всякую всячину. В Сан-Систо никогда не находишь времени для чтения. А между тем надо читать, много читать, иначе не хватает слов и аргументов для доказательства своей мысли.

Я улыбнулся.

— У вас в Сан-Систо недоверчивые слушатели, если вы должны свои мысли подкреплять книжными знаниями.

— Да почему же в Сан-Систо? В Риме.

Тут он внезапно переменял тему разговора:

— А вы, кажется, приехали из-за границы?

— Ну да. Из Польши.

— Из Польши? Ах, из Польши! Я много слышал. Надолго?

— Еще не знаю.

— Значит, так же, как и я... А давно?

— Уже десять дней.

— О! А я уже пять месяцев.

— Что вы говорите? Так долго!

— Долго! Долго! Иногда так получается, когда нас вызывают в Рим.

В этот момент кто-то неожиданно протиснулся между нами. Одетый во все черное, высокий, большая голова, глаза обведены синими полумесяцами—дон Паоло Корси.

— Куда вы пропали? Я ищу вас по всей библиотеке. Вас к телефону.

— Меня?—удивился я.

— Звонит адвокат Кампилли. Пройдите туда!

Я увидел его руку с большим перстнем на пальце. Корси

слегка подтолкнул меня по направлению к потайной дверке напротив лоджии. Я обернулся, чтобы поклониться священнику, с которым беседовал. Его уже не было возле нас. Однако он не исчез. Я разглядел его спину в глубине коридора, он возвращался в читальный зал. И только тогда я внезапно вспомнил, где мы с ним виделись. Этот священник в Грегориане вызвал отца де Воса в коридор и потом вполголоса что-то ему объяснял у двери комнаты, где я ждал. Ну ясно, тот самый.

— Осторожно. Ступеньки!

Сколько их! Узкий проход, полумрак, что ни шаг, то поворот и ступеньки. Две, три, пять. То вверх, то вниз. Сердце слегка сжимается. В голове пустота. Образ священника, едва я вспомнил, откуда его знаю, сразу потускнел. Я испытывал неловкость, словно меня вызвали к телефону из церкви во время богослужения. И все это из-за особой атмосферы, царящей в библиотеке, в ней действительно есть что-то от «божьего храма». Непонятно, как Кампилли решился меня вызвать. Я прибавил шагу. Тревога возрастала. Я начал машинально шептать: «Дурное известие! Дурное известие! Дурное известие!» Но я повторял это скорее из желания отогнать недоброе, чем от предчувствия его. «Дурное известие! Дурное известие!» Но для чего же звонить? Почему не подождать, пока я вернусь домой?

Наконец комната синьора Корси. Стены сплошь завешаны портретами духовных лиц в полном облачении. Письменный столик завален регистрационными книгами. На них преспокойно лежит телефонная трубка. Я схватил ее.

— У телефона! Это я! Слушаю вас!

Голос у Кампилли елейный, неестественный:

— Мой дорогой мальчик, я жду тебя. Возвращайся сейчас же.

— Но что случилось? — воскликнул я. — Дурные вести?

Пауза. Во время этой паузы он, видимо, изменил решение. Я это почувствовал. Сперва он не хотел сообщать по телефону то, что должен был мне сообщить. Теперь, заметив, что напугал меня, он сказал:

— В курию сегодня утром пришла телеграмма из Торун. Понимаешь?

— Не понимаю! Что случилось? Ради бога!

У страха глаза велики. Прежде чем я успел сообразить, сколь нелепо мое предположение, будто в курию стали бы телеграфировать, если бы с отцом что-нибудь стряслось, я проникся уверенностью, что произошла катастрофа. Я все еще бессознательно прижимал к уху трубку, хотя ничего доброго уже не ждал.

— Вчера ночью в Торун умер епископ Гожелинский. Я хотел немедленно поделиться с тобой этой вестью.

— Сейчас приду, — сказал я.

— Правильно! Мы побеседуем.

Я горячо поблагодарил Корси за его любезность. Отнес

документы. Четыре возвратил. Что касается пятого, то попросил сохранить его за мной до завтра. Я поклонился священнику, которого видел у де Воса. Все делал в крайней спешке. Не прошло и четверти часа, а я уже стоял перед Кампилли. Он ждал меня в холле. Сам отворил мне калитку и входную дверь. Перед уходом в библиотеку я с ним не виделся. Мы крепко пожали друг другу руки. Молча. Кампилли не заговорил со мной, даже когда мы проходили через приемную в его кабинет. В кабинете он тоже довольно долго молчал. Только снова стиснул мои руки. Тряс их и тряс.

— Смерть всегда есть смерть,—произнес он наконец.—Ты, однако, понимаешь, что она означает для твоего бедного отца.

— Поверьте, отец скорбит об этой смерти,—ответил я.—Отца в равной мере огорчало и то, что он не может работать в курии, и то, что почитаемый им епископ Гожелинский не расположен к нему.

— Тем не менее после кончины епископа, безусловно, ничто не помешает твоему отцу вернуться к столь любимому им делу.

Он не отпускал мои руки. Сжимал их и тряс. А сила и упорство, с какими он это делал, передавали мне красноречивее слов, которые он ни в коем случае не мог произнести, все, что чувствовал Кампилли. Постепенно я стал лучше в этом разбираться. В особенности когда он отпустил мои руки и принялся хлопать меня по плечу, а затем раза два поцеловал. Так же как в тот день, когда я вернулся от де Воса и Риго. Тогда он оглушил меня восклицаниями, поздравляя с победой. Восклицаниям сопутствовали жесты вроде сегодняшних. Только по размаху и щедрости сегодняшние жесты значительно превосходили тогдашние.

— После разговора со священником де Восом и монсиньором Риго вы мне сказали, что победа за нами,—заметил я.—Что же в таком случае может изменить смерть епископа?

Он очень точно понял смысл моего вопроса.

— Даст более высокую степень уверенности,—ответил он.—А ее никогда не бывает слишком много!

Затем он добавил:

— Когда я сказал тебе о выигрыше, выигрыш уже был у нас в кармане. Но в таких делах, как у твоего отца, отсутствие дела еще лучше, чем выигрыш в кармане. А смерть епископа Гожелинского позволяет нам надеяться, что так оно и будет.

Из того, что он сказал, я усвоил одно: действительно, вместе со смертью епископа Гожелинского прекращался спор. Если это так—а пожалуй, было ясно, что так оно и есть,—следовал вывод, что мне пора убираться из Рима. Я сообщил об этом Кампилли.

— Не согласен,—произнес он после некоторого раздумья.—Даже если признать, что дело как таковое больше не существует, существует ведь письмо твоего отца к монсиньору Риго, на которое

он обещал откликнуться. Невежливо было бы не дожждаться.

— Во всяком случае, из-за смерти епископа сократится срок моего пребывания в Риме. Быть может, самое большее еще один-два дня.

— Вне сомнения, мы получим сигнал от монсиньора если не сегодня, так завтра. Кстати, я подобрал дела, которые можно передать твоему отцу в Торуни. У меня кое-что заготовлено. Два моих и несколько чужих. Но вернее всего, они вообще не понадобятся. Письмо твоего отца пойдет *ad acta*¹, и о нем больше не будут говорить. Что же касается твоего пребывания в Риме, то мы с женой не отпустим тебя так быстро.— Тут он засмеялся.— Мы должны теперь спокойно насладиться твоим обществом!

Затем он повез меня обедать. Мы поехали в тот же ресторан, что и в прошлый раз; теперь Кампилли не допытывался о вкусах отца и предложил ехать туда без предварительных церемоний. За едой мы, как и тогда, не говорили о деле. Вообще весь обед напоминал тот, первый. Кампилли, так же как и тогда, долго изучал карточку вин, точно так же не позволил мне есть то, что мне хотелось, а выбирал более дорогие блюда. В ритуале, однако, изменение—наша общая открытка отцу. Первая, которую мы то ли из Рима, то ли из Остии подписали вместе с Кампилли.

XIV

Прошло три дня. От монсиньора Риго—ничего. Я не волновался, объясняя его молчание смертью епископа, а иначе говоря—желанием монсиньора немножко выждать и лишь позднее известить меня о том, что он принял к сведению письмо моего отца, состоявшего в конфликте с покойным. На вилле я был один. Адвокат поехал в Абрुццы проследить, все ли в доме готово к приезду остальных членов его семьи. В Риме становилось все жарче. С раннего утра до конца дня жгло солнце. Я возвращался с обеда отяжелевший и потный. По-прежнему ходил в тот же самый ресторан, в нескольких сотнях шагов от Ватиканской библиотеки. Поев, шел теневой стороной под стенами. Но и они были раскалены. Небольшой подъем по виале Ватикано становился мучительным. Всюду жара, зной, духота. Легче дышалось только в самой вилле. Лакей следил за жалюзи и отчитывал меня, если я забывал их опустить в моей комнате. Минуя холл, заставленный скульптурами, я поднимался по холодной лестнице к себе, принимал душ, а потом босиком возвращался в комнату, утопавшую во мраке. На всей вилле полы были каменные. Поэтому я с удовольствием ходил бы даже по всему дому босиком. Так все же прохладнее. После душа—кровать.

¹ В архив (лат.).

Большая, как ладя. Я засыпал. В остальную часть дня: библиотека Кампилли, прогулки по памятным местам и опять тот же ресторан. А после ужина кино или снова библиотека.

Я усаживался с книжкой на огромном диване шафранового цвета, возле стола с фотографиями. Иногда я исправлял заметки, сделанные утром. Иногда разглядывал фотографии. Их было очень много. Больше всего на огромном столе в центре комнаты. Но и на столиках меньшего размера тоже было полно рамок. На фотографиях был запечатлен весь мир супругов Кампилли. Мир хозяйки дома, урожденной Згерской. По уверениям лакея в полосатой куртке, семья синьоры Кампилли была *principessa*¹, однако отец ничего мне об этом не говорил. Про то, что Згерские были люди богатые, я слышал. Что они были магнаты—знал определенно. Повсюду на стенах висели изображения их дворца в имении под Житомиром, помпезного здания с башнями по углам; изображения этого дворца, выполненные в различной технике—фото, литографии и акварели,—попадались мне и в других комнатах, помимо библиотеки Кампилли. На фотографиях род Згерских представлял не только бедный Анджей, которого убили солдаты, отступавшие с фронта, но и разные другие, близкие и дальние, родственники синьоры Кампилли. Кроме родственников, друзья. Многочисленные снимки политических деятелей, князей, премьеров, министров, послов; всё это были важные персоны, выдвинувшиеся главным образом в начальный период формирования польского государства непосредственно после первой мировой войны.

Фотографии духовенства, кардиналов, архиепископов, приоров, монсиньоров—тоже с дарственными надписями,—вне всякого сомнения, составляли вклад синьора Кампилли в этот пантеон. Среди прочих я обнаружил отличный снимок монсиньора Риго. Как живой! У себя в Роте, за письменным столом, грузный, массивный, с умным, несколько ироническим взглядом, устремленным в объектив. Подпись мелким почерком, слегка стилизованным под готический, что, впрочем, как я слышал от отца, принято в курии. Я взял в руки снимок, вставленный в солидную серебряную рамку, и поднес к свету. Так я лучше мог рассмотреть лицо монсиньора, потому что тогда в Роте мне было неудобно это делать, да к тому же я очень волновался. И вот я взгляделся в него теперь: симпатичное лицо, внушающее доверие.

— Ну же,—обратился я к портрету, как бы поторапливая его,—монсиньор, пора! Где сигнал?

Остальные фотографии—это семейство Кампилли. Он—в обыкновенных костюмах или торжественных одеяниях, она—в домашних платьях или бальных нарядах, наконец Сандра—в детстве, в девичестве, замужняя дама; внуки, ну и на двух

¹ Княжеская (итал.).

снимках Весневич: в польском мундире и в мундире какого-то рыцарского, вернее всего ватиканского, ордена — пелерина, большая шапка, роскошный пояс и высокие театральные сапоги. Наконец вилла в Остии, где я купался, и резиденция в горах, куда все Кампилли переселялись на август. Прекрасный каменный дом в стиле ренессанс на лесистом крутом склоне. Замечательное место, ничего не скажешь! Свободно там дышится после раскаленного, знойного Рима.

Даже в Ватиканской библиотеке становилось душно. Ранним утром еще ничего, но часам к одиннадцати совсем плохо. Поэтому я берег время и точно в половине девятого одним из первых садился за свой стол; раскладывал заметки, доставал из кармана лупу, взятую в кабинете Кампилли, а затем отправлялся в маленький зал с каталогами, где выдавали затребованные из архива материалы. С ними получилось не очень хорошо. Четыре исследованных документа, которые я уже сдал, вернулись ко мне. Следующие из заказанных мною доставили очень нескоро. Вдобавок ничего нового выжать из них не удалось. На печатях по-прежнему лучше или хуже сохранившиеся фигуры патронов Роты, только и всего! В глубине души я досадовал. Разумеется, я ни в чем не винил ни документы и древние печати, которые не приносят мне ничего интересного, ни научную работу, которая подвигается очень медленно, ибо таков уж ее ритм. Скорее я сердился на работников каталога за то, что они не торопятся, когда мне так некогда. Однако я не проявлял нетерпения, о нет. Тем более что не они несли ответственность за то, что срок моего пребывания в Риме мог еще сократиться, а также за то, что приехал я летом, когда копать в запыленных и душных хранилищах, наверное, очень мучительно.

Я сам это чувствовал, когда после маленького перерыва, который я себе устраивал между часами занятий, заходил в архив — в отдел каталогов. Я выписывал новые названия и присоединял их к прежним заказам, то есть к тем, которые еще не выполнили. Я разыскивал их в поте лица, едва не ослеп, роясь в различных указателях со списками документов. Прочитать их было трудно из-за темноты. Всюду опущены жалюзи и даже тяжелые шторы, так как окна выходят на южную сторону. Я подсовывал указатель под лучик света, которому удалось пробиться сквозь все препятствия, либо подносил к свисавшей с потолка лампе, которую то и дело кто-нибудь гасил, считая, что от нее становится еще жарче. Надо было бы с самого утра приходить сюда, рыться в каталогах и списках. Воздух с ночи еще свежий и шторы не задвинуты — значит, светлей. Но это также и лучшие рабочие часы, и жаль тогда отрываться от своего стола в читальне. Однако придется. Проклятая спешка! Если бы я знал, что еще с месяц посижу в Риме, то ко всему относился бы спокойнее. Научная работа не терпит торопливости. Розыски

документов—тем более. К тому же в такой фантастически богатой библиотеке, в которой за многие века ее существования выработалось особое отношение к понятию времени. И значит, в данных обстоятельствах нужно быть терпеливым и не распускать нервы!

В перерывах, то есть между часами, проведенными в читальне, и часом в отделе каталогов,—лоджия, а в ней священник из Сан-Систо. Его имя и фамилия дон Евгений Пиоланти. Он представился мне, а я ему. Я прихожу в библиотеку раньше, чем он. Пиоланти появляется значительно позднее. Вскоре он объяснил мне почему: живет далеко. Ему приходится ехать до Термини поездом, а оттуда автобусом. Дорога занимает полтора часа. Уйдя из библиотеки, он выпивал кофе с молоком, съедал булку и какие-нибудь фрукты—он привозил их с собой,—после чего пускался в обратный путь. Обо всем этом он мне рассказал. А когда я пригласил его обедать, он даже продемонстрировал сверток с булкой и фруктами и термос с кофе. Произошло это на третий день после отъезда Кампилли. Я чувствовал себя немного одиноким, и мне было бы приятно общество Пиоланти, но он не принял приглашения. Извлек свои запасы в доказательство, что еда у него есть.

В первый день, когда я разговаривал с Пиоланти, еще не вспомнив, откуда его знаю, он показался мне загадочным, а его слова не лишены намеков. Высказывался он тогда сдержанно, спрашивал кратко. Но на завтра, после того как я первый ему поклонился, а потом, в лоджии, подошел к нему и он разговорился со мной, таинственность исчезла. Должно быть, он был из робких и, безусловно, такой же одинокий, как и я. Он нуждался в собеседнике, встретил меня и, однажды себя переломив, стал обыкновенным священником из глухой провинции, который застрял в городе на более долгий срок, чем предполагал, и уже начинал томиться. Тогда же он упомянул, что торчит здесь уже пять месяцев. Столкнувшись с ним в лоджии и поздоровавшись как с добрым знакомым, я произнес какую-то пустую фразу относительно жары, а затем спросил, не надоело ли ему в Риме. Он покраснел. Развел руками. Однако на мой вопрос не ответил. Вместо этого он сказал:

— Я остановился в Ладзаретто. Вы слышали о Ладзаретто? Я не слышал.

— Это бывший лепрозорий, старый поселок для прокаженных. Расположен он прямо к северу от Рима, на склонах Агуццо, высота небольшая, но все-таки воздух там лучше, чем здесь.

О причинах, удерживающих его в Риме, он не упоминал и не сказал больше ни слова о Сан-Систо под Орсино. Разве только, что его приход находится в гористой местности. Зато о своем Ладзаретто говорил много. В средние века каждого подозреваемого в том, что у него проказа, загоняли в такие поселки, их было

много на территории Италии, да и в других странах. Сегодня одно только Ладзаретто сохранило старое название, хотя вот уже несколько веков, как оно не служит прибежищем для прокаженных. Из прежних сооружений там сохранилась церковь Лазаря из Евангелия от святого Луки и монастырский приют для странников. Даже местные жители не помнили его происхождения. Они называли приют монастырем, добавляя, что монастырь был строгого устава; этим, по их мнению, объяснялось то, что из приюта не было хода в церковь—ничего, кроме узкого отверстия в метр длиной, через которое священник давал причастие зараженным.

— Да и то не всякий священник,—сказал дон Пиоланти,—а только такой, у которого хватало на это смелости.

— В «Декреталиях» Григория Девятого,—заметил я,—есть абзац, посвященный прокаженным.

— Значит, вы человек ученый, если это знаете,—похвалил он меня.—Я только в связи с Ладзаретто собрал сведения, которыми делюсь с вами. Проказа была страшно заразная. А попытки бороться с ней или помешать ее распространению тоже ужасны. Зараженного не впускали в церковь, над ним, как над усопшим, служили панихиду. Он слушал ее, лежа, как труп, со скрещенными на груди руками. Потом вставал, стряхивал с головы и ног землю, которой их посыпали, но домой, к своим, больше не возвращался. Был ли он родом из города или из деревни, его вычеркивали из списка живых. Имущество его переходило к наследникам. Он не имел права наследования, не мог выступать свидетелем, не мог составить завещания, поскольку прокаженных причисляли к умершим внезапной смертью. С течением времени обычай смягчился, и прокаженному даже разрешалось выходить за пределы лепрозория. Но при этом больной обязан был носить специальную одежду, чтобы каждый издали видел, с кем имеет дело, и стучать колотушкой, предостерегая здоровых, что приближается человек, тронутый заразой. Все отчаянно боялись прокаженных, потому что в средние века суровая кара грозила и тому, кто сознательно или по неведению к ним прикоснулся. Иногда, особенно во время особой паники, такой человек был вынужден впредь разделять судьбу прокаженных.

— Какая жестокость!—содрогнулся я.

— Минувшие, давние дела,—заметил священник Пиоланти.—Сегодня у нас в Ладзаретто большая, современного типа больница сестер Святого Спасителя. От прежних времен остались только церковь и приют, в котором я как раз и живу. Церковь сохранилась в неприкосновенности с четырнадцатого века. Приют внутри немножко перестроили. Там останавливаются священники, находящиеся проездом в Риме, вот такие, как я.

На следующий день мы снова в то же самое время сошлись в лоджии. Отсюда открывался прекрасный вид на узкий и интерес-

ный по архитектуре двор библиотеки. Но со двора несло жаром, как из кратера. Дышать нечем. Воздух плотный, давит сверху, потому что здесь властвует сирокко. Бедный Пиоланти задыхается в сутане—вероятно, одной и той же для зимы и лета. С лица у него стекает пот. Он вытирает его то платком, то рукавом. Увидев меня, протягивает руку. Она мокрая.

— А может, вы поехали бы со мной сегодня в Ладзаретто?— предлагает он.— Вам полезно провести несколько часов вне Рима.

Он складывает на груди свои большие руки и надувает щеки. Это должно означать, что и я в Ладзаретто буду дышать полной грудью.

— Сердечно благодарю,—говорю я.— Возможно, и в самом деле как-нибудь воспользуюсь приглашением.

— Ох нет, сегодня!— настаивает дон Пиоланти.— В приют сестер Святого Спасителя приезжает религиозный хор и труппа, которая даст спектакль. Разумеется, религиозного содержания: средневековую мистерию. Мне сказали, что и хор и труппа пользуются доброй славой. Ну, что, поедете?

— Согласен! С удовольствием. Но, пожалуйста, примите мое приглашение на обед.

— Нет! Нет!— Он молитвенно сложил руки.— В ресторан я не могу!

Я пытался его уговорить. Но он упорно твердил, что не пойдет. Тогда мы условились встретиться прямо на вокзале. Чтобы успеть пообедать, я ушел раньше обычного и не много потерял, потому что от жары голова шла кругом и о дальнейшей работе в тот день не могло быть речи.

XV

Мы очутились на вокзале в тот самый момент, когда подали поезд. Толпа ожидающих подхватила нас и, толкая из стороны в сторону, впихнула в вагон. Нас разлучили, но и священник и я—оба нашли себе место. Он в одном отделении, я—в другом. Пиоланти сидел спиной ко мне. Время от времени он оборачивался в мою сторону и, щурясь от света, проверял, как я себя чувствую, а в моем отделении становилось совсем уж тесно и душно. В старом вагоне с жесткими скамейками не было перегородок между отделениями. Когда поезд наконец тронулся, повеяло прохладой. На первой станции—новая волна пассажиров. Из окна ничего не было видно, его загораживали пассажиры. Пиоланти больше не оборачивался. В моем отделении была такая давка, что он все равно не смог бы меня разглядеть. Зато я иногда видел в щелке между напивавшимися со всех сторон людьми его большую рыжую голову. Она беспомощно покачивалась. Священник, видимо, дремал. Я тоже попытался закрыть глаза. Но

заснуть было невозможно. Отслуживший свой век вагон трясся и скрипел. Поезд медленно тащился. Останавливался на всех станциях. В эти минуты я задыхался и не мог дожидаться, пока он снова тронется. Поезд трогался, и я опять дышал. Он снова тормозил, и снова прекращался приток воздуха. И так в течение получаса.

Наконец Ладзаретто. Маленький городишко, пустынный в эту пору дня. Мы прошли через весь город за десять минут. По другой его стороне сразу склон горы. Несколько вилл, сады, виноградники. Мы сворачиваем влево. Еще десять минут. Над нашей головой возникает огромное здание. Это больница Святого Спасителя. Мы взбираемся по удобным откосам. Еще немного — и я вижу здание во всем его величии. Оно новое, шестизэтажное, с окнами на юг. Мы обходим больницу. Справа прекрасная аллея больших конусообразных пиний. Высокая каменная стена. Ворота закрыты. Рядом калитка. Мы входим. Необычайно красивый готический храм с высоченной колокольной. За храмом по обеим сторонам две стены бывшего лепрозория, двухэтажные, без окон. Можно подумать, что это кладбище. Пиоланти подводит меня к узкой небольшой двери. Ее пробили в стене позднее: я сужу об этом по прямоугольной форме двери. Наконец-то прохлада. Наконец-то тень!

— Вы очень устали? — спрашивает священник Пиоланти.

— В поезде немножко, — признаюсь я. — Нечем было дышать.

— Может, выпьете кофе?

— С удовольствием.

— А вам не хочется полежать?

— Превосходная идея, — отвечаю я.

— В таком случае пожалуйста за мной.

Мы проходим через одну залу, попадаем в другую, побольше, с длинным столом посредине; наверно, здесь столовая. Окна ее выходят на склон горы за церковью. Склон голый. Деревья на нем выкорчеваны. В те времена, когда прокаженных отправляли в лепрозорий, на этом склоне были огороды. Они тянулись вверх, почти к самой вершине горы. Теперь сохранились только остатки узких, как полки, некогда обрабатываемых террас. Их размыло дождем. Все заросло. Пиоланти толкует мне об этом. Я стараюсь внимательно его слушать. Но его слова будто проплывают сквозь мое сознание. Я прихожу в себя только час спустя, когда, к моему удивлению, просыпаюсь на узкой железной кровати в пустой, беленной известью комнатке. В течение секунды ничего не могу понять. Но потом вспоминаю, как я, еле волоча ноги, тащился за Пиоланти, а он открывал двери в поисках свободной кельи. И нашел ее, как раз в ней-то я и нахожусь, но уже совсем отдохнувший. Не осталось и следа противного до тошноты ощущения, вызванного духотой и жарой. Я вскакиваю. Приоткры-

ваю дверь в коридор. Появляется Пиоланти—он услышал, что я зашевелился.

Теперь наконец доходит очередь до кофе. Мы пьем его у Пиоланти. Его комнатка в точности похожа на ту, в которой я спал. Железная кровать, стол, стул, этажерка. На табурете медный таз. Ведро. Только здесь в углу комнаты стоит чемоданчик. На этажерке разложены кое-какие вещи. Ну и на столе—машинка для варки кофе и две чашки.

— В котором часу спектакль?—спрашиваю я.

— В восемь. После кофе я вас отведу на гору. Пovyше прежних огородов. Увидите, какой там открывается пейзаж! И подышите. Вот где чистый воздух.

— И здесь тоже замечательно. Дышится легко. Не то что в эти часы в Риме.

Пейзаж с горы и в самом деле был необыкновенно красивый. Древние огороды, через которые вела дорога, совсем заросли сорняком, вьющимися растениями и кустами, почти лишенными листьев из-за засухи,—вид у них был жалкий. Но и от них приятно пахло травой и лесом, запах этот стал еще ощутимее, когда мы с Пиоланти присели на вершине под пиниями. Я поглядел направо. Где-то далеко-далеко сверкает гладкая стеклянная поверхность—это море. Вон там, прямо, едва различимое пятно—Рим. Пиоланти объясняет мне, что сегодня плохая видимость. Обычно и море и Рим видны более отчетливо.

Мы мало разговаривали. Он немножко рассказывал о своем Сан-Систо—«красивейшем, но и печальнейшем», как он выразился. Кажется, в его приходе, в горной деревушке, условия жизни тяжелые. Он это имеет в виду, когда говорит, что Сан-Систо «печальнейшее» место. Упомянул он об этом просто так, мимоходом, когда речь зашла о красоте пейзажей. Из его слов получается, что Сан-Систо лежит «в настоящих горах». Но на отшибе. Поэтому и нищета. Я слушал, не поддерживая разговора. Вскоре и он умолк. Только изредка поворачивал голову в мою сторону, так же как в поезде.

— Хорошо здесь? А?—спрашивал он.—Можно наконец дышать.

— Действительно,—соглашался я.—Ванна для легких!

— О, как вы хорошо сказали! Ванна для легких!

И затем он время от времени повторял эту фразу. Так мы просидели два часа. В семь начали спускаться. Оказалось, что до спектакля нам еще дадут поужинать. В столовую мы попали в момент общей молитвы перед трапезой. Пиоланти обо всем позаботился: поставил передо мной жестяную тарелку с макаронами и горошком, стакан вина и несколько абрикосов, которые он положил на бумажную салфетку. В окошечке, где выдавали еду, он взял такую же порцию для себя и сел возле меня. В столовой собралось человек десять, причем только один я мирянин. Мы

сидели за огромным столом, но не в ряд, а по двое или по трое, небольшими группами, поодаль одна от другой. Общего разговора не вели, но и не молчали. Сидевшие рядом беседовали размеренно и не очень громко. К восьми все встали.

Я полагал, что мы отправимся в больницу, но ошибся. Мы прошли в церковь, где, как в средние века, должно было состояться представление. Сцену—небольшое возвышение—установили между ступенями алтаря и балюстрадой. Больничное начальство и врачи уселись на передних скамьях, больные—подальше. Сбоку, слева—сестры-монахини, справа—санитары. Мы с Пиоланти и остальные священники, вместе с которыми я ужинал, заняли места рядом с санитарями. Но они стояли, а для нас приготовили маленькие плетеные стульчики. Места были не очень хорошие. Часть сцены заслоняла колонна. А когда церковь заполнилась людьми, пришедшими из городка и из окрестностей, мне тоже пришлось встать, иначе я ничего бы не увидел. Никто из священников, сидевших рядом со мной, не последовал моему примеру. Один только я прислонился к колонне и так простоял до конца представления.

Само по себе оно не производило сильного впечатления. Хор действительно отличный. Ему придавало еще больше очарования царящее в церкви настроение, своды, арки, полумрак. Я раза два наклонялся к Пиоланти, спрашивая, что они поют. Он не знал. Повторял только то, что один раз уже мне сказал: хор очень знаменитый. Таким образом, я сосредоточенно слушал неизвестные мне монотонные, медленные мелодии, линия которых степенно, не меняя темпа, поднималась и снижалась; лишь изредка в ней прорывались, словно жалобы, судорожные, спазматические ноты.

После выступлений хора—спектакль. Надолго затянувшаяся мимическая история двух нищих. Один из них не владеет ногами, другой слеп, они как бы дополняют друг друга, поэтому не расстаются, и каждый цепляется за свое увечье, кормится им. Сперва они выступали только и исключительно в качестве нищих. По сцене проходили разные фигуры: важные господа, горожане, крестьяне. Нищие осаждали их. Слепой протягивал руки и вертел головой в знак того, что не различает дороги и направления. А хромой, подобно большой подстреленной птице, подскакивал и опрокидывался на бок. К ногам у него были прикреплены деревянные культи. Они стучали о подмостки. Слепой тоже стучал по сцене палкой. Все остальное происходило в тишине, ибо это старинное моралите было мимическим.

Когда прошла вереница людей, к которым нищие обращались за подающим, на сцене появился паренек в стихаре. Он хлопал в ладоши и подпрыгивал, обращая к зрителям сияющее лицо и источая улыбки. Пиоланти потянул меня за рукав и объяснил, в чем дело. Паренек возвещает радостную новость: сюда идет

великий святой, чудотворец. Паренек, весело прыгая, догонял нищих, прикасался к ногам первого и глазам второго, давая понять, что идущий сюда святой вернет первому способность двигаться, а второму зрение. Но после длинной мимической сцены нищие в страхе удалялись, они не хотели выздоравливать, так как им выгоднее оставаться калеками.

Не все в церкви понимали аллгорию. Как и я, они нуждались в пояснениях. Мне их давал Пиоланти; средневековую литературу он, видимо, знал лучше, чем музыку. Я наклонялся к нему всякий раз, как от меня ускользал смысл событий, происходивших на сцене. Так же поступали другие зрители—и те, что сидели на скамьях, и те, что стояли по бокам, в группе монахинь и санитаров. Позади нас плотной толпой держались жители окрестных деревушек. Они не вели между собой никаких разговоров, не требовали пояснений. Им это не было нужно. Я полагаю, что они попросту знали пьесу, входившую в репертуар, который на протяжении веков ставили в церквях и приходских залах. Они все понимали раньше, чем остальные зрители, громко смеялись там, где полагалось,—например, в тот момент, когда оба нищих, испугавшись, что они лишатся своих увечий, в панике убегают со сцены.

В последней картине нищие снова появляются, богатый хозяин нанял их сторожить сад. На сцене яблоня—ее внес помощник режиссера в синем комбинезоне,—она усыпана яблоками, которые слепой не может сорвать, потому что не видит их, а хромой не в состоянии до них дотянуться, потому что его не держат ноги. После безуспешных попыток им приходит в голову хитроумная мысль—соорудить своего рода тандем. Они рвут и едят плоды. Приходит хозяин. В доказательство своей невиновности один ссылается на свою хромоту, другой на слепоту. Но богатый хозяин разгадал их маневр. Он приказывает слепому посадить себе на плечи хромого. Разоблаченные хитрецы просят прощения. Хозяин велит отстегать их и выгнать из сада: яблоня исчезает со сцены, ее уносит помощник режиссера в комбинезоне. Слепой и хромой возвращаются к своему прежнему промыслу—побираются. Слепой вертится во все стороны в тщетных поисках дороги, хромой пробует встать и всякий раз опрокидывается. Потом они застывают в неподвижности—в знак того, что представление окончено.

Церковь пустеет. Уходим и мы. Вдруг я слышу за моей спиной, совсем рядом, польскую речь. Оборачиваюсь. Мимо нас проходят монахини и санитарки, занимавшие левую часть нефа. Я прислушиваюсь. Кто-то в этой группе явно говорит по-польски. Я инстинктивно останавливаюсь и, еще не успев принять какое-либо решение, здороваюсь с дамами из пансионата «Ванда», с пани Рогульской и пани Козицкой.

— Как вы сюда попали?—восклицает пани Рогульская.

— Ага, значит, вы ради Ладзаретто покинули «Ванду». — Пани Козицкая с ироническим удивлением разрешает (правда, неверно) загадку моего исчезновения из пансионата; тон голоса для нее весьма любезный.

— Вовсе нет! — говорю я. — Я, так же как и вы, приехал только на спектакль.

Пани Рогульская:

— Я бываю здесь два раза в неделю. Работаю у монахинь в больнице.

— Ну да! — вспоминаю я. — Вы, вероятно, были именно в этой больнице, когда я уезжал из «Ванды». Поэтому я с вами не попрощался. Надеюсь, ваша племянница передала вам, как мне это было неприятно.

Пани Козицкая:

— Передала! Передала! Можете быть совершенно спокойны: никто вас не упрекнет в несоблюдении светских приличий.

Пани Рогульская:

— Загляните как-нибудь к нам. Мой брат тоже будет очень рад. Ну хотя бы завтра. Например, к чаю. Что вы делаете завтра? Или еще лучше послезавтра, в воскресенье, в пять.

Я ответил, смеясь:

— Файф-о-клок. Буду иметь честь присутствовать у вас на файф-о-клоке.

Разговаривая, мы вышли из церкви и остановились у двери. Площадь перед церковью опустела, только Пиоланти беспомощно бродил по ней — он то приближался к нам, прислушиваясь к незнакомой ему речи, то удалялся всякий раз, как я поворачивался в его сторону, желая познакомиться с дамами. Пани Козицкая заметила его.

— Вы, кажется, не один, — сказала она. — До свиданья. Не будем вас задерживать.

— До воскресенья, — уточнил я.

— До воскресенья, в пять, — добавила пани Рогульская.

В этот момент на площади перед церковью стало темно. Погасли теперь уже ненужные фонари в четырех углах площади. Я извинился перед Пиоланти и объяснил ему, почему я от него отстал и с кем разговаривал. Затем мы прошли в сад за церковью. Там стояли скамейки. Мы легко их обнаружили, потому что сад раскинулся по ту сторону приюта, где окна уже были раскрыты настежь, так как к вечеру похолодало. Свет из окон падал в сад. Со стороны холма — приятная, душистая прохлада. Мы еще с полчаса поговорили. Главным образом о спектакле, то есть о моралите с нищими. Священник рассуждал о глубоком значении аллегории, в особенности ему не давала покоя последняя картина. Та, которая, по его определению, «клеяла ложное милосердие».

— Какое же милосердие? — удивился я.

— На протяжении веков это моралите толковали следующим

образом: слепой хочет помочь хрому, хромой хочет помочь слепому, они образуют единое целое, но провидение, обострив догадливость богатого садовника, раскалывает их единство, ибо милосердие, которое они друг другу оказывали, было ложным.

— Не понимаю,— ответил я.— Но это и не удивительно, ведь моралите существует несколько столетий. Мы за это время изменились.

— Это правда,— подтвердил священник.

— Хотя музыка, которую мы слышали,— добавил я,— тоже старая, а, признаюсь, я ведь проникся ею. Она мне очень понравилась.

— И это правда,— согласился священник.

Потом он проводил меня на станцию. На перроне я вспомнил о дамах из пансионата «Ванда» и огляделся по сторонам. Их не было. По мнению священника Пиоланти, они уехали автобусом, более удобным, но немного более дорогим средством транспорта. Сказав это, священник забеспокоился: может, и я предпочел бы ехать в автобусе. Он, однако, привык всегда выбирать для себя и своих знакомых то, что подешевле. Я успокоил его, заметив, что меня вполне устраивает поезд и мне это как раз по карману.

XVI

В Ватиканской библиотеке снова нет ничего! Пожалуй, это уже чересчур. Утром, после поездки в Ладзаретто, я проспал и пришел значительно позднее, чем обычно, а тут не оказалось не только новых документов, но и старые, которые я просил отложить, вернули в хранилище. Таким образом, все утро пропало. Работники архива хоть и признают свою ошибку, но нужные мне документы доставят не быстрее, чем это у них принято, то есть либо к концу дня, либо, что вернее, только на следующее утро. Свою оплошность они объясняют тем, что однажды я уже пропустил несколько дней, а сегодня, увидев, что я не пришел, они решили, что со мной опять что-либо приключилось, и отослали в хранилище документы, которые я оставил за собой. Сверх того, я услышал, что в помещении, где хранят научные материалы, над которыми в данный момент работают читатели, очень тесно, а количество посетителей велико,— значит, необходим строгий порядок, жертвой которого я и стал. Это неверно! В читальне вовсе не так уж много народу. Как раз напротив. Жара, лето, мало кому хочется, подобно мне, корпеть здесь. Могли бы нарушить свои строгие правила. Но, видимо, в полном соответствии с характером этих правил, их применяют, не рассуждая.

Каждый день работы в Ватиканской библиотеке у меня на счету, очень для меня важен. Я ведь знаю, что мне здесь не

вековать. А между тем как часто бывает, когда веревочка спутается, ты ее дергаешь, и от этого узел затягивается еще крепче. После одного погубленного дня работы погублен и второй день! В Ладзаретто я был в пятницу, о том, что произошло в субботу, я рассказал, а в понедельник опять неудача, уже по другой причине: документов, которые я просил, нет. Мои требования затерялись. В субботу я появился в библиотеке поздно, в понедельник — одним из первых, едва пробило полдевятого. Документов — ни следа, мои карточки с требованиями невозможно разыскать. Меня просят зайти через час. Час спустя то же самое. Я прошу дать мне каталоги и списки документов, из которых я выписал нужные названия, — хочу повторить заказ. Каталоги и списки я получаю, но меня заверяют, что я напрасно тружусь, вновь рыться в них ни к чему, потому что мои требования не могли пропасть.

Я возвращаюсь на свое место и, так же как в субботу, убиваю время, перечитывая в книге Эрле страницы, посвященные Роте, хотя знаю их почти наизусть, либо же читаю другие книги, взятые с полок подсобной библиотеки, новые для меня, но не связанные с изучаемой мною проблемой. В одиннадцать я снова справляюсь о моих документах и карточках. Ничего! Ни слуху ни духу! Библиотекарь сообщает мне это с явным беспокойством. Утешение слабое, но все-таки утешение, ибо я полагаю, что он по крайней мере постарается вознаградить меня за потерянное время. Час спустя, порывшись в каталогах, я возобновляю заказ и вручаю ему. Тогда я узнаю, что нужные документы я получу только в среду, потому что завтра состоится какое-то ватиканское торжество: музей и библиотека закрыты. Вот тебе и на! Это означает, что за целую неделю моя работа не продвинется вперед ни на шаг. В прошлую среду, когда Кампили вызвал меня из библиотеки, чтоб сообщить о смерти епископа Гожелинского, я подумал, что в связи с этим срок моего пребывания в Риме очень сократится, и мечтал остаться еще на неделю, твердо веря, что недели мне будет достаточно для завершения архивных розысков. А между тем моя работа почти не подвинулась. Топчусь на месте и тем не менее рассчитываю, что будущая неделя окажется более удачной. Разумеется, у меня нет никакой уверенности, что в ближайшую среду в мои руки попадут хорошо сохранившиеся печати, которые подтвердят мою гипотезу и увенчают мою голову лаврами столь желанного открытия. Во всяком случае, задержки с доставкой материала больше не будет. Мне с таким озабоченным видом сообщили, будто мои старые требования затерялись, и так торопливо приняли новые заказы, что я вижу в этом известную гарантию на будущее.

Со священником Евгением Пиоланти — обычные разговоры. Мне наконец удалось затащить его на чашку кофе в маленький бар напротив входа в Ватикан. Он отбивается от угощения, но я

побеждаю его упорство веским аргументом: раз я был его гостем, он не вправе мне отказывать. Тогда он приносит из гардеробной свой термос и пакетик с едой и возобновляет борьбу в баре, пытаясь утолить голод принесенными запасами. Тихим голосом он спорит со мной. Но в конце концов, когда перед ним ставят свежий, горячий кофе и хрустящие рожки, которые я заказываю для нас обоих, он пьет и ест, а я завинчиваю крышку его термоса и снова заворачиваю распакованную еду. Мы оба смеемся, я торжественно, он смущен.

Я ему не рассказываю о своих библиотечных заботах; он хоть и священник, но я по всему вижу, что в библиотеке он чувствует себя чужим и ничем мне не сможет помочь. Работников библиотеки он пугается. Несколько дней назад, когда к нам подошел разыскивавший меня дон Паоло Корси, Пиоланти исчез в одно мгновение. Даже в гардеробной, забирая свои вещи, он от волнения покрывается потом. Если бы я взял его с собой в отдел каталогов, Пиоланти не смог бы выдать из себя ни слова в мою защиту. Поэтому я не рассказываю ему о моих неприятностях. И вообще о том, над чем я работаю. Над чем он сам корпит, я тоже не знаю. Что-то читает. Заметок не делает. Только очень медленно одолевает то один, то другой толстый том. Я заметил также — мы сидим близко друг от друга, и волей-неволей я наблюдаю за ним, — что время от времени он возвращается к уже прочитанным страницам.

Он часто задумывается, застывает, читая какое-нибудь место. Но все это, быть может, попросту результат жары. Зной, духота. Ничего не лезет в голову. Даже мне, натренированному в научной работе. Тем более ему, рядовому сельскому священнику, далекому, я полагаю, от занятий подобного рода. И вот он сидит над страницами печатного текста, тупо в них всматриваясь, свесив над ними рыжеватую голову либо подняв ее, и смотрит в пространство глубоко запавшими глазами, которые от этого бесплодного труда, кажется, запали еще глубже.

Выясняется, однако, что при всем том он написал книжку. Проговорился он случайно, спрашивая, не подготавливаю ли я какую-нибудь научную работу.

— Да, — ответил я, — но, даже если все пойдет удачно, получится самое большее статья для специального издания.

— А у вас уже есть какие-нибудь публикации?

— Несколько. Я написал также книжку.

— Она доставила вам удовлетворение?

— Скорее да.

— Какой вы счастливец!

— До счастья далеко! — засмеялся я.

— Я тоже напечатал одну вещь, — сообщил он тогда.

— Статью?

— Целую книгу.

— Я обязательно должен прочесть. Большая книга?
— Не особенно. Двести страниц.
— Нет ли ее у вас случайно при себе? В перерывах между работой над документами я охотно бы ее проглядел.
— Ох нет, нет ее у меня.
— Ну тогда я выпишу на нее требование. В библиотеке она, разумеется, есть. Скажите, пожалуйста, как она озаглавлена?
— Нет, нет, нет, пожалуйста, не делайте этого!
— Авторская скромность?— Я снова засмеялся.
— Нет, нет! Но решительно прошу вас этого не делать! Обещайте мне, пожалуйста, что вы ни под каким видом этого не делаете.

Я дал ему слово. По этому случаю я пожал его большую, сильную руку. Я запомнил это потому, что обычно мы только кланялись, здороваясь и прощаясь. Священник кланялся мне, если приходил позднее и заставлял меня уже за столом. Всякий раз, когда я уходил раньше, разморенный жарой да вдобавок и вынужденным бездельем, я тоже только кланялся ему.

— Торжественно обещаю!— сказал я.

Но в тот же самый день, несколько часов спустя, я спросил про эту книжку в большой ватиканской книжной лавке на виа делла Кончилиационе. У меня в кармане был билет в кино, сеанс начинался только через двадцать минут, и, вместо того чтобы торчать в фойе, я вышел на улицу. За углом я увидел огромную, ярко освещенную книжную лавку. Прогуливаясь по вечерам близ собора святого Петра, я не раз обращал на нее внимание, но в те часы двери лавки были закрыты и свет в ней не горел. А вот теперь я заглянул внутрь. Какие великолепные книги лежали на массивных длинных прилавках! Различные жизнеописания, художественные монографии, альбомы, посвященные религиозному искусству, богато иллюстрированные литургические справочники. Обслуживали лавку люди в сутанах. Видимо, они не принадлежали к преуспевающей части духовенства и здесь немного подрабатывали. Но, прежде чем я понял, что передо мной стоит такой же продавец, как и все остальные в этой лавке, я с удивлением поглядел на седого священника, который обратился ко мне с вопросом:

— Чем можем служить?

— Дайте мне, пожалуйста, книгу священника Пиоланти,— сказал я тогда.

Хотя книжная лавка тоже находится в Ватикане, все-таки это не Ватиканская библиотека, и, следовательно, я не нарушил своего обещания. Впрочем, однажды сказав себе, что Пиоланти, видимо, очень чувствителен ко всему, что касается его книги, я в дальнейшем придерживался этой версии. И не считал, будто поступаю неэтично, спрашивая про его книгу.

— Вы желаете книгу отца Пиоланти.— Седой священник вни-

мательно посмотрел на меня.—Нет, у нас нет этой книги.

— А где я могу ее достать?

— Не скажу вам,—покачал он головой.

— А как она называется?

Священник не сводил с меня глаз и не переставал качать головой. Его «не скажу вам» в равной мере могло означать «не сумею вам сказать» и «не хочу». Однако, когда на вопрос о заглавии он в точности повторил ту же фразу, я понял, что должен толковать его слова в другом значении.

Я спросил:

— Значит ли это, что книга священника Пиоланти не отвечает вашим требованиям?

— Ее нет в продаже. Чем в таком случае мы можем вам быть полезны? Если вас интересуют исследования об отсталой в своем развитии итальянской деревне, то у нас имеются превосходные и очень серьезные книги на эту тему.

— Спасибо,—ответил я.—Может быть, зайду в другой раз, а сейчас мне уже пора.

Я взглянул на часы. В самом деле! Нужно немедленно бежать, иначе я опоздаю. «Бедный Пиоланти,—подумал я,—так вот в какое затруднительное положение он попал!» Фильм был неплохой, американский, остросюжетный. Следя за ходом действия, я забыл о собственных заботах, что уж говорить о чужих. После кино я пошел прямо домой. Лакей еще не спал и сообщил мне, что синьор Кампили вернулся из Аbruцц, но тут же уехал на воскресенье в Остию. Вспомнив о его просьбе или, вернее, предостережении, я сказал, что хоть завтра и воскресенье, я позавтракаю в обычное время, так как потом пойду к мессе. Я выбрал расположенную неподалеку церковь святого Онуфрия, от которой начинается чудеснейшая прогулка по Яникулуму; обычно, когда я проходил мимо, церковь бывала закрыта. Я провел там полчаса, тихонько, чтобы не мешать молящимся, переходил от часовни к часовне, разглядывая фрески Доминикино и Пинтуриккио, а также памятник и надгробье Тассо, который последние месяцы перед смертью жил при этой церкви и здесь умер.

Во второй половине дня—чай в пансионате «Ванда». Сердечно и просто здороваюсь со всеми домочадцами. Помимо них присутствуют дама с дочерью и священник. Дама доброжелательная и веселая, из разговора выяснилось, что она бывшая помещица. Священник сухошавый, оживленный, великосветские манеры, сутана с лиловыми кантами—значит, прелат. Время от времени он нарушал молчание, бросая короткие, чаще всего саркастические замечания, которым все благоговейно внимали. Если он высказывал их с улыбкой, впрочем, всегда иронической,—смеялись. Когда же он высказывал их серьезным тоном, никто не смеялся, даже если замечания были забавные. Он постоянно жил в Риме, где руководил эмигрантским научным центром. Услышав

слова «научный центр», я сообразил, кто такой этот священник и как его зовут: Кулеша—историк восточных церквей, солидный ученый; перед войной его перевели из Люблинского католического университета в Рим, в Институту Орьентале при конгрегации пропаганды веры. Со времен войны он ничего не публиковал. В Кракове мне говорили, что Кулеша поглощен политикой. А дама с дочерью попали в Рим в первый год войны. Кажется, у них тут была близкая родственница в монастыре, где и они как будто жили. По крайней мере так получалось из разговора.

Моя особа не вызывала у них особого интереса. Когда меня представили священнику и дамам, старшая из них, мать, сказала:

— О, я вижу, кто-то новый!

— Это и есть наш молодой гость из Кракова, о котором я вам говорила,—пояснила пани Рогульская.

— Ах, правда! Вы, наверное, приехали навестить родных?

Прелат Кулеша пошутил:

— У них стало очень модно посещать родных за границей. Правительство тратит на это огромные деньги. Трогательная забота!

Все засмеялись. Кроме меня. Мы сидели в комнате пани Рогульской. Было тесновато. Отсюда уже вынесли кровать Козицкой—она, вероятно, вернулась в свою комнату. Со всего пансионата притащили кресла. Я узнал кресло, которое стояло в моей комнате, когда я жил в пансионе. Кусок обивки справа на внутренней стороне оторван—значит, то самое. Для гостей сюда внесли три-четыре столика. Надо было следить за каждым движением, как бы что-нибудь не опрокинуть. Но, конечно, здесь нам было лучше, чем в столовой, через которую то и дело проходили постояльцы пансионата.

— Трогательная забота!—повторил Кулеша и продолжал:—Сперва опасно было признаваться, что у тебя есть связи с заграницей, а теперь наоборот: чтобы числиться на хорошем счету, надо иметь за границей родственников. И даже получается так, что если нет у тебя рассеянных по свету отца, матери, сестры или брата, то никуда тебя не пустят. Дудки, сиди дома!

— Преувеличение!—сказал я.

— Метафора,—отпарировал прелат и добавил с деланной важностью:—Простите, я специалист по истории восточных церквей. Мне вы можете верить!

Теперь я засмеялся. Но так как выражение лица у Кулеша было суровое, все приняли его злорадное замечание насупившись, даже Малинский, который в обществе прелата держал себя свободнее, чем остальные. Он не возражал ему, но иногда подхватывал слова Кулеша и развивал его мысль. Остальные же внимали речам Кулеша как абсолютной истине, к которой ничего нельзя добавить. Несколько раз они встречали замечания прелата деликатным смехом, поэтому я сперва не понял, до какой степени

все здесь считаются с его мнением и сколь трепетный страх вызывает у них его личность. Это обнаружилось лишь немного позднее. При всем его светском лоске и даже изяществе как в движениях, так и в способе выражения мыслей, характер у священника был вспыльчивый, бурный.

— В одном только этом пункте не соглашусь с вами,— возразил я прелату в тоне легкой, светской пикировки. После чего чистосердечно и с полной убежденностью добавил:— Зато в других вопросах, и в первую очередь во всем, что касается вашей научной специальности, буду считать для себя честью принять мнение историка и исследователя, которого знают и ценят в научных кругах всей Польши.

— Пожалуйста, без комплиментов!— холодно и резко заявил Кулеша.— Я стреляный воробей, меня не проведешь на такой мякине.

— Я говорю от чистого сердца!— воскликнул я.

— Быть может, и чистого, но разрешите заметить вам, сударь,— наивного! Вы приезжаете сюда, чтобы расколоть эмиграцию. Вашим хозяевам не удалось с помощью агентов сломить наше сопротивление, а теперь пришел черед для сознательных или бессознательных действий через друзей и родных!

Он отвернулся от меня, дав понять, что его не интересуют мои контрдоводы, и тут же завел оживленный разговор с пани Рогульской по поводу организуемого им в ближайшее время польского богослужения. Племянница хозяйки, пани Козицкая, не сводила глаз с прелата. Чувствовалось, что она восхищается им, его словами, его голосом. Когда прелат напал на меня, в ее глазах блеснули радость и ирония. Она сидела поблизости от меня. Перехватив ее взгляд, свой ответ я предназначил ей. Напрасный труд! Было ясно, что она глуха ко всем другим мнениям, кроме мнения Кулеша. К счастью, Малинский прервал мои никому здесь не нужные рассуждения.

— Ну а вообще как дела? От жары не страдаете?

— Вы были правы,— ответил я.— Чем дольше, тем тяжелее. Совершенно нельзя привыкнуть!

— Вот видите! Это сердце! Его сопротивление слабеет.

Он пододвинул ко мне свой стул. Снял большие роговые очки. Вытер платочком глаза, обведенные множеством морщинок, и, вновь вернувшись к моим словам о том, будто Кулеша известен у нас как историк, начал вполголоса расспрашивать меня, как мы, молодые научные работники, вообще относимся к ученым, находящимся в эмиграции. Мы немного поговорили об этом.

— А как складывается в настоящее время ваше отношение к католическим ученым?— спросил он затем.

— К находящимся в эмиграции?

— Нет. По обе стороны границы.

Я пустился в подробные рассуждения. Мы сидели совсем

рядом и разговаривали тихо. Дама с дочкой беседовали с пани Рогоульской, Шумовский что-то объяснял Кулеше. В комнате было шумно. Все-таки священник слышал, о чем мы говорим, потому что внезапно он повернулся к нам. Огонь, который в нем только тлел во время короткой стычки со мною, теперь наконец вспыхнул. Кулеша говорил быстро. Голосом своим он владел, но за содержанием и порядком слов не следил. Ясно было, что он страдает, что он не может привыкнуть к мыслям, которые, наверное, сотни раз высказывал. Боль, злоба, отчаяние, упрямство мешали ему четко их выразить. Он говорил, что смешно предполагать, будто нам разрешают уважать католических ученых. А если нам действительно разрешают, так это подвох и мы попадаем в ловушку. А почему? Потому что согласились стать коллаборационистами. Вернее, пошли на это, стремясь к миру и восстановлению страны. В казуистике такого сотрудничества с властью суть всей опасности. Только преданность великому, фанатическому католическому движению может спасти нас от всей двусмысленности понятия «восстать из пепла». Это касается не только нас, но всех народов, живущих за красным кордоном. Они состоят из людей, которые хотят жить, и это свойственно человеку. А закончил он так:

— Но пусть они живут с пламенем в груди! А кто же лучше поможет разжечь его в вашей груди, чем великий человеческий пример святости и страдания, на который церковь укажет вам своим перстом? Пример, взятый не из давнего прошлого, а из последних горьких лет, рожденный новыми ужасными гонениями. Годы эти отмечены бесконечным количеством жертв. Многие из них, наверное, уже сегодня увенчаны на небе ореолом святости. Нужно, чтобы как можно скорее достойнейшего из страдальцев украсил нимб и на земле.

Он встал. Вспышка утомила его. Он был бледен. Начал прощаться, легко поворачиваясь всем корпусом к каждому по очереди. К дамам, к Малинскому, к Шумовскому и наконец ко мне. Мы подходили к нему. Он ничего не говорил. То ли он устал, то ли ему были неприятны банальные фразы после всех высказанных им и столь важных для него слов. Но если бы не его молчание, то, глядя со стороны и наблюдая только за жестами Кулеша, можно было бы подумать: вот прелат, человек из высшего общества, прощается с хозяевами и гостями, покидая гостиную. На самом деле все обстоит не так. Об этом свидетельствовала не только тишина в комнате, но и рукопожатие Кулеша — слишком крепкое и продолжительное, пальцы у него при этом дрожали. Мою руку он задержал особенно долго. Я чувствовал, что этим пожатием он как бы продолжает незаконченный разговор. Когда он наконец ушел, мы вернулись на свои места. Никто ни словом не упомянул о его вспышке. Мне кажется, что при всем почтении, с каким к нему здесь относятся,

все уже привыкли к его речам. Что касается меня, то я предпочел бы даже в мыслях к нему не возвращаться. Я думал о нем как о раненом. Его ранили. А он теперь бережит и бережит свои раны. И даже самую эту боль ставит в вину только нам.

XVII

В воскресенье, покидая пансионат «Ванда», я не предполагал, что спустя сутки вернусь сюда с чемоданом на новое жительство. Мне отвели мою прежнюю комнату. Я расположился там. Распаковал вещи и разложил их так же, как раньше. С той лишь разницей, что теперь я занял также ящик столика, поместив в нем заметки, сделанные в библиотеке, а также лупу Кампилли. Я с ужасом обнаружил ее в кармане пиджака, который сегодня утром был на мне. Не знаю, когда отнесу Кампилли его лупу, если в доме на виале Ватикано до конца лета никто постоянно жить не будет. Хозяйка с дочерью вместе с кухаркой завтра переедут из Остии в Аbruццы. Хозяин с зятем до каникул в курии останутся в Остии вместе с лакеем из римской виллы, а сама виλλα в связи с этим окончательно опустеет и, по сути, будет наглухо закрыта.

Обо всем этом мне сегодня после полудня самым любезным тоном сообщил Кампилли. Ему было неприятно, что так получилось. Особенно потому, что, когда мы прощались перед его отъездом в Аbruццы, он ни словом не обмолвился относительно такой возможности. Он объяснял, что жаркие дни в этом году наступили раньше обычного времени, что жена плохо себя чувствует у моря, что в Аbruццах у них, правда, есть прислуга, однако она не справится с работой, когда съедется вся семья. Он без конца извинялся передо мной, я же в свою очередь уверял его, что ничего особенного не случилось, ведь я поселился на вилле просто потому, что так вышло, а вообще-то меня вполне удовлетворял пансионат, где я поначалу устроился.

— Теперь в Рим наехало столько народу! Куда ты денешься? — огорчился Кампилли.

— Вернусь в «Ванду».

— Ты считаешь, что это правильно?

— Почему бы нет?

— А не проехаться ли тебе по Италии?

— Поеду, но позже. Пусть сперва монсиньор Риго ответит нам на письмо. Мы осуществим задуманную комбинацию — перешлем в Торунь дело для передачи отцу. И вот тогда наконец-то я разрешу себе поездку по стране.

В начале нашей встречи я скользь упомянул, что монсиньор молчит как проклятый. Кампилли сделал неопределенный жест рукой — я решил было, что он хочет успокоить меня, — и тут же

заговорил о том, что мне придется покинуть виллу. А затем сказал:

— Боюсь, что, дожидаясь ответа в Риме, ты потеряешь много времени.

Я напомнил ему, что именно так он советовал мне поступить. Ведь он, как и я, был уверен, что монсиньор нам ответит очень скоро, и тогда необходимо будет сразу же подыскать бумаги для Торунни, чтобы ковать железо, пока горячо.

— Разумеется! Но позволь тебе напомнить, что со времени нашего разговора умер епископ Гожелинский.

— Как?—удивился я.—Ведь мы уже после его смерти снова обсуждали, по вашим словам, блистательные прогнозы, и вы целиком одобрили весь дальнейший план действий.

— В таком случае,—согласился Кампилли,—быть может, и в самом деле не стоит уезжать из Рима.

«Он просто забыл»,—подумал я. Множество обязанностей, жара, путешествие—не удивительно, что подробности, касающиеся моего дела, вылетели у него из головы. А у меня была только одна эта забота. Значит, он мог вполне доверять моей памяти.

— А кроме того,—добавил я,—меня удерживает в Риме библиотека.

— Ватиканская?

— Разумеется. Жара жарой, но я посещаю ее аккуратнейшим образом!

Он снова:

— Да бросил бы ты все! Покатался бы немного. Отдохнул.

Я засмеялся:

— Что же это вы меня гоните из Рима!

Тогда он вскипел:

— Я! Да я бы ради тебя горы переверотил! Ради тебя и твоего отца. Но я вижу, ты торчишь здесь и собираешься дальше торчать. И сам уж не знаю, что тебе посоветовать!

— Я думаю, надо придерживаться однажды намеченной линии поведения. Что? Разве не правда? А может быть, вы считаете, что мы допустили какую-нибудь ошибку?

— Ни малейшей! Я дал правильный анализ положения. Особенно исходного, в том виде, как оно мне представлялось непосредственно после твоего приезда.

Обычно веселый, шутливо любезный и даже преувеличенно ласковый со мной, Кампилли сегодня явно был не в своей тарелке. Нервный, напряженный. Мы сидели у него в кабинете в двух шагах от шкафчика с напитками, но вопреки своей привычке Кампилли не потянулся за бутылочкой. Я думал, что, по натуре человек отзывчивый и деликатный, он глупо себя чувствует, отказывая мне в гостеприимстве, и считает более тактичным придержать свои улыбки и любезности, опасаясь, что в данной ситуации они покажутся фальшивыми. И вдруг я понял, что он

чувствует неловкость передо мной и по другим причинам. Оценивая наше исходное положение—как он выразился,—Кампилли уверял меня, что монсиньор даст о себе знать в ближайшие дни, а между тем от него ни слуху ни духу. Значит, Кампилли оказался в дураках. Так я подумал.

— Может быть, вы считаете уместным, чтобы я зашел к монсиньору Риго и напомнил ему о себе?—спросил я.

— Нет! Это бесцельно.

Тогда я рассказал ему, что в Ватиканской библиотеке вот уже несколько дней наталкиваюсь на всяческие трудности при розыске нужных документов, и добавил:

— Стоит жара. Проклятая жара. Люди переутомлены. Легко можно представить себе, что монсиньор уже поручил кому-то меня вызвать и дело затормозилось по вине секретаря и курьера.

— Ничего подобного! Таких вещей в курии не бывает!—обиделся Кампилли.—Риго тебя не ищет. Я видел его сегодня.

— Ну и что?—воскликнул я.—Что он сказал? Ничего вам не говорил? Ничего не просил мне передать?

— Нет.

— Вы полагаете, что он помнит о моем деле?

— В этом можешь быть уверен.

Немного переждав и, признаюсь, довольно для меня неожиданно он сказал:

— В конце концов я полагаю, что ты, в сущности, мог бы возвращаться домой и предоставить дело собственному течению. Поскольку епископ Гожелинский отошел в иной мир, есть надежда, что запрещение, обязательное при его жизни, утратит силу. Все постепенно утрясется, в особенности если преемник епископа Гожелинского на торуньской кафедре проявит терпимость к твоему отцу.

Я весь кипел. Вот передо мной типичный итальянец! Отец, впрочем, предупреждал меня о некоторых свойствах этого народа. Легко воспламеняющегося, расточающего обещания и—даже более того—готового горы своротить. Лишь бы немедленно! Лишь бы сразу! В противном случае они теряют всякий интерес, обо всем забывают. Образцовый пример минутного увлечения. Я был в бешенстве.

— Нет-нет, так я не согласен!—возразил я.—Мой отец стар и не может долго ждать. Если бы со смертью епископа Гожелинского все само собой уладилось, он сообщил бы мне. Разумеется, смерть эта делает положение менее щекотливым, но автоматически ничего изменить не может. Вы знаете, с какой легкостью во всех куриях становится несокрушимой традицией любое указание, любой однажды изданный приказ. Значит, отступать нельзя. Не говоря уже о другом—ведь вы сами дали мне понять, что было бы неправильно уехать из Рима, не дождавшись ответа монсиньора Риго. Неправильно, потому что неуважительно! После нашего

предыдущего разговора я все это хорошо продумал!

Тогда он встал, быстро подошел ко мне, присел на ручку кресла, на котором я сидел, и прижал к груди мою голову. На меня повеяло целым букетом запахов: туалетного мыла, крема для бритья, помады для волос.

— Боже мой!— вскричал он.— Как ты похож на отца! Тянешь, тянешь, а потом ни с того ни с сего взрываешься, как граната. Если ты полон столь твердой решимости, то...

— Мы будем дальше ждать,— закончил я.

— Ну и жди!— сказал он.

— А контакт с вами? У меня, кажется, нет номера вашего телефона в Остии,— задумался я.

— Лучше пиши на римский адрес. Я часто буду заезжать на виллу.

На этом мы расстались. Я пошел наверх, в свою комнату, уложить вещи. Мне пришлось торопиться. Оказалось, что Кампили очень спешит и уже сегодня увозит с собой лакея. Едва я успел закрыть чемодан, лакей подхватил его, отнес в холл и вызвал по телефону такси. С Кампили я попрощался весьма сердечно. В конце концов, я не мог его осуждать за то, что у него такой характер: увлекается, но ненадолго. Тем более что в тот период, когда он увлекся делом отца, то действовал очень энергично. Я не говорю уже о том, что он дал мне тогда деньги, благодаря которым я мог еще неделю-другую ждать в Риме!

На следующий день, во вторник, с утра— Ватиканская библиотека. Дорога с виа Авеццано до площади Святого Петра отнимает у меня много времени. От виллы Кампили до библиотеки было два шага. Я уже привык к этому. А теперь я бесконечно долго еду через весь город. Вдобавок надо пересаживаться, потому что из района, где я живу, нет прямого сообщения с Ватиканом. Таким образом, я переступаю порог библиотеки значительно позднее, чем обычно. Следовало встать раньше. Я сержусь на себя. Но настроение мое исправляется оттого, что погода сегодня бодрящая, свежая, жара наконец спала— значит, можно будет дольше посидеть над документами. На столе, за которым я работаю с тех пор, как начал посещать библиотеку, нахожу записку. Дон Паоло Корси просит меня тотчас к нему явиться.

Иду. В кабинете его нет, вернется через полчаса. Несколько минут топчусь в коридоре. Но так как мне жаль терять время, захожу в отдел архивов за материалами. Работника, который всегда меня обслуживает, нет.

— Его вызвали к префекту библиотеки,— сообщает мне его коллега.

— Надолго?

— На минутку. Подождите, пожалуйста.

Ничего не поделаешь, я жду, но так как в общем зале

каталогов ждать удобнее, я усаживаюсь там. Чтобы занять руки, выдвигаю из шкафа с карточками ящик, обозначенный буквами Пи. Перебираю, перебираю. Наконец: «Пиоланти Евгений, дон, La mia piccola raggoschia¹. Орсино. 1957». Я быстро засовываю карточку на прежнее место. Она перечеркнута! Гм! Что же он написал о «своем маленьком приходе», если это вызвало такую реакцию? Заглавие совсем невинное! Я задумываюсь. Вдруг вспоминаю, что уже пора проверить, не вернулся ли дон Корси. Да. Вернулся.

Я поздоровался. Дон Корси встал. Черный. Очень высокий. Губы поджаты. Под глазами синие круги. Широким, медленным жестом он указал мне на кресло, после чего тоже неторопливо обошел письменный стол и сел в напряженной позе. Крепко сплел руки, даже суставы пальцев у него хрустнули. Сплетенные таким способом руки он то опускал на стол, то подносил ко рту, словно брал размах перед разговором со мной. Наконец:

— Должен сообщить вам неприятную новость. Вы больше не сможете пользоваться нашей библиотекой.

Я замер.

— Не смогу? — прошептал я.

— К сожалению.

— Но что случилось? Что произошло?

— Абсолютно ничего! Попросту мы вынуждены отнять у вас пропуск.

— Значит, произошло нечто новое! Наверное, меня в чем-то обвиняют. Но я ни в чем, совершенно ни в чем не могу себя упрекнуть и уверен, что это недоразумение.

Выразительно шевеля губами, словно обращаясь к глухонемому, дон Корси вежливо сказал:

— Вы приехали из Польши, не правда ли?

— Это было известно с самого начала. Я приехал из Кракова. Мы даже разговаривали с вами об этом городе. Вы вспоминаете?

— Вы приехали из Польши, не правда ли? — повторил он.

Не я был глух. Глухим был он! По крайней мере он был глух к моим доводам.

— Из страны, которой управляют враги церкви, — продолжал дон Паоло. — Значит, по логике вещей гражданин такой страны не может пользоваться гостеприимством библиотеки святой римской церкви. Я огорчен и прошу вас верить, что не только понимаю ваши чувства, но в известной мере их разделяю. Я с радостью вас принял, когда вы пришли ко мне по рекомендации моего друга Кампилли. Мне в самом деле приятно было приветствовать вас здесь. Мы согласились ради вас нарушить наш обычный распорядок. К сожалению, для такого исключения из твердых правил,

¹ Мой маленький приход (итал.).

для такой привилегии нет никаких оснований. Абсолютно, абсолютно никаких!

Все во мне восставало против подобного решения.

— Но что я скажу синьору Кампилли?—воскликнул я.— Он никогда не поверит, что только по этим причинам вы изгоняете меня из библиотеки!

— Поверит! Поверит! А точнее говоря, уже поверил. Я вчера разговаривал с ним.

— Вчера?—удивился я.— В котором часу?

— В котором?—Теперь он удивился столь обстоятельному допросу.— В двенадцать или в час. Примерно в это время.

— В таком случае все кончено!—вскричал я.

— Почему так драматично! Вы человек молодой, можете подождать, пока времена изменятся. В тех строгих правилах, о которых я говорил, тоже могут произойти изменения. Ведь это не догматы!

Утешая меня таким манером, он едва заметно кисло улыбался. А мою голову и сердце сверлила одна мысль: меня отрывают от моих печатей, мешают установить истину или, если угодно, сделать научное открытие, на след которого я напал! Движимый досадой, упрямством, я унизился до просьбы о мелкой, в конце концов, любезности: я попросил, чтобы мне разрешили поработать в библиотеке сегодня до часу.

— Раз я уже здесь,—сказал я.

— Хорошо,—без всякого энтузиазма согласился он и добавил: Но á пророс. Верните, пожалуйста, входной билет в библиотеку, который я вам выписал. Для порядка.

Я положил билет на стол. Дон Корси встал. На прощанье мы оба низко поклонились, причем у нас обоих не было охоты смотреть друг другу в глаза. Не теряя ни минуты, я отправился к работнику, который выдавал мне документы. Он уже был на месте. Но документов не оказалось!

— Как?—возмутился я.—Архив снова ничего для меня не разыскал!

— Да нет же! Для вас разыскали затребованные материалы. Но я отослал их назад, так как мне сообщили, что вы больше не будете пользоваться нашей библиотекой.

Я молча повернулся. Побежал в читальню. Взял заметки. Пиоланти не было за его столом. Я не стал его искать. Я больше был не в силах кого-то или что-то здесь искать.

XVIII

Быстрым шагом я прошел дворы и улочки внутри Ватикана, ведущие к воротам Святой Анны, и вскочил в троллейбус. Мне хотелось как можно скорее очутиться подальше от этих мест.

Близ площади Святого Андреа, и, значит, совсем рядом с дворцом Борромини, у меня была пересадка. Сердце мое сжалось при виде этого отеля, любимого отеля отца, где недавно я пережил минуты надежды и даже твердой уверенности, что все образуется. Я чувствовал, что произошли новые события, нарушившие наши расчеты. Я не подозревал Кампили в неискренности и вовсе не думал, что он сказал мне неправду. Да, его семья в этом году, наверное, раньше обычного перебралась в Абруццы, а он — в Остию. Но почему он не передал мне своего разговора с Корси? Почему не избавил меня от невыносимо неприятной сегодняшней истории? Не объяснил мне ее настоящие причины? Струсил! Без сомнения, струсил! Горечь, досада, бешенство душили меня, когда я въехал на железнодорожный мост неподалеку от улицы Авеццано. Мост дрожал. Поезда гудели. Со всех сторон меня оглушали шум, крик, звучащая по радио музыка. И я сразу отказался от намерения прогуляться пешком, чтобы успокоить нервы. Перспектива одинокого затворничества в комнате тоже меня не привлекала. Поэтому, наткнувшись в холле «Ванды» на Малинского, я с благодарностью принял его предложение прокатиться за город. Быть в движении, не смотреть все время в одну точку, развлечь себя каким-нибудь разговором — вот в чем я нуждался! Малинский вернулся в свою комнату за собакой, а я со злостью швырнул на кровать ненужные мне больше заметки и лупу. Увидев меня, бульдог заворчал, но в машине он успокоился и уселся у меня на коленях. Машина тронулась.

— Куда мы направимся? — спросил Малинский. — К морю?

— Лишь бы не в Остию! — воскликнул я.

— А почему?

— Не знаю!

— Там слишком людно? Вы этого боитесь? Но сегодня ведь будни.

— Остию я видел, — сказал я. — Лучше поедем туда, где я еще не был.

— Очень разумное решение, и, кроме того, вы очень разумно поступили, решившись провести день в праздности.

Я не понял. Он пояснил:

— Я вижу, что сегодня вы наплевали на свою библиотеку.

При слове «библиотека» я вздрогнул. Собака начала ворчать. Я со злостью возразил:

— Да нет, я там был. Только ушел раньше обычного.

Малинский снял руку с руля и погладил собаку.

— Вы сегодня очень взволнованы, — отметил он.

— Не спорю, — согласился я.

— У вас неприятности?

На этот вопрос я не ответил. Немного погодя Малинский сказал:

— Мы мало знакомы, но, поверьте, у нас в пансионате все

относятся к вам с симпатией. А что касается меня, так я, сверх того, с полным удовольствием окажу вам помощь. Вы всегда можете рассчитывать на мое сочувствие, и я умею хранить тайны.

— Искренне благодарю.

— В таком случае жаль, что вы не хотите мне сказать, что произошло. Но если случилось неприятности деликатного свойства, то я, естественно, не настаиваю. Деликатного и, скажем, оскорбительного для вас.

— Меня выставили из библиотеки,—вырвалось у меня.— Вот что случилось. Я не чувствую себя оскорбленным. Я только возмущен. Кому это нужно, кто может быть заинтересован в том, чтобы меня, начинающего ученого, который...

Малинский прервал меня:

— Минуточку. Начнем по порядку. Вам дал рекомендацию для библиотеки адвокат Кампилли. Не правда ли?

— Да.

— Я догадался об этом. Он человек с большими связями в курии. Я не допускаю, чтобы у вас отобрали пропуск, не сообщив ему об этом заранее. Вы должны с ним сейчас же переговорить и выяснить, в чем тут дело.

— Бесцельно,—возразил я.

— А почему?

Тогда я ему объяснил, почему я уверен, что Кампилли ничего тут не сделает. Его заранее обо всем уведомили, а он при встрече со мной словно воды в рот набрал. Значит, не хочет вмешиваться. Вероятно, кому-то, с чьим мнением он считается, не понравилось, что я хожу в библиотеку. Например, прелату Кулеше или другому высокому лицу из среды польской белой эмиграции.

Услышав это, Малинский пожал плечами.

— Чистая фантазия!—иронически заметил он.—Кампилли имеет больше весу, чем десять Кулеш! Я очень хорошо знаю курию и кто как в ней ценится и не бросаю слов на ветер. Могу вас также заверить, что дело не в вашей особе. Кампилли—это Кампилли, его рекомендация—не пустяк, но он вас не рекомендовал бы, если бы ваша биография вызывала у него сомнения, да и в библиотеку вас бы не допустили, не проверив, все ли в порядке. У него не было сомнений, библиотека проверила, и примите как абсолютную истину, что тогда вы были чисты как стеклышко. До сегодняшнего дня или до вчерашнего—безразлично. За эти дни, за это время, вероятно, случилось нечто новое, и отношение к вам сразу изменилось. Вот почему дали отбой. Вот почему поднялась паника. Но что такое? Что это такое?

— На моей совести нет ничего. Я ни в чем не виноват. Ручаюсь вам.

Он поморщился.

— Вы все принимаете на свой счет. А между тем, представьте,^е что сами по себе вы в порядке, а вокруг вас ведется какая-то

темная игра. Я держусь в стороне от курии, так что не знаю, в чем там дело. Но люди, которые стоят к ней ближе, уже что-то почуяли. Это ясно!

Мы въехали в маленький городок. Замусоренный, грязный. Одна улица, другая, третья, площадь. Еще один поворот, и вдруг открывается вид на десятки мачт, белые корпуса кораблей, барки: порт.

— Это Фиумичино,—объяснил Малинский.—Рыбацкий порт и весьма захудалый пляж. Мы можем здесь спокойно поговорить. Знакомых не встретим.

Он остановил машину возле большой беседки с видом на море. Мы вошли в беседку. Малинский заказал какую-то рыбу и подробно описал мне ее достоинства. К рыбе вино, по его мнению—тоже необыкновенное. Он обстоятельно обсуждал с кельнером все заказанные блюда. Я слушал краем уха. Когда же он закончил разговор с кельнером, вернулся к теме, которую уже частично осветил, и снова сказал, что старается держаться подальше от курии, хотя она фактически его кормит,—я стал слушать внимательней. Оказывается, он помогает благотворительным учреждениям и монашеским орденам обменивать товары, получаемые ими в дар из-за границы,—всякие ненужные предметы роскоши—на разные полезные вещи первой необходимости, а иногда и продавать эти товары, сообразуясь с тем, что в данный момент диктует положение на рынке.

— Помимо этого, я ни во что не вмешиваюсь. Тружусь. Зарабатываю. В течение тридцати лет я был офицером, к старости стал коммивояжером. Как говорится: ничего не поделаешь. К счастью, я несколько лет занимался дипломатией. До войны был советником в Риме. Пришла война, меня прогнали. Потом, когда перестали травить людей моего типа, я после смерти Сикорского вернулся награничную работу. На этот раз консульскую. Побывал в разных местах, пока наконец снова не попал в Рим. Благодаря этой службе познакомился с коммерцией. После сорок пятого года пустил в ход свои наличные деньги и знакомства и занялся торговым посредничеством, о котором вам уже говорил. Не сую нос, куда не следует. Не гоняюсь за ватиканскими сплетнями. Склоками не пробаиваюсь. Не подглядываю и не подслушиваю. И все же я знаю среду.

— Курию?—спросил я.

А потом:
— Курию,—подтвердил он.

А потом:

— Вы согласны поговорить со мной откровенно?

— Разумеется!

— Правда ли, что ваш отец был врагом епископа Гожелинского?

— Нет.

— Вы можете это категорически опровергнуть?

— В последнее время они не питали друг к другу симпатии.

— Значит, все-таки?..

— Мне кажется, что враждебность и отсутствие симпатии — вещи совершенно различные. Уверены ли вы, что здесь именно так оценивают отношение моего отца к епископу? Не скажете ли, кто вам это сообщил?

— Я уверен, что говорили о враждебности. О враждебности или ненависти, да, да! А что касается того, кто говорил, то, увы, я должен сохранить тайну. Скажу только, что я слышал об этом в одном монастыре. Даже уточню — в польском. Я как-то сказал, что у нас в «Ванде» остановился симпатичный молодой человек, приезжий из Польши. Там это было известно, речь зашла о вашем отце, и мои собеседники выразили сожаление именно по тому поводу, о котором я говорил.

У меня бешено заколотилось сердце.

— Это и есть, разумеется, источник всех интриг, — прошипел я сквозь зубы. — Монастырь и его сплетни. А между тем если кто кого ненавидел, если кто кого преследовал, так это епископ моего отца, а вовсе не наоборот! Можете от моего имени сообщить об этом своим монахам!

— Монахиням! — мягко поправил меня Малинский. — Старым добрым женщинам. Тихим и не имеющим никакого голоса в курии. Если они и насплетничали на вашего отца, так только богу в молитвах, прося его смиростивиться. Источник другой!

Теперь я с напряженным вниманием слушал, что он говорит. К сожалению, он отвлекся. Сперва потому, что кельнер подавал вино, салат, рыбу, и каждое новое блюдо Малинский встречал шутливым афоризмом. Затем куда-то запропастился бульдог. Нашелся. Потом нужно было отведать рыбу, пока она горячая. Налец я не утерпел:

— Но где же первоисточник? Кто? Почему?

— А если предположить, что причина в епископе Гожелинском?

— Ведь он умер! — воскликнул я.

— Но память о нем жива. Разве нельзя предположить, что в курии решили создать культ его памяти и сам по себе этот факт стал помехой на вашем пути?

— Создать культ! — испугался я. — О чем вы говорите?

— Разве не понятно? — возразил он. — Вы, как сын консультантского адвоката, должны в таких вещах разбираться куда лучше, чем я — офицер, консул и коммерсант.

Он заплатил по счету и взял своего бульдога под мышку. Мы сели в машину и поехали в сторону Рима. Его слова душевно парализовали меня. Они меня испугали, хотя в них не было точности и видимой связи. Вопреки его предположениям я вовсе не был специалистом по церковным делам, однако я был достаточно в них сведущ, чтобы отвергнуть его гипотезу. Это правда, что епископа все уважали. Человек он был упрямый и

злопамятный, но, несомненно, порядочный. Допустим, что даже больше того, намного больше, но ничего сверх заурядных достоинств и заурядных добродетелей. Разумеется, если применять к его личности не обычную меру, а такую, какая применима по отношению к священнослужителям и прелатам на руководящих постах. Он был выше своего окружения. Согласен. Против этого нельзя было возражать. Поэтому-то многие люди и считали епископа человеком выдающимся. Я тоже, всякий раз как о нем заходила речь, особенно в Риме, называл его выдающимся. Так мне советовал отец. Впрочем, я и сам не возражал. В моем положении было бы некрасиво принижать достоинства епископа. Но это все! Все!

— Епископ умер в прошлую среду,—в конце концов я заставил себя ответить Малинскому.—Шесть дней тому назад. Я слышал, что в Ватикане решения принимают исподволь, после зрелого размышления. Почему же вдруг такая спешка?

— А кто же говорит о решениях!—вскричал Малинский.—Ничего подобного! Пришло сообщение о смерти. В некоторых монастырях и церквях провели богослужения. Заупокойные обедни, скажем, более торжественные, чем обычно. Только и всего.

— Но почему же как раз в данном случае более торжественные?—напирал я на него, требуя объяснения.—Ведь для Ватикана такая смерть не в новинку. Масштабы церкви так велики, что в Рим чуть ли не каждый день должны приходить скорбные вести. Вероятно, только очень немногие из них вызывают здесь особый отклик, в таком духе, что могут всерьез возникнуть разговоры о культе.

— Не знаю,—ответил Малинский.—Я вас уже предупредил, что не разбираюсь в этих вопросах. Вы заметили, что к вам стали относиться настороженно: вас выставили из Ватиканской библиотеки; адвокат Кампили, хоть он человек и влиятельный, не вступился за вас... Услышав об этом непосредственно из ваших уст, я поставил диагноз: вокруг вас ведется игра! Затем я вспомнил, что мне довелось услышать о вашем отце и покойном епископе и какой шум вызвала в Риме его смерть. Сопоставив одно с другим, я предложил диагноз самого общего характера. На этом моя роль кончается.

Я закрыл глаза и раза два потер влажными руками вспотевшее лицо. Чувствовал я себя скверно. Был измучен, разбит. Могу сказать, что в этот прекрасный день, с кристально чистым, прохладным воздухом, даже физически я чувствовал себя хуже, чем во все последние знойные дни с таким низким давлением, что сердце едва не лопалось. Я старался пересилить себя и поддерживать беседу, но Малинский сказал уже все, что знал, и теперь повторялся. Он выражал сожаление по поводу того, что мы раньше не поговорили, у него ведь с самого начала было такое намерение, и он мне предлагал свою дружбу с первого же дня.

Малинский подчеркнул, что мне это было бы полезно. Внимательней прислушиваясь к тому, что говорят в разных кругах и в разной среде, он, к примеру, сегодня намного больше знал бы о деле и, опираясь на более богатую информацию, пришел бы к более веским выводам.

— Подумаем! Подумаем!— твердил он в ответ на мои дальнейшие расспросы.— Подумаем, что все это может означать. Попробуем разузнать. Но вы своим путем тоже ведите розыски. Может быть, ваши дела вовсе не так плохи, как нам кажется. Не знаете ли вы в Риме, помимо Кампилли, какого-нибудь важного, солидного человека, с кем вы могли бы откровенно поговорить? И который захотел бы и смог бы вам помочь?

— Я знаю одного влиятельного иезуита,— робко заметил я.

— У каждого здесь найдется такой знакомый,— без энтузиазма встретил мое сообщение Малинский.— Где его резиденция? В их главном штабе на Борго-Сан-Спирито или в канцеляриях Вилла Мальта?

— Нет. На пьяцца делла Пилотта. В университете.

— Гм! Ну так бегите туда.

Я попросил его остановить машину поблизости от Грегорианы; расставшись с Малинским, купил в первом попавшемся киоске почтовую бумагу и конверты. Затем в баре написал несколько слов священнику де Восу, таких же точно, с какими уже однажды обращался к нему: просил о встрече и предупреждал, что позвоню на следующий день с самого утра—справлюсь, может ли он меня принять и когда. Потом я отнес письмо. К обеду в «Ванду» я не поехал. У меня не хватило сил. Впрочем, после рыбы в Фиумичино я не был голоден. Я выпил только кофе. А потом направился вниз, в сторону Колизея. Затем по лестнице—к Эксвилину. Здесь, в садах, провел несколько часов, бродя среди руин и памятников древности. Наконец я успокоился и за ужином в «Ванде» уже запросто принимал участие в общем разговоре. Когда же я очутился в комнате один, нахлынула новая волна раздражения и горечи. Однако я еще раз пересилил себя. Ведь Малинский мог ошибаться. Его уравнивание в значительной мере строилось на неизвестных. Необязательно все из них идут вразрез с моими интересами. Следовало крепко взять себя в руки и, пока еще полностью не сдаваясь, дожждаться разговора со священником де Восом. Я твердил это про себя, твердил до тех пор, пока наконец под утро, бог знает в котором часу, не заснул.

XIX

Тяжелые железные двери. В верхней их части массивные кованые решетки с причудливым орнаментом защищают толстые пласты стекла. Ручка двери похожа на кирпич—большая и

неуклюжая. Нажимаю ее и тяну уже в третий раз. Раньше она легче поддавалась. Упираюсь ногами и дергаю. Я знаю, что должен вести себя спокойно, и не могу. Полчаса назад я позвонил священнику де Восу. Тихим голосом, лишенным всяких интонаций, он сообщил, что может меня сейчас принять. Звонил я без всякой уверенности, сомневаясь, согласится ли он, а если согласится, то не станет ли откладывать встречу. Услышав, что он согласен, я поблагодарил его. Во время разговора крепко прижимал трубку к уху.

— Благодарю, от всего сердца благодарю,—повторял я.

Его молчание длилось одну, две, пять, десять секунд. Потом:

— Итак, я жду.

Выбегаю из пансионата. Минуту спустя я уже на площади Вилла Фьорелли. Автобус уходит у меня из-под носа. Мчусь на площадь Рагуза к стоянке такси. Нет ни одной машины. Поворачиваю назад. Наконец что-то едет. Троллейбус. Вскрываю. Возле Главного вокзала прыгиваю. Ловлю такси. Вбегаю по парадной полукруглой лестнице перед входом в Грегориану. Пытаюсь открыть эти двери. Наконец они поддаются. Вестибюль. Направо дежурная комната, где сидят два молодых иезуита: один—у коммутатора, другой выдает справки. Я вижу его. Он—меня. Мы здороваемся. Я подхожу.

— К отцу де Восу?—спрашивает он.

Я утвердительно киваю головой.

— Он уже ждет вас.

Я направляюсь к лифту.

— Нет. Он ждет вас в приемной. Пожалуйста за мной.

Я сжимаю в руке карманный календарь со списком вопросов, которые нужно задать священнику де Восу. Я собирался еще раз их просмотреть по дороге. Теперь уже поздно. Главное: как можно меньше говорить самому, слушать. Я про себя повторяю это условие, хотя и знаю, что оно совершенно нереальное. Ведь известно, что священник де Вос неразговорчив, а я от волнения становлюсь болтливым. Молодой иезуит отворяет небольшую белую дверь в конце коридора. Значит, меня ведут в какую-то другую приемную, не в ту, что раньше. Вхожу. Комната другая, но мне сразу бьет в нос прежний, знакомый уже запах пыли и дезинфекции. Священник де Вос сидит посередине комнаты за маленьким столиком, оперев на него руки, сложенные словно для молитвы. Он не встает. Не здоровается. Не поворачивает головы. Указывает мне стул с противоположной стороны столика. Он держится так, словно нам предстоит вернуться к прерванному разговору, с той лишь разницей, что мы перешли в другое помещение.

— Слава господу нашему,—говорю я.

— У вас неприятности.

Это не вопрос, а утверждение.

— Да. Вы уже о них слышали? В Ватиканской библиотеке...

Он остановил меня движением руки.

— Об этом я тоже слышал.

— И о чем еще?

— И о том, что, конечно, внушает вам наибольшее беспокойство.

— Значит, вам известно, что в курии внезапно решили превратить моего отца из пострадавшего в агрессора!

Я снова увидел перед собой маленькую, худую руку де Воса. Рука дрогнула—это означало, что он возражает против моей формулировки. Но опровергать ее он не стал.

— Вот как!—воскликнул я.—Значит, это верно, что таким образом восстанавливают общественное мнение против моего отца!

— В вас говорит горечь,—сказал священник де Вос.

— А что же иное должно говорить,—с раздражением ответил я.—Я в курсе дела, хорошо знаю обоих противников—и моего отца, и епископа. Я приехал сюда, в Рим, полный надежды. Приехал, воодушевленный мыслью, что тому злоупотреблению властью, какое допустил епископ в отношении моего отца, будет положен конец. Как можно тактичнее, как можно деликатнее—согласен, но все-таки в соответствии с правом и справедливостью. А между тем ничего из этого не получилось! И вдобавок еще мои хлопоты обернулись во вред отцу!

— Ваши хлопоты не имели и не имеют ни малейшего влияния на то, как складывается ситуация. Они не принесли плодов. Это не подлежит сомнению, как не может подлежать сомнению и то, что они не принесли плодов потому, что никто теперь в курии не решит ни одного вопроса, к которому причастен священной памяти епископ Гожелинский, не в его пользу. А все по той причине, что образ усопшего, выдающегося князя церкви, растет на глазах. В данных условиях вы должны с этим примириться! Никому не удастся прийти вам на помощь.

— Я хочу понять,—прошептал я.—Если я не в состоянии помочь моему отцу, то по крайней мере хочу объяснить ему, почему так получилось. Но я и этого не смогу сделать. Потому что я не понимаю! Не понимаю!

— Такой простой вещи?—удивленно спросил де Вос после затянувшейся паузы. Видимо, не вполне она была проста, если он так долго размышлял, прежде чем ответил:—Ведь мертвые живут!

— Живут! Живут!—жестко возразил я.—Живут, когда их оживляют! Я хорошо знал епископа Гожелинского. Коль скоро сегодня его «образ растет», как вы говорите, и к тому же так вот сразу, так быстро, то происходит это не в силу его собственной святости, а по воле людей, которые это затеяли.

Священник де Вос нахмурился и повторил:

— В вас говорит горечь. Напомню вам, однако: когда мы в первый раз беседовали о покойном, вы иначе о нем отзывались. Разве вы не сказали, что он ведет жизнь святого?

— Признаюсь!—воскликнул я.—И отнюдь не собираюсь оспаривать того, что он был чистый, достойный уважения человек. Среди духовенства таких очень много. И поэтому, по моему глубочайшему убеждению, одних хороших качеств епископа Гожелинского не хватило бы для того, чтобы так отличать его, как это делают теперь в Риме. Значит, ясно, что кому-то это выгодно! Кто-то в этом заинтересован!

— Может быть, церковь,—прошептал де Вос.—Вы произнесли некрасивое слово. Вы сказали: затеяли. Вы повторяете инсинуации: кому-то, кто-то. Такими выражениями вы еще больше себя взвинчиваете. Зачем? Слова ваши неуместны и звучат фальшиво. Произошло событие, которое смешало расчеты—ваши и вашего отца. Вас оно возмущает, вы подозреваете злой умысел и корыстные интересы. Неужели вам ни разу не пришло в голову, что природа этого события может оказаться неземной?

Я раздраженно ответил:

— Не верю и никогда не поверю в святость епископа Гожелинского.

— А если церковь ее признает, вы и тогда будете отрицать?—спросил он.

Я больше не владел собой; забыв о предостережениях отца, о правилах тактики и даже о простой вежливости, я повысил голос:

— Но это же бессмыслица!

— Или, совсем наоборот, полно глубокого смысла, сын мой. Ведь часто мудрость, которую мы не понимаем, кажется нам глупостью. Смирение, смирение, сын мой. Вам нужны смирение и воля, самая искренняя, добрая воля, чтобы понять непонятные вам вещи, которые вы должны, даже обязаны, понять, если действительно, несмотря на неудачу, хотите морально поддержать отца, правильно осветив истинные причины постигшей его неудачи.

— Да,—сказал я.—Ничего другого мне не осталось.

Мне было бы куда легче, если бы минуту назад, чуть ли не крича от возбуждения, я вскочил бы и убежал прочь от того места, где мне вполне официально сообщили о поражении и где мне больше нечего делать, разве что еще час или два переливать из пустого в порожнее. Но я не убежал. Я остался из уважения к священнику де Восу. Меня не интересовало, что он мне скажет. А в моем взволнованном состоянии я определенно не годился для роли человека, оказывающего другому ту моральную поддержку, о которой упомянул де Вос. Да и пререкаться с ним было бы так же нелепо, как пререкаться с почтальоном из-за того, что доставленное им письмо содержит дурные вести. И

все-таки я не двинулся с места. Я не смог. Именно из уважения к отцу де Восу. Я хорошо понимал, что ему тоже невесело. Не мог я забыть и того, что вначале, когда это было возможно, он обещал мне помочь. И даже еще сегодня принял меня, не откладывая неприятной для него встречи.

— Я жду. Жду этой моральной поддержки,—сказал я, стиснув зубы.

Священник еще ниже опустил голову. Некоторое время он сидел неподвижно и молчал, прижимая сплетенные руки к столику, разделявшему нас. То ли он размышлял, то ли молился, то ли собирался с духом—не знаю. Пожалуй, верно последнее! Вне сомнения, он тоже охотнее всего ушел бы отсюда, он не привык, чтобы такие люди, как я, незначительные люди, которых не пускают дальше приемной, возражали ему и к тому же крикливо, саркастически. Но вот его маленькая, красиво вылепленная голова с коротко остриженными седыми волосами шевельнулась. Сперва вправо, потом влево. Он несколько раз повертел ею, глубоко втягивая в себя воздух.

— Нет, нет, нет,—услышал я наконец.—В таком настроении вам не следует внимать моим словам.

Я прикоснулся к его рукам, лежавшим на столе. Я хотел их пожать, но он их отдернул.

— Простите меня, пожалуйста,—сказал я.—Тон мой был неуместный. Но ведь вы понимаете, что со мной происходит. Я знаю, что вы не такой, как все прочие здесь. И еще раз прошу простить меня, поскольку я в обиде не на вас, а только на курию.

Священник де Вос выпрямился.

— Я ее частица. А теперь выслушайте меня спокойно. Не прерывайте меня. Вы курите? Если да, пожалуйста, курите. Здесь можно.

Итак, я закурил, крепко прижимая сигарету к губам. Голову я повернул в сторону, уставившись в одну точку на полу, в один черный квадрат отполированной каменной шахматной доски. Мне казалось, что в такой позе мне легче будет соблюсти приличия, вяло, не протестуя, принять все разъяснения, без дальнейших ненужных возгласов выслушать до конца его выводы, хотя бы и самые казуистические. Пусть говорит, пусть выскажется, выболтается! У него есть на это право. Я от всего сердца надеюсь, что этим правом в обмен за проявленную ко мне доброжелательность. Без возражений все проглочу. И даже более того: пообещаю передать отцу все, что услышу. Но что касается лично меня, то никакая аргументация не убедит меня, поскольку мне известна ее цель, она должна обосновать неприемлемый для меня исход. Я докурив сигарету. Достал из пачки другую. Все это время священник де Вос говорил. Разумеется, по-итальянски. Но, по мере того как его рассуждения затягивались и усложнялись, в его итальянской речи все заметнее пробивался северный, голланд-

ский акцент. Иногда я даже с трудом понимал его. Правда, только изредка, некоторые фразы. Зато мало-помалу мне становилась все более ясной его основная идея. Он старательно, подробно развивал ее минут пятнадцать, а может, и двадцать. Сводилась она, собственно говоря, к тому же, что высказывал прелат Кулеша в воскресенье за чаем у пани Рогульской: церковь уже много-много лет горячо ищет великую святую фигуру, фигуру-символ, символ мученичества и борьбы с той силой, которая в наши дни воплощает основное заблуждение эпохи и является главным врагом бога на земле.

— Великой тоске по идеальному образу,—говорил он,—нужна ось, вокруг которой она могла бы кристаллизоваться. Она лихорадочно пульсирует кровью и огнем в сердцах верующих, в сердцах миллионов, миллионов людей, любящих религию. Это не выдумка курии и не чей-либо—если пользоваться вашим ужасным выражением—злой умысел. Это мистический зов неисчислимой массы человеческих душ, зов, на который может откликнуться одно лишь небо.

Он замолчал и после паузы спросил:

— Теперь вы все поняли? Если нет, спрашивайте, пожалуйста.

— А если небо еще не откликнулось?—начал я размышлять вслух.—Откуда можно знать, что это действительно отклик неба?

— Да, это пока еще неизвестно. Вы знаете, что процедура в вопросах канонизации или причисления к лику святых тянется годами. Таким образом, теперь можно говорить только о некоем первом порыве. О первом предчувствии.

— Предчувствие может оказаться ошибочным!

— Может. Но если оно не окажется ошибочным, то, как вы думаете, ваш отец ему подчинится?

— Епископ ненавидел моего отца,—напомнил я де Восу.—Как же отцу уверовать в святость епископа, от которого он видел только ненависть?

— А вы не думаете, что покойный ненавидел не вашего отца, а то зло, которое в нем заключено? И разве вам не кажется, что в таком случае отец ваш должен поступить так, как поступила бы церковь, то есть отнестись с уважением к этой ненависти и склонить перед ней голову?

— Не знаю, как поступит мой отец,—ответил я.—Во всяком случае, если он и проглотит горькую пилюлю, отнесется к ненависти епископа с уважением, как вы говорите, это не окажет никакого влияния на дело, ради которого я приехал.

— Никакого,—подтвердил священник де Вос.—Если образ покойного и дальше будет расти, то все более плотная тень начнет окутывать вашего отца. На годы.

— До конца жизни,—сказал я.

— Да. Я знаю это. Искренне о том скорблю. Я люблю вашего отца, как и всех моих учеников. Я искренне стремился оказать

ему помощь. Меня лишили такой возможности. Надо нам, однако, с этим примириться, и мне надо, и вашему отцу.

— Вам-то легко. Для вас это только неприятный инцидент.

— Нет, это тернии! Не первые. Не последние.

Взгляды наши встретились. Ненадолго. На несколько секунд. Единственный раз в ходе всего разговора. Во время предыдущих бесед он если и глядел мне в глаза, то лишь мимолетно и словно по рассеянности. Сегодня же это был иной взгляд—тоже быстрый, но явно умышленный. Я прочел в его глазах, что у него на самом деле тяжело на душе.

— И значит, больше ничего, ничего не удастся сделать,— прошептал я.

— Я так полагаю.

— Нет таких дверей, в которые я мог бы постучаться? К монсиньору Риго мне, пожалуй, не стоит снова обращаться...

— Безусловно.

— Но, может быть, существует еще кто-то, кто...

Он прервал меня:

— Кто, где, через кого?

И развел руками.

— С нашей помощью, то есть через синьора Кампилли и через меня, ничего уже здесь не сделаешь. А кроме нас, у вас нет никого...

— Но я спрашиваю: стоит ли? Вообще стоит ли еще пытаться?

— Скитаться здесь еще месяц, два, пять, год, чтобы вернуться к исходной точке? Вы должны сами ответить себе на вопрос: стоит ли? Курия—это лабиринт. Механизм с сотней, с тысячей неизвестных. Я ведь не один размышлял о вашем деле. Я советовался. Приглашая вас сегодня к себе, я знал, что перед нами возникнет дилемма, важнейшая для вас в данный момент: пробовать ли еще или возвращаться? И я продумал мой ответ. На вашем месте я вернулся бы. Но это не совет; таково лишь мое мнение. Если вы, однако, его разделите и покинете Рим, вы покинете его на собственную ответственность. По собственному решению, никем не принуждаемый.

— Спасибо. Понимаю. Ну, я пойду.

Но все-таки еще несколько минут я не двигался с места. Я молчал. Священник молчал. Ждал, пока я успокоюсь. Наконец я встал и крепко пожал его худую, сухонькую руку. Мне очень искренне хотелось его поблагодарить за проявленную ко мне добрую волю. Но я не знал как. Поэтому я только низко поклонился.

— Я знаю, что ничего не могу,— прошептал священник.— И не обманываю вас насчет каких-то моих возможностей. Если, однако, у вас будет тяжело на душе, прошу помнить, что есть в Риме старый, преданный вам священник. Я говорю это на тот случай, если вы останетесь.

— Не думаю,— ответил я.

После обеда я рассказал Малинскому о моей беседе со священником де Восом. Я начал с того, что дальнейшее мое пребывание в Риме считаю теперь беспцельным. И под конец вернулся к первоначальному тезису. Но я еще не принял окончательного решения. При мысли об отъезде из Рима мне становилось тошно. И в особенности при мысли о том, что, например, завтра или послезавтра нужно зайти в какое-нибудь бюро путешествий и прокомпоستировать обратный билет до Кракова на определенный день. Однако надо это сделать. И к тому же сразу, как можно быстрее. Если действительно ничего нельзя добиться, надо отсюда удирать. Сидеть сложа руки в комнате или бродить по городу, утратившему для меня свой вкус и цвет, было бы невыносимо, мучительно. Все это я сказал Малинскому. Он терпеливо выслушал. Не прерывал. Не утешал. Не старался поддержать мой дух, уверяя, будто еще не все потеряно. Я был ему искренне за это признателен. Под конец разговора я добавил еще фразу о том, что сохранию о нем благодарную память.

— Обо мне?—удивился он.—А нельзя ли узнать почему?

— Вы мне раскрыли глаза,—ответил я.

— Неужели? По-моему, это сделал не я, а священник де Вос.

— Вы мне посоветовали еще раз к нему пойти. И оказалось, что это единственный разумный поступок, который я мог сделать. Разговор с де Восом положил конец делу. А то бы я еще много недель слонялся по Риму как идиот.

Я встал. Мы пожали друг другу руки. В дверях Малинский задержал меня еще на минутку.

— Вы едете прямо в Краков или с остановками в пути?

— Не знаю. Не думал об этом.

— А не прокатиться ли вам со мной на машине в Болонью? Я еду послезавтра.

— Ох нет!—вздыхнул я.

Внезапно все во мне восстало против его проекта. Против того, чтобы уже сегодня принять решение, чтобы уже сегодня назначить срок отъезда. Конечно, нужно было ехать. Но какая-то сила внутри меня еще противилась тому, чтобы сразу, теперь же, назначить день. Малинский затащил меня назад в комнату.

— Кажется,—сказал он,—вы намерены продолжать свои попытки.

— Нет. Даю вам слово, я и не собираюсь.

— Даже даете слово!—засмеялся Малинский.—Искренне говоря, я бы больше не пытался. Но это не значит, что новые попытки совершенно лишены смысла.

— К сожалению, отец де Вос ясно мне дал понять, чтоб я не обольщался никакими иллюзиями.

— Ничего подобного! Он вам сказал—по крайней мере это вытекает из того, что вы мне передали,—что через него и через Кампилли, как и через других видных деятелей университета или юристов, вы ничего не добьетесь. Но одновременно он подтвердил, что существуют разные другие двери и вам вольно решать, хотите ли вы туда стучаться или не хотите.

Он пододвинул ко мне кресло, то самое, с которого я только что встал, когда мы начали прощаться.

— Я вас отнюдь не уговариваю,—сказал он.—Но если позднее, вернувшись в Польшу, вы будете упрекать себя, что не использовали какие-то шансы, то лучше, пока есть возможность, еще раз попытаться счастья. Тем более что вы ничем не рискуете.

Затем он перешел к подробностям.

— Я вам сказал вчера, что в Риме каждый человек имеет доступ к какому-нибудь влиятельному иезуиту. Я тоже. Даже к двум. К счастью, это фигуры не такого масштаба, как ваш священник де Вос. К счастью, потому что не являются светилами, к которым приковано всеобщее внимание. Так вот, к счастью, мои иезуиты иной формации. Стало быть, их не смутит, что де Вос уже поставил на вас крест. Их это ни к чему не обязывает. Они люди иного типа. Что вы скажете? Вас это интересует?

Я утвердительно кивнул головой, после чего добавил:

— Лишь бы этот тип не оказался слишком...—я не сразу нашел подходящее определение и наконец шепотом произнес:—...скользким.

Малинский понял и иронически засмеялся.

— Ни в коем случае. Всякие скользкие типы в курии—не моя специальность. А даже если бы это было иначе, я никогда не позволил бы себе шутить с человеком в вашем положении. Ведь вы, безусловно, согласитесь, что только в порядке дурацкой шутки я решился бы направить к таким типам человека—простите меня,—столь оторванного от практической жизни, как вы.

Я его обидел! Надо было объяснить.

— Извините,—сказал я.—Но вы так загадочно выразились. Вы говорите: «иной тип», «иной формации», не давая им точного определения. Отсюда мое предположение.

— Ничего. «Иной» означает попросту: конкретный. А «иной формации»—значит также, что они твердо ступают ногами по земле. Без всякой мистики или тому подобных абстракций. Даже скажу грубее—они корыстны: если мои священники—не один, так другой—усмотрят в вашем деле хоть какие-нибудь выгоды, то сразу его уладят. Только вы опять-таки не вздумайте их заподозрить в материальной корысти. Например, будто им нужны взятки или уж не знаю, что еще вам может взбрести в голову!

Он все еще был раздражен. Тогда я ему объяснил, почему не надо обращать внимания на мои необдуманные слова.

— Разговор со священником де Восом вывел меня из равнове-

сия. Надеюсь, вам это понятно. Я мог сморозить какую-нибудь глупость. Не правда ли? Забудьте об этом, и давайте перейдем к делу.

Он протянул руку и положил ее мне на плечо.

— Хорошо. Перехожу. Теперь, пожалуйста, подумайте, а вечером зайдите ко мне. Или даже завтра утром. Во всяком случае, так, чтобы я до отъезда в Болонью успел предупредить ваших предполагаемых собеседников, что вы к ним явитесь. Разумеется, в том случае, если вас заинтересуют мои предложения.

Я постучался к нему час спустя. Он был прав. Следовало все испробовать. Пусть и без веры, даже без той скромной, глубоко запрятанной веры, с какой я вошел в первый раз к священнику де Восу и к монсеньору Риго. Но—следовало. Следовало покинуть Рим, только исчерпав все возможности, не раньше того. Я так и сказал Малинскому. Он как раз собирался ехать в город. Вернувшись, он сообщил мне, что переговорил по телефону со своим знакомым из генеральной курии Общества иезуитов на Борго Сан-Спирито священником Дуччи, и тот, узнав, что я приезжий, согласился принять меня вне очереди.

— Мы должны у него быть ровно в половине девятого,— закончил Малинский.

Однако на следующий день священник Дуччи заставил нас долго ждать. У него был секретарь. Приемная. Просторная, как в большой конторе. В приемной полно посетителей. Толчея. Непрерывное движение. Телефонные звонки. Быстрый темп. Секретарь, тоже священник, то и дело появлялся в дверях: Все присутствующие устремлялись к нему; движением руки или легким наклоном головы он вызывал к своему шефу очередного просителя, и часто тот сразу же возвращался на прежнее место, так как звонила междугородная и начинались долгие разговоры по телефону. В приемной—мягкие, удобные стулья и кресла, только их слишком мало. Сперва я вставал всякий раз, как кому-нибудь из ожидающих, монаху или священнику—впрочем, сюда приходили преимущественно такие посетители,—негде было сесть. Но Малинский меня удерживал. Наконец, после очередной моей попытки, он рассердился и прошептал:

— Зачем? Сидите спокойно. В эти часы здесь бывает только очень скромная клиентура.

Как раз тогда-то и подошел к нам секретарь.

— Священник Дуччи просит извинить его за задержку и приглашает к себе.

Мы вошли. Прекрасная, светлая, большая комната; красное дерево. Священник—среднего роста, красивый, молодой. Глаза голубые, острые. Взгляд пронизательный, устремленный прямо на вас, не такой уклончивый, как у де Воса. Голос звучный, приятный, решительный и вместе с тем словно снисходительный.

— Никаких телефонных звонков. Абсолютно. Пока не побеседую с господами.

Но едва он отдал это распоряжение, раздался звонок. Долгий разговор. Потом еще один, потом другой. Так что приказ приказом—вернее всего, только из любезности к нам,—а звонки звонками. Наконец минута спокойствия. Легкий наклон головы в направлении ко мне и поощрительное движение руки. Наклон и жест те же, что и у секретаря, который, видимо, перенял их от своего шефа. Я откашлялся. А заговорил Малинский. Я не очень хорошо изъясняюсь по-итальянски—объяснил он, вот почему слово берет он, а не я. Это был предлог. А сама идея правильная. Потому что я никогда не смог бы решиться так кратко изложить дело, подведя ему итог без длительной аргументации. Поначалу его речь показалась мне слишком лапидарной. Я вмешивался, пытаясь добавить какую-то подробность. Но Малинский так же решительно, как недавно в приемной, осадил меня.

— Спокойно,—сказал он.—Я вчера уже говорил об этом священнику.

Когда Малинский замолчал, священник Дуччи снова подарил мне характерный для него и заразительный для его подчиненного жест—наклонил голову и взмахнул рукой. Затем перешел к вопросам:

— Ваш отец, разумеется, превосходно владеет латынью. И устной, и письменной.

— Он окончил «Аполлинаре».

— Знаю. Но это было тридцать лет назад. Он не утратил беглости?

— О нет. Отец свободно говорит по-латыни и даже выступает с речами.

— А по-английски?

— Не так, как по-латыни или по-итальянски. Но этот язык он тоже хорошо знает.

Священник внимательно слушал мои ответы. Вопросы задавал отчетливо. Не торопясь. Но и без пауз. Следующая серия вопросов касалась темы, которой интересовался также и де Вос: физическое состояние отца. Теперь я сказал правду.

— Значит, он не приехал в Рим только потому, что не хотел толкаться в прихожих?

— Не очень это приятно,—прошептал я.—Во всяком случае, уверяю вас, что состояние здоровья моего отца вполне хорошее.

— А может быть, известную роль здесь сыграл вопрос о паспорте? Может быть, вам легче было получить паспорт, чем вашему отцу?

— Нет,—возразил я,—ему получить паспорт совершенно так же легко или трудно, как и мне.

— Значит, ваш отец в любой момент может выехать из Польши?

— Не в любой момент, но, разумеется, может.

Зазвонил телефон. Священник Дуччи протянул руку. Не к трубке, а к звонку. В дверях появился секретарь. Священник Дуччи быстро, резко сказал:

— Меня нет. Договорились. Ни для кого!— Потом обратился ко мне.— В таком случае,— сказал он,— я предлагаю следующее решение: наше общество возьмет дело вашего отца в свои руки. Ваш отец на три года покинет Торунь. Получит кафедру церковного права в указанном нами университете. Наше общество в последнее время основало несколько высших учебных заведений на территории бывших колониальных стран. Профессоров для этих университетов мы охотнее всего подбираем из представителей народов, не связанных с колонизаторами. До отъезда вашего отца из Торунь мы, разумеется, полностью уладим конфликт между ним и курией. Он уедет из Торунь, получив полное удовлетворение. А три года спустя даже сможет вернуться в свою канцелярию и к своим консисториальным обязанностям и делам.

Я развел руками. Не обратив внимания на мой жест, священник Дуччи спросил:

— Вы уполномочены принять решение за отца?

— Это вещь невозможная,— воскликнул я.

— Ну тогда постарайтесь как можно быстрее связаться с ним.

— Невозможно! Невозможно!— повторил я.— Мой отец никогда не согласится на такую сделку!

— А почему?

— У моего отца ничего нет на совести. Зачем же ему обрекать себя на изгнание? На новую несправедливость?

Сдавленным голосом я выдавил из себя еще несколько фраз на эту тему. А вернее, одну, только в нескольких вариантах. Я не мог вырваться из заколдованного круга и упрямо повторял столь ясную для меня мысль: отец должен получить удовлетворение без всяких уступок с его стороны, потому что санкции епископа Гожелинского по отношению к нему были необоснованны. После недолгого колебания священник Дуччи положил конец моим рассуждениям:

— Хорошо, согласен, совершена несправедливость. Могу также заверить вас, что раньше или позже Рим ее исправит. Рим не обидит вашего отца. Но что с того! Время его обидит. Годы неуверенности и ожидания. Вот почему прошу вас еще подумать.

После этих слов мы ушли; кажется, Малинский дал сигнал к отступлению. А может быть, священника снова вызвала междугородная, и звонок, видимо, был важный, если секретарь, невзирая на формальное запрещение, подозвал своего шефа к аппарату. Не помню. На улице я немножко остыл. В разговоре со священником я отверг его план из принципиальных соображений. Я знал, что план Дуччи неприемлем для отца. Даже если бы ему предложили покинуть Торунь на самых почетных условиях, он считал бы себя

оскорбленным. Я не сомневался в том, что в курии найдутся длинные языки и в Торуни сразу обо всем станет известно. Иными словами, все узнают, что запрещение, наложенное покойным епископом, снято, но с известными оговорками. Пока я сидел у священника Дуччи, соображения эти проносились в моей голове сплошным потоком, теперь они возникали раздельно и в результате стали еще более четкими и убедительными.

В машине короткий разговор с Малинским. Он не понимает моей позиции. Уговаривает подумать, обсудить, дать телеграмму отцу. Подозревает, будто я что-то скрываю. Например, что я отказался от предложения Дуччи потому, что меня тревожит физическое состояние отца и вызывают опасения климат, санитарные условия, болезни, которые легко могут обрушиться на пожилого человека, не подготовленного к жизни в колониях. Спрашивает, сколько лет отцу.

— Шестьдесят,—говорю я.

— О, значит, он даже немного старше меня!

Потом он интересуется тем, какого отец сложения, крепкого или слабого.

— Примерно как я,—отвечаю я.

— В таком случае действительно надо подумать о чем-то другом.

Мы расстаемся сразу за Тибром.

— Остановитесь здесь, пожалуйста,—говорю я.

— А что тут такое?—спрашивает он.

Я указываю рукой на вывеску, которую только что заметил. Малинский читает.

— Ах, бюро путешествий!—И наставительно добавляет:— Для этого у вас еще есть время.

Однако мы прощаемся, я благодарю его и остаюсь один.

XXI

Еще один визит. Уже последний! На этот раз на Вилла Мальта. Огромный дворец стоит в саду, примыкающему к парку Боргезе. Во дворце помещается много учреждений, подведомственных Обществу Иисуса. Разные редакции, комиссии, комитеты. С четверть часа я блуждал по этим этажам и коридорам, прежде чем разыскал священника Мироса, к которому меня направил Малинский. Наконец нашел его в небольшой, почти пустой комнате. Нависшие брови, крупный нос, очки в тонкой золотой оправе. Возраст определить трудно: с одинаковым успехом ему можно дать и тридцать лет, и шестьдесят. Улыбающийся, любезный. Если он грек, то, во всяком случае, давно живет в Риме. Безупречная итальянская речь. Без акцента. Быть может, он попросту итальянец греческого происхождения. Я рассказал

ему свою историю. Я уже научился ее излагать. По возможности кратко и, что важнее всего, выделяя только существенные обстоятельства. Священник поглядывал в окно, в парк. Время от времени он закрывал глаза, и лицо его приобретало сосредоточенное выражение, а иногда, в такт моим словам, он слегка покачивал головой, как бы подчеркивая этим, что прекрасно все понимает. Когда я кончил, он сказал:

— Не будем строить иллюзий. Дело не из легких. Я слышал от нашего общего друга, Малинского, что вы решили покинуть Рим. Это очень нехорошо! *Les absents ont toujours tort*, что значит: отсутствующие всегда не правы.

Я возразил. Мое дело по характеру своему было не из тех, которые следует подталкивать. Просто оно приняло дурной оборот. Что изменится оттого, что я буду торчать в Риме и ждать? Время тут ни при чем. Помочь моему делу может исключительно акт доброй воли, решение восстановить правду. Вот и все, чего я добивался, и как раз теперь в последний раз пытаюсь добиться. А сидеть здесь? Зачем? Что еще я могу здесь сделать?

— Ничего. Быть на месте!—вернулся к предыдущей мысли священник Мирос.— Держать руку на пульсе.

Некоторое время мы оба молчали. Нарушил молчание священник.

— Я корю себя,—сказал он,—за то, что дал согласие на нашу встречу и тем самым ввел вас в заблуждение, пробудил в вашем сердце надежду. Выходит, что не следовало вас приглашать. Обманывать ближних не только жестоко, но и грешно. И все-таки, быть может, грех этот мне простится, потому что мной руководило важное соображение. Вы приезжаете к нам из стран, по существу, так мало нам знакомых. Мы плохо в них разбираемся. Теряемся в массе документов, которые прибывают от вас, тонем в потоке материалов, которые вас касаются.

По мере того как он говорил, голос его смягчался, а фразы становились все более внятными и точными. Я понимал, что мысль эта запала ему в душу и тревожит его не первый день. То и дело с уст его срывались политические или научные термины, с которыми я давно освоился, поскольку у нас, в Польше, они вошли в повседневный обиход; здесь, однако, странно их было слышать. Мне даже показалось на какое-то мгновение, что священник ими щеголяет. Нет, совсем наоборот! Поразив меня целой гаммой научно-политических терминов, он стал жаловаться, что путается в них, не ухватывает во всем объеме их значение.

— От этого в равной мере страдаю и я сам,—добавил отец Мирос,—и все мои сотрудники. Впрочем, это не самое худшее,—продолжал он.—Я имею в виду, что такой беде еще можно помочь. Хуже всего то, что за терминологическими или лексическими изменениями скрываются и другие изменения. Они совершаются в ваших душах и в вашем разуме! В вашем обществе. В

комиссии, которой я руковожу, мы изучаем все: вашу прессу, литературу, научные публикации, специально для нас подготовленные отчеты, разработки. Но нам не хватает ключа.

Я предположил, что все сказанное до сих пор было вступлением к долгому разговору о положении в нашей стране.

— Пожалуйста,— сказал я,— если мои разъяснения могут вам пригодиться, я к вашим услугам. Однако попрошу вас задавать конкретные вопросы.

— Да нет же!— воскликнул священник.— Меня интересует не случайный обмен мыслями, а принципиальная постановка вопроса. Судьба нам посылает вас. Человека, выросшего в иной атмосфере. И вместе с тем человека науки, интеллектуала. Скажу больше: судя по характеристике Малинского, вы человек беспристрастный, здравомыслящий. Благодаря этому, благодаря всему этому ваша помощь была бы для нас бесценной. Здесь, в Риме. На месте.

— Но ведь я возвращаюсь домой!

— Значит, не надо возвращаться.

И добавил:

— Мы вас устроим.

— Но меня это не устраивает!

— Можно спросить почему? Разве жизнь в Риме для вас недостаточно заманчива?

— В Польше я занимаюсь научной работой.

— Будете здесь заниматься научной работой.

— То, что вы предлагаете, не научная работа.

— А что же особенное я вам предложил?

Я покраснел.

— То, что вы мне предложили!

Тогда он спокойно спросил:

— А почему вы не хотите это делать?

Я ответил нервно:

— Да разве я знаю! Не хочется, и конец.

Священник снова устремил взор к окну. Вдоволь насмотревшись, он возобновил прерванный разговор.

— Не спорю,— сказал он,— что занятие, которое я вам предлагаю, находится на известном рубеже... Полагаю, однако, что та область, в которой действуем мы, я и моя комиссия, не должна ни у кого вызывать рефлексов самозащиты. В особенности же та роль, которую я для вас отвел. Роль интерпретатора. Попросту сотрудника, разъясняющего нам как материалы, так и факты.

Тут я попытался вставить слово. Он помешал мне.

— Еще одно,— продолжал он.— Не думайте, что вы столкнулись с человеком, консервативно настроенным. Мне близки многие ваши идеалы. Признаю также, что в понимании общественных тенденций церковь допустила ошибки. Значит, мы найдем общий язык. Да и цели наши и средства, если вы решитесь

в них вникнуть, окажутся близкими вам. Я в этом тоже уверен. Мы не куюм в нашей комиссии никаких орудий борьбы. Не стремимся раздувать конфликты. Мы ищем правду. Хотим изучить вашу действительность. Действительность эта является фактом, образует новый компонент мира. Мы это поняли и хотим извлечь отсюда окончательные выводы. Но, прежде чем к этому приступить, нам надо выяснить многие детали, осмыслить свершившиеся перемены—и в первую очередь те процессы, которые происходят на территории чисто католических стран, таких, как ваша. От должного объективного анализа явлений зависит будущее всего лучшего, что есть в человечестве.

Мирос умолк. Я думал, что он хочет перевести дух. Нет. Теперь он ждал, что я отвечу. Не желая обидеть Мироса, потому что в его рассуждениях звучали искренние ноты, я подхватил взятый им тон и начал ему поддакивать. Щеки священника покрылись легким румянцем. Однако, когда ему стало ясно, что, несмотря ни на что, я не согласен с его планом, он поднял брови, так и застыв с выражением удивления и неудовольствия на лице. Анализ, конечно, нужен, только я дал ему понять, к чему у меня не лежит душа. Ведь те доклады и материалы, о которых он говорил, следовало—как он сам признал—организовать. Их нужно заказывать. Прямо или косвенно воздействовать, чтобы у нас искали людей, которые будут их составлять.

Голова священника Мироса снова пришла в движение. Он отрицательно помотал ею.

— По этой части вам ничего не придется делать,—сказал он.

— Нет, право, не могу,—повторил я.

— Жаль,—заметил священник.—Помимо всего, это было бы свидетельством доброй воли. Вы ожидаете ее от нас, а со своей стороны не стараетесь пойти нам навстречу.

Он сразу заметил, что я смутился, и догадался о причинах моей растерянности.

— Содержание нашей беседы,—сказал он,—я сохраняю в тайне. Никому не передам. Ни о чем не тревожьтесь. Если наша беседа ничем не помогла вашему отцу, то она ничем ему не повредила и не повредит.

Он проводил меня до двери. На пороге попрощался, дружески пожав мне руку. В коридоре я оглянулся, так как нетвердо знал, куда идти. Священник Мирос стоял в дверях. Он помахал мне рукой. Я поклонился. Очутившись на улице, я повернул налево. Потом пошел вниз до piazzа Барберини, посредине которой красуется фонтан Тритона. Здесь, у фонтана, я отдыхал в конце первого дня моего пребывания в Риме. Сейчас я вспомнил об отце. Ровно три недели назад! Либо, если угодно, столетия! Я вошел в бар—выпить кофе. Теперь я часто испытываю в нем потребность. Иногда мне кажется, что без кофе я не смогу сделать ни шагу. Двенадцать часов. Площадь забита автомобиля-

ми. Воздух стал синим от выхлопных газов. Да и без того почти нечем дышать. Я пью кофе и думаю. Вчера в бюро путешествий мне заявили, что на спальное место Рим—Варшава я могу рассчитывать не раньше чем через десять дней и самое меньшее — через неделю. Обратные билеты я купил еще в Польше. Но без указания определенной даты. Попал я сюда в самый разгар туристского сезона. И следовательно, вынужден ждать. Но как быть: ждать или не ждать? Я мог бы махнуть рукой на спальное место. Выйду в Катовицах, значит в вагоне проведу только одну ночь. День, ночь и день. Но как раз днем-то и тяжелее всего. Томиться с утра до вечера в раскаленном вагоне, в давке — да для меня ничего хуже не придумать при моем нынешнем состоянии! Что представляет собой такое путешествие, я могу судить по нашей поездке со священником Пиоланти в Ладзаретто, а ведь это под самым Римом, езды-то, кажется, всего полчаса. Пожалуй, все-таки надо ждать спального места. А если ждать, то обязательно ли в Риме? Не лучше ли где-нибудь на пути, во Флоренции или Венеции? Осматривать эти города у меня нет охоты. В моем настроении меньше всего меня привлекает туризм. Однако я знаю, что дурное настроение пройдет. И едва оно пройдет, я начну упрекать себя, почему не использовал удобной возможности, почему пренебрег удовольствием тогда, когда оно мне не доставляло ни малейшего удовольствия. В таком случае надо уехать через день, через два. Ну и, останавливаясь по пути в разных городах, добраться до Кракова. Прежде чем пуститься в путь, самое главное — остыть! Физически перестроиться, восстановить силы. Забыть о своем поражении, о стоящей за ним нелепости, отвлечься от любых мыслей об отце. Еще хватит времени на обдумывание того, как ему объяснить, что, собственно говоря, произошло. А пока — точка! Ничего не желаю знать! Спокойствие любой ценой. Тогда я покину Рим хоть и злой, но сохраняя ясное сознание и способность вбирать в себя впечатления внешнего мира. Не могу же я ехать в моем теперешнем состоянии, забившись, как собака, под лавку железнодорожного вагона!

В пансионате «Ванда» мне не больно хорошо. Но убраться оттуда не стоит. Было у меня такое намерение, но я его отверг. Можно было бы вернуться в «Неттуно», где я поселился вначале. Я и от этого отказался. Паковать вещи, потом распаковывать, чтобы снова, день спустя, запихивать все в чемодан, — бессмысленно. С виду пустячное дело, тем не менее требует усилий. Даже на такую малость мне теперь трудно отважиться, невзирая на то, что я замечаю резкую перемену в отношении ко мне обитателей «Ванды», и меня это раздражает. Только Малинский относится ко мне так же, как прежде. Для остальных я нуль. Пани Рогульская при встрече в коридоре или в передней ускоряет шаг. Здороваясь, едва кивнет головой, и уже след ее простыл! Кидается к двери на кухню или к двери в свою комнату,

притворяется, будто очень озабочена чем-то или рассеянна. Поведение ее слишком ясно, чтобы я не заметил, и вместе с тем она держится в таких границах, что причиняет боль, не обижая. Она и не думает грубить, по крайней мере я так считаю. Избегает меня, вот и все. Точно так же, как и ее брат Шумовский. За столом он молчит. Мое присутствие лишает его дара речи. На этот счет у меня нет сомнений. Благодаря своему хорошему воспитанию или из деликатности он не желает слишком обострять ситуацию и не разговаривает ни с кем. О посещении «Аполлинаре» нет и речи. Раньше, когда я бывал занят, он несколько раз предлагал составить мне компанию, теперь у меня сколько угодно свободного времени, однако он молчит.

В какой мере тут сказывается влияние прелата Кулеши, не знаю. Я готов поверить, что не он навредил мне в курии. Но здесь, в пансионате, по всей вероятности, именно он поносил моего отца. Несомненно, наша история широко обсуждается во всей эмигрантской общине. И следовательно, во всех комнатах постоянных обитателей пансионата «Ванда». Все здесь подчиняется мнениям прелата. Должно быть, он наговорил с три короба, поэтому-то они и так холодны со мной, и так сторонятся меня. К счастью, они знают от Малинского, что я уезжаю. Ну и терпят.

Меньше всего изменились наши отношения с пани Козицкой. Они никогда не были хорошими, могли, однако, стать еще хуже. В ее взгляде и так сквозило немало иронии, она могла стать еще более колючей. Ничего этого не произошло. Без крайней необходимости пани Козицкая не заговаривает со мной, из любезности не улыбается, но, увидев меня, не удирает из комнаты. Не вскакивает со стула, притворяясь, будто что-то вспомнила. Малинский тут ни при чем. Так я полагаю. Если бы она считалась с его мнением, то с самого начала вела бы себя иначе. Я думаю, она только из духа противоречия проявляет свое отношение ко мне иначе, чем ее родственники. В сущности, она осуждает меня так же, как и они, считая, будто я приехал в Рим по несправедливому делу. Стадный инстинкт толкает ее в ту же сторону, что и всех остальных. И если она повернулась ко мне не спиной, а профилем — велика ли для меня разница!

Впрочем, и в отношениях с Козицкой напоследок произошла заметная перемена. Не по моей вине. Как раз вчера. Расставшись с Малинским после визита к священнику Дуччи, я вошел в первое попавшееся бюро путешественников. Небольшое помещение полно народу; американцы, англичане, испанцы и, что хуже, руководители какой-то большой немецкой туристской группы — в течение получаса они занимают всех служащих множеством своих проектов и дел. Наконец от окошечка, к которому я устремился, меня отделяет только одна женщина. Узнаю Козицкую. К сожалению, слишком поздно, чтобы отступить. Она оборачивается и густо краснеет. Хотя она держит себя в пансионате любезнее, чем ее

тетка и дядя, я не знаю, как вести себя в данных обстоятельствах, чтобы выдержать светский тон. По правде говоря, мы друг с другом не разговариваем. Наконец она получила все справки. Я вздыхаю с облегчением. Сейчас Козицкая уйдет. Нет, она оборачивается. Тогда я смотрю на часы и, желая что-нибудь сказать, сообщаю:

— Боюсь, что опоздаю к обеду.

Она:

— Нет. Мы не опоздаем.

Служащий объясняет мне, что теперь очень трудно достать спальные места на Вену и Варшаву, а я уголком глаза наблюдаю за Козицкой. Она меня ждет. Сперва разглядывает огромные плакаты, призывающие вас посетить разные страны или соблазнительные для туризма местности. Морщит свой высокий лоб, поджимает большой чувственный рот. Она красива. Ее маленький вздернутый носик не гармонирует с ее вечно мрачным, нелюбезным настроением. Вдруг наши глаза встречаются. Я подаю ей знак, что сейчас освобожусь. Она кивает головой, подтверждая, что поняла меня. Но тут же исчезает из помещения бюро. Теперь я ее вижу через огромное окно витрины. Козицкая не сводит глаз с макета трансатлантического парохода, красующегося за стеклом. Получив от служащего нужные сведения, я выхожу. Мы быстрым шагом идем к остановке. Смотрим, не подъезжает ли троллейбус. Да, подъезжает. Вскакиваем. За все время мы не произнесли ни слова. Но в троллейбусе нас так стиснули, что мы смотрим прямо в лицо друг другу. Дальше хранить молчание нам неудобно.

Я спрашиваю:

— Вы уезжаете?

— Ведь вы слышали!

— Я не слышал.

— Стояли позади меня и ничего не слышали? Ну и ну!

Я уверяю ее, что говорю правду. Но мои слова до нее не доходят, потому что троллейбус делает поворот и дуга его со скрежетом трется о провода. Я вижу, как шевелятся губы Козицкой. Начала фразы не слышу. А конец звучит так:

— ...и, значит, уезжаю.

— В Польшу? — спрашиваю.

— Нет! В противоположную сторону.

Новая остановка — новая волна пассажиров, нас окончательно разъединяют. Мы снова находим друг друга только возле собора Святого креста в Иерусалиме, уже неподалеку от дома. В троллейбусе теперь пусто, и мы занимаем свободные места. Садимся друг против друга. Козицкая нагибается и вдруг дотрагивается до моей руки.

— Я знаю, что вы все слышали, — говорит она. — И вам отлично известно, куда я уезжаю. Если вы из деликатности

отрицаете, будто слышали, спасибо, и прошу вас продолжать в том же духе.

Из ее слов я сделал вывод, что не следует с ней говорить об отъезде. Я ответил, что, разумеется, не буду, и добавил, что мне нетрудно сдерживать обещание, поскольку мы все равно никогда друг с другом не разговариваем. Тогда она уточнила свою мысль:

— Я имею в виду, чтобы вы не говорили другим. Абсолютно никому.

— Обещаю.

— Руку?

— Руку.

Минуту спустя мы уже выходили на площади Вилла Фьорелли. На пути к пансионату мы обменивались, да и то изредка, замечаниями в таком духе: «Жарко», «Мы все-таки поспели вовремя», «В обеденные часы ужасно работает транспорт». После этого случая Козицкая тоже изменилась — подражает пани Рогульской и пану Шумовскому. Из самолюбия. Злитесь из-за того, что ей пришлось меня о чем-то просить. Боже мой! Здесь, в «Ванде», меня сторонятся. Меньше ли, больше — мне-то совершенно безразлично.

XXII

Не знаю, каким образом я вспомнил об этом письме. Отец дал мне его, когда я приехал к нему в Торунь. Я взял у него тогда пакет для синьора Кампилли и мемориал, а на третьем конверте стояла фамилия кардинала Чельсо Травиа — декана трибунала Священной Роты. После долгих колебаний отец вручил мне это письмо. Он не сомневался, что кардинал помнит его. Травиа в свое время руководил «Аполлинаре». Приезжая в Рим, отец всегда являлся к нему с визитом. Монсиньор Травиа тогда еще не был кардиналом. Теперь именно его кардинальское звание смущало отца. Смущало до такой степени, что позднее, когда я вернулся из Торунь в Краков, отец мне телеграфировал, что «письмо к Травиа недействительно», а вскоре письменно объяснил причины. В двух словах: кардинал Травиа слишком крупная фигура, и в Риме не принято затруднять таких людей частными делами; к тому же само по себе рискованно обходить тех, кто занимает более низкие должности.

В Торунь отец несколько раз повторил, что я обо всем должен советоваться с Кампилли; поэтому в ответном письме я спросил, не стоило ли на месте узнать мнение Кампилли. Отец ответил, что вопрос этот он еще раз продумал и твердо стоит на своем.

Тогда я решил, что отец и монсиньор Травиа, вероятно, недолгоблюдали друг друга. У отца была чувствительная струнка: ему хотелось всем нравиться. Даже убедившись в чьем-то недружелюбии, он неохотно в этом себе признавался. Если моя догадка

верна, то письмо не имеет никакой ценности. Если же неверна — я имею в виду, что кардиналам действительно ни при каких обстоятельствах не следует надоедать, — то письмо может принести вред. Таким образом, я совершенно забыл о нем.

Я захватил его в Рим случайно, просто оно лежало вместе с другими материалами. Поселившись в «Ванде», я брал письмо с собой всякий раз, когда уходил в город. Я давно бы уже его уничтожил, оно сохранилось только потому, что я засунул его в конверт с различными черновиками, служебными бланками отца с его подписью и первым экземпляром мемориала, касающегося спора с епископом Гожелинским. Вначале, готовясь к визитам, я заглядывал в мемориал. Потом перестал, потому что знал почти наизусть все десять страниц машинописного текста. Но, конечно, мемориал еще мог пригодиться. По крайней мере до вчерашнего дня!

Письмо к кардиналу было короткое. Оно занимало три четверти страницы и содержало просьбу принять меня и выслушать. Просьбу свою отец изложил витиевато и раболопно. Ни единым словом не упоминал о деле. Глагол «выслушать», дважды повторяющийся в письме, однако, не оставлял сомнений в том, что отец имеет в виду нечто весьма для него существенное. После разговора со священником Миросом я часа два просидел в баре на piazzа Барберини, размышляя обо всем, с чем столкнулся в Риме, но не вспомнил о письме. И всю остальную часть дня тоже. А вечером, уже собираясь лечь, я, как обычно, выложил содержимое моих карманов на столик у окна, взял в руки бумаги, которые постоянно ношу при себе, чтобы не вводить в искушение обитателей «Ванды», — и вот тут стал внимательно разглядывать письмо к кардиналу, проверяя, в каком оно состоянии, не слишком ли истрепалось.

И, уже лежа в кровати, вплоть до рассвета я думал: пойти или не пойти? Запрет отца уже не имел значения, раз отпали все предпосылки, с которыми стоило считаться: будто в Роте обидятся, будто я задену Кампилли, будто так поступать не принято! Ну и что? Хуже того, что случилось, ничего быть не может. Другой вопрос: захочет ли кардинал меня принять? Согласится ли на аудиенцию, коль скоро он с самого начала передал дело моего отца в руки монсиньора Риго? Я знал, что кардинал очень стар, ему далеко за восемьдесят, такими стариками чаще всего управляют домочадцы или подчиненные, а для них мой отец, наверное, некое отвлеченное лицо, не пользующееся в курии доброй славой. Эти люди встанут мне поперек дороги. Что касается кардинала, то у меня тоже не могло быть никакой уверенности, что он заинтересуется моей особой. На каком основании? Только потому, что я приехал из Польши? По мнению Малинского, это имело свое значение. Он уверял, что людям из курии редко предоставляется возможность непосредственно столкнуться с кем-либо из

нас. Он даже высказал предположение, что священник де Вос или монсиньор Риго не приняли бы меня так быстро, если бы их не побуждало к тому любопытство. Допустим. Но разве из этого следует, что кардинал Травиа тоже проявит любопытство? Не говоря уже о том, что сам по себе такой взгляд на вещи не очень приятен, да и мало что хорошего сулит.

Утром я встал, надел темный костюм, взял такси и попросил отвезти меня к палаццо делла Канцеллерия. Туда, где помещается Рота и трибунал Сенътуры. Я знал, что второй этаж дворца занимают кардиналы. По всей вероятности, там живет и кардинал Чельсо Травиа. Держа перед собой письмо, я постучал в маленькое окошечко к швейцару. Он открыл окошечко и протянул руку за письмом.

— Нет, я должен передать письмо лично,— сказал я.— Здесь ли живет его преосвященство кардинал Травиа?

— Да. Письмо надо передать секретарю.

— Я прошу аудиенции. В Риме ли находится теперь кардинал?

— Да. Но уезжает. Послезавтра.

Я помертвел. С утра я боролся с собой, через силу заставлял себя сюда идти. Единственный смысл предполагаемой аудиенции был в том, что я смогу вернуться в Польшу с чистой совестью, исчерпав все возможности. Раз кардинал уезжает, то эта последняя возможность отпадает сама собой, избавляя меня от унижений, от угрозы нарваться на отказ. Мне не нужно затрачивать усилий—либо напрасных, либо окончательно запутывающих дело. Значит, я должен почувствовать облегчение. А между тем как раз напротив. Внизу мелькнула сутана. В ворота вошел высокий широкоплечий священник. Я прижался к окошечку швейцарской, с перепугу решив, что сюда идет монсиньор Риго. Но это был не он. Тем временем швейцар поднес к уху трубку телефона, докладывая обо мне. Я услышал:

— Пришел иностранец с письмом к его преосвященству.

А мгновение спустя он обратился ко мне:

— Вас просят наверх.

Мы поднялись в лифте на второй этаж. Лифт был маленький, темный, находился в углу того самого монументального по размерам двора, который привел меня в такой восторг после удачного разговора с монсиньором Риго. Наверху у лифта меня ожидал человек, одетый во все черное, в коротких штанах и чулках. Я представился и, здороваясь, протянул ему руку. Он смутился и едва к ней прикоснулся. Тогда я сообразил, что это служитель.

— У меня письмо к его преосвященству,— сказал я.

— Знаю, пожалуйста. Сейчас вас примет секретарь его преосвященства.

Он указал мне на кресло. Большое, музейное. Письмо, не выпуская из рук, я держал на коленях. В просторном зале, где я очутился, было холодно, но меня прошиб пот. В моих вспотевших

руках конверт, и без того уже не первой свежести, еще больше измялся. Я опустил руки на поручни кресла, изо всех сил сжимая пальцами эбеновые львиные головы. Служитель неподвижно стоял поодаль. Я тоже сидел не шевелясь в своем кресле и смотрел вперед, в гигантское окно, до половины заслоненное тяжелыми малиновыми портьерами. Здесь царил тишина, как и в соседнем зале—дверь туда была приоткрыта. Несколько минут спустя до нас донесся нежный звон колокольчика. Я понял, что меня вызывают, и посмотрел на служителя. Он кивнул головой.

Зал, куда я вошел, был больше, чем первый. Его заполняла рассчитанная на такие масштабы мебель. Я огляделся. У одного из окон стоял письменный стол. За ним сидел священник с красивым молодым лицом и ничего не выражающими глазами и не сводил с меня взгляда все время, пока я проходил через гигантские покои, стараясь держаться по возможности ровно и естественно. Наконец я у цели. Я назвал фамилию и должность отца, сообщил, что привез от него письмо, и пояснил, что в связи с содержанием письма я со всем смирением решаюсь просить его преосвященство об аудиенции.

— Будьте любезны вручить мне это письмо,—сказал священник.

Я протянул ему конверт. Он оглядел его с обеих сторон.

— Письмо открыто,—заметил он.— Не хотите ли его запечатать?

— Нет-нет,—возразил я.— В письме содержится только просьба об аудиенции.

— Вы, кажется, прибыли в Италию из-за границы. Откуда именно?

— Из Польши.

Священник записывал мои ответы. Перед ним лежал блокнот. Писал он шариковой ручкой, которую держал за самый кончик, как кисточку, едва прикасаясь к бумаге. Он спрашивал, слушал и аккуратно вносил в блокнот все нужные данные. Вопросы он ставил так, что на них приходилось отвечать кратко и по существу, не иначе. Когда я сообщил о себе сведения общего порядка и стал по буквам произносить свою фамилию, как всегда поступаю, сталкиваясь с итальянцами, он прервал меня, сказав, что знает мою фамилию. Я перешел к изложению сути дела, и он отложил перо в сторону. Тогда я понял, что и это все ему известно. Я отвечал стоя. Священник не попросил меня сесть, хотя два кресла для посетителей были придвинуты вплотную к столу. Последний вопрос звучал так:

— Когда вы намереваетесь покинуть Рим?

— Меня задерживает в Риме только надежда на аудиенцию.

Я пояснил, почему пришел сюда так поздно, и рассказал, как трудно мне было решиться просить аудиенции, но я превозмог себя, убедившись в бесплодности ранее предпринятых мер. Тем не

менее я по-прежнему понимаю, сколь дерзкой является моя просьба, и знаю, как дорого время кардинала. Священник так же спокойно выслушал мои объяснения, как и мои ответы. Он не сказал ничего сверх того, что было необходимо, и ничего, ни единого словечка, от своего имени. Только в этом месте нашего деловито-сухого диалога он перебил меня таким замечанием:

— У его преосвященства найдется время для всего, что он сочтет нужным. Вопрос не во времени.

Молодой священник смотрел на меня стеклянным, пустым взглядом, в его глазах не было ничего живого, ни искорки сочувствия. У меня не могло быть сомнений в том, что он не выскажется в мою пользу. Я чувствовал, что мне откажут. Сам не знаю, то ли потому, что я хотел, чтобы мне подсластили пилюлю, то ли совершенно машинально, я напомнил себе и ему:

— Его преосвященство послезавтра уезжает!

Тогда я увидел, что плечи священника слегка вздрогнули. Он едва-едва, почти незаметно, повел ими и протянул руку к большому изящному колокольчику. Взял его ручку за самый кончик, так, как брал перо, собираясь писать, и позвонил. В дверях показался служитель.

— Проводите, пожалуйста, синьора к лифту. Синьор явится к нам за ответом в пять часов.— Только после этого он обратился ко мне:— В пять.

Он кивнул головой. Я ответил тем же. За дверь, уже направляясь к лифту, я на мгновение еще раз его увидел. Он не тронулся с места. Сложил руки, осторожно шевеля пальцами, и ничего не выражающими глазами поглядывал в мою сторону. Вряд ли он меня видел. Казалось, он о чём-то задумался. Вернувшись сюда в пять, я его не застал. За тем же письменным столом сидел другой священник—плотный, подстриженный ежиком. Услышав мой вопрос, он тут же потянулся к изящному колокольчику, ручка которого изображала нераспустившуюся лилию. Оказалось, что колокольчик служил также прессом. Под ним лежало несколько листов из того блокнота, куда молодой священник сегодня утром заносил данные обо мне и о моем деле. Священник, сидевший теперь за столом, порылся в бумажках, достал один листок и показал мне. Увидев свою фамилию, я сказал.

— Да, это я.

Тогда священник сообщил, что кардинал Травиа примет меня.

— В котором часу?—спросил я.

Священник внимательно просмотрел все листки, которые извлек из-под колокольчика. Потом уложил их веером, как игральные карты. Он долго раскладывал их, меняя порядок. Мой листок к ним не присоединил.

— Очевидно, уже не сегодня,—сказал он наконец.—Но на всякий случай загляните к нам, пожалуйста, около семи. А если

сегодня ничего не выйдет, пожалуйста, справьтесь завтра в десять.

Тогда я спросил, нельзя ли позвонить к нему по телефону. Поступил я так из опасения, что в конце концов встречу монсиньора Риго, если слишком часто буду здесь вертеться.

— У нас не принято, чтобы просители по телефону добивались аудиенции,—наставительно заметил священник.—Зайдите, пожалуйста, сами.

Я был уже в дверях, когда он окликнул меня. Таким образом, я второй раз прошагал через гигантский зал и снова встал перед письменным столом. Священник только теперь внимательно поглядел на меня, потому что раньше был поглощен исключительно листками.

— Пожалуйста, тщательно подготовьтесь к аудиенции,—сказал он.—Постарайтесь говорить сжато, ясно и не волнуясь.

— Понимаю,—ответил я.—Буду держать себя как надо.

Однако на следующий день, уже далеко после полудня, когда меня наконец вызвали к кардиналу Травиа, сердце у меня бурно заколотилось. В пансионате я записал все, что надо сказать, и выучил наизусть. Мой взгляд на аудиенцию не изменился. Я не обольщался, ничего от нее не ждал. И все-таки мне хотелось, чтобы и это осталось позади. Сердце у меня стучало. Ожидание аудиенции, тянувшееся уже сорок часов, было для меня немалым испытанием. Когда я исправлял стиль и уточнял текст подготовленной мною речи, по телу моему пробегали мурашки. Меня била дрожь, когда я приближался к дворцу Канцеллерия, и холодело сердце всякий раз, как я переступал порог апартаментов кардинала Травиа. Более всего я опасался встречи с монсиньором Риго, но так и не наткнулся на него. Ни в воротах, ни здесь. В обоих залах почти всегда было пусто. Один только раз я увидел в том, первом, зале, где находился служитель, двух посетителей, одетых, как и я, в темные костюмы. Они неподвижно сидели друг подле друга на диванчике и молчали. Впрочем, я едва разглядел их на большом расстоянии, с другого конца огромного зала. Да и длилось это одно мгновение, пока служитель выпроваживал меня, так как час аудиенции еще не был назначен. А так, кроме священников, которые меня принимали, никого. И всегда та же самая мертвая, застывшая тишина.

Молодой священник, с которым я говорил в первый день, проводил меня в покои кардинала и тут же удалился. Здесь было довольно темно. Обыкновенная конторская лампа с зеленым абажуром освещала столик, похожий на больничный,—такой, на котором подкатывают к кроватям еду. Незнакомый мне священник как раз теперь его отодвинул. Сам кардинал сидел в большом удобном кресле, обитом цветным кретоном. Человек очень преклонного возраста, он был худ старческой, птичьей худобой. На голове—остатки волос, желтоватые, выходящие. Отодвинув сто-

лик, незнакомый мне священник стал возле кардинала. А по другую сторону стал второй, которого я видел раньше,—плотный, остриженный ежиком. Я подошел и склонился к руке кардинала, лежавшей на поручне кресла, он не пошевелил ею; и только после того, как, коснувшись губами большого перстня, я выпрямился, кардинал поднял руку и сухим искривленным пальцем указал на что-то находившееся позади меня. Табурет. Его придвинули поближе к кардиналу. Я сел.

Священник, стоявший слева от кардинала, типичный итальянец с юга, черноволосый и смуглый, дотронулся до моего плеча и произнес несколько слов, но так тихо, что я ни одного не расслышал. Однако я угадал смысл сказанного: надо начинать.

Ну, я и начал. Первые фразы прозвучали нескладно. Но только первые, потому что я взял себя в руки. В дальнейшем я говорил гладко, спокойно. И все-таки черноволосый священник раза два прерывал меня. Он отрывался от кресла и, нагнувшись, шептал: «Немножко громче». К счастью, его замечания не сбивали меня. Я читал свою речь как урок, чувствуя на себе взгляд всех троих. А я смотрел в глаза кардинала, усталые и сонные. Он слушал меня. Голова у него была слегка скошена и рот чуть приоткрыт. Священники, стоявшие возле его кресла, тоже внимательно вслушивались в мои слова. Вдруг старший из них—тот, плотный, с подстриженными ежиком волосами—сложил руки на груди и, выпрямившись, вскинул голову и устремил взгляд в потолок. Длилось это всего несколько секунд. Потом он принял прежнюю позу и снова посмотрел на меня. В заключение я сказал:

— Вот и все дело, которое я позволил себе предложить милостивейшему вниманию его преосвященства.

После этой ничего не значащей фразы я встал и низко опустил голову. Когда же я ее поднял, то увидел, что кардинал шевелит губами. Сперва они у него шевелились совсем беззвучно. Потом я услышал голос—высокий, чистый, детский. И слова. Обращенные не ко мне, а к смуглому темноволосому священнику:

— Он учится в Риме?

— Нет, ваше преосвященство, он приехал только по своему делу.

— Но в Риме изучает церковное право.

— Его отец учился у нас. В «Аполлинаре».

Затуманенный взгляд старых коричневых глаз кардинала устремился ко мне и на мгновение задержался на моем лице.

— Ага, вспоминаю. Он даже похож.

Он снова повернулся к священнику, которому задавал вопросы:

— А отец где? Жив?

— Жив, ваше преосвященство, прислал к нам сына по своему делу.

— Откуда?

— Из Польши,—сказал я.—Я приехал из Торуня.

Священник, стоявший справа от кардинала, жестом попросил меня помолчать. А сам уточнил мои слова:

— Из торуньской епархии, подчиненной познанскому архиепископату.

— Да-да,—прошептал кардинал,—вспоминаю.

Он умолк. После данного мне указания я тоже молчал. Священники ждали. Прошло секунд пятнадцать тишины. Никто не шевельнулся. Наконец кардинал тем же жестом, что и раньше, пригласил меня сесть.

— И скажи мне еще, дитя, как там у вас?

— Стало лучше,—ответил я.

— А почему?—спросил кардинал.

Я снова почувствовал на себе его взгляд. Впрочем, кардинал почти неотрывно смотрел в мою сторону. Но не всегда меня видел. Только время от времени глаза его приобретали сосредоточенное выражение. Тогда мне казалось, будто он снимает очки с мутными, дымчатыми стеклами и пытается проникнуть взором в самое мое нутро. Я тоже постарался сосредоточиться, чтобы ответить на его вопросы точно и понятно. Едва я заговорил, оба священника подо двинулись ко мне. Теперь они стояли по обе стороны от меня. Кардинал не шевелился. Несколько раз он прерывал меня. Один раз он сказал:

— Прекрасная страна. Хорошая страна. И столько, столько ей выпало страданий в войну.

А в другой раз он пытался вспомнить, когда же это он был в Польше, но не смог, пока ему не пришел на помощь один из священников—видимо, большой знаток его биографии. Кроме того, кардинал время от времени повторял: «Понимаю, понимаю». Но лишь изредка. Я говорил с трудом. Как я ни стремился излагать свои мысли ясно и логично, это не всегда мне удавалось. Я догадывался, что плохо объясняю некоторые вещи, пользуясь терминами, непонятными здесь, либо же затрагиваю темы, касаться которых необязательно. Тогда мне на помощь приходили священники. Едва слышным голосом они советовали мне выразить яснее ту или иную мысль или тихо подсказывали недостающие слова. Священники ловко вмешивались в дело и в тех случаях, когда я отклонялся от темы,—они слегка сжимали мне плечо. Не знаю, как бы я выкарабкался без их помощи, особенно важной в те моменты, когда взгляд кардинала терял остроту и затуманивался. Меня это смущало. И добавлю, что смутить меня было нетрудно. После вступительного диалога кардинала со священником относительно моей особы я поддался чувству полнейшей безнадежности. Чего я мог ожидать от этого старого человека, в голове которого все спуталось? Сосредоточенный взгляд кардинала на минуту-другую придавал какой-то смысл

нашему разговору. Но только на минуту-другую. Когда я кончил, кардинал слегка выпрямился в кресле и опустил глаза. Священники вернулись на свои прежние места. А он сидел в одной позе, ничего не говоря, не шевелясь. Наконец снова раздался его голос — детский, звонкий. Вопрос, обращенный к смуглому священнику.

— Он возвращается на родину?

— Возвращается. Приехал к нам лишь ненадолго.

— Хорошо. Хорошо. Но с чем он вернется от нас в свою далекую, далекую страну, которая так много, так много пережила?

Кардинал оторвал взгляд от пола. Во второй раз глаза наши встретились: мой — полные ожидания, его — внимательно-сосредоточенные.

— Неужели он вернется ни с чем? Неужели он вернется с пустыми руками в страну, где бушуют идеи и страсти, которые мы не способны даже понять? Пламя этих страстей по нашей вине захватило молодежь, ибо мы оттолкнули ее. Пламя разгорается, восстанавливая молодых против нас, стариков, и, признаюсь, с горечью бия себя в грудь, восстанавливает вполне справедливо. Но, целясь в нас, они одновременно целятся в самые святые идеалы. В сладостный мир на земле и взаимную любовь между людьми, в благую весть, возвещенную нам две тысячи лет назад, которую мы, старики, в последние годы не отстаивали, ибо мы отстаивали ее эгоистически, трусливо.

В первый момент, в особенности когда кардинал выразил тревогу по поводу того, как бы я не вернулся домой с пустыми руками, я слегка привстал с табурета. Какое-то мгновение я думал, что сейчас он скажет нечто такое, после чего я кинусь его благодарить. Но, услышав следующие фразы, я понял, что старый кардинал далек от мысли о моем отце и моем деле. Я понял, что старец этот привык все видеть в широкой перспективе и мне не удалось привлечь его внимание к частному случаю, который так для меня важен. Я чувствовал, что один мой вид вызвал у него скорбную рефлексию, и то, что он говорит, имеет для него первостепенное значение. Я слушал его слова в замешательстве, с уважением, но и с обидой. А он еще долго говорил, развивая мысли, мучившие его, наверное, не первый день, рассуждая о великом эгоизме, который владеет уже многими поколениями христианского общества и который сперва заставил миллионы людей отречься от самых святых идеалов, а потом довел христианский мир до катастрофы.

— Это происходит не впервые, — сказал он в заключение. — Великие раны, нанесенные христианству в ужасные времена реформации, не зарубцевались по сей день. Будем молиться и доверимся высочайшему милосердию в надежде, что хоть частично зарубцуются те раны, которые нанесены церкви, ибо мы не стояли на высоте задачи. Мы — старые пастыри. Несмотря на это,

вы, молодые, которым принадлежит будущее, должны объединиться вокруг нас. Церковь требует от вас сегодня того же, что требовала в ужасные времена смуты, о которой я упоминал. Не потому, что мы считаем, будто наше поведение должно служить для вас примером. А потому, что таково строение христианского мира, во главе которого основатель церкви поставил нас, пастырей. Сознывая вашу горечь и разочарование, церковь, так же как и в те далекие времена, укажет вам на образец святой жизни, который захватит вас. Захватит своей молодостью! Своим мученичеством! Тем фактом, что он жил почти на нашей памяти, а не века назад. Вот прекрасная весть, с которой ты сможешь вернуться на родину, сын мой. Возвращайся же с миром!

Нелепо было думать, будто что-то еще может измениться в моем деле. Последние высказанные им слова означали, что он прощается со мной. Следовало встать. Однако прошло еще несколько долгих секунд, прежде чем я решился на это. Я поднялся, услышав вопрос, который кардинал тихим голосом задал старшему из священников. Тот же самый вопрос, на который уже один раз получил ответ.

— Он возвращается на родину, не правда ли?

Я прикоснулся губами к перстню. Кардинал не пошевелил рукой. Младший из священников поставил табурет на прежнее место. Не оглядываясь, быстрым шагом я прошел через зал. В следующем зале, том самом, где я вчера подал письмо, сидел священник, который у меня его взял и подготовил для кардинала заметки. Увидев меня, он потянулся к колокольчику. Тихо, молча мы обменялись поклонами. Еще одна дверь, а потом дверь лифта. Я спустился вниз злой, но не разочарованный, ведь я не связывал с аудиенцией никаких особых надежд. Во время беседы с кардиналом я еще во что-то верил. Я чувствовал, что если он захочет, то сможет все изменить. Но я не смог его заставить. Не сумел как следует задеть его внимание. Взгляд кардинала скользнул поверх моей головы и сразу унесся ввысь. Я виноват, но виноваты и эти пороги, слишком высокие пороги, которые я неведомо для чего переступил. На низших ступенях ничего не могут. На высоких — не видят. Я с горечью пережевывал эту мысль, я был раздражен, но вместе с тем испытывал облегчение от того, что наконец и последняя попытка осталась позади. Взглянув на часы, я удивился. Половина седьмого! Значит, все вместе — ожидание, разговор, возвращение — не продолжалось даже получаса. Я проголодался, и мне хотелось как можно скорее очутиться в своей комнате. Я купил несколько иллюстрированных еженедельников, которые вполне уместны в момент душевного расстройства, так как помогают отвлечься, и сел в такси, чтобы поспеть к ужину. В «Ванде» нововведение! Горничная сообщает, что в пансионате полно постояльцев и ужин подают в две очереди. Я должен ужинать во вторую. Она мне это говорит в тот момент,

когда я уже стою в дверях столовой и вижу, что все домочадцы сидят за столом. Ничего не поделаешь, отступаю. А после ужина, который я провожу в незнакомом обществе, я не сразу сажусь за журналы. Укладываю вещи. По этому случаю натыкаюсь на злосчастную лупу, взятую у Кампилли. Пишу письмо, прошу извинить меня и добавляю несколько банальных фраз на прощанье. Пишу и другое письмо, более сердечное,—Малинскому, который уехал в Болонью. Я заклеиваю конверты, и в этот момент мне вдруг становится скверно. Пот, боль в груди, головокружение, перед глазами черные точки. Не знаю, что это такое, должно быть, сердце, никогда в жизни со мной ничего подобного не бывало. К счастью, через четверть часа все проходит. Тогда я принимаюсь за журналы.

XXIII

Я в Ладзаретто! Возможно, это разумный выход, хотя и неожиданный. После бессонной ночи я раненько вскочил, чтобы доставить Кампилли пакетик с лупой еще до того, как начнется дневная жара. Однако, когда я сел в такси, мне внезапно пришла в голову мысль разыскать Пиоланти и попросить его отнести письмо и лупу на виллу Кампилли. Легко понять, как мне не хотелось самому идти туда. Но другого выхода не было, что оставалось делать? Теперь выход нашелся. По крайней мере я придумал, как избавиться от неприятной необходимости являться в дом, где мне, деликатно говоря, отказали в гостеприимстве. Я взглянул на часы—восемь. Если Пиоланти по-прежнему посещает Ватиканскую библиотеку, то в это время уже должен спешить к поезду, шагая через весь городок от своего лепрозория до станции. Я попросил шофера такси отвезти меня на вокзал. Там я вышел и разыскал перрон, к которому прибывают пригородные поезда с севера. Потом уселся в тени на каменной скамье, прислонившись к колонне из железобетона. От холодной скамьи и холодной колонны на меня повеяло приятной свежестью. Я, конечно, не был болен. Просто немножко расклеился. Нервы в постоянном напряжении, а тут еще жара, духота. Отсюда вчерашнее полуобморочное состояние, да и теперешняя стесненность в области сердца. Спать мне не хотелось, однако я отчаянно зевал. Непрерывно, целых двадцать минут, пока пришел поезд, которого я ждал. Весьма удачно. Так и есть! Мне повезло. Один из первых пассажиров, высаживающихся из битком набитого, серого от пыли вагона, следующего сразу за локомотивом и остановившегося совсем рядом с моим наблюдательным постом,—священник Пиоланти.

— Целая вечность!—удивленно восклицает он.—Каким чудом вы здесь?

Объясняю, откуда я взялся. Затем — почему не показываюсь в библиотеке. Внезапно он перебивает меня и с тревогой в голосе, искренне взволнованный, говорит, что вид у меня такой, будто я сбежал из больницы. Наконец кончается крытый перрон. Из тени мы выходим на яркий свет. Я пожимаю плечами.

— Я вижу, что вам не нравится моя физиономия, — смеюсь я.

Он:

— Вы страшно похудели! Что случилось?

— Долго рассказывать.

С этого и началось. Мы сели в баре на вокзале. Полчаса спустя священник уже более или менее был в курсе событий. Ни на кого и ни на что не жалуясь, я кратко описал свои мытарства. Он не высказал своего суждения, но, видимо, так же хорошо, как и я, понял, что все кончено, потому что спросил, когда я уезжаю. Тут я признался ему, что чувствую себя не очень хорошо и вернусь в Польшу не прямо, а с остановками в пути. После чего я попросил его оказать мне услугу: отнести письмо и пакет Кампилли. Он согласился. И тогда — вертя в пальцах письмо — Пиоланти ни с того ни с сего робко стал меня уговаривать поехать в Ладзаретто.

— Вы отдохнете, придете в себя, — повторял он.

В конце концов я сказал:

— Может быть, это идея!

Он понял, что я согласен, и тотчас встал. Обрадовался. Веки его глубоко посаженных глаз задрожали.

— Я пойду и сейчас же вернусь, — сказал он. — Встретимся здесь через час. У нас поезд в десять.

— Ах, что вы! — возразил я. — А библиотека?

Ведь он приехал не затем, чтобы увезти меня, он приехал ради своих занятий. Когда я ему об этом напомнил, он на мгновение растерялся, но не пожелал отступать от своего плана. Я думаю, что он чувствовал себя одиноким в Ладзаретто в обществе других священников. Кстати, Пиоланти был уверен, что они не станут возражать против моего пребывания в бывшем лепрозории. Мы и об этом поговорили. И еще о том, согласится ли начальство монастырской гостиницы, чтобы я там жил. В этом он тоже нисколько не сомневался. Итак, мы в конце концов расстались на час. Пиоланти никого не застал в доме Кампилли и оставил письмо и стеклышко на соседней вилле. Что касается меня, то, пока я доехал в такси до «Ванды», мне снова стало нехорошо, и отчасти поэтому я решил взять с собой только сумку и попросить, чтобы чемодан поберегли до моего возвращения. С этой просьбой я обратился к пани Рогульской. С нею же уладил счета и вручил ей письмо для Малинского.

— Благодарю вас за все, — сказал я. — Передайте, пожалуйста, мой прощальный привет брату и племяннице. Я прощаюсь, так как не уверен, увидимся ли мы еще, я ведь только на минутку забегу

за чемоданом от поезда до поезда.

— А на случай, если кто-нибудь про вас спросит или захочет узнать ваш адрес, что сказать?

— Ничего. Дело в том,—запнулся я,—что я собираюсь немножко попутешествовать и нигде надолго не задержусь.

Я почему-то удержался и не сказал ей, что еду в Ладзаретто. Вернее всего, потому, что в моем положении соблазнительно было этак вот провалиться сквозь землю, скрыться от всех, исчезнуть. Так или иначе, я промолчал.

На вокзале я нашел Пиоланти за тем же самым столиком, где мы сидели раньше. Мы улыбнулись друг другу. Впервые за все утро, потому что во время недавней беседы нам было невесело! Теперь настроение резко изменилось, и мы стали даже шутить. Пиоланти твердил, что я не должен опасаться, будто соседи, которым он передал пакет, украдут его, ибо «на виале Ватикано живут исключительно люди, достойные доверия». А я, смеясь, его успокаивал: пусть не боится, что я перееду к нему на долгие времена. И приводил доказательство—малое количество вещей в небольшой сумке.

Первые два дня в Ладзаретто меня не покидало чувство усталости. Ложился я рано и после обеда спал часа два. Зато вставал я тоже рано, потому что с утра воздух тут свежий и прохладный. Кроме того, я считал, что священнику Пиоланти было бы неприятно, если бы я не заглядывал в церковь, когда он отправляет мессу. От причетника я узнал, что служат мессу отнюдь не все священники, пользующиеся гостеприимством монастыря. Рядом со мной, например, жил священник, которому это запрещено. Он вставал раньше нашего и до полудня не показывался на территории бывшего лепрозория—уходил в горы или, вернее, на холмы, тянувшиеся за монастырем. Другой священник, который за трапезой сидел особняком, на все остальное время заперался в комнате.

После мессы и завтрака я провожал Пиоланти до городка. Здесь мы расставались. Он шел к вокзалу, а я сворачивал влево и, проделав огромный крюк, обходил больницу и лепрозорий, а затем поднимался на вершину Монте-Агуццо, где и оставался до обеда. Я брал с собой газеты и полотенце, крепко его скатывал и подкладывал под голову. Спустя какое-то время солнце сгоняло меня с облюбованного места, и приходилось искать новой от него защиты. Воздух—изумительный. Чистый, освежающий. Особенно в ранние часы. Позднее—немножко дурманящий. Эвкалипты, пинии, кипарисы да еще множество трав, среди которых я различал только знакомый мне чабрец, нагревались и испускали целый букет бьющих в нос ароматов. От такой ингаляции в голове мутилось, мысли теряли четкость. Уже не хотелось читать. Лежать бы и лежать, лениво, равнодушно, хоть от моря, которое отсюда было видно, вдалеке правда, дул освежающий ветерок.

Море простиралось справа. Я узнавал его не по яркой синеве, сгущавшейся в том направлении, а по серебристым бликам, игравшим вдоль всей линии горизонта. Под прямым к ней углом—Рим; он ближе от нас, чем море, сказал священник Пиоланти, примерно километрах в двадцати. С этого расстояния Рим похож на гигантскую серо-розово-лиловую цветочную грядку. Иногда яркие блики появлялись и в этой стороне, то в одном месте, то в другом; вероятно, это сверкали купола соборов. Но лишь изредка. В мыслях я почти не возвращался к дням, проведенным в Риме. Об отце я тоже не думал. Я понимал, что обязан ему написать, но всё откладывал. Не потому, что не стоило спешить с дурными вестями. Просто я еще не чувствовал себя в силах написать такое письмо как следует, без горечи, дельно.

На второй день я заснул на вершине холма. А проснулся с тяжелой головой и в дурном настроении. И все из-за того, что сон, как непрощенный утешитель, извлек на поверхность то, о чем я почти не думал уже около двух суток. Сперва мне приснился вращающийся пюпитр, о котором я читал у кардинала Эрле. Только это был пюпитр-гигант—еще больших размеров, чем тот, который смастерил бы столяр, всерьез принявший данные, приведенные в книге Эрле. Каждая из сторон верхней части в отдельности—так называемые *rodetae*—была величиной с крыло ветряной мельницы. На одном крыле вращался я, на другом—отец. Мы вращались так без конца в тишине и в пустоте, не привлекая к себе ничьего внимания. Потом, по странной логике сна, мы пробирались через подземелье, заполненное статуями с живыми, бегающими глазами. Я шел все вперед и вперед и вдруг заметил, что мы вернулись к тем самым статуям, возле которых уже один раз были. Тогда я понял, что на самом деле мы не двигаемся, а только вертимся на одном месте. С этим чувством я и проснулся—удрученный, с тяжестью на сердце, долго еще докучавшей мне. Но в конце концов она прошла бесследно.

К часу я спускаюсь обедать. Это самые неприятные минуты в моем расписании дня. Пиоланти возвращается только около трех, и за обедом я сижу один. Я стараюсь прийти за минуту до молитвы и стою в неподвижности за своим стулом, опустив глаза. После *Benedicite* я, как и все, беру тарелку и стакан и становлюсь в самый конец очереди. Все тут относится друг к другу весьма предупредительно. Так; например, священник, сидящий напротив меня, заметил, что мне мешает солнце, и опустил шторку на окне. Я поблагодарил его на здешний манер: наклонил голову, едва заметно улыбаясь. Такая улыбка здесь очень принята. Мы улыбаемся при встрече за пределами территории монастыря или у входа в церковь, когда каждый из нас уступает дорогу другому. Однако никто со мной не заговаривает. За столом слова роняют скупое и никогда беседа не бывает общей. Разговор ведут только с

соседом или с соседями. Всегда с одними и теми же. Вот так, как я с Пиоланти. В общем, настроение тяжелое. Как в доме, где за стеной кто-то опасно болен или с кого-то снимают допрос. К счастью, мы не засиживаемся за столом. И кроме того, тягостное настроение, по крайней мере у меня, бывает только тогда, когда я сижу за столом один, то есть во время обеда. За завтраком и за ужином рядом со мной находится Пиоланти.

Он возвращается из Рима, когда я сплю, и ложится в своей келье—напротив моей. Около четырех я просыпаюсь и захожу к нему выпить кофе. Затем ненадолго мы идем в церковь. Священники, которым запрещено служить обедню, могут служить вечером. Соблюдая вежливость по отношению к ним, мы присутствуем на богослужении, которое они отправляют. А потом неизменная прогулка, вплоть до самого ужина, на Монте-Агуццо. Здесь красиво в любое время. Красивее всего к концу дня. Море, видимое с запада, блестит тогда сильнее и переливается красноватыми тонами. Далекие контуры Рима приобретают фиолетовый оттенок. Испарения над ним сгущаются. А выше—безмерно длинная гряда фантастических медно-розовых облаков с мягкими, расплывчатыми очертаниями.

Мы не слишком много разговариваем. И в особенности избегаем того, что угнетает меня и что угнетает его. Если уж говорим, то скорее о деревне, где у него приход, чем о причинах, по которым он временно ее покинул и засел в Ладзаретто, чтобы находиться поближе к Риму. Из сказанного им я делаю только один вывод: как я и догадывался, все действительно произошло из-за книги. Он издал ее год тому назад с одобрения своего епископа, того самого, который часто говорил, что и библиотеки являются домами божьими. Однако сочинение, которым священник Пиоланти обогатил эти дома, пришлось не по душе разным важным церковным ведомствам в Риме. Пиоланти туда вызвали. То обстоятельство, что епископ дал согласие на издание книги, ухудшало положение Пиоланти. Считалось, что он ввел епископа в заблуждение. Пиоланти поехал в Рим, пытался защищаться, просвещал себя чтением разных трудов, а кроме того, искал помощи у людей, которые знали его с тех времен, когда он кончил семинарию, и позднее. Но пока безрезультатно. Департамент, который занимался делом Пиоланти, все реже вызывал его из Ладзаретто в Рим. Однако бедняга не терял терпения. Держался как мог. Только тосковал о своем приходе.

И получалось так, что чаще всего мы говорили с ним о его приходе, о деревушке Сан-Систо, лежавшей в горах под Орсино. Мы располагались в тени. Удобнее всего нам было не на самой вершине, а чуть пониже, там, где когда-то были огороды прокаженных. В давние времена весь склон был изрезан такими огородами, большие террасы громоздились здесь одна над другой. В наши дни их частью размыло, а остальные густо заросли. Но

кое-какие следы еще сохранились. Осторожно, чтобы не уколоться и не запачкать платье, мы раздвигали ветки одичавшей малины или крыжовника и вытягивались на уцелевшей террасе, как на широкой скамье.

— Как здесь чудесно,—говорил Пиоланти.

— О да, чудесно,—вторил я, как эхо.

— А в Сан-Систо!..—начинал он тогда.—В Сан-Систо воздух в сто раз чище. И поэтому видишь все кругом, как сквозь сильные оптические стекла. Уверю вас: кристалл!

С этого начиналось. А потом он рассказывал, что провел в Сан-Систо пять лет, и объяснял мне, что если исчислять время священнической мерой, по которой духовному лицу случается всю жизнь провести на одной должности, то пять лет—это немного. Но Сан-Систо—его первый самостоятельный приход, и потому это большой и важный период в его жизни. К этой мысли он возвращался всякий раз. Высказывая ее, он понижал голос, опускал рыжеватую голову и довольно долго рассматривал носки своих истоптанных башмаков, покрытых овальными грубыми заплатами. Из этого я заключал, что этот важный период был, кроме того, и трудным. А когда он вновь поднимал голову, тусклое выражение его глубоко посаженных глаз убеждало меня, что это был равно и период горьких испытаний. Поэтому так и мыкался Пиоланти. В первый раз, когда мы заговорили о его приходе и он так загрустил, я спросил, движимый состраданием.

— Я слышал, что здесь, в городских деревушках, царит нищета. Значит, и ваш приход очень бедный?

— Бедный. Очень бедный,—ответил он.

— Оттого-то, вероятно, и тяжело там работать духовному пастырю?—сказал я.

— Тяжело, но тяжелее всего не из-за бедности прихожан.

— А из-за чего?

— Из-за их недоверия,—прошептал священник.—Из-за недоверия.

Я удивился и попросил объяснить. Он с готовностью согласился и изложил свои мысли с непривычным для него многословием. Правда, в первый раз я не совсем понял, что он имеет в виду. Но, поскольку мы изо дня в день возвращались к этой теме, я в конце концов разобрался.

— Они не доверяют мне по моей вине,—твердил Пиоланти.—Держатся со мной настороженно. Считают, что я вмешиваюсь не в свои дела. А как же не вмешиваться, если мне известно, что вокруг свершается великое множество преступлений, а в исповедальной я о них ничего не слышу. Сперва я думал, что люди стесняются меня и предпочитают исповедоваться у других. Да нет. В другие приходы они тем более не пошли бы. Спустя некоторое время я понял почему. Это было бы равносильно полупризнанию, означало бы, что у них есть тайны, в которых

они не хотят исповедаться своему приходскому священнику. Разобравшись в этом, я стал поучать с амвона, что, исповедуясь у меня и утаивая свои грехи, они избирают наихудшее зло. Я сказал: «Если вы собираетесь и впредь так поступать, то лучше не исповедуйтесь вовсе». Но они по-прежнему приходили. Хотя с этого времени еще меньше доверяли мне, потому что приняли мои слова за ловушку, расценили их как коварный прием, с помощью которого я пытаюсь установить, кто из людей втайне от меня пребывает не в ладах с законом. А зачем? Разве я не исповедник, а судебный следователь, что они так остерегаются меня, боятся открыть передо мною душу?

Жалуюсь, он сплетал руки. Сжимал их все крепче, потом широко разводил. И снова печально опускал голову.

— Сперва я считал,— продолжал он,— что так обстоит дело только у меня в Сан-Систо. Но то же самое происходит и в соседних приходах, только большинство священников к этому привыкли и самый факт умолчания объясняют темнотой населения. А я не думаю, что это результат темноты. Я думаю, что вначале, в ту пору, когда в этих краях распространилось христианство, люди, хоть, наверное, еще более темные, чем в наши дни, были откровенны со своими духовными пастырями. Я думаю, что только позднее они мало-помалу стали другими. По мере того как и мы, священники, становились другими. То есть такими, что откровенничать с нами могло быть опасно.

После такой беседы мы спустились в трапезную и быстро ужинали, но потом уже не возвращались на вершину холма или на наше излюбленное место. Для этого было слишком темно. А кроме того, у самого подножия горы, между застроенным участком и террасами, тянулась широкая полоса земли, в которой некогда хоронили прокаженных. Днем об этом не думалось, но по вечерам все мы избегали прогулок в том направлении. Одни священники, пользуясь вечерней прохладой, отправлялись в городок за газетами или в лавки, которые летом здесь не закрывались допоздна. Другие шли в больницу сестер святого Спасителя за лекарствами или навещали знакомых. Мы с Пиоланти проводили вечерние часы на внутреннем двореке. Там стояла широкая скамейка, на которую падал свет из окон трапезной. Я садился на скамейку верхом. Пиоланти следовал моему примеру, хотя и несколько смущаясь, потому что для этого ему приходилось задираТЬ сутану. Но в такой позе удобнее было играть, повернувшись лицом к доске, расчерченной на десять клеток, согласно с условиями старой итальянской игры, называющейся «сальта», правилам которой священник Пиоланти обучил меня сразу, в первый же вечер. Сам он играл великолепно: бил меня, стало быть, как хотел.

Сегодня последний день в Ладзаретто. Двинусь отсюда завтра утром, ровно через неделю после приезда. Физически чувствую себя замечательно. Прошла постоянная сонливость. Сердечное недомогание тоже. Если и заколет в сердце, то лишь при мысли об отце. Никак не могу заставить себя написать ему, а следовало бы. Письмо должно прийти до моего возвращения в Краков. Высчитываю, сколько это займет времени, и получается, что больше нельзя медлить. Напишу завтра.

Вчера, провожая Пиоланти в городок, я купил малый путеводитель по Риму. Большой, привезенный из Польши, остался в чемодане, который ждал меня в «Ванде». Он сейчас пригодился бы мне, но в то утро, когда я дважды встретился на вокзале с Пиоланти, мне было не до того. По новому путеводителю я проверяю, какие достопримечательности Рима я уже видел и какие не видел. Пробелов много, но что поделаешь. На завтра у меня намечен такой план: заехать в пансионат за чемоданом, отвезти его на вокзал в камеру хранения, в час дня—в Ватиканский музей, потом обед на Пинчио, письмо и снова вокзал. Уже в последний раз. В семь часов вечера—Орсино, там я переночую из уважения к моему хозяину, священнику Пиоланти. В его приход я не потащусь, слишком это далеко от города, и, кроме того, я чувствовал бы себя там неловко. Но в самом городе Орсино мне приятно будет побывать. Пиоланти там родился, окончил семинарию. Напишу ему из Орсино. Я знаю, что открытка, присланная оттуда, доставит ему удовольствие. Хоть таким путем я отблагодарю его за доброе отношение ко мне. К тому же мне известно, что в Орсино находятся знаменитые фрески Рафаэля. В этом отношении я ненасытен. Мне хочется еще до возвращения в Польшу многое увидеть. Лишь бы не в Риме. Теперь Рим угнетает меня. Это глупо, но я с облегчением оттуда уеду. В завтрашний план, вопреки моей горькой обиде, я сознательно включил Ватиканский музей, потому что не хочу, чтобы мною управляли нелепые импульсы. Но мысль о том, чтобы снова пойти туда, вызывает у меня глухое сопротивление.

Образ моей здешней жизни, в общем, все тот же. С той лишь разницей, что теперь—по крайней мере так было третьего дня и вчера—я провожаю Пиоланти до самого вокзала, затем сажусь в автобус, разумеется предварительно составив план поездки. И вот в первый день я побывал во Френджене, на чудесном пляже среди пиний, а во второй—в Витербо, замечательном средневековом городе, расположенном на скалах. К обеду не успеваю. Возвращаюсь только к пяти, к кофе, который мы выпиваем вместе с Пиоланти в его келье перед прогулкой на Монте-Агуццо, весь южный склон которой некогда занимали огороды. Усевшись так, чтобы вдыхать свежий морской ветерок, мы, не сговариваясь,

неизменно возвращаемся к одному и тому же. Он—к своему конфликту с ватиканскими инстанциями, я—к своей неудавшейся миссии. Мы даже не пытаемся беседовать о чем-либо другом—все равно нам это не удастся. Самое большее, на что мы способны,—кружить какое-то время на ближних подступах к главной теме. Да и то не дольше четверти часа.

Вчера зашел разговор о тех двух священниках из Ладзаретто, которые имеют право служить только вечером. Я спросил:

— Их отстранили от обязанностей?

— Да.

— Они в чем-то провинились?

— Можно и так сказать.

— Нарушили шестую заповедь?

Пиоланти покраснел, как девушка.

— Да нет же,—сказал он,—таких здесь нет. Священники, которые согрешили плотски, или те, что из корыстолюбия нарушили заповеди господни, не останавливаются в Ладзаретто, когда Рим вызывает их для объяснений.

— В чем же их вина?—заинтересовался я.

— В толковании доктрины,—прошептал Пиоланти.—Может, мы лучше оставим этот разговор...

Но сам же продолжал об этом говорить. Он рассказал, что много лет назад, но уже в те времена, когда в лепрозории давно не было больных, священники, оказавшиеся в его положении, останавливались в Ладзаретто, потому что в римских монастырях и домах, принадлежавших орденам, где обычно находит приют приезжее духовенство, их боялись и неохотно к себе пускали. Считалось, что общение с такими людьми может бросить тень на наивных, или неосторожных, или на тех, у кого есть враги.

— Так было когда-то,—сказал он.—В наши дни и это изменилось. Но обычай сохранился, и многие из тех, кого вызывают в Рим по тем же причинам, что и меня, по-прежнему держатся за Ладзаретто.

— Из смирения?

— Вероятно. А кроме того, не хотят навязываться. Потому что, хоть и смешно в наши дни предполагать, будто общение с нами для кого-то опасно, удовольствия оно никому не доставляет.

— Почему?—спросил я.—Неужели из-за вашей репутации?

— В известной мере. Но мы сами стараемся не замарать чью-либо репутацию. Избегаем тех, кому встречи с нами могут повредить. Вообще стараемся быть от них подальше. Даже здесь, в Ладзаретто, как вы заметили, мы держимся друг от друга на расстоянии. Значит, главная причина, по которой мы выбираем Ладзаретто, не в этом. Мы попросту в тягость некоторым людям. Наподобие того, как голодные тяготят сытых. Мы это понимаем.

— Но меня вы не избегали,—напомнил я ему.—Вы даже пригласили меня в Ладзаретто.

— Я ничем не могу повредить вам, потому что вы не принадлежите к нашей среде,—ответил Пиоланти.—И мое общество не тяготит вас, ибо присутствие наше тягостно в том смысле, в каком я употребил это слово,—только для тех, кто мог бы нам помочь.

— Но не приходят на помощь,—закончил я его мысль.

— Не могут,—поправил он меня.— Не всегда могут.

— А отец де Вос?—спросил я.— Вы ему тоже были в тягость?

— Не думаю,—ответил он.— Он проявил ко мне столько доброты!

— Ко мне тоже,—заметил я.— Только ничего из этого не вышло.

— Потому что таких, как он, мало,—сказал Пиоланти.— И слишком много таких, как мы. Нуждающихся.

— А какой же он?—размышлял я вслух.— Чем же он отличается от других?

Пиоланти снова покраснел. Но на этот раз совсем по другой причине. Пожалуй, испугался, как бы его слова не показались мне слишком наивными. В конце концов он тихо сказал:

— Добротой.

— Ну а что такое доброта?—рассмеялся я.

Пиоланти помрачнел и слегка от меня отодвинулся. Я увидел его лицо в профиль. Выступающие скулы, выразительный кривой нос и стиснутые зубы.

— Ну?—повторил я.

— Это значит думать о другом человеке,—услышал я наконец.—Люди по преимуществу думают только о себе, и это исключает понятие доброты. Некоторые думают о всех, и это тоже не есть доброта. И только люди исключительные думают о других, иначе говоря—о том или ином человеке в отдельности, а это и есть доброта.

— То есть любовь к ближнему,—отметил я.

— Зачем же так иронически?—возмутился Пиоланти.— А во имя чего вы обращаетесь к отцу де Восу или даже к его преосвященству, если не во имя любви к ближнему?

— Во имя справедливости,—возразил я.

— Нет, сударь,—твердо сказал Пиоланти.— Вы обратились к ним не потому, что рассчитывали, будто они вознегодуют, узнав, что нарушено право. Вы обратились к ним, рассчитывая тронуть их сердца вестью о том, как пострадал ваш отец!

— Возможно,—согласился я.

— Вот видите!

Если до сих пор мы затрагивали темы, лишь косвенно связанные с нашими невзгодами, то после этих слов заговорили о них напрямую. Первым не выдержал Пиоланти.

— У вас были некоторые шансы, а у меня, пожалуй, никаких,—сказал он.

— А в чем же, собственно, разница? — спросил я.

— Вы приехали сюда, — ответил он, — чтобы заступиться за одного человека. А я — за многих, очень многих. Лишь в Риме я понял, что участь всех моих прихожан разделяют сотни, сотни тысяч людей. Потому-то и безнадежно их дело. А значит, и мое. Либо же мне надо отречься от них, от правды о них и от моих мыслей об этой правде.

— Как это понять?

— Я должен отречься от моей книжки. Но разве мое отречение от книги изменит действительность хоть на самую малость?

— А что же такое ужасное вы написали в своей книге? — заинтересовался я.

— Ничего сверх того, что каждый заметит у нас, если захочет раскрыть глаза. Следовательно, ничего сверх того, о чем я вам говорил вчера или позавчера. А говорил я о том, что люди у нас боятся своих священников и лгут им.

Но из дальнейших его слов я понял, что в сочинении, которое мне не захотели продать в ватиканской книжной лавке и даже отказались сообщить заглавие, священник Пиоланти пошел дальше: не ограничиваясь описанием фактов и статистикой, он углубился в исторические параллели и занялся анализом. Рассказывая историю Сан-Систо, Пиоланти напомнил, что селение это принадлежало церкви, а его епархия в течение целых столетий входила в состав церковного государства. Это кое-кому не понравилось. Не понравились также страницы, где говорится о страхе, внушаемом церковью, а более всего формула (в ее достоверности он сам теперь усомнился), обращенная против слепого фанатизма священников, из-за которого духовное начало жизни становится чисто формальным, а посему и лживым.

Но самое худшее было в заключительных страницах книги. Кажется, там приводилось нечто вроде письма или воззвания, в котором содержалось поучение, а это само по себе уже было оскорбительно. Состояло это поучение из двух частей. В первой Пиоланти говорил о нищенских условиях существования в Сан-Систо, о разящем контрасте с жизнью богачей, помещиков и фабрикантов, обитающих в роскошных особняках. Во второй части он обращался к священникам, работающим в таких же приходах, как Сан-Систо, и призывал их любой ценой вернуть доверие бедняков, ибо может настать день, когда они пойдут на своих пастырей, а те, против кого бедняки возмущаются и на кого поднимут руку, ни в какой мере не могут стать мучениками, ведь мучениками становятся только малые сии, против которых пошли богатые, а вовсе не богатые или их пособники, против которых пошли убогие. Письмо заканчивалось прямой скобкой с латинскими словами: «*Sanguis iste non est venerandus*».

— Это значит, — пояснил он, излагая мне смысл своего рассуждения, — «крови той не может быть воздана честь».

— Кровь всегда есть кровь,—ответил я.—По-моему, в наши дни одно только это и верно.

Пиоланти еще больше загрустил. Он не сводил глаз со своих больших натруженных рук.

— Я вовсе не призывал к кровопролитию,—сказал он.— Никогда бы мне и в голову не пришло что-либо подобное. Я написал лишь, что если бы настал день подведения итогов, то у нас не было бы права на это столь возвышенное утешение, поскольку не всякая пролитая нами кровь есть кровь мученическая. К тому же я написал об этом всего несколько фраз в моей книге. В основном из-за этих фраз да еще из-за десятка других и возник разговор. А не из-за того, что исповеди у нас неправдивые. С этим даже здесь, в Риме, соглашались, считая, что так оно и есть и нужно это исправить.

— Где вы издали книжку?—спросил я.

— В Орсино.

— Имея *imprimatur*¹ своего епископа?

— Да. Мой епископ одобрил ее содержание и подписал к печати. Его епархия одна из беднейших у нас. Я полагаю, что о многих наших делах он думает то же, что и я. В моей книжке, впрочем, нет никакой ереси. Даже в Риме ее ни в чем таком не обвиняют. Осуждают за другое.

— За что?

— За несвоевременные мысли.

Вчера я спросил еще, надеется ли Пиоланти вернуться в Сан-Систо.

— Пожалуй, да,—ответил он.—Куда же они меня денут? Нелегко им найти приход более убогий, чем мой! И к тому же мое возвращение в Сан-Систо отнюдь не будет победой. Меня предупредили, что я в любом случае буду обязан, вернувшись в приход, обойти людей, которых оскорбил моей книгой, и заявить, что полностью от нее отрекаюсь. Через несколько лет люди обо всем забудут, однако вначале мне будет весьма несладко.

Речь зашла о нашей первой встрече у отца де Воса, а затем о встрече в Ватиканской библиотеке. Я вспомнил, с каким упорством он вчитывался в книги, всякий раз другие, и заговорил об этом, предположив, что чтением столь разнообразных трудов он, вероятно, старался обосновать свои аргументы.

— Только вначале!—возразил он.—Теперь же я ищу в книгах обоснование тех аргументов, которыми желал бы руководствоваться.

Я спросил Пиоланти, когда он увидит отца де Воса. Он ответил, что зайдет к нему проститься перед отъездом, когда посетит всех тех, у кого бывал по своей воле, и тех, к кому его

¹ Можно печатать (*лат.*); здесь: разрешение.

официально вызывали. В последнее время, впрочем, он не виделся ни с кем, ни с первыми, ни со вторыми, и только ждал.

— Долго ли еще?—спросил я.

— Это еще протянется,—ответил он.

Сегодня—отступление от нашего обычного круга тем. Да и вообще мы беседуем недолго. Спускаемся со склона горы к семи часам, потому что ужин подадут раньше обычного. В сумерки состоится ежегодное торжественное шествие. Древний обычай, связанный по традиции с теми временами, когда лепрозорий заселяли прокаженные. Их нет здесь уже несколько веков, но обряд сохранился. Торжественная церемония происходит уже в полной темноте. Тогда на вершине Монте-Агуццо появляется головная колонна первой процессии, рядом—передние ряды второй и третьей. Всего их десять. По числу соседних приходов и храмов. Одним идти до нас недолго, другим подольше. Они выходят из дому в разное время, с тем чтобы одновременно окружить нас. Эхо их песен разносится по всей околице. Первые, далекие-далекие голоса мы с Пиоланти слышали, когда еще сидели на горе. Пока мы ужинали, звуки поплыли уже со всех сторон. Наступают сумерки, и тогда все мы, обитатели монастырского приюта, собираемся во внутреннем дворике, со стороны огородов. Каждый из нас держит в левой руке дощечку, а в правой палочку. Поднимаясь в гору, мы время от времени ударяем палочкой по дощечке. Столетия назад наши предшественники, населявшие лепрозорий и принимавшие участие в церемонии, держали в руках предписанные правилами колотушки, чтобы предупреждать здоровых о своем приближении. Наши дощечки и палочки—это символические подобию тех колотушек.

Когда священник Пиоланти во время нашей сегодняшней беседы стал уговаривать меня пойти на церемонию, я вначале отказался, опасаясь, что встречу пани Рогульскую и пани Козицкую, как в тот раз, когда я впервые попал в Ладзаретто. О встрече с ними я вспомнил, впрочем, спустя несколько часов после того, как второй раз приехал в Ладзаретто, и все дни, пока здесь жил, старательно обходил больницу, в которой бывала Рогульская. Мне не хотелось, чтобы Пиоланти подумал, будто меня смущает характер церемонии, и я признался, почему у меня нет охоты сопровождать его. Однако он меня успокоил.

— Не придут!—уверенно сказал он.

— Но ведь в прошлый раз на выступлении хора и труппы, которая давала спектакль, они были. Как же можно знать, что они сегодня не придут?

— Да на эту церемонию никто не приходит. Даже сестры из больницы. Потому что шествие давно уже утеряло всякий религиозный смысл. Осталось суеверие. Рим мало-помалу отменяет все эти, уже несколько выродившиеся ритуалы. Церемония в Ладзаретто пока еще сохранилась из-за упорства простых людей,

которые живут в окрестных приходах. Ручаюсь, что, кроме них и нас, никого не будет.

Он оказался прав. Из монастыря тропинками на гору нас поднималось самое большое человек пятнадцать. Священники, вместе с которыми я столовался, кухонная прислуга, церковный сторож, причетники из нашей церкви, я— вот и все. Что касается процессий, то они тоже были немногочисленны, по крайней мере если судить по доносившимся сюда голосам. Когда все уже собрались, хор зазвучал более мощно, теперь пели на одну ноту— ноту скорбного псалма, который исполняют, опуская останки в могилу:

«Chorus angelorum vos suscipiat et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeatis requiem».

— «Дабы вас,—шепотом начал переводить Пиоланти,—хоры ангельские приняли, и дабы вас, яко Лазаря, убогого сына сей земли, ожидал вечный покой...»

— Я понимаю,—перебил я его.—Я знаю латынь.

В свете факелов, фонарей и маленьких лампадок мелькали перед нами образа или фигуры святых. Участники процессии принесли их из окрестных приходских церквей и часовен. Они изображали покровителей или покровительниц этих церквей и часовен, построенных в их честь. Люди, несшие святые образа, наклоняли их в нашу сторону—мы находились значительно ниже—так, чтобы мы могли их получше разглядеть, и, вероятно, для того, чтобы святым, изображенным на образах, легче было подарить нам свой милосердный взор. А мы—теперь согласно ритуалу и, конечно уж, не для того, чтобы отпугнуть от себя, а, напротив, чтобы привлечь к себе внимание святых,—непрерывно, как огромные черные сверчки, громыхали в темноте деревьяшками.

XXV

На следующий день, еще утром, я вернулся в Рим. Встал я как обычно, уложил свои вещи в сумку и вместе с Пиоланти отправился на вокзал. Я был благодарен ему за гостеприимство, и мне было тяжело с ним расставаться. В поезде я еще раз попытался уговорить его пойти со мной в Ватиканский музей. Тщетно. Пиоланти тоже было жаль расставаться со мной. Я чувствовал это. В вагоне он сел в угол, то и дело поглядывал на меня оттуда и печально улыбался. Всякий раз при этом он молча кивал своей большой рыжеватой головой, но ни пообедать со мной, ни пойти в музей не захотел. На первом я не настаивал, помня, по каким соображениям он всегда отказывается посещать рестораны. Однако музей—иное дело. Да и причины, по которым он отказывался сопровождать меня, оказались совсем другого

порядка. Так как я от него не отставал, то в конце концов ему не без труда удалось их изложить. Сперва он признался, что привык ежедневно бывать в библиотеке и без обычной порции чтения чувствовал себя плохо. А затем эту психологическую мотивировку подкрепил другой, более существенной. Оказалось, что через несколько дней библиотека вместе со всеми другими ватиканскими учреждениями, как и каждый год в это время, закрывает свои двустворчатые двери на целых шесть недель.

— Вы хотите насытиться разными мудрыми текстами на шесть недель вперед?—спросил я.

— Даже не в том дело,—ответил он.—Но перед большими каникулами в курии принимают множество решений. Я хочу быть готов на тот случай, если курия предложит мне вернуться в мой приход. А я еще многое не успел протудировать.

Я выглянул в окно и увидел разбегающиеся рельсовые пути. Вокзал Термини. Стремительно пронесся экспресс, шедший в противоположном направлении. Длинные синие вагоны—значит, поезд дальний, или, точнее, международный. Он промелькнул, грохоча, и исчез, напомнив мне, что и я через несколько дней в Венеции или в Удино сяду в такой же поезд и помчусь назад в Польшу. Я пожалел, что момент этот уже так близок. Но, быть может, меня встревожил не только вид мчащегося поезда и мысль о скором отъезде. Я все еще был в обиде на Ватиканскую библиотеку, не позволившую мне закончить мою работу. Упомянув о библиотеке, Пиоланти задел мое больное место, до такой степени чувствительное, что, несмотря на всю нашу дружбу, я никак не смог искренне огорчиться из-за того, что библиотека вскоре закроется для всех.

Заскрежетали тормоза. Раз, другой, третий, десятый. Наконец—в окнах тень. Это мы из залитого солнцем пространства въехали под широкий навес над перроном. Я взял сумку. Пиоланти протянул мне руку.

— Спасибо за компанию,—сказал он.

— Да за что меня благодарить!—ответил я.—Это я должен выразить вам самую искреннюю и глубокую благодарность. Мне хотелось бы поддерживать с вами связь. Вернувшись домой, я напишу вам.

Мы стояли посредине купе, загораживая дорогу нашим попутчикам. Поэтому мы вышли в коридор, а затем на перрон. Здесь мы снова обменялись рукопожатием, таким же крепким и продолжительным, как и все предыдущие. Раньше, в коридоре и в купе, мы сократили церемонию прощания потому, что на нас напирали люди, теперь ее оборвал сам Пиоланти.

— Что касается писем,—сказал он,—лучше пока не пишите. Если я вернусь в мой приход, люди там темные, письма из Польши могут вызвать нежелательные толки. Но вы как-нибудь за меня помолитесь, как и я за вас, хотя вы, кажется, не очень в

бога веруете, а я после всего, что случилось, не очень ему мил. Все-таки вздох, обращенный к нему, всегда останется вздохом. А теперь поспешите и используйте каждое мгновение своего последнего дня в Риме. А я пойду помаленьку, у меня как-никак есть время.

Но он проводил меня до такси. Я больше не предлагал подвезти его, зная наперед, что ничего не добьюсь. Прежде чем машина сразу за вокзалом свернула влево, мы еще помахали друг другу. За углом — улица Джолитти, арка Порты-Маджоре, фронтон собора Святого креста, дорога, по которой я столько раз ездил на всех видах транспорта, и наконец — виа Авеццано, пансионат «Ванда».

Звоню. Мне открывает горничная с возгласом:

— Ах, синьор профессор! Где вы пропадали столько времени?

До сих пор, обращаясь ко мне, она довольствовалась титулом «доктор». Я не возражал, зная местный обычай, по которому все титулуют друг друга, не разбирая, есть к тому основания или нет. Впрочем, что касается горничной, то она вообще разговаривала со мной крайне редко. Мое произношение и мой синтаксис пугали ее, вызывая на ее лице беспомощную гримасу. Помня об этом, я стараюсь строить простые фразы и задавать несложные вопросы.

— Так, немножко путешествовал, — отвечаю я. — Дома ли синьора Рогульская?

— Нет, она в больнице.

— А синьор Шумовский?

— Ездит по Риму с туристами.

— Ну, может быть, есть синьора Козицкая?

— Тоже в больнице. Все вернутся к обеду. Не подождете ли, синьор профессор?

— Увы. Я очень спешу. Передайте от меня всем сердечный привет. Я только возьму чемодан и тут же умчусь.

Она не двигается с места.

— Господа будут очень, очень огорчены!

Она стоит как столб и, кажется, твердо намерена удержать меня. Тогда я сую ей в руку деньги, которые заготовил, чтобы вручить перед самым уходом. Я прошу ее также на минутку отворить любую из комнат для постояльцев, если есть незанятая, либо указать мне место, где я мог бы уложить чемодан, потому что я хочу впихнуть в него вещи, которые привез с собой. Но горничная словно приросла к полу.

— А вы знаете, синьор профессор, что вам тут звонили без конца? — спрашивает она.

— Кто? — говорю я. — Откуда?

— Dapertutto, — отвечает она. — Dapertutto!

Отовсюду! Значение этого слова широкое и для данного случая преувеличенное, но само известие, конечно, потрясающее. Я еще раз пытаюсь добиться от нее чего-то более конкретного.

— Вы не помните ни одной фамилии?—допытываюсь я.—
Никаких подробностей?

— C'è anche una lettera per lei¹,—отвечает она на это.

— Письмо! Ну так дайте его!

Горничная исчезает. Немало времени спустя она возвращается, неся обеими руками чемодан. На чемодане письмо, засунутое под перевязывающий его ремень. Я тянусь за письмом, а горничная с гордостью сообщает:

— Вспомнила! Вам звонили от одного адвоката, а еще из одного учреждения в курии.

Разрываю конверт. В передней темно. Зажигаю свет.

— Ваша прежняя комната не занята,—говорит горничная.—Я туда отнесу чемодан.

— Чудесно! Сейчас иду!

Теперь я в свою очередь не двигаюсь с места. Руки у меня дрожат, буквы пляшут перед глазами. Все то, что я старательно усыплял в себе в течение недели, проведенной в Ладзаретто, просыпается, оживает. Факты, обиды, душевные муки. Только что я был на сто миль от всего этого и вот попадаю в самый центр прежней мути. А буквы все пляшут и пляшут. Бумага из канцелярии синьора Кампилли, его почерк, знакомая подпись, слов немного, все понятны, а я стою и стою, читаю и читаю и ничего не могу понять. Смотрю на письмо, как на клочок земли за окном самолета, сажающегося на крыло. Абсолютно ничего не могу ухватить. Целое состоит из сотни раз виденных частиц, но они странно вращаются вокруг неуловимой оси. Кампилли пишет, чтобы я сразу по приезде позвонил ему. Беспокоится, успеем ли до столь близких уже каникул в курии осуществить намеченные нами действия, необходимые для завершения дела. В этом месте он не поспешил на нежные упреки: почему я так легкомысленно затянул свою туристскую поездку за пределами Рима? Затем он сообщает все номера телефонов: виллы в Остии, своего клуба в Риме, домашний. Стандартная формула вежливости в конце письма—самая сердечная. Прячу письмо в карман. Но почти сразу же снова его достаю. В течение четверти часа не могу прийти в себя. А когда ясность сознания наконец ко мне возвращается, я снова извлекаю письмо. Звоню по очереди по всем указанным телефонам. В Остии мне говорят, что он уехал в Рим, дома сообщают, что ушел в город, в клубе—что обычно приходит около часу. Смотрю на часы—девять.

Беру сумку и перехожу в мою прежнюю комнату. Открываю чемодан, но, едва прикоснувшись к нему, застываю в неподвижности. Вдруг мне приходит в голову, что Малинский может кое-что мне объяснить. Прохожу мимо столовой и останавливаюсь у его двери. Стучу раз, другой. Бульдог заливается за дверь, но никто

¹ Есть еще для вас письмо (итал.).

на мой стук не откликается. Иду на кухню, чтобы узнать, когда вернется Малинский. В кухне—горничная. Спрашиваю:

— А когда будет дома синьор Малинский?

— Он в больнице.

— Что же такое?—говорю я.—Почему сегодня все ваши понесли в больницу?

— Он болен,—отвечает девушка.—Как только вы уехали, его забрали в больницу.

— Ах так! Что-нибудь серьезное?

— Сердечный приступ.

— Вот как!

Возвращаюсь к своему чемодану, но попутно у меня возникает еще одна идея. Отыскиваю в записной книжке номер телефона священника де Воса, который когда-то мне дал Кампилли. Звоню. Его тоже нет дома. Спрашиваю, когда можно его застать. В ответ слышу:

— Его нет в Риме. Будет после каникул.

Я отхожу от телефона и в темной передней сталкиваюсь с горничной. Она пришла посмотреть, уложил ли я уже вещи, а то ей надо сбежать в город.

— Минутку,—говорю я,—минутку. В какой больнице находится пан Малинский?

— При монастыре святого Варфоломея, на острове.

Я догадываюсь, о каком острове идет речь. В Риме есть только один—на Тибре. Там помещается старинная больница, которую содержит монашеский орден бонифратров.

— Сегодня не уеду!—решаю я.—Можно у вас переночевать?

— Хозяева, наверное, согласятся! Не знаю только, может, они кому-нибудь сдали вашу прежнюю комнату. Кажется, нет.

— Значит, согласятся! Во всяком случае, найдется ведь свободная комната?

— Есть комнаты. Есть!

— Тогда, если понадобится, вы, может, перенесете мои вещи, а то я сейчас очень спешу?

Сбегаю по лестнице, беру такси и еду на этот остров. Заставляю себя усесться поудобнее, однако поминутно спохватываюсь, что сижу подавшись всем корпусом вперед и напряженно слежу за мостовой, где перед нами то и дело возникают какие-нибудь препятствия. Я вспоминаю во всех подробностях последний этап моего пребывания в Риме, начиная от первой беседы с Малинским, прояснившей положение в самых общих чертах, и вплоть до последней беседы—с кардиналом, когда я уже капитулировал. Логика их была железной, и вывод следовал только один. Я чувствовал его мощь и смысл даже тогда, когда не мог с ним примириться и метался в отчаянии по всему Риму. В Ладзаретто, постепенно набираясь сил и успокаиваясь, я еще отчетливее видел, что, на мое несчастье, обстоятельства, так или

иначе связанные с делом моего отца, в Риме могли привести к одному-единственному исходу—именно к тому, к которому привели. Чувствуя это, я хоть по-прежнему с большою думал об отце и возмущался обрушившейся на нас несправедливостью, но как-то привык к своему поражению, и главным образом потому, что за ним стояла логика, чуждая мне, но до сих пор скреплявшая все звенья в моем деле очень по-своему последовательно и точно.

Но, видимо, я был не прав. Это доказывало письмо Кампилли, не оставлявшее никаких сомнений! Да, это доказывало содержание письма, и прежде всего—его тон, звучавший так, словно хлопоты, ожидавшие нас в курии и необходимые для завершения дела, были непосредственно связаны с ранее принятыми мерами, вытекали из предыдущего положения вещей, а их целесообразность не стояла ни в какой связи с неким обозначившимся переломом. Само собой понятно, что адвокат сумел бы найти нужный стиль, если бы возникло нечто действительно новое. Именно таким новым, например, был факт смерти епископа Гожелинского. Я отлично помнил все обстоятельства того дня: Кампилли вызвал меня к себе домой из библиотеки и с энтузиазмом говорил о важном для нас событии. Но это его письмо было выдержано совсем в другом тоне. Я ничего не понимал, и мне стало страшно. Если новых фактов нет и сохраняется силу прежняя ситуация, то не означает ли это, что Кампилли затеял всю игру попросту потому, что ему захотелось приложить целительный бальзам к моей ране?

Такой поступок был бы в его духе. Правда, кроме Кампилли, в пансионат звонили из курии, вероятно из секретариата Роты, но, возможно, и здесь дело не обошлось без его участия. Могло случиться и так: после моего отъезда Кампилли одумался, поговорил с монсиньором Риго и с кем-нибудь еще и решил, что его не осудят, если он позволит себе красивый жест. Отсюда письмо и, разумеется, заранее подготовленное предположение. К примеру, посоветует мне подать прошение, заявление или выполнить другую формальность, которая, по существу, ничего не изменит, но зато я уеду из Рима в уверенности, что все здесь стремились мне помочь—и та инстанция, куда я обратился, и мои покровители. Добренькими всюду любят быть! Убедив себя, что рассчитывать мне не на что, я пришел в ужас. Едва ли полчаса назад я получил письмо. Все это время меня томила неуверенность, я напрягал все свои умственные способности, силясь понять, что же скрывается за словами Кампилли. Но и несмотря ни на что, как видно, мои старые надежды ожили, потому что у меня даже в глазах потемнело при мысли, что письмо несколько не меняет положения.

Такси сворачивает на мост, въезжает во двор больницы, останавливается. Я вхожу в ворота и звоню в дежурную. Никто не открывает. Я заглядываю в дверь на противоположной сторо-

не. Меня посылают из флигеля во флигель и с этажа на этаж, пока наконец я не попадаю в большую палату, душную, темную. Я медленно иду вдоль кроватей. Их много. У правой стены один ряд, у левой — другой, а потом еще поперек палаты — третий и четвертый. Сущий лабиринт. Я плутаю довольно долго. Наконец нахожу кровать Малинского. Глаза у него закрыты. Бескровные руки лежат на сером потертом одеяле. На маленькой табуретке, втиснутой между кроватями Малинского и его соседа, сидит Козицкая. Я дотрагиваюсь до ее плеча. Она оборачивается. В этот момент Малинский открывает глаза.

— О,— улыбается он,— вот и наша пропавшая душа! — И обращаясь к Козицкой: — Видишь, я все время говорил, что он явится!

— Я приехал сегодня утром и только в пансионате узнал, что вы больны.

Пауза. Малинский с трудом произносит:

— Ну вот, удалось вам добиться своего. Я никак не предполагал!

— Ничего еще не знаю. Я вернулся час назад.

Он на это:

— Добился — и смотал удочки! Все уверяли, будто вы к нам даже не заглянете, чтобы попрощаться. Не станете тратить время.

Мы явно не понимаем друг друга, и мало того, что не понимаем, — он-то в курсе событий, которые произошли за время моего отсутствия, а я нет. Значит, что-то все-таки случилось. Я упорно смотрю ему в глаза. Выражение их изменилось из-за болезни, да к тому же он снял роговые очки, в которых я привык его видеть. Малинский мерно дышит. Рот у него открыт. Иногда из горла вырывается короткий спазматический вздох. Неудобно спрашивать о моем деле. Да и сердце у меня сжимается, когда я гляжу на Малинского. Справа и слева — кровати, на одной из них больной стонет, на другой храпит. И какая духота!

— Может, вы сядете, — говорит Козицкая. — На минуточку, потому что его утомляют визиты.

Малинский смотрит на нее, а потом, когда я отвечаю, переводит взгляд на меня.

— Я сейчас уйду, — успокаиваю я Козицкую. — Мне хочется только узнать, как себя чувствует пан Малинский.

Она:

— Теперь уж лучше.

Он:

— Лишь бы мне позволили домой вернуться, тогда все будет хорошо.

Я мимоходом упоминаю, что был в пансионате и попросил оставить за мной комнату, а кстати выражаю надежду, что с этим все будет в порядке.

Козицкая:

— Все-таки лучше предупреждать заранее. Неужели так трудно прислать открытку?

Малинский:

— Ах, не приставай к нему!

Я — Козицкой:

— Уже вернувшись в Рим, я изменил свои планы. А пока ехал, мне и в голову не приходило, что я здесь еще задержусь! — И тут же Малинскому: — Вы помните, какое у меня было плохое настроение, когда мы в последний раз виделись. Впрочем, я описал вам мои переживания в письме.

— Да, но настроение изменилось после визита к кардиналу! Скрытный вы человек и настойчивый. Во всяком случае, поздравляю! Поздравляю!

Я онемел. Меня охватило то же самое чувство, что и при чтении письма Кампилли. Опять все закружилось. Видение, которое сперва лишь промелькнуло передо мной, теперь снова возникло и на этот раз приняло более отчетливые формы. Нахлынувшая на меня радость напоминала то блаженное состояние, которое я испытал после первого визита к монсиньору Риго. Я по-прежнему не понимал, что же произошло, но все сигналы, полученные мной с утра, говорили об одном и том же. Надежда превращалась в уверенность. Я не мог дольше ей противиться и вдруг почувствовал, как что-то нежно щекочет мои глаза; я сразу взял себя в руки и встал.

— Я загляну к вам, — сказал я, — если не завтра, так послезавтра. А пока пожелаю скорейшего выздоровления.

XXVI

В час дня мне удалось наконец созвониться с Кампилли. Он был в своем клубе и просил меня тотчас туда прийти. Я уже разбирался во всех интонациях голоса адвоката, во всей их гамме, начиная от сердечной, отеческой и кончая равнодушно-отчужденной, прячущей неловкость, как было во время нашего последнего разговора, когда он отказал мне от дома и уговаривал предоставить дело, ради которого я приехал в Рим, своему течению. Теперь он снова очень тепло и с дружеским нетерпением приветствовал меня.

— Мне передали ваше письмо, — сообщил я. — Поэтому я звоню.

Он секунду помолчал, но тут же заговорил с радостным оживлением:

— Как же я доволен! А я уже тревожился! У тебя стальные нервы, если ты способен в самый разгар наших хлопот уехать из Рима и вернуться к последнему звонку.

Мне стало стыдно за него. Как легко, без тени смущения, он искажает правду. Если бы у меня хватило времени на размышления, я не стал бы с ним спорить, не старался бы уточнить факты. Ведь значение имело только то, что дело ожило и Кампилли снова хочет и может мне помочь. Но, не успев еще сообразить, как мало для меня толку в том, чтобы прижать его к стенке, я сказал:

— Я не предполагал, что мы еще увидимся. Разве вы не получили мое письмо?

Снова секунда тишины, а затем:

— Ах да, получил. Разреши тебе сказать: ты немножко погорячился. Забудем об этом. А теперь бросай все дела и беги сюда как можно скорее. Я жажду тебя увидеть и так же сильно хочу есть. А без тебя не буду завтракать.

Таким образом, прямо из бара, откуда я звонил, я поехал на такси по адресу, указанному Кампилли. Палаццо Шара-Колонна на Корсо, вход со двора направо, второй этаж. Название клуба «Чирколо Романо». Вот и он! Высокая, украшенная резьбой дверь. Медный звонок в большой вогнутой и вмурованной в стену оправе. Звоню. Швейцар в ливрее. Гардеробщик в ливрее. Метрдотель во фраке, как и кельнеры,—впрочем, они стоят без дела, потому что в зале почти пусто. Справляюсь о Кампилли. Он сидит в углу. Верен себе—легко вскакивает, едва завидев меня. Следуют приветствия, как в лучшие времена: сияющие улыбки, долгие рукопожатия.

— Ты чудесно выглядишь!—говорит Кампилли.—Загорелый, веселый. Точная копия твоего отца. Он, как и ты, великолепно восстанавливал силы, пробыв всего несколько дней вне Рима. Тебя словно подменили! Небось зарылся где-нибудь у моря, не думая ни о каких великих достижениях туризма. Иначе ты бы так не отдохнул. Признавайся.

— В известной мере,—отвечаю я.

— Очень умно! Очень умно! В эту пору года любая поездка—пытка. Рим—тоже пытка. Водить машину по Риму—пытка. Рестораны, набитые туристами,—пытка. Хвала всевышнему, у нас хоть есть клуб; у нас—значит у ватиканских адвокатов и высших светских чиновников. Здесь просторно и прохладно. Ну и, как видишь, пусто, потому что каждый, кто только мог, уже сбежал. А через несколько дней мы вообще закрываем...

— Клуб?

— Прежде всего—курию! Остаются только дежурные, а прочие, от кардиналов до референтов, разъезжаются на большие каникулы. Трибуналы тоже закрывают свои врата.

Я уже слышал о наступающих каникулах. Совсем недавно о них упомянул священник Пиоланти. Возможно, даже сказал, когда они начинаются, но тогда все связанное с курией меня уже не интересовало, и я пропустил его слова мимо ушей. Теперь я живо спросил:

— Через сколько дней? Сколько дней у меня еще осталось?

— Пять, а точнее — четыре, потому что монсиньор Риго покинет свою канцелярию днем раньше.

— В пансионате говорят, будто мне звонили из курии. Как вы думаете, это он меня вызывал? — тихо спросил я.

— Конечно! Только не он лично, а его секретарь. Впрочем, так мы и договаривались: он, ты и я.

— Значит, теперь можно без всяких препятствий отправить из Рима в Торунь какое-нибудь дело с пометкой, что вести его поручено отцу?

— Разумеется! Но, поскольку ни в моей канцелярии, ни у близких мне коллег не нашлось ни одного дела, которое можно было бы со сколько-нибудь веским основанием переслать для частичного доследования в Торунь, мы с монсиньором Риго пришли к выводу, что лучше пойти другим путем к той же цели. Я тебе уже говорил о нем. Я имею в виду так называемое подтверждение места жительства. Ты представляешь себе, в чем тут суть?

— Да, — ответил я.

Конечно, я все представлял себе и, зная, в чем тут суть, знал и нечто другое: в той мере, как менялись интонаций голоса адвоката Кампилли, менялись и методы, которые он избирал. Одни в большей степени требовали участия его собственной канцелярии или канцелярии дружески расположенных к нему коллег, другие — в меньшей. Я понимал, кроме того, что все дела, которые можно было передать в Торунь, разом исчезли, хотя уже после смерти епископа Гожелинского, в день нашей полной оптимизма беседы, в канцелярии одного только Кампилли их было полным-полно. Что касается метода, о котором теперь упомянул Кампилли, то он заключался в следующем: по просьбе отца Рота должна подтвердить тот факт, что он поселился в пределах определенной епархии и приступил к выполнению своих обязанностей в местной курии. Адвокаты, связанные с Ротой, каждые несколько лет должны получать новые справки. Следовательно, с бюрократической точки зрения метод был хорош для того, чтобы узаконить положение отца. Но из всех методов, которые мы обсуждали, этот, единственный, лично никак не затрагивал Кампилли. Меня это поразило.

— У тебя найдется еще пустой бланк с подписью отца?

— Да.

— Зайдешь ко мне, я тебе продиктую стандартную латинскую форму. Ты ее перепишешь и обязательно сегодня же отнесешь письмо, теперь каждый час на счету.

Он наклонился над тарелкой, старательно накручивая на вилку макароны. В огромном зале, где мы сидели, царил полумрак. Плотные драпировки на окнах не пропускали солнца. Время от времени к нам подходил кельнер и справлялся, не нуждаемся ли

мы в его услугах. В зале по-прежнему было пусто. Кроме нашего столика, были заняты еще три, а может, четыре. За каждым—солидные господа в возрасте Кампилли или даже постарше. Кампилли всех знал: с каждым входящим он обменивался поклонами. Кельнеры сразу обступали нового посетителя. Но едва он выбирал столик, большинство кельнеров, утратив к нему интерес, исчезало. В центре зала снова становилось пусто. Тогда, глядя прямо вперед, я видел только две колоссальные кариатиды, подпирающие мраморную плиту над камином, тоже гигантским—в него можно было бы войти не сгибаясь. Кампилли ел макароны, я тоже. Молчание затягивалось. Я подумал, что, быть может, неправильно его осуждаю. Допустим, он не хочет впутывать себя в это дело. Но ведь он по-прежнему готов мне помочь, и это следует ценить. Только теперь всякая приподнятость тона вызывала у меня внутренний отпор. Не мог же я после всего, что перенес, оставаться по-прежнему наивным и доверчивым.

— Благодарю вас,—сказал я.—Я приду в четыре, не раньше, чтобы не испортить вам послеобеденный отдых.

— Но и не позднее. Письмо надо передать в секретариат монсиньора Риго до шести. Так, чтобы он успел его прочесть еще сегодня вечером.

— А ответ?

— Дадут тебе в руки. Но ты должен нажимать на секретаря.

— Благодарю,—повторил я.—Разрешите все-таки задать вам несколько вопросов?

Кампилли покончил с макаронами и как раз в это мгновение отодвигал от себя тарелку. Руки его замерли: не снимая их со стола, он повернулся ко мне, и лицо его растянулось в улыбке, которая показалась мне несколько искусственной.

— Безусловно,—сказал он.—Спрашивай! Спрашивай! А потом и я допрошу тебя по всей строгости: почему ты написал мне такое нелюбезное письмо и почему тебе так не терпелось удрать из Рима?

Тогда я выложил все, что так тяготило меня. Отец настаивал, чтобы я обо всем советовался с Кампилли и ничего от него не скрывал, ну вот я и поступил так! Я напомнил ему, при каких обстоятельствах мы виделись в последний раз и какие советы он тогда давал. Напомнил и о том, что он, зная, какие неприятности ждут меня в библиотеке, ни о чем меня не предупредил, не спас от унизительного разговора с Корси, ничего не объяснил. Мне пришлось от посторонних лиц узнать правду.

В этом месте Кампилли, не спускавший с меня своих голубых внимательных глаз, вставил:

— Ты не должен называть священника де Воса посторонним лицом.

— Я говорю не о нем. О других! Я ходил и к другим!

— Жаль!

— Значит, не следовало ходить и к кардиналу Травиа? А ведь теперь даже посторонние люди говорят мне, что ситуация изменилась именно потому, что я пошел к кардиналу, в то время как вы стараетесь мне внушить, будто дело продвигалось своим естественным ходом и только я ни с того ни с сего потерял терпение.

Кампилли достал платочек, светлый кончик которого торчал из кармана пиджака, и вытер лицо. От платочка запахло лавандой.

— Мой дорогой мальчик,—сказал он,—в нашей курии всегда все идет естественным ходом! Ты проведешь с нами еще несколько дней, и я прошу тебя помнить об этом прежде всего в интересах твоего отца. Я считал, что после наших многочисленных бесед ты научился разбираться в вещах достаточно глубоко, чтобы сразу отбросить всякую мысль о том, будто твой визит к кардиналу направил дело по должному руслу.

— Да я этого и не думал,—ответил я.—Твердо знаю, что ничего не добился от кардинала и разговор с ним не имел ни смысла, ни значения. Но вместе с тем мне известно, что, когда я уезжал из Рима, дело мое было проиграно; возвращаюсь—и вы мне говорите, будто все идет наилучшим образом. Бога ради, объясните, что же случилось?

— Тише, тише,—попросил Кампилли, а затем продолжил:—Ты ошибаешься, будто твой разговор с кардиналом не имел значения. Кардиналы не ведут пустых разговоров! Хорошо ли ты помнишь, что тебе сказал священник де Вос, когда ты у него был в последний раз? Помнишь ли ты, что он тебе говорил о некоторых планах относительно блаженной памяти епископа Гожелинского? Так вот, в курии об этих планах больше не говорят. С тебя достаточно?

Я с удивлением прошептал:

— Как же так, а весь тот шум вокруг имени покойного? Значит, в курии покончили с его культом?

— Да.

— И больше не собираются причислить его к лику святых?

— Нет. Говорят даже, что он был человеком мелочным и мстительным.

— Это преувеличение!—сорвалось у меня.—Сперва перегнули в одну сторону, а теперь в другую!

— Тише,—снова осадил меня Кампилли.—И, пожалуйста, без рефлексий! Не высказывай никаких суждений по этому поводу. В те немногие дни, которые ты еще с нами проведешь, владей собой и сдерживайся. Обещаешь мне?

— Самым торжественным образом! Признаюсь, все-таки мне легче было бы владеть собой, если бы я смог уразуметь, что же случилось.

Кампилли потянулся к бутылке с вином. Налил мне и себе и после недолгого размышления сказал:

— Хорошо ли ты запомнил содержание твоей беседы с кардиналом? А главное, помнишь ли ты, что он сказал тебе по поводу примера святости и мученичества, который должен поднять дух у вас, живущих в Польше? Вспоминаешь ли ты, что он особенно настаивал на возрасте, утверждая, что таким примером должен служить кто-то молодой и в силу этого способный повести за собой вас, молодежь?

— Отлично помню,— ответил я.— Он высказывался довольно туманно, но мысли о возрасте мученика, который должен осветить нам путь своим примером, выразил четко. Кардинал вполне вразумительно сказал, что такую фигуру обязательно надо искать среди молодых.

— И значит, он имел в виду отнюдь не епископа Гожелинского?

— Похоже, что не его!— Слова эти я произнес медленно: меня в равной мере поразило и то, что Кампилли так хорошо известно содержание моей беседы с кардиналом Травиа, и то, какие он извлек из нее выводы.

— Вот что произошло,— сказал он.— Твоя беседа с кардиналом по сей день комментируется в курии.

— Стало быть, это я своим визитом к кардиналу все повернул вверх дном,— удивился я, и факт этот, особенно потому, что я до сих пор не придавал ему значения, показался мне до смешного нелепым.

— Ах нет! Помилуй бог, какие глупости ты болтаешь?— возмутился Кампилли.— Кардинал случайно в твоём присутствии высказал мысли, которые раньше или позже высказал бы и без тебя. Вбей себе это в голову, мальчик! Вдобавок ко всему ты, кажется, готов усвоить наипривратнейшее мнение, будто, споря с кардиналом, ты отстоял так или иначе проигранное дело твоего отца. Подобное представление было бы пагубным для дела и оскорбительным, ибо курия является гармонически слаженным организмом, и ни один ее член, пусть самый почитаемый, не станет прекословить другому.

— Пусть будет так,— согласился я.

— Так есть,— многозначительно сказал Кампилли.

Кофе нам подали в другом зале. Не то в читальне, не то в курительной. Здесь было светлее. Посредине стоял огромный стол, заваленный газетами и журналами. Мы утонули в широких кожаных креслах. Я достал сигареты. Кельнер тотчас поспешил ко мне со спичкой. Когда он отошел, я, перегнувшись в сторону Кампилли, заговорил тихо и чуть запинаясь:

— Простите меня за мой подчас резкий тон. В последнее время мне было здесь нелегко. Ну и у меня слегка разыгралась желчь. Простите меня также за некоторые, быть может, неспра-

ведливые слова. Вы были ко мне так внимательны, что я должен был вас избавить от неуместных выпадов. Это больше не повторится!

Кампилли подарил меня улыбкой и лишь кивнул головой в знак того, что понимает меня. Мы заговорили о его семье. В Аbruццы еще не все переехали. Сам он кружил между вильей в горах, домом в Остии и Римом. Затем Кампилли спросил про моего отца и обрадовался, услышав, что я ничего окончательного ему не написал. Потом Кампилли потребовал, чтобы я взял у него еще денег. Но я решительно отказался. Неделя жизни в Ладзаретто почти не отразилась на моем кармане, стояла гроши.

— Во всяком случае, если тебе понадобится, скажешь откровенно,— настаивал Кампилли.

— Я всегда с вами говорю откровенно,— возразил я.

— И не откладывай! Сегодня еще подсчитай, сколько денег тебе может понадобиться. Я ведь тоже через несколько дней уезжаю.

— Нет! Нет!— убеждал я его.— Я уверен, что мне хватит. Зато у меня к вам другая просьба.

— Говори!

— Библиотека.

Он нахмурился. Я подумал, что ему неприятен этот разговор потому, что меня выгнали из библиотеки, а он, зная о том, не предупредил меня,— оказывается, нет. Он снова извлек из кармана пропитанный лавандой платочек. Наконец сказал:

— Оставь. Смирись. Правда, теперь, в сущности, с твоим делом все обстоит по-старому, так, как было перед этим, назовем его застоем, но не все в курии сразу забудут, что был такой застой. Ты понимаешь меня?

— Ничего не поделаешь,— грустно сказал я.— Надеюсь только, что монсиньор Риго уже забыл о застое и сдержит данное вам обещание положительно решить мое дело.

— Ты слишком много хочешь зараз!— возразил Кампилли.— Мы вернулись к исходному положению вещей, это означает всего лишь, что твоим делом снова занимаются в служебном порядке. Ты знаешь, что такое служебный долг в нашем понимании? Это анализ элементов, из которых состоит дело, анализ, продолжающийся вплоть до последней минуты. Так в теории. На практике же, на мой взгляд, не может случиться ничего такого, что снова спутало бы твои расчеты.

Мы вышли во двор. Там стояла машина Кампилли. Мы сели, но я не захотел, чтобы он подвез меня до «Ванды». По забитому машинами Корсо, то и дело останавливаясь, мы доехали до piazzы Венеция. Здесь я вышел, не желая злоупотреблять любезностью Кампилли. Он свернул влево, за Тибр, к своему дому, а я пешком дошел до самого Колизея. Зной мучил меня. Однако я испытывал потребность в движении, чувствовал себя

счастливым, все услышанное сегодня давало надежду на успешный исход моей миссии, к тому же было приятно, что я все-таки немножко отвел душу, хотя Кампилли, вероятно, меньше всех был повинен в этом — позволю себе повторить его определение — *застое*.

XXVII

Ровно в четыре, как мы и договорились, я подошел к воротам виллы Кампилли и позвонил. Открыл мне лакей. Тот самый, которого я у них постоянно видел, и всякий раз на нем была куртка в другую полоску. Он с улыбкой поздоровался со мной, а на моем лице отразилось удивление. Когда Кампилли отказывал мне от дому, он сказал, что усылает лакея в горы. Очевидно, это было не так. Просто ему нужен был предлог, чтобы со мной расстаться, и он придумал, будто запирает дом на лето. Убедившись теперь в его лжи, я был изумлен, но не испытал досады. Я понимал, почему Кампилли тогда так встревожился и был вынужден изворачиваться. Теперь в этом уже не было необходимости. Ветер изменил направление, быть может, даже подул в мою сторону, вот и нашелся лакей! Провожая меня до кабинета, он сказал:

— От вас приходил к нам священник. Я тогда как раз ушел в город, и он оставил письмо и пакет у соседей. Но адвокат все получил в полном порядке.

— Знаю,— ответил я,— он мне говорил.

— Жарко, не правда ли? У нас всегда так в августе.

— Да, действительно.

Кампилли дружески приветствует меня, причем так, словно мы видимся впервые после моего возвращения. Клуб есть клуб, публичное место — это публичное место. Я не говорю уже о том, что во время нашей утренней встречи Кампилли чувствовал себя неловко. Теперь всякая скованность исчезла. Он понял, что те упрёки, которые можно было ему предъявить, я уже предъявил, а те, что по первому разу не сорвались у меня с языка, никогда уже не сорвутся и я забуду о них. Увидев меня, он встал из-за стола и раскрыл объятия; потом велел лакею подать кофе, потянулся к шкафчику за вином, а мне вручил листок бумаги, над которым как раз и сидел, когда я вошел.

— Возьми. Я для тебя приготовил. Вот эта стандартная форма.

Я прочитал. Она действительно была краткой. В бумаге говорилось, что такой-то адвокат папских трибуналов считает для себя честью уведомить «достопочтеннейшую канцелярию Священной Римской Роты», что избрал местожительство на территории торуньской епархии, о чем уведомляет также епископа той же

торуньской епархии. Слова епархия «toruniensis»¹ повторялись еще раз в низу стандартной формы, ниже подписи, как бы подчеркивая, что заявление подано от лица адвоката папских трибуналов, проживающего на территории именно данной епархии.

— Уф!—сказал я.—Кратко, а в общем все одно и то же.

Кампилли с улыбкой возразил:

— Такова уж по традиции эта форма. И радуйся, что краткая, не переутомишься в жару.

Тем не менее из-за жары я просидел над ней с полчаса. Кампилли поставил на письменный стол пишущую машинку и потренировал, чтобы я сперва написал начерно—тогда получится чище. Затем посмотрел письмо, переписанное набело, похвалил. Я тоже был доволен—главным образом потому, что канцелярский бланк с подписью отца, после того как я заполнил его текстом, казался менее измятым, чем раньше.

— Ну, ступай с богом,—сказал Кампилли.—И поточнее узнай в секретариате монсиньора, когда тебе надо прийти за ответом. Да поторопи их!

Перед виллой стояла роскошная «альфа-ромео» Весневича. За рулем—он. В машине—никого.

— О, вы вернулись!—говорит он.—А мы все тут вас разыскивали.

— Вы тоже?—недоверчиво спрашиваю я.

— По поручению тестя, да и тещи. Я пытался до вас дозвониться. Куда вы теперь направляетесь?

— С письмом в Роту.

— Я вас подвезу. А когда отдадите письмо, какие у вас планы?

— Никаких.

— В таком случае предлагаю прокатиться к морю. Страшно жарко! Все порядочные люди давно уехали из Рима. По городу слоняются только слуги церкви, полиция да туристы.

— Ну и люди вроде нас с вами,—засмеялся я.

— Правильно! То есть вроде вас, вы ведь клиент церкви, а я отлично подхожу под одну из трех названных категорий. Причисляю себя к слугам церкви!

— Это что-то новое. Я не знал.

— Никакая работа не унижает человека.

Он остановил машину. Огромный дворец Канцеллерия отбрасывал тень на площадь. Я вбежал в ворота, после чего, свернув влево, поднялся по большим ступеням, лестничным площадкам, коридорам и постепенно сужающейся лестнице на знакомый мне четвертый этаж. В приемной тот же самый служитель. В секретариате тот же самый невысокий молодой священник у

¹ Торуньская (лат.).

заваленного папками стола. Я подал священнику конверт и прерывающимся от волнения голосом спросил, когда могу рассчитывать на ответ. Он словно не расслышал и лишь после того, как вынул письмо из конверта и поднес его к своим близоруким глазам за толстыми стеклами, встал и сообщил, что за ответом я могу явиться послезавтра.

— На всякий случай все-таки сперва позвоните мне,—сказал он.— Чтобы не утруждать себя зря в такую жару. Вот мой номер.

Он дал мне номер своего телефона и проводил до дверей. На прощание протянул руку. Помытая, что Кампилли рекомендовал мне нажимать, я сказал:

— Через несколько дней вы закрываете свою канцелярию, а я, как вам, быть может, известно, приехал в Рим специально по этому делу из очень далеких краев.

Он перебил меня:

— Я знаю. Понимаю. Не для того монсиньор Риго поручил мне разыскивать вас по всему Риму—и в вашем пансионате, и через синьора Кампилли,—чтобы отпустить с пустыми руками. Будьте спокойны.

— Спасибо,—сказал я.— Не откажите также передать монсиньору Риго мою нижайшую благодарность.

— Обязательно,—пообещал молодой священник.

Внизу стояла машина, но Весневича не было. Я огляделся вокруг. Нет и нет! Зато на противоположной стороне я увидел вывеску бара, которая мгновенно вызвала у меня единственное желание: кофе, кофе! После чистого, освежающего воздуха Ладзаретто у меня уже начинала кружиться голова от римской духоты. К тому же день выдался исключительно знойный. В глубине бара сидел возле телефона Весневич. Как только я появился, он сразу закончил разговор.

— Вот и он! Так спускайся. Мы сейчас за тобой заедем.

После чего, обращаясь ко мне:

— Захватим с собой одну девочку. Будет веселее.

Затем:

— Вы долго меня искали?

— Нет. Совсем недолго. Мне только хотелось бы выпить кофе.

Он — кассирше:

— Один кофе для этого синьора.

Я:

— Нет, не надо. Дама, которой вы звонили, ждет.

— Ну и пусть ждет.

Я залпом выпил кофе, и мы вернулись к машине. Я шел, обгоняя Весневича, он не торопился. Зато, сев за руль, сразу развил скорость, от которой душа холодела, и так яростно срезал повороты, что шины издавали протяжный визг. Мы неслись вдоль Тибра, проскочили мимо больницы на острове, где лежал Малин-

ский, а потом свернули налево через Палатинский мост и помчались в обратную сторону. Одна улочка. Другая. Наконец на третьей, самой узкой, мы внезапно остановились. Сандра! Нет, не Сандра, а ее кузина, так на нее похожая. Мы усадили ее между нами и—в путь.

— Это Антонелла,—сказал Весневич, когда мы уже двинулись.

Она:

— Мы знакомы.

Весневич:

— Откуда же?

— Мы вместе были в Остии. Ты привез синьора. Не помнишь разве?

— Ах, правда.

На этот раз, однако, мы не поехали в Остию. Весневич не пожелал. Скучно! Толкотня! Впрочем, он не стал подробно объяснять, почему принял такое решение, и вез нас, куда хотел. Мы только заехали на виа Авеццано за моим купальным костюмом. Полчаса спустя—Фиумичино, я узнал его! Мы переоделись в кабинах и наняли лодку. Так снова вздумалось Весневичу. Он не собирался утомлять греблей ни нас, ни себя. Просто предложил отплыть подальше от берега.

— Будет тише, спокойнее, чище,—сказал он.

Чище было в самом деле. А что касается тишины и спокойствия, то не вполне, потому что Весневич купался весело. Баламутил вокруг себя воду или бил по ней руками, обдавая нас фонтаном брызг. Вскоре он бросил эту забаву и занялся другой: давал уроки плавания Антонелле. В конце концов Весневич помог ей влезть в лодку, а мне предложил пуститься с ним дальше вплавь. Я охотно согласился. Вода была чудесная, и я забыл здесь о раскаленном, душном городе. Спустя двадцать минут, оставив берег позади на добрый километр, мы задеваем ногами песок, вода доходит до икр. Садимся.

— Здесь человек возрождается,—говорит Весневич.—Чертов Рим надоел мне до колик. Летом тут жить невозможно! К счастью, через несколько дней конец. Вы, кажется, тоже заканчиваете свое дело и трогаетесь из Рима?

— Да.

— А что слышно в «Ванде»? Малинскому лучше?

— О, вы знаете, что он болен?

— Мы все знаем. Скверная история. Очень тяжелая.

— Болезнь?

— Причина болезни.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я говорю о том, про что трубит весь наш эмигрантский мирок: Малинскому не повезло в делах, и от волнения его свалил сердечный приступ.

Тогда я вспомнил, что Малинский рассказывал мне о своих торговых операциях. Церковным учреждениям, главным образом монашеским орденам, присылали из разных стран многочисленные дары: одежду и продовольствие, не подлежащие обложению пошлиной при условии, что их используют только данные учреждения. Но им больше нужны были деньги—вот причина нелегальных торговых сделок, которыми занимался Малинский на положении посредника.

— Засыпался, бедняга,—сказал Весневич,—на какой-то большой партии зерна. Теперь ведется следствие.

— Церковное?

— Нет. Обычное. Прокурорское.

— Пора возвращаться,—сказал я.—Нас зовет кухня вашей жены.

Я поднялся, но Весневич не шевелился. Он встал только после того, как увидел, что к лодке приблизились какие-то мужчины и пытаются ухватиться за борт. Мы пробежали часть дороги по отмели. А когда она кончилась, стали соревноваться, кто доплывет первым. Незнакомцы, осаждавшие Антонеллу, исчезли. Я запыхался, и Весневич посадил меня в лодку. Зато к веслам он не рвался, и мне с итальянкой пришлось грести. Через несколько минут мы доплыли до берега, оделись. В машине посовещались, куда же теперь ехать. Весневич и слышать не хотел о том, чтобы провести вечер в Фиумичино—шумно, никакого блеска.

— Другое дело купанье,—сказал он.—Мне тем нравится этот пляж, что здесь не встретишь знакомых, если у тебя нет к тому охоты, но ужинать мы можем где угодно.

— Для ужина еще слишком рано,—заметила Антонелла.

— Ну так двинем на Монте-Каво. Там роскошный ресторан! Вы там бывали?

Я прекрасно помнил эту тысячеметровую гору, находившуюся километрах в пятидесяти от Фиумичино. Отец однажды возил меня туда. Даже в летнюю пору на ее вершине было холодно и зябко; там стояла церковь, перестроенная из бывшего храма Юпитера, монастырь и развалины замка, среди которых примостился ресторан с большой террасой. Вероятно, о нем и говорил Весневич.

— Да,—ответил я.—С террасы ресторана открывается фантастический вид.

— А мы не замерзнем?—встревоженно спросила Антонелла.—Заедем по дороге ко мне, я возьму из дому теплые вещи!

Мы заехали. Квартира была огромная. Мы с Весневичем расселись в гостиной на большом удобном диване. Антонелла ушла в другую комнату, чтобы переодеться, оставив нас с бутылкой крепкого, настоянного на травах ликера, который, по ее мнению, должен был подкрепить нас после купанья. Вернулась она немного погодя, красиво причесанная, в вечернем платье,

причем страх перед холодом в Монте-Каво явно не повлиял на выбор ее туалета. Однако она не забыла о низкой температуре. Как выяснилось, Антонелла приготовила в передней меховую накидку для себя, а для нас по свитеру и шарфу из гардероба мужа, который, кажется, находился в служебной поездке. Захватив все это, мы спустились.

В ресторан мы пошли не сразу, а сперва немножко погуляли по лесистой вершине горы. Наконец-то терраса, та самая, куда меня некогда водил отец. Я, однако, подумал не о нем. Любуясь видом с горы, я вспомнил о священнике Пиоланти и о Ладзаретто, откуда я вернулся всего двенадцать часов назад. Мысль о том, какие перемены произошли в моей судьбе за такой короткий срок, почти лишала меня дара речи.

Весневич, указывая рукой на пейзаж, раскинувшийся перед нашими глазами, сказал:

— Фантастика!

— Фантастика,—согласился я.

Пейзаж пейзажем, однако теперь нам здорово захотелось есть. О меню позаботился Весневич. Нам принесли закуски, а к ним крепкую итальянскую водку, от которой Антонелла сперва было отказывалась. Но в самом деле стало холодно, особенно с того момента, когда солнце скрылось за поросшей деревьями вершиной горы. Подул холодный ветерок. В долине, где почти совсем стемнело, появились огоньки. По мере того как менялся пейзаж, Весневич все настойчивее угощал нас спиртными напитками. Действовал он упорно, однако с большим юмором. После закусок—извечные макароны. Потом мясо, салат, фрукты, все замечательно вкусное. Я отведал каждое блюдо, тем более что в Ладзаретто я немножко изголодался. Еду запивали вином, которое Весневич то и дело подливал нам да и себе. К фруктам он заказал итальянское шампанское. В этот момент мы услышали звуки музыки. Оказалось, что в другом зале, из которого не было выхода на террасу, играет оркестр, и там танцуют. Мы перешли туда и откупорили еще одну бутылку шампанского. Я пригласил Антонеллу танцевать. Теперь она почувствовала себя в родной стихии, танцевала чудесно, быть может, только чересчур важничала. И так вот, не улыбаясь, соблюдая полную серьезность, она снова стала похожа на Сандру. Когда мы возвращались к столу, я сказал ей об этом.

— Пожалуй. Мне часто об этом говорят,—ответила она.

— О чем?—спросил Весневич.

— Что мы с Сандрой похожи друг на друга.

По этому поводу Весневич довольно весело заметил польски:

— Все они друг на друга похожи.

— Что он сказал?—заинтересовалась кузина.

— Что Италия страна красивых девушек,—улыбнулся Весневич.
15*

Небольшой квадрат паркета постепенно заполнялся. Все больше народу приезжало из далекого Рима. В городе духота, здесь холод. Мы продолжали танцевать, но больше уже не пили. Вдруг Весневич поднял пустой бокал и, обращаясь ко мне, воскликнул:

— Ну и разиня же я! Не поздравил вас с победой!

— Смотрите не сглазьте,— засмеялся я.

Антонелла спросила:

— А какую победу он одержал?

— Над монсиньорами, моя прелестная Антонелла,— пояснил Весневич.

Он встал, подозвал кельнера, который заменил наши рюмки другими и налил в них до половины коньяку.

— Ой, от этого я отказываюсь!— запротестовала Антонелла.— Неужели будем еще пить?

— Мы-то, во всяком случае, выпьем,— сказал Весневич, чокаясь со мной.

А потом, обращаясь ко мне:

— Семейство Кампили должно вас озолотить.

— За что?— удивился я.

— За столь чтимого ими брата синьоры Кампили, убиенного Анджея, к которому они много лет стараются привлечь внимание тех священных конгрегаций и трибуналов, в чьем ведении находятся будущие святые. Вы содействовали тому, что в курии снова всерьез заговорили о Згерском.

— С чего вы взяли?— удивился я.— При чем здесь я?

— Во всяком случае, там зашевелились после вашего очень смело задуманного визита. Я уверен, что теперь у покойного Анджея шансы опять выросли.

Он чокнулся со мной и прошептал:

— За нового святого!

Антонелла надулась:

— Постыдись! Какое богохульство. Сандру это возмутило бы!

Тогда Весневич перегнулся через столик и слегка прикоснулся губами к уголку ее рта.

— Не только это,— тихо сказал он. А потом громко:— В таком случае выпьем за молодость! У молодых, живые они или мертвые, теперь, оказывается, всюду широкие возможности.

Мы выпили коньяк и решили возвращаться. На дворе нас прохватило холодом, и хотя мы к тому были готовы, в первый момент растерялись. Щелкая зубами, мы на ходу одевались— Антонелла накинута меховую шубку, а мы с Весневичем натянули свитеры и укутали шеи шарфами, которыми она нас снабдила. Наконец мы добрались до машины.

— Пресвятая дева, настоящий мороз!— не переставала жаловаться Антонелла, а Весневич при спуске с Монте-Каво так стремительно срезал многочисленные повороты, что ей никак не могло стать теплее.

— Вот видишь, не надо было брезгать коньяком,— приговаривал всякий раз Весневич.

Мысль эта так крепко запала ему в голову, что, едва мы очутились в Риме, он остановил машину перед первым попавшимся баром, но не нашел там желанного коньяка. Мы двинулись дальше и неподалеку от святого Иоанна Латеранского попали в затор. Море фонариков, подвешенных на проволоке виширь улиц, бесконечные ряды столов, расставленных прямо на тротуарах, масса людей, валом валивших по мостовой, орущих, едящих, пьющих. Весневич обрадовался.

— Вот так история! Ведь сегодня здесь местный праздник! Попразднуем и мы!

— Поздно уже!— сказала Антонелла.

— Какое там поздно!— отрезал Весневич.— Последние сутки твоей свободы. Выспишься, когда вернется муж.

Мы смешались с толпой, одетой легко, по-праздничному. А мы-то— в свитерах и шарфах. Люди удивленно на нас поглядывали, что еще больше веселило Весневича. Он нашел коньяк, который так настойчиво искал, но не захотел вернуться в машину и тянул нас с собой то в одну сторону, то в другую. Когда становилось тесно, он шел впереди, а мы за ним гуськом. В тех местах, где было чуть просторнее, он брал нас под руки и пускался в пространнейшие рассуждения. Обращался главным образом ко мне. Пьян он не был, но алкоголь, конечно, на него действовал.

— Если я,— говорил он,— и позволяю себе шутить, это вовсе не означает, будто я не уважаю церковь. Мне с нею очень хорошо. Как я вам уже докладывал, я даже являюсь слугой церкви. По долгу службы совершаю замечательные путешествия, выполняя поручение одного очень древнего рыцарского ордена, призванного к жизни церковью во времена крестовых походов. С разных концов мира приходят к нам заявления о приеме в орден с приложением самых лестных рекомендаций тамошних епископов. Ну я, значит, еду и проверяю на месте семейные связи и, если так можно выразиться, светские качества кандидатов, что нам высочайше предписано, поскольку принадлежность к ордену в равной мере означает принадлежность и к папскому двору, а там, помимо всего, что о нем говорят, не терпят никакой вульгарности.

Теперь он уже перешел на польский. Антонелла устала и не требовала перевода. Она оживилась, когда мы свернули в ту сторону, откуда доносилась музыка, и увидели площадь, освещенную фонариками еще ярче, чем улицы, а в центре площади— большую разноцветную вертящуюся карусель с лодками, то уносившимися в небо, то почти касавшимися земли. Мы подошли ближе и принялись подзадоривать друг друга. В конце концов мы с Весневичем сели в одну лодку, предварительно сняв шарфы и свитеры, потому что нам стало жарко. Антонелла смеялась и

что-то кричала, но музыка и скрип карусели заглушали ее голос. Мы проделали всего несколько кругов, и нам пришлось вернуться к Антонелле, потому что ее уже начали задевать мужчины. Потом мы еще немножко побродили и, внезапно наткнувшись на машину Весневича, не говоря ни слова, сели в нее, считая вечер законченным. Меня довезли до «Ванды». Здесь мы попрощались.

— Спасибо за компанию,— сказал Весневич.— И желаю успеха.

— И вам успеха! И вам!— ответил я.— Это мне надо вас благодарить.

В комнате — нераспакованный чемодан. Но у меня уже не хватило сил, чтобы за него взяться. Я вытащил только пижаму и, даже не умываясь, нырнул в постель, сразу заснул и проснулся около десяти, свежий и отдохнувший, совершенно не чувствуя себя разбитым, как это обычно бывает, если выпьешь лишнее. Алкоголь пошел мне на пользу, потому что я двигался, когда пил, а может быть, и оттого, что у меня было легко на сердце. Весь вечер мне было весело. Сны у меня тоже были веселые. Особенно один сон, похожий на тот, что так угнетающе подействовал на меня в Ладзаретто, когда я как-то днем заснул на вершине Монте-Агуццо. Теперь мне тоже приснился огромный вращающийся попирт — разумеется, все из той же книги Эрле. Однако на этот раз попирт напоминал и карусель. Она вращалась, я то съезжал, то взлетал, а за моими эквилибристическими упражнениями, как и в том сне, следили люди из курии. Лица у них были не страшные, а скорее испуганные. Они что-то кричали, но их слова не доходили до меня. Пролетая мимо них, я смеялся, размахивал руками и отпускал всякие шутки, пока в конце концов и они не развеселились.

XXVIII

Следующие несколько дней, в ожидании документа, подтверждающего, что мой отец избрал местом своего жительства торуньскую епархию, я осматривал Рим. Уходил после завтрака, возвращался к обеду, снова уходил. После ужина допоздна слонялся по площадям, улицам и переулкам центра либо шел в кино. В первый день я до полудня писал письмо отцу. Это заняло у меня все утро — первоначальный вариант получился неудачный. Перечитав письмо, я понял, что о некоторых подробностях лучше умолчать. И не только о подробностях, но также и о всех разговорах, которые я вел перед тем, как уехал из Рима в Ладзаретто. Я упомянул только о визите к кардиналу Травиа, опасаясь, что известие об этом могло уже дойти до Торуня. Если верно, что визит мой имел значение для нашего дела и что его обсуждали в местных канцеляриях, то, пожалуй, о нем прослышали и в той далекой курии, куда, следуя закону сообщающихся

сосудов, доходят все слухи. Однако в подробности аудиенции у кардинала я тоже не вдавался. Написал только, что она оказалась полезной и что кардинал хорошо меня принял.

Вообще второй вариант письма изобилует формулировками такого рода, в равной степени оптимистическими и загадочными. Что касается моих хлопот, то я сообщал, что следует рассчитывать на добрый результат, ибо, несмотря на некоторые трудности, нашелся такой выход из запутанной ситуации, который люди, благоволящие отцу, признали самым лучшим. Отправив письмо примерно такого содержания, я успокоился. Оно не исчерпывало вопроса, полно было недомолвок. Я чувствовал это и знал, что, читая письмо, отец тоже это почувствует и в первый момент разволнуется. Но, поостыв, он, конечно, поймет, что у меня, очевидно, были причины, чтобы написать именно так, и будет терпеливо ожидать моего возвращения в уверенности, что тогда он узнает все, что ему не удалось вычитать в письме.

Во второй половине дня, отправив письмо, я бродил по городу без всякой цели. От парка Боргезе до Палатина, от замка Святого Ангела до Квиринала. Душно, болят ноги, в глазах рябит, а остановиться не могу! У меня легко на сердце, приятно, что я свободен. Я сознаю, что дело мое не решено и мне нужно ждать. И что ради того я и сижу еще в этом городе, чтобы ждать. Но мне это не мешает. К новому ожиданию я отношусь словно к неопасному, поверхностному рецидиву, только по названию напоминающему прежнюю болезнь. Тем не менее всякий раз, как я приближаюсь к местам, связанным с пребыванием отца в Риме, я чувствую легкое покалывание в сердце. Возле отеля «Борромини» я не останавливаюсь. А когда пан Шумовский трижды в день за едой просит его извинить, так как он все еще не может сопровождать меня в бывшей «Аполлинаре», я искренне его утешаю и говорю, что это не имеет значения.

В пансионате, разумеется, никаких делений на две очереди, мы все едим в одно и то же время и беседуем, как и в дни, предшествовавшие «застою». Однако некоторых тем не касаемся. Никто не спрашивает, где я пропадал целую неделю. Ни слова о причинах, побудивших меня изменить первоначальный план, по которому я предполагал сразу по возвращении в Рим двинуться дальше. Ни звука и о том, из-за чего я снова задерживаюсь, хотя уже попрощался со всеми обитателями пансионата. Такая сдержанность понятна: они все знают! Когда я им называю дату отъезда, не упоминая, что она связана с последним днем работы в курии, Шумовский вздыхает:

— Увы, все туристские бюро, даже церковные, продолжают действовать.

На эту шутку я отвечаю вполне искренним смехом: забавно, что Шумовский невольно выдал себя. К тому же я пользуюсь случаем разрядить атмосферу, потому что за столом в «Ванде»

обычно невесело. Козицкая не отрывает от тарелки своих потемневших глаз. Пани Рогульская всякий вопрос задает дважды. К счастью, Шумовский для таких случаев и вообще на любой случай держит про запас множество занятных подробностей о современном Риме и его истории и всегда умудряется выбрать из них такую, которая уместна в данной ситуации или же позволяет о ней забыть. Поэтому я охотнее всего обращаюсь к нему, рассказываю, где я был либо куда собираюсь пойти. Тогда он поддерживает меня своей эрудицией и полезными указаниями. Расспрашивает. Вполне естественно, ведь он историк, хорошо знает город, по которому уже лет пятнадцать водит экскурсии. Меня удивляет другая особенность его памяти. Я перечислил все места, где побывал, и он это твердо запомнил. Обсуждая со мной план новых прогулок, он вспоминает все, что я видел в предыдущие дни. Мне осталось провести в Риме совсем мало времени, и он не советует мне посещать те или иные достопримечательности, поскольку я уже видел похожие. Я выражаю удивление: каким образом он это запомнил?

— Что ж, дорогой мой, уродство, связанное с профессией,— отвечает он.— Я вечно вожусь с туристами, которые требуют, чтобы я все за них помнил: то, что они видели и чего не видели, как это называлось и что им напомнило. В противном случае — жалобы и недоразумения. Ах, наказание божье!

— А как у вас с голосом? — спрашиваю я. — Кажется, прошла хрипота, на которую вы жаловались.

— Да, лучше.

Вмешивается Козицкая:

— Было бы еще лучше, если бы дядя и дома берег голос и не ораторствовал без конца.

Ее присутствие тяжело действует на окружающих. К счастью, Козицкая не всякий раз появляется за столом. Она много времени проводит в больнице. Встает рано, первые утренние часы вертится на кухне, помогает кухарке, потом спешит к Малинскому. После обеда тоже сидит возле него до тех пор, пока это разрешается больничными правилами. Я знаю расписание Козицкой и стараюсь опередить ее. Навещаю Малинского до того, как она туда приходит. Я хожу к нему каждое утро; таким образом, начало дня у меня невеселое. Но мне жаль Малинского, и я не могу забыть, что в самые тяжелые минуты он изо всех сил старался мне помочь. Я не вдаюсь в некоторые аспекты предложенной мне помощи. Достаточно того, что Малинский проявил добрую волю.

В его палате с самого утра стоит тошнотворный, противный запах. На второй день после моего возвращения в Рим я зашел к Малинскому под вечер. Духота невыносимая; спасаясь от жары, в больнице целый день держат окна закрытыми, даже не чувствуются, что утром проветривали палаты. От застойных запахов лекарств, дезинфекции, пропитанной потом постели кружится

голова. У Малинского чистая постель, Козицкая за этим следит и моет его, однако я догадываюсь, что с гигиеной большинства больных дело обстоит неважно. В тот раз я попрощался с Малинским уже спустя четверть часа, но моя одежда еще долго сохраняла больничный запах—от Козицкой постоянно им несет. Так что и по этой причине я благодарю бога за то, что она не всегда сидит с нами за столом. А в больнице мне ее не хочется видеть совсем по другой причине. Я не пытаюсь что-то вытянуть из Малинского. Расспрашивать его неловко, он болен и поэтому ведет себя как капризный ребенок. Добиваться от него откровенных признаний неприятно. Другое дело, когда он начинает первый и ему самому хочется что-то сказать. Случается это, когда мы остаемся с ним вдвоем. Тогда я слушаю.

Я сколько глазами по его осунувшемуся лицу или перевозжу взгляд на коврик, который Козицкая прибила у него над головой. К коврику она приколотла английскими булавками военные награды Малинского и несколько фотографий: дом, где он родился, дом в котором у него была квартира в Варшаве, а на третьем снимке—Пилсудский награждает орденами польских офицеров. В их числе Малинский.

— Мой музей!—говорит он.—Мои святыни!

В комнатке Козицкой я подглядел другие святыни. У Шумовского и у Рогульской тоже. У каждого из них и у всех им подобных есть свой маленький алтарь, пантеон, разрозненное собрание реликвий. Шумовский хранит их для себя и не носит с ними. Козицкая скрывает от чужих глаз. В этой больнице, предназначенной для бедноты, святилище Малинского выставлено для публичного обозрения. Может быть, только для престижа, а может быть, с практической целью: эти реликвии напоминают, что некогда он был фигурой более значительной и заслуживает лучшего отношения и со стороны больных, и со стороны персонала больницы.

— Как вы чувствуете себя сегодня?—Я неизменно каждый раз начинаю с этого вопроса.

— Неплохо. Неплохо.

— Ну и не повезло вам!—сочувственно говорю я.—В разгар лета!

— Именно, это хуже всего. Потому все так тянется. Если бы не жарница, я намного раньше поднялся бы.

Он в свою очередь справляется, что я поделываю. Мои туристские походы его не интересуют. Поэтому я не обременяю его подробностями и перечисляю только самые важные из достопримечательностей, которые я посетил.

— Вчера, уйдя от вас, я пошел в Ватиканский музей,—говорю я, например.

— Ага, знаю. Был там,—коротко обрывает он меня.

Тогда мы переходим к более интересным темам. Я рассказы-

ваю, что все покидают Рим. Синьора Кампилли с дочерью и внуками уже переехала в Абруццы. С Кампилли я еще увижусь до отъезда, но ни вчера, ни позавчера не видел его, потому что перед отпуском он все время занят. Упоминаю о Весневиче, с которым провел приятный вечер.

— Очень симпатичный тип,—говорю я.

— Э, шут!—морщится Малинский.—И к тому же сноб.

— Вероятно, эти черты объясняются характером его занятий,—защищаю я Весневича.

— Инженер по образованию, а занимается такими глупостями!

— Он, кажется, считает эти глупости интересными.

— Потому что здорово на них зарабатывает. Не говоря уж о том, что много путешествует. Занятие у него очень двусмысленное. Он ездит и собирает сведения о миллионерах, которые добиваются ватиканских почестей, и привозит из своих путешествий чеки для разных учреждений. Ну и процент для себя!

— Собирает пожертвования,—говорю я.

— Торгует,—Малинский понижает голос,—рыцарскими званиями того ордена, для которого он работает. В зависимости от обстоятельств с одних берет больше, с других меньше. И на этом он когда-нибудь влипнет, если его клиенты спохватятся.

Мы спорим. Если он даже прав, осуждая занятие Весневича, то ошибается, предполагая, что ему придется в будущем за все расплачиваться. Я знаю из истории, что испокон веков людям давали различные звания в обмен на материальные ценности и что на это нет твердой таксы. Но Малинский сердито отводит мои аргументы.

— Я не говорю, будто он ворует! Я не говорю, будто он мошенничает! Будто потихоньку, незаметно откладывает какие-то суммы в свою пользу. Допустим! Что с того? Рано или поздно от него отступятся, отстранят его от работы, как только эта коммерция—в весьма растяжимом смысле слова—станет привлекать к себе слишком много внимания. Торговлю не прекратят. Слишком доходный промысел, чтобы от него отказываться. Только для отвода глаз на низшей ступени лестницы сменят одного человека. Пешку! Слепого исполнителя!

Говоря о Весневиче, он явно думал и о себе. Я спрашиваю:

— А что его тогда ждет?

— Карантин. Пока не утихнет шум, вызванный его делом. А потом тесть снова что-нибудь для него подыщет.

— А если бы у него не было такого тестя?

— Много всяких неприятностей и унижений. Все, кроме тюрьмы. Разумеется, если такая слепая пешка честно трудилась на своего работодателя. Тюрьма—это единственное, от чего его избавят. Чтобы не раздувать скандала, его уж как-нибудь вызволят, спасут от худшей из возможностей.

Возле Малинского нет ни книг, ни газет. В его углу, хоть он и

неподалеку от окна, в течение всего дня темно. Окно занавешено от солнца. Мне хотелось сделать Малинскому что-нибудь приятное, и я купил ему цветы. Он попросил больше этого не делать: цветы привлекают мух. Я спросил, играет ли он в шахматы или в шашки, может, принести их ему. Не захотел. Ни с кем в палате он не познакомился. Вокруг полно людей, но он ко всем равнодушен, никем не интересуется. Когда я прихожу, глаза у него обычно закрыты; я наклоняюсь над ним, и тогда он их открывает. Малинский часто жалуется на больницу. Действительно, если судить по той палате, которую я посещаю, хорошего там мало. Малинский жестоко страдает из-за недостатка воздуха, однажды, когда он, неведомо в который раз, начал ругать больницу, я не выдержал и спросил, нельзя ли его перевести в другое место. Разговор был при Козицкой.

— Меня тут держат бесплатно,— ответил Малинский.

Козицкая одновременно:

— Конечно, можно.

Он упрямо повторил:

— Я же говорю, меня тут держат бесплатно.

Она:

— Ну и что с того! Лучше платить, чем задыхаться без воздуха.

Спор продолжался еще некоторое время. Ясно было, что они спорят по этому поводу уже не в первый раз. Но по каким причинам он так настаивает на своем, я понял только на следующий день. Я пришел к Малинскому ранним утром, в то время когда Козицкую еще задерживали дела в пансионате. Видно, его задело, что я спросил о больнице, и он сам вернулся к этой теме.

— Ися,— он так ее называл: теперь и в моем присутствии он обращался к ней по имени, чего раньше никогда не делал,— не разбирается в обстоятельствах. Правда, у меня есть сбережения, но, как только об этом пронюхают, у меня их из рук вырвут.

— Кто?

— Суд. Адвокаты.

— Но все-таки...

Он перебил меня:

— К тому же не знаю, сколько времени продлится мой карантин. Возможно, я никогда больше не вернусь на ринг!

— На ринг?

— Не войду в милость! И мне придется довольно долго жить на эти жалкие накопленные гроши. Очень долго! То есть до самого конца. А кроме того, по некоторым соображениям мне удобнее дольше болеть, чем раньше времени выздороветь. Ися и этого не понимает.

— Ваша болезнь очень ее волнует,— говорю я,— и ей хочется поскорее поставить вас на ноги.

Он на это:

— Для того чтобы смотать удочки! Чтобы с чистой совестью бросить наконец Рим, не оставляя тут без присмотра тяжело-больного человека!

Я притворился, будто не понимаю, не слышу. Напрасно. Он хотел довести до конца начатый разговор, углубить тему, которую лишь слегка затронул. Я вспомнил, что мне говорили о Козицкой знакомые из Кракова: она потеряла мужа в Варшаве за месяц до восстания, а сама сразу после войны, прямо из лагеря, попала в Рим.

— Я поддержал ее,—дополнил теперь мои сведения Малинский.—Выходил ее. Но с годами наше положение перестало ее удовлетворять. Из Рима уехало большинство ее знакомых. Остались только такие, как мы, это верно; и, быть может, она действительно права—пользуемся мы немногим, а больше используют нас...

Тут он запнулся, стал задыхаться, лоб у него покрылся капельками пота. На столике стоял флакончик с одеколоном. Малинский не мог до него дотянуться. Я помог ему и постарался его успокоить.

— Пожалуйста, не утомляйте себя,—сказал я.—Я более или менее разбираюсь в ситуации. Понимаю.

— Ее или меня?

— Обоих,—ответил я.

Он мне поверил. А может быть, устал. Во всяком случае, больше не возвращался к разговору о Козицкой, к теме взаимных расчетов, о которых мне неловко было слушать. По крайней мере не говорил об этом прямо, а только с помощью метафор. Например:

— Такова наша судьба, судьба хромых и слепых, связанных друг с другом. Раньше я ее нес, теперь она меня ведет. Вы понимаете, в каком смысле я это говорю?—Или:—Ей всегда кажется, что везде, помимо Рима, нас только и ждут. Что везде, помимо Рима, мы добудем независимость. А между тем я знаю, что нам уже поздновато ждать ее. Мне, ей—одним словом, всем, кто попал в здешние условия.

— Ну, ну, да неужели?

Я отвечал на афоризмы Малинского в таком духе, иногда вступал в спор, но чаще старался его пресечь. Потому что спор-то был пустой и никчемный. К тому же я не имел намерения задерживаться у Малинского. Не говоря уж о том, что с каждой минутой дышать здесь было все трудней. Особенно когда солнце, миновав башню святого Варфоломея, шпарило прямо в окна больничного флигеля. Тогда я уходил от Малинского. На дворе в эти часы уже было жарко и знойно. Но после душной больницы даже раскаленный воздух улицы казался мне благоуханным.

У меня осталось еще два дня. Предпоследний и последний день работы курии. В первый из них, за час до завтрака, меня будит стук в дверь: к телефону! Накидываю халат, причесываюсь. Это длится мгновение, но горничной за дверью не терпится, она снова стучит. Выхожу в коридор, и тогда она мне сообщает, что звонит междугородная. Подношу к уху трубку. Звонят из Польши. Отец!

— Это я!—кричу.—Здравствуйте, отец! Как я рад!

Я говорю чистую правду, хотя к моей радости примешиваются укоры совести, и я боюсь упреков, потому что так долго не писал.

— Вы получили мое последнее письмо?—глупо спрашиваю я.

— Нет. Уже две недели от тебя нет писем!

Объясняю, почему оборвалась наша переписка. Осторожно подбираю слова, так как знаю, что отец будет волноваться, хотя главные трудности преодолены.

— Мы топтались на месте. Поэтому я и не отзывался, со дня на день ожидал, когда смогу сообщить что-нибудь конкретное. Едва только это оказалось возможным, я тотчас написал.

— Мне знакомы такие вещи,—слышу я голос отца.—Знаком этот порядок.

Затем я перехожу к информации, содержащейся в письме, которое он не получил. Он одобряет метод, предложенный Кампили и утвержденный монсиньором Риго. С первого слова отец понимает, в чем тут суть.

— Чудесно,—говорит он.—Это положит конец моему делу.

— Жаль только, что хлопоты заняли столько времени,—говорю я.—Догадываюсь, как дорого для ваших нервов обошлось ожидание.

— Не важно. Я вооружился терпением.

— Во всяком случае, хорошо, что вы позвонили, отец. Теперь вы можете быть более спокойны.

Тогда он:

— Я не затем звоню. Скажи, ты в Риме не слышал, кого прочат в преемники Гожелинского?

— Нет.

— А у нас считают твердо решенным, что назначение получит каноник Ролле.

— Вот здорово!—говорю я, памятуя о дружбе отца с каноником.—Если это верно, я зря ездил в Рим!

— О нет, Рим—это Рим! К тому же неизвестно, насколько достоверно то, о чем я тебе говорю. Попросту так говорят здесь люди, обычно хорошо осведомленные.

— А как само заинтересованное лицо? Что он говорит?

— Со дня смерти Гожелинского каноник Ролле находится в Познани, которой, если ты помнишь, подчинена наша епархия.

Самый этот факт дает повод для размышлений. Во всяком случае, сразу же сообщи Кампилли относительно Ролле. Такая информация может иметь кое-какое значение.

— Конечно, сообщу, если вы того хотите, отец. Только это мало что даст: Кампилли сегодня во второй половине дня уезжает в Абрुццы.

Отец на это:

— Знаю. Я разговаривал с его слугой. Сперва я позвонил на виллу Кампилли—ты ведь писал, что там живешь. А слуга дал мне номер телефона твоего пансионата...

Нужно было разъяснить положение, и я произнес еще несколько слов, разумеется, далеких от правды и соответствующих версии, выгораживавшей Кампилли: дом закрыли на лето, и даже сам Кампилли ночует не в римской вилле, а в Остии. Наконец последний вопрос отца:

— А когда ты получишь для меня документ?

— Сегодня после полудня, а самое позднее—завтра с утра. Я поддерживаю постоянный контакт с секретариатом монсиньора Риго, и меня торжественно заверили, что я получу документ прямо в руки.

— Ну, так спасибо за все, и, как только он будет у тебя в руках, дай телеграмму, сынок. Приветствуй от моего имени Кампилли и до свидания!

— До свидания! До свидания!

Я вернулся в комнату, оделся, позавтракал и—в город. Ролле я знал, он человек рассудительный и в большом долгу перед отцом—ведь без его помощи каноник не справился бы в тот период, когда ему пришлось управлять курией. Если бы действительно назначили Ролле, он с легким сердцем принял бы римский документ, восстанавливающий права человека, обиженного покойным Гожелинским именно за то, что он старался помочь нынешнему епископу. В такого рода делах позиция нового епископа имела неоценимое значение для отца: ведь случается, что и в куриях саботируют волю Рима. А так документ и воля нового епископа были в полной гармонии. Взвесив все это, я обрадовался. Только я предпочел бы уже иметь документ в кармане.

На площади Вилла Фьорелли я сажусь в автобус. Он идет отсюда прямо за Тибр, с остановкой на мосту Гарибальди, в двух шагах от острова, где находится больница святого Варфоломея. Возле моста в киоске с фруктами я купил Малинскому на прощанье корзинку с персиками, а в парфюмерном магазине, по пути, флакон лавандовой воды. С этими покупками я забежал в больницу только на минутку. Попрощались мы очень сердечно.

Времени впереди было много, но, по мере того как приближался момент отъезда, мне все сильнее хотелось узнать тот Рим, который я вскоре собирался покинуть.

В меру моих сил я выполнил задачу, ради которой сюда приехал. Места, которые следовало посетить в первую очередь, посетил. Теперь все это уже позади, нервное напряжение улеглось, и я собирался провести последние часы как вздумается, ничем и никем не тревожимый. Я двинулся прямо вперед, выбрав себе маршрут вдоль реки, шел, любуясь платанами, дворцами на противоположном берегу и садами, воротами и каменными стенами по правой стороне. Так я добрал до моста Кавура. В этот момент взгляд мой упал на скамейку, я тут же на нее опустился и просидел почти до одиннадцати. Потом встал, чтобы поспеть на свидание с Кампилли.

Мы условились встретиться в книжной лавке, торгующей художественными изданиями на пьяцца ди Спанья. Кампилли пришел раньше меня и уже рассматривал великолепный альбом, посвященный архитектуре и музейным коллекциям Ватикана. Он выбрал альбом мне в подарок. Уславливаясь о часе встречи, он сказал, что хочет купить мелочи для отца. Оказалось, что щедрость Кампилли распространяется и на меня, причем ее размах меня смущал, принимая во внимание цену подарка. Тем более что Кампилли ведь мне помог деньгами. Он прервал поток моей благодарности в тот момент, когда я намекнул на последнее обстоятельство.

— Оставь! Мне приятно, что у тебя будет такой альбом. В особенности потому, что, так или иначе, ты не без горечи покинешь нас. Я много думал о нашем последнем разговоре и о твоих упреках и укорах. Ты приехал к нам из другого мира, и тебя поразили некоторые особенности нашей жизни. Поразила наша осторожность, нерешительность, оглядка друг на друга и всякие наши цепные реакции и рефлексy. Все это нам надо простить—ведь мы находимся в центре стольких скрещивающихся влияний и действуем под бременем великой ответственности.

— Я все это понимаю,—ответил я,—и со временем всякая горечь—или, точнее, неприязнь к явлениям такого рода,—поверьте, у меня исчезнет. Но, искренне говоря, я легче справился бы со своими сомнениями, если бы не чувствовал, что последнее из соображений, которые здесь принимают в расчет,—это соображение справедливости.

— А понимаешь ли ты,—сказал Кампилли,—о сколь многом надо помнить, когда принимаешь любое серьезное решение на такой высокой, венчающей целые миры ступени, как наша курия? Помимо справедливости, о которой ты говоришь, существуют десятки других соображений, и ни одно из них нельзя упустить. В этом и заключается сущность нашей работы и наше призвание.

Мы вышли на улицу. Кампилли взял меня под руку, я нес альбом. Мы свернули вправо, на улицу Кондотти, где расположены самые красивые и дорогие магазины, которые расхваливал мой отец. Диалог наш продолжался.

Я:

— Но ведь и жизнь, и история, и опыт каждого из нас в отдельности доказывают, что люди прежде всего добиваются справедливости. Разве это ничему не учит?

Он, полушутя, полусерьезно:

— Нас — нет! Мы ничему не учимся, а если уж учимся, то перестаем верить в смысл своего существования, и тогда наше место занимают другие.

Сразу за углом пятачка ди Спанья Кампилли вошел в магазин мужской галантереи. Поздоровался с хозяином, видимо своим постоянным поставщиком, и, обо всем со мной советуясь, выбрал несколько галстуков, два шарфа — один шелковый, другой шерстяной, — пояс для брюк из крокодиловой кожи, коробочку с носовыми платками. Это были подарки для отца. Нагрузив меня ими, он взглянул на часы и сказал, что у него еще есть время, можно выпить кофе. Мы пошли вниз по улице Кондотти и свернули влево, во дворец Шара-Колонна — там помещался клуб Кампилли, тот самый «Чирколо Романо», где мы встретились несколько дней назад. По большим плоским ступеням мы поднялись на второй этаж, а здесь вступили в прохладу и тишину знакомого уже мне большого зала — не то читальни, не то курительной, — где в тот раз мы пили кофе после обеда. Мы уселись в тех же самых великолепных удобных креслах, что и тогда. Нам сразу подали кофе. Я закурил.

— Я много думал о нашем последнем разговоре, — повторил Кампилли. — Не спорю, кое в чем ты, возможно, прав. Взглянув со стороны, ты замечаешь те аспекты, которых мы в силу привычки уже не замечаем. Но в то же время я опасаюсь, что ты не ухватил самого существа дела, главного смысла действий того великого механизма, с которым ты соприкоснулся. Он сам по себе является внушительной действительностью, превосходя все другие механизмы того же рода своей глубиной, чистотой и размахом мысли, многомерностью. Ибо знай, что, помимо всех иных земных и людских измерений, он учитывает еще одно: мистическое!

Тогда-то и зашел разговор об Анджее Згерском, брате синьоры Кампилли, убитом в 1917 году, и о том, что мне сказал Весневич: будто после моего визита к кардиналу Травиа шансы Згерского на ореол святости резко поднялись, а кандидатура епископа Гожелинского отпала. Пожалуй, я сам направил разговор по этому пути. В тот вечер я не придавал особого значения информации Весневича. Только теперь, после слов Кампилли о разных измерениях, меня поразило одно обстоятельство. Если все так и происходило на самом деле, то почему один кандидат сменил другого, какое измерение принималось тут в расчет? Услышав мой вопрос, Кампилли беспокойно заерзал в кресле, но, несмотря на это, после паузы ответил:

— Не знаю, какое измерение. Нет, этого я не знаю. Однако тебя не должно удивлять, что у нас все принимается в расчет, что план на текущий день пересекается с планом, обращенным к бессмертию. Твердо известно одно: каждый из этих планов действует в своей области, хотя всюду и всегда учитывается весь комплекс, все измерения и все планы, ибо ведомство, о котором мы говорим, можно уподобить искусственному мозгу, решающему одновременно сотни уравнений.

— Но так или иначе, независимо от всех этих сложностей,— сказал я,— ваша жена должна была пережить безмерно волнующие минуты, когда узнала, что в курии переменилась точка зрения.

— Она привыкла,— ответил он.— Такие перемены происходят не в первый и, я полагаю, не в последний раз.

— Ах, вот как!— удивился я.

— Колебания! Колебания!— сказал Кампилли.— Если надо слишком много учитывать, то легко растеряться и трудно принять решение. Конечно, когда до нас дошла весть о происшедшей перемене, мы обрадовались, прежде всего жена, в особенности потому, что в той области, с которой связаны ее надежды, давно царил застой.

Я, как эхо, повторил вслед за ним:

— Застой!

— Да, застой,— сказал он, раздраженный тем, что я его прерываю, и забыв, что совсем недавно употребил это слово применительно к моему делу.— Следовательно, мы обрадовались, но тотчас поразмыслили и пришли к выводу: скромность и спокойствие, спокойствие и скромность.

После паузы он продолжал:

— Поскольку ты дружески к нам расположен, прими как должное наш вывод. Мне важно, чтобы ты зря не называл фамилию нашего мученика, не говорил о его возрастающих возможностях и уж ни в коем случае о том, будто Травиа симпатична именно такая кандидатура. В нашем деле надо ко всему подходить с тактом, соблюдая осторожность.

И вдруг переменял тему.

— А у тебя что?— спросил он.— Когда ты получишь документ в Роте?

— Сегодня или завтра, но самое главное: звонил отец!

Я изложил в общих чертах содержание нашего телефонного разговора и передал сообщение о канонике Ролле. Я сказал, что отец сперва звонил на виале Ватикано и только потом, услышав, что я там не живу, в пансионат «Ванда».

— О, боже мой!— вскричал Кампилли.— Как охотно я поговорил бы с ним. Какая жалость! Я ничего не знал! По приезде из Остии я даже на заглянул домой. И вот такая новость!

— А что вы думаете относительно известия, которое сообщил

отец?—спросил я.—Пожалуй, оно хорошее? Вы помните, это тот самый каноник...

Он перебил меня:

— Конечно. Ты однажды уже рассказывал о нем и о том, какую роль он сыграл в жизни отца. Подожди. Я соберусь с мыслями.—Он потянулся к чашке с кофе.—Да,—заявил он наконец.—Сообщение, вероятно, достоверное. Скажу даже больше: правдоподобное.

— Что это значит?

— Достоверное,—пояснил Кампилли,—ибо я вспоминаю, что в последнее время о Ролле стали говорить как о преемнике покойного Гожелинского. А правдоподобное, поскольку имя покойного больше не пользуется здесь таким авторитетом, как вначале. Отсюда стремление к перемене.

— Курса?—спросил я.

— Или хотя бы стиля. Не знаю. У меня слишком мало данных, чтобы высказывать точное суждение.

Я:

— Во всяком случае, у этого человека есть обязательства по отношению к моему отцу.

Он:

— Прежде всего по отношению к церкви.

Я:

— Ну и старый долг благодарности.

Он:

— Не всегда можно об этом помнить, если поднимаешься на столько ступеней выше.

Высказав эту истину, Кампилли улыбнулся.

— Ну, не будем каркать,—продолжал он.—Ты говоришь, что он человек добрый и рассудительный. Следовательно, у твоего отца одним шансом больше. Разумеется, уже в Торунь. После того как в Риме наконец примут решение.

— Лишь бы его в конце концов приняли! По временам меня одолевает страх, мне кажется, будто все, что теперь происходит,—это только игра на промедление.

— Боишься, что уедешь ни с чем?

— Вот именно!

— Ах нет, невозможно. Это было бы слишком просто. Недостойно курии.

— Почему же все так затягивается?

— По многим причинам! Потому, что возникают новые точки зрения! Потому, что природа их разнообразна. А поэтому трудно прийти к окончательному выводу.

Он поглядел на часы. Удивился. Было больше двенадцати.

— К сожалению, мне уже пора,—сказал он.—Обними от всего сердца твоего отца. Можешь вполне откровенно ему рассказать о наших хлопотах, о наших победах и провалах, ничего

от него не утаивай. Он все поймет. Ничего дурно не истолкует. Передай ему от меня подарки, которые мы вместе с тобой купили. Это безделушки. Но он как раз писал мне недавно, что у вас особенно не хватает красивых мелочей.

— В некотором смысле.

— А тебе ничего не нужно, дорогой мой мальчик?

— Абсолютно ничего. Спасибо.

— А деньги?

— Тоже не нужны. Вполне достаточно тех, что вы мне дали.

Спасибо. И за чудесный альбом тоже большое спасибо. И за все! За все!

Но настоящее волнение охватило меня лишь после того, как мы спустились по лестнице во двор, где Кампилли в прошлую нашу встречу оставил машину, и я наконец перестал твердить как попугай о своей благодарности. Машины на этот раз не было. Она с утра ждала его в мастерской, куда он ее поставил для осмотра перед сегодняшней поездкой в Аbruццы. Я проводил его до такси. Он уже закончил все дела. Оставалось только взять машину и заехать домой за слугой и чемоданами. Кампилли рассказал мне об этом, пока мы шли до ближайшей стоянки такси за углом. А на меня все время волна за волной накатывало задушевное, теплое чувство. Я вытирал со лба пот, он тоже. Я подумал о том, что из-за меня он задержался и теперь поедет в самую жару. Но я не смог найти слов, чтобы объяснить, как я ценю его доброту. Жестами я тоже ничего не мог выразить, так как руки у меня были заняты, и я старался по крайней мере улыбкой и взглядом передать то, что чувствую.

— Не вспоминайте обо мне дурно,—прошептал я.

— А ты о моей помощи,—попросил он.

— Да что вы, никогда!—вскричал я.

— Ну вот и хорошо,—ответил он.

Он снял очки. Сунул их в карман пиджака, где у него торчал платочек. Какое-то время мы с глубокой сердечностью глядели друг другу в глаза. И улыбались. Длилось все это недолго. Он торопился. У меня замлели руки. Кроме того, нужно было следить, чтобы публика на стоянке не перехватила такси, как обычно бывает в это время дня, да еще в центре.

XXX

Сегодня уезжаю. Вчера прощался с Кампилли и звонил в Роту. Документ не готов. Брожу по городу до семи, возвращаюсь в пансионат к ужину и снова ухожу. Это мой последний вечер в Риме. Мне дорог каждый час. Улицы и площади центра искрятся огнями. Жара не спадает. Почувствовав усталость, я захожу в кафе и заказываю апельсиновый или лимонный сок. Отдыхаю, но

недолго, жаль терять время. Да мне и не сидится. Нервы взвинчены. По разным причинам, но прежде всего в связи с отъездом.

Секретарь монсиньора Риго посоветовал мне звонить с самого утра. Звоню. Никто не отзывается. Звоню четверть часа спустя. К телефону подходит служитель. Говорит, что секретарь поехал на вокзал проводить монсиньора Риго и вернется через полчаса. Раз так, я иду в столовую завтракать. Там полно. Рогульская уже ушла в амбулаторию, Козицкая — к Малинскому, Шумовский поторапливает группу англичанок, которые приехали позавчера и намереваются осматривать замки под Римом. Обмениваюсь с Шумовским несколькими фразами, как всегда, на одну и ту же тему — об «Аполлинаре». После моего возвращения из Ладзаретто вновь ожил его давний план — показать мне бывшую школу отца и стоящую с ней по соседству церковь. План так и не удалось осуществить: ведь Шумовский занят с утра до вечера.

— Так, может быть, завтра или еще лучше послезавтра, — утешает он себя.

— Я сегодня уезжаю, — напоминаю ему.

— Ах, правда! Вот она, моя жизнь в Риме! Ни одной свободной минутки для себя или для друзей.

— Во всяком случае, сердечно благодарю вас за доброе намерение.

Он не отвечает. Его внимание отвлекла от меня группа англичанок. Они разбредаются по пансионату в тот самый момент, когда надо садиться в автобус. Наконец во главе с Шумовским они исчезают. Я доедаю завтрак и еще раз пытаюсь соединиться с секретарем в Роте. Он уже вернулся. Приглашает меня к двенадцати.

— Значит, все в порядке? — спрашиваю я. — Документ будет?

Он на это:

— Жду вас между двенадцатью и половиной первого. Не позднее, потому что я заканчиваю работу.

Это не ответ на мой вопрос. То ли он его не расслышал, то ли в последний день у него нет времени для разговоров. Я кладу трубку, захожу в свою комнату, ставлю чемодан на стол и начинаю укладываться. Бумаги и книги вниз, альбом ватиканской архитектуры положу сверху: буду рассматривать его в дороге. В течение десяти минут очень старательно пакую вещи. И вдруг бросаю. Я не чувствую тревоги, у меня нет никаких сомнений относительно того, что дело улажено, но я не могу сидеть дома.

Девять часов. Сбегаю по лестнице и в маленьком баре на углу виа Авеццано и площади Вилла Фьорелли стоя выпиваю чашку кофе. За углом остановка. Я вижу, как приближается троллейбус. Расплачиваюсь, бегу и вскакиваю в вагон. Уложить вещи всегда успею. Вчера вечером, слоняясь по городу, я неожиданно заметил, что нахожусь в двух шагах от вокзала. Отправился туда,

отыскал столик, за которым мы в последний раз сидели с Пиоланти, выпил еще одну порцию лимонада, а потом подошел к доске с железнодорожным расписанием и выбрал наиболее удобные для меня поезда. Теперь в троллейбусе, я заглянул в календарик, куда все записываю. Один поезд уходит в час, на этот мне не успеть. Следующие в четверть третьего, в три, в половине четвертого. Все они идут по маршруту, для которого мой билет действителен. Я составил список расположенных на этой трассе городов, которые мне хотелось посетить. Рассматриваю теперь мой список и радуюсь. Названий много, и поездов много. Есть из чего выбрать! От всего, вместе взятого, у меня возникает ощущение, будто я преодолел сопротивление пространства и наконец наслаждаюсь полной свободой. Наглядевшись на свои записи, я прячу календарик и смотрю в окно. Троллейбус как раз сворачивает на корсо дель Ринашименто, на площадь перед зданием бывшей школы моего отца и церковью святого Аполлинаре. Мы проезжаем мимо. На ближайшей остановке я схожу.

Сперва заглядываю в церковь, оттуда веет холодом. Я сажусь на скамейку. Мерцает лампадка перед алтарем, под которым, по мнению Шумовского, покоятся останки святых армян. У этого алтаря молился мой отец, трепеща от страха перед приближающейся *examinum sessio*¹. Академический год начинался торжественной мессой в этой церкви. Отец не раз мне ее описывал. Теперь в церкви пусто и темно, стены обезображены украшениями в стиле барокко. Я встаю и выхожу на площадь перед церковью, чтобы посмотреть оттуда на ее фасад, которым так восторгался отец. Линии тяжелые и строгие, но очень красивые. Большое сходство с фасадом самого «Аполлинаре». Я долго рассматриваю здание, потом иду к воротам, ведущим во двор, и, так же как в первый вечер моего приезда в Рим, опираясь руками на решетку, любуюсь фонтаном — теперь, как и во времена отца, кажется, будто вот-вот иссякнут последние запасы его воды. Кроме фонтана, кроме его анемично стекающей струи, двор мертв, ничто там не шелохнется. Я делаю один шаг и читаю надпись на прибитой сбоку табличке, заменившей прежнюю — с названием юридической школы «Аполлинаре», ныне присоединенной к латеранскому атенеуму. Новая табличка безупречно позолочена и ярко сверкает. Отец, наверное, нашел бы, что она не подходит к потускневшему от времени фасаду. В особенности потому, что это табличка рядового лица.

Я еще раз обхожу площадь. За углом маленькая книжная лавка «*Libreria S. Apollinare*». И о ней я тоже слышал от отца. Здесь студенты «Аполлинаре» приобретали учебники и печатные лекции. К концу года они продавали одни книги, покупали другие, а в течение года, случалось, закладывали их. Маленькая, застав-

¹ Экзаменационная сессия (лат.).

ленная книгами витрина манит меня. Я пробегаю глазами названия. Хотя бывшая юридическая школа переехала далеко отсюда, книжная лавка не изменила своего характера. На выставке по-прежнему полно книг, посвященных исследованию *utriusque juris*¹, гагиографии², истории церкви и вспомогательным дисциплинам. Некоторые труды я знаю—не потому, что изучал их, просто они попадались мне в библиотеке отца. Во время войны она сильно поредела. В ней образовались серьезные пробелы, отец часто на это жаловался. Перед отъездом я не составил списка недостающих книг, так как не рассчитывал, что у меня окажутся свободные деньги в Риме. А между тем как раз теперь я мог бы кое-что купить для отца. Вспоминаю, что у него даже нет полного комплекта «*Sacrae Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae*»³. Я не запомнил, каких именно выпусков недостает, однако последних, изданных после войны, у него, наверное, нет. Я вхожу в лавку, чтобы спросить о них. Книготорговец, очень старый, медлительный и глуховатый, дает мне четыре тома, самые последние. Они стоят дорого, я довольно долго в задумчивости разглядываю их. Вдруг старый книготорговец говорит:

— *Lei, signor dottore, mon mi sembra straniero!*

В переводе это значит, что я не кажусь ему иностранцем. Отвечаю, что я все-таки иностранец. Тогда он говорит, что я его не понял. Дело в том, что мое лицо кажется ему знакомым.

— Давно у вас эта книжная лавка?—спрашиваю я.

— Она мне досталась в наследство от отца, погибшего во время первой мировой войны.

— А мой отец учился в «Аполлинаре»,—говорю.— Наверное, он покупал у вас книги.

— *Un Polacco?*

— *Bravo!* Что за память!—восхищаюсь я.

Мой восторг трогает его. Разговор оживает. Старый книготорговец вспоминает минувшие годы и сокрушается, что многое изменилось с тех пор, как он лишился столь ценного для него соседства «Аполлинаре». Все это время я перебираю лежащие на прилавке тома «*Decisiones seu Sententiae*». Перекладываю их, откладываю, никак не могу решить, сколько на них потратить.

— Вы берете их для отца?—спрашивает книготорговец.

— Для отца.

— А как ему живется?

— Да так, не слишком,—говорю я.

Книготорговец отворачивается и слабыми старческими руками тянется к полке. Кладет передо мной четыре тома, как раз те, которые мне нужны, только в переплете. Я возражаю. Но

¹ Обоих прав (*лат.*)—гражданского и церковного.

² Описание священных предметов.

³ «Решения и приговоры Священной Римской Роты» (*лат.*).

оказывается, что переплетенные стоят дешевле — они подержанные. Разница в цене значительная. От радости я покупаю все четыре тома. Старичок принимается их паковать. Процедура для него тяжелая и длится долго, а я тем временем разглядываю книги на полках. Название одной из них вызывает у меня интерес: «Santa Catherina d'Alessandria nella legenda e nell'arte»¹. Беру книгу, перелистываю: ведь это и есть та самая святая, сопокровительница Роты, чей портрет я безуспешно искал на старинных печатях в Ватиканской библиотеке. Среди иллюстраций попадаются репродукции картин Ван-Эйка, Мемлинга, Корреджо и снимки церквей, построенных в честь этой мученицы. Она жила в четвертом веке, но ее чудесную историю прославили лишь крестоносцы.

Листаю первые страницы книги, самые ранние иконографические материалы, — и замираю. Есть! Есть печать! Фотография замечательная. Эмблема в центре печати сохранилась великолепно. Читаю пояснения под иллюстрацией. Печать заимствована из ватиканских коллекций. Документ, который она сопровождает, относится к авиньонской эпохе. Это приговор Роты. На эмблеме изображены оба патрона Роты: Катерина и Августин. Одной рукой они поддерживают миниатюрную скамью, очевидно судебскую, а другой рукой на нее указывают. Скамья в форме круга. Сцена, изображенная на эмблеме, может иметь только один смысл. Круглая скамья — символ трибунала, который в ту эпоху стали называть трибуналом Роты, то есть как бы трибуналом круга или диска, ибо таково значение слова «рота» и в классической, и в средневековой латыни. Значит, подтверждается моя догадка, родившаяся во Вроцлаве, где я попал на адресованное тамошней курии послание испанской Роты — довольно позднее, с поврежденной печатью. Я обрадовался, но радость моя тут же остыла. Я не мог считать свою гипотезу документально обоснованной, для этого недостаточно было прекрасной второй печати, которую я теперь разглядывал. С методологической, научной, стороны система доказательств была слишком шаткой. Я разочлился. Тот факт, что новая печать подкрепляла мою версию, только раздражал меня. Ибо много ли толку было мне как научному работнику от собственной уверенности, если я ничем не мог обосновать ее? Все мои прежние притязания были теперь бессмысленны. Я так разволновался, что весь вспотел. Я взял книгу и присоединил ее к уже запакованным томам. Я понимал, что любой человек, интересующийся историей Роты, вернее, происхождением ее загадочного названия, взглянув на снимок, который я только что рассматривал, задумается над ним и сможет пойти дальше по тому пути, откуда меня толкнули. Таким образом, я купил себе книгу вовсе не для того, чтобы завершить свой труд, а сам не знаю зачем. Разве что как доказательство

¹ «Святая Катерина Александрийская в легенде и в искусстве» (итал.).

нелепости того, что произошло со мной, и моей обиды. Я снова вытер свое вспотевшее лицо.

— Какая жара,— сказал я.

— Что поделаешь, близится самый разгар лета,— заметил книготорговец.— Теперь пора покинуть Рим.

— Правильно,— сказал я.

— И я тоже закрываю магазин. Мои покупатели разъезжаются.

Мы попрощались. Я вышел на улицу. Меня обдало жаром. Зной плывет с неба. Лучи солнца режут глаза. Я посмотрел на часы. Еще целый час! Я провел его в баре напротив дворца Канцеллерия. В том самом баре, где несколько дней назад я пил кофе, а Весневич вызывал по телефону кузину Сандры. Я выбрал самый дальний угол. Здесь было душно. Тогда я перебрался на свежий воздух, сел за столик на тротуаре, под сенью оранжевого тента. Но солнце проникает и сквозь него. Чтобы убить время, я распаковываю купленную мною монографию. Читать неудобно, а тем более рассматривать иллюстрации. От блестящей меловой бумаги, на которой они напечатаны, лучи отражаются, как от зеркала.

Наконец бьют большие часы на церковной башне возле дворца. Они приносят мне освобождение. Двенадцать. Я могу уже идти в Роту. Расплачиваюсь. Пересекаю площадь. По лестнице поднимаюсь медленно, не от жары и не потому, что мне трудно дышать, а просто от волнения. Вот и эбеновые полированные двери. Медная начищенная ручка. Служитель. Столик перед ним пуст. Исчезла кipa печатных изданий, и служителю не надо вкладывать их в большие конверты. Он уже закончил свои обязанности! Я справляюсь о секретаре. Служитель молча отводит руки назад, показывая, куда идти. Впрочем, мне не нужно объяснять. Я знаю, в какой коридор следует пройти, а что касается комнаты, так я тоже хорошо помню: первая налево. Стучу. Вхожу. Секретарь, молодой невысокий священник, на мгновение впиается в меня близорукими глазами за толстыми стеклами. Узнает меня. Стол перед ним тоже чисто прибран. Никаких папок. Только какое-то письмо, священник его дописывает. Сбоку, на блестящей доске стола,—конверт. Рядом свеча, палочка сургуча, спички. Священник отрывается от письма. Берет конверт. Вручает мне. Я держу его, и рука у меня слегка дрожит.

— Можно прочесть?— спрашиваю.

— Я жду этого, чтобы запечатать письмо,— отвечает священник.

Конверт большой, твердый, адрес напечатан на машинке. В левом углу большими буквами проштамповано полное название Роты. Священник указывает мне рукой на стул. Но я стоя извлекаю из конверта документ. Прочитываю его раз, другой. Я задыхаюсь, крепко зажмуриваю глаза и только тогда сажусь. В

документе все правильно: имя отца, фамилия, даты. Только не совпадает название епархии, которую Рота подтверждает как местожительство отца.

— Произошла ошибка,— говорю я.

Священник смотрит на меня. Я на него. Глаза у священника из-за толщины стекол огромные, деформированные. Взгляд рассеянный. Я настойчиво твержу свое. Он глядит на меня. Не отвечает. Я упрямо еще раз повторяю те же два слова. Но я уже догадываюсь, что говорить об искажении в тексте наивно. И несмотря на это, почти кричу:

— Не «*diocesis tarnoviensis*», а «*diocesis toruniensis*»! Ведь мой отец живет не в Тарнове, а в Торунь. В документе ошибка!

Подношу бумагу к самым глазам секретаря. Но он не обращает на это внимания либо не хочет лицемерить. Я так взволнован, что меня всего трясет. Дрожат колени, а я положил на них конверт. Он падает на пол. Священник встает, нагибается, поднимает конверт, кладет на стол.

— Вы знакомы с моим делом?— спрашиваю я.

— Полагаю, что да.

— Тогда вам должно быть понятно, что означает изменение в тексте. Оно означает, что отцу дают возможность работать по специальности, но предлагают убраться из своего города. Почему с ним так поступают? За что?

Священник по-прежнему молча выжидал. В силу привычки или из человеколюбия. Я чувствовал, что терпение его неистоимо, и вместе с тем я понимал, что торчать здесь и что-то ему объяснять бессмысленно. Теперь ничего уже нельзя изменить. Итог подведен. Я протянул руку за письмом, которое формально признавало права моего отца, но только формально и не полностью, ибо открывало не ту дверь, которую раньше несправедливо перед ним захлопнули, а совершенно другую. Увидев документ в моих руках, священник решил, что я наконец справился с собой и примирился с фактом, но все-таки он спросил:

— Итак, я могу рассчитывать, что вы отдадите письмо своему отцу?

— А что же еще мне с ним делать?

— В таком случае верните мне его на минутку. Я должен его запечатать.

Я протягиваю ему документ. Священник открывает ящик стола и достает оттуда печать. Зажигает свечу. Разогревает сургуч. Я молчу. Чувствую себя скверно. А в голове настойчиво вертится один и тот же вопрос: за что, почему? Один вопрос, а может быть, два, поскольку казус отца—это одно, а причины, побудившие курию принять свое решение,—нечто иное. Наконец печать готова. Современная, из одних литер, без фигур. Кладу письмо в карман. Мы со священником кланяемся друг другу. Я выхожу. Спускаюсь по лестнице шаг за шагом, медленно-медленно. Вдрут

голова у меня так кружится, что я останавливаюсь и прислоняюсь к стене. Минутку отдыхаю. Спускаюсь ниже. Снова кружится голова. К счастью, я нахожусь на втором этаже с широкой балюстрадой и колоннами, к ним можно удобно прислониться, а кроме того, они загораживают меня и со стороны лестницы, и со стороны двора. Впрочем, опасаться, будто меня увидят, нелепо. Во дворе совершенно пусто. Так же, как и на лестнице. Так же, как и во всем дворце Канцеллерия. Так же, как и на вилле четы Кампилли. Так же, как в здании Грегорианы. Нигде никого, ни живой души: ни спросить, ни попросить, ни поговорить нельзя. Во всех канцеляриях такая же чистота и порядок, как и на том столе, наверху, с которого теперь исчезли последние бумажки, поскольку со мной покончено.

Голова моя не перестает кружиться. Но в преследующем меня хаосе я внезапно вижу причины, по которым принято данное, а не иное решение. Причины все множатся, сталкиваются друг с другом. Одни — мистического порядка, другие — чисто земные. Одни затрагивают большие проблемы, другие — мелкие. Среди них немало и таких, которые связаны лично со мною, потому что я водил дружбу с отстраненным от дел Малинским или с неблагодарным Пиоланти. От жары смятение в моих мыслях усиливается. Стараюсь прийти в себя. Положить предел догадкам и подозрительности. Отбросить все неправдоподобное и пустое. В конце концов доводы и мотивы, которые курия могла принять во внимание, вихрем проносятся передо мной, движутся по кругу, обретая зримые формы, вращаются, распятые на крыльях гигантского попугая, и в определенный момент меняют очертания; теперь они кружатся в пестрых, разноцветных лодках карусели. Взгляды и точки зрения олицетворяют люди, живые и умершие, занимающие важный пост либо собирающиеся занять его. Среди них нет только одного человека, ни на одном крыле, ни в одной лодке я не вижу моего отца. Вероятно, потому, что в этом ведомстве соображения, связанные с личностью моего отца, не сыграли никакой роли в его собственном деле.

Мало-помалу я все-таки прихожу в себя. В последний раз пересекаю площадь перед дворцом Канцеллерия. Снова бар. Снова кофе. Обязательное такси. Опускаю стекло. Струя воздуха, хоть и теплого, освежает меня, действуя как вентилятор. Подъезжаю к пансиону уже с просветлевшей головой. Скоро час. Я еще поспею на поезд в два пятнадцать. От обеда отказываюсь. Я не в состоянии ничего проглотить. Разворачиваю пакет с книгами. Все кладу теперь на дно чемодана. Монография о святой Катерине выскальзывает у меня из рук. Я поднимаю ее с пола и тоже запихиваю вниз. Вещи укладываю спокойно. Уже с более ясной головой подвожу итог событиям за месяц пребывания в Риме. Я приехал сюда прежде всего ради отца, а попутно и ради себя. Я не добился ничего. Не решил научной проблемы,

которую, как мне кажется, вскоре решат и без моего участия. Отец мой не будет исполнять в Тарнове те самые обязанности, которые ему не позволено исполнять в Торуни. Не думаю, чтобы при сложившихся обстоятельствах, и особенно в его возрасте, он решился бы покинуть свой город. Вот итог достижений в этом порочном круге!

Наконец чемодан уложен. В пансионате нет никого, кроме Рогульской. Мы прощаемся в ее комнате. Пожилая дама с благородным профилем и большими мрачными глазами—когда-то она, вероятно, была красива—протягивает мне бескровные тонкие пальцы. Силуэт ее вырисовывается на фоне стены, сплошь увешанной фотографиями города, покинутого ею двадцать лет назад. Снимки эти—ее музей. Она взволнована тем, что я уезжаю в Польшу, и держится несколько патетически. Просит, чтобы я «передал привет нашим общим знакомым и поклонился незнакомой родине». Целую ей руки и еще раз благодарю. Все вместе отнимает у меня немного больше времени, чем я предполагал. Но все-таки мне удастся поспеть к поезду. Чемодан кидаю в сетку, встаю у открытого окна—и в конце концов пускаюсь в обратный путь. Невзирая ни на что, я, как и решил, разобью этот путь на этапы. И значит, еще сегодня побываю в Орвьето, переночую в Орсино, завтра с утра осмотрю город, pošлю открытку Пиоланти, письмо отцу, а в двенадцать двинусь дальше.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>С. Бэлза. Навстречу новому небу.</i>	<i>5</i>
<i>Стены Иерихона. Перевод А. Ермонского</i>	<i>13</i>
<i>Лабиринт. Перевод Ю. Мирской.....</i>	<i>281</i>

Тадеуш БРЕЗА

СТЕНЫ ИЕРИХОНА

Роман

ЛАБИРИНТ

Роман

ИБ № 1996

Редактор *М. И. Конева*
Художник *В. Г. Алексеев*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технический редактор *Е. В. Мишина*
Корректоры *Г. Н. Иванова, Н. А. Лукахина, В. Ф. Пестова*

Сдано в набор 22.10.84. Подписано в печать 30.05.85. Формат 60×84^{1/8}.
Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсет. Условн. печ. л. 27,90.
Усл. кр.-отг. 55,8. Уч.-изд. л. 33,57. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3833.
Цена 3 р. 80 к. Изд. № 863

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
МПО «Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДУГА»

В серии
«Библиотека польской литературы»

Готовится к печати

КАВАЛЕЦ Ю. Избранное: Сборник. Пер. с польск.

В «Избранном» представлены две наиболее значительные повести и рассказы крупного мастера польской прозы, известного своим пристальным и постоянным вниманием к сложным и острым проблемам послевоенной польской действительности, к судьбам своих современников — активных созидателей новой жизни. Роман «Переплывешь реку» — о преодолении мелкособственнической крестьянской психологии в сознании простого деревенского парня, о формировании личности на строительстве промышленного комбината, одного из первенцев социалистической индустрии. «Серый ореол» — повесть о первых годах становления народной власти, о трагической гибели героя.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДУГА»

В серии
«Библиотека польской литературы»

Готовится к печати

ЧЕШКО Б. Избранное: Сборник. Пер. с польск.

Советскому читателю хорошо известно имя Богдана Чешко—признанного мастера польской литературы и давнего друга нашей страны. В его произведениях—рассказах, повестях, очерках,—которые начали появляться в печати с 1946 года, нашли отражение отзвуки сложных конфликтов первых послевоенных лет, трудности создания нового польского общества и проблемы, стоящие перед сегодняшней Польшей.

В сборник включены роман «Поколение», уже известный советскому читателю, и лучшие рассказы, созданные писателем в разные годы.

